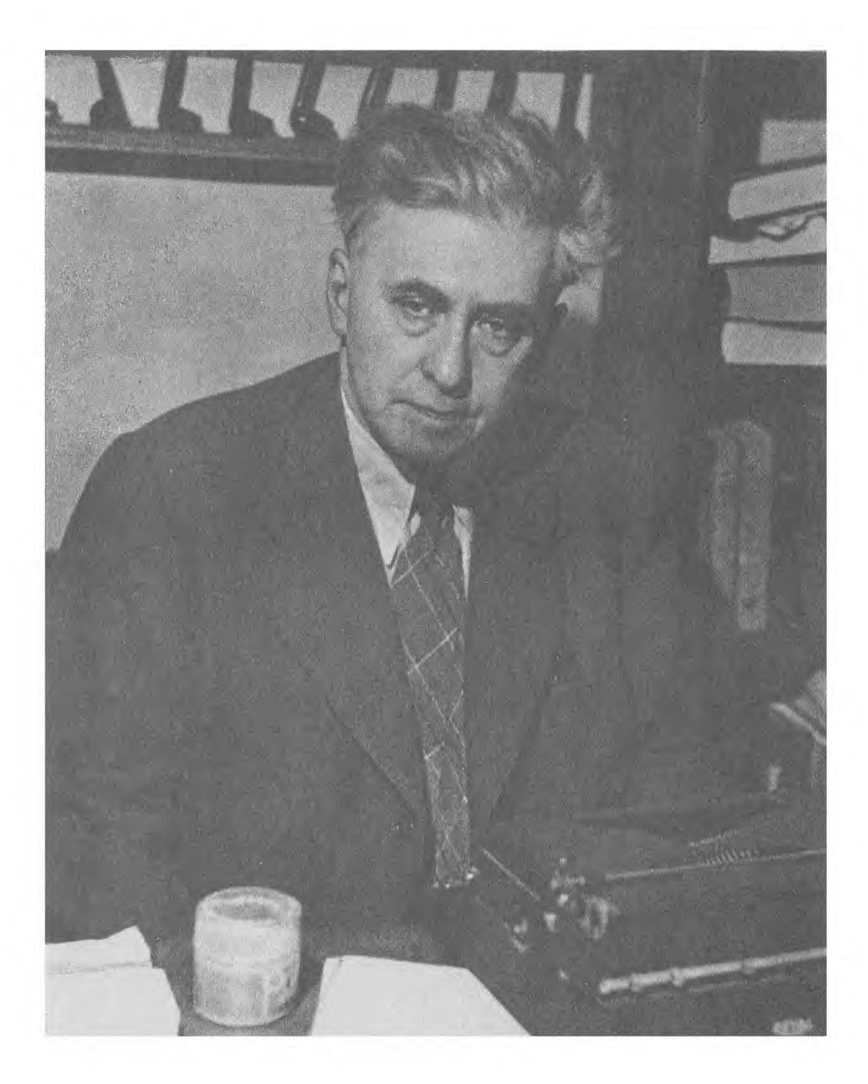
Илья Эренбург

1

Илья Эренбург 1



Илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах



Илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах

Москва
„Художественная литература"
1990

Илья Эренбург

Собрание сочинений
том первый

Стихотворения

РОМАН Хулио Хуренито

ИЗ КНИГИ „Тринадцать трубок"

Рассказы

Москва „Художественная литература"
1990

ББК 84Р7
Э76

Вступительная статья
Л. И. ЛАЗАРЕВА

Составление, подготовка текста
Б. М. САРНОВА и И. И. ЭРЕНБУРГ

Комментарии
Б. Я. ФРЕЗИНСКОГО

Оформление художника
Е. А. ГАННУШКИНА

Э $\frac{4702010206-314}{028(01)-90}$ Подписное
ISBN 5-280-01054-5 (T.I)
ISBN 5-280-01055-3

ЗАЩИЩАЯ КУЛЬТУРУ

Илья Эренбург обратил на себя внимание первыми же публикациями стихов — было ему тогда двадцать лет. Вышедшие подряд один за другим три маленьких сборника сразу же были замечены поэтами — самыми взыскательными и авторитетными ценителями поэзии. Это не значит, что ему отпускались одни лишь комплименты — разборы были строги и безжалостны, но сама строгость счета свидетельствовала о незаурядном даровании молодого поэта.

Обозревая первые книги начинающих, Валерий Брюсов в большом потоке безошибочно выделил Марину Цветаеву и Эренбурга. «Обещает выработаться в хорошего поэта И. Эренбург»,— писал он.

Не прошло и года, как появился второй сборник Эренбурга «Я живу», на него отозвался Николай Гумилев: «И. Эренбург сделал большие успехи со времени выхода его первой книги. Теперь в его стихах нет ни детского богохульства, ни дешевого эстетизма, которые, к сожалению, уже успели отравить некоторых начинающих поэтов. Из разряда подражателей он перешел в разряд учеников и даже иногда вступает на путь самостоятельного творчества. В его терцинах есть подлинное ощущение язычества, по-земному милого и слегка чудесного. Он умело соединяет лирический подъем с историзмом тем и почти никогда не возвышает голоса до крика. Конечно, мы вправе требовать от него еще большей работы и прежде всего над языком — но главное уже сделано: он знает, что такое стихи».

Следующий сборник Эренбурга рецензировал Осип Мандельштам: «Одуванчики» — третья книга Эренбурга. Острая парижская тоска растворяется в безнадежной «левитановской» влюбленности в русскую природу. Но скромная, серьезная быль г. Эренбурга гораздо лучше и пленительнее его «сказок». Очень простыми средствами он достигает подчас высокого впечатления беспомощности и покинутости. Он

пользуется своеобразным «тютчевским» приемом, вполне в духе русского стиха, облекая наиболее жалобные сетования в ритмически-суровый ямб. Приятно читать книгу поэта, взволнованного своей судьбой, и осязать небольшие, но крепкие корни неслучайных лирических настроений. Эпитеты бледны, но обдуманны, неожиданностей нет, но нет и скуки. Один из немногих, г. Эренбург понял, что от поэта не требуется исключительных переживаний. Тем ценнее общеобязательность лирического события. Однако несколько застенчивое, несвободное отношение автора к явлениям своей душевной жизни передается читателю, между тем как истинное поэтическое целомудрие делает ненужным стыдливое отношение к собственной душе».

В этих непривычно для нас коротких рецензиях Гумилева и Мандельштама есть, однако, столь проницательные наблюдения, что их вряд ли стоит ограничивать одной лишь ранней поэзией Эренбурга,— они помогают понять вообще характер его художественного дара, реализовавшегося затем не только в стихах. Вскоре Эренбург занялся журналистикой: она стала для него на всю жизнь второй литературной профессией,— затем художественной прозой, завоевывая все более и более широкую читательскую аудиторию. Эренбург — очеркист и публицист, автор рассказов и романов, повестей и мемуаров неотделим от Эренбурга-поэта; напряженный, но застенчивый, глубоко спрятанный лиризм, историзм в истолковании самых злободневных тем, простота и скупость выразительных средств — все это свойственно и его прозе.

Я напомнил об откликах на первые книги Эренбурга, чтобы сказать: то, что их сразу же заметили, не было случайностью. Такое многообещающее начало имело закономерное продолжение. На протяжении полувека с лишним произведения Эренбурга были в эпицентре и литературного развития, и читательского интереса. Ими зачитывались, в них искали ответа на самые животрепещущие вопросы современности, о них горячо спорили, одобряли и осуждали, впрочем, случалось и так, что официальная критика их единодушно клеймила, а читатели столь же единодушно поддерживали. В этой из года в год ширившейся популярности Эренбурга были свои «пики».

Первый из них был вызван его романами двадцатых годов, прежде всего «Необычайными похождениями Хулио Хуренито и его учеников...», о которых писал Бухарин: «Нетрудно сказать, что автор — не коммунист, что он не очень шибко верит в грядущий порядок вещей и не особенно

страстно его желает. Все это было бы очень верно и очень почтенно. Но все же книга от этого не перестает быть увлекательнейшей сатирой. Своеобразный нигилизм, точка зрения «великой провокации» позволяет автору показать ряд смешных и отвратительных сторон жизни при всех режимах». Стоит отметить, что высказанная Бухариным точка зрения не была тогда господствующей в печати, гораздо чаще Эренбург удостаивался совсем других характеристик. Надо, писал один влиятельный критик, «рассказать нашей коммунистической, нашей пролетарской молодежи, что представляют собою все эти Эренбурги, каждый шаг которых, каждый клочок исписанной бумаги покупается на вес золота, которых наши издатели боятся оскорбить или обидеть даже предисловием, которые, задравши хвост и закусивши удила, клевещут на наше подполье, на нашу партию, на ее учреждения и вождей, искажают факты и события, спеша наверстать потерянное ими и их классом в годы гражданской войны и красного террора диктатуры труда».

Сегодня мы можем оценить не только увлекательность сатиры Эренбурга, отмеченную Бухариным и покорявшую современников, но и ее прозорливость и глубину. О том, что заложенный в ней критический заряд сохранил ударную силу, свидетельствует и недавняя публикация на страницах «Звезды» написанного в 1927 году и никогда не печатавшегося в Советском Союзе (даже не поминавшегося в биографических очерках) сатирического романа Эренбурга «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца». Увы, духовная атмосфера в ту пору быстро сгущалась, мрачнела, к началу тридцатых для сатиры практически уже не оставалось места, и этой очень сильной стороне дарования Эренбурга не дано было полностью реализоваться...

Необыкновенный взлет популярности Эренбурга был вызван его публицистикой военных лет. Он стал тогда обладателем самого громкого литературного имени — даже Симонов, Твардовский, Гроссман, кумиры фронтовых читателей, уступали ему. И дело не только в литературных достоинствах его статей, памфлетов, фельетонов, очерков, а в том, что, как заметил Гроссман, «с первых дней войны Эренбург в сотнях своих стремительных статей стал глашатаем тех скромных, простых людей в выцветших от ветра и дождя гимнастерках и пилотках, которые прошли через все испытания, сохранив богатство своего не грубеющего в боях сердца, своей человеческой души, своего разума, верного правде и свету».

Эренбурга в ту пору знали, его статьи читали даже те, кого художественная литература совершенно не интересовала, кто

обычно не брал в руки книг. Виктор Некрасов вспоминал об этом поразительном явлении: «...Статьи военных лет — мне, бывшему фронтовику, особенно приятно было об этом говорить — у нас в Сталинграде зачитывались до дыр — в буквальном смысле этого слова. Даже я — враг всякого рода политических занятий — читал эти военные статьи вслух солдатам, и слушали они их, не перебивая и, главное, не засыпая». Таких свидетельств великое множество.

Можно привести и немало высоких отзывов о военной публицистике Эренбурга другого рода, принадлежащих тем писателям, которые на собственном опыте прекрасно знали, как трудно дается публицисту слово, проникающее в сердце читателя. Пристли писал об Эренбурге в разгар войны: «Перед нами лучший из известных нам русских военных публицистов. Я бы хотел, чтобы и мы били врага так же, как русские. Мне скажут, что у нас есть свои собственные обычаи, своя официально-джентльменская, гладенькая традиция. Но сейчас самое время распрощаться с этой традицией узкого правящего класса, которой не под силу выразить чувства сражающегося народа. А между тем вот Илья Эренбург со своим неистовым стаккато рубленых фраз, острым умом и презрением, показывающий нам, как это делается». Приглашая в 1946 году Эренбурга приехать к нему на Кубу, Хемингуэй счел нужным выразить свое восхищение публицистикой Эренбурга военных лет: «Я часто думал о тебе все эти годы после Испании и очень гордился той потрясающей работой, которую ты делал во время войны. Пожалуйста, приезжай, если можешь, и знай, как счастлив будет твой старый друг и товарищ видеть тебя».

Военная публицистика Эренбурга, ставшая в те грозные годы фактом не только литературы, но и жизни, в сознании многих читателей на какое-то время даже отодвинула на второй план все его предшествующее творчество — во всяком случае, так казалось самому писателю. Вскоре после войны он писал с некоторой обидой и горечью:

Умру — вы вспомните газеты шорох,
Ужасный год, который всем нам дорог.
А я хочу, чтоб голос мой замолкший
Напомнил вам не только гром у Волги...

Эренбургу, однако, было суждено пережить еще одну волну необыкновенного общественного внимания к его творчеству. Во время «оттепели» (стоит попутно отметить, что

идея и название не самой художественно сильной вещи Эренбурга стали метафорическим обозначением очень сложного периода нашей истории, которое прочно вошло в обиход) он начал работать над большой книгой воспоминаний «Люди, годы, жизнь». Сам он так определил ее замысел: «...Эта книга — рассказ о моей жизни, об исканиях, заблуждениях и находках одного человека. Она, разумеется, крайне субъективна, и я никак не претендую дать историю эпохи или хотя бы историю узкого круга советской интеллигенции. Я писал о людях, с которыми меня сталкивала судьба, о книгах и картинах, которые сыграли роль в моей жизни». В сущности, Эренбург говорит здесь о родовых особенностях мемуарного жанра, все воспоминания субъективны, ни одно из них не может претендовать на то, чтобы дать мало-мальски полную картину эпохи,— это действительно само собой разумеется. Но это высказывание имеет явный полемический подтекст. Эренбург воюет не только за законные права мемуариста, а за нечто большее.

Чтобы понять, почему его книга стала не только литературным, но и общественным событием, надо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, Эренбург был свидетелем, а в некоторых случаях и участником многого из того, что происходило у нас и в Европе и что составило большую историю этих бурных десятилетий, люди, с которыми он встречался, которых хорошо знал,— не только известные писатели и художники, но и общественные деятели,— в немалой степени определили духовный облик первой половины XX века. Во-вторых, изрядная часть того, о чем пишет в своих мемуарах Эренбург,— факты, события, люди,— до этого в течение долгих лет словно бы не существовала,— в нашей официальной истории были чудовищные зияния, прошлое самым беззастенчивым образом фальсифицировалось.

Историческая правда была для сталинского строя опаснейшим противником и жестоко преследовалась. После смерти Сталина ее восстановление стало насущной общественно-политической и культурной потребностью, без этого нельзя было двигаться вперед, преодолеть рожденные тоталитарным режимом социальные, идеологические и нравственные деформации.

Однако люди, пришедшие к власти после Сталина, боялись правды о прошлом, за которое несли свою, и немалую, долю ответственности. Конечно, они вынуждены были — особенно после XX съезда партии — отступать, маневрировать, освобождая под натиском стряхивающего с себя многолетний дурман народа те или иные территории прошлого

для исторического и художественного исследования. Но попытки выйти за пределы установленного сверху, восстановить неурезанную, нелимитированную правду тотчас же пресекались и карались бдительными стражами сталинистского наследия.

Книга Эренбурга, в которой то и дело эта граница дозволенного нарушалась, проходила в печать очень трудно — она вся была в шрамах от цензурных поправок и купюр. Мемуары Эренбурга, восстанавливающие изъятые звенья истории и культуры, пользовались огромным успехом у читателей, изголодавшихся по правде. Тем яростнее набросилась на книгу Эренбурга официальная критика, что, впрочем, весьма способствовало росту ее популярности. Дело дошло до того, что долго не выходившее отдельное издание третьей и четвертой книг вышло с беспрецедентным разоблачительным предисловием «От издательства», в котором читатели предупреждались, что Эренбург нарушает историческую правду — разумеется, как ее понимала официальная критика. Его мемуары «не дают исторически верного представления и о некоторых периодах жизни советского общества», нет в его «характеристиках ясного социально-политического угла зрения и точного адреса, неизвестно, какие страны, какой общественный уклад имеет в виду то или иное определение», в книге «дается подчас одностороннее, обедненное представление о состоянии и развитии нашей литературы и нашего искусства, крайне субъективно освещается литературно-идейная борьба» и т. д. Вот такой реестр идеологических грехов. Немудрено, что это было единственное отдельное издание мемуаров Эренбурга. Они вошли затем в 1967 году в его девятитомное Собрание сочинений. И все. После этого «Люди, годы, жизнь» ни разу не переиздавались (неоконченная седьмая книга, набранная в «Новом мире», света тогда не увидела). В застойные времена об этом нечего было и думать, воспоминания Эренбурга были не только не по погоде — недолгая оттепель сменилась крепким морозом, они подрывали упорно возрождаемые сталинистские идеологические каноны. Но книгу продолжали жадно читать, внимательно перечитывать, в библиотеках она была всегда «на руках». Со временем мемуары Эренбурга обнаружили одну удивительную особенность: по мере того как обогащались и расширялись наши знания прошлого, книга не тускнела, не перекрывалась другими свидетельствами, поздние читатели, лучше ориентирующиеся в истории, черпали в ней не меньше, а больше.

Книга создавалась в условиях жестких цензурных ограничений, когда автор, если он не писал заведомо и вполне

сознательно «в стол», а рассчитывал на сегодняшнюю публикацию (а Эренбург именно этого хотел), не имел возможности сказать все, что знал и думал, вынужден был искать обходные, порой «слаломной» сложности пути, о многом лишь давал понять, на многое только намекал, многое упрятывал в придаточные предложения, сравнения, определенным образом упомянутые факты и имена. Эренбург делал это необыкновенно искусно, нередко ему удавалось обходить рогатки и шлагбаумы запретов. И чем подготовленнее читатель, тем доступнее ему эта не лежащая на поверхности информация.

Эренбург прожил долгую жизнь, большая часть которой пришлась на времена, заставлявшие усомниться в истинности тютчевского «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». В одном из поздних стихотворений, оглядываясь на роковые десятилетия «века-волкодава», Эренбург писал:

А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
Но только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.

Я не буду останавливаться на биографии Эренбурга — в этом нет смысла и нужды, в настоящее издание включена его «главная книга» — так сейчас ее уже можно назвать — мемуары «Люди, годы, жизнь», в которой он подробно рассказал о времени и о себе. В воспоминаниях Эренбург нередко предупреждает читателей, что изменялся,— по-иному оценивал разные исторические события и их участников, открывал для себя прежде почему-то «просмотренные», непонятые причины общественных явлений и катаклизмов. Но были принципы, которым Эренбург оставался верен всю жизнь.

С юности он был связан с революционным движением, вступил в большевистскую партию: сходки, явки, нелегальщина, жандармская слежка, тюрьма, эмиграция — вот что за этим последовало. Он не стал, однако, как можно было ожидать, профессиональным революционером, в эмиграции порвал с партией, целиком посвятил себя литературе. Но тому, что привело его в революционное движение, идеям свободы, равенства, братства, не изменил, хотя истинной для

него осталась лишь их общечеловеческая суть, не регламентированная партийными программами и толкованиями.

В одном из ранних, еще неуклюжих, никогда потом не перепечатывавшихся стихотворений очень наглядно соединились эти два определивших его жизнь мотива — верности и отречения, без которых невозможно понять и пафос его поэзии, и природу его сатиры, и пламень публицистики, и повторявшиеся на протяжении всей его жизни упреки справа и слева в непоследовательной, недостаточно «ангажированной» идейной позиции:

Я ушел от ваших громких, дерзких песен,
От мятежно к небу поднятых знамен,—
Оттого, что лагерь был мне слишком тесен,
А вдали мне снился новый небосклон...

. . . .

...Но, когда подслушал я в далеком храме
Странную, как море, тихую тоску,—
Понял я, что слишком долго был я с вами
И что петь другому я уж не могу.

Действительно, Эренбург не мог и никогда не пел «другому». Идеи, которым он служил со свойственным его характеру упорством и неукротимым темпераментом, закономерно привели писателя — это казалось ему одной из ключевых задач времени — к защите гуманистической культуры, которая подверглась в XX веке непрестанному шельмованию и сокрушительным атакам. В насквозь политизированной действительности нашего века, сотрясаемого мировыми войнами, государственным, классовым, национальным ожесточением, поправшего общечеловеческие ценности, защищать культуру было делом непростым, нелегким, неодобряемым, а временами даже сурово наказуемым. Даже в лучшую, сравнительно благополучную пору, когда не было свирепых гонений на культуру и гуманизм как на силу, противостоящую исторической предопределенности, они третировались, находились под подозрением (неслучайны утвердившиеся на долгие годы обличительные формулы — «прогнившая культура», «абстрактный гуманизм»).

Эренбург был среди самых стойких защитников последних бастионов культуры. В начале тридцатых он выступил, отстаивая народные художественные промыслы, которые уничтожались как зловредное наследие «проклятого прошлого». В сороковые, в разгул мракобесной кампании борьбы с «низкопоклонством» перед Западом, когда «железный занавес», отделивший нас от всего мира, не оставлял, казалось,

и маленькой щели, он писал о Хемингуэе и Чаплине, Пикассо и Олдингтоне, Фолкнере и дю Гаре. В пятидесятые принял сторону находившихся в загоне «лириков», бросив вызов отвергавшим гуманитарную культуру «физикам»-технократам. Все это примеры, да и вообще публицистические выступления лишь выводили на поверхность то, что было глубинной основой его творчества.

Не хочу упрощать и выравнивать то, что было. Эренбург и заблуждался, и оступался. Чтобы сказать то, что он считал очень важным, ему приходилось прибегать к дипломатическим ходам, делать уступки, понимая, что плетью обуха не перешибешь, но он добивался того, что было крайним пределом возможного и что мало кому удавалось. Он и сам признавался, что писал не обо всем из того, что знал и видел. Разумеется, судьба Ивана Катаева и Пильняка, Бабеля и Михаила Кольцова, Третьякова и Мейерхольда была нешуточным предостережением всем — и вольнодумцам и законопослушным. Но дело было не только в страхе попасть на плаху, превратиться в лагерную пыль, а в общей ситуации, сложившейся в мире,— она была безысходно трагической для всей гуманистически настроенной левой интеллигенции.

«Возможно, что мир действительно накануне генеральной схватки между коммунизмом и фашизмом»,— записал Михаил Булгаков в своем дневнике в октябре 1923 года. Казалось, все это было очень далеко от него, человека, равнодушного к политике и никогда не выезжавшего за границу и знавшего о фашизме лишь из газет. Но и он при всем его прохладном отношении к советской власти был серьезно встревожен. Что же сказать об Эренбурге, который пристально следил за тем, что происходит на европейской политической сцене, своими глазами видел, как распространяется и крепнет фашизм, какой грозной силой становится, что несет народам. Он считал — и не ошибся, кровавая история потом подтвердила это,— что только Советский Союз способен стать на пути фашизма и одолеть его, иной силы в мире нет. И надо делать все, чтобы политический и нравственный авторитет Советского Союза был незыблем, чтобы он как главный противник фашизма пользовался всеобщей поддержкой, а потому не следует касаться тех страшных дел, которые именем советской власти и коммунистической партии творил Сталин и которые тогда былу известны не в полной мере, а понятны еще меньше. Антифашизм на два с лишним десятилетия стал главной темой Эренбурга, главной, все подчиняющей себе идеей.

Конечно, нынче, с высоты той позиции, на которую нас вознесло время или, лучше сказать, усилия многих людей,

постепенно прозревавших, так или иначе пробивавшихся к правде, в том числе и Эренбурга, немало для этого сделавшего, очень просто его осудить за конформизм, за былое молчание. Но, может быть, стоило бы, памятуя об историзме и справедливости, сначала выяснить, какое место для проявления свободной воли оставляли трагические противоречия эпохи, какой выбор они предоставляли? Увы, с этим не все сегодня желают считаться, хотят не учиться у истории, а учить ее. Кстати, хочу напомнить, что обвинения Эренбурга в «молчании» не новы — правда, четверть века назад они раздавались из другого, противоположного «угла». Те, кто в сталинские и послесталинские времена зажимали рот писателям, испуганные правдой, которую несли мемуары «Люди, годы, жизнь», таким образом боролись — безуспешно — с этой правдой. Стоит, наверное, задуматься над этим...

Эренбурга всегда волновала злоба дня, даже когда он писал стихи о вечности. Журналистика была не только второй его профессией, но и второй натурой. И случалось, идя по горячим следам современных событий, он писал поспешно, не углубляясь в толщу жизни, не проникая в духовный мир героев,— не все его книги выдержали испытание временем, он осознавал это, потому что судил себя и свои творения без всякого снисхождения, нравственная и эстетическая точка отсчета была у него высока. Но он никогда не писал о пустяках, не уклонялся от диалога с трудной и сложной эпохой, не складывал оружия, защищая человечность и культуру. И большая часть созданного им — не только проза больших и малых жанров, мемуары, стихи, но и публицистика, очерки и статьи, увидевшие свет на страницах очередного номера газеты, о котором не зря говорят, что он живет один день,— сохранила живую, немеркнущую силу искусства. И можно не сомневаться, что восемь томов настоящего Собрания сочинений Эренбурга, куда вошло лучшее из написанного им, будут с захватывающим интересом прочитаны современными читателями

Л. Лазарев

Стихо-
творения

Из первых книг 1910–1914

* * *

В одежде гордого сеньора
На сцену выхода я ждал,
Но по ошибке режиссера
На пять столетий опоздал.

Влача тяжелые доспехи
И замедляя ровный шаг,
Я прохожу при громком смехе
Забавы жаждущих зевак.

Теперь бы, предлагая даме
Свой меч рукою осенить,
Умчаться с верными слугами
На швабов ужас наводить.

А после с строгим капелланом
Благодарить Святую Мать
И перед мрачным Ватиканом
Покорно голову склонять.

Но кто теперь поверит в Бога?
Над ним смеется сам аббат,
И только пристально и строго
О Нем преданья говорят.

Как жалобно сверкают латы
При электрических огнях,
И звуки рыцарской расплаты
На сильных не наводят страх.

А мне осталось только плавно
Слагать усталые стихи.
И пусть они звучат забавно,
Я их пою, они — мои.

1910

* * *

Так устали согнутые руки
От глубо́ко вставленных гвоздей,
Столько страшной, непосильной скуки
Умирать зачем-то за людей.

Им так скучно без огня и жара
Кровь мою по полю разносить,
Чтобы с всплеском нового удара
Руки кверху снова заносить.

Сколько скуки было у Пилата,
Сколько высшей скуки пред собой,
В миг, когда над урной розоватой
Руки умывал перед толпой.

А теперь несбыточного чуда
Так напрасно ждут ученики.
Самый умный сгорбленный Иуда
Предал, и скорее, чем враги.

Царство человеческого сына —
В голом поле обветшалый крест.
Может быть, поплачет Магдалина,
Да и ей не верить надоест.

А кругом — кругом все то же поле,
Больше некуда и не на что взглянуть.
Только стражники без радости и боли
Добивают сморщенную грудь.

Между маем и июлем 1910

ПАРИЖ

Тяжелый сумрак дрогнул и, раста́яв,
Чуть оголил фигуры труб и крыш.
Под четкий стук разбуженных трамваев
Встречает утро заспанный Париж.
И утомленных подымает властно
Грядущий день, всесилен и несыт.

Какой-то свет тупой и безучастный
Над пробужденным городом разлит.
И в этом полусвете-полумраке
Кидает день свой неизменный зов.
Как странно всем, что пьяные гуляки
Еще бредут из сонных кабаков.
Под крик гудков бессмысленно и глухо
Проходит новый день — еще один!
И завтра будет нищая старуха
Его искать средь мусорных корзин.

А днем в Париже знойно иль туманно,
Фабричный дым, торговок голоса,—
Когда глядишь, то далеко и странно,
Что где-то солнце есть и небеса.
В садах, толкаясь в отупевшей груде,
Кричат младенцы сотней голосов,
И женщины высовывают груди,
Отвисшие от боли и родов.
Стучат машины в такт неторопливо,
В конторах пишут тысячи людей,
И час за часом вяло и лениво
Показывают башни площадей.

По вечерам, сбираясь в рестораны,
Мужчины ждут, чтоб опустилась тьма,
И при луне, насыщены и пьяны,
Идут толпой в публичные дома.
А в маленьких кафе и на собраньях
Рабочие бунтуют и поют,
Чтоб завтра утром в ненавистных зданьях
Найти тяжелый и позорный труд.

Блуждает ночь по улицам тоскливым,
Я с ней иду, измученный, туда,
Где траурно-янтарным переливом
К себе зовет пустынная вода.
И до утра над Сеною недужной
Я думаю о счастье и о том,
Как жизнь прошла бесследно и ненужно
В Париже непонятном и чужом.

Апрель или май 1911

ВОЗВРАТ

Будут времена, когда, мертвы и слепы,
Люди позабудут солнце и леса
И до небосвода вырастут их склепы,
Едким дымом покрывая небеса.
Будут времена: не ведая желаний
И включивши страсть в обычные дела,
Люди станут прятать в траурные ткани
Руки и лицо, как некогда тела.

Но тогда, я знаю, совершится чудо,
Люди обессилят в душных городах.
Овладеет ими новая причуда —
Жить, как прадеды, в болотах и в лесах.
Увлекут их травы, листья и деревья,
Нивы, пастбища, покрытые травой.
Побредут они на древние кочевья,
Стариков и женщин увлекут с собой.
Перейдя границы города — заставы,
Издали завидев первые поля,
Люди будут с криком припадать на травы,
Плакать в исступленье и кричать: «Земля!»

В парах падая на травяное ложе,
Люди испугают дремлющих зверей.
Женщины впервые без стыдливой дрожи
Станут прижимать ликующих мужей.

Задыхаясь от нахлынувшего смеха,
Каждый будет весел, исступлен и наг.
И ответит на людские крики эхо
Быстро одичавших кошек и собак.

Далеко, почти сливаясь с небосводом,
На поля бросая мутно-желтый свет,
Будет еле виден по тяжелым сводам
Города истлевший и сухой скелет.

Апрель или май 1911

НА ВОКЗАЛЕ

Помнишь ты на вокзале
Грохот, крик, суету,
Затаенной печали
Только вздох на лету?
Было странно средь давки,
Беспокойно дрожа,
Говорить об отправке
Твоего багажа.
Разрыдаться б, как дети...
Но с улыбкой тупой
О каком-то билете
Мы болтали с тобой.
И лишь в миг расставанья
Я увидел, о чем
Мы в минуты свиданья
Тосковали вдвоем.

⟨1912⟩

* * *

Я скажу вам о детстве ушедшем, о маме
И о мамином черном платке,
О столовой с буфетом, с большими часами
И о белом щенке.
В летний полдень скажу вам о вкусе черники,
О червивых, изъеденных пнях
И о только что смолкнувшем крике
Перед вами в кустах.
Если осень придет, я скажу, что уснула
Опьяневшая муха на пыльном окне,
Что зима на последние астры дохнула
И что жалко их мне.
Я скажу вам о каждой минуте, о каждой!
И о каждом из прожитых дней.
Я люблю эту жизнь, с ненасытною жаждой
Прикасаюсь я к ней!

Март или апрель 1912

* * *

Мне двадцать первый год. Как много!
Апрель ушел, и предо мной
Сухая, пыльная дорога,
И духота, и летний зной.
Еще есть мама, сестры где-то,
И кто-то «мальчиком» зовет.
Но вот пройдут зима и лето,
Какой-нибудь случайный год,
И, отданный суровым думам,
Осыпется весны цветок,
И станет жестким и угрюмым
Неясный очерк пухлых щек.

Март или апрель 1912

* * *

Мне никто не скажет за уроком «слушай»,
Мне никто не скажет за обедом «кушай»,
И никто не назовет меня Илюшей,
И никто не сможет приласкать,
Как ласкала маленького мать.

Март или апрель 1912

* * *

Как скучно в «одиночке», вечер длинный,
А книги нет.
Но я мужчина,
И мне семнадцать лет.
Я, «Марсельезу» напевая,
Ложусь лицом к стене,
Но отдаленный гул трамвая
Напоминает мне,
Что есть Остоженка, и в переулке
Наш дом,
И кофе с молоком, и булки,
И мама за столом.

Темно в передней и в гостиной,
Дуняша подает обед...
Как плакать хочется! Но я мужчина,
И мне семнадцать лет...

Март или апрель 1912

* * *

Когда встают туманы злые
И ветер гасит мой камин,
В бреду мне чудится, Россия,
Безлюдие твоих равнин.
В моей мансарде полутемной,
Под шум парижской мостовой,
Ты кажешься мне столь огромной,
Столь беспримерно неживой,
Таишь такое безразличье,
Такое нехотенье жить,
Что я страшусь твое величье
Своею жалобой смутить.

Март или апрель 1912

* * *

Я помню серый, молчаливый,
Согбенный, как старушка, дом,
И двор, поросший весь крапивой,
И низкие кусты кругом.
Прохладные пустые сени,
Крыльцо и бабу на ступени,
В саду мальчишек голоса
И спящего на солнце пса.
В уютной низенькой столовой
Пыхтящий круглый самовар,
Над чаем прихотливый пар
И на столе пирог фруктовый,
Старушку в кружевном чепце
С улыбкой важной на лице.

Март или апрель 1912

* * *

Когда в Париже осень злая
Меня по улицам несет
И злобный дождь, не умолкая,
Лицо ослепшее сечет,—
Как я грущу по русским зимам,
Каким навек недостижимым
Мне кажется и первый снег,
И санок окрыленный бег,
И над уснувшими домами
Чуть видный голубой дымок,
И в окнах робкий огонек,
Зажженный милыми руками,
Калитки скрип, собачий лай
И у огня горячий чай.

Март или апрель 1912

* * *

Я знаю: ты глядишь часами
На чисто выметенный двор,
На окна с пыльными цветами,
На облупившийся забор,
На крышу, где за корку хлеба
Дерутся с криком воробьи,
И на клочок пустого неба,
Едва сереющий вдали.
. . . .
О, сбрось тупое безразличье
И, не мечтая об ином,
Пойми убогое величье
Происходящего кругом.

Март или апрель 1912

* * *

Как радостна весна родная:
И в небе мутном облака,
И эта взбухшая, большая,
Оковы рвущая река.

И я гляжу, как птичья стая
Слетает на верхи берез
И как ее пугает, лая,
Веселый и продрогший пес.

Март или апрель 1912

* * *

Если ты к земле приложишь ухо,
То услышишь: крыльями звеня,
В тонкой паутине бьется муха,
А в корнях изъеденного пня
Прорастают новые побеги,
Прячась в хвое и в сухих листах.
На дороге вязнут и скрипят телеги,
Утопая в рыхлых колеях.
Ты услышишь: пробегает белка,
Листьями пугливыми шурша,
И над речкой пересохшей, мелкой
Селезень кряхтит средь камыша.
И поет бадья у нашего колодца,
И девчонки с ягодой прошли.
Ты услышишь, как дрожит и бьется
Сердце неумолчное земли.

Март или апрель 1912

ГОД

Что лучше зимнего рассвета,
И дыма синего у труб,
И еле слышного привета,
Слетающего с милых губ?
Часам к пяти, пока не поздно,
Приятно выйти погулять,
Кричать средь тишины морозной
И снег, притаптывая, мять.
А вечером с тобою снова
У вспыхивающих углей
Мы дремлем в маленькой столовой,
И ты становишься нежней.

И к чаю сливное варенье,
И ложек серебристый стук,
Сверчка задумчивое пенье,
Метели голоса́, и вдруг
Усталое прикосновенье
Твоих неуловимых рук.
Что радостней весною дыма
Недавно вспаханных полей
И тонкой, еле уловимой,
Прозрачной зелени ветвей?
Забывши о недавнем снеге,
Уж анемоны расцвели,
И рвут корявые побеги
Пласты тяжелые земли.
Средь стада бубенец смеется,
Вдали гудят колокола,
И взносится и раздается
Неповторимая хвала.
И юноша, покинув келью,
В леса пушистые идет
И тихо плачущей свирелью
Подругу робкую зовет.
И пахнут солнцем, пахнут прелью
Бугры изрытые болот.
Что слаще и острее лета:
Его сомнений и тревог,
До боли жалящего света
И пыльных солнечных дорог?
Соседней рощицы опушка
Уж начинает опадать,
И голосистая кукушка
Перестает в ней куковать.
И в полдень уж длиннее тени,
И в поле уж желтее рожь,
И ты наивной и весенней
Передо мною не пройдешь.
Гроза. Под крышей на соломе,
Раскинув руки, я лежу
И в наплывающей истоме
На небо тусклое гляжу,
И в этом блеске, в этом громе
Свою тревогу нахожу.
Сильней всего люблю я осень,
Покойно и легко я пью
Ее задумчивую просинь

И ветра ровную струю.
Последняя полоска сжата,
И овдовели тополя,
И пахнут горечью и мятой
Необозримые поля.
Затихла песня трудовая,
Готово новое вино,
И падает струя хмельная
С веселым говором на дно.
И все ушло, и все далёко —
И нежно-серебристый май,
И леса шум, и гул потока,
И крикнуть хочется «прощай!»
Какой-то птице одинокой,
Отставшей от пролетных стай.

Март или апрель 1912

ОСЕНЬЮ

О чем-то скучно и лениво
Досказывает мокрый лес.
Обрывки туч дрожат пугливо
И жмутся на краю небес.
Кой-где дубки, орешник мелкий,
А за кустами тишь и глушь,
Лишь слышен шорох юркой белки
Да ноги хлюпают меж луж.
Что я скажу тебе сегодня,
Когда еще желтей листва,
Когда темней и безысходней
Мои ненужные слова?
А там уж кружит птичья стая.
Куда она летит опять?
И высь такая голубая,
Что не измерить, не понять.
И, слыша крик, душа, как птица
С дробинкой маленькой в крыле,
Еще наверх взлететь стремится
И грузно падает к земле.

⟨1913⟩

ВЕЧЕРОМ

Ветер разогнал серебряные тучи,
Ослабел и в низеньких кустах залег.
Я иду вдоль зелени колючей,
Мокрая трава дрожит у ног.
Сжатые поля — как шашечные доски.
Падает снопами золотой овес.
И, цепляясь за кустарник хлесткий,
По дороге вязнет полный воз.
И под лай собаки розовое стадо
Тянется с поросших вереском холмов.
Может, сердцу ничего не надо,
Кроме песни дальней бубенцов,
Кроме голосов мальчишек, там, в селенье,
Где над крышами ползет и тает дым,
Кроме позднего недоуменья
Перед миром детским и простым.

⟨1913⟩

РОССИИ

Ты прости меня, Россия, на чужбине
Больше я не в силах жить твоей святыней.
Слишком рано отнят от твоей груди,
Я не помню, что осталось позади.
Если я когда-нибудь увижу снова
И носильщиков, и надпись «Вержболово»,
Мутный, ласковый весенний день,
Талый снег и горечь деревень,
На дворе церковном бурые дорожки
И березки хилой тонкие сережки,—
Я пойму, как пред тобой я нищ и мал,
Как я много в эти годы растерял.
И тогда, быть может, соберу я снова
Всё, что сохранилось детского, родного,
И отдам тебе остатки прежних сил,
Что случайно я сберег и утаил.

Февраль или март 1913

* * *

. . . .
Я бы мог прожить совсем иначе,
И душа когда-то создана была
Для какой-нибудь московской дачи,
Где со стенок капает смола,
Где идешь, зарею пробужденный,
К берегу отлогому реки,
Чтоб увидеть, как по влаге сонной
Бегают смешные паучки.
Милая, далекая, поведай,
Отчего ты стала мне чужда,
Отчего к тебе я не приеду,
Не смогу приехать никогда?..

Февраль или март 1913

СУМЕРКИ

Злобный ветер, злобный холод,
Мутный вечер настает,
И колючий острый голод
Дико гложет мой живот.
Ветер взносит хлопья пыли
С едкой, грязной мостовой,
И жужжат автомобили,
Как густой осиный рой,
И, блудливо строя глазки,
Старичок идет, свистя,
И у женщины в коляске
Жалобно мычит дитя.
И тоска, и пыль, и холод,
Мутный вечер настает,
И колючий острый голод
Дико гложет мой живот.

Февраль или март 1913

ВЕРЛЕН В СТАРОСТИ

Лысый, грязный, как бездомная собака,
Ночью он бродил забытый и ничей.
Каждый кабачок и каждая клоака
Знали хорошо его среди гостей.

За своим абсентом молча каждой ночью
Он досиживал до «утренней звезды»,
И торчали в беспорядке клочья
Перепутанной и неопрятной бороды.
Но, бывало, Муза, старика жалея,
Приходила и шептала о былом,
И тогда он брал у сонного лакея
Белый лист, залитый кофе и вином.
По его лицу ребенка и сатира
Пробегал какой-то сладостный намек,
И, далек от злобы и далек от мира,
Он писал, писал и не писать не мог...

Февраль или март 1913

О МОСКВЕ

Есть город с пыльными заставами,
С большими золотыми главами,
С особняками деревянными,
С мастеровыми вечно пьяными,
И столько близкого и милого
В словах: Арбат, Дорогомилово...

Февраль или март 1913

О МАМЕ

Если ночью не уснешь, бывало,
Босыми ногами,
Через темную большую залу,
Прибегаешь к маме.
Над кроватью мамина аптечка —
Капли и пилюли,
Догорающая свечка
И белье на стуле.
Посидишь — и станет почему-то
Легче и печальней.
Помню запах мыла и уюта
В полутемной спальне...

Февраль или март 1913

* * *

Может, можно отойти, вернуться
В маленький и пыльный городок,
Где какой-нибудь Барбос иль Ку́цый
С громким лаем носится у ног.
Может, можно?

Февраль или март 1913

ВЗДОХИ ИЗ ЧУЖБИНЫ

1
ПЛЮЩИХА

Значит, снова мечты о России —
Лишь напрасно приснившийся сон;
Значит, снова дороги чужие,
И по ним я идти обречен!
И бродить у Вандомской колонны
Или в плоских садах Тюильри,
Где над лужами вечер влюбленный
Рассыпает, дрожа, фонари,
Где, как будто веселые птицы,
Выбега́ют в двенадцать часов
Из раскрытых домов мастерицы,
И у каждой букетик цветов.
О, бродить и вздыхать о Плющихе,
Где, разбуженный лаем собак,
Одинокий, печальный и тихий
Из сирени глядит особняк,
Где, кочуя по хилым березкам,
Воробьи затевают балы
И где пахнут натертые воском
И нагретые солнцем полы...

2
ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ

Уж слеза за слезою
Пробирается с крыш,
И неловкой ногою
По дорожке скользишь.

И милей и коварней
Поотаявший лед,
И фабричные парни
Задевают народ.
И пойдешь от гуляний —
Вдалеке монастырь,
И извозчичьи сани
Улетают в пустырь.
Скоро снег этот слабый
И отсюда уйдет
И веселые бабы
Налетят в огород.
И от бабьего гама,
И от крика грачей,
И от греющих прямо
Подобревших лучей
Станет нежно-зеленым
Этот снежный пустырь,
И откликнется звоном,
Загудит монастырь.

Март 1913

ФРАНСИСУ ЖАММУ

Часто, блуждая вечером по Парижу, я ваш скромный домик снова вижу.

Зимнее солнце сквозь окна светит, на полу играют ваши дети. У камина старая собака, греясь, спит и громко дышит, в камине трещат еловые шишки. Вы говорите, а я слушаю и думаю, откуда в вас столько покоя, думаю о том, что меня ждет дорога угрюмая, вокзал и пропахший дымом поезд.

Если моя душа в Париже не погибла, спасибо вам за это, Жамм! Спасибо! Еще кружат надо мной метели темными стаями, еще душа не смеет назвать Того, к Кому обращается. Но вы, нашедший для своей молитвы восторг непересохшего ручья, молясь за всех, немного помолитесь за то, чтоб мог молиться я!

Ноябрь 1913

Стихи о канунах 1914 1915

* * *

Я сегодня вспомнил о смерти,
Вспомнил так, читая, невзначай.
И запрыгало сердце,
Как маленький попугай.
Прыгая, хлопает крыльями на шесте,
Клюет какие-то горькие зерна
И кричит: «Не могу! Не могу!
Если это должно быть так скоро —
Я не могу!»

О, я лгал тебе прежде,—
Даже самое синее небо
Мне никогда не заменит
Больного февральского снега.

Гонец, ты с недобрым послан!
Заблудись, подожди, не спеши!
Божье слово слишком тяжелая роскошь,
И оно не для всякой души.

Май 1914

* * *

На холму унынье и вереск,
И пастух на холму задремал.
Я знаю, ты не поверишь,
До чего я идти устал.
Рога окунули коровы
В красное море и спят.
Куда идти мне снова,
Когда потухает закат?

2 И. Эренбург, т. 1

Где-то бубенчик звякнул,
Такой убитый.
Залаяла собака,
И снова все тихо...

И если ты белый месяц увидишь —
Его не увидит пастух на холму.
И если споешь ты о прежней обиде —
Я песни твоей не пойму.

Июнь 1914

О СОБОРЕ РЕЙМСА

Доходил смердящий ветер
И по улицам носил дитя потерянное.
И стучали тихие калеки
Деревом.
Господень ларь, уныл и дымчат,
Стоял расщепленный, как дуб,
Лишь обратив на запад стылый и пустынный
Последний суд.
И семь птенцов, голодные, взлетали,
В ночи не видя ясного лица,
На грозный и сулящий палец
Окаменелого творца.
Пришла ко мне ты, тяжкая, нагая,
Спросить, готов ли я.
Готов!
Но погоди! Ты слышишь — это плачет Каин
Над пеплом жертвенных даров.

Декабрь 1914

* * *

Если б сегодня пророк пришел,
Я забыл бы о трудной свободе,—
Как некий сказочный волк,
Я лизал бы его благодатные ноги.

Но никто не хочет меня победить.
Еще вспоминая, я пла́чу,
Но молитвы — из книг,
Слезы — негорячие.

Утро пришло, не тушу свечу,
Гляжу на нее и молчу.
Сейчас запоет будильник,
Заведенный к чему-то вчера.
Пора! Пора! Пора!
Готов, но еще усилье...

Ты, глядящая в море испытующим взглядом,
Смотри — недвижен средь вод,
Горит омраченный корабль,
И матрос на мачте поет.

Декабрь 1914

* * *

«Атаки отбиты... победа...»
Маленькие, ровные слова.

Над бедным усталым ковчегом
Всё тех же ночей синева.
Последние выси
Покрыла вода.
И дальше астральных чисел
Никому не понять никогда.

Но дикий ангел бросит сети
В глухие воды и уснет.
Он, засыпая, не приметит
Какой-то праздный огонек.

И будет волн разбег сердитый,
Небесной степи синева.
...Он может тихо спать, и ныне не затмится
Тупая святость божества.

Декабрь 1914

ГОГОЛЬ

Неуклюжий иностранец,
Он сидел в кофейне «Греко».
Были ранние сумерки
Римского лета,
Ласточки реяли над серыми церквами.
Завлекла его у ног мадонны

Ангельская тягота и меч,
А потом на Пьяцца Спанья запах розы...
(Медные тритоны
Не устанут извиваться и звенеть.)

Вспомнил он поля и ночи,
Колокольцев причитанье
И туман Невы.

Странный иностранец,
Он просил кого-то
(Вечер к тонкому стеклу приник):
«От летучих, от ползучих и от прочих
Охрани!»
Сумрак, крылья распуская,
Ласточек вспугнул.
В маленькой кофейне двое
Опечалились далекой синевой.
...И тогда припал к его губам сладчайший,
Самый хитрый, самый свой.

Январь 1915

МОИ СЛОВА

В час, когда далекая заря,
Усмехаясь, тихо пенит
Белые, безликие моря,—
Маленький рождается младенец,
А смеется, как старик.
Посмеявшись, умирает,— это лучше!
День за днем, и я привык
К этим глазкам, к их пугающей воде
И к тому, что руки, нет, не руки — ручки
Отбиваются от близких бед.
(Милый трупик,
Забелит тебя рассветный снег!)

Тоненький огарок знает,
Как заря их крестит, крестит-отпевает.
Встали и очнулись.
Утро наконец.
Одного еще качаю в люльке —
Тоже не жилец...

Январь 1915

* * *

Н. А. Милюковой

Когда еще не совсем стемнело,
Зажигают на площади газовый рожок.
Расплывается пламя белое
Среди небесных песков.
Если б знать, зачем он, никем не замеченный,
Смотрит в сизую даль
В час, когда влага весеннего вечера
Еще не тронула теплый асфальт.

О, не надо, не надо бессмертья!
Слишком трудно думать о нем.
Только порадуйте бедное сердце
Одним ответным огнем!

Январь 1915

* * *

Люблю немецкий старый городок —
На площади липу,
Маленькие окна с геранями,
Над лавкой серебряный рог
И во всем этот легкий привкус
Милой романтики.

Летний дождик каплет.
Люб мне бледно-красный цвет моркови
На сером камне.
За цветными стеклами клетчатая скатерть,
И птица плачет о воле,
О нежной, о давней.

А в церкви никто не улыбнется,—
Кому молиться? Зачем?
И благочестивые уродцы
Глядят со стен.
Сторож тихо передвигает стулья.
Каплет дождик.
Уродцы уснули.

Январь 1915

ИЗ ЦИКЛА «РУЧНЫЕ ТЕНИ»

1

Е. Ш.

Каторжница, и в минуты злобы
Губы темные на все способны.
От какой Сибири ты взяла эти скулы,
Эту волю к разгрому, к распаду, к разгулу?
Жизни твоей половодья, пороги
И пожары далеких усобиц...
Сколько раз этих щек провалы
Синели от слез и от жалоб,
А бровей исступленные крылья
Распускались, сбирались и бились!..

Но Господь обрел в этом пепле
Живой огонь и глаза затеплил,
Разъятые жалостью, дымом, гарью —
Огромные, темные, карие.

Февраль 1915

2

М. Н.

В маленькой клетке щебечет и мечется,
Что-то повторяет бесконечное.
Войдешь — расспросы за расспросами,
Хлопоты знакомые.
Только как странно смотрят глаза раскосые,
Зеленые глаза, обреченные.
Боится, что наскучила,
На минуту отходит в угол,
Но если вы даже сделаете из птицы чучело,
Как глаза ее будут глядеть испуганно...

Февраль 1915

3

Н. А. Милюковой

Твои манеры милой тетки
Из бледно-розовой гостиной,
И голос медленный и кроткий,
И на груди аквамарины.

Но взор твой, ускользая праздно
В тупой и безразличной лени,
Таит все прихоти соблазна,
Все смены прежних наслаждений.
Как странно встретить у ребенка,
В минуту тихого мечтанья,
Какой-то след усмешки тонкой
Непоправимого познанья!..

Январь 1912

4

Веры Инбер

Были слоны из кипарисового дерева,
Из бронзы, из кости, еще из чего-то.
Не помогли амулеты — маленькие слоны,
Не помогли даже рифмы «Ленотра и смотра» ..

Вижу вас — вечно новая шляпка
И волосы ветра полны.
Голос капризный, лукавый:
«Где вы? Скажете еще! Неправда...»

Не помогли амулеты.
Испить вам дано
Жизни думы и годы —
Не хмельную печаль, не чужое вино,
Только холодную воду.

Февраль 1915

5

Маревны

Ты смеешься весьма миловидно и просто,
И волосы у тебя соломенные.

Ах, как больно глазам от известки
Заплясавших, задрыгавших домиков!
Жарко три дня подряд.
Что ж, купайся, пей лимонад!
Нет, я лучше у горячих стен

Потанцую под «Кармен»,
Потанцую, подурачусь, покричу —
В домике оставил я трескучую свечу!..

Но болезное святое дитятко
Не потерпит никакой беды,
Чтоб залить огонь, у Бога выпросит
Маленькую капельку воды.

Май 1915

6

Бальмонта

Пляши вкруг жара его волос!
Не пытай, как он нес
Постами
Этот легкий звенящий пламень.
Но иди домой и отдай подруге
Один утаенный и стынущий уголь.
Когда же средь бед и горя
Он станет уныл и черен,
Скажи, но только негромко:
«Прости, я сегодня видел Бальмонта...»

Апрель 1915

7

Максимилиана Волошина

Елей как бы придуманного имени
И вежливость глаз очень ласковых.
Но за свитками волос густыми
Порой мелькнет порыв опасный
Осеннего и умирающего фавна.
Не выжата гроздь, тронутая холодом...
Но под тканью чуется темное право
Плоти его тяжелой.
Пишет он книгу,
Вдруг обернется — книги не станет...
Он особенно любит прыгать,
Но ему немного неловко, что он пугает
прыжками.
Голова его огромная,

Столько имен и цитат в ней зачем-то хранится,
А косматое сердце ребенка,
И вместо ног — копыта.

Февраль 1915

8

Модильяни

Ты сидел на низенькой лестнице,
Модильяни.
Крики твои — буревестника,
Улыбки — обезьяньи.
А масляный свет приспущенной лампы,
А жарких волос синева!..
И вдруг я услышал страшного Данта —
Загудели, расплескались темные слова.
Ты бросил книгу,
Ты падал и прыгал,
Ты прыгал по зале,
И летящие свечи тебя пеленали.
О безумец без имени!
Ты кричал: «Я могу! Я могу!»
И четкие черные пинии
Вырастали в горящем мозгу.
Великая тварь —
Ты вышел, заплакал и лег под фонарь.

Апрель 1915

9

В. Н.

Собирает кинжалы, богов китайских,
Пишет стихи и стихи читает,
Но в душе запустенье и дрема,
Темный чад непроветренных комнат.
Одиноко пьет алкоголь и, бессильный,
Что-то бубнит о коврах королевы Матильды,
О случайно прочитанной книжке —
О Бергсоне, Рабле или о «Трупе в нише».
Хочется бить, ломать, бедокурить,—
Ах, ковры не застлали купеческой дури!..
На лице очки и пухлые щеки,
А глаз не видно, глаз не найдете.

Ставни закрыты, никто не знает,
Как безобразит тихий хозяин,
Как плачет, и слезы ползут неловко
По пыльным, по сделанным щёкам...

Февраль 1915

10

О. Цадкина

Люблю твое лицо — оно непристойно и дико,
Люблю я твой чин первобытный,
Восточные губы, челку, красную кожу
И всё, что любить почти невозможно.
Как сросся ты со своей неуклюжей собакой,
Из угла вдруг залаешь громко внезапно
И смущенно глядишь: «Я дикий,
Некомнатный, вы извините!..»
Но страшно в твоей мастерской: собака,
Прожженные трубки, ненужные книги и
девичьих статуй
От какого-то ветра загнутые руки,
Прибитые головы, надломленные шеи,—
Это побеги лесов дремучих,
Где кончала плясать Саломея...
Ты стоишь среди них удивлен и пристыжен —
Жалкий садовник! Темный провидец!

Февраль 1915

11

Своя

Горбится, мелкими шажками бежит
Туда и обратно.
Тонкие пальцы от всех обид
Скручены как-то.
Раздумчивый глаз
И усмешка:
Кое-что знаю про вас,
Все мы здешние, все мы грешные!
Жизнь нелегка,
И очиститься нечем.
Убьешь паука —
Отойдешь и повесишься.
Поглядит и бежит куда-то —

Туда иль обратно.
И, отвисшие, к ночи засохшие
(От молитвы иль только от страсти скрытой?),
Жадно ловят комнатный воздух
Губы семита.

Июнь 1915

КАНУН

На площади пел горбун,
Уходили, дивились прохожие:
«Тебе поклоняюсь, буйный канун
Черного года!
Монахи раскрывали горящие рясы,
Казали волосатую грудь.
Но земля изнывала от засухи,
И тупился серебряный плуг.
Речи говорили они дерзкие,
Поминали Его имена.
Лежит и стонет, рот отверст,
Суха, темна.
Приблизился вечер.
Кличет сыч.
Ее вы хотели кровью человеческой
Напоить!
Тяжелы виноградные гроздья,
Собран хлеб.
Мальчик слепого за руку водит.
Все города обошли.
От горсти земли он ослеп.
Посыпал ее на горячие очи,
Затмились они.
Видите — стали белыми ночи
И чернью покрылись дни.
Раздайте вашу великую веру,
Чтоб пусто стало в сердцах!
И, темной ночи отверстые,
Целуйте следы слепца.
Ничего не таите — ибо время
Причаститься иной благодати!»
И пел горбунок о наставшем успении
Его преподобной матери.

Февраль 1915

НАД КНИГОЙ ВИЙОНА

Бедный мэтр Франсуа!
В таверне «Золотой осел» сегодня весело.
Пришел, усмехнулся даме
(Все мы грешные!),
Кинул на стол золотое экю.

На твоем Завещании
Три повешенных.
И горек твой дар
Моей печали
В этот желтый и мокрый март,
Когда даже камень истаял.

Пошел — монастырский двор,
И двери раскрыты к вечерне.
Маленький черт
Шилом колет соперника.
Все равно!
Пил тяжелое туренское вино.
Ночи лик клонился ниже.
Пели девы: «Вот Он! Вот Он!»
Петухи кричали. Трижды
От Него отрекся Петр.

Февраль 1915

ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО МАРТА

Под золотом марта снега в оврагах вскипали.
На высокой паперти стоял слепой мальчик.
Простер он руку свою, прося подаянья,
Не к толпе прихожан и не к пашне, синевшей
в тумане,
Но к желтому небу.

Это день исцелений! Гроза средь снега!
Бесплодные вдовы и девы в церкви. Он
слушал,
Как о нежном сыночке голосила кликуша.
Он тянулся к небу, и в полдень
Кто-то золотом руку его наполнил.

Девять лун отойдут, и звезда загорится в
сочельник.
Погорюет жена над пустой колыбелью.
Но, боже, как будет он плакать, маленький
мальчик,
Когда последние капли уйдут сквозь сжатые
крепко пальцы!..

Март 1915

* * *

Майское утро, и плачет шарманка,
Но сегодня я больше не встану.
Вы, в своем милосердии
Приносящая крест,
Расскажите о чьей-нибудь смерти,
Чтоб я не боялся чудес.
Нет, перестаньте,
Прогоните лучше его!..
Я знаю, что этот же самый шарманщик
Стоял над калекой Рембо.

Как совладать с весенними днями,
Они сочатся сквозь шторы, сквозь ставни.
Пароход, уплывающий в Харрару,—
Это не пьяный корабль!
Скоро ль, устав наконец,
Курчавому доброму негру
Я отдам золотой бубенец
И за это возьму его веру?
Но негр не приходит, не уходит шарманка.
Я сегодня больше не встану...

...Вот казнь, и нет ни плахи, ни меча,
И даже кровь, и даже кровь не горяча!

Март 1915

В ДЕТСКОЙ

Рано утром мальчик просыпался,
Слушал, как вода в умывальнике капала.
Встала — упала, упала — и жалко...
Ах, как скулила старая собака,

Одна, с подшибленной лапой.
Над подушкой картинку повесили,
Повесили лихого солдата,
Повесили, чтобы мальчику было весело,
Чтоб рано утром мальчик не плакал,
Когда вода в умывальнике капает.
Казак улыбается лихо,
На казаке папаха.
Казак наскочил своей пикой
На другого, чужого солдата,
И красная краска капает на пол.

Март 1915

НАТЮРМОРТ

От этой законченной осени
Душа наконец ослабла.
На ярком подносе
Спелые, красные яблоки.
Тяготейте вы над душой ослабшей,
Круглые боги, веские духи,
Чую средь ровного лака
Вашу унылую сущность.
Все равно, обрастая плотью,
Душа моя вам не изменит.
Зреет она на тяжелом подносе
В эти тихие дни завершений.

Март 1915

В ВАГОНЕ

В купе господин качался, дремал, качаясь
Направо, налево, еще немножко.
Качался один, неприкаянный,
От жизни качался от прожитой.
Милый, и ты в пути,
Куда же нам завтра идти?
Но верю: ватные лица,
Темнота, чемоданы, тюки,
И рассвет, что тихо дымится

Среди обгорелых изб,
Под белым небом, в бесцельном беге,
Отряхая и снова вбирая
Сон, полусон,—
Все томится, никнет и бредит
Одним концом.

Апрель 1915

* * *

Марии Моравской

Слышишь, как воет волчиха,
Собирая отсталых волчат?
В поле просторно и тихо.
Куда ты ушел наугад?
Ясный панёнок,
Маленький пан,
Отчего твой зеленый
Алеет жупан?..

Май 1915

НАПУТСТВИЕ

О летящая мимо,
Ты падешь на скаты голые,
На ржавую глину,
Разогретую солнцем.
Станешь снова таять и париться,
Ноги свои удивленно тронешь,
Малой тварью
Затрусишь полегоньку.

Помяни и того, кто был создан
Из той же глины хрупкой,
Кто остался слишком поздно
Сидеть на приступочке,
Распевая: «Барышни хорошие,
Благолепные барышники,
Подайте один только грошик
Спившемуся,
Развалившемуся!..»

Май 1915

НА ВОЙНУ

Уходили маленькие дети —
Ванечки и Петеньки,
Уходили на войну.
Ну! Ну!
Пейте! Бейте!
Бейтесь! Смейтесь!
На вокзальной скамейке!

Какой пухлый профиль,
И заботливо прицеплена фляжка.
Он сегодня утром еще пил кофе
С мамашей.
Пили и забыли.
Уходили.
Не глядели, не скорбели.
Пили, пели.

Чад ли? Жар ли?
Солнце в лужи тычется.
Скоро снег последней марли
Скроет личико.
Вечер светится.
Отдыхают усталые люди.
А нового Петеньки
Больше не будет.

Май 1915

* * *

Ни к богатым, ни к косматым,
Ни к мохнатым медвежатам,
Ни к арапам косолапым,
Ни к собакам, ни к чертякам,—
Шла смерть в мою клетушку,
За мой стол, до моих детушек.
Я просил: «Не тронь детенышей!»
А она взяла и тронула.
«Ты не гладь» — она погладила,
Всем дала по виноградине,
Увела и след приметила,
Замела хвостами песьими,

А к себе пришла, проклятая,
Завизжала и заплакала,
Плача, пеленала трупики,
Пестовала и баюкала:
«Я-га-га! У-лю-лю!
На-по-ю! На-кор-млю!»

Май 1915

ПОСЛЕ СМЕРТИ ШАРЛЯ ПЕГИ

В дни Марны на горячей пашне
Лежал ты, семени подобен,
Следя светил, спокойно протекавших,
Далекие дороги.
А жирные пласты земли
Свои упрашивали, угощали снедью жаркой,
Свои упрашивали и враги.
В дни сентября мы все прочли:
На Марне
Убит Пеги.
О господи, все виноградники Шампани,
Все отягченные сердца
Налились темным соком брани
И гнут бойца.
А там, при медленном разливе Рейна,
Ты, лоза злобы, зацвела.
Вы, собутыльники, скорее пейте
У одного стола!
Над этой бедной бездыханной плотью,
О, чокнитесь!

Май 1915

НА ЗАКАТЕ

На закате
Было особенно душно.
Приходили оловянные солдатики
И стреляли из маленьких пушек.
Старший цедил какую-то шутку.
Дымила трубка.
Дрогнули тела, повалились рядами,

Сокрушенные зорким огнем.
И видел и плакал Каменщик
Над гиблым трудом.
К ночи пришли влюбленные девы,
Грудью прильнули к вспаханному полю,
К полю, сытому от цельного хлеба
И от соли.
(О, как нежные губы жжет
Смертный пот!)
А в деревне выла собака,
Вспоминая жилье,
Выла, что что-то было
И что иссякло
Все.

Май 1915

В АВГУСТЕ 1914 ГОДА

Издыхая и ноя,
Пролетал за поездом поезд,
И вдоль рельс на сбегающих склонах
Подвывали закланные жены.
А в вагоне каждый зуав
Пел высокие гимны.
(И нимфы
Стенали среди дубрав.)
«Ах, люблю я Мариетту, Мариетту
Эту.
Все за ней хожу.
Где мы? Где мы? Где мы?
Я на штык мой десять немцев
Насажу!»
Дамы на штыки надели
Чужеземные цветы — хризантемы.
А рельсы всё пели и пели:
«Где же мы? Где мы?»
И кто-то, тая печаль свою,
Им ответил: «В раю».

Май 1915

P.S.[1]

Я знал, что утро накличет
Этот томительный вечер;
Что малая птичка
Будет клевать мою печень;
Что, на четыре части переломанный,
Я буду делать то, что надо
И чего не надо:
Прыгать на короткой веревочке
Мелким шагом,
Говорить голоском заученным
Про свою тоску,
Перечитывать житье какого-нибудь мученика
Или кричать: а-а! ку-ку!
Глуп-глуп! мал-мал!
Я это знал,
И все же, когда любовь пришла, я не понял —
Где это? что это? то или это?
Заплакал и отдал картонной мадонне
Ключи погибающей крепости...

Май 1915

В ПИВНОЙ

Приходили четыре безногих солдата.
Пили горькое пиво.
О лихих, о далеких атаках
Говорили лениво.
Говорили, смотрели
На женские прелести.

«Пушка ты, пушечка,
Как тебя не назвать?
Душечка!
Семьдесят пять!
Рушь ты немчиков,
Розовых младенчиков!
Все разрушишь —
Тихо будет к вечеру.

---

[1] Постскриптум (*лат.*).

Дай, моя пушечка,
Я поцелую твое плечико!..»
Девки целовали солдат,
Какая кого, наугад.
«Пригожие мои, видные,
Румяные.
Ножки у вас не какие-нибудь —
Деревянные!»
Целуйте, какая кого! Не спорьте!
Горько! Горько!
Солдат вынул образок,
Лег на скамью, как в гроб.
Плакал Никола-чудотворец,
Застилал одинокую душу.
А золотое, прошлое горе
Все еще пенилось в кружках.

Июнь 1915

ARS[1]

Я бродил, я любил здесь когда-то,
А теперь, разлюбив, позабыв,
Я касаюсь мрамора статуй
Среди тощих низких олив.
Я дрожу,— ни тоска, ни трепет
Эту белую плоть не пронзит.
Только изредка летний ветер
По глянцу листвы скользит.
Не хочу! Не хочу вашей правды!
Вы всего мудрей и ясней,
Но даже малая травка
Не взойдет из этих камней.
Облаками большими, тяжелыми
Скрыты синие очи Отца.
Но в душе не осталось золота,
Чтоб отлить иного тельца.

Июнь 1915

---

[1] Искусство (*лат.*).

ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ

Я приду к родимой, кинусь в ноги,
Заору:
«Бабы плачут в огороде
Не к добру.
Ты мне волосы обрезала,
В соли омывала,
Нежная! Любезная!
Ты меня поймала!
Пред тобой, перед барыней,
Я дорожки мету.
Как комарик я
Все звеню на лету —
Я влюблен! Влюблен!
Тлею! Млею!
Повздыхаю! Полетаю!
Околею!»

Июль 1915

ГДЕ-ТО В ПОЛЬШЕ

Приходили, уходили сердитые...
Иудеи, снова приходила наша судьба!
Убегали, прятали старые свитки
В погреба...
Бедный Иоська, раскачайся, покачайся и завой!
— Я есмь Господь Бог твой!

Наше племя
Очень дрессированное.
Мы видали девятьсот пленений
Снова, снова и снова...

Мама Иосеньке поет,
Соской затыкает рот:
«Ночью приходили
И опять придут.
Дедушку убили
И тебя убьют!»

Дымятся снега, но цела твоя Тора!
Видишь, Господь?
Шли же скорее своих тихих воронов
Разрывать нашу древнюю плоть.

«Ой! Ой!
Боже мой!
Дышат тише.
Ходят ближе.
Спи, мой милый,
Спи же, жди же!..»

Июль 1915

ПРОГУЛКА

В колбасной дремали головы сви́ньи,
Бледные, как дамы.
Из недвижных глаз сочилось уныние
На плачущий мрамор.
Если хотите, я подарю вам фаршированного
борова
Или бонбоньерку с видами Реймского
собора.

«Ох вы, ро́дные, хорошие!
Подсобите мне!..
Очень уж тошно
Без Митеньки!»
И на мокрых досках
Колыхался мертвый солдат,
Торчала горькая соска
В ярко-лиловых губах.
Нет, я поднесу вам паштеты,
А эти туши
Мы прикажем убрать астрами, только
фиолетовыми,
И вечером скушаем.
«Мальчик мой перебитый!..
Все переменится...»
Только ветер один причитывал:
«И презревши все прегрешения...»

Сентябрь 1915

ОТХОДНОЕ

Ночью тихие грехи,
Один... и ни слова...
Нельзя же вечно: «Апчхи!»

«Будьте здоровы!»
«Вы какие? Турецкие?»
«А я Кри-Кри, а я Фру-Фру...»

Знаешь, это звучит по-детски,
Но теперь я скоро умру!
Это знает мой сосед,
И лекарь-грек,
И барышни в «Ротонде»,
И колокольчик конки.
Это знает тот плюгавый,
Что в моем ведре плавает,
Кричит: «Не сливай, а то залаю!»
Это все знают, только ты не знаешь.

Но ты знаешь, как я жил раньше,
И «Я живу», и «Одуванчики»,
И то, как я лаял малость,
И то, как лай мой ты слушать устала,
И сказки, и ласки, и ночи, и очи,
И прочее, прочее, прочее...

«Знаете, этот поэт-то помер!..»
«Да что вы? Ну, комик!»
«Все умрем».— «Попробуй — умри!»
«Умру».
«Кри-Кри!»
«Фру-Фру!»

Где же ты? Уж кричит петух.
Пот сотри! Облегчи тоску!
Дай мне разрешенье!

«Послушайте, одно из двух:
Или кричите кукареку,
Или пойте хорошенько,
Вот как я пою:
«И раба твоего Илию...»
«Послушайте, вы снова?..»
«Будьте здоровы!»

Ноябрь 1915

1

ПРОСТИ МЕНЯ — БЛУДЛИВОГО

Утром не было письма.
Тело было бело — белей бельма.
Качал стул.
До обеда три раза зевнул.
Сколько? Четыре? Четверть пятого —
Как рано!

(И мухи, и патока.)

Я глазами прощупал сквозь блузку — ага!
что-то новое...
Со скуки разве попробовать?
На диван присели.
...Как мухи засидели Боттичелли!..
Ку-ку, Венера,
Нашла кавалера?
Знаешь, милый, нет дня —
Поцелуй меня!
Знаешь, так лучше, не надо огня —
Поцелуй меня!
Я люблю его! Господи, неужели как всех?
Господи, грех?
Знаешь, это дудки!
Не затем диван.
Грудки твои, грудки,
Точно марципан.

Цепляемся за руки, за волосы, за плечи!
О владыко!
Выплыть хочется! Выплыть!
Не надо! Слышишь! Не надо!
И падаем!..
Так птица с дробинкой в груди падает в землю,
упершись крылами,
Так падает в воду камень,
Так падает старый бродяга, прикончив
четверть, в последний раз,
Так падает час!

От тел горячих этот запах терпкий.
Господи! Трупы простертые, смотрим мы
в око смерти!

И, как плиты, чужие плечи.
А сказать друг другу нечего!

«Милый, где мы?»
«У меня».— «Отвернись, я оденусь!»
Не глядел ей в глаза. Страшно!
Я знаю все, и какая на ней рубашка.
Выпил три кружки пива.

Господи, прости меня — блудливого!
За то, что я спал в детской кровати
(С сеткой). Касался плоти матери.
За то, что в тринадцать лет я плакал,
Не в силах понять твоего знака.
За то, что я ночью бегал — лицо мокрое —
И щипал свою грудь, щипал до крови,
За то, что делать — просто делать нечего,
И с четырех так долго еще до вечера,
За то, что я пил пиво,
За то, что я блудливый,
Прости, прости меня, Господи!

2

ПРОСТИ МЕНЯ — БОГОХУЛЬНИКА

Тик-так.
Вот так так.
Сосед где-то прыснул, фыркнул, харкнул.
И сладкий запах лекарства.
Глупости! Просто
Сосчитаю до ста.
Двадцать, двадцать пять...
Страшно помирать.
Двадцать шесть...
А если что-нибудь есть?..
Помирает сыночек.
(Ночью, всё ночью!)
Тридцать девять и восемь.
Доктор, просим! Просим.
Господи, вот его повозка,
Шапка матросская.
«Адмирал».
Он в «Адмирале» только «А» знал.

Ну-ну! Господи!
Видно, сегодня не усну.

Помрешь — будет скверный дух,
Вырастет из тебя лопух.

А в гробу жить хочется,
Волосы растут и ноготочки.
Уж кричит петух.

Хорошо бы угостить конфетами дюжину
старух,
Показать им, на прощанье,
Как приятно баловаться в бане.

Я не плачу —
Я визжу по-поросячьи,
Так визжал Петр: «И! и! и!
Твои и мои и твои!»
Так визжит мать в ногах у профессора.
«Лучше?»
«Сударыня, надейтесь, бывают случаи...»
Так визжит кошка: «Ой-я, ой-я!
На помойке, на помойке!»

Кончено.
Лучше хлебнуть коньячку, а потом
лимончиком...
Эта икона какого письма? Какого века?
Экземпляр! И триста — недорого это...
Какая наивность!
Простите, перебил вас, — вы коньячку или
пива?

Озирис. Будда. Христос.
Позвольте, один вопрос —
Будет или не будет
Хотя бы сковородка?
Господи, за что ты?
И сил больше нет...
Что сегодня на обед?
Хе! Еще поживем на этом свете.
Скажу вам — паштетик!
В раю и на стуле.

Господи, прости меня — богохульника.
За то, что я, похоронив в саду Жучку,
Оглянулся, сказал: «Ничего нет, и скучно».

За то, что ты любишь загадки
И с нами играешь в прятки.
За то, что я кричал «ау! ау!»,
За то, что я еще живу,
Не оставив записки: «Засим довольно,
Погуляли, никого не нашли и уходим по доброй воле!»
За то, что ночью уговаривает маятник:
Так все начинается, так всё и кончается.
За то, что я, как в раю, на стуле,
За то, что я богохульник,
Прости, прости меня, Господи!

3

ПРОСТИ МЕНЯ — ПОЭТА

Заберусь в уголок,
Напишу стишок.
Размечтаюсь, покаюсь,
Затоскую.
Но «Христа» и «креста»
Обязательно срифмую.

Дай мне тот платок вязаный!
Знаешь, это покойной... Сегодня что-то вспомнилось разное...
Посиди со мной! Так здесь невесело...
Помню, у нас дома была под лестницей...

Обожди — платок! платочек!
Очень хорошо! очень!
Тише! тише!
Два четверостишия.
Тебе лучше не жить,
А то, а то я теряю нить.

Я его хлестал, по щекам хлестал,
И он закрыл свои щеки руками:
«Довольно!»
Но я писал.
Она умрет.
Посвящу мою книгу великой печали,
Отшедшей музе и так далее.

Я мерзость чиню пристойно.
Так делили твои ризы воины,
Так за рубль продают серебряный крестик,

Так воют шакалы, на мокром месте
Так плакальщицы идут за покойником
И стыдливо смотрят вниз.

Эй, дай мне клок его риз!
Вечерние тернии,
И гвозди, и грозди!..
Вам нравится это?..
Господи, прости меня — поэта
За то, что я прежде не знал, с чем рифмуется
«Бог»,
И глумиться еще не мог.
За то, что я первый стишок написал почти
плача,
Тайком, от любви неудачной.
За то, что я признан «избранными», потом
буду признан всеми,
За то, что у меня к себе только отвращенье!
За то, что теперь я строчу эффектный куплет,
За то, что я «милостью божьей» — поэт,
Прости, прости меня, Господи!

4

ПРОСТИ МЕНЯ — НЕРАДИВОГО

Вдалеке
Кто-то прыгает.
А я в гамаке
И не двигаюсь.
Дай мне спичку
И чаю, только с клубничным.

«Жив-здоров, пришли еще деньжат».
Пальцы дрожат.
И как носила, и как рожала,
И как простилась, и как не стало...

Ни любви! Ни ненависти!
Но вполне беспристрастно!
Вы любите хризантемы?
А я астры.
Впрочем, и хризантемы прекрасны!

Она ждет ребенка —
Женка! Женка! Женка!

Отрицаю Бога!
Мне мила свобода!
Я поеду поразвлечься
И за ширмами
Поглядеть на бабьи плечи
Очень жирные.
Как поле в год засухи,
Как чрево монахини,
Как в бюро — «Вы за пособьем?
Вот месячные, а вот еще три на гробик».
Запомните это —
Гробик с глазетом!
Как молитва поэта! Как в блудилище семя.
Так велико мое нераденье.

«Папа, хочу тебя скушать!»
Нет, я дам тебе горбушку,
В моем ведении
Не доеденную.

Я безгрешен,
Никого не вешаю!
Застрелил бы я утку —
Не заряжено ружье.
Я растлил бы Анютку —
Да в тюрьме какое житье!

Лучше чистеньким
Заниматься мистикой!
Помянуть тебя всуе —
И то пригодится.
Вы хотите крови? Не торгую,
Вот в графине чистая водица.

Лежу в гамаке под ивой.

———

Господи, прости меня — нерадивого!
За то, что я плакал, прыгал и бегал,
За то, что в первый раз, не доев ломтя хлеба,
Я удивился — не понял!
За то, что пусто в твоем доме!
За то, что, как камень, ложится на сердце
каждая книга,
За то, что никто не прощает обиды,

Прости за то, что меня не прощали,
За то, что я нынче зубы скалю
За чашкой чая, под ивой,
За то, что я нерадивый,
Прости, прости меня, Господи!

5

ПРОСТИ МЕНЯ—ЗЛОБНОГО

На подоконнике приятен мушиный лазарет.
У этой крылышка, у этой ножки нет.
С платком на окошке.
Ножки вы, ножки!

Снег скучный, снег белый.
Ты меня рассмешила!
Хорошо бы, если б на снегу задымилась...
«Что ты делаешь?..»
«Ах, родимая,
Кровь задымилась бы.

Не твоя — а мушиная».

«Милый, отчего ты заходишь так редко?»
«Занят».
«Страшно мне вспомнить про это!..»
«А ты сходи в баню».
И я не кричу.
Я молчу.
Так молчат дрессированные грешники.
Так молчат на пожаре головешки.
Так молчат коты, облизываясь.
Так молчат, развернув бонбоньерку
«с сюрпризом».
Так молчат после травли усталые гончие.
Так молчат, когда всё, когда всё уже кончено!

Я сегодня выгляжу немного лучше.
Ночью было малость —
Щипал деткины ручки.
Утешался.
Знаете, это от Бога...
Господи, прости меня — злобного!

За то, что я грудь мамки зубами кусал,
Но не знал!
За то, что, увидев впервые битую бабу,

Я спросил тебя: «И это надо?»
За то, что без крови и мухе скучно,
А с кровью, а с кровью не лучше.
За то, что сладко пахнут моченые розги,
За то, что ты, а не Он меня создал,
За то, что всё ведь от Бога,
За то, что я злобный,
Прости, прости меня, Господи!

6

ПРОСТИ!

Ты простил змее ее страшный яд!
Ты простил земле ее чад и смрад!
Ты простил того, кто тебя бичевал!
И того, кто тебя целовал,
Ты простил!

За всё, что я совершил,
И за всё, что свершить каждый миг я готов,
За ветром взрытое пламя,
За скуку грехов
И за тайный восторг покаянья
Прости меня, Господи!

Труден полдень, и страшен вечер.
Длится бой.
За страх мой, за страх человечий,
За страх пред тобой
Прости меня, Господи!

Я лязг мечей различаю.
Длится бой. Я кричу: «Победи!»
Я кричу, но кому — не знаю.
За то, что смерть еще впереди,—
Прости, прости меня, Господи!

Ноябрь 1915

БАЛЛАДА ОБ ИСАКЕ ЗИЛЬБЕРСОНЕ

Бим! бом! бом!
Когда родился Исак Зильберсон,
Высоко над домом
Ранние звезды зацветали,

А внизу в тесной комнате
Шесть маленьких Зильберсонов
Визжали.
Сам Зильберсон бегал в ломбард и в какое-то
правленье —
Искал пять рублей.
Увидев сына, сказал: «Седьмой... ах, если б не
деньги!..
Но, слава Богу, все-таки с детьми веселей...»
А маленький Исак, красный, смешной,
Еще не знал, что он седьмой,
И только пищал: «Ой-ой-ой!»

Исака взял дядя на воспитанье.
Дядя любил поговорить вечерами:
«Вот пальто тебе купил, не какое-нибудь,
Знаешь сколько стоит?
Двенадцать с полтиной!
Пожалел бы для сына.
А ты его не порви! А ты его не замажь!
Опять на коленках ерзал!
Я из тебе выгоню эту блажь!
В пятницу — порка...
Твой отец всю жизнь по передним
околачивался,
У родственников клянчил трешницу.
Что ты? Еще плачешь?
Ложись-ка! Я тебя поучу немножко...
Твой отец шалопай — семь детей изготовил!
Я тебя выведу в люди!
Не смей хныкать! Должен быть веселым!
Запорю, если плакать будешь!..».
Но Исак не плакал — он не умел плакать,
В коридоре за старым шкафом,
Уткнувшись в угол головой,
Он тихо стонал: «Ой-ой-ой!»

В школе зубрил прилежно:
«Крайняя точка — мыс Доброй Надежды...»
А Зайцев Иван и Захаров Геннадий
Жужжали сзади:
«Сидит жидочек на лавочке,
Мы посадим жидочка на булавочку»,
Дергали, щипали, били не ремнем — пряжкой.
Исак не просил, не жаловался, не спрашивал,

Под скамьей
Он только визжал: «Ой-ой-ой!»

А потом Исак Зильберсон поступил в контору,
Считал: «Подшипников отправлено сто
восемь...»
Вот зима скоро —
У Елизарова есть шапка, совсем под котика,
Только дорого!..
В комнате убрал открытками стены —
«Господи, какая есть на свете роскошь!
Какой закат в Сорренто!
Какие плечи у Венеры Милосской!»
По праздникам душился духами «Запах
маркизы»
Надевал воротничок самый высокий
И осторожно (а то брюки забрызгаешь)
Шагал в городскую Оперу.

Бим! бом! бом!
На сцене любили, ревновали, стреляли.
И думал Исак Зильберсон —
«Хорошо бы родиться в Италии...»
А ночью у себя мечтая,
Напевал, только тихо, чтоб не разбудить
хозяев:
«Женщины, женщины,
Как вы изменчивы!»
Но никогда женщин не знал,
Ибо страдал
Застенчивостью...

Исак Зильберсон влюбился в старшую дочь
бухгалтера —
Надежду Павловну.
Чертил везде
«Н. П. Д.».
«Надежда Павловна, как глядит!
Какой вид! Какой шик!»
Однажды осмелел, явился, сел на кончик
кресла.
«Надежда Павловна, вам ничего неизвестно?..
Я... Я — Исак Зильберсон...
Нет, я лучше скажу потом...

Простите, я не то хотел сказать... Я ошибся...
Я служу в конторе «Американские
подшипники»...»

Надежда Павловна смеялась: «Бедный,
Сядьте же хоть как следует.
Вы не умеете говорить комплименты...
Папа мне насплетничал, что вы душитесь...
У вас такой забавный акцент...
Ну, я слушаю...»
Но Исак Зильберсон только тряс головой
И, закрыв глаза рукой,
Вздыхал: «Ой-ой-ой!»

Исак Зильберсон в летнем саду «Венеция»,
Глядя на четыре пыльных деревца,
Пил ананасовую воду.
«Я люблю природу!
Как хорошо бы жить тихо, просто
Вот под такой липой».
(Это была тощая березка,
Но он все деревья звал липами.)
Пил и глядел на пышную даму
В оранжевом платье.
«...Экстренные телеграммы!..
Высочайший указ... Призыв ратников...»
Исак прочел, тихо пикнул.
«Как хорошо бы жить под этой липой...»
Бом! бом! бом!
Гремел граммофон.
И читал Исак Зильберсон,
Что он, Исак Зильберсон,
Должен идти на войну.
И пела «этуаль» про луну,
И пела про то и про это,
И кричали и хлопали где-то...
Исак подумал: «Кружится голова...
Я покраснел... Все смотрят, даже дамы...
На войну — это значит: раз-два! раз-два!
И пушки... Все-таки странно...»

Исак Зильберсон лежал на животе,
окопавшись.
«Не так страшно.
Только скорей бы идти, а то... Боже,

Как болит под ложечкой».
А солдаты смеялись: «Понюхай пороху!..
Да только труса даст, жидовская морда!..»
Потом бежали — и он бежал,
Кричали — и он кричал,
Стреляли — и он стрелял.
Бум! бум! бом!
Пушки тяжело вздыхали, охали.
И видел Исак Зильберсон,
Как на него кинулся кто-то,
Он хотел что-то сделать, но вспомнишь разве?
Он выронил штык свой наземь.
Заслонил лицо рукой
И завопил: «Ой-ой-ой!»
Пушки все охали грозные
Бом! бум! бом!
И — долго глядел Исак Зильберсон,
Как гасли далекие звезды.

К Господу Богу пришел Исак Зильберсон.
Сияли звезды, звенели лютни.
И от райского света зажмурился он
И прятал, стыдясь, свои руки.
Господь Бог спросил Исака:
«Скажи, как ты жил?
Как грешил, как радовался, как плакал
И как любил?»
Исак смутился: «Что отвечу?
И даже выдумать нечего...
Ведь я же жил, служил, ходил, бегал,
А кажется, будто ничего не было...»
Господь Бог долго ждал ответа,
Долго глядел он на бедного человека.
Но молчал Исак Зильберсон.
Лютни звенели — бим! бом!
Ангелы пели: «Слава Всевышнему!»
Но Господь Бог сказал им: «Тише!»
И Господь Бог закрыл свои очи рукой,
И Господь Бог сказал: «Ой-ой-ой!»

1916
Эз

ПУГАЧЬЯ КРОВЬ

На Болоте стоит Москва, терпит:
Приобщиться хочет лютой смерти.
Надо, как в чистый четверг, выстоять.
Уж кричат петухи голосистые.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.
От церквей идет темный гуд.
Бабы всё ждут и ждут.
Крестился палач, пил водку,
Управился, кончил работу
Да за волосы как схватит Пугача.
Но Пугачья кровь горяча.
Задымился снег под тяжелой кровью,
Начал парень чихать, сквернословить:
«Уж пойдем, пойдем, твою мать!..
По Пугачьей крови плясать!»
Посадили голову на кол высокий,
Тело раскидали, и лежит оно на Болоте.
И стоит, стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Разделась баба, кинулась голая
Через площадь к высокому колу:
«Ты, Пугач, на колу не плачь!
Хочешь, так побалуйся со мной, Пугач!
...Прорастут, прорастут твои рваные рученьки,
И покроется земля злаками горючими,
И начнет народ трясти и слабить,
И потонут детушки в темной хляби,
И пойдут парни семечки грызть, тешиться,
И станет тесно, как в лесу, от повешенных,
И кого за шею, а кого за ноги,
И разверзнется Москва смрадными ямами,
И начнут лечить народ скверной мазью,
И будут бабушки на колокольни лазить,
И мужья пойдут в церковь брюхатые,
И родят, и помрут от пакости,
И от мира божьего останется икра рачья
Да на высоком колу голова Пугачья!»
И стоит, и стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.

1916

Молитва о России 1917–1919

МОЛИТВА О РОССИИ

Эх, настало время разгуляться,
Позабыть про давнюю печаль!
Резолюцию, декларацию
Жарь!
Послужи-ка нам, красавица!
Что не нравится?
Приласкаем, мимо не пройдем —
Можно и прикладом,
Можно и штыком!..
Да завоем во мгле
От этой, от вольной воли!..

О нашей родимой земле
Миром Господу помолимся.
О наших полях пустых и холодных,
О наших безлюбых сердцах,
О тех, что молиться не могут,
О тех, что давят малых ребят,
О тех, что поют невеселые песенки,
О тех, что ходят с ножами и с кольями,
О тех, что брешут языками песьими,
Миром Господу помолимся.

Господи, пьяна, обнажена,
Вот Твоя великая страна!
Захотела с тоски повеселиться,
Загуляла, упала, в грязи и лежит.
Говорят — «не жилица».
Как же нам жить?

Видишь, плачут горькие очи
Твоей усталой рабы;
Только рубашка в клочьях,
Да румянец темной гульбы.
И поет, и хохочет, и стонет.

Только Своей ее не зови —
Видишь, смуглые церковные ладони
В крови!
...А кто-то орет: «Эй, поди ко мне!
Ишь, раскидалась голенькая!..»

О нашей великой стране
Миром Господу помолимся.
О матерях, что прячут своих детей —
Хоть бы не заметили!.. Господи, пожалей!..
О тех, что ждут последнего часа,
О тех, что в тоске предсмертной молятся,
О всех умученных своими братьями
Миром Господу помолимся.

Была ведь великой она!
И, маясь, молилась за всех,
И верили все племена,
Что несет она миру крест.
И, глядя на Восток молчащий,
Где горе, снег и весна,
Говорили, веря и плача:
«Гряди, Христова страна!»
Была, росла и молилась,
И нет ее больше...
О всех могилах
Миром Господу помолимся.
О тех, что с крестами,
О тех, на которых ни креста, ни камня,
О камнях на месте, где стояли церкви наши,
О погасших лампадах, о замолкших колокольнях,
О запустении, ныне наставшем,
Миром Господу помолимся.

Господи, прости, помилуй нас!
Не оставь ее в последний час!
Все изведав и все потеряв,
Да уйдет она от смуты
К Тебе, трижды отринутому,
Как ушла овца заблудшая
От пахучих трав
На луг родимый!
Да отвергнет духа цепи,
Злое и разгульное житье,
Чтоб с улыбкой тихой встретить

Иго легкое Твое!
Да искупит жаркой страдой
Эти адовы года,
Чтоб вкусить иную радость
Покаянья и труда!
Ту, что сбилась на своем таинственном пути,
Господи, прости!
Да восстанет золотое солнце,
Церкви белые, главы голубые,
Русь богомольная!

О России
Миром Господу помолимся.

Ноябрь 1917
Москва

СУДНЫЙ ДЕНЬ

Детям скажете: «Когда с полей Галиции,
Зализывая язвы,
Она бежала еще живая,
Мы могли как прежде грустить и веселиться,
Мы праздновали,
Что где-то под Санем теперь не валяемся.
Зубы чужеземные
Рвали родимую плоть,
А все мы
Крохи подбирали, как псы лизали кровь.
Срывали с нее рубище,
Хлестали плетьми,
Кусали тощие груди,
Которые не могли кормить...»

Детям скажете: «К весне она хотела привстать,
Мы кричали: «Пляши! Эй, Дунька!»
Это мы нарядили болящую мать
В красное трико площадной плясуньи.
Лето пришло. Она стонала,
Рукой не могла шевельнуть.
Мы били ее — кто мужицким кнутом, кто
палочкой.

«Ну, смейся! Веселенькой будь!»
Ты первая в мире —
Ух, упирается, дохлая!
Живей на канат и пляши в нашем цирке!
Все тебе хлопают!»
Детям скажете: «Мы жили до и после,
Ее на месте лобном
Еще живой мы видали».
Скажете: «Осенью
Тысяча девятьсот семнадцатого года
Мы ее распяли».

———

Октябрь
Всех покрыл своим туманом.
Были среди них храбрые,
Молодые, упрямые.
Они шли и жадно пили отравленный воздух,
Будто не на смерть шли,
А только сорвать золотые звезды,
Чтобы они на земле цвели.
Были обманутые — нестройно шагали,
Что ни шаг, оглядывались назад.
«На прицел!» — уж курки сжимали их пальцы,
Но еще стыдливо притуплялись глаза.
Были трусливые — юлили, ползали.
Были исступленные как звери.
Были усталые, бездомные, голодные,
У которых в душе только смерть.
Было их много, шли они быстро,
Прикрытые железным туманом,
Вел их на страшный приступ
Дед балаганный.
И когда на Невском шут командовал:
«Направо!» —
И толпа разлилась по Дворцовой площади,
Слышно было, кто-то взывал средь ночи:
«Савл! Савл!»

Еще многие руки — пусть слабые!
Сжимали невидимый ларь,
Где хранилась честь Российской державы.
«Чего зря болтать!.. Ставь пулеметы!.. Жарь!»

В Зимнем дворце среди пошлой мебели,
Средь царских портретов в чехлах,
Пока вожди еще бредили,
В последний час
Бедные куцые девушки
В огромных шинелях,
Когда все предали,
Умереть за нее хотели —
За Россию.
Кричала толпа:
«Распни ее!»
Уж матросы взбегали по лестницам:
«Сучьи дети! Всех перебьем!
Ишь бабы! Экая нечисть заводится!..»
А они перед смертью
Еще слышали колыханье победных знамен
Ныне усопшей Родины...

«Эй, тащи девку! Разложим бедненькую!
На всех хватит! Черт с тобой!»
«Это будет последний
И решительный бой».

Пушки гремели. Свистели пули.
Добивали раненых. Сжигали строения.
Потом все стихло. Прости, Господь!
Только краснела на заплеванных улицах
Средь окурков и семечек
Русская кровь.

Бились и в Москве. На белые церкви
Трехдюймовки выплевывали адов смрад,
И, припав к ране богородицыного сердца,
Плакал патриарх.
Пощаженные рукой иноземной
В наполеоновы дни,
Под снарядами гнулись Кремлевские стены —
Им нечего больше хранить!
Вот юнкера, гимназисты
На бульвар выбегают, юные, смелые.
Баррикада. Окоп. «Кто там? Слушай!»
Но вот подошел и выстрелил,
И душа Отчизны в небо отлетела
Вместе со столькими юными душами.

Радуйся, Берлин! Готовьте трофеев смотр!
Стройте памятники! Жены, дарите героев
любовью!
Больше до вас не дойдут с Востока
Наши Христовы славословья!
Белая держава миру не напомнит,
Что не только в Эссене льется сталь,
Что в нашей обители темной
Любовью ковали мы меч Христа!
Радуйся, Германия!
Deutschland, Deutschland über alles![1]

В балагане
Резвые клоуны кувыркались:
«Старое — долой его! Старое издохло!
В новом мире
Мы получим... Что? Все!..»
А на Гороховой
Пьяный старичок в потертом мундире
Еще вопил: «Да приидет царствие Твое!»

По всем проводам сновали вести:
«Они уничтожены!.. Мы победили!»
В Аткарске, в маленьком домике, сидя в
кресле,
Плакала мать: «Мишенька, миленький!..»
В снежных пустынях Сибири, Урала
Проволоки пели: «Да здравствует Циммервальд!»
А мертвая даль
Молчала.
Усадьбы горели, там в глуби
Кровянил встревоженный Юг.
И наборщики складывали те же пять букв:
«Убить! Убить! Убить!»
В Туле Иванов
Третий день как морит тараканов,
Выпил чай, зевнул, перекрестил рот.
«Экстренные телеграммы!
Новый переворот!»
Парни пьяным-пьяные
С тоски стреляют в ворон...

С севера, с юга народы кричали:
«Рвите ее! Она мертва!»

---

[1] Германия, Германия превыше всего! (*нем.*).

И тащили лохмотья с смердящего трупа.
Кто? Украинцы, татары, латгальцы.
Кто еще? Это под снегом ухает,
Вырывая свой клок, мордва.
И только на детской карте (ее не будет больше)
Слово «Россия» покрывает
Полмира, и «Р» на Польше,
А «Я» у границ Китая.

Вот уж свои отрекаются: «Мы не русские!
Мы не останемся с ними вместе.
Идут германцы! Пусть они
Эту сволочь скорее повесят!»
И цепляются за скользящие акции,
И прячут серебряные ложки. Ночью не спится,
Они злятся и думают: «Когда-то
В это время мы спаржу сосали в Ницце».

В Петербурге от запаха гари, крови, спирта
Кружится голова.
Запустенье! Пугливо жмутся
Китайчата и поют: «А! а!»
Кто-то выбежал нагишом, орет: «Всемирная
Революция!»
А вывески усмехаются мерзко —
Их позабыли снести:
«Еще есть в Каире отель «Минерва»!»,
«Еще душатся в Париже духами «Коти»!»
В театре — там нету окон!
Певица поет еще о страсти Кармен.
На улице пусто. Стреляет кто-то...
Еще стреляет — зачем?
Там на вокзале последний поезд
Сейчас заплачет и скроется
Средь снега.
Где ты, Родина? Ответь!
Не зови! Не проси! Не требуй!
Дай одно — умереть!..

За гробом идет старикашка пьяный,
Споткнулся, упал, плюнул.
«Мамочка!
Оступился!.. Эх, еще б одну рюмочку!..»
Вы думаете — хоронят девку,
Пройти б стороной!

Стойте и пойте все вы:
«Со святыми упокой!»
Хоронить, хоронить нам всего и осталось,
Ночью и днем хоронить.
Вот жалобно
Последние гаснут огни.
Темь. Нищий мальчик
Просит:
«Ради бога
Над сиротинкой сжальтесь!»

Детям скажете: «Осенью
Тысяча девятьсот семнадцатого года
Мы ее распяли!»

Ноябрь 1917
Москва

В НОЯБРЕ 1917

Крутили цигарки и пели:
«Такая-сякая, моя!»
Только на милых серых шинелях
Кровь была — и чья!
И с песней ее убили...
Кого — разве знали они?
Только бабы, крестясь, голосили
Да выли псы на цепи.
Над землей церковной и нежной
Стлался желтый тяжелый дым.
Мы хотели спасти, но где же!..
И клали пятак на помин.
Вы пришли в этот час последний,
Светлые дети — не зная как,
Вы молили не о победе —
Умереть за нее и за нас.
Когда все кончилось, вы, дети,
Закричали: «Она жива!»
Но никто, никто не ответил,—
В эти дни молчала Москва.
Кто знает, как вы бились?
И когда не стало дня,—
Как вы ночью одни исходили
На холодных осенних камнях,

Когда все затихло и ночью
Только стылые звезды зажглись,
Когда те делили уж клочья
Ее омраченных риз.
И какою великою верой
В этот час прикрылись вы,
Прижавшись слабеющим сердцем
К мертвому сердцу Москвы.

Ноябрь 1917
Москва

У ОКНА

Темно.
Стреляют.
Мы? Они? Не все ли равно!
Это день или месяц? Не знаю!
Может, снится? Отчего ж так долго?
Пуля пролетела. Отчего же мимо?
А снег лежит сухой, тяжелый —
Его не сдвинуть.
Пьяный солдат поет:
«Вставай! Подымайся!..»
Кричит воронье,
Да в сторожке баба завывает:
«На кого ты меня оставил?.. Боренька!
Родненький!..
И пойду я по миру...»
Если б злоба — стрелять в этих хмурых
солдат!..
Если б слезы были — заплакать...
«Товарищи! Час настал!..»
Бегут куда-то...
Снег на них, на земле, на сердце,
Не сойдет... И зачем весна?
«Ура!» Это кто-то бредит пред смертью,
А может, и так, спьяна...
Что же! Прыгай да пой по-новому,
И шуми, и грозись, и стреляй!..
Лихая ты! Непутевая!
Родная моя! Прощай!
«Всем! Всем! Воззвание.
Спасайте! Стреляйте! Вперед!»

Закроют глаза пятаками,
И ветер один пропоет:
«Вечная память!»
Придут другие, чужие,
Над твоей посмеются судьбой.
Нет, не могу! Россия!
Умереть бы только с тобой!..

Декабрь 1917
Москва

* * *

Нет, я не поэт, я или пророк,
Или только жалкий юродивый,
Что, задрав рубашку, на брюхе ползет
И орет: «Это будет! Это будет сегодня!»
Это будет! И сердце полно предчувствий.
Что будет? Вечный живот? Или смерть?
Не знаю, но знаю, что будет, и вьюсь я,
Как раздавленный червь.
Не поэт я! Вы слушаете:
Вот раздадутся звуки плавные,
И наши истомленные души
Заночуют в тихой гавани.
А мои стихи выползают — голые птенчики,
Розовые, пискливые, еще не обсохшие.
И вы кричите: «Оденьте их!
Мы не можем! Стыдно, тошно нам!»
Во что одену их? У поэтов пышные облачения,
А я не поэт — я нищий.
У меня нет даже дерева,
Чтоб сорвать хоть один фиговый листик.
Я могу визжать про свою муку,
Прыгать с перешибленной лапой,
Как старый развратник, сюсюкать
И по-ребячески плакать.
Вы кричите: «Уберите его!
Довольно он здесь кривлялся!»
А я мог бы так любить вас,
Такая у меня ко всем жалость...
Но вот встаю, кричу: опомнитесь!
Я не могу — вы легли! Вы уснули!
Он придет, а вы заперлись в ваших комнатах,

Вы не успеете выбежать на улицу!
Прочтете стихи, мой скулящий голос послушаете,
На миг раздражитесь и уйдете безответные,
Чтоб упасть, как на мягкие подушки,
На стройные строфы — не мои — поэтовы.
И забудете того, кому тоже было стыдно и
горько,
Кто, как вы, хотел любви, радости тихой,
Но не мог, ибо прыгал и корчился,
Слыша то, что вы не расслышали.
Лишь когда запоет труба архангела
И ослиные копыта прозвенят на площади
каменной —
Вы скажете: «Ведь и тот кривляка
Кричал: «Осанна! Осанна!»

Январь 1918

ПРОСЛАВЛЕНИЕ ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ

Ночью такие звезды!

Любимые, покинутые, счастливые,
разлюбившие
На синей площади руками ловят воздух,
Шарят в комнате, на подушке теплой ищут.
Кого? Его ль? Себя? Или только второго
человека?
Так ищут! Так плачут! Так просят!
И от стоустого жаркого ветра
Колышутся звездные рощи.
Звезды опустились, под рукой зашелестели
И вновь цветут — не здесь, а там!.. Прости! Не
мучай!
Только все еще от смятых постелей
Подымаются молящие руки.

Верная жена отрывает руки от шитья.
Щеки застилает сухая белизна.
Стали глаза, не сойдут, стоят.
Шепчет она:
«Что же, радуйся моей верной верности!
Я ль согрешу? А сердце горит,
Бедное, неумное сердце.
Ну, бери! Бери! Бери!»

Двое на тесной кровати.
Взбухли жилы. Смертный пот.
И таких усилий тяжкий вздох.
С кем вы тягаетесь, страшные ратники?
Нет, это не осаждают крепость,
Не барку тянут, не дробят гранит —
Это два бедных человека
Всё хотят еще стать одним.
Гм! Гм!
Все весьма прекрасно в мире:
Раздеваться, целоваться, спать,
Вставать, одеваться, раздеться опять.
$2 \times 2 = 4$.
$5 \times 5 = 25$.

Господи, спасибо! Есть любовь ясная!
И куцая гимназистка шестого класса,
Вот и она подойдет, пригубит,
И бьются под узким передником девичьи груди.
«Я хотела вас просить об одном...
Только не смейтесь... Это так глупо... Нет, не выходит...
Я скажу, не теперь... потом...
Боже, что со мной сегодня?..
Не зовите меня... Просто Марусей...
Ну и сказала... все равно... пусть!..»
Легче гору поднять — так трудно!
Что это? Его глаза или море?
И жадно пьют пухлые губы
Нашу сладкую горечь.
Пей! Никогда не забыть эту боль, испуг
И щемящую грусть этих розовых губ...

Там, в моем Париже, на террасе ресторана,
Как звезда на заре, доцветает дама,
И от гаснущего газа, и от утреннего света
Еще злее губы фиолетовые.
И, облизывая ложечку — каштановый крем,—
Ей хочется вытянуться, ногой достать спинку кровати,
И горько шепчет она: «Je t'aime! Je t'aime!» [1]
Ему? Или ложечке? Или заре, над городом плачущей?

---

[1] Я тебя люблю! (*фр.*)

И где-то в эту же ночь
Папуас под себя подбирает папуаску.
Господи, спасибо! Ведь есть любовь,
Любовь такая ясная!

Мы полем шли. Остановились оба сразу.
Глядеть — не глядели. Ждать — не ждали.
Горько пахла земля сухая.
Разве мы знали,
Чьих слез она чает?
Мы стояли. Мы не знали. Ничего не знали.
Мы друг друга искали.
Будто не стоим мы рядом, будто меж нами
Весь мир с морями, с холмами, с полями.
Губы дышали зноем земли.
«Ты здесь? Ты здесь?» —
Пальцы спрашивали
И нашли.
Господи, спасибо! Ведь есть
Любовь такая тяжкая!
Наши слезы смешались — где мои? Где твои?
Горько пахла земля, но земля ли? И где мы?
Боже, разве мало такой любви,
Чтоб напоить всю жаждущую землю?
«Ты видишь?» — «Да, землю и тебя».
Ты засмеялась, слезы всё бежали, легкие слезы.
А после спросил я:
«Ты видишь?» — «Да, тебя и звезды».

Январь 1918

* * *

Враги, нет, не враги, просто многие,
Наткнувшись на мое святое бесстыдство,
Негодуя, дочек своих уводят,
А если дочек нет — хихикают.
Друзья меня слушают благосклонно:
«Прочтите стихи»,— будто мои вопли
Могут украсить их комнаты,
Как стильные пепельницы или отборное
общество.
Выслушав, хвалят в меру,

Говорят о ярких образах, о длиннотах, об ассонансах
И дружески указывают на некоторые странности
Безусловно талантливого сердца.
Я не могу сказать им: тише!
Ведь вы слышали, как головой об стену бьется человек...
Ах, нет, ведь это только четверостишия,
А когда меня представляют дамам, говорят: «Поэт».
Зачем пишу? Знаю — не надо,
Просто бы выть, как собака... Боже!
Велика моя человеческая слабость.
А вы судите, коль можете...
Так и буду публично плакать, молиться,
О своих молитвах читать рецензии...
Боже, эту чашу я выпью,
Но пошли мне одно утешение:
Пусть мои книги прочтет
Какая-нибудь обыкновенная девушка,
Которая не знает ни газэл, ни рондо,
Ни того, как всё это делается.
Прочтет, скажет: «Как просто! Отчего его все не поняли?
Мне кажется, что это я написала.
Он был одну минуту в светлой комнате,
А потом впотьмах остался.
Дверь заперта. Он бьется, воет.
Неужели здесь остаться навек?
Как же он может быть спокойным,
Если он видел такой свет?
Боже, когда час его приидет,
Пошли ему легкую смерть,
Пусть светлый ветер раскроет тихо
Дверь».

Февраль 1918

ОСЕНЬЮ 1918 ГОДА

О победе не раз звенела труба.
Много крови было пролито.
Но не растоплен Вечный Полюс
И страна моя по-прежнему раба.

Шумит уже новый хозяин.
Как звать его, она не знает толком,
Но, покорная, тихо лобзает
Хозяйскую руку тяжелую.
Где-то грозы прошумели.
Но тот же снег на русских полях,
Так же пахнет могильный ельник,
И в глазах собачьих давний страх.
Где-то вольность — далёко, далёко...
Короткие зимние дни...
Нет лозы, чтобы буйным соком
Сердце раба опьянить.
В снегах, в лесах низко голову клонят.
Разойдутся — плачут и поют,
Так поют, будто нынче хоронят
Мать — Россию свою.
Вольный цвет, дитя иных народов,
Среди русских полей занемог.
Привели они далекую свободу,
Но надели на нее ярмо.
Спит Россия. За нее кто-то спорит и кличет,
Она только плачет со сна,
И в слезах — былое безразличье,
И в душе — былая тишина.
Молчит. И что это значит?
Светлый Крест святой Жены,
Или только труп смердящий
Богом забытой страны?

Август 1918
Москва

* * *

Наши внуки будут удивляться,
Перелистывая страницы учебника:
«Четырнадцатый... семнадцатый...
девятнадцатый...
Как они жили?.. Бедные!.. Бедные!..»
Дети нового века прочтут про битвы,
Заучат имена вождей и ораторов,
Цифры убитых
И даты.
Они не узнают, как сладко пахли на поле
брани розы,

Как меж голосами пушек стрекотали звонко
стрижи,
Как была прекрасна в те годы
Жизнь.
Никогда, никогда солнце так радостно не
смеялось,
Как над городом разгромленным,
Когда люди, выползая из подвалов,
Дивились: есть еще солнце!..
Гремели речи мятежные,
Умирали ярые рати,
Но солдаты узнали, как могут пахнуть
подснежники
За час до атаки.
Вели поутру, расстреливали,
Но только они узнали, что значит апрельское
утро,
В косых лучах купола горели,
А ветер молил: обожди! минуту! еще минуту!..
Целуя, не могли оторваться от грустных губ,
Не разжимали крепко сцепленных рук,
Любили — умру! умру!
Любили — гори, огонек, на ветру!
Любили — о, где же ты? где?
Любили — как могут любить только здесь, на
мятежной и нежной звезде.
В те годы не было садов с золотыми плодами,
Но только мгновенный цвет, один обреченный
май!
В те годы не было «до свиданья»,
Но только звонкое, короткое «прощай».
Читайте о нас — дивитесь!
Вы не жили с нами — грустите!
Гости земли, мы пришли на один только вечер.
Мы любили, крушили, мы жили в наш смертный
час,
Но над нами стояли звезды вечные,
И под ними зачали мы вас.
В ваших очах горит еще наша тоска.
В ваших речах звенят еще наши мятежи.
Мы далеко расплескали в ночь и в века, в века
Нашу угасшую жизнь.

Март 1919

* * *

Я не знаю грядущего мира,
На моих очах пелена.
Цветок, я на поле брани вырос,
Под железной стопой отзвенела моя весна.
Смерть земли? Или трудные роды?
Я летел, и горел, и сгорел.
Но я счастлив, что жил в эти годы,—
Какой высокий удел!
Другие слагали книги пророчеств,
Пламена небес стерегли.
Мы же горим, затопив полярные ночи
Костром невозможной любви.
Небожители! Духи! Святые!
Вот я, слепой человек,
На полях мятежной России
Прославляю восставший век!
Мы ничего не создали,
Захлебнулись в тоске, растворились в любви,
Но звездное небо нами разодрано,
Зори в нашей крови.
Гнев и смерть в наших сердцах,
На лицах отсвет кровавый —
Это мы из груди окаменевшего творца
Мечом высекали новую правду.

Март 1919

Раздумья 1919–1921

* * *

Не уйти нам от теплой плоти,
От нашей тяжкой земли.
Кто уйдет — все равно вернется,
Только ноги будут в пыли.
Кружись вкруг себя, холодеющий шар,
Мастери игрушку, новый Икар,
Слепцы, пролагайте по небу пути,—
Все равно никуда не уйти.
Огнь Прометея, Марсия песни,
Все, чем дерзкое сердце живет,—
Только круженье на месте,
Темный водоворот.
Ошибиться и то нельзя —
У земли ведь своя стезя,
И в чужие миры, что за этим путем,
Не прольется она золотым дождем.
Сердце, и что твой бунт?
— Выполни молча оброк —
Господь закружил среди звезд и лун
Еще один малый волчок.
Будь же гордым, умей не заметить,
Не убегай от любви,
Эти святые цепи
Трижды благослови.
Кружись и пой за годом год,
Как мудрый каторжник поет,
Припав к печальному окну,
Свою острожную весну.

Сентябрь 1919

РОССИИ

Смердишь, распухла с голоду, сочатся кровь
и гной из ран отверстых.
Вопя и корчась, к матери-земле припала ты.

Россия, твой родильный бред они сочли за
смертный,
Гнушаются тобой, разумны, сыты и чисты.
Бесплодно чрево их, пустые груди каменеют.
Кто древнее наследие возьмет?
Кто разожжет и дальше понесет
Полупогасший факел Прометея?
Суровы роды, час высок и страшен.
Не в пене моря, не в небесной синеве,
На темном гноище, омытом кровью нашей,
Рождается иной, великий век.
Уверуйте! Его из наших рук примите!
Он наш и ваш — сотрет он все межи.
Забытая, в полунощной столице,
Под саваном снегов таилась жизнь.
На краткий срок народ бывает призван
Своею кровью напоить земные борозды —
Гонители к тебе придут, Отчизна,
Целуя на снегу кровавые следы.

1920

* * *

Ветер летит и стенает.
Только ветер. Слышишь — пора.
Отрекаюсь, трижды отрекаюсь
От всего, чем я жил вчера.
От того, кто мнился в земной пустыне,
В легких сквозил облаках,
От того, чье одно только имя
Врачевало сны и века.
Это не трепет воскрылий архангела,
Не господь Саваоф гремит —
Это плачет земля многопамятная
Над своими лихими детьми.
Сон отснился. Взыграло жестокое утро,
Души́ пустыри оголя.
О, как небо чуждо и пусто,
Как черна родная земля!
Вот мы сами паства и пастырь,
Только земля нам осталась —
На ней ведь любить, рожать, умирать,
Трудным плугом, а после могильным
заступом

Ее черную грудь взрезать.
Золотые взломаны двери,
С тайны снята печать,
Принимаю твой крест, безверье,
Чтобы снова и снова алкать.
Припадаю, лобзаю черную землю.
О, как кратки часы бытия!
Мать моя, светлая, бренная,
Ты моя, ты моя, ты моя!

Январь 1920

* * *

Из желтой глины, из праха, из пыли
Я его вылепил.
Я создал его по своему подобию,
Плоть и кровь ему дал.
Я сделал ему короткие ноги,
Чтоб, земной, он крепко на земле стоял.
Я вручил ему меч возмездия и славы,
Чтобы он разил меня,
И сам его тем мечом окровавил,
Чтобы он походил на меня.
Я дал ему имя бренное,
Заставил его резвиться средь наших жасминов
и роз,
И, чтоб мне презирать мою землю,
Я его на небо вознес.
И чтоб был он как слепой и безумный,
Чтоб огонь вовек не погас в аду —
Я припал к нему и в мокрую глину вдунул
Мой бушующий смутный дух.
А потом, взыграв, будто зверь веселый,
Молод, темен и слеп,
Высоко я занес мой торжественный молот
И землю отдал земле.
. . . .
Господа нет, звери рычат,
Леса шумят.
В гробике розовом
Земле предают младенца,
И сыплются мертвые звезды,
Светлые, тленные.

Есть ветер,
И листьев трепет,
И шорох, и шелест,
И всхлип метели,
И моря рокот, ропот, волн топот,
И громы.
И легкий прерывистый шепот
Влюбленных.
Есть только круженье, смятенье, вращенье,
В дикой и темной алчбе
Есть только время
И бег.

Между январем и мартом 1920

* * *

Боролись с ветром, ослабли,
Пали, над нами поет непогода.
Ныне выходит наш страшный корабль
В незнакомые черные воды.
Руль брось, рулевой! Старых карт не пытай,
Сигнальных огней не ищи вдали,
Но отвернись и морю отдай
Ладанку с горстью былой земли.
Не время роптать и молиться,
Диких светил никто не поймет,
Мудрец не ответит, и тихий святитель
Не осветит этих вод.
Кого оплакивают гаснущие звезды?
Кого встречает волн рассветный хор?
Какое солнце будет сыпать смерть и ро́зы
На новый человеческий шатер?
Благословите, братья, ночь незнанья,
Нерадостную и суровую весну,
Настанет час — мы смертным потом и
слезами
Смягчим земли жестокой целину.
И правнуки, резвясь в тени дубравы,
Припомнят ночь, корабль и нас впереди,
Скрестивших руки на груди,
Глядящих на восток кровавый.

Между январем и мартом 1920

* * *

Мои стихи не исповедь певца,
Не повесть о любви высокого поэта —
Так звучат тяжелые сердца,
Тронутые ветром.
Я не резвился с музами в апреля навечерия,
Не срывал Геликона доцветающих роз —
Лиру разбил о камень севера,
Косматым руном оброс.
На развалинах мира молчи,
Пушкина полдневная цевница!
Варвар смеется, забытый младенец кричит,
Бьет крылами вспугнутая птица.
Не о себе говорю — о многих и многих,
Ибо нем человек и громка гроза.
Одни приходят — другие уходят,
Потупляют, встретившись, глаза.
Все одной непогодой покрыты,
И протяжная поет труба,
Медная, оплакивает павшего владыку
И приветствует раба.
Имя мое забудут, стихи прочитав,
усмехнутся:
Умирающая мать, грустя,
Грусть свою тая, в последний раз баюкала
Новое безлюбое дитя.

Март 1920

* * *

Блузник, на лбу твоем пот,
Руки черны от работы,
Пожалей же нежалевшего, ибо горек плод,
Не окропленный потом.
Тяжелее рубищ — багряница,
И владыке тесен дольний мир.
Страшно иерею в вековой темнице
Сторожить скудеющий потир.
Золото ласкают легкими перстами —
Горше нет такой любви,
Не живут, но только оживляют камень

Теплотой скудеющей крови.
Одному был дан, чтоб править, скипетр,
А другому — молот, чтоб державу раздро-
бить.
Не кляни, но мертвых и забытых,
Путь свой завершивших, погреби.
Полюби не лепоту, но время
И, дары земли легко даря,
Претвори властителя былое бремя
В утреннюю песню косаря.

Март 1920

* * *

Кому предам прозренья этой книги?
Мой век среди растущих вод
Земли уж близкой не увидит,
Масличной ветви не поймет.
Ревнивое встает над миром утро.
И эти годы не разноязычий сечь,
Но только труд кровавой повитухи,
Пришедшей, чтоб дитя от матери отсечь.
Да будет так! От этих дней безлюбых
Кидаю я в века певучий мост.
Концом другим он обопрется о винты и
кубы
Очеловеченных машин и звезд.
Как полдень золотого века будет светел!
Как небо воссинеет после злой грозы!
И претворятся соки варварской лозы
В прозрачное вино тысячелетий.
И некий человек в тени книгохранилищ
Прочтет мои стихи, как их читали встарь,
Услышит едкий запах седины и пыли,
Заглянет, может быть, в словарь.
Средь мишуры былой и слов убогих,
Средь летописи давних смут
Увидит человека, умирающего на пороге,
С лицом, повернутым к нему.

Январь или февраль 1921
Москва

* * *

Весна снега ворочала,
Над золотом Москвы
Шутя шумела клочьями
Внезапной синевы.
Но люди шли с котомками,
С кулями шли и шли
И дни свои огромные
Тащили, как кули.
Раздумий и забот своих
Вертели жернова.
Нет, не задела оттепель
Твоей души, Москва!
Я не забуду очередь,
Старуший вскрик и бред
И на стене всклокоченный
Невысохший декрет.
Кремля в порфирном нищенстве
Оскал зубов и крест —
Подвижника и хищника
Неповторимый жест.
Разлюбленный, затверженный
И все ж святой искус
И стольких рук удержанных
Прощальный жар и хруст.
Но верю — днями дикими
Они в своем плену
У будущего выкупят
Великую весну.
Тогда, Москва, забудешь ты
Обиды всех разлук,
Ответишь гулом любящим
На виноватый стук.

Март 1921
Москва — Рига

* * *

Скрипки, сливки, книжки, дни, недели.
Напишу еще стишок — зачем?
Что это — тяжелое похмелье
Или непроветренный Эдем?
У Вердена лимонад в киосках.

Выше — тщательная синева.
Остается, прохладившись просто,
Говорить хорошие слова.
Время креповую сажу счистит —
Ведь ему к тому не привыкать.
Пусть займется остальным статистик,
А поэту должно воспевать.
Да, моя страна не знала меры,
Скарб столетий на костер снесла.
И обугленные нововеры
Не дают уюта иль тепла.
Да, конечно, радиатор лучше!
Что же, Эренбург, попав в Париж,
Это щедрое благополучье
В холеные оды претвори.
Но язык России дик и скорбен,
И не русский станет славить днесь
Победителя, что мчится в «форде»
Привкус смерти трюфелем заесть.
Впрочем, все это различье вкусов,
И невежливо его просить,
Выпив чай, к тому ж еще вприкуску,
На костре себя слегка спалить.

Июль 1921

* * *

Я не трубач — труба. Дуй, Время!
Дано им верить, мне звенеть.
Услышат все, но кто оценит,
Что плакать может даже медь?
Он в серый день припал и дунул,
И я безудержно завыл,
Простой закат назвал кануном
И скуку мукой подменил.
Старались все себя превысить —
О ком звенела медь? О чем?
Так припадали губы тысяч,
Но Время было трубачом.
Не я, рукой сухой и твердой
Перевернув тяжелый лист,
На смотр веков построил орды
Слепых тесальщиков земли.

Я не сказал, но лишь ответил,
Затем что он уста рассек,
Затем что я не властный ветер,
Но только бедный человек.
И кто поймет, что в сплаве медном
Трепещет вкрапленная плоть,
Что прославляю я победы
Меня сумевших побороть?

Июль 1921

* * *

Пятно на карте — места хватит.
Страна «пропавших без вестей» —
Всех европейских хрестоматий
Мораль для озорных детей.
Был лес и хлеб, табак и хлопок,
Но смыла материк — вода.
И вот, отчалив, пол-Европы
Плывет неведомо куда.
Не ты ли захотела с неба
Свести обещанный огонь,
Чтоб после за краюхой хлеба
Тянуть дрожащую ладонь.
Кафе, своим избытком чванясь,
Разжав газетные листы,
Тебе готовы бросить камень,
Быть может, каменщица ты?
Возьми его, былое бремя
Преображая в новый плен,
Вздымая тяжкие каменья
И кровью заменив цемент.
Какое жалкое величье —
Сивиллы полоумный чин
И христарадничество нищей
У блеска лондонских витрин.
Там, в кабинетах, схем гигантских,
Кругов и ро́мбов тор́жество.
И на гниющих полустанках
Тупое вшивое «чаво?».
Потешных электрификаций
Святого Эльма огоньки.
Но кто посмеет посмеяться

Пред слепотой такой тоски?
И все ж смеются над юродством
Проспекты тридцати столиц —
Исав, продавший первородство
За горсть вареных чечевиц.

Июль 1921
Ла Панн

* * *

Разграбив житницы небес,
Дитя вселенской суматохи,
Как я могу, засевши в бест,
Сбирать любви златые крохи?
О, парадизов преснота
И буколические встречи!
Припомнив дикие лета,
Чем осолю свой ранний вечер?
Еще, пожалуй, десять лет
(Мне тридцать минуло) готовься —
Придется этот скудный хлеб
Солить слезою стариковства.
Конечно, одуванчик мил
И Беатриче цель поэта,
Но я сивуху долго пил
И нечувствителен к букету.
Я очень, очень виноват,
Что пережил свое безумье,—
Неразорвавшийся снаряд
Еще валяется на клумбе.

Август 1921

* * *

Будет день — и станет наше горе
Датами на цоколе историй,
И в обжитом доме не припомнят
О рабах былой каменоломни.
Но останется от жизни давней
След нестертый на остывшем камне,

Не заглохшие без эха рифмы,
Не забытые чужие мифы,
Не скрижали дикого Синая —
Слабая рука, а в ней другая,
Чтобы знали дети легкой неги
О неупомянутой победе
Просто человеческого сердца
Не над человеком, но над смертью.
Так напрасно все ветра пытались
Разлучить хладеющие пальцы.
Быстрый выстрел или всхлипы двери,
Но в потере не было потери.
Мы детьми играли на могиле.
Умирая, мы еще любили.
Стала смерть задумчивой улыбкой
На лице блаженной Суламиты.

Август 1921

Опустошающая любовь 1922—1923

* * *

Тяжелы несжатые поля,
Золотого века полнокровье.
Чем бы стала ты, моя земля,
Без опустошающей любови?

Да, любовь, и до такой тоски,
Что в зените леденеет сердце,
Вместо глаз кровавые белки
Смотрят в хаотические сферы.

Закипает глухо желчь земли,
Веси заливает бунта лава,
И горит Нерукотворный Лик,
Падает порфировая слава.

О, я тоже пил твое вино!
Ты глаза потупила, весталка,
Проливая в каменную ночь
Первые разрозненные залпы.

Январь 1922

* * *

Тело нежное строгает стругом,
И летит отхваченная бровь,
Стружки снега, матерная ругань,
Голубиная густая кровь.

За чужую радость эти кубки.
Разве о своей поведать мог,
На плече, как на голландской трубке,
Выгрызая черное клеймо?

4 И. Эренбург, т. 1

И на Красной площади готовят
Этот теплый корабельный лес,—
Дикий шкипер заболел любовью
К душной полноте ее телес.

С топором такою страстью вспыхнет,
Так прекрасен пурпур серебра,
Что выносят замертво стрельчиху,
Повстречавшую глаза Петра.

Сколько раз в годину новой рубки
Обжигала нас его тоска
И тянулась к трепетной голубке
Жадная, горячая рука.

Бьется в ярусах чужое имя.
Красный бархат ложи, и темно.
Голову любимую он кинет
На обледенелое бревно.

Январь 1922

* * *

Громкорыкого хищника
Пел великий Давид.
Что скажу я о нищенстве
Беспризорной любви?

От груди еле отнятый,
Грош вдовицы зацвел
Над хлебами субботними
Роем огненных пчел.

Бьются души обвыклые,
И порой — не язык —
Чрево древнее выплеснет
Свой таинственный крик.

И по-новому чуждую
Я припомнить боюсь
Этих губ неостуженных
Предрассветную грусть.

Но заря понедельника,
Закаляя тоску,
Ухо рабье, как велено,
Пригвоздит к косяку.

Клювом вырвет заложника
Из расхлябанных чресл.
Это сердце порожнее
И полуденный блеск!

Крики черного коршуна!
Азраила труба!
Из горчайших о горшая,
Золотая судьба!

Январь 1922

* * *

Уж сердце снизилось, и как!
Как легок лёт земного вечера!
Я тоже глиной был в руках
Неутомимого Горшечника.

И каждый оттиск губ и рук,
И каждый тиск ночного хаоса
Выдавливали новый круг,
Пока любовь не показалася.

И набежавший жар обжег
Еще не выгнутые выгибы,
И то, что было вздох и Бог,
То стало каменною книгою.

И кто-то год за годом льет
В уже готовые обличия.
Любовных пут тягучий мед
И желчь благого еретичества.

О, костенеющие дни,—
Я их не выплесну, и вот они!
Любви обжиг дает гранит,
И ветер к вечеру немотствует.

Живи, пока не хлынет смерть,
Размоет эту твердь упрямую,
И снова станет перстью персть,
Любовь — неповторимым замыслом.

Январь 1922

* * *

Стали сны единой достоверностью.
Два и три — таких годов орда.
На четвертый (кажется, что Лермонтов) —
Это злое имя «Кабарда».

Были же веснушчатые истины:
Мандарином веяла рука.
Каменные базилики лиственниц.
Обитаемые облака.

И какой-то мост в огромном городе —
Звезды просто в водах, даже в нас.
Всё могло бы завершиться легким шорохом —
Зацепилась о быки волна.

Но осталась горечь губ прикушенных
И любовь до духоты, до слез.
Разве знали мы, что ночь с удушьями —
Тоже брошенный дугою мост?

От весны с черешневыми хлопьями,
От любви к плетенке Фьезоле —
К этому холодному, чужому шлепанью
По крутой занозливой земле.

Но дающим девство нет погибели!
Рои войн смогла ты побороть,
Распахнувши утром новой Библии
Милую коричневую плоть.

Средь гнезда чернявого станичников
Сероглазую легко найду.
Крепко я пророс корнями бычьими
В каменную злую Кабарду.

Пусть любил любовью неутешенной
Только раз, как древний иудей,
Я переплеснул земное бешенство
Ненасытной нежности моей.

Так обмоют бабки, вытрут досуха
Но в посмертную глухую ночь
Сможет заглянуть простоволосая,
Теплая, заплаканная дочь.

Январь 1922

* * *

Ночь была. И на Пинегу падал длинный снег,
И Вестминстерское сердце скрипнуло сердито
В синем жире стрелки холеных «Омег»
Подступали к тихому зениту.
Прыгало тустепом юркое «люблю».
Стал пушинкой Арарата камень.
Радуга кривая ввоза и валют
Встала над замлевшими материками.
Репарации петит и выпот будних дней.
И никто визиток сановитых не заденет.
И никто не перережет приводных ремней
Нормированных совокуплений.
Но Любовь — сосед и миф —
Первые глухие перебои,
Столкновенье диких цифр
И угрюмое цветенье зверобоя.
Половина первого. Вокзальные пары́.
На Пинеге снег. Среди трапеций доллар
Взрыв.
Душу настежь. Золото и холод.
Только ты, мечта, не суесловь —
Это ведь всегда бывает больно.
И крылатым зимородком древняя любовь
Бьется в чадной лапе Равашоля.
Это не гудит пикардская земля
Гудом императорского марша.
И не плещет нота голубятника Кремля
Чудака, обмотанного шарфом.
Это только тишина и жар,
Хроника участков, крохотная ранка.

Но, ее узнав, по винограднику, чумея и визжа,
Оглушенный царь метался за смуглянкой.
Это только холодеющий зрачок
И такое замедление земного чина,
Что становится музейным милое плечо,
Пережившее свою Мессину.

Январь 1922

* * *

Что седина? Я знаю полдень смерти —
Звонарь блаженный звоном изойдет,
Не раскачнув земли глухого сердца,
И виночерпий чаши не дольет.

Молю,— о ненависть, пребудь на страже!
Среди камней и рубенсовских тел
Пошли и мне неслыханную тяжесть,
Чтоб я второй земли не захотел.

Январь 1922

* * *

Когда замолкнет суесловье,
В босые тихие часы,
Ты подыми у изголовья
Свои библейские весы.

Запомни только: сын Давидов,
Филистимлян я не прощу.
Скорей свои цимбалы выдам,
Но не разящую пращу.

Ты стой и мерь глухие смеси,
Учи неистовству, пока
Не обозначит равновесья
Твоя державная рука.

Но неизбывна жизни тяжесть:
Слепое сердце дрогнет вновь,
И перышком на чашу ляжет
Полузабытая любовь.

Январь 1922

* * *

Не осуди — разумный виноградарь
Стрижет лозу, заготовляет жердь.
Кружиться — ветру, человеку — падать,
Пока не уведет заплаканная смерть.

Ты, пролистав моих любовей повесть,
Подумай: яблока короткий стук —
Стяжатель истины приподнял брови
И опознал земную тяготу.

Ведь как бы мы любви ни угождали,
В июльский день — одно жужжанье мух,
Горчее губы розовых миндалин,
А глиняное сердце — никому.

О чем же спор пока снует и бьется?
Одной кривой подняться не дано.
Ведра не вытянет из емкого колодца,
И не согреет сердца полотно.

Июль или август 1922

* * *

Заезжий двор. Ты сердца не щади
И не суди его — оно большое.
И кто проставит на моей груди:
«Свободен от постоя»?

И кто составит имя на снегу
Из букв раскиданных, из рук и прозвищ?
Но есть ладони — много губ
Им заменяло гвозди.

Столь невеселая веселость глаз,
Сутулость вся — тяжелая нагрузка,—
Приметы выгорят дотла,
И уж конечно трубка.

Одна зазубрина, ущербный след,
И глубже всех изданий сотых —
На зацелованной земле
Вчерашние заботы.

Я даже умираю впопыхах,
И пахнет нежностью примятый вереск —
Парная розоватая тропа
Подшибленного зверя.

Июль или август 1922

* * *

Где солнце как желток, белы потемки,
Изюм и трехсвятительская мгла,
Где женщины, как розовые семги
Средь бакалеи, кажут мертвый глаз,

Где важен чад великих чаепитий,
Отрыгнутый архимандритом лук
И славы доморощенный ревнитель
Воротит скулы православных слуг,

Где приторна малиновая пасха,
Славянских дев, как сукровица, кровь,—
Чернея, хлынула горячая закваска —
Всей баснословной Африки любовь.

Ему пришлось воспеть удельных хамов,
Ранжир любви и местничество вер,
Средь сплетен, евнухов — смущенный мамонт
Закончил дни, и был он «камергер».

Он пел снега, но голос крови гулок,
И, услыхав повозки скрип простой,
Он выплеснул ночное «Мариула»
И захлебнулся этой долготой.

Я чую теплый бакен, слышу выстрел,
Во мне растет такой же смутный гул,
И плещут в небе дикие мониста —
Щемящие глаза падучих Мариул.

Июль или август 1922

* * *

Остановка. Несколько примет.
Расписанье некоторых линий.
Так одно из этих легких лет
Будет слишком легким на помине.

Где же сказано — в какой графе,
На каком из верстовых зарубка,
Что такой-то сиживал в кафе
И дымил недодымившей трубкой?

Ты ж не станешь клевера сушить,
Чиркать ногтем по полям романа.
Это — две минуты, и в глуши
Никому не нужный полустанок.

Даже грохот катастроф забудь:
Это — задыханья, и бураны,
И открытый стрелочником путь
Слишком поздно или слишком рано.

Вот мое звериное тепло,
Я почти что от него свободен.
Ты мне руку положи на лоб,
Чтоб услышать, как оно уходит.

Есть в тебе льняная чистота,
И тому, кому не нужно хлеба,—
Три аршина грубого холста
На его последнюю потребу.

Июль или август 1922

* * *

Я любил ветер верхних палуб,
Ремесло пушкаря,
Уличные скандалы
И двадцать пятое октября.

Я любил в кофейнях гулящих,
Дым, спирт, зной.
Меня положат в продолговатый ящик
Дышать прохладной сосной.

Чопорно лягу в жесткой манишке,
Свидетель стольких измен,
Подобно Самуилу, Саулу, мертвым и лишним,
Судить двенадцать колен.

За то, что лоцман, вспомнив пристань,
Рано повернул свое колесо
И все сердца ушедших на приступ
Остыли, как за ночь песок.

Тебя и вас, любимых и любивших,
За то, что вы, полюбив уют,
Осудили вот здесь, под этой манишкой,
Нежность и ревность мою.

Тогда, преисполнены страха,
В глубь земли и в глубины лет
Вы меня опустите, как тяжелый якорь,
Чтоб самим устоять на земле.

Июль или август 1922

* * *

Так умирать, чтоб бил озноб огни,
Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский:
«Ну, ты, угомонись, уймись, нишкни»,—
Прошамкал мамкой ветровому сердцу,
Чтоб — без тебя, чтоб вместо рук сжимать
Ремень окна, чтоб не было «останься»,
Чтоб, умирая, о тебе гадать
По сыпи звезд, по лихорадке станций,—
Так умирать, понять, что гам и чай,
Буфетчик, вечный розан на котлете,
Что это — смерть, что на твое «прощай!»
Уж мне никак не суждено ответить.

1923

* * *

Не нежен, беженцем на тормоз,
И на рожон, забыв зады,
Вытряхивая ворох формул
О связи глаза и звезды,

О связи губ, тех, что голубят,
Что воркот льют, когда ты люб,—
Тарарабумбий на раструбе
Взбесившихся под утро труб.
Любовь — чтоб это было мясо,
Чтоб легче в гроб, чтоб глох, пока
Не станут вздохи астмой, басом
Матросского грузовика.
Врозь ноги. Пули тороваты.
На улице любой лови —
Он снова тянется, кильватер
Огульной крови и любви!
От жарких наволок, от славы
Вот в эту рань, где красный дом,
Средь форток, штор и мертвых лавок,
Орет, пробитый сквозняком.
Молочниц пар. Мороз. Но гарус,
Но роза — за угол, и вот
Она уж бомба, гомон, ярость
И хор у городских ворот.
На смену, ненависть! До пушек!
Крути фитиль, вой матом, пой!
Как та, врываясь в глушь подушек,
Тяжелой, теплой и слепой.

1923(?)

* * *

Не сухостой — живое тело резать,
Чтоб изошел слезой горячий сруб,—
Так мне ломать проклятое железо
Отлитых для молчальничества губ.
И по ночам отчаянье какое!
Скорей средь корректур и табака
Хлебнуть горячечных паров левкоя,
Запасть в подушечные облака!
Средь скуки штукатура, к стенке серой,
Когда любовь в любом окне горит,
Знать только капли крана, сердца меру
И смерть на самых подступах зари.
Остановись! Не то я вырву вожжи.
Я на земле еще недолюбил.

Из ночи в ночь короткий теплый дождик
Мои ладони бережно крестил.
Чтоб на спину, считая стаи галок,
Чтоб стала бытом даже эта мгла,
Чтоб фиолетовое веко пало
На дикий, рыбий, вылинявший глаз.

1923(?)

* * *

Я так любил тебя — до грубых шуток
И до таких пронзительных немот,
Что даже дождь, стекло и ветки путал,
Не мог найти каких-то нужных нот.

Так только варвар, бросивший на форум
Косматый запах крови и седла,
Богинь оледенивший волчьим взором
Занеженные зябкие тела,

Так только варвар, конь чей, дико пенясь,
Ветрами заальпийскими гоним,
Копытом высекал из сердца пленниц
Источники чистительные нимф,

И после, приминая мех медвежий,
Гортанным храпом плача и шутя,
Так только варвар пестовал и нежил
Диковинное южное дитя.

Так я тебя, без музыки, без лавра,
Грошовую игрушку смастерил,
Нет, не на радость, как усталый варвар,
Ныряя в ночь, большую, без зари.

1924

* * *

Страшный ящер и сивиллы в духе —
Рот вишневый. Солнце — о тебе.
Робко бьется зайчик огнеухий.
Только б руки не разжать в мольбе.

Ах, сусальная, пришла не рано.
И соседям может быть смешно,
Что, с такой тревогой глядя на ночь,
Застилаю я мое окно.

Как же выдать ту, что я закутал,—
Эту руку, если в ней одной
Мечется и льнет до муки лютой
Средиземный стопудовый зной?

Смерть-шатунья ходит, смотрит в оба.
Даже скважина страшна и та.
Будь он проклят, ледовитый кобальт,
Северная злая чистота!

Ведь любить — до выкрика, до хруста
Смоляных, прожженных насквозь рук,
До того, чтоб — весело и пусто,
До того, что — «лягу и умру».

Здесь слова, как масляная сдоба,
Леденцами тает легкий вздох.
Где ж мне вызволить такую злобу,
Чтоб к гортани мой язык присох,

Чтоб горячкой золота и Рима
Захворав и впопыхах дыша,
Возвеличить твой жестокий климат,
Страстью изнуренная душа?

1923

* * *

Жалко в жизни мне еще дождя.
Тихо он на цыпочках разгуливал.
Косенький, зеленый, в гости заходя,
Заставал врасплох, гонял по улицам.
Тротуары полотером тер,
Прыскал, фыркал, наметавши, ласковый,
В комнату черемуховый вздор,
Он глаза мечтою ополаскивал.
Из трамвая делал птичий гам.
Обдавал шкафы листом смородины.

Был такой, чтоб целоваться нам,
Чтобы никогда не распогодилось.
Вел чечеткой свой любовный счет.
Заставлял, средь книжек, шпилек, наволок,
Таволгою отдавать плечо
И зрачкам захлебываться паводком.
Падал, прядал, прятался от нас,
Чтоб с сестрой его, как он, обманчивой,
Выбежавшей из счастливых глаз,
Я б и в ясную погоду нянчился.

1923

* * *

Там телеграф и рахитик-подсолнечник,
Флюс у дежурного, в одури, в мякоти,
Храп аппарата, собака, до полночи
Можно заполнить листок и расплакаться.
Слезы врастут, станут памятью, матрицей,
Проволок током, звонком неожиданным.
Эту тоску с перепутанным адресом
Ты не узнаешь, ты примешь за выдумку.
Ты же была «на чаек» или краденой.
Вместо тебя пересадки, попутчики.
Муха брюзжит над оплывшей говядиной
Все о таком же мушином, умученном.
Руки отучатся миловать милую,
Станут дорожными верстами, веслами.
Сердце хотело еще одну вылазку,
Ты мне ответила: надо быть взрослыми!
Что же прибавить мне к дребезгу чайника,
К мухе и к флюсу, чтоб ты не оставила,
Чтоб ты узнала походку отчаяния
В каждом нажиме ленивого клавиша?
Если ж не станет дыханья от нежности,
В зале, махоркой и кашлем замаенном,
Трубка, упавшая на пол, по-прежнему
Будет дымить еще после хозяина.
Нудный дежурный все жалобы выдавит,
Капнув на зуб, чтобы ты отозвался,
Чтобы тебя, что далеко, за тридевять,
Как-нибудь вызволить, вызвать, разжалобить.

1923

* * *

Хотеть его. Чем реже крови дробь,
Чем гуще муть в пивном стеклянном глазе,
Чем сердце чаще, клячей меж оглобль,
Захлестанное, грохается наземь,
В слезах и чванясь, будто глупый бурш,
Когда летит на кегельбане сверстник,
Чем мне ясней, что из таких цезур
Одна окажется моей же смертью,—
Тем все сильней хотеть его. Любовь —
Она наутро снимется как табор.
Твоя нигде не вытравлена бровь,
И этот поцелуй никем еще не набран.
Так даром жизнь и пропит целый свет,
Как в подворотне штоф, взасос и кончен.
Не мне достался этот теплый бред
Средь розовых грудей земных поденщиц.
Я ночью вскакиваю: нет, не мой!
Семь этажей. Чужое счастье плачет.
Он где-то есть, и ждут его домой,
Он шавкой под ноги, он в горе — мячик.
В игрушечьем миру, средь снежных баб,
Он в плюше хроменького медвежонка,
Он мог бы быть и прятаться за шкаф
И плакать оттого, что там потемки.
Он мог бы в этих номерах кричать,
Средь багажа, звонков, чаев, приезжих,
И каждой родинкой напоминать
О том, как я тебя любил и нежил.

1923

Верность

1939
1941

* * *

Сердце, это ли твой разгон?
Рыжий, выжженный Арагон.
Нет ни дерева, ни куста,
Только камень и духота.
Все отдать за один глоток!
Пуля — крохотный мотылек.
Надо выползти, добежать.
Как звала тебя в детстве мать?
Красный камень. Дым голубой.
Орудийный короткий бой.
Пулеметы. Потом тишина.
Здесь я встретил тебя, война.
Одурь полдня. Глубокий сон.
Край отчаянья, Арагон.

1939

* * *

Парча румяных жадных богородиц,
Эскуриала грузные гроба.
Века по каменной пустыне бродит
Суровая испанская судьба.
На голове кувшин. Не догадаться,
Как ноша тяжела. Не скажет цеп
О горе и о гордости батрацкой,
Дитя не всхлипнет, и не выдаст хлеб.
И если смерть теперь за облаками,
Безносая, она земле не вновь,
Она своя, и знает каждый камень
Осколки глины, человека кровь.
Ослы кричат. Поет труба пастушья.
В разгаре боя, в середине дня,
Вдруг смутная улыбка равнодушья,
Присущая оливам и камням.

1939

БОЙ БЫКОВ

Зевак восторженные крики
Встречали грузного быка.
В его глазах, больших и диких,
Была глубокая тоска.
Дрожали дротики обиды.
Он долго поджидал врага,
Бежал на яркие хламиды
И в пустоту вонзал рога.
Не понимал — кто окровавил
Пустынь горячие пески,
Не знал игры высоких правил
И для чего растут быки.
Но ни налево, ни направо,—
Его дорога коротка.
Зеваки повторяли «браво»
И ждали нового быка.
Я не забуду поступь бычью,
Бег напрямик томит меня,
Свирепость, солнце и величье
Сухого, каменного дня.

1939

* * *

Тогда восстала горная порода,
Камней нагроможденье и сердец,
Медь Рио-Тинто бредила свободой,
И смертью стал Линареса свинец.
Рычали горы, щерились долины,
Моря оскалили свои клыки,
Прогнали горлиц гневные маслины,
Седой листвой прикрыв броневики,
Кусались травы, ветер жег и резал,
На приступ шли лопаты и скирды,
Узнали губы девушек железо,
В колодцах мертвых не было воды,
И вся земля пошла на чужеземца:
Коренья, камни, статуи, пески,
Тянулись к танкам нежные младенцы,
С гранатами дружили старики,

Покрылся кровью булочника фартук,
Огонь пропал, и вскинулось огнем
Всё, что зовут Испанией на картах,
Что мы стыдливо воздухом зовем.

1939

В БАРСЕЛОНЕ

На Рамбле возле птичьих лавок
Глухой солдат — он ранен был —
С дроздов, малиновок и славок
Глаз восхищенных не сводил.
В ушах его навек засели
Ночные голоса гранат.
А птиц с ума сводили трели,
И был щеглу щегленок рад.
Солдат, увидев в клюве звуки,
Припомнил звонкие поля,
Он протянул к пичуге руки,
Губами смутно шевеля.
Чем не торгуют на базаре?
Какой не мучают тоской?
Но вот, забыв о певчей твари,
Солдат в сердцах махнул рукой.
Не изменить своей отчизне,
Не вспомнить, как цветут цветы,
И не отдать за щебет жизни
Благословенной глухоты.

1939

* * *

Молча — короткий привал —
Ночью ее целовал,
И не на ласку был скуп
Жар запечатанных губ.
Молча и до дурноты
Утром глядел на цветы,
Молча курил он табак,
Молча он гладил собак,
И суетился у ног

Теплый мохнатый щенок.
С ним говорила трава.
Где потерял он слова?
Вот истребитель идет,
Скажет свое пулемет,
Летчик глядит и молчит:
Нет языка у обид.
Громкая ночь жестока.
Нет у нее языка.

1939

* * *

Горят померанцы, и горы горят.
Под ярким закатом забытый солдат.
Раскрыты глаза, и глаза широки,
Садятся на эти глаза мотыльки.
Натертые ноги в горячей пыли,
Они еще помнят, куда они шли.
В кармане письмо — он его не послал.
Остались патроны, не все расстрелял.
Он в городе строил большие дома,
Один не достроил. Настала зима.
Кого он лелеял, кого он берег,
Когда петухи закричали не в срок,
Когда закричала ночная беда
И в темные горы ушли города?
Дымились оливы. Он шел под огонь.
Горела на солнце сухая ладонь.
На Сьерра-Морена горела гроза.
Победа ему застилала глаза.
Раскрыты глаза, и глаза широки,
Садятся на эти глаза мотыльки.

1939

* * *

«Разведка боем» — два коротких слова.
Роптали орудийные басы,
И командир поглядывал сурово
На крохотные дамские часы.

Сквозь заградительный огонь прорвались,
Кричали и кололи на лету.
А в полдень подчеркнул штабного палец
Захваченную утром высоту.
Штыком вскрывали пресные консервы.
Убитых хоронили как во сне.
Молчали.
Командир очнулся первый:
В холодной предрассветной тишине,
Когда дышали мертвые покоем,
Очистить высоту пришел приказ.
И, повторив слова: «Разведка боем»,
Угрюмый командир не поднял глаз.
А час спустя заря позолотила
Чужой горы чернильные края.
Дай оглянуться — там мои могилы,
Разведка боем, молодость моя!

1939

* * *

Батарею скрывали оливы.
День был серый, ползли облака.
Мы глядели в окно на разрывы,
Говорили, что нет табака.
Говорили орудья сердито,
И про горе был этот рассказ.
В доме прыгали чашки и сита,
Штукатурка валилась на нас.
Что здесь делают шкаф и скамейка,
Эти кресла в чехлах и комод?
Даже клетка, а в ней канарейка,
И, проклятая, громко поет.
Не смолкают дурацкие трели,
Стоит пушкам притихнуть — поет.
Отряхнувшись, мы снова глядели:
Перелет, недолет, перелет.
Но не скрою — волненье пичуги
До меня на минуту дошло,
И тогда я припомнил в испуге
Бредовое мое ремесло:
Эта спазма, что схватит за горло,
Не отпустит она до утра,—

Сколько чувств доконала, затерла
Слов и звуков пустая игра!
Канарейке ответила ругань,
Полоумный буфет завизжал,
Показался мне голосом друга
Батареи запальчивый залп.

1939

* * *

В кастильском нищенском селенье,
Где только камень и война,
Была та ночь до одуренья
Криклива и раскалена.
Артиллерийской подготовки
Гроза гремела вдалеке.
Глаза хватались за винтовки,
И пулемет стучал в виске.
А в церкви — экая морока! —
Показывали нам кино.
Среди святителей барокко
Дрожало яркое пятно.
Как камень, сумрачны и стойки,
Молчали смутные бойцы.
Вдруг я услышал: русской тройки
Звенели лихо бубенцы,
И, памятью меня измаяв,
Расталкивая всех святых,
На стенке бушевал Чапаев,
Сзывал живых и неживых.
Как много силы у потери!
Как в годы переходит день!
И мечется по рыжей сьерре
Чапаева большая тень.
Земля моя, земли ты шире,
Страна, ты вышла из страны,
Ты стала воздухом, и в мире
Им дышат мужества сыны.
Но для меня ты с колыбели —
Моя земля, родимый край,
И знаю я, как пахнут ели,
С которыми дружил Чапай.

1939

* * *

Нет, не забыть тебя, Мадрид,
Твоей крови, твоих обид.
Холодный ветер кружит пыль.
Зачем у девочки костыль?
Зачем на свете фонари?
И кто дотянет до зари?
Зачем живет Карабанчель?
Зачем пустая колыбель?
И сколько будет эта мать
Не понимать и обнимать?
Раскрыта прямо в небо дверь,
И, если хочешь, в небо верь,
А на земле клочок белья,
И кровью смочена земля.
И пушки говорят всю ночь,
Что не уйти и не помочь,
Что зря придумана заря,
Что не придут сюда моря,
Ни корабли, ни поезда,
Ни эта праздная звезда.

1939

* * *

В городе брошенных душ и обид
Горе не спросит и ночь промолчит.
Ночь молчалива, и город уснул.
Смутный доходит до города гул:
Это под темной больной синевой
Мертвому городу снится живой,
Это проходит по голой земле
Сон о веселом большом корабле,—
Ветер попутен, и гавань тесна,
В дальнее плаванье вышла весна.
Люди считают на мачтах огни;
Где он причалит, гадают они.
В городе горе, и ночь напролет
Люди гадают, когда он придет.
Ветер вздувает в ночи паруса.
Мертвые слышат живых голоса.

1939

У БРУНЕТЕ

В полдень было — шли солдат ряды.
В ржавой фляжке ни глотка воды.
На припеке,— а уйти нельзя,—
Обгорали мертвые друзья.
Я запомнил несколько примет:
У победы крыльев нет как нет,
У нее тяжелая ступня,
Пот и кровь от грубого ремня,
И она бредет, едва дыша,
У нее тяжелая душа,
Человека топчет, как хлеба,
У нее тяжелая судьба.
Но крылатой краше этот пот,
Чтоб под землю заползти, как крот,
Чтобы руки, чтобы ружья, чтобы тень
Наломать, как первую сирень,
Чтобы в яму, к черту, под откос,
Только б целовать ее взасос!

1939

У ЭБРО

На ночь глядя выслали дозоры.
Горя повидали понтонеры.
До утра стучали пулеметы,
Над рекой сновали самолеты,
С гор, раздроблены, сползали глыбы,
Засыпали, проплывая, рыбы,
Умирая, подымались люди,
Не оставили они орудий,
И зенитки, заливаясь лаем,
Били по тому, что было раем.

Другом никогда не станет недруг,
Будь ты, ненависть, густой и щедрой,
Чтоб не дать врагам ни сна, ни хлеба,
Чтобы не было над ними неба,
Чтоб не ластились к ним дома звери,
Чтоб не знать, не говорить, не верить,
Чтобы мудрость нас не обманула,

Чтобы дулу отвечало дуло,
Чтоб прорваться с боем через реку
К утреннему, розовому веку.

1939

РУССКИЙ В АНДАЛУЗИИ

Гроб несли по розовому щебню,
И труба унылая трубила.
Выбегали на шоссе деревни,
Подымали грабли или вилы.
Музыкой встревоженные птицы,
Те свою высвистывали зорю.
А бойцы, не смея торопиться,
Задыхались от жары и горя.
Прикурить он больше не попросит,
Не вздохнет о той, что обманула.
Опускали голову колосья,
И на привязи кричали мулы.
А потом оливы задрожали,
Заступ землю жесткую ударил.
Имени погибшего не знали,
Говорили коротко «товарищ».
Под оливами могилу вырыв,
Положили на могиле камень.
На какой земле товарищ вырос?
Под какими плакал облаками?
И бойцы сутулились тоскливо,
Отвернувшись, сглатывали слезы.
Может быть, ему милей оливы
Простодушная печаль березы?
В темноте все листья пахнут летом,
Все могилы сиротливы ночью.
Что придумаешь просторней света,
Человеческой судьбы короче?

1939

ГОНЧАР В ХАЭНЕ

Где люди ужинали — мусор, щебень,
Кастрюли, битое стекло, постель,
Горшок с сиренью, а высоко в небе
Качается пустая колыбель.

Железо, кирпичи, квадраты, диски,
Разрозненные, смутные куски.
Идешь — и под ногой кричат огрызки
Чужого счастья и чужой тоски.
Каким мы прежде обольщались вздором!
Что делала, что холила рука?
Так жизнь, ободранная живодером,
Вдвойне необычайна и дика.
Портрет семейный,— думали про сходство,
Загадывали, чем обить диван.
Всей оболочки грубое уродство
Навязчиво, как муха, как дурман.
А за углом уж суета дневная,
От мусора очищен тротуар.
И в глубине прохладного сарая
Над глиной трудится старик гончар.
Я много жил, я ничего не понял
И в изумлении гляжу один,
Как, повинуясь старческой ладони,
Из темноты рождается кувшин.

1939

* * *

Бомбы осколок. Расщеплены двери.
Все перепуталось — боги и звери.
Груди рассечены, крылья отбиты.
Праздно зияют глазные орбиты.
Ломкий, истерзанный, раненый камень
Невыносим и назойлив, как память.
(Что в нас от смутного детства осталось,
Если не эта бесцельная жалость?)
В полуразрушенном брошенном зале
Беженцы с севера заночевали.
Средь молчаливых торжественных статуй
Стонут старухи и плачут ребята.
Нимф и кентавров забытая драма —
Только холодный поверженный мрамор.
Но не отвяжется и не покинет
Белая рана убитой богини.
Грудь обнажив в простоте совершенства,
Женщина бережно кормит младенца.
Что ей ваятели? Созданы ею

Хрупкие руки и нежная шея.
Чмокают губы, и звук этот детский
Нов и невнятен в высокой мертвецкой.

1939

В ЯНВАРЕ 1939

В сырую ночь ветра точили скалы.
Испания, доспехи волоча,
На север шла. И до утра кричала
Труба помешанного трубача.
Бойцы из боя выводили пушки.
Крестьяне гнали одуревший скот.
А детвора несла свои игрушки,
И был у куклы перекошен рот.
Рожали в поле, пеленали мукой
И дальше шли, чтоб стоя умереть.
Костры еще горели — пред разлукой,
Трубы еще не замирала медь.
Что может быть печальней и чудесней —
Рука еще сжимала горсть земли.
В ту ночь от слов освобождались песни
И шли деревни, будто корабли.

1939

ПОСЛЕ...

Проснусь, и сразу: не увижу я
Ее, горячую и рыжую,
Ее, сухую, молчаливую,
Одну под низкою оливою,
Не улыбнется мне приветливо
Дорога розовыми петлями,
Я не увижу горю почести,
Заботливость и одиночество,
Куэнку с красными обвалами
И белую до рези Ма́лагу,
Ее тоску великодушную,
Июль с игрушечными пушками,
Мадрид, что прикрывал ладонями
Детей последнюю бессонницу.

1939

* * *

Бои забудутся, и вечер щедрый
Земные обласкает борозды,
И будет человек справлять у Эбро
Обыкновенные свои труды.
Всё зарастет — развалины и память,
Зола олив не скажет об огне,
И не обмолвится могильный камень
О розовом потерянном зерне.
Совьют себе другие гнезда птицы,
Другой словарь придумает весна.
Но вдруг в разгул полуденной столицы
Вмешается такая тишина,
Что почтальон, дрожа, уронит письма,
Шоферы отвернутся от руля,
И над губами высоко повиснет
Вина оледеневшая струя,
Певцы гитару от груди отнимут,
Замрет среди пустыни паровоз,
И молча женщина протянет сыну
Патронов соты и надежды воск.

1939

* * *

Есть перед боем час — всё выжидает:
Винтовки, кочки, мокрая трава.
И человек невольно вспоминает
Разрозненные, темные слова.
Хозяин жизни, он обводит взором
Свой трижды восхитительный надел,
Всё, что вчера еще казалось вздором,
Что второпях он будто проглядел.
Как жизнь недожита! Добро какое!
Пора идти. А может, не пора?..
Еще цветут горячие левкои.
Они цвели... Вчера... Позавчера...

1939

* * *

Не торопясь, внимательный биолог
Законы изучает естества.
То был снаряда крохотный осколок,
И кажется, не дрогнула листва.
Прочтут когда-нибудь, что век был грозен,
Страницу трудную перевернут
И не поймут, как умирала озимь,
Как больно было каждому зерну.
Забыть чужого века созерцанье,
Искусства равнодушную игру,
Но только чье-то слабое дыханье
Собой прикрыть, как спичку на ветру.

1939

* * *

О той надежде, что зову я вещей,
О вспугнутой, заплаканной весне,
О том, как зайчик солнечный трепещет
На исцарапанной ногтем стене.
(В Испании я видел, средь развалин
Рожала женщина, в тоске крича,
И только бабочки ночные знали,
Зачем горит оплывшая свеча.)
О горе и о молодости мира,
О том, как просто вытекает кровь,
Как новый город в Заполярье вырос
И в нем стихи писали про любовь,
О трудном мужестве, о грубой стуже,
Как отбивает четверти беда,
Как сердцу отвечают крики ружей
И как молчат пустые города,
Как оживают мертвые маслины,
Как мечутся и гибнут облака
И как сжимает ком покорной глины
Неопытная детская рука.

1939

* * *

На ладони — карта, с малолетства
Каждая проставлена река,
Сколько звезд ты получил в наследство,
Где ты пас ночные облака.
Был вначале ветер смертоносен,
Жизнь казалась горше и милей.
Принимал ты тишину за осень
И пугался тени тополей.
Отзвенели светлые притоки,
Стала глубже и темней вода.
Камень ты дробил на солнцепеке,
Завоевывал пустые города.
Заросли тропинки, где ты бегал,
Ночь сиреневая подошла.
Видишь — овцы, будто хлопья снега,
А доска сосновая тепла.

1939

НА МИТИНГЕ

Судеб раздельных немота и сирость,
Скопление разрозненных обид,—
Не человек, но отрочество мира
Руками и сердцами говорит.
Надежду видел я, и, розы тоньше,
Как мягкий воск, послушная руке,
Она рождалась в кулаке поденщиц
И сгустком крови билась на древке.

1939
Париж

«ГОВОРИТ МОСКВА»

Трибун на цоколе безумца не напоит.
Не крикнут ласточки средь каменной листвы.
И вдруг доносится, как смутный гул прибоя,
Дыхание далекой и живой Москвы.
Всем пасынкам земли знаком и вчуже дорог

(Любуются на улиц легкие стежки) —
Он для меня был нежным детством, этот
город,
Его Садовые и первые снежки.
Дома кочуют. Выйдешь утром, а Тверская
Свернула за угол. Мостов к прыжку разбег.
На реку корабли высокие спускают,
И, как покойника, сжигают ночью снег.
Иду по улицам, и прошлого не жалко,
Ни сверстников, ни площади не узнаю.
Вот только слушаю всё ту же речь с развалкой
И улыбаюсь старожилу-воробью.
Сердец кипенье: город взрезан, взорван,
вскопан,
А судьбы сыплются меж пальцев, как песок.
И, слыша этот шум, покорно ночь Европы
Из рук роняет шерсти золотой моток.

1939

* * *

Пред зрелищем небес, пред мира ширью,
Пред прелестью любого лепестка
Мне жизнь подсказывает перемирье,
И тщится горю изменить рука.
Как ласточки летают в поднебесье!
Как тих и дивен голубой покров!
Цветов и форм простое равновесье
Приостанавливает ход часов.
Тогда, чтоб у любви не засидеться,
Я вспоминаю средь ночи огонь,
Короткие гроба в чужой мертвецкой
И детскую холодную ладонь.
Глаза к огромной ночи приневолить,
Чтоб сердце не разнежилось, грустя,
Чтоб ненависть собой кормить и холить,
Как самое любимое дитя.

1939 или 1940

* * *

Рта и надбровья смутное строенье,
Все тени, что с младенчества легли,—
Есть в человеке мастера волненье
И тишина глубокая земли.
Когда земля в опасности, бесстрашней
К ней человек на выручку идет.
Не отличить бойца от жадной пашни,
И зерна гнева мечет пулемет.
Где скошенные падали на землю
И мертвые еще живых вели,
Под светлым деревом победа дремлет,
Как слепок с темной и большой земли.

1940

* * *

Ты тронул ветку, ветка зашумела.
Зеленый сон, как молодость, наивен.
Утешить человека может мелочь:
Шум листьев или летом светлый ливень,
Когда, омыт, оплакан и закапан,
Мир ясен — весь в одной повисшей капле,
Когда доносится горячий запах
Цветов, что прежде никогда не пахли.
...Я знаю все — годов проломы, бреши,
Крутых дорог бесчисленные петли.
Нет, человека нелегко утешить!
И всё же я скажу про дождь, про ветви.
Мы победим. За нас вся свежесть мира,
Все жилы, все побеги, все подростки,
Все это небо синее — на вырост,
Как мальчика веселая матроска,
За нас все звуки, все цвета, все формы,
И дети, что, смеясь, кидают мячик,
И птицы изумительное горло,
И слезы простодушные рыбачек.

1939

* * *

Есть в хаосе самом высокий строй,
Тот замысел, что кажется игрой,
И, может быть, начертит астроном
Орбиту сердца, тронутого сном.
Велик и дивен океана плач.
У инея учился первый ткач.
Сродни приливам и корням близка
Обыкновенной женщины тоска.
И есть закон для смертоносных бурь
И для горшечника, кладущего глазурь,—
То ход страстей, и зря зовут судьбой
Отлеты птиц иль орудийный бой.
Художнику свобода не дана,
Он слышит, что бормочет тишина,
И, как лунатик, выйдя в темноту,
Он осязает эту темноту.
Не переставить звуки и цвета,
Не изменить кленового листа,
И дружбы горяча тяжелая смола,
И вечен след от легкого весла.

〈1941〉

* * *

Все за беспамятство отдать готов,
Но не забыть ни звуков, ни цветов,
Ни сверстников, ни смутного ребячества
(Его другие перепишут начисто).
Вкруг сердцевины кольца наросли.
Друзей все меньше: вымерли, прошли.
Сгребают сено девушки веселые,
И запах сена веселит, как молодость.
Все те же лица, клятвы и слова:
Так пахнет только мертвая трава.

〈1941〉

* * *

Ты вспомнил все. Остыла пыль дороги.
А у ноги хлопочут муравьи,
И это — тоже мир, один из многих,

Его не тронут горести твои.
Как разгадать, о чем бормочет воздух?
Зачем закат заночевал в листве?
И если вечером взглянуть на звезды,
Как разыскать себя в густой траве?

1939 или 1940

У ПРИЕМНИКА

Был скверный день, ни отдыха, ни мира,
Угроз томительная хрипота,
Все бешенство огромного эфира,
Не тот обет, и жалоба не та.
А во дворе, средь кошек и пеленок,
Приемника перебивая вой,
Кричал уродливый, больной ребенок,
О стену бился рыжей головой,
Потом ребенка женщина чесала,
И, материнской гордостью полна,
Она его красавцем называла,
И вправду любовалась им она.
Не зря я слепоту зову находкой.
Тоску зажать, как мертвого птенца,
Пройти своей привычною походкой
От детских клятв до точки — до свинца.

1939

МОНРУЖ

Был нищий пригород, и день был сер,
Весна нас выгнала в убогий сквер,
Где небо призрачно, а воздух густ,
Где чудом кажется сирени куст,
Где не расскажет про тупую боль,
Вся в саже, бредовая лакфиоль,
Где малышей сажают на песок
И где тоска вгрызается в висок.
Перекликались слава и беда,
Росли и рассыпались города,

И умирал обманутый солдат
Средь лихорадки пафоса и дат.
Я знаю, век, не изменить тебе,
Твоей суровой и большой судьбе,
Но на одну минуту мне позволь
Увидеть не тебя, а лакфиоль,
Увидеть не в бреду, а наяву
Больную, золотушную траву.

1939

* * *

Жилье в горах — как всякое жилье:
До ночи пересуды, суп и скука,
А на веревке сушится белье,
И чешется, повизгивая, сука.
Но подымись — и сразу мир другой,
От тысячи подробностей очищен,
Дорога кажется большой рекой
И кораблем — убогое жилище.
О, если б этот день перерасти
И с высоты, средь тишины и снега,
Взглянуть на розовую пыль пути,
На синий дым последнего ночлега!

1939
Савойя

* * *

Не здесь, на обломках, в походе, в окопе,
Не мертвых опрос и не доблести опись.
Как дерево, рубят товарища, друга.
Позволь, чтоб не сердце, чтоб камень, чтоб уголь!
Работать средь выстрелов, виселиц, пыток
И ночи крестить именами убитых.
Победа погибших, и тысяч, и тысяч —
Отлить из железа, из верности высечь,—
Обрублены руки, и, настежь отверсто,
Не бьется, врагами расклевано, сердце.

1939

* * *

Сочится зной сквозь крохотные ставни.
В беленой комнате темно и душно.
В ослушников кидали прежде камни,
Теперь и камни стали равнодушны.
Теперь и камни ничего не помнят,
Как их ломали, били и тесали,
Как на заброшенной каменоломне
Проклятый полдень жаден и печален.
Страшнее смерти это равнодушье.
Умрет один — идут, назад не взглянут.
Их одиночество глушит и душит,
И каждый той же суетой обманут.
Быть может, ты, ожесточась, отчаясь,
Вдруг остановишься, чтоб осмотреться,
И на минуту ягода лесная
Тебя обрадует. Так встанет детство:
Обломки мира, облаков обрывки,
Кукушка с глупыми ее годами,
И мокрый мох, и земляники привкус,
Знакомый, но нечаянный, как память.

1939

* * *

Крепче железа и мудрости глубже
Зрелого сердца тяжелая дружба.
В море встречаясь и бури изведав,
Мачты заводят простые беседы.
Иволга с иволгой сходятся в небе,
Дивен и дик их загадочный щебет.
Медь не уйдет от дыханья горниста,
Мертвый, живых поведет он на приступ.
Не говори о тяжелой потере:
Если весло упирается в берег,
Лодка отчалит и, чуждая грусти,
Будет качаться, как люлька,— до устья.

1939

* * *

Нет, не зеницу ока и не камень,
Одно я берегу: простую память.
Так дерево — оно ветров упорней —
Пускает в ночь извилистые корни.
Пред чудом человеческой свободы
Ничтожны версты и минута — годы;
И сердце зрелое — тот мир просторный,
Где звезды падают и всходят зерна.

1939

* * *

По тихим плитам крепостного плаца
Разводят незнакомых часовых.
Сказать о возрасте? Уж сны не снятся,
А книжка — с адресами неживых.
Стоят не шелохнутся часовые.
Друзья редеют, и молчит беда.
Из слов остались самые простые:
Забота, воздух, дерево, вода.
На мир гляжу еще благоговейней —
Уж нет меня. Покоя тоже нет —
Чужое горе липнет, как репейник,
И я не в силах дать ему ответ.
Хожу, твержу, ищу такое слово,
Чтоб выразить всю тишину, всю боль —
Чужого мне, родного часового
С младенчества затверженный пароль.

1939

* * *

Додумать не дай, оборви, молю, этот голос,
Чтоб память распалась, чтоб та тоска
раскололась,
Чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и
шума,
Чтоб, вспомнив, вскочить, себя оборвать, не
додумать,

Чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпом
и на пол,
Чтоб тикали ночью часы, чтоб кран этот
капал,
Чтоб капля за каплей, чтоб цифры, рифмы,
чтоб что-то,
Какая-то видимость точной, срочной работы,
Чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под
бомбы, под пули,
Чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза
заглянули.
Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость,
Не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни
случилось.

1939

ВЕРНОСТЬ

Верность — прямо дорога без петель,
Верность — зрелой души добродетель,
Верность — августа слава и дым,
Зной, его не понять молодым,
Верность — вместе под пули ходили,
Вместе верных друзей хоронили.
Грусть и мужество — не расскажу.
Верность хлебу и верность ножу,
Верность смерти и верность обидам,
Бреда сердца не вспомню, не выдам.
В сердце целься! Пройдут по тебе
Верность сердцу и верность судьбе.

1939

ДЫХАНИЕ

Мальчика игрушечный кораблик
Уплывает в розовую ночь,
Если паруса его ослабли,
Может им дыхание помочь,
То, что домогается и клянчит,
На морозе обретает цвет,
Одолеть не может одуванчик

И в минуту облетает свет,
То, что крепче мрамора победы,
Хрупкое, не хочет уступать,
О котором бредит напоследок
Зеркала нетронутая гладь.

1939

* * *

Самоубийцею в ущелье
С горы кидается поток,
Ломает вековые ели
И сносит камни, как песок.
Скорей бы вниз! И дни и ночи,
Не зная мира языка,
Грозит, упорствует, грохочет.

Так начинается река,
Чтоб после плавно и лениво
Качать рыбацкие челны
И отражать то трепет ивы,
То башен вековые сны.

Закончится и наше время
Среди лазоревых земель,
Где садовод лелеет семя
И мать качает колыбель,
Где летний день глубок и долог,
Где сердце тишиной полно
И где с руки усталый голубь
Клюет пшеничное зерно.

1939

* * *

Как восковые, отекли камельи.
Расина декламируют дрозды.
А ночью невеселое веселье
И ядовитый изумруд звезды.
В туманной суете угрюмых улиц
Еще у стоек поят голытьбу,
А мудрые старухи уж разулись,
Чтоб легче спать в игрушечном гробу

Вот рыболов с улыбкою беззлобной
Подводит жизни прожитой итог,
И кажется мне лилией надгробной
В летейских водах праздный поплавок.
Домов не тронут поздние укоры,
Не дрогнут до рассвета фонари.
Смотри — Парижа путевые сборы.
Опереди его, уйди, умри!

1939

* * *

Все простота: стекольные осколки,
Жар августа и духота карболки,
Как очищают от врага дорогу,
Как отнимают руку или ногу.
Умом мы жили и пустой усмешкой,
Не знали, что закончим перебежкой,
Что хрупки руки и гора поката,
Что договаривает все граната.
Редеет жизнь, и утром на постое
Припоминаешь самое простое:
Не ревность, не заносчивую славу —
Песочницу, младенчества забаву.
Распались формы, а песок горячий
Ни горести не знает, ни удачи.
Осталась жизни только сердцевина:
Тепло руки и синий дым овина,
Луга туманные и зелень бука,
Высокая военная порука —
Не выдать друга, не отдать без боя
Ни детства, ни последнего покоя.

1939

* * *

Я должен вспомнить — это было:
Играли в прятки облака,
Лениво теплая кобыла
Выхаживала сосунка,
Кричали вечером мальчишки,
Дожди поили резеду,

И мы влюблялись понаслышке
В чужую трудную беду.
Как годы обернулись в даты?
И почему в горячий день
Пошли небритые солдаты
Из ошалевших деревень?
Живи хоть час на полустанке,
Хоть от свистка и до свистка.
Оливой прикрывали танки
В Испании.
Опять тоска.
Опять несносная тревога
Кричит над городом ночным.
Друзья, перед такой дорогой
Присядем малость, помолчим,
Припомним всё, как домочадцы,—
Ту резеду и те дожди,
Чтоб не понять, не догадаться,
Какое горе впереди.

1939

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА

Что было городом — дремучий лес,
И человек, услышав крик зловещий,
Зарылся в ночь от ярости небес,
Как червь слепой, томится и трепещет.
Ему теперь и звезды невдомек,
Глаза закрыты, и забиты ставни.
Но вдруг какой-то беглый огонек —
Напоминание о жизни давней.
Кто тот прохожий? И куда спешит?
В кого влюблен?
Скажи ты мне на милость!
Ведь огонька столь необычен вид,
Что кажется — вся жизнь переменилась.

Откинуть мишуру минувших лет,
Принять всю грусть, всю наготу природы,
Но только пронести короткий свет
Сквозь черные, томительные годы!

1939 или 1940

* * *

Не раз в те грозные, больные годы,
Под шум войны, средь нищенства природы,
Я перечитывал стихи Ронсара,
И волшебство полуденного дара,
Игра любви, печали легкой тайна,
Слова, рожденные как бы случайно,
Законы строгие спокойной речи
Пугали мир ущерба и увечий.
Как это просто все! Как недоступно!
Любимая, дышать и то преступно...

1940

* * *

Кончен бой. Над горем и над славой
В знойный полдень голубеет явор.
Мертвого солдата тихо нежит
Листьев изумительная свежесть.
О деревья, мира часовые,
Сизо-синие и голубые!
Под тобой пастух играл на дудке,
Отдыхал, тобой обласкан, путник.
И к тебе шутя пришли солдаты.
Явор счастья, убаюкай брата!

1940

* * *

Был бомбой дом как бы шутя расколот.
Убитых выносили до зари.
И ветер подымал убогий полог,
Случайно уцелевший на двери.
К начальным снам вернулись мебель, утварь.
Неузнаваемый, рождая страх,
При свете дня торжественно и смутно
Глядел на нас весь этот праздный прах.
Был мертвый человек, стекла осколки,
Зола, обломки бронзы, чугуна.
Вдруг мы увидели на узкой полке
Стакан и в нем еще глоток вина...

Не говори о крепости порфира.
Что уцелеет, если не трава,
Когда идут столетия на выруб
И падают, как ласточки, слова?

1940

У ПРИЕМНИКА

Над крышами Парижа весна не зашумит,
И жемчуг не нанижет кудрявая Мими.
Средь темной ночи слышишь (а ночь давно
мертва),
Как умирают мыши и как растет трава.
И равнодушно диктор, не рад и не сердит,
На десяти язы́ках о смерти говорит:
Как тонут тонны боли, как выполот народ,
И трупы — это только торговый оборот.
Но вдруг, как моря склянки, для мира и для
нас
Кремлевские куранты вызванивают час.
Ты, может, из театра сейчас идешь домой...
И как мне непонятно, что этот город — мой,
Что над часами звезды, что я еще живой,
Что даже черный воздух становится Москвой!
Часы всё ближе, ближе, они томят меня.
Над крышами Парижа ни звуков, ни огня.

1940

ПАРИЖ, 1940

1

Умереть и то казалось легче.
Был здесь каждый камень мил и дорог.
Вывозили пушки. Жгли запасы нефти.
Падал черный дождь на черный город.
Женщина сказала пехотинцу
(Слезы черные из глаз катились):
«Погоди, любимый, мы простимся»,—
И глаза его остановились.
Я увидел этот взгляд унылый.
Было в городе черно и пусто.
Вместе с пехотинцем уходило
Темное, как человек, искусство.

2

Не для того писал Бальзак.
Чужих солдат чугунный шаг.
Ночь навалилась, горяча.
Бензин и конская моча.
Не для того — камням молюсь —
Упал на камни Делеклюз.
Не для того тот город рос,
Не для того те годы гроз,
Цветов и звуков естество,—
Не для того, не для того!
Лежит расстрелянный без пуль.
На голой улице патруль.
Так люди предали слова,
Траву так предала трава,—
Предать себя, предать других.
А город пуст, и город тих,
И тяжелее чугуна
Угодливая тишина.
По городу они идут,
И в городе они живут,
Они про город говорят,
Они над городом летят,
Чтоб ночью город не уснул,
Моторов точен грозный гул.
На них глядят исподтишка,
И задыхается тоска.
Глаза закрой и промолчи,—
Идут чужие трубачи,
Чужая медь, чужая спесь.
Не для того я вырос здесь!

3

Глаза погасли, и холод губ,
Огромный город, не город — труп,
Где люди жили, растет трава,
Она приснилась и не жива.
Был этот город густым, как лес,
Простым, как горе, и он исчез.
Дома остались. Но никого.
Не дрогнут ставни. Забудь его!
Ты не забудешь, но ты забудь,

Как руки улиц легли на грудь,
Как стала Сена, пожрав мосты,
Рекой забвенья и немоты.

4

Упали окон вековые веки.
От суеты земной отрешены,
Гуляли церемонные калеки,
И на луну глядели горбуны.
Старухи, вытянув паучьи спицы,
Прохладный саван бережно плели.
Коты кричали. Умирали птицы.
И памятники по дорогам шли.
Уснув в ту ночь, мы утром не проснулись.
Был сер и нежен города скелет.
Мы узнавали все суставы улиц,
Все перекрестки юношеских лет.
Часы не били. Стали звезды ближе.
Пустынен, дик, уму непостижим,
В забытом всеми, брошенном Париже
Уж цепенел необозримый Рим.

5

Номера домов, имена улиц,
Город мертвых пчел, брошенный улей.
Старухи молчат, в мусоре роясь.
Не придут сюда ни сон, ни поезд,
Не придут сюда от живых письма,
Не всхлипнет дитя, не грянет выстрел.
Люди не придут. Умереть поздно.
В городе живут мрамор и бронза.
Нимфа слез и рек — тишина, сжалься! —
Ломает в тоске мертвые пальцы.
Маршалы, кляня века победу,
На мертвых конях едут и едут.
Мертвый голубок — что ему снится? —
Как зерно, клюет глаза провидца.
А город погиб. Он жил когда-то,
Он бьется в груди забытых статуй.

6

Уходят улицы, узлы, базары,
Танцоры, костыли и сталевары,
Уходят канарейки и матрацы,

Дома кричат: «Мы не хотим остаться»,
А на соборе корчатся уродцы,—
Уходит жизнь, она не обернется.
Они идут под бомбы и под пули,
Лунатики, они давно уснули,
Они идут, они еще живые,
Но перед ними те же часовые,
И тот же сон, и та же несвобода,
И в беге нет ни цели, ни исхода:
Уйти нельзя, нельзя мечтать о чуде,
И все ж они идут, не камни — люди.

7

Над Парижем грусть. Вечер долгий.
Улицу зовут «Ищу полдень».
Кругом никого. Свет не светит.
Полдень далеко, теперь вечер.
На гербе корабль. Черна гавань.
Его трюм — гроба, парус — саван.
Не сказать «прости», не заплакать.
Капитан свистит. Поднят якорь.
Девушка идет, она ищет,
Где ее любовь, где кладбище.
Не кричат дрозды. Молчит память.
Идут, как слепцы, ищут камень.
Каменщик молчит, не ответит,
Он один в ночи ищет ветер.
Иди, не говори, путь тот долгий,—
Это весь Париж ищет полдень.

8

Как дерево в большие холода,
Ольха иль вяз, когда реки вода,
Оцепенев, молчит, и ходит вьюга,
Как дерево обманутого юга,
Что, к майскому готовясь торжеству,
Придумывает сквозь снега листву,
Зовет малиновок и в смертной муке
Иззябшие заламывает руки,—
Ты в эту зиму с ночью говоришь,
Расщепленный, как старый вяз, Париж.

1940

ВОЗЛЕ ФОНТЕНБЛО

Обрывки проводов. Не позвонит никто
Как человек, подмигивает мне пальто.
Хозяева ушли. Еще стоит еда.
Еще в саду раздавленная резеда.
Мы едем час, другой. Ни жизни, ни жилья.
Убитый будто спит. Смеется клок белья.
Размолот камень, и расщеплен грустный бук.
Леса без птиц, и нимфа дикая без рук.
А в мастерской, средь красок, кружев и колец,
Гранатой замахнулся на луну мертвец,
И синевой припудрено его лицо.
Как трудно вырастить простое деревцо!
Опять развалины — до одури, до сна.
Невыносимая чужая тишина.
Скажи, неужто был обыкновенный день,
Когда над детворой еще цвела сирень?

1940

* * *

Мы жили в те воинственные годы,
Когда, как джунглей буйные слоны,
Леса ломали юные народы
И прорывались в сон, истомлены.
Такой разгон, такое непоседство,
Что в ночь одну разгладились межи,
Растаял полюс, будто иней детства,
И замерли, пристыжены, стрижи.
Хребту приказано, чтоб расступиться,
Русло свое оставила река,
На север двинулись полки пшеницы,
И розы зацвели среди песка.
Так подчинил себе высокий разум
Лёт облака и смутный ход корней,
И стала ночь, обглоданная глазом,
Еще непостижимей и черней.
Стихи писали про любви уловки,
В подсумок зарывали дневники,
А женщины рожали на зимовке,
И уходили в море моряки.

⟨*1940*⟩

* * *

Я знаю: будет золотой и долгий,
Как мед густой, непроходимый полдень,
И будут с гирями часы на кухне,
В саду гудеть пчела и сливы пухнуть.
Накроют к ужину, и будет вечер,
Такой же хрупкий и такой же вечный,
И женский плач у гроба не нарушит
Ни чина жизни, ни ее бездушья.

⟨1940⟩

* * *

Где играли тихие дельфины,
Далеко от зелени земли,
Нарываясь по ночам на мины,
Молча умирают корабли.
Суматошливый, большой и хрупкий,
Человек не предает мечты,—
Погибая, он спускает шлюпки,
Сбрасывает сонные плоты.
Синевой охваченный, он верит,
Что земля любимая близка,
Что ударится о светлый берег
Легкая, как жалоба, доска.
Видя моря яростную смуту,
Средь ночи, измученный волной,
Он еще в последнюю минуту
Бредит берегом и тишиной.

1940

ЛОНДОН

Не туманами, что ткали Парки,
И не парами в зеленом парке,
Не длиной,— а он длиннее сплина,—
Не трезубцем моря властелина,—
Город тот мне горьким горем дорог,
По ночам я вижу черный город,

Горе там сосчитано на тонны,
В нежной сырости сирены стонут,
Падают дома, и день печален
Средь чужих уродливых развалин.
Но живые из щелей выходят,
Говорят, встречаясь, о погоде,
Убирают с тротуаров мусор,
Покупают зеркальце и бусы.
Ткут и ткут свои туманы Парки.
Зелены загадочные парки.
И еще длинней печали версты,
И людей еще темней упорство.

Январь 1941
Москва

* * *

Бродят Рахили, Хаимы, Лии,
Как прокаженные, полуживые,
Камни их травят, слепы и глухи,
Бродят, разувшись пред смертью, старухи,
Бродят младенцы, разбужены ночью,
Гонит их сон, земля их не хочет.
Горе, открылась старая рана,
Мать мою звали по имени — Хана.

Январь 1941

* * *

В лесу деревьев корни сплетены,
Им снятся те же медленные сны,
Они поют в одном согласном хоре,
Зеленый сон, земли живое море.
Но и в лесу забыть я не могу:
Чужой реки на мутном берегу,
Один как перст, непримирим и страстен,
С ветрами говорит высокий ясень.
На небе четок каждый редкий лист.
Как, одиночество, твой голос чист!

1940

* * *

Белесая, как марля, мгла
Скрывает мира очертанье,
И не растрогает стекла
Мое убогое дыханье.
Изобразил на нем мороз,
Чтоб сердцу биться не хотелось,
Корзины вымышленных роз
И пальм былых окаменелость,
Язык безжизненной зимы
И тайны памяти лоскутной.
Так перед смертью видим мы
Знакомый мир, большой и смутный.

Январь 1941

* * *

Как эти сосны и строенья
Прекрасны в зеркале пруда,
И сколько скрытого волненья
В тебе, стоячая вода!
Кипят на дне глухие чувства,
Недвижен темных вод покров,
И кажется, само искусство
Освобождается от слов.

1940

* * *

Умрет садовник, что сажает семя,
И не увидит первого плода.
О, времени обманчивое бремя!
Недвижен воздух, замерла вода,
Роса, как слезы, связана с утратой,
Напоминает мумию кокон,
Под взглядом оживает камень статуй,
И ящерицы непостижен сон.
Фитиль уснет, когда иссякнет масло,
Ветра сотрут ступни горячий след.
Но нежная звезда давно погасла,
И виден мне ее горячий свет.

1940

* * *

Та заморская чужая сырость,
Желтизна туманов заводских.
Он по щучьему веленью вырос
И с рожденья походил на стих.
До чего прекрасен он и страшен!
Двух столетий слава и порфир,
И чахоточных чиновниц кашель,
Что, как песня, обошел весь мир.
Пробирались по земле промерзлой,
Не видали в темноте ни зги,
И стучали азбукою Морзе
Первые путиловцев шаги.
Город, вытканный из длинных линий.
Кони вздыблены, им не помочь.
Их до времени состарил иней,
И поводья подхватила ночь.

Январь 1941

* * *

Замерзшее окно как глаз слепца.
Я не забуду твоего лица.
А на окне — зеленый стебелек,
Все, что от времени я уберег:
В краю, где вьется легкая лоза,
Зеленые туманные глаза.

Январь 1941

* * *

Крылья выдумав, ушел под землю,
Предал сон и погасил глаза.
И подбитая как будто дремлет
Сизо-голубая стрекоза.
Света не увидеть Персефоне,
Голоса сирены не унять,
К солнцу ломкие, как лед, ладони
В золотое утро не поднять.
За какой хлопочешь ты решеткой,

Что еще придумала спеша,
Бедная больная сумасбродка,
Хлопотунья вечная душа?

Январь 1941

* * *

Города горят. У тех обид
Тонны бомб, чтоб истолочь гранит.
По дорогам, по мостам, в крови,
Проползают ночью муравьи,
И летит, летит, летит щепа —
Липы, ружья, руки, черепа.
От полей исходит трупный дух.
Псы не лают, и молчит петух,
Только говорит про мертвый кров
Рев больных, недоеных коров.
Умирает голубая ель
И олива розовых земель,
И родства не помнящий лишай
Научился говорить «прощай»,
И на ста языках человек,
Умирая, проклинает век.
...Будет день, и прорастет она —
Из костей, как всходят семена,—
От сетей, где севера треска,
До Сахары праздного песка,
Всколосятся руки и штыки,
Зашагают мертвые полки,
Зашагают ноги без сапог,
Зашагают сапоги без ног,
Зашагают горя города,
Выплывут утопшие суда,
И на вахту встанет без часов
Тень товарища и облаков.
Вспомнит старое крапивы злость,
Соком ярости нальется гроздь,
Кровь проступит сквозь земли тоску,
Кинется к разбитому древку,
И труба поведает, крича,
Сны затравленного трубача.

1940
Москва

Дерево

1942
1946

1941

Мяли танки теплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог.
Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед,
Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепа, мосты,
Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы,
И, косматые, как облака,
Врукопашную пошли века.
Шли солдаты бить и перебить,
Как ходили прежде молотить,
Смерть предстала им не в высоте,
А в крестьянской древней простоте,
Та, что пригорюнилась, как мать,
Та, которой нам не миновать.
Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли,
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел глухой, зазубренный топор,
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля.

1942

* * *

Привели и застрелили у Днепра.
Брат был далеко. Не слышала сестра.
А в Сибири, где уж выпал первый снег,
На заре проснулся бледный человек
И сказал: «Железо у меня в груди.
Киев, Киев, если можешь, погляди!..»
«Киев, Киев! — повторяли провода.—
Вызывает горе, говорит беда».
«Киев, Киев!» — надрывались журавли.
И на запад эшелоны молча шли.
И от лютой человеческой тоски
Задыхались крепкие сибиряки...

1942

УБЕЙ!

Как кровь в виске твоем стучит,
Как год в крови, как счет обид,
Как горем пьян и без вина,
И как большая тишина,
Что после пуль и после мин,
И в сто пудов, на миг один,
Как эта жизнь — не ешь, не пей
И не дыши — одно: убей!
За сжатый рот твоей жены,
За то, что годы сожжены,
За то, что нет ни сна, ни стен,
За плач детей, за крик сирен,
За то, что даже образа
Свои проплакали глаза,
За горе оскорбленных пчел,
За то, что он к тебе пришел,
За то, что ты — не ешь, не пей,
Как кровь в виске — одно: убей!

1942

* * *

Наступали. А мороз был крепкий.
Пахло гарью. Дым стоял тяжелый.
И вдали горели, будто щепки,

Старые насиженные села.
Догорай, что было сердцу любо!
Хмурились и шли еще поспешней.
А от прошлого остались трубы
Да на голом дереве скворешня.
Над золою женщина сидела,—
Здесь был дом ее, родной и милый,
Здесь она любила и жалела
И на фронт отсюда проводила.
Теплый пепел. Средь пустого снега
Что она еще припоминала?
И какое счастье напоследок
Руки смутные отогревало?
И хотелось бить и сквернословить,
Перебить — от жалости и злобы.
А вдали как будто теплой кровью
Обливались мертвые сугробы.

1942

НЕНАВИСТЬ

Ненависть — в тусклый январский полдень
Лед и сгусток замерзшего солнца.
Лед. Под ним клокочет река.
Рот забит, говорит рука.
Нет теперь ни крыльца, ни дыма,
Ни тепла от плеча любимой,
Ни калитки, ни лая собак,
Ни тоски. Только лед и враг.
Ненависть — сердца последний холод.
Всё отошло, ушло, раскололось.
Пуля от сердца сердце найдет,
Чуть задымится розовый лед.

1942

* * *

Знакомые дома не те.
Пустыня затемненных улиц.
Не говори о темноте:
Мы не уснули, мы проснулись.
Избыток света в поздний час
И холод нового познанья,

Как будто третий, вещий глаз
Глядит на рухнувшие зданья.
Нет, ненависть не слепота —
Мы видим мир, и сердцу внове
Земли родимой красота
Средь горя, мусора и крови.

1942

* * *

Они накинулись, неистовы,
Могильным холодом грозя,
Но есть такое слово «выстоять»,
Когда и выстоять нельзя,
И есть душа — она все вытерпит,
И есть земля — она одна,
Большая, добрая, сердитая,
Как кровь, тепла и солона.

1942

* * *

Настанет день, скажи — неумолимо,
Когда, закончив ратные труды,
По улицам сраженного Берлина
Пройдут бойцов суровые ряды.
От злобы побежденных или лести
Своим значением ограждены,
Они ни шуткой, ни любимой песней
Не разрядят нависшей тишины.
Взглянув на эти улицы чужие,
На мишуру фасадов и оград,
Один припомнит омраченный Киев,
Другой — неукротимый Ленинград.
Нет, не забыть того, что было раньше.
И сердце скажет каждому: молчи!
Опустит руки строгий барабанщик,
И меди не коснутся трубачи.
Как тихо будет в их разбойном мире!
И только, прошлой кровью тяжелы,
Не перестанут каменных валькирий
Когтить кривые прусские орлы.

1942

МОРЯКИ ТУЛОНА

Скажи мне, приятель, мы склянки прослушали?
Мы вахту проспали? Приятель, проснись!

А рыбы глядят, как всегда равнодушные,
И рыбы не знают, что значит «проснись».

Я помню в Тулоне высокое зарево,
Как нас захлестнула большая волна.
Скажи мне скорее: где наши товарищи?
Я слезы глотаю, а соль солона.

Куда мы ушли? И хватило ли топлива?
Чужие солдаты на борт не взошли.
Любимая Франция, нами потоплены
Большие, живые твои корабли.

В Бретани — старушка. Что с матерью станется?
Глаза дорогие проплачет она.
Скажи мне, где наша любимая Франция?
Какая ее захлестнула волна?

Но вот средь густого тумана, как в саване,
Со дна подымаются все корабли.

Идем мы, приятель, в последнее плаванье,
Идем за щепоткой французской земли.
Вот пена взлетает веселыми хлопьями,
Огонь орудийный врезается в ночь,
И, голос услышав эскадры потопленной,
Чужие солдаты кидаются прочь.
А девушки нам улыбаются с берега,
И сколько цветов, не смогу я сказать.

Ты знаешь, приятель, мне как-то не верится,
Что я расцелую родимую мать.
Скажу ей: три года я плавал на «Страсбурге»,
Там много осталось хороших ребят.

А рыбы вздыхают кровавыми жабрами,
И рыбы на нас равнодушно глядят.

1942

* * *

Большая черная звезда.
Остановились поезда.
Остановились корабли.
Травой дороги поросли.
Молчат бульвары и сады.
Молчат унылые дрозды.
Молчит Марго, бела, как мел,
Молчит Гюго, он онемел.
Не бьют часы. Застыл фонтан.
Стоит, не двинется туман.

Но вот опять вошла зима
В пустые темные дома.
Париж измучен, ночь не спит,
В бреду он на восток глядит:
Что значат беглые огни?
Куда опять идут они?
Ты можешь жить? Я не живу.
Молчи, они идут в Москву,
Они идут за годом год,
Они берут за дотом дот,
Ты не подымешь головы —
Они уж близко от Москвы.
Прощай, Париж, прощай навек!
Далекий дым и белый снег.

Его ты белым не зови:
Он весь в огне, он весь в крови.
Гляди — они бегут назад,
Гляди — они в снегу лежат.

Пылает море серых крыш,
И на заре горит Париж,
Как будто холод тех могил
Его согрел и оживил.
Я вижу свет и снег в крови.
Я буду жить. И ты живи.

1942

* * *

Так ждать, чтоб даже память вымерла,
Чтоб стал непроходимым день,
Чтоб умирать при милом имени
И догонять чужую тень,
Чтоб не довериться и зеркалу,
Чтоб от подушки утаить,
Чтоб свет своей любви и верности
Зарыть, запрятать, затемнить,
Чтоб пальцы невзначай не хрустнули,
Чтоб вздох и тот зажать в руке.
Так ждать, чтоб, мертвый, он почувствовал
Горячий ветер на щеке.

1942

* * *

Он пригорюнится, притулится,
Свернет, закурит и вздохнет,
Что есть одна такая улица,
А улицы не назовет.
Врага он встретит у обочины.
А вдруг откажет пулемет,
Он скажет: «Жить кому не хочется»,—
И сам с гранатой поползет.

1942

* * *

Когда закончен бой, присев на камень,
В грязи, в поту, измученный солдат
Глядит еще незрячими глазами
И другу отвечает невпопад.
Он, может быть, и закурить попросит,
Но не закурит, а махнет рукой.
Какие жал он трудные колосья,
И где ему почудился покой?
Он с недоверьем оглядит избушки
Давно ему знакомого села,
И, невзначай рукой щеки коснувшись,
Он вздрогнет от внезапного тепла.

1942

* * *

На небо зенитки смотрят зорко,
А весна — весной, грачи — грачами.
Девушка в линялой гимнастерке
С яркими зелеными зрачками.
Покричала, поворчала пушка
И замолкла. Тишина какая!
Только долгий счет ведет кукушка
И, сбиваясь, снова начинает.
Девушка про счастье загадала,
Сколько жить ей — много или мало.
И зенитки на небо смотрели.
А кукушка просто куковала,
И деревья просто зеленели.

1942

* * *

С ручной гранатой, иль у пушки,
Иль в диком конников строю
Он слышит, как услышал Пушкин:
«Есть упоение в бою».
Он знает все. Спокойно целясь,
Он к смерти запросто готов.
Но для него все та же прелесть
В звучании далеких слов,
И, смутным гулом русской речи
Как бы наполнен до краев,
Он смерти кинется навстречу
И не почувствует ее.

1942

* * *

Когда враждебным небо стало,
Нарисовали мы дома,
Прикрыли зеленью каналы
И даже смерть свели с ума.
Кто вырастил густые рощи,
Кто город весь перевернул,

Кто превратил пустую площадь
В какой-то сказочный аул?
Не так ли ночью перед боем
Полуразбуженный солдат
Преображает все былое
В один необозримый сад,
Чтоб не было того, что было,
Чтоб за минуту до конца
Зеленая листва прикрыла
Черты любимого лица.

1942

* * *

Зайдешь к танкистам, и в чужой землянке
Сосед про то про се поговорит,
А после вспомнит о подбитом танке
И на тебя украдкой поглядит.
В его глазах тогда не отразятся
Огни повисших вдалеке ракет,
Но ты увидишь боевого братства
Рассеянный и вдохновенный свет.
Ты все поймешь — тот взгляд слова заменит,
И, вглядываясь в голубую тьму,
Ты улыбнешься незнакомой тени,
Как ты не улыбался никому.

1942

* * *

Был лютый мороз. Молодые солдаты
Любимого друга по полю несли.
Молчали. И долго стучали лопаты
В упрямое сердце промерзшей земли.
Скажи мне, товарищ... Словами не скажешь,
А были слова — потерял на войне.
Ружейный салют был печален и важен
В холодной, в суровой, в пустой тишине.
Могилу прикрыли. А ночью — в атаку.
Боялись они оглянуться назад.
Но кто там шагает? Друзьями оплакан,

Своих земляков догоняет солдат.
Он вместе с другими бросает гранаты,
А если залягут, он крикнет «ура»,
И место ему оставляют солдаты,
Усевшись вокруг золотого костра.
Его не увидеть. Повестку о смерти
Давно получили в далеком краю.
Но разве уступит солдатское сердце
И дружба, рожденная в трудном бою?

1942

* * *

Бывала в доме, где лежал усопший,
Такая тишина, что выли псы,
Испуганная, в мыле билась лошадь
И слышно было, как идут часы.
Там, на кровати, чересчур громоздкой,
Торжественно покойник почивал,
И горе молча отмечалось воском
Да слепотой завешенных зеркал.

В пригожий день среди кустов душистых,
Когда бы человеку жить и жить,
Я увидал убитого связиста,—
Он все еще сжимал стальную нить,
В глазах была привычная забота,
Как будто, мертвый, опоздать боясь,
Он торопливо спрашивал кого-то,
Налажена ли прерванная связь.
Не знали мы, откуда друг наш смелый,
Кто ждет его в далеком городке,
Но жизнь его дышала и гудела,
Как провод в холодеющей руке.
Быть может, здесь, в самозабвенье сердца,
В солдатской незагаданной судьбе,
Таится то высокое бессмертье,
Которое мерещилось тебе?

1942

* * *

Я помню — был Париж. Краснели розы
Под газом в затуманенном окне,
Как рана. Нимфа мраморная мерзла.
Я шел и смутно думал о войне.
Мой век был шумным, люди быстро гасли.
А выпадала тихая весна —
Она пугала видимостью счастья,
Как на войне пугает тишина.
И снова бой. И снова пулеметчик
Лежит у погоревшего жилья.
Быть может, это все еще хлопочет
Ограбленная молодость моя?
Я верен темной и сухой обиде,
Ее не позабыть мне никогда,
Но я хочу, чтоб юноша увидел
Простые и счастливые года.
Победа — не гранит, не мрамор светлый,—
В грязи, в крови, озябшая сестра,
Она придет и сядет незаметно
У бледного погасшего костра.

1942

* * *

По рытвинам, средь мусора и пепла,
Корова тащит лес. Она ослепла.
В ее глазах вся наша темнота.
Переменились формы и цвета.
Пойми, мне жаль не слов — слова заменят,
Мне жаль былых высоких заблуждений.
Бывает свет сухих и трезвых дней,
С ним надо жить, он темноты темней.

Лето 1943

* * *

В росчерк спички он, глумясь, вложил
Всю тоску своих звериных сил.
Темный, он хотел поджечь века.

Жадная обуглена рука.
Он сгорел в осенней тишине
На холодном голубом огне.

Между октябрем и декабрем 1943

В БЕЛОРУССИИ

Мы молчали. Путь на запад шел
Мимо мертвых догоравших сел,
И лежала голая земля,
Головнями тихо шевеля.
Я запомню, как последний дар,
Этот сердце леденящий жар,
Эту ночь, похожую на день,
И средь пепла брошенную тень.
Запах гари едок, как беда,
Не отвяжется он никогда,
Он со мной, как пепел деревень,
Как белесая, больная тень,
Как огрызок вымершей луны
Средь чужой и новой тишины.

Между октябрем и декабрем 1943

* * *

Было в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды.
Я не жалуюсь на свой удел,
Я бы только увидать хотел
День один, обыкновенный день,
Чтобы дерева густая тень
Ничего не значила, темна,
Кроме лета, тишины и сна.

Между октябрем и декабрем 1943

* * *

Был час один — душа ослабла.
Я видел Глухова сады
И срубленных врагами яблонь
Еще незрелые плоды.

Дрожали листья. Было пусто.
Мы постояли и ушли.
Прости, великое искусство,
Мы и тебя не сберегли.

Между октябрем и декабрем 1943

* * *

Белеют мазанки. Хотели сжечь их,
Но не успели. Вечер. Дети. Смех.
Был бой за хутор, и один разведчик
Остался на снегу. Вдали от всех
Он как бы спит. Не бьется больше сердце.
Он долго шел — он к тем огням спешил.
И если не дано уйти от смерти —
Он, умирая, смерть опередил.

Между октябрем и декабрем 1943

* * *

Запомни этот ров. Ты все узнал:
И города сожженного оскал,
И черный рот убитого младенца,
И ржавое от крови полотенце.
Молчи — словами не смягчить беды.
Ты хочешь пить, но не ищи воды.
Тебе даны не воск, не мрамор. Помни —
Ты в этом мире всех бродяг бездомней.
Не обольстись цветком: и он в крови.
Ты видел все. Запомни и живи.

Между октябрем и декабрем 1943

* * *

Было в слове «русский» столько доброты,
Столько русой, грустной, чудной простоты.
Снег слезами обливался. Помним мы
Все проталины отходчивой зимы.
А теперь и у доверчивых берез,

Если сердце есть, ты не отыщешь слез.
Славы и беды холодная ладонь
В эту зиму обжигает, как огонь.

Между октябрем и декабрем 1943

* * *

Скребет себя на пепле Иов,
И дым глаза больные выел,
А что здесь было — нет его.
И никого, и ничего.
Зола густая тихо стынет.
Так вот она, его пустыня.
Он отнял не одно жилье —
Он сердце обобрал мое.
Сквозь эту ночь мне не пробраться.
Зачем я говорил про братство?
Зачем в горах звенел рожок?
Зачем я голос твой берег?
Постой. Подумай. Мы не знали,
В какое счастье мы играли.
Нет ничего. Одна зола
По-человечески тепла.

1943

ЕВРОПА

Летучая звезда и моря ропот,
Вся в пене, розовая, как заря,
Горячая, как сгусток янтаря,
Среди олив и дикого укропа,
Вся в пепле, роза поздняя раскопок,
Моя любовь, моя Европа!
Я исходил петлистые дороги
С той пылью, что старее серебра,
Я знаю теплые твои берлоги,
Твои сиреневые вечера
И глину под ладонью гончара.
Надышанная светлая обитель,
Больших веков душистый сеновал,
Горшечник твой, как некогда Пракситель,
Брал горсть земли и жизнь в нее вдувал.

Был в Лувре небольшой, невзрачный зал.
Безрукая доверчиво, по-женски
Напоминала нам о красоте.
И плакал перед нею Глеб Успенский,
А Гейне знал, что все слова не те.
В Париже, средь машин, по-деревенски
Шли козы. И свирель впивалась в день.
Был воздух зацелованной святыней,
И мастерицы простодушной тень
По скверу проходила, как богиня.
Твои черты я узнаю в пустыне,
Горячий камень дивного гнезда,
Средь серы, средь огня, в ночи потопа,
Летучая зеленая звезда,
Моя звезда, моя Европа!

1943

* * *

Были липы, люди, купола.
Мусор. Битое стекло. Зола.
Но смотри — среди разбитых плит
Уж младенец выполз и сидит,
И сжимает слабая рука
Горсть сырого теплого песка.
Что он вылепит? Какие сны?
А года чернеют, сожжены...
Вот и вечер. Нам идти пора.
Грустная и страстная игра.

1943

* * *

Гляжу на снег, а в голове одно:
Ведь это — день, а до чего темно!
И солнце зимнее, оно на час,
Торопится — глядишь, и день погас.
Под деревом солдат. Он шел с утра.
Зачем он здесь? Ему идти пора.
Он не уйдет. Прошли давно войска,
И день прошел. Но не пройдет тоска.

1943

* * *

Есть время камни собирать,
И время есть, чтоб их кидать.
Я изучил все времена,
Я говорил: на то война,
Я камни на себе таскал,
Я их от сердца отрывал,
И стали дни еще темней
От всех раскиданных камней.
Зачем же ты киваешь мне
Над той воронкой в стороне,
Не резонер и не пророк,
Простой дурашливый цветок?

1943

* * *

Слов мы боимся, и все же прощай.
Если судьба нас сведет невзначай,
Может, не сразу узнаю я, кто
Серый прохожий в дорожном пальто,
Сердце подскажет, что ты — это тот,
Сорок второй и единственный год.
Ржев догорал. Мы стояли с тобой,
Смерть примеряли. И начался бой...
Странно устроен любой человек:
Страстно клянется, что любит навек,
И забывает, когда и кому...
Но не изменит и он одному:
Слову скупому, горячей руке,
Ржевскому лесу и ржевской тоске.

1944

* * *

Ракеты салютов. Чем небо черней,
Тем больше в них страсти растерзанных дней.
Летят и сгорают. А небо черно.
И если себя пережить не дано,
То ты на минуту чужие пути,
Как эта ракета, собой освети.

1944

* * *

Мир велик, а перед самой смертью
Остается только эта горстка,
Теплая и темная, как сердце,
Хоть ее и называли черствой,
Горсть земли, похожей на другую,—
Сколько в ней любви и суеверья!
О такой и на небе тоскуют,
И в такую до могилы верят,
За такую, что дороже рая,
За лужайку, дерево, болотце,
Ничего не видя, умирают
В час, когда и птица не проснется.

1944

БАБИЙ ЯР

К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?
Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Мы понатужимся и встанем,
Костями застучим — туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли. Не мы — овраги.

1944

* * *

В это гетто люди не придут.
Люди были где-то. Ямы тут.
Где-то и теперь несутся дни.
Ты не жди ответа — мы одни,
Потому что у тебя беда,
Потому что на тебе звезда,
Потому что твой отец другой,
Потому что у других покой.

1944

* * *

За то, что зной полуденный Эсфири,
Как горечь померанца, как мечту,
Мы сохранили и в холодном мире,
Где птицы застывают на лету,
За то, что нами говорит тревога,
За то, что с нами водится луна,
За то, что есть петлистая дорога
И что слеза не в меру солона,
Что наших девушек отличен волос,
Не те глаза и выговор не тот,—
Нас больше нет. Остался только холод.
Трава кусается, и камень жжет.

1944

* * *

В окопе или в маленькой землянке,
Когда коптилка тихо догорит,
Товарищ вспомнит о подбитом танке
И на тебя украдкой поглядит.
О, в тех глазах нет места укоризне,
И нет в них даже отсвета побед,—
Начало в них большой и новой жизни,
Самозабвения горячий свет.
И есть в войне такое утвержденье,
Что, вглядываясь в голубую тьму,
Ты улыбнешься одинокой тени,
Как ты не улыбался никому.

⟨1945⟩

РОССИЯ

Когда в пургу ворвутся кони,
Она благословит бойца,
Ее горячие ладони
Коснутся смутного лица.
Она для сердца больше значит,
Чем все обеты, все пути.
И если дерево — на мачты,
И если камень — улети,
И если не пройти — тараном,
И если смерть — переступи
И стой один седым курганом
В пустой заснеженной степи.
Ты видишь, выйдя из окопа,—
Она, оснащена тобой,
Пересекает ночь Европы.
И сквозь тяжелый, долгий бой,
Сквозь зарева туман кровавый
Ты видишь под большой луной
Броню тяжелую державы
И хлопья пены кружевной.

⟨1945⟩

* * *

Россия — в слове том не только славы
Хранители, великие года,—
В нем строгая приподнятость державы
И теплота родимого гнезда.
И что ты вспомнишь, повторив то слово:
Адмиралтейство и гранит реки
Иль накануне утра рокового
Стыдливый жар девической щеки?
Но в каждом холмике и в каждой елке
Черты того же милого лица,
И в смехе простодушной комсомолки,
И в тихом скрипе ветхого крыльца.

⟨1945⟩

* * *

Прости — одна есть рифма к слову «смерть»:
Осточертевшая, как будто в стужу
Могилу роют, мерзлая земля
Упорствует, и твердь не поддается.
Ты рифмы не подыщешь к слову «жизнь»,
Ни отклика, ни даже отголоска.
А сколько слез, признаний, сколько просьб!
Все говорят, никто не отвечает.

⟨1945⟩

СТАТУЯ АФРОДИТЫ

Он много знал, во имя Бога
Он суетных богов ломал,
И все же он душою дрогнул,
Когда тот мрамор увидал.
Не знаю, девкой деревенской
Иль домыслом она была
И чья догадка совершенство
Из глыбы камня родила,
Но плакал, как дитя, апостол,
Что слишком поздно увидал,
Зачем он был на землю послан
И по какой земле ступал.
Давно тот след на камне стерся,
И падал снег, и таял снег.
Но вижу я — к тому же торсу
В тоске подходит человек,
И та же красота земная
Вдруг открывается ему,
И смутно слезы он роняет,
Не понимая почему.

1945

* * *

Была трава, как раб, распластана,
Сияла кроткая роса,
И кровлю променяла ласточка
На ласковые небеса,
И только ты, большое дерево,

Осталось на своем посту —
Солдат, которому доверили
Прикрыть собою высоту.
И были ветки в муке скрещены,
Когда огонь тебя подсек,
И умирало ты торжественно,
Как умирает человек.

1945

* * *

Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь свою прожил — и снова война.
Я все же запомнил из жизни той громкой
Не музыку марша, не грозы, не бомбы,
А где-то в рыбацком селенье глухом
К скале прилепившийся маленький дом.
В том доме матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки метались, как чайки.
И годы, и годы мерещатся мне
Всё те же две тени на белой стене.

1945

* * *

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом,
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом,
И помню милую мне женщину,—
Не знаю, мало ль было сил,
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и отпустил.
И все давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево
Еще по-прежнему стоит.

1945

* * *

Ты говоришь, что я замолк,
И с ревностью, и с укоризной.
Париж не лес, и я не волк,
Но жизнь не вычеркнешь из жизни.
А жил я там, где, сер и сед,
Подобен каменному бору,
И голубой и в пепле лет,
Стоит, шумит великий город.

Там даже счастье нипочем,
От слова там легко и больно,
И там с шарманкой под окном
И плачет и смеется вольность.
Прости, что жил я в том лесу,
Что все я пережил и выжил,
Что до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.

1945

* * *

Чужое горе — оно как овод:
Ты отмахнешься, и сядет снова,
Захочешь выйти, а выйти поздно,
Оно — горячий и мокрый воздух,
И, как ни дышишь, все так же душно,
Оно не слышит, оно — кликуша,
Оно приходит и ночью ноет,
А что с ним делать — оно чужое.

1945

* * *

Мне было многое знакомо
И стало сердцу дорогим,
Но не было на свете дома,
Который бы назвал своим.
И только в час глухой и злобный,
Когда горела вся земля,
Я дверь одну ревниво обнял,

Как будто эта дверь — моя.
И дым глаза мне ночью выел,
Но я не опустил руки,
Чтоб дети, не мои — чужие,
Играли утром у реки.

1945

* * *

Будет солнце в тот день, или дождь, или снег,—
Тишина удивит, к ней придет человек.
Тишиной начинается все, как во сне,
Человек возвращается вновь к тишине.
О, победы последний салют! Не слова,
Нам расскажут о счастье вода и трава.
Не орудья отметят сражений конец,
А биение крохотных птичьих сердец.
Мы услышим, как тихо летит мотылек,
Если ветер улегся и вечер далек.

1945

В ФЕВРАЛЕ 1945

1

День придет, и славок громкий хор
Хорошо прославит птичий вздор,
И, смеясь, наденет стрекоза
Выходные яркие глаза.
Будут снова небеса для птиц,
А Медынь для звонких медуниц,
Будут только те затемнены,
У кого луна и без луны,
Будут руки, чтобы обнимать,
Будут губы, чтобы целовать,
Даже ветер, почитав стихи,
Заночует у своей ольхи.

2

Мне снился мир, и я не мог понять,—
Он и во сне казался мне ошибкой:
Был серый день, и на ребенка мать
Глядела с неуверенной улыбкой,

А дождь не знал, идти ему иль нет,
Выглядывало солнце на минуту,
И ветки плакали — за много лет,
И было в этом счастье столько смуты,
Что всех пугал и скрип, и смех, и шаг,
Застывшие не улетали птицы,
Притихло все. А сердце билось так,
Что и во сне могло остановиться.

1945

* * *

За что он погиб? Он тебе не ответит.
А если услышишь, подумаешь — ветер.
За то, что здесь ярче густая трава,
За то, что ты плачешь и, значит, жива,
За то, что есть дерева грустного шелест,
За то, что есть смутная русская прелесть,
За то, что четыре угла у земли,
И сколько ни шли бы, куда бы ни шли,
Есть, может быть, звонче, нарядней, богаче,
Но нет вот такой, над которой ты плачешь.

1945

ЛЕНИНГРАД

Есть в Ленинграде, кроме неба и Невы,
Простора площадей, разросшейся листвы,
И кроме статуй, и мостов, и снов державы,
И кроме незакрывшейся, как рана, славы,
Которая проходит ночью по проспектам,
Почти незримая, из серебра и пепла,—
Есть в Ленинграде жесткие глаза и та,
Для пришлого загадочная, немота,
Тот горько сжатый рот, те обручи на сердце,
Что, может быть, одни спасли его от смерти.
И если ты — гранит, учись у глаз горячих:
Они сухи, сухи, когда и камни плачут.

1945

9 МАЯ 1945

1

О них когда-то горевал поэт:
Они друг друга долго ожидали,
А встретившись, друг друга не узнали
На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал — закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.

2

Она была в линялой гимнастерке,
И ноги были до крови натерты.
Она пришла и постучалась в дом.
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
«Твой сын служил со мной в полку одном,
И я пришла. Меня зовут Победа».
Был черный хлеб белее белых дней,
И слезы были соли солоней.
Все сто столиц кричали вдалеке,
В ладоши хлопали и танцевали.
И только в тихом русском городке
Две женщины, как мертвые, молчали.

3

Прошу не для себя, для тех,
Кто жил в крови, кто дольше всех
Не слышал ни любви, ни скрипок,
Ни роз не видел, ни зеркал,
Под кем и пол в сенях не скрипнул,
Кого и сон не окликал,—
Прошу для тех — и цвет, и щебет,
Чтоб было звонко и пестро,
Чтоб, умирая, день, как лебедь,

Ронял из горла серебро,—
Прошу до слез, до безрассудства,
Дойдя, войдя и перейдя,
Немного смутного искусства
За легким пологом дождя.

1945

* * *

Умру — вы вспомните газеты шорох,
Ужасный год, который всем нам дорог.
А я хочу, чтоб голос мой замолкший
Напомнил вам не только гром у Волги,
Но и деревьев еле слышный шелест,
Зеленую таинственную прелесть.
Я с ними жил, я слышал их рассказы,
Каштаны милые, оливы, вязы —
То не ландшафт, не фон и не убранство;
Есть в дереве судьба и постоянство,
Уйду — они останутся на страже,
Я начал говорить — они доскажут.

1945

* * *

О, дайте вечность мне,— и вечность
я отдам
За равнодушие к обидам и годам.
И. Анненский

В печальном парке, где дрожит зола,
Она стоит, по-прежнему бела.
Ее богиней мира называли,
Она стоит на прежнем пьедестале.
Ее обидели давным-давно.
Она из мрамора, ей все равно.
Ее не тронет этот день распятый,
А я стою, как он стоял когда-то.
Нет вечности, и мира тоже нет,
И не на что менять остаток скверных лет.
Есть только мрамор и остывший пепел.
Прикрой его, листва: он слишком светел.

1945

ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕСНЯ

Свободу не подарят,
Свободу надо взять.
Свисти скорей, товарищ,
Нам время воевать
Мы жить с тобой бы рады,
Но наш удел таков,
Что умереть нам надо
До первых петухов.
Нас горю не состарить,
Любви не отозвать.
Свисти скорей, товарищ,
Нам время воевать.
Другие встретят солнце
И будут петь и пить,
И, может быть, не вспомнят,
Как нам хотелось жить.

1946



1948

1957 · 1958

* * *

«Во Францию два гренадера...»
Я их, если встречу, верну.
Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну?
Уж нет гренадеров в помине,
И песни другие в ходу,
И я не француз на чужбине,—
От этой земли не уйду,
Мне все здесь знакомо до дрожи,
Я к каждой тропинке привык,
И всех языков мне дороже
С младенчества внятный язык.
Но вдруг замолкают все споры,
И я — это только в бреду,—
Как два усача гренадера,
На запад далекий бреду,
И все, что знавал я когда-то,
Встает, будто было вчера,
И красное солнце заката
Не хочет уйти до утра.

1948

ФРАНЦИЯ

1

Дорога вьется, тянет, тянется.
Заборы, люди, города.
И вдруг одно: а где же Франция?
Запряталась она куда?
Бретань, и море в злобе щерится,
И скалы рвет огромный вал.
Разлука ли? Мне все не верится,

Что эти руки целовал.
Не улыбнешься, не расплачешься,
А вспомнишь — закричишь со сна.
Парижа позднее ребячество,
Его туманная весна —
В цветах, в огнях, в соленой сырости...
Я не спрошу, что стало с ним.
Другие девушки там выросли
И улыбаются другим.
Так сделан человек: расстанется,
Все заметет тяжелый снег.
И я как все. А где же Франция?
Я выдумал ее во сне.
Но ты не говори о верности,
Я верен, только не себе —
Тому, что бьется, вьется, вертится —
Своей тоске, своей судьбе.

2

Читаешь, пишешь, говоришь,
И вдруг встает былой Париж,
Огромный, огненный, живой,
С горячей мокрой синевой.
Как он сумел прийти сюда?
Ходить — не ходят города,
Им тяжело, у них дома.
И кто из нас сошел с ума?
Тот город, что, забыв про честь,
Готов в любое сердце влезть,
Готов смутить любой покой
Своей шарманочной тоской,—
Сошел ли город тот с ума.
Сошли ли с мест своих дома?
Иль, может, я в бреду ночном,
Когда смолкает все кругом,
Сквозь сон, сквозь чащу мутных лет,
Сквозь ночь, которой гуще нет,
Сквозь снег, сквозь смерть, сквозь эту тишь
Бреду туда — все в тот Париж?

1948

* * *

Мне все мерещится одна
Большого полдня тишина,
И те же блики от каштана,
И тот же зной, как мед, густой,
Кувшин, а рядом два стакана,
Один с вином, другой пустой.
Обычно отвечают: «Ба,
Что тут попишешь, не судьба...»
Уж больше ничего не будет,
Теперь и вспоминать смешно,
А все мерещится одно:
Так и ушел и не пригубил...

1948

* * *

Тарханы — это не поэма,
Большое крепкое село.
Давно в музей безумный Демон
Сдал на хранение крыло.
И посетитель видит хрупкий,
Игрушечный, погасший мир,
Изгрызенную в муке трубку
И опереточный мундир.
И каждому немного лестно,
Что это — Лермонтова кресло.
На стенах множество цитат
О происшедшей перемене.
А под окном заглохший сад
И «счастье», скрытое в сирени.
Машины облегчили труд.
В селе теперь десятилетка.
Колхозники исправно чтут
Дела прославленного предка,
И каждый год в тот день июля,
Когда его сразила пуля,
В Тарханах праздник. Там с утра
Вся приодета детвора.
Уж кумачом зардели арки,
Уж сдали государству рожь,
И в старом лермонтовском парке
Танцует дружно молодежь.

Здесь нет ни топота, ни свиста...
Давно забыт далекий выстрел,
И только в склепе, весь продрог,
Стоит обшитый цинком гроб.
Мотор заглох, шофер хлопочет.
А девушка в избе бормочет
Все тот же сердцу милый стих,
И страсть в ее глазах глухих,
Приподняты углами брови,
А ночь, как некогда, темна.
Поют и пьют. Стихи читают. Сквернословят.
А сердце в цинк стучит. Все выпито до дна.
«Люблю отчизну я, но странною любовью...»
А что тут странного? Она одна.

1948

* * *

У маленькой речушки на закате,
Закинув удочку, сидел мечтатель
И, отдыхая от своих тревог,
Глядел на неподвижный поплавок.
Он смутно думал: «Тонет луг в тумане,
Возможно, завтра и меня не станет,
Но будет снова тот же летний день,
И та же рябь реки, и та же лень».
О вечности он думал смутно, вяло,
А рядом на песочке трепетала
Им пойманная рыбка. Где вода?
Ее не будет больше никогда.
Дышать она пыталась. Слишком поздно:
Не для нее сухой и грозный воздух.
Вздымались жабры. Белый жег песок.
Мечтатель все глядел на поплавок.

1948

* * *

К вечеру улегся ветер резкий,
Он залег в тенистом перелеске,—
Уверяли галки очень колко,

Что растет там молодая елка.
Он играл с ее колючей хвоей,
Говорил: «На свете есть другое,
А не только эти елки-палки,
А не только глупенькие галки».
Говорил, что он бывал на Тибре,
Танцевал с нарядными колибри,
Обнимал высокую агаву,
Но нашлась и на него управа.
Отвечала молодая елка:
«Я в таких речах не вижу толка,
С вами я почти что незнакома,
Нет у вас ни адреса, ни дома,
Может, по миру гулять просторней,
Но стыдитесь — у меня есть корни,
Я стою здесь с самого начала,
Как моя прабабушка стояла.
Я не мельница. Зачем мне ветер?
У меня, наверно, будут дети.
На мои портреты ротозеи
Смотрят в краеведческом музее».
Вздрогнули деревья на рассвете —
Это поднялся внезапно ветер,
И завыла на цепи собака
Оттого, что ветер выл и плакал,
Оттого, что без цепи привольно,
Оттого, что даже ветру больно.

1948

* * *

Был тихий день обычной осени,
Я мог писать иль не писать:
Никто уж в сердце не запросится,
И тише тишь, и глаже гладь.
Деревья голые и черные —
На то глаза, на то окно,—
Как не моих догадок формулы,
А все разгадано давно.
И вдруг, порывом ветра вспугнуты,
Взлетели мертвые листы,
Давно истоптаны, поруганы,

И всё же, как любовь, чисты,
Большие, желтые и рыжие
И даже с зеленью смешной,
Они не дожили, но выжили
И мечутся передо мной.
Но можно ль быть такими чистыми?
А что ни слово — невпопад.
Они живут, но не написаны,
Они взлетели, но молчат.

1957

* * *

Ошибся — нужно повторить:
Ребенка учат говорить.
К чему леса? К чему трава?
Пред ним дремучие слова,
И он в руке зажать готов
Добычу дня — охапку слов.
До смерти их не перечесть.
А попугай — тот любит есть,
А водолей — тот воду льет,
И человек средь слов живет.
Кто открывал, и кто крестил,
И кто кого когда любил?
Ведь он не нов, ведь он готов,
Уютный мир заемных слов.
Лишь через много-много лет,
Когда пора давать ответ,
Мы разгребаем груду слов —
Ведь мир другой, он не таков.
Слова швыряем мы в окно
И с ними славу заодно.
Как ни хвали, как ни пугай,
Молчит облезший попугай,—
Слова ушли, как сор, как дым,
Он хочет умереть немым.

1957

* * *

Есть надоедливая вдоволь повесть,
Как плачет человеческая совесть.
Она особенно скулит средь ночи,
Когда никто с ней говорить не хочет,
Когда подсчитаны давно балансы
И оттанцованы и сны и танцы,
Когда глаза, в которых жизнь поблекла,
Похожи на замызганные стекла
Большого недостроенного дома,
Где все необжито и все знакомо.
Она скулит, что день напрасно прожит
И что никто не лезет вон из кожи,
Что убивают лихо изуверы.
И что вздыхают тихо маловеры.
Она скулит, никто ее не слышит —
Ни ангелы, ни близкие, ни мыши.
Да что тут слушать? Плачет, и не жалко.
Да что тут слушать? Есть своя смекалка.
Да что тут слушать? Это ведь не дело.
И это всем смертельно надоело.

1957
Нагасаки

* * *

Ты помнишь, жаловался Тютчев:
«Мысль изреченная есть ложь».
Ты не пытался думать — лучше
Чужая мысль, чужая ложь.
Да и к чему осьмушки мысли?
От соски ты отвык едва,
Как сразу над тобой нависли
Семипудовые слова.
И было в жизни много шума,
Пальбы, проклятий, фарсов, фраз.
Ты так и не успел подумать,
Что набежит короткий час,
Когда не закричишь дискантом,
Не убежишь, не проведешь,
Когда нельзя играть в молчанку,
А мысли нет, есть только ложь.

1957

* * *

В их мире замкнутом и спертом
И логика была простой,
Она была того же сорта,
Что окрик часового: «Стой!»

«Стой!» — и построй себе жилище,
«Стой!» — и свивай себе уют,
«Стой!» — и работай ради пищи,
Живи, как прочие живут.

Да кто вы? Люди или птицы?
Сыны богов или кроты?
«Мы? Жители. Жильцы, жилицы,
Квартиросъемщики. А ты,

А ты, что вечно споришь с веком?»
«Я был собою до конца:
Неполноценным человеком,
Пытавшимся поджечь сердца».

«Ну как, поджег? — И все смеются,
Все полноценны и тихи.—
Прошла эпоха революций.
А сколько платят за стихи?»

1957

* * *

Однажды черт меня сподобил:
Я жил в огромном небоскребе.
Скребутся мыши, им не снится,
Что есть луна над половицей.
Метались этажи в ознобе.
Я не был счастлив в небоскребе,
Я не кивал пролетной птице,
Я жил, как мышь под половицей.
Боюсь я слов больших и громких,

Куда тут «предки» и «потомки»,
Когда любой шальной мышонок,
Как сто веков, высок и громок.
В ознобе бьются линотипы,
Взлетают яростные скрипы.
И где уж догадаться мыши,
Что незачем скрестись на крыше?

1957

* * *

Я смутно помню шумный перекресток,
Как змей клубок, петлистые пути.
Я выбрал свой, и все казалось просто:
Коль цель видна, не сбиться и дойти.
Одна судьба — не две — у человека,
И как дорогу ту ни назови,
Я верен тем, с которыми полвека
Шагал я по грязи и по крови.
Один косился на другого, мучил
Молчанием, томила сердце тень,
Что рядом шла,— не друг и не попутчик,
А только тень.
                                        Ни зелень деревень,
Ни птицы крик нам не несли отрады.
Страшнее переходов был привал.
Порой один, чуть покачнувшись, падал,
Все дальше шли, он молча умирал.
Но, кажется, и в час предсмертной стужи,
Когда пойму — мне больше не идти,
Нахлынут нежность, гордость, грусть и ужас
При памяти о пройденном пути.

1957

* * *

Есть в севере чрезмерность, человеку
Она невыносима, но сродни —
И торопливость летнего рассвета,
И декабря огрызки, а не дни,

И сада вид, когда приходит осень:
Едва цветы успели расцвести,
Их заморозки скручивают, косят,
А ветер ухмыляется, свистит,
И только в пестроте листвы кричащей,
Календарю и кумушкам назло,
Горит последнее большое счастье,
Что сдуру, курам на смех, расцвело.

1957

ДОЖДЬ В НАГАСАКИ

Дождь в Нагасаки бродит, разбужен,
рассержен.
Куклу слепую девочка в ужасе держит.
Дождь этот лишний, деревья ему не рады,
Вишня в цвету, цветы уже начали падать.
Дождь этот с пеплом, в нем тихой смерти
заправка,
Кукла ослепла, ослепнет девочка завтра,
Будет отравой доска для детского гроба,
Будет приправой тоска и долгая злоба,
Злоба — как дождь, нельзя от нее укрыться,
Рыбы сходят с ума, наземь падают птицы.
Голуби скоро начнут, как вороны, каркать,
Будут кусаться и выть молчальники карпы,
Будут вгрызаться в людей цветы полевые,
Воздух вопьется в грудь, сердце высосет, выест.
Злобу не в силах терпеть, как дождь, Нагасаки.
Мы не дадим умереть тебе, Нагасаки!
Дети в далеких, в зеленых и тихих скверах,—
Здесь не о вере, не с верой, не против веры,
Здесь о другом — о простой человеческой жизни.
Дождь перейдет, на вишни он больше не брызнет.

1957

ТОВАРИЩАМ

В любой трущобе, где и камню больно,
В Калькутте душной, средь ветров
Стокгольма,
В японском домике, пустом до страха,

Глухой в Нью-Йорке и на ощупь в шахте,
У Миссисипи, где и снам не выжить,
В заласканном, заплаканном Париже,
И в брюхе птицы, прорезавшей небо,—
Все сорок лет — когда бы, с кем бы, где бы —
Я вижу их, я узнаю их сразу,
Не по затверженным знакомым фразам,—
По множеству примет, едва заметных,
По хмурости и по усмешке светлой,
По мужеству, по гордости, по горю,
Которых не унять, не переспорить,
И по тому, как промолчат о главном,
Как через силу выговорят «ладно»,
Как не расскажут про беду и смуту
И как доверчиво пожмут мне руку.
Я с ними в сговоре — мы вместе жили,
В одно мы верили, одно любили,
И пуд мы съели — не по нашей воле —
Такой соленой, что не скажешь, соли.
Суровый, деловой и все же нежный
Огромный заговор одной надежды.

1957

СПУТНИК

Есть нечто милое в самом том слове
С далеких, незапамятных времен,
Хоть многим кажется, что это — внове,
Хоть ошарашен мир и окрылен.
Не знаю, догадаются, поймут ли,
Увидев искру в голубой дали,
Какой невидимый и близкий спутник
Уж сорок лет кружит вокруг Земли.
В глухую осень из российской пущи,
Средь холода и грусти волостей,
Он был в пустые небеса запущен
Надеждой исстрадавшихся людей.
Ему орбиты были незнакомы,
Он оживал в часы сухой тоски,
О нем не говорили астрономы,
За ним следили только бедняки.
Что испытал он, в спехе пролетая,

Запущен рано, нестерпимо нов,
Над горем стародавнего Китая,
Над голодом бразильских пастухов?
Его боялись на допросе выдать,
Он был судим, и был он осужден.
Я помню, пролетал он над Мадридом,
И люди улыбались: это — он!
Он осветил последние минуты
Заложников, он мчался вкруг Земли,
Его видали тени Равенсбрука,
Индийцы разговоры с ним вели.
Он вспыхивал и пропадал надолго,
Никто его путей не объявлял,
Но в смертный час над потрясенной Волгой
Он будущее мира отстоял.
Его не признавали: «Это — опыт»,
В сердцах твердили: «Это — русских дурь»,
Пока не увидали в телескопы
Его кружение средь звездных бурь.
Не знаю, догадаются, поймут ли...
Он сорок лет бушует надо мной,
Моих надежд, моей тревоги спутник,
Несмыслимый, далекий и родной.

1957

ПАРИЖ — ТОКИО

(*Мысли в пути*)

Были когда-то небеса для влюбленных,
Плыли облака от луны до солнца,
Звезда с звездой встречались, прощались,
И одна на землю падала в печали.
Стали небеса проезжей дорогой,
От взлета до посадки четыре бутерброда.
Говорят о делах, деловито дремлют,
Порой, зевая, смотрят на землю.
Господа вселенной от взлета до посадки
Хвастают успехами, клянут неполадки,
Вспоминают расходы, расставляют цифры,
Спорщики спорят, ревнуют ревнивцы.
Облака под ними — грязная вата,
Под ватой и они живали когда-то.

Что им звезды? Незачем ломаться.
Видели они немало декораций.

Если радисту радист не ответит,
Если сядет самолет на чужой планете,
Слегка удивятся, спросят кого-то,
Сколько им дивиться — от посадки до взлета,
А потом займутся своими делами —
Пуском машин или грустными глазами
Той, что осталась на другой планете,
Что вчера провожала, а завтра не встретит.
Вынуты блокноты — догадки, подсчеты.
Споры продолжаются — от посадки до взлета.
Четыре бутерброда... Летят на Землю.
Падает звезда. Великое племя!

1957

ВЕРНОСТЬ

Жизнь широка и пестра,
Вера — очки и шоры.
Вера двигает горы,
Я — человек, не гора.
Вера мне не сестра.
Видел я камень серый,
Стертый трепетом губ,
Мертвого будит вера,
Я — человек, не труп.
Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел — билась земля,
Видел я небо в пепле,—
Вере не верю я.
Скверно? Скажи, что скверно.
Верно? Скажи, что верно.
Не похвальбе, не мольбе,
Верю тебе лишь, Верность,
Веку, людям, судьбе.
Если терпеть, без сказки,
Спросят — прямо ответь,
Если к столбу, без повязки,—
Верность умеет смотреть.

1957

* * *

Был пятый час среди январских сумерек.
На улице большой и незнакомой
Она бумажку вынула из сумочки,—
Быть может, позабыла номер дома,
А может быть, работой озабочена,
Проверила все цифры на расписке,
А может, просто улыбнулась почерку
Измятой, зацелованной записки.
Где друг ее, в какой далекой области?
Иль, может быть, спешила на свиданье?
Но губы дрогнули, и, будто облако,
Взлетело к небу легкое дыханье.
Когда мы говорим на громких сборищах
Про ненависть, про бомбы и про стронций,
Когда слова, в которых столько горечи,
Горячим пеплом заслоняют солнце,
Я вспоминаю улицу морозную
И облако у каменного зданья,
Огромный мир с бесчисленными звездами
И крохотное, слабое дыханье.

1958

САМЫЙ ВЕРНЫЙ

Я не знал, что дважды два — четыре,
И учитель двойку мне поставил.
А потом я оказался в мире
Всевозможных непреложных правил.
Правила менялись, только бойко,
С той же снисходительной улыбкой,
Неизменно ставили мне двойку
За допущенную вновь ошибку.
Не был я учеником примерным
И не стал с годами безупречным,
Из апостолов Фома Неверный
Кажется мне самым человечным,
Услыхав, он не поверил просто —
Мало ли рассказывают басен?

И, наверно, не один апостол
Говорил, что он весьма опасен.
Может, был Фома тяжелодумом,
Но, подумав, он за дело брался,
Говорил он только то, что думал,
И от слов своих не отступался.
Жизнь он мерил собственною меркой,
Были у него свои скрижали.
Уж не потому ль, что он «неверный»,
Он молчал, когда его пытали?

1958

* * *

Да разве могут дети юга,
Где розы плещут в декабре,
Где не разыщешь слова «вьюга»
Ни в памяти, ни в словаре,
Да разве там, где небо сине
И не слиняет ни на час,
Где испокон веков поныне
Все то же лето тешит глаз,
Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.
А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
Но только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.

1958

* * *

Вчера казалась высохшей река,
В ней женщины лениво полоскали
Белье. Вода не двигалась. И облака,
Как простыни распластаны, лежали
На самой глади. Посреди реки
Дремали одуревшие коровы.
Баржа спала. Рыжели островки,
Как поплавки лентяя рыболова.
Вдруг началось. Сошла ль река с ума?
Прошла ль гроза? Иль ей гроза приснилась?
Но рвется прочь. Земля, поля, дома —
Всё отдано теперь воде на милость.
Бывает, жизнь мельчает. О судьбе
Не говори — ты в выборе свободен.
И если есть судьба, она в тебе —
И эти отмели и полноводье.

1958

В ГРЕЦИИ

Не помню я про ход резца —
Какой руки, какого века,—
Мне не забыть того лица,
Любви и муки человека.
А кто он? Возмущенный раб?
Иль неуступчивый философ,
Которого травил сатрап
За прямоту его вопросов?
А может, он бесславно жил,
Но мастер не глядел, не слушал
И в глыбу мрамора вложил
Свою бушующую душу?
Наверно, мастеру тому
За мастерство, за святотатство
Пришлось узнать тюрьму, суму
И у царей в ногах валяться.
Забыты тяжбы горожан
И войны громкие династий,

И слов возвышенных туман,
И дел палаческие страсти.
Никто не свистнет, не вздохнет —
Отыграна пустая драма,—
И только все еще живет
Обломок жизни, светлый мрамор.

1958

В ЗООПАРКЕ ЛОНДОНА

До слез доверчива собака,
Нетороплива черепаха,
Близка к искусству обезьяна,
Большие чувства у барана,
Но говорят, что только люди —
И дело здесь не в глупом чуде,
А дело здесь в природе высшей,
А дело здесь в особой мышце,—
И ни скворец в своей скворешне,
И никакой не пересмешник,
Ни попугай и ни лисица
Не могут этого добиться.
Но только люди — это с детства,—
Едва успеют осмотреться,
Им даже нечего стараться —
Они умеют улыбаться.
Я много жил и видел многих,
Высокомерных и убогих,
И тех, что открывают звезды,
И тех, что разоряют гнезда.
Есть у людей носы и ноги
Для любопытства, для тревоги,
Есть настороженные уши
Для тишины, для малодушья,
Есть голова для всякой прыти,
Кровопролитий и открытий,
Чтоб расщепить, как щепку, атом,
Чтоб за Луну был всяк просватан,
Чтоб был Сатурн в минуту добыт,
Чтоб рифмовал и плакал робот.
Умеют люди зазнаваться,
Но разучились улыбаться.

И только в вечер очень жаркий
В большом и душном зоопарке,
Где, не мечтая о победе,
Лизали кандалы медведи,
Где были всяческие люди —
И дети королевских судей,
И маклеры, а с ними жены,
И малолетние Ньютоны,
Где люди громко гоготали,
А звери выли от печали,
Где даже тигр пытался мямлить,
Как будто он не тигр, а Гамлет,—
Да, только там, у тесных клеток,
Средь мудрецов и малолеток,
Я видел, как один слоненок,
Быть может, сдуру иль спросонок,
Взглянув на дамские убранства,
На грустное, пустое чванство,
Наивен будучи и робок,
Слегка приподнял тонкий хобот
И, словно он природы высшей
И словно одарен он мышцей,
К слонихе быстро повернулся,
Не выдержал и улыбнулся.

1958

* * *

Про первую любовь писали много,—
Кому не лестно походить на Бога,
Создать свой мир, открыть в привычной глине
Черты еще не найденной богини?
Но цену глине знает только мастер —
В вечерний час, в осеннее ненастье,
Когда всё прожито и всё известно,
Когда сверчку его знакомо место,
Когда цветов повторное цветенье
Рождает суеверное волненье,
Когда уж дело не в стихе, не в слове,
Когда всё позади, а счастье внове.

1958

СЕРДЦЕ СОЛДАТА

Бухгалтер он,— счетов охапка,
Семерки, тройки и нули.
И кажется, он спит, как папка
В тяжелой голубой пыли.
Но вот он с другом повстречался.
Ни цифр, ни сплетен, ни котлет.
Уж нет его, пропал бухгалтер,
Он весь в огне прошедших лет.
Как дробь, стучит солдата сердце:
«До Петушков рукой подать!»
Беги! Рукой подать до смерти,
А жизнь в одном — перебежать.
Ты скажешь — это от контузий,
Пройдет, найдет он жизни нить,
Но нити спутались, и узел
Уж не распутать — разрубить.

Друзья и сверстники развалин
И строек сверстники, мой край,
Мы сорок лет не разувались,
И, если нам приснится рай,
Мы не поверим.
Стой, не мешкай,
Не для того мы здесь, чтоб спать!
Какой там рай? Есть перебежка —
До Петушков рукой подать!

1958

СОСЕД

Он идет, седой и сутулый.
Почему судьба не рубнула?
Он остался живой, и вот он,
Как другие, идет на работу,
В перерыв глотает котлету,
В сотый раз заполняет анкету,
Как родился он в прошлом веке,
Как мечтал о большом человеке,

Как он ел паёчную воблу
И в какую он ездил область,
Про ранения и про медали,
Про сражения и про печали,
Как узнал он народ и дружбу,
Как ходил на войну и на службу,
Как ходила судьба и рубала,
Как друзей у него отымала.
Про него говорят «старейший»,
И ведь правда — морщины на шее,
И ведь правда — волос не осталось.
Засиделся он в жизни малость.
Погодите, прошу, погодите!
Поглядите, прошу, поглядите!
Под поношенной, стертой кожей
Бьется сердце других моложе.
Он такой же, как был, он прежний,
Для него расцветает подснежник.
Все не просто, совсем не просто,
Он идет, как влюбленный подросток,
Он не спит голубыми ночами,
И стихи он читает на память.
И обходит он в вечер морозный
Заснеженные сонные звезды,
И сражается он без ракеты
В черном небе за толику света.

1958

* * *

Мы говорим, когда нам плохо,
Что, видно, такова эпоха,
Но говорим словами теми,
Что нам продиктовало время.
И мы привязаны навеки
К его взыскательной опеке,
К тому, что есть большие планы,
Что изменяем мы природу,
Что умираем в непогоду
И что привыкли наши ноги
К воздушной и земной тревоге,
Что мы считаем дни вприкидку,

Что сшиты на живую нитку,
Что никакая в мире нежить
Той тонкой нитки не разрежет.
В удаче ль дело, в неудаче,
Но мы не можем жить иначе,
Не променяем — мы упрямы —
Ни этих лет, ни этой драмы,
Не променяем нашей доли,
Не променяем нашей роли,—
Играй ты молча иль речисто,
Играй героя иль статиста,
Но ты ответишь перед всеми
Не только за себя — за Время.

1958

* * *

Я слышу все — и горестные шепоты,
И деловитый перечень обид.
Но длится бой, и часовой как вкопанный
До позднего рассвета простоит.
Быть может, и его сомненья мучают,
Хоть ночь длинна, обид не перечесть,
Но знает он — ему хранить поручено
И жизнь товарищей, и собственную честь.
Судьбы нет горше, чем судьба отступника,
Как будто он и не жил никогда,
Подобно коже прокаженных, струпьями
С него сползают лучшие года.
Ему и зверь и птица не доверятся,
Он будет жить, но будет неживой,
Луна уйдет, и отвернется дерево,
Что у двери стоит как часовой.

1958



НАД РУКОПИСЬЮ

Если слово в строке перечеркнуто,
А поверх уж другое топорщится,
Значит, эти слова — заменители,
Невесомы они, приблизительны,
Значит, каждое слово уж выспалось,
Значит, это — слова, а не исповедь,
Значит, все раздобыто, не добыто,
Продиктовано роботом роботу.

1964

КОРОВЫ В КАЛЬКУТТЕ

Как давно сказано,
Не все коровы одним миром мазаны:
Есть дельные и стельные,
Есть комолые и бодливые,
Веселые и ленивые,
Печальные и серьезные,
Индивидуальные и колхозные,
Дойные и убойные,
Одни в тепле, другие на стуже,
Одним лучше, другим хуже.
Но хуже всего калькуттским коровам:
Они бродят по улицам,
Мычат, сутулятся,
Нет у них крова,
Свободные и пленные,
Голодные и почтенные,
Никто не скажет им злого слова —
Они священные.

Есть такие писатели —
Пишут старательно,

Лаврами их украсили,
Произвели в классики,
Их не ругают, их не читают,
Их почитают.
Было в моей жизни много дурного,
Частенько били — за перегибы,
За недогибы, изгибы,
Говорили, что меня нет — «выбыл»,
Но никогда я не был священной коровой.
И на том спасибо.

1964

В САМОЛЕТЕ

Носил учебники я в ранце,
Зубрил латынь, над аргонавтами
Зевал и, прочитав «Каштанку»,
Задумался об авторе.
Передовые критики
Поругивали Чехова:
Он холоден к политике
И пишет вяло, нехотя.
Он отстает от века
И говорит, как маловер:
Зауважают человека,
Но после дождика в четверг;
Он в «Чайке» вычурен, нелеп,
Вздыхает над убитой птичкою,
Крестьян, которым нужен хлеб,
Лекарствами он пичкает.

Я жизнь свою прожить успел
И, тридцать стран объехав,
Вдруг в самолете поглядел
И вижу — рядом Чехов.
Его бородка и пенсне,
И говорит приглушенно.
Он обращается ко мне:
«Вы из Москвы? Послушайте,
Скажите, как вы там живете?
Меня ведь долго не было.
Я оказался в самолете,
Хоть ничего не требовал.

Подумать только — средь небес
Закусками нас потчуют!
Недаром верил я в прогресс,
Когда нырял в обочину...»
Волнуясь, я сказал в ответ
Про множество успехов,
Сказал о том, чего уж нет.
И молча слушал Чехов.
«Уж больше нет лабазников,
Сиятельных проказников,
Помещиков, заводчиков
И остряков находчивых,
Уж нет его величества,
Повсюду перемены,
Метро и электричество,
Над срубами антенны,
Сидят у телевизора,
А космонавты кружатся,—
Земля оттуда мизерна,
А океаны — лужица,
И ваша медицина
На выдумки богата —
Глотают витамины,
Есть пищеконцентраты.
Живу я возле Вознесенска,
Ваш дом — кругом слонялись куры —
Сожгли при отступленье немцы.
Построили Дворец культуры.
Как мирно воевали прадеды!
Теперь оружье стало ядерным...»
Молчу. Нам до посадки полчаса.
«Вы многое предугадали:
Мы видели в алмазах небеса,
Но дяди Вани отдыха не знали...»

Сосед смеется, фыркает,
Побрился, снял пенсне.
«Что видели во сне?
Сон прямо богатырский.
Лечу я в Лондон — лес и лен,
Я из торговой сети,
Лес до небес и лен как клен,—
Все здорово на свете!»

1964

* * *

Морили прежде в розницу,
Но развивались знания.
Мы, может, очень поздние,
А может, слишком ранние.

Сидел писец в Освенциме,
Считал не хуже робота —
От матерей с младенцами
Волос на сколько добыто.

Уж сожжены все родичи,
Канаты все проверены,
И вдруг пустая лодочка
Оторвалась от берега,
Без виз, да и без физики,
Пренебрегая воздухом,
Она к тому приблизилась,
Что называли звездами.

Когда была искомая
И был искомый около,
Когда еще весомая
Ему дарила локоны.
Одна звезда мне нравится.
Давно такое видано,
Она и не красавица,
Но очень безобидная.

Там не снует история,
Там мысль еще не роздана,
И видят инфузории
То, что зовем мы звездами.

Лети, моя любимая!
Так вот оно, бессмертие,—
Не высчитать, не вымолвить,
Само собою вертится.

1964

В РИМСКОМ МУЗЕЕ

В музеях Рима много статуй,
Нерон, Тиберий, Клавдий, Тит,
Любой разбойный император
Классический имеет вид.
Любой из них, твердя о правде,
Был жаждой крови обуян,
Выкуривал британцев Клавдий,
Армению терзал Троян.
Не помня давнего разгула,
На мрамор римляне глядят
И только тощим Калигу́лой
Пугают маленьких ребят.
Лихой кавалерист пред Римом
И перед миром виноват:
Как он посмел конем любимым
Пополнить барственный сенат?
Оклеветали Калигулу:
Когда он свой декрет изрек,
Лошадка даже не лягнула
Своих испуганных коллег.
Простят тому, кто мягко стелет,
На розги розы класть готов,
Но никогда не стерпит челядь,
Чтоб высекли без громких слов.

⟨1965⟩

* * *

Когда зима, берясь за дело,
Земли увечья, рвань и гной
Вдруг прикрывает очень белой
Непогрешимой пеленой,
Мы радуемся, как обновке,
Нам, простофилям, невдомек,
Что это старые уловки,
Что снег на боковую лег,
Что спишут первые метели
Не только упраздненный лист,

Но все, чем жили мы в апреле,
Чему восторженно клялись.
Хитро придумано, признаться,
Чтоб хорошо сучилась нить,
Поспешной сменой декораций
Глаза от мыслей отучить.

⟨1965⟩

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Календарей для сердца нет,
Все отдано судьбе на милость.
Так с Тютчевым на склоне лет
То необычное случилось,
О чем писал он наугад,
Когда был влюбчив, легкомыслен,
Когда, исправный дипломат,
Был к хаоса жрецам причислен.
Он знал и молодым, что страсть
Не треск, не звезды фейерверка,
А молчаливая напасть,
Что жаждет сердце исковеркать.
Но лишь поздней, устав искать,
На хаос наглядевшись вдосталь,
Узнал, что значит умирать
Не поэтически, а просто.
Его последняя любовь
Была единственной, быть может.
Уже скудела в жилах кровь
И день положенный был прожит.
Впервые он узнал разор,
И нежность оказалась внове...
И самый важный разговор
Вдруг оборвался на полслове.

⟨1965⟩

В КОПЕНГАГЕНЕ

Кому хулить, а прочим наслаждаться —
Удой возрос, любое поле тучно,
Хоть каждый знает — в королевстве Датском

По-прежнему не все благополучно.
То приписать кому? Земле?
Векам ли?
Иль, может, в Дании порядки плохи?
А королевство ни при чем, и Гамлет
Страдает от себя, не от эпохи.

⟨1965⟩

СОНЕТ

Давно то было. Смутно помню лето,
Каналов высохших бродивший сок
И бархата спадающий кусок —
Разодранное мясо, Тинторетто.
С кого спадал? Не помню я сюжета.
Багров и ржав, как сгусток всех тревог
И всех страстей, валялся он у ног.
Я все забыл, но не забуду это.
Искусство тем и живо на века —
Одно пятно, стихов одна строка
Меняют жизнь, настраивают душу.
Они ничтожны — в этот век ракет —
И непреложны — ими светел свет.
Всё нарушал, искусства не нарушу.

⟨1965⟩

СТАРОСТЬ

1

Все призрачно, и свет ее неярок.
Идти мне некуда. Молчит беда,
Чужих небес нечаянный подарок,
Любовь моя, вечерняя звезда!
Бесцельная и увести не может.
Я знаю все, я ничего не жду.
Но долгий день был не напрасно прожит —
Я разглядел вечернюю звезду.

1964

2

Молодому кажется, что к старости
Расступаются густые заросли,
Все измерено, давно погашено,
Не пойти ни вброд, ни врукопашную,
Любит поворчать, и тем не менее
Он дошел до точки примирения.

Все не так. В моем проклятом возрасте
Карты розданы, но нет уж козыря,
Страсть грызет и требует по-прежнему,
Подгоняет сердце, будто не жил я,
И хотя уже готовы вынести,
Хватит на двоих непримиримости,
Бьешься, и не только с истуканами —
Сам с собой.
Еще удар — под занавес.

1964

3

У человека много родин,
Разноречивым жизнь полна,
Но если жить он непригоден,
То родина ему одна.
И уж не золотом по черни,
А пальцем слабым на песке
Короче, суше, суеверней
Он пишет о своей тоске.
Душистый разворочен ворох,
Теперь не годы, только дни,
И каждый пуще прежних дорог:
Перешагни, перегони,
Перелети, хоть ты объедок,
Лоскут, который съела моль,—
Не жизнь прожить, а напоследок
Додумать, доглядеть позволь.

1966

4

Устала и рука. Я перешел то поле.
Есть мука и мука́, но я писал о соли.
Соль истребляли все. Ракеты рвутся в небо.

Идут по полосе и думают о хлебе.
Вот он, клубок судеб. И тишина средь песен.
Даст бог, родится хлеб. Но до чего он пресен!

1966

5

Позабыть на одну минуту,
Может быть, написать кому-то,
Может, что-то убрать, передвинуть,
Посмотреть на полет снежинок,
Погадать — додержусь, дотяну ли,
Почитать о лихом Калигу́ле.
Были силы, но как-то не вышло,
А теперь уже скоро крышка.
Не додумать, быть очень твердым,
Просидеть над дурацким кроссвордом,—
Что от правды и что от кривды,
Не помогут ни мысли, ни рифмы.
Это дальше теперь или ближе?
Нужно выбраться, вытянуть, выжить.
Время мешкает, топчется глухо,
Не взлетает, как поздняя муха.
Есть черед, а хотелось бы через.
Нужно жить, а уж нет суеверий,
Если держит еще — не надежда,
А густая и цепкая нежность,
Что из сердца не уберется,
Если сердце всё еще бьется.

〈*1966*〉

6

Пора признать — хоть вой, хоть плачь я,
Но прожил жизнь я по-собачьи,
Не то что плохо, а иначе,—
Не так, как люди или куклы,
Иль Человек с заглавной буквы:
Таскал не доски, только в доску
Свою дурацкую поноску,
Не за награды — за побои
Стерег закрытые покои,

Когда луна бывала злая,
Я подвывал и даже лаял
Не потому, что был я зверем,
А потому, что был я верен —
Не конуре, да и не палке,
Не драчунам в горячей свалке,
Не дракам, не красивым вракам,
Не злым сторожевым собакам,
А только плачу в темном доме
И теплой, как беда, соломе.

⟨1966⟩

7

Из-за деревьев и леса не видно.
Осенью видишь, и вот что обидно:
Как было многое видно, но мнимо,
Сколько бродил я случайно и мимо,
Видеть не видел того, что случилось,
Не догадался, какая есть милость —
В голый, пустой, развороченный вечер
Радость простой человеческой встречи.

1964

8

Не время года эта осень,
А время жизни. Голизна,
Навязанный покой несносен:
Примерка призрачного сна.
Хоть присказки, заботы те же,
Они порой не по плечу.
Всё меньше слов, и встречи реже.
И вдруг себе я бормочу
Про осень, про тоску. О Боже,
Дойти бы, да не хватит сил.
Я столько жил, а всё не дожил,
Не доглядел, не долюбил.

1964

9

Свет погас.
Говорят, через час
Свет дадут
                или нет.
Слишком много мне лет,
Чтобы ждать и гадать —
Будет шторм или гладь.
Далеко далека
Та живая рука.
А включат или нет,
Будут врать или драть,—
Больше нет тех монет,
Чтоб в орлянку играть.

⟨1964⟩

10

Мое уходит поколенье,
А те, кто выжил,— что тут ныть,—
Уж не людьми, а просто временем,
Лежалые, уценены.
Исхода нет, есть только выходы.
Одни, хоть им уйти пора,
Куда придется понатыканы,
Пришамкивают «чур-чура».
Не к спеху им, а коль заведено,
И старость чем не хороша,
По дворику ступают медленно
И умирают не спеша.
Хоть мне осточертели горести
И хоть такими пруд пруди,
Я с теми, кто дурацки борется,
Прет на рожон, да впереди,
Кто не забыл, как свищет молодость,
Кто жизнь продрог, а не продрых,
И хоть хлебал, да все не солоно,
Кто так не вышел из игры.

⟨1964⟩

* * *

Пять лет описывал не пестрядь быта,
Не короля, что неизменно гол,
Не слезы у разбитого корыта,
Не ловкачей, что забивают гол.

Нет, вспоминая прошлое, хотел постичь я
Ходы еще не конченной игры.
Хоть Янус и двулик, в нем нет двуличья,
Он видит в гору путь и путь с горы.
Меня корили: я не знаю правил,
Болтлив, труслив — про многое молчу...

Костра я не разжег, а лишь поставил
У гроба лет грошовую свечу.
На кладбище друзей, на свалке века
Я понял: пусть принижен и поник,
Он все ж оправдывает человека,
Истоптанный, но мыслящий тростник.

1964

НАД СТИХАМИ ВИЙОНА

«От жажды умираю над ручьем».
Водоснабженцы чертыхались:
«Поклеп! Тут воды ни при чем!
Докажем — сделаем анализ».
Вердикт геологов, врачей:
«Вода есть окись водорода,
И не опасен для народа
Сей оклеветанный ручей».
А человек, пустивший слухи,
Не умер вовсе над ручьем,—
Для пресечения разрухи
Он был в темницу заточен.
Поэт, ты лучше спичкой чиркай
Иль бабу снежную лепи,
Не то придет судья с пробиркой,
И ты завоешь на цепи.
Хотя — и это знает каждый —
Не каждого и не всегда
Освободит от вещей жажды
Наичистейшая вода.

⟨*1964*⟩

НАДЕЖДА

Любой сутяга или скаред,
Что научился тарабарить,
Попы, ораторы, шаманы,
Пророки, доки, шарлатаны,
Наимоднейшие поэты,
Будь разодеты иль раздеты,
Предатели и преподобья —
Всучают тухлые снадобья.
И надувают все лекарства,
Оказывалось хлевом царство,
⟨От неудачника, как шкура,⟩
Бежит нежнейшая Лаура,
И смертнику за час до смерти
Приятель говорит «поверьте»,
Когда он все помои вылил,
Когда веревку он намылил.
Но есть одна — она не кинет,
Каким бы жалким ни был финиш,
Она растерянных и наглых,
Без посторонних, с глазу на глаз,
Готова не судить, не вешать —
Всему наперекор утешить.
О чем печалилась Пандора?
Не стало славы и позора,
Убрались ангелы и черти,
Никто не говорит «поверьте»,
Но где-то в темном закоулке,
На самом дне пустой шкатулки,
Хоть все доказано, хоть режь ты,
Чуть трепыхает тень надежды.

⟨*1964*⟩

В КОСТЕЛЕ

Не говори о маловерах,
Но те, что в сушь, в обрез, в огрыз
Не жили — прятались в пещерах,
В грязи, в крови, средь склизких крыс,
Задрипанные львы их драли,

Лупили все, кому не лень,
И на худом пайке печали
Они шептали всякий день,
Пусты, обобраны, раздеты,
Пытаясь провести конвой,
Что к ним придет из Назарета
Хоть и распятый, но живой.
Пришли в рождественской сусали,
Рубинами усыпан крест,
Тут кардинал на кардинале,
И разругались из-за мест.
Кадили, мазали елеем,
Трясли божественной мошной,
А ликовавшим дуралеям —
Тем всыпали не по одной.
Так притча превратилась в басню:
Коль петь не можешь, молча пей.
Конечно, можно быть несчастней,
Но не придумаешь глупей.

1965

В ТЕАТРЕ

Хоть славен автор, он перестарался:
Сложна интрига, нитки теребя,
Крушит героев. Зрителю не жалко —
Пусть умирают. Жаль ему себя.
Герой кричал, что правду он раскроет,
Сразит злодея. Вот он сам — злодей.
Другой кричит. У нового героя
Есть тоже меч.
                    Нет одного — людей.
Хоть бы скорей антракт! Пить чай в буфете,
Забыть, как ловко валят хитреца.
А там и вешалка.
                    Беда в билете:
Раз заплатил — досмотришь до конца.

1965

* * *

Что за дурацкая игра?
Всё только слышится и кажется.
А стих пристанет — до утра
Не замолчит и не отвяжется.
Другие спят, а ты не спи,
Как кот ученый на цепи.
Всю жизнь прожить в каком-то поезде,
Разгадывая стук колес,
Откроется и сразу скроется,
И ночью доведет до слез,
Послышится и померещится
Тень на стене, разводы, трещина.
Песчинки, сжатые в руке,
Слова о доблести, о храбрости.
А ты, как рыба на песке,
Всё шевели сухими жабрами.

1965

СТИХИ НЕ В АЛЬБОМ

Смекалист, смел, не памятлив, изменчив,
Увенчан глупо, глупо и развенчан,
На тех, кто думал, он глядел с опаской —
Боялся быть обманутым, но часто,
Обманут на мякине, жил надеждой —
Всеведущ он, заведомый невежда.
Как Санчо, грубоват и человечен,
Хоть недоверчив, как дитя беспечен,
Не только от сохи и от утробы,
Он власть любил, но не было в нем злобы,
Охоч поговорить, то злил, то тешил
И матом крыл, но никого не вешал.

1965

* * *

Называли нас «интеллигентщиной»,
Издевались, что на книгах скисли,
Были мы, как жулики, развенчаны

И забыли, что привыкли мыслить.
Говорили и ногами топали,
Что довольно нашей праздной гнили,
Нужно воз вытаскивать безропотно,
Мы его как милые тащили,
Нас топтали — не хватало опыта,
Мы скакали, будто лошадь в мыле.
Но на кухню не дали нам пропуска
И без нас ту кашу заварили.
Было много пройдено и добыто,
Оказалось, что ошибся повар,
И должны мы кашу ту расхлебывать
Без интеллигентских разговоров.

1965

ОЧКИ БАБЕЛЯ

Средь ружей ругани и плеска сабель,
Под облаками вспоротых перин
Записывал в тетрадку юный Бабель
Агонии и страсти строгий чин,
И от сверла настойчивого глаза
Не скрылось то, что видеть не дано:
Ссыхались корни векового вяза,
Взрывалось изумленное зерно.
Его ругали — это был очкастый,
Что вместо девки на ночь брал тетрадь,
И петь не пел, а размышлял и часто
Не знал, что значит вовремя смолчать.
Кто скажет, сколько пятниц на неделе?
Все чешутся средь зуда той тоски.
Убили Бабеля, чтоб не глядели
Разбитые, но страшные очки.

1965

* * *

«Конечно, есть у вас загибы,
Вы правильней писать могли бы,
Вы зря винили нас в молчанье —
Для нас блеяние баранье,—

Вы вслушаться не захотели —
Звучит, как соловьины трели.
Поскольку возраст ваш преклонный,
Мы говорим вам благосклонно:
Коль слух ослаб и нет наитий,
Вы напоследок помолчите.
А мы вас очень уважаем
И угостим вас сладким чаем».
Как в старости противны сласти!
Будь то в моей бараньей власти,
Я бы сказал: «Ругайся крепче,
Побереги свой ветхий чепчик
И, не стыдясь, зубами щелкай,
Как то приличествует волку,
И загрызи, хоть я и грубый,
Хоть у тебя ослабли зубы,
Хоть хочешь ты на самом деле,
Чтоб все бараны уцелели».
Мне, право, не до чаепитий,
И вы немного погодите,
Вы не останетесь в обиде —
Расскажете на панихиде
Про то, что был баран и сплыл он
С весьма неподходящим рылом,
И всем баранам в назиданье
Он околел не по-бараньи.

1966

СЕМ ТОБ И КОРОЛЬ ПЕДРО ЖЕСТОКИЙ

То было время раннее,
И не было в Испании
Ни золота, ни пороха,
Ни флота Христофорова.
Тогда еще горшечники
Не рвались к бесконечности,
Не ведали святители,
Что значит относительность.
Король тягался с грандами,
Корпел он над финансами,
Слал против мавров конницу
И заболел бессонницей.
Все медики с примочками

Не знали, как помочь ему.
Коль спишь, так спишь, а и́наче
Лежишь один среди́ ночи.
Сем Тоб, бедняк, юродствовал,
Мудрил и стихоплетствовал,
Ходил с большими пейсами —
Был рода иудейского.
А все ж король попробовал
И приказал Сем Тобу он:
«Ты знаешь все нечистое,
Раскрой такую истину,
Чтоб я уж не тревожился,
А спал, как спать положено».
Забыв про трон и титулы,
Сем Тоб приказ тот выполнил:
«На свете все случается,
На свете все кончается.
Луна бывает месяцем,
Потом растет и светится,
Она такая полная,
Такая безусловная,
Что не убавят толики
Ни мавры, ни католики.
Но вот луна уж нервная,
Как говорят, ущербная,
Отгрызена, отъедена —
На свете так заведено».
Король взревел неистово:
«Ты не поэт, а выскочка! —
И застучал он по столу: —
Читаешь Аристотеля?
Ах, морда ты жидовская,
Не били уж давно тебя.
Луна луной останется,
А вот тебе достанется...»
Сем Тобу крепко всыпали,
Но он, как встарь, пописывал.
А короля Кастилии
Ближайший родич вылечил:
Рубать умея смолоду,
Отсек больную голову.
Не мучаясь вопросами,
Король заснул без просыпу.

1966

В ДОМЕ ЛИТЕРАТОРОВ

Для золота — старатели,
Для полок — собиратели,
Для школ — преподаватели,
Чтоб знали то и то,
Но для чего писатели,
Не ведает никто.
Завалены заказами,
Классическими фразами
Иль, ударяясь в стих,
Умеют пересказывать,
Что сделано до них.
Пораспрощался с музами,
Ну чем тебе не бог,
И хоть не связан узами,
Но знает свой шесток.
Оракулы, ораторы,
Оратели и патеры
Кричат про экскаваторы
И прославляют труд
В том Доме литераторов,
Где и богов секут.
Исхлестаны, взлелеяны,
Подкованы, подклеены,
Вдыхают юбилеями
Душистый дерматин,
И каждому по блеянью
Положен сан и чин.
Но вот поэту томному,
Прозаику скоромному
Старуха шепчет «стоп».
Приносят в дом тот, в комнату,
Двуличен был, в огромную,
Был высечен,— в укромную —
Вполне приличный гроб.
У ног иль изголовия
С глазищами коровьими
Становятся друзья,
Один принес пословицу,
Другому нездоровится,
А третьему нельзя.
Четвертый молвит вежливо:
«Скажи, любимый, где же ты?

Уж нет зубов для скрежета
И скорбь легла на грудь.
Мы будем жить по-прежнему,
А ты, назло всей нежити,
Ступай в последний путь!
Мы из того же семени,
Мы все пойдем за премией,
Как ты ходил вчера.
Иди путями теми... Нет,
Тебе уж спать пора!»

1966

ЗВЕРИНЕЦ

Приснилось мне, что я попал в зверинец,
Там были флаги, вывески гостиниц,
И детский сад, и древняя тюрьма,
Сновали лифты, корчились дома,
Но не было людей. Огромный боров
Жевал трико наездниц и жонглеров,
Лишь одряхлевший рыжий у ковра
То всхлипывал, то восклицал «ура».
Орангутанг учил дикообраза,
Что иглы сделаны не для показа,
И, выполняя обезьяний план,
Трудился оскопленный павиан.
Шакалы в страхе вспоминали игры
Усатого замызганного тигра,
Как он заказывал хороший плов
Из мяса дрессированных волков,
А поросята «с кашей иль без каши»
На вертел нацепляли зад мамаши.
Над гробом тигра грузный бегемот
Затанцевал, роняя свой живот,
Сжимал он грозди звезд в коротких лапах
И розы жрал, хоть осуждал их запах.
Потом прогнали бегемота прочь
И приказали воду истолочь.
«Который час?» — проснулся я, рыдая,
Состарился, уж голова седая.
Очнуться бы! Вся жизнь прошла, как сон.

Мяукает и лает телефон:
«Доклад хорька: луну кормить корицей»,
«Все голоса курятника лисице»,
«А носорог стал богом на лугу».
Пусть бог, пусть рог. Я больше не могу!

1966

Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников:

мосье Дэле,
Карла Шмидта,
мистера Куля,
Алексея Тишина,
Эрколе Бамбучи,
Ильи Эренбурга
и негра Айши,
в дни мира, войны и революции,
в Париже, в Мексике,
в Риме, в Сенегале,
в Кинешме, в Москве
и в других местах,
а также различные суждения

Учителя

о трубках,
о смерти,
о любви,
о свободе,
об игре в шахматы,
о еврейском племени,
о конструкции
и о многом ином

ВСТУПЛЕНИЕ

С величайшим волнением приступаю я к труду, в котором вижу цель и оправдание своей убогой жизни, к описанию дней и дум Учителя Хулио Хуренито. Подавленная калейдоскопическим изобилием событий, моя память преждевременно одряхлела; этому способствовало также недостаточное питание, главным образом отсутствие сахара. Со страхом я думаю о том, что многие повествования и суждения Учителя навеки утеряны для меня и мира. Но образ его ярок и жив. Он стоит предо мной, худой и неистовый, в оранжевом жилете, в незабвенном галстуке с зелеными крапинками, и тихо усмехается. Учитель, я не предам тебя!

Я иногда еще пишу по инерции стихи среднего достоинства и на вопрос о профессии бесстыдно отвечаю: «Литератор». Но все это относится к быту: по существу, я давно разлюбил и покинул столь непроизводительный образ времяпрепровождения. Мне было бы весьма обидно, если бы кто-нибудь воспринял настоящую книгу как роман, более или менее занимательный. Это означало бы, что я не сумел выполнить задачу, данную мне в тягостный день 12 марта 1921 года, день смерти Учителя. Да будут мои слова теплыми, как его волосатые руки, жилыми, домашними, как его пропахший табаком и потом жилет, на котором любил плакать маленький Айша, трепещущими от боли и гнева, как его верхняя губа во время припадков тика!

Я называю Хулио Хуренито просто, почти фамильярно «Учителем», хотя он никогда никого ничему не учил; у него не было ни религиозных канонов, ни этических заповедей, у него не было даже простенькой, захудалой философской системы. Скажу больше: нищий и великий, он не обладал жалкой рентой обыкновенного обывателя — он был человеком без убеждений. Я знаю, что по сравнению с ним любой депутатик

покажется образцом стойкости идей, любой интендант — олицетворением честности. Нарушая запреты всех существующих ныне кодексов этики и права, Хулио Хуренито не оправдывал этого какой-либо новой религией или новым миропознанием. Пред всеми судилищами мира, включая революционный трибунал РСФСР и жреца-марабута Центральной Африки, Учитель предстал бы как предатель, лжец и зачинщик неисчислимых преступлений. Ибо кому, как не судьям, быть добрыми псами, ограждающими строй и лепоту сего мира?

Хулио Хуренито учил ненавидеть настоящее, и, чтобы эта ненависть была крепка и горяча, он приоткрыл пред нами, трижды изумленными, дверь, ведущую в великое и неминуемое завтра. Узнав о его делах, многие скажут, что он был лишь провокатором. Так называли его при жизни мудрые философы и веселые журналисты. Но Учитель, не отвергая почтенного прозвища, говорил им: «Провокатор — это великая повитуха истории. Если вы не примете меня, провокатора с мирной улыбкой и с вечной ручкой в кармане, придет другой для кесарева сечения, и худо будет земле».

Но современники не хотят, не могут принять этого праведника без религии, мудреца, не обучавшегося на философском факультете, подвижника в уголовном халате. Для чего же Учитель приказал мне написать книгу его жизни? Я долго томился сомнениями, глядя на честных интеллигентов, старая мудрость которых выдерживается, подобно французскому сыру, в уюте кабинетов с Толстым над столом, на этих мыслимых читателей моей книги. Но коварная память на сей раз выручила меня. Я вспомнил, как Учитель, указав на семя клена, сказал мне: «Твое вернее, оно летит не только в пространство, но и во время». Итак, не для духовных вершин, не для избранных ныне, бесплодных и обреченных, пишу я, а для грядущих низовий, для перепаханной не этим плугом земли, на которой будут кувыркаться в блаженном идиотизме его дети, мои братья.

1921 *Илья Эренбург*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Моя встреча с Хулио Хуренито.— Черт и голландская трубка

26 марта 1913 года я сидел, как всегда, в кафе «Ротонда» на бульваре Монпарнас перед чашкой давно выпитого кофе, тщетно ожидая кого-нибудь, кто бы освободил меня, уплатив терпеливому официанту шесть су. Подобный способ прокормления был открыт мной еще зимою и блестяще себя оправдал. Действительно, почти всегда за четверть часа до закрытия кафе появлялся какой-либо нечаянный освободитель — французская поэтесса, стихи которой я перевел на русский язык, скульптор-аргентинец, почему-то надеявшийся через меня продать свои произведения «одному из принцев Щукиных», шулер неизвестной национальности, выигравший у моего дядюшки в Сан-Себастьяне изрядную сумму и почувствовавший, очевидно, угрызения совести, наконец, моя старая нянюшка, приехавшая с господами в Париж и попавшая, вероятно по рассеянности полицейского, не разглядевшего адрес, вместо русской церкви, что на улице Дарю, в кафе, где сидели русские обормоты. Эта последняя, кроме канонических шести су, подарила мне большую булку и, растрогавшись, трижды поцеловала мой нос.

Может быть, вследствие этих неожиданных избавлений, а может быть, под влиянием других обстоятельств, как-то: хронического голода, чтения книжек Леона Блуа и различных любовных неурядиц, я был настроен весьма мистически и узревал в самых убогих явлениях некие знаки свыше. Соседние лавки — колониальная и зеленная — казались мне кругами ада, а усатая булочница с высоким шиньоном, добродетельная женщина лет шестидесяти,— бесстыдным эфебом. Я детально разрабатывал приглашение в Париж трех тысяч инквизиторов для публичного сожжения на площадях всех потребляющих аперитивы. Потом выпивал стакан абсента и, охмелев, декламировал стихи святой Терезы, доказывал ко всему привыкшему ка-

батчику, что еще Нострадамус предугадал в «Ротонде» питомник смертоносных сколопендр, а в полночь тщетно стучался в чугунные ворота церкви Сен-Жермен-де-Пре. Дни мои заканчивались обыкновенно у любовницы, француженки, с приличным стажем, но доброй католички, от которой я требовал в самые неподходящие минуты объяснения, чем разнятся семь «смертных» грехов от семи «основных». Так проходило мало-помалу время.

В памятный вечер я сидел в темном углу кафе, трезвый и отменно смирный. Рядом со мной пыхтел жирный испанец, совершенно голый, а на его коленях щебетала безгрудая костистая девушка, также нагишом, но в широкой шляпе, закрывавшей лицо, и в золоченых туфельках. Кругом различные более или менее раздетые люди пили мар и кальвадос. Объяснялось это зрелище, довольно обычное для «Ротонды», костюмированным вечером в Неоскандинавской академии. Но мне, разумеется, все это казалось решительной мобилизацией вельзевулова воинства, направленной против меня. Я делал различные телодвижения, как будто плавая, чтобы оградиться от потного испанца и в особенности от наставленных на меня тяжелых бедер натурщицы. Тщетно искал я в кафе булочницу или кого-либо, кто бы мог ее заменить, то есть главного маршала и вдохновителя этого чудовищного действа.

Дверь кафе раскрылась, и не спеша вошел весьма обыкновенный господин в котелке и в сером резиновом плаще. В «Ротонду» приходили исключительно иностранцы, художники и просто бродяги, люди непотребной наружности. Поэтому ни индеец с куриными перьями на голове, ни мой приятель, барабанщик мюзик-холла в песочном цилиндре, ни маленькая натурщица, мулатка в ярком кепи мужского покроя, не привлекали внимания посетителей. Но господин в котелке был такой диковиной, что вся «Ротонда» дрогнула, на минуту замолкла, а потом разразилась шепотом удивления и тревоги. Только я сразу все постиг. Действительно, стоило внимательно взглянуть на пришельца, чтобы понять вполне определенное назначение и загадочного котелка, и широкого серого плаща. Выше висков под кудрями ясно выступали крутые рожки, а плащ тщетно старался прикрыть острый, воинственно приподнятый хвост.

Я знал, что борьба бесцельна, и приготовился к концу. Разорванными клочьями промелькнули в моей голове далекие воспоминания — смолистая дача под Москвой, я в детской ванне, розовый и беззащитный, прогулки с гимназисткой Надей по Зубовскому бульвару, вечера в Сиене над обрывом, пахнущие миртой. Но эти сладостные видения отгонял от меня державный, необоримый хвост.

Я ждал быстрой расправы, насмешек, может быть, традиционных когтей, а может, проще, повелительного приглашения следовать с ним в такси. Но мучитель проявлял редкую выдержку. Он сел за соседний столик и, не глядя на меня, развернул вечернюю газету. Наконец, повернувшись ко мне, он приоткрыл рот. Я встал. Но далее последовало нечто совершенно невообразимое. Негромко, даже лениво как-то, он подозвал официанта: «Стакан пива!» — и через минуту на его столике пенился узкий бокал. Черт пьет пиво! Этого пережить я не мог и вежливо, но в то же время взволнованно, сказал ему: «Вы напрасно ждете. Я готов. К вашим услугам. Вот мой паспорт, книжка со стихами, две фотографии, тело и душа. Мы ведь, очевидно, поедем в автомобиле?..» Повторяю, я старался говорить спокойно и деловито, как будто речь шла не о моем конце, ибо сразу отметил, что мой черт темперамента флегматического.

Теперь, вспоминая этот далекий вечер, бывший для меня путем в Дамаск, я преклоняюсь перед яснозоркостью Учителя. В ответ на мои маловнятные речи Хулио Хуренито не растерялся, не позвал официанта, не ушел,— нет, тихо, глядя мне в глаза, он промолвил: «Я знаю, за кого вы меня принимаете. Но его нет». Слова эти, не слишком отличавшиеся от обычных наставлений лечившего меня доктора по нервным болезням, тем не менее показались мне откровением — дивным и гнусным. Все мое стройное здание рушилось, ибо вне черта были немыслимы и «Ротонда», и я, и существовавшее где-то добро. Я почувствовал, что погибаю, и схватился за последний спасательный круг. «Но хвост, хвост?..» Хуренито усмехнулся: «И хвоста нет,— ни карамазовски-датского, ни остренького, никакого. Постарайтесь жить без хвоста. Вот вы, как я, любите трубки. У меня великолепная коллекция: английские из старого вереска «три-би», венгерские черешневые, турецкие из

красной глины Леванта с жасминовыми чубуками, голландские...» Я не мог вынести и тихо застонал, глядя с последней надеждой на подобранный влево хвост. Тогда Хуренито, расстегнув плащ, вытащил из бокового кармана брюк длинную голландскую трубку, хорошо обкуренную. Больше надеяться было не на что, ибо хвоста сразу не стало. Кроме того, Хуренито снял котелок, и воображаемые рога оказались жесткими, густыми завитками волос, как у негра. В томлении и ужасе глядел я на невольного обманщика, а Хуренито спокойно раскуривал свою трубку.

Я отнюдь не радовался тому, что врага нет, что он лишь моя нелепая выдумка. Наоборот, вместе с чертом исчезал весь уют, пусть ада, но все же жилого, понятного, ощутимого. Я чувствовал себя в пустыне и, желая обрести какую-либо опору среди летучих песков, спросил Хуренито: «Хорошо, предположим, что его нет. Но хоть что-нибудь существует?..» Хулио снова усмехнулся, показав зубы, столь ровные и белые, что мне вспомнилась реклама в трамваях «Употребляйте только пасту «Дентоль», и вежливо, почти виновато ответил: «Нет». Это «нет» звучало так, как если бы я попросил у него спички или спросил бы его — читал ли он последний номер газеты «Комедиа».

«Но ведь на чем-нибудь все это держится? Кто-нибудь управляет этим испанцем? Смысл в нем есть?..» — «Испанец этот родился лет тридцать тому назад. Был голеньким, потом оброс волосами. Выдает себя за декоратора, на самом деле спекулирует на бирже. Сегодня заработал сорок луи. Доволен. Желудок работает исправно. Прочие органы тоже. Сейчас поужинал (три франка, включая вино), взял девицу (пять франков). Потом потеряет на бирже двадцать луи. Потом заболеет подагрой и будет пить вонючую воду. Потом умрет, сгниет, и вырастет на могиле травка «петух или курица». Разумеется, вам предоставлено бесплатно удовольствие находить в этом тайную цель и сокровенный смысл». — «Нет, — я не мог удержаться, я кричал, — этого не может быть! Вы без хвоста, но вы — он самый! Есть добро, понимаете? — вечное, абсолютное!» Хуренито не смутился, даже не повысил голоса: «Право же, я не черт. Вы слишком льстите мне. Притом этих очаровательных созданий, увы, нет! Можете спать спокойно, даже брома не тре-

буется. Но и добра тоже нет. И того, другого, с большой буквы. Придумали. Со скуки нарисовали. Какой же без черта бог? «Добро», говорите? А вот поглядите на эту девочку. Она сегодня не обедала. Вроде вас. Есть хочется, сосет под ложечкой, а попросить нельзя — надо пить сладкий, тягучий ликер. Тошнит. И от испанца ее тоже тошнит, руки у него холодные, мокренькие, ползают, шарят. У нее мальчик — отдала бабке в деревню, надо платить сто франков в месяц. Сегодня получила открытку — мальчишка заболел, доктор, лекарство и так далее. Прирабатывай. Еще будь веселенькой, на бал, пожалуйста, да и не девица Марго, а карфагенка Саламбо, целуй испанца в губы, похожие на скользкие улитки, быстро, отрывисто целуй, будто сама с ума сходишь от страсти,— может, еще двадцать су накинет. Словом, быт, ерунда, хроника. А вот от такой ерунды все ваши святые и мистики летят вверх тормашками. Все, конечно, по графам распределено: сие добро, сие зло. А только крохотная ошибка вышла, недоразуменьице. Справедливость? Что же вы хозяина не выдумали получше, чтобы у него на ферме таких безобразий не было? Или, может, верите, зло — «испытание», «искупление»? Так это же младенческое оправдание совсем не младенческих дел. Это он девицу-то так испытует? Ай да многолюбящий! Только почему же он испанца не испытует? Весы у него без гирек. На том свете? Да, да! А свет этот где? На какой карте? Пока что «душа» — абстракция, а ручки-ножки — умрешь — попахивают, потом косточки, потом пыль».

Я сидел молча, придавленный этими речами. Но вдруг из бессмысленного вращающегося хаоса выскочила точка, маленькая, черненькая; я быстро вскарабкался на нее. «Пусть так, нет ни творца, ни смысла, ни добра, ни справедливости. Но есть ничто. А раз есть ничто, то, значит, есть реальность, есть смысл, есть дух и творец».— «Мой друг, вы неисправимы. Ведь у вашего «ничто» тоже нет хвостика. А вот трубка здесь, и я здесь, и испанец. В том-то и вся хитрость, что все существует и ничего за этим нет. Сейчас помирает Жан-старичок, пищит в первый раз маленький Жанчик. Дождь шел давеча, теперь подсохло. Вертится, кружится, вот и все...»

«Но ведь так же нельзя жить, это гнусно, стыдно, наконец, просто ненужно!» — «Что делать — не вы

выбирали! Вас поставили перед совершившимся фактом. Дом меблированный. Одним очень нравится — уютно, другие возмущаются и пока что мирно перевешивают картинки с одной стенки на другую...»

В эту минуту великолепная и вместе с тем простая мысль осенила меня. Я думаю, что она исходила от Хуренито и была его первым откровением мне. Не обращая внимания на посетителей и официантов, я вскочил, откинул стул и закричал: «Но ведь можно уничтожить дом?» Хулио кивнул головой и попросил меня сесть. «Вполне законное желание. Давайте-ка займемся этим». Он, наверное, анархист, в Испании много анархистов, подумал я и шепотом спросил: «Бомба? Адская машина?» — «Вы — прелестное дитя,— ответил Хуренито,— бомбой можно покалечить пару толстеньких жандармов, самое большее какого-нибудь короля, который коллекционирует китайских болванчиков и увлекается игрой в теннис. Нет, мы займемся иным». Я понял, что спрашивать непристойно, и только, церемонно поклонившись, сказал: «Я буду вашим учеником, верным и старательным. Но дайте мне реальность, не то сегодня ночью или завтра утром я могу сойти с ума». Он вынул из кармана маленькую пенковую трубку и протянул ее мне. «Набейте добрым «капралом» и курите — это реальность».

Мы поужинали, и, спросив после сыра две рюмочки «Кло-Вужо», Хуренито снова подтвердил мне, что это, то есть «Кло-Вужо»,— истина, а не сон. Под утро, в Неоскандинавской академии, познакомив меня с пухленькой шведкой, одетой в прозрачную тунику и похожей на свежую булочку с деревенским слезящимся маслом, он сказал: «Это на самом деле, это вам не добро». И дружески хлопнул меня по плечу: «А теперь спокойной ночи! До завтра!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

Детство и юность Учителя

В настоящей главе я хочу поделиться с читателем немногочисленными и отрывистыми сведениями о жизни Хулио Хуренито до памятного вечера в «Ротонде», когда я его встретил. Иногда Учитель рассказывал мне отдельные эпизоды своих отроческих лет, и я попытаюсь их восстановить, чтобы все уверо-

вали, что Хуренито не миф, не сказочный герой, а сын сахарозаводчика из Гуанахуаты Педро Луиса Хуренито.

О происхождении Учителя ходили всякие вздорные легенды. Наиболее часто мне приходилось слышать рассказ о том, как Будда воплотился в этого высокого, худого человека с глазами, полными движения, но обладавшими непостижимой силой останавливать время. Поводом к этой легенде послужило следующее, само по себе незначительное, событие. В марте месяце 1888 года, в городе Аллахабаде, в Средней Индии, из храма исчезла ценная статуя Будды, которую ученые относили к третьему или четвертому веку нашей эры. Очевидно, это произошло вследствие сонливости сторожа и пристрастия некоторых британских чиновников к древностям Востока. Двадцать пять лет спустя в теософских кругах упорно говорили о том, что Будда, покинув былую плоть, перевоплотился в мексиканца Хуренито и благодаря этому изображение его прежней личины перестало быть зримым. Легенда пользовалась таким успехом, что, когда Учитель как-то ночевал в мастерской одного русского поэта-теософа, разыгралась курьезная сцена. Ночью поэт в рубахе прокрался к спящему Учителю и начал щупать его лицо. Застигнутый и слегка заподозренный в дурных намерениях, он объяснил, что искал на лбу Хуренито бородавку — третий глаз, форменное отличие воплощений Будды. Эти и подобные им басни, разумеется, не заслуживают никакого доверия.

Учитель родился 25 марта 1888 года в Мексике, в небольшом городе Гуанахуате, известном золотыми приисками. Он был крещен по обряду католической религии и получил имена Хулио-Мария-Диего-Пабло-Анхелина. Я полагаю, что он был ребенком пытливым и неудобным. Так, мне известно, что мальчиком пяти лет он отпилил пилой для хлеба голову котенка, желая познать отличие смерти от жизни. Два года спустя, усомнившись в богоматери и во многом ином, он прокрался в церковь, выпотрошил статую мадонны, сделанную из парчи на каркасе, и остался вполне удовлетворен опытом.

В шестнадцать лет он влюбился, стал глядеть на звезды и думать о вечности. Но, испытав кой-какие временные услады, о звездах и вечности забыл, от девицы спешно удалился и раз навсегда потерял вкус

к тому, что люди зовут «любовью». К счастью, девушка вскоре утешилась и вышла замуж за подрядчика из Веракруса. Узнав об этом, Хуренито послал единственной отмеченной им в жизни женщине свадебный подарок — мельхиоровый сервиз на двенадцать персон.

После сего он отправился искать золото в Эль-Оро, но, не желая тратить времени на работу в приисках, выпил кувшин крепкой «пульки», вытащил солидный нож и перед толпой возвращавшихся с работы шахтеров провел им по земле, сказав: «На сегодня здесь территория Гуанахуаты, и никто из вас не перейдет этой границы, не заплатив мне выкупа. Вытаскивайте золото!» В Эль-Оро люди были жадны, но трусливы, и при одном имени разбойной Гуанахуаты готовы были отдать все на свете, лишь бы спасти жизнь. Через час Хуренито пробирался по лесистым горам с мешком золота. У индейцев он купил лошадь и благополучно достиг границы Соединенных Штатов. Об этом происшествии я слышал от друга Хуренито и моего — художника Диего Риверы, который был в Эль-Оро в памятный день, видел черту на песке, испуганных рабочих и куски золота в широкой шапке с кожаным ремнем Хуренито.

В одном из южных штатов Учитель продал золото за восемь тысяч долларов и приступил к трате денег, для чего поил джином всех встречных негров, скупал редкие почтовые марки и заказывал в наиболее независимых газетах хвалебные статьи о себе, с приложением портретов каких-то подозрительных юношей из Дамаска. Так, усиленно работая, он успел истратить шесть тысяч долларов, не осилив двух. Тогда он созвал богатых, но скупых коммерсантов города на парадный обед, после которого, угостив их отменными сигарами «Ля Корона», зажег скрученные стодолларовые ассигнации, чтобы все могли таким образом, не чиркая спичками, закурить. Коммерсанты ерзали на коленках, собирая легкий серебряный пепел. Их пищеварение было безусловно нарушено, зато Хуренито избавился от надоевшего ему занятия — тратить деньги.

Хуренито вернулся снова в Мексику и решил заняться революцией. Это были бурные годы молодой республики. Из всех партий Хуренито предпочел Сапату и его простодушных мятежников, ненавидевших городскую культуру, машины сахарных заводов, паровозы, людей, несущих смерть, деньги и сифилис.

Карранса, убив предательски Сапату, заманил Хуренито. Хулио случайно спасся. В часы ожидания смерти он испытал, вместо описываемой поэтами торжественности, сильную скуку и сонливость и после этого эксперимента уже просто и буднично убивал других. Он командовал индейцами в знаменитой битве при Селая, где была разбита наголову прекрасная армия Вильи. Его отвагой, находчивостью, способностями был восхищен президент Мексиканской республики Обрегон. Но свергать власть, расстреливать и гоняться за врагами оказалось тоже делом однообразным, скучным. После седьмой революции Хуренито купил микроскоп, готовальню, четыре ящика книг и занялся различными научными изысканиями. Вскоре после этого он посетил Лиму и Буэнос-Айрес, поселился же в Нью-Йорке.

Хуренито изучил математику, философию, токарное ремесло, электротехнику, гидрологию, египтологию, игру на окарине, шахматную игру, политическую экономию, стихосложение и ряд других наук, ремесел, искусств, игр. Он с исключительной легкостью овладевал языками. Вот на каких он говорил совершенно безукоризненно: испанский, английский, французский, немецкий, русский, итальянский, арабский, ацтекский, китайский. Десятки других языков и наречий он знал вполне корректно.

Одновременно с этим Хуренито занимался искусством. Труды его в этой области я опишу в одной из последующих глав.

Все эти занятия не удовлетворяли Хуренито, и, после длительных раздумий, он решил (это было 17 сентября 1912 года), что культура — зло, и с ней надлежит всячески бороться, но не жалкими ножами пастухов Сапаты, а ею же вырабатываемым оружием. Надо не нападать на нее, но всячески холить язвы, расползающиеся и готовые пожрать ее полусгнившее тело. Таким образом, этот день является датой постижения Хуренито своей миссии — быть великим Провокатором.

Начало его деятельности ознаменовалось неудачей. Хуренито был слишком молод, жизненно неопытен и одинок. Он вздумал действовать наивным путем убеждения и организовал с помощью специальных аппаратов световые плакаты на ночном небе Нью-Йорка. Жители этого города хорошо помнят оригинальное начинание. Стирая звезды, горели величавым блеском

письмена: «Голодные — есть еще филе из бекасов. Прославьте дары цивилизации!» — и т. п. Все решили, что это рекламы большого гастрономического магазина. Но один бродяга-ирландец почему-то в первый же вечер кинул бомбу в роскошный ресторан «Бристоль». Ирландца посадили на электрический стул, а Хуренито, не желая предаваться подобным захолустным идиллиям, сел на пароход «Рекс» и отправился в Европу, где почва для его деятельности была более благодатной, нежели в слишком Новом и недостаточно обжитом Свете. Через несколько месяцев после приезда Хуренито в Европу я встретился с ним и стал его первым учеником.

Вот все, что я знаю о первых двадцати пяти годах жизни Учителя. Мне хочется кончить эту главу словами любви к земле, родившей великого человека. Две страны будет чтить далекое потомство: родину Учителя Мексику и Россию, где он закончил свои дни и труды. Два города будут вечно манить к себе паломников: маленький грязный Конотоп и далекая Гуанахуата.

Россия и моя родина. Я никогда не был в Мексике, но я глубоко люблю этот священный для меня край. Я люблю городок на холме, с домами, встающими уступами, суровый и голый, испещренный лишь кактусами и черными пятнами «квебраплятос». На долю этого города выпала честь быть колыбелью Учителя. С глубоким уважением я повторяю имена людей, которых Хуренито знал в дни своей юности: президента Обрегона, выдающегося инженера Паники, художника Диего Риверу, поэта Моралеса и философа Вескуселоса. Если эта книга дойдет до них, пусть они с доверием примут слова уважения и признательности. И если кто-либо из прочитавших мою книгу познает счастье увидеть наяву Гуанахуату, пусть он за меня поцелует ее угрюмую, раскаленную, благословенную землю.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Доллары и Библия.— Три дня мистера Куля

Несколько дней спустя, рано утром, ко мне пришел Хуренито и сразу, даже не здороваясь, протянул номер «Пти паризьен» с отчеркнутым объявлением. В отделе «Разные», между рекламой нового слаби-

тельного для кур, больных дифтеритом, и письмецом какого-то Поля к напрасно ревнующей его «ко́шечке», которой он верен до гроба, было напечатано нижеследующее:

> АКЦИОНЕРНОЕ МИССИОНЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЛЯ БИБЛЕЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ТУЗЕМЦFВ ЕВРОПЫ
> (САН-ФРАНЦИСКО — ЧИКАГО — НЬЮ-ЙОРК)
>
> ИЩЕТ
>
> деятельных миссионеров в различные страны, а также агентов по продаже патентованных аппаратов.
> *Являться в «Отель де ля круа»*
> к мистеру Кулю

«Ты понимаешь, как это кстати»,— сказал Хуренито (в первый же вечер после ужина он стал говорить мне «ты», дружески и вместе с тем повелительно). Через полчаса мы уже сидели в кабинете мистера Куля. Лицо его, широкое, плоское, упитанное, ничего особенного не выражало. Зато у него были необычайные ноги, в носатых рыжих ботинках, они лежали на двух вращающихся пюпитрах, несколько выше уровня головы. Он одновременно читал Библию, диктовал стенографистке письмо министру изящных искусств Чили, слушал по телефону цены на скот в Чикаго, беседовал с нами, курил толстую сигару, ел яйцо всмятку и разглядывал фотографию какой-то полногрудой актрисы. Для этого к его креслу, напоминавшему зубоврачебное, были приделаны станки, трубки, автоматические держатели в форме дамских пальчиков и целая клавиатура непонятных мне кнопок. Подобное времяпрепровождение, естественно, налагало свой отпечаток на мистера Куля. Так, впоследствии я заметил, что приемы разговора по телефону он применяет и в обычной беседе. Как-то вечером, сидя один в ресторане и скучая, он отрывисто гаркнул проходившей мимо актрисе: «Алло! Женщина? Это я — мистер Куль. Свободны? Хотите со мной? Алло! Представьте смету. Даю ужин и десять долларов». Иногда он чувствовал необходимость нажимать кнопки, и эта вполне понятная привычка

неприятно отражалась на окружавших его. Но в общем это был человек скорее воспитанный, и он любезно принял нас, посвятив тотчас Хуренито в сущность своих намерений.

Прожив достаточное число лет в Америке, из рассказов приезжавших и газетных статей мистер Куль узнал, что Европа лишена нравственности и организации. Два могучих рычага цивилизации — Библия и доллар не идут в ней рука об руку. Мистер Куль понял, что Америка должна отплатить благодарностью за тот великий момент, когда матрос Хуан Луис, известный в двух Кастилиях разбойник, прежде нежели зарезать первого индейца, пробормотал молитву, побрызгал его морской водицей и, таким образом, положил начало торжеству креста. Ныне пришла очередь Америке спасать обезумевшую Европу. Для проведения этого в жизнь мистер Куль организовал акционерное общество с весьма солидным капиталом и, приехав в Европу, начал разрабатывать план деятельности. Сообщив это Учителю, он стал нажимать наиболее мелкие кнопки и, вынимая из выскакивающих папок различные проекты, читал их нам. Некоторые из них мне запомнились, и я приведу их здесь, к сожалению, без деталей, цифровых данных и чертежей.

1. Необходимо прекратить воровство не только репрессивными мерами. Для этого надо оградить нестойкие души бедняков от соблазнов города, напоминая им о вечных благах, доступных всем. Акционерное общество изготовляет различные дидактические рекламы: над булочными вывешиваются огненные круги с надписью: «Не единым хлебом сыт человек», над пивными: «Блаженны алчущие», над магазинами готового платья: «Царство божие внутри нас» и т. д.

2. Обязать всех содержательниц публичных домов поставить в заведениях автоматы с необходимыми для гигиены принадлежностями. На пакетах должно быть напечатано: «Милый друг, не забывай о своей чистой и невинной невесте». Эти аппараты, по словам мистера Куля, были делом весьма доходным, ибо, обходясь в триста франков, они приносили в среднем в месяц до тысячи франков чистой прибыли.

3. Докладная записка министру юстиции Французской республики. Побывав несколько раз у тюрьмы Санте во время казней, мистер Куль с радостью констатирует большое стечение публики и остро развитое

чувство справедливости, выражающееся в нескрываемом энтузиазме при зрелище наставительной церемонии. Он отмечает предприимчивость мелких торговцев, устанавливающих вокруг тюрьмы на время казни бараки со сластями, прохладительными напитками и даже с игрушками для ребят, которых приводят умные и энергичные матери. Но мистер Куль удивляется, почему такого рода празднества не использованы для нравственной пропаганды, и, вполне понимая некоторые особенности французской светской власти, предлагает предоставить это его акционерному обществу. Вокруг гильотины — передвижные поместительные трибуны, с платой, доступной даже трудящимся. Магазины, в которых, кроме обычных товаров, фотографии преступников до и после акта правосудия, духовные и моральные книги, наконец, прокат биноклей. После окончания официальной части празднества — кинематографический сеанс: детство преступника и порядочного человека; первый шалит, потом крадет, потом насилует, потом убивает, потом голова его в руках уважаемого мосье Деблера; второй — мальчик-пай, копит су, данные на конфеты, женится, книжка сберегательной кассы, рента, тенистая могила и памятник «в вечную собственность». Засим короткая проповедь, которая может удовлетворить стремления светской части общества: преступник забыл о школе, о своих обязанностях как избирателя, о высшем существе — «Отечестве». Для разъезда — «Молитва девушки за душу злодея» и «Марсельеза».

4. Предвидя после конфликта в Марокко возможность войн, мистер Куль опасался осквернения миллионов христиан и потому предлагал всем европейским государствам, имеющим колонии в Африке, озаботиться созданием черных войск. Насильственное вылавливание взрослых из деревень он находил жестоким и, главное, непрактичным. Опыт устриц, страусов и различных видов зверей подсказывает идею питомников. Отбираются самки наиболее плодовитых племен; через двадцать лет любое государство имеет свое войско, совершенно готовое к употреблению, не нарушая при этом ни нравственных чувств, ни экономических интересов собственного населения.

Ознакомив нас с этими оригинальными и смелыми проектами, мистер Куль пожаловался Учителю на косность Европы. Министр юстиции не ответил ему. Во

многих публичных домах поставлены его аппараты, но нравоучительные надписи тщательно замазаны сажей. Выставленные в Лондоне световые рекламы против кражи были ночью разбиты какими-то злоумышленниками, вероятно русскими анархистами. Наконец, вместо «черных питомников» Европа увлекается мирными конгрессами.

Поэтому он и решил с помощью газетных объявлений подыскать энергичных, опытных агентов.

Хуренито, высказав свой восторг перед активностью и революционностью идей мистера Куля, скромно, но не без достоинства, указал на стаж в Мексике и предложил свои услуги. Его краткая речь произвела на мистера Куля столь сильное впечатление, что он, отбросив яйцо и не дослушав цен на баранов, воскликнул: «Вы тоже великий человек! Алло? Вы будете моим гидом по Европе. Издержки и прочее. Алло? Представьте смету». Откланявшись, мы вышли.

Глубокая пропасть лежала между сегодняшним днем и вчерашним. Все утерявший, я уже не принял мистера Куля за черта, несмотря на его подозрительные ноги, кнопки и проекты. Все же он показался мне отвратительным и куда более опасным, нежели булочница или голый испанец. Я сказал об этом Учителю. Хуренито со мной согласился: «Конечно, он отменно гнусен, но я руководствуюсь при выборе учеников не реакцией на них моего раздражительного пищевода, а степенью их полезности для дела. Чтобы ты понял, какая сила скрыта в этом человеке, мы проведем с ним три ближайших дня. Смотри и учись. Это гораздо поучительнее, чем все видения ада твоих добродетельных постников».

Учитель, как всегда, ты был прав! Что все костры святого Игнация, что весь духовный огонь Зосимы по сравнению с этими тремя днями, где главные роли играли часовая стрелка и маленькая синяя книжка в боковом кармане мистера Куля? Они прошли, быстрые и неумолимые, воспоминания о них напоминают фильм.

Вторник. После завтрака, в час дня, мистер Куль едет на выставку. Среди других его внимание останавливают кубистические натюрморты молодого художника Доро: две чашки, огурец и кочан, разложенные на плоскости. Хуренито объясняет. Мистер Куль возмущен. «Это грубый материализм! Алло? Безнравствен-

ность! Падение духа! Я понимаю огурец в руках Мадонны. Одухотворенный огурец. Но вы говорите «форма»? Алло! Растление! Покупаю». Вынимает чековую книжку. Скупает у содержателя галереи все полотна Доро. 3 часа дня. Сияющий художник привозит мистеру Кулю свои картины. Двадцать восемь штук. Снова чек. Засим немедленно на глазах у Доро два грума-негра режут картины на мелкие кусочки. «Алло, молодой человек, вы должны оставить искусство. Вот это прекрасно и нравственно. (Показывает на шесть белесоватых дев под кипарисами.) Это не Доро, а как его?..» Хуренито подсказывает: «Морис Дени». «На деньги, полученные от меня, купите небольшой посудный магазин или займитесь продажей моих патентованных автоматов. Алло? Возражения бесполезны. Все, что вы будете делать, я буду скупать через моих агентов и немедленно уничтожать. Протестовать? Но это моя собственность. Куплено. Что хочу, то делаю. Доллар, мой друг, высшая сила. Доллар и Библия». 5 часов дня. Сенсационное сообщение в «Энтрансижан»: «Молодой художник Доро повесился. Причины неизвестны». В 6 часов Хуренито по поручению мистера Куля заказывает надгробный венок с надписью: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить».

В среду мистер Куль решает заняться политикой. Из утренней газеты он узнает, что в Медоне под Парижем рабочие обойной фабрики дружно бастуют уже две недели, требуя уменьшения на один час рабочего дня. Заботы низших слоев населения о своих грубо материальных интересах и пренебрежение к миру духовному всегда возмущали мистера Куля. В 11 часов утра у него агенты частного сыска с исчерпывающими данными о четырех членах стачечного комитета. Получив указания, они приступают к работе. Пьера Гранье, алкоголика, незнакомцы приглашают в бар. К пяти часам, после дюжины пиконов, он валяется мертвецки пьяный в кладовой. У Бидо дочка больна чахоткой, это любимица семьи. Предложение ехать на юг. Четверть часа испытания, и чек из той же синенькой книжки. Поездом в 8 часов 20 минут Бидо уезжает в Ниццу. Старичка Бедье запугивают фотографиями тюрьмы, какими-то перехваченными приказами и нарочно на сей предмет нацепленными орденами одного из агентов конторы. Он убегает в Париж к своему

племяннику. Остается Лиз — не пьет, денег не берет, орденов не боится. В три часа долгое совещание в кабинете у мистера Куля. Агенты требуют двойной оплаты. Снова книжка. В семь часов собрание забастовщиков. Выясняется, что три главаря бежали, четвертый, Лиз, в тюрьме; под его тюфяком нашли тысячу долларов, происхождение которых он объяснить не мог. «Вор!», «Подкупили!», «Долой!» Представитель хозяина, старый приказчик, услужливо объясняет: «Станьте на работу, никакого наказания не будет». Общее ликование. Стачка кончена. Мистер Куль заказывает мемориальную дощечку, но колеблется в выборе текста, запрашивает по радио своего друга пастора Бонса в Чикаго, можно ли, ввиду смены феодального строя капиталистическим, произвести небольшое исправление в тексте Писания. Удовлетворительный ответ. На воротах фабрики будет значиться: «Богу — божье, хозяину — хозяйское».

Четверг. Весна. Мистер Куль настроен игриво, он отдыхает. «Любовь, любовь, пьянишь ты кровь!» Прелестная девушка. Алло! Кто это? Младшая продавщица перчаточного отделения магазина «Лувр». Пригласить вчерашних агентов. Полдень. У мадемуазель Люси оказывается жених, мосье Поль, он служит в «Лионском кредите». Узнайте слабости. В 5 часов дня мосье Поль проигрывает тысячу восемьсот франков в баккара. В шесть он заходит за Люси. У дверей магазина они расстаются, девушка плачет. В восемь ей приносят письмо с предложением явиться в «Кафе-рояль», кабинет № 8, там она получит немедленно тысячу восемьсот франков. Мы едем с мистером Кулем в ресторан. У входа какой-то нищий просит су. Я снова поражаюсь энергии нашего нового друга. Поворачиваясь к просящему, он подымает руку к небу: «Крепись, мой друг, там последние будут первыми». В кафе я с Хуренито в общем зале. Час спустя к нам выходит на минуту мистер Куль, как всегда жизнерадостный, выписывает в книжечке мадемуазель тысячу восемьсот франков... Минуту подумав, пишет на оборотной стороне чека: «Любовь покрывает все» (Коринф., 13, 5).

Так прошли три дня деятельности мистера Куля. Выходя ночью с Учителем из кафе, я смутился. Пахло теплым дождиком, бухли почки каштанов, и мое сердце поддалось радости бытия. Я вспомнил Доро, поси-

невшего, с высунутым языком, Лиза, которого жандармы подбодряли пинками, наконец, маленькую Люси, тщетно пытавшуюся в вестибюле кафе, под насмешливыми взорами официантов, прикрыть пудрой заплаканный красный нос, и не выдержал: «Скажите, как вы не убили Куля?» Хуренито рассмеялся: «Друг мой, кто же, идя на войну, взрывает пушку? Вспомните, мы хотим все разрушить. А Куль — это великолепное тяжелое орудие».

Так мистер Куль, сам того не ведая (он считал Хуренито своим гидом и аккуратно выплачивал ему сто долларов в месяц), стал вторым учеником великого Учителя.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Симпатичные боги Айши.— Различные суждения Учителя о религии

Утром в гостинице «Мажестик», написав более двадцати деловых писем, Хулио Хуренито позвонил груму, чтобы отправить их на почту. Спеша, он хотел быстрее наклеить марки и приказал мальчишке-негру высунуть язык. Этот способ наклеивания удовлетворил обоих, и на следующий день грум явился уже без зова, стал у стола и предупредительно высунул свой острый шершавый язык. Когда процедура была закончена, он с гордостью сказал Хуренито: «Гихрэ тоже может это делать». На наши недоуменные вопросы он доверчиво попросил нас следовать за ним. Мы прошли в тесную каморку под черной лестницей, где жил грум. На полу мы увидали маленького негритянского божка, только что выдолбленного из скорлупы кокосового ореха. Он сидел скрестивши ноги, и на его высунутом языке была наклеена почтовая марка. Айша (так звали грума) с материнской нежностью глядел на идола, приговаривая: «Гихрэ очень умный, все умеет». Далее мы увидали еще двух божков: один из них чистил ботинки, другой стоял перед дверью со вставленным в нее осколком зеркала. Оказалось, что Ширик и Гмэхо (так звали двух братьев Гихрэ) тоже всемогущи и способны делать вещи непостижимые. Учитель был обрадован, даже взволнован. «Вы видите,— сказал он мистеру Кулю и мне,— здесь, в отеле «Мажестик»,

творится великолепная мифология. Через сотни лет Ширик будет отряхать земной прах с блуждающих душ, Гмэхо впускать их в святые врата, а милый Гихрэ с почтовой маркой в два су служить вечным вестником, соединяющим наш мир с трансцендентальным. Или вы позабыли послеобеденные анекдоты мудрых эллинов и бесплатных гурий бедного погонщика верблюдов? Ты, еврей,— сказал он мне,— помнишь, как Иегова обиделся на твоих девушек, как он боролся с Иаковом, ревновал Израиль ко всякому вавилонскому идолищу и торговался насчет захудалого Содома? А вы, мистер Куль, не присвоили ли вы Богу всех человеческих ремесел от рождения до смерти, обставив их только некоторыми отступлениями от физиологии? Бедненькая жена Рафаэля, весьма, кстати, добродетельно исполнявшая свои супружеские обязанности,— сколько благочестивых слез безнадежно старых дев Германии она вызвала в своем дрезденском продлении! Разве придумали люди для своего разнорасового Олимпа другие порядки, нежели для Китайской империи или для республики Сан-Марино? (Монархия Иудеи, олигархия Индии, наконец, плутократия тысячи нажившихся на святости подвижников доброго католика.) Одни смягчают тиранию справедливости конституционным вмешательством милосердия, другие, наоборот, торжественно восстанавливают самодержавие Господа Бога. Небесные министерства — военное с различными званиями серафимов, херувимов, архангелов и ангелов, юстиции — суд, прокурор и защитник, смягчающие обстоятельства, весы лавочника, каторга срочная и бессрочная, просвещения — пророки, пропаганда, даже световые рекламы на стенах вавилонского дворца. Вы, дети мои, пережевываете жвачку, прошедшую через все четыре законных желудка, а Айша готовит новую для Клоделей или Булгаковых тридцатого века».

Айша слушал Учителя очарованный, снова раскрыв рот, но теперь уже безо всяких практических намерений. Изобилие таинственных слов и дивных имен так поразило его, что он, упав на колени, поцеловал носик ботинка Хуренито. Учитель сказал ему: «Ты теперь будешь следовать всюду за мной».— «Жаль, что я не знал, я предложил бы вам лучшего грума»,— заметил мистер Куль. Я же спросил Учителя, почему его выбор остановился на маленьком негре. «Он верит,— ответил Хуренито,— а это столь же редко в вашей Европе, как

красивая девственница или честный министр. Ваша вера труслива, от нее ложится тень сомнения, иронии, мальчишеского любопытства и расчетливости торгаша, боящегося прогадать на товаре. Какой аббат не смотрит тихонько в школьном учебнике естественной истории, велика ли глотка кита, и не пытается объяснить непорочное зачатие сложным символизмом модного философа? Ваше безверие не храбрее вашей веры, за ним плетется суеверие, обращения за полчаса до смерти, книжки Штейнера, вечное клянчение у дверей страхового общества. Ваши атеисты, выпив стаканчик вермута, храбрятся и ругаются, а потом, припомнив запашок кладбища в летний полдень, держат на всякий случай под рукой Евангелие, рассуждают о неуловимом духе (неопределенный жест пальцами) и не спят всю ночь, если жена разбила туалетное зеркало. Я беру Айшу, ибо в нем жива голая, бесстыдная, всеободряющая вера, и это будет крепким оружием в моих руках. Другие увидят во мне учителя или авантюриста, мудреца или прощелыгу, а для него я буду богом, который умеет клеить марки и говорить необычайные слова, которого он будет рисовать, лепить, вырезать из дерева и которому останется верен до последнего издыхания».

Так говорил Учитель. Мистер Куль, увлеченный этими мыслями, тщетно пытался возмутиться и наконец, чтобы оправдать себя, свою улыбку сочувствия столь безнравственным суждениям, сказал: «Мой друг, я знаю, что вы шутите. Вы, безусловно, хороший христианин и, кроме того, отменный гид»,— и ласково толкнул Хуренито толстым пальцем в бок.

Впоследствии Учитель неоднократно возвращался к вопросам веры, верований и религии. Он говорил об этом, как, впрочем, и о других так называемых «важных проблемах», шутя и балагуря. Учитель утверждал, что серьезно, академически, проникновенным голосом или приводя библиографию, можно говорить лишь о способах обкуривания трубок, о различных манерах плеваться, со свистом или без свиста, о построении ног неповторимого Чаплина. Во всех других случаях он предпочитал молитве усмешку, многотомному исследованию веселый фельетон. «Когда весь сад давно обследован,— говорил он,— тщетно ходить по дорожкам с глубокомысленным видом и ботаническим атласом. Только резвясь, прыгая без толку по клумбам,

думая о недополученном поцелуе или о сливочном креме, можно случайно наткнуться на еще неизвестный цветок».

Стремясь передать здесь различные суждения Хулио Хуренито о вере, я боюсь, что, по причине моего характера, угрюмого и неповоротливого, придам им ложную, нарочитую серьезность. Эти мысли были легки и невинны, как щебет шестнадцатилетней девушки о различных системах пропорционального представительства.

Как-то, перетаскивая из конуры «Мажестика» в свою мастерскую братьев Гихрэ — Гмэхо и Ширика, Учитель сказал: «Им будет уютно между кастильским Христом в юбочке и бронзовым Буддой, гладящим пальцем живот. Боги прекрасны, равны и достойны друг друга. Но тщетно вы хотите подражать Айше. Он бога только что сделал, как молоденький поэт, написавший первое стихотворение, волнуясь, бегает с ним, пуповина еще болтается. А вы даете в коленкоровый переплет (кожаные углы, инициалы) книги гения, сгнившего пятьсот лет тому назад — тысяча, две тысячи — гимназистик зубрит, вы чтите, но не интересуетесь; только редко, редко, в приемной дантиста, очень скучая, благоговейно раскрываете двести сорок шестое издание. Для вас Бог не хлеб, не жизнь, даже не предмет роскоши, а какая-то баночка с мазью (ну, кто кому ее прописал? рецепт давно утерян) на полке в ванной комнате, которую вы не выкидываете только потому, что она так давно стоит, что вы ее перестали замечать».

«Конечно, эксперименты с Иовом,— однажды заметил Учитель,— были несколько рискованными. Пожалуй, теперь Общество борьбы с вивисекцией привлекло бы обоих спорщиков к ответственности. Но, по крайней мере, за убытки, за болезнь, падеж жены, детей, скота Иову было выдано хорошее вознаграждение. Не додумавшись до воскрешения, привели новую супругу, к тому же весьма плодовитую. Возможно, что Иов был даже в выигрыше, во всяком случае, добродетель восторжествовала. Но что сказать о Берке, о старом меховщике Берке, который был праведнее самого Иова, славил справедливость господню днем и ночью и умер с распоротым животом на помойной яме Балты? Дети будут счастливы? Внуки? Да, да, что-то до двадцатого колена... Но ведь порют живот, пожалуй, уже у тридцатого колена, порют аккуратно, без замин-

ки. Опять вседержитель пари держит? Но почему же миллионы Берков должны издыхать от такого необузданного азарта? Нет, здесь дело явно нечистое. Даже младенец знает о том, что Иван — честный, работящий, добренький и все прочее — умрет, вспухнув с голоду, на задворках у Ивана — вора, лжеца, злодея, а тот даже не сморгнет, и никаких раскаяний, ползаний на четвереньках и удовлетворяющего общественное мнение смертного пота,— ровно ничего! Нет, до последней минуты все обследовано и ничего утешительного не замечено.

Тогда приступают к тому, что обследовать труднее. Земля как земля, а что под землей? Справедливость, воздаяние. Разумеется, возможно, что прах да пар, а если нет? Кто знает? Живет, живет человек, кругом холера, крушение поездов, японцы, а он все живет, потом ест карася в сметане, маленькой косточкой давится — и конец. Кто знает, не свыше ли? Случай, а может быть, этот случай умненький, кончил богословский факультет и сдал экзамен на звание «провидения»? Стоит бабка в церкви, молится своей «Заступнице усердной» — Буренушка стельная, дай, матерь божья, телочку! (за грехи — теленка). Вместо бабки святая Женевьева, вместо теленка готы, и готова фреска Пювис де Шаваня. Это о земном, а о над...— еще сомнительнее. Только неуверенность — о двух концах палка. Всякому приятнее отправить такое письмо, да еще при таких порядках на почте — заказным, а не простым. Книжки тоже пишут, школы... Идет безверье, то есть валюта страны небесной обесценена до крайности. Кассир расплывается, тонет в туманах, его же создавших».

В другой раз Учитель говорил нам о влиянии пола на религию: «Бешеного быка закалывают. Если кобыле вовремя не дают жеребца, она заболевает. Нет котов, влюбленных в сук, и ни один самый испорченный фокстерьер не волочится за овцой. У нас иначе. Так как вершина есть и начало спуска, а чувственное предвкушение длительнее и сладостнее судорог страсти, многие ищут наслаждения в безбрачии. На постели образ тускнеет, даже при минутном удовлетворении, на стенке он цел. Хрупкая девица на брачном ложе (когда подруги говорили — все выглядело лучше) — быстро, чересчур внятно и не по вкусу. Кроме того, он сопит. А тот, другой, с золотыми кудрями,

смертельно грустный, недоступный... Ах, скорее стройте беленькие бегинажи с медными подсвечниками и накрахмаленными занавесками! Господа кюре за шторками, вы услышите в исповедальнях миллионы вздохов и признаний, о которых тщетно мечтают агрономы и пивовары. Ничего, если иногда будет маленький подлог и некоторое возвращение к матери-природе. А они, сопящие и несопящие, сначала распаляемые запахом подмышников, потом чувствующие приступ тошноты, разве они не сочиняли стихов о небесной красоте той, иной, немыслимой, которой не нужно подмышников, не рисовали ее на клочке холста? Я видел в Ганахо, под Бургосом пастуха, тупого парня лет двадцати, который царственным жестом оскопил себя в деревенской церквушке пред ее изображением и час спустя умер, обливаясь кровью. Он — «выродок», ведь другие обливаются только слюной сладострастия или чернилами умиления. А тайные секты блудников, а преступные целовальники икон, а старые монахини, вечером смахивающие пыль со статуй, а дряхлый Верлен, пробиравшийся от морщинистой грязной бабы к каменной девушке с розой в руке...»

Будучи в Лондоне, мы зашли с Учителем в протестантскую кирку. На голых стенах висели лишь копилки и расписание занятий в воскресной школе. Пастор весьма красноречиво говорил о благонравственности Спасителя и о вреде спиртных напитков. Учитель сказал нам: «Бедные люди, они еще раз повторили жест ребенка, который срывает с игрушки ленты и бубенцы, чтобы найти внутри клок пакли. Им дали великолепную куклу Рима. Они не поняли, что ее глубочайший смысл в этих кружевах обрядов, в нашивках догм, шелесте месс, в румянах и золоте венчика. Они начали сдирать одежды, срывать ризы, боясь, что живая плоть станет ризами, и не подумав, что под поцелуями человеческих губ ризы стали живыми и теплыми и что вне этого плоти не было. Ободрав с кочана лист за листом, они церемонно водрузили пред собой кочерыжку, копилку и господина пастора, который не одобряет (кстати сказать, великолепного) «Шидама».

Когда в Париже в 1913 году организовалось Общество рациональной постановки мелкой торговли, Хуренито в качестве владельца магазина коралловых бус явился на учредительное собрание и внес предложение поставить общество под высокое покровительство

апостольской церкви. «Нигде,— говорил он,— я не видел такого бережного, трогательного и вместе с тем рационального отношения к мелкой торговле, как в стенах церкви. Как есть большие и мелкие грехи, есть дорогие и дешевые искупления. Церковь вытравила из памяти дорогое бездельникам и тунеядцам, ненавистное нам понятие «даром». Какой-нибудь мелкий афинский философишка уверял, что добро можно делать ради добра. Церковь сказала: «Нет. Ничего даром. За всякое добро — билет (отвечают всем достоянием неба). За грехи платите. Поклон, сто поклонов, свеча в два су, в сорок су, постройка часовни, путешествие в Лурд, в Сантьяго, в Рим». Мы будем торговать под святой сенью Петра, у которого столь дорогие нашему сердцу приходо-расходные книги, весы и крепкие ключи к американским замкам». Речь Хуренито была покрыта аплодисментами, но предложение не голосовалось вследствие протеста владельца магазина резиновых изделий, стоявшего на точке зрения абсолютной светскости общества.

Поучая учеников, Хулио Хуренито любил нам показывать различные экземпляры той или иной человеческой породы. Меня всегда изумляло неисчислимое количество людей, с которыми он поддерживал приятельские, деловые, а чаще всего неопределенные и с виду бесцельные отношения. Так, в Генте он познакомил нас с неким Зютом, фламандцем, занимавшимся игрой на тромбоне, обкуриванием длинных глиняных трубок, выжиданием кофе перед сложными машинками — фильтрами. Этот Зют, кроме вышеупомянутых достоинств, был, по моим догадкам, родственником писателя Метерлинка. Я сужу об этом по многим признакам. Так, например, когда мы на минуту замолкали и в комнате становилось тихо, Зют многозначительно вздыхал, а затем пояснял: «В комнате кто-то присутствовал». Вообще молчал он не просто, а торжественно. Любимыми его словами были: «кто-то», «что-то» и «странный». Изъяснялся он примерно так: «Мне грустно — по саду кто-то прошел», «Сейчас с какой-то девушкой что-то случилось, поэтому у меня тяжелеют веки», «Вы слышите, как странно бьют часы, они что-то предвещают». За утренним кофе он был полон воспоминаниями приснившихся снов, за обедом смутными ощущениями иных миров, за ужином предчувствием неведомых встреч (что,

впрочем, не мешало ему есть с аппетитом). Во всем он видел тайну — в форме облака, в залетевшей в комнату птичке, даже в суповой миске, которую разбила его прислуга, неповоротливая фламандка. Просидев с ним два часа, я заподозрил его не только в родстве с Метерлинком, но и в нервном заболевании. Я поделился моими соображениями с Учителем, но он возразил: «Увы! Зют вполне здоров, и я не думаю даже, что он родственник Метерлинка, вернее, таких родственников у достопочтенного поэта наберется не одна тысяча. На домике Зюта громоотвод, а в передней барометр; когда он заболевает, то зовет лучшего доктора и не может вымолвить от волнения ни единого слова, пока врач не положит трубку в карман и не пробубнит наконец название болезни по-латыни. Зют очень любит повторять слово «провидение», но прививал себе, между прочим, оспу, дифтерит, тиф. Конечно, если ты его обо всем этом спросишь, он не смутится и скажет что-нибудь вроде того, что «не надо искушать Господа Бога». Но на нем ты можешь наблюдать человека, который не способен жить без тайны. Ты скажешь, что на свете еще много неясного. Разумеется. Но из длинной анфилады запечатанных комнат несколько дверей взломано, и там обнаружена самая обыкновенная обстановка средней руки. Это расхолаживает Зютов, заставляет их приделывать печати. Далее идет косметика, штопка драных штанов и различные способы старой потаскухи выдавать себя за невинную девственницу».

Возвращаясь к тому же вопросу о тайне, он свел меня с одним немецким теософом Вольфом.

В жизни Вольф был обыкновенным немцем, имел нечто вроде жены, то есть худосочную девицу Матильду, выполнявшую в доме самые различные обязанности. Но иногда, скушав изрядное количество свинины, выпив пива тоже вдоволь, выкурив сигару и не зная, что ему дальше делать, то есть в часы, когда прочие смертные читают статьи о министерском кризисе, ловят мух или просто очищают многими способами нос, уши и прочее, Вольф вдруг становился важным, запирал в кухне подобие жены, чтобы она ему не мешала звяканием посуды, объявлял, что у него высшее состояние духа, так как из мира астрального, в котором пребывал ранее (со свининой и Матильдой), он переселяется в «будхе», что теперь он решительно

сосредоточивается и видит все. Далее шло вовсе неподобное — оказывалось, что Вольф был прежде не Вольфом, а жаворонком, вождем племени ацтеков и любовницей Людовика XV. Кроме этого, он знал не только названия всех городов Атлантиды, но даже расписание трамваев ее столицы. Он показывал своим сослуживцам какой-то стертый польский грош, уверяя, что это один из сребреников, полученных Иудой. Родимое пятно на его теле ниже спины являлось знаком предназначенной ему звезды Кассиопеи. Уезжая летом на месяц отдохнуть, он направлялся в Дорнах к своему наставнику Штейнеру и там таскал камни, строя какое-то капище. О нем Учитель говорил как об очаровательном хитреце: «Вольф знает все, но ему скучно утомлять свой разум математическими проблемами или социальными трактатами. Кроме того, ему слишком много преподносили слабительное Реформации, чтобы он мог вернуться к милой мистике средневекового мясника. Поэтому он предпочитает выдумывать забавную тайну и потом остроумным способом разоблачать ее. Это ничуть не хуже головоломок в воскресных номерах газет. Это вполне корректный и практичный спорт, а засим — разве тебе еще не ясен путь от Айши до Вольфа?..»

Путешествуя по Италии, мы часто заходили в различные церкви. Обыкновенно в них бывало уютно, но грязно, мало кто считался с плакатом: «Просят из уважения к месту не плеваться». Часто, кроме старых бабок, шамкающих сплетни, и детей, играющих в прятки, мы находили в церквах кошек, собак, даже кур. Мы видали немало любопытных церемоний. В Сетиньяно хоронили Христа ряженые всадники, люди в масках с крохотными дырочками для глаз, вдовы в трауре, девушки в подвенечных платьях. Действие происходило ночью при свете вздыбленных факелов, под барабанный грохот и вой монахов. Во Флоренции к собору подводили белого быка, на котором восседал некий субъект, в панцире, лицом к хвосту. Заканчивалось все это ракетой в форме птицы, влетавшей в церковь и зажигавшей огни. В Риме, в подземной церкви, монах, исступленно крича, водил за собой прихожан от алтаря к алтарю, стегал свое тело веревками и потом ложился в гроб. Наконец, в Неаполе, при свете сотен костров, при треске шутих и пистонов закипала кровь на статуе святого Януария. Сначала кровь отчего-то

кипеть не хотела, и толпа награждала святого особыми итальянскими выражениями, состоящими из сочетания слов возвышенных и бранных. Потом кровь закипала, все хлопали в ладоши, кричали святому «браво», и дело кончалось танцами. Наблюдая все это, Учитель говорил: «Бедный ватиканский узник, как подобает его чину, он дремлет с повернутой назад головой. Ему снится враг Вольтер, и он даже не подозревает о существовании киноактера Макса Линдера. В течение многих веков религия честно исполняла свою роль разрядителя человеческих эмоций. Для этого она вырастила искусство и теперь умирает от конкуренции собственного детеныша. Вместо размышлений отцов церкви — популярная лекция народного университета, вместо декалога — неуязвимая мораль спевшихся лавочников. Что же заменит великолепные страсти, шепот и блеск, фиолетовые рясы и рык органов? Гримасы Чаплина, мертые петли летчика Пегу и миллионы огней грядущих карнавалов.

В ту же эпоху Учитель представил папе Пию X докладную записку, которая нигде не была напечатана, но вызвала возмущение почти всей римской прессы. Газета «Обсерваторе романо» даже давала понять, что это — интриги некой великой державы. Копии записки у меня не сохранилось, но я считаю необходимым передать ее содержание. Хулио Хуренито не мог выносить тупые анахронизмы, даже когда они его непосредственно не затрагивали. Его равно возмущали ничтожность распространения электричества в Париже, часовой в парике перед дворцом английского короля и я, целующий руку дамы. Он предлагал папе некоторые меры для успешного привлечения клиентов. Совершенно недостаточно двум профессорам духовной академии написать вкупе шесть страничек о прагматизме или решиться осветить церковь электрическими лампочками. Надо выяснить, где и при каких условиях легче всего поймать душу, так же тщательно, как изучает коммерсант способ рекламы. У человека былых времен чувство, именуемое «религиозным», исходило от созерцания природы. Выражалось оно в стремлении к примитивной гармонии, миру, лепоте. Поэтому церкви, часовни, распятия строились в местах уединенных, тихих, были очагами покоя. Теперь покой — полчаса после обеда — пищеварение, лень и одна-две игривые мысли. Природа — несколько раз в год,

с субботы до понедельника — спешное восклицание «о, как это прекрасно!», прогулка, обед и открытки с видами. Но «религиозное чувство» или, точнее, чувство восторга, которое религия может использовать, подымается у современного человека при ощущении быстроты движения: поезд, автомобиль, самолет, скачки, музыка, цирк и прочее. Поэтому надо соорудить передвижные часовенки в экспрессах и в автомобилях, а все службы реорганизовать из медлительных и благолепных в исступленные, перенеся их на арены с ошеломляющими прыжками, скачками, гиканьем бичей и стартованием самолетов. Таковы были основные мысли записки. Ответа на нее не последовало.

Приводя суждения Учителя о религии, я не могу не упомянуть о том, как он возвратил апостольской церкви заблудшую овцу, а именно мэра Гириека мосье Тика. Этот мэр был ненавидим всеми кюре окрестности, и в корреспонденциях парижской газеты «Ля круа» выяснялось, каким именно наказаниям он будет подвергнут в аду. Тик в одной из церквей устроил зал для танцев, обучения фехтованию и других «разумных развлечений», а проходя мимо другой, выполнявшей прежние функции, останавливался и три раза плевал. Он вычеркнул из всех школьных хрестоматий слово «бог», заменив его «идолом», и приказал писать письма не в город Сен-Назер, но просто в Назер. Я не стану приводить длинной беседы и первоначальных плоских доводов мосье Тика: как кит мог проглотить Иону, как может быть бебе без содействия мужчины и тому подобных. Отстранив эти теологические проблемы, Хуренито перешел к существу вопроса. Фундамент нашего социального быта построен на небе. Не ведая того, мосье Тик вырывает камни из-под собственного дома, он — анархист. Этого мэр не мог вынести, в волнении прошелся по залу, поглядел, нет ли кого-нибудь в соседней комнате, и обмотал живот трехцветной лентой. Почему египетский раб строил пирамиду? Не потому ли, что ее возглавлял,— да простит мосье Тик выражение... Бог? (Мэр пожаловался на головную боль.) Земная иерархия держится на сознании небесной. Если нет Бога, то почему у мосье Тика хороший дом? Почему его не может отобрать поденщик Лото? Ах, мосье Тик так неосторожен! (Мэр начал просить прощения — занят, заседание и что-то еще.)

Неделю спустя в «Ля круа» было напечатано следующее: «Еще один Савл. Известный своими гонениями

на церковь мэр Гириека мосье Тик явился на днях к настоятелю церкви Сан-Антуан и рассказал, что у ручья Фью ему явилась Святая Дева и промолвила: «Покайся, пока не поздно!» В начале июня первый специальный поезд богомольцев направляется в Гириек к ручью Фью. Запись — в редакции».

Мы были с Учителем в катакомбах близ Рима на Аппиевой дороге. Поглядев на черные скользкие проходы, надышавшись смрадом, вдоволь налюбовавшись на старика монаха, продававшего за сходную цену двум баварским крестьянкам тепленькое ребро какого-то мученика, мы вышли наверх. Было просторно, свежо и безлюдно. Я осмелился спросить Учителя, что думает он о судьбах религии? Хуренито сказал: «Наконец-то истлеют все кости и все боги. Разрушатся соборы и забудутся молитвы. Не жалей об этом. Видишь, там, на солнце, откидывая ноги, прыгает по степи маленький жеребенок. Разве не передает он беспредельного восторга бытия? А здесь, у лачуги, задрав морду к небу и опустив хвост, воет собака — не вся ли скорбь земли в ней? Им будут подобны грядущие люди, и не станут они замыкать свои чувства в тысячепудовые облачения.

Чаще гляди на детей. Я люблю в них не только воспоминание о легких днях человечества, нет, в них я вижу прообраз грядущего мира. Я люблю младенца, который еще ни о чем не ведает, который царственным жестом тянется сорвать — что? — брошку на груди матери? яблоко в саду? звезду с неба? Потом его научат, как надевать лифчик, как целовать руку отца, как шалить и как молиться. Пока он дик, пуст и прекрасен. Если ты хочешь научиться по-настоящему ненавидеть людей, люби, крепко люби детей! Оскорбляй святыни, преступай заповеди, смейся, громче смейся, когда нельзя смеяться, смехом, мукой, огнем расчищай место для него, грядущего, чтобы было для пустого — пустое».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Алексей Спиридонович ищет человека

На следующий день после нашей встречи с Айшой мы все вместе отправились на неделю-другую в Голландию, где у Хулио Хуренито был ряд дел: заседание пайщиков Общества канализации острова

Явы, доклад в гаагском «Трибунале мира», закупка большой партии картин мастеров семнадцатого века, кофе и ножей людоедов, с прелестной резьбой по рисункам немецкого экспрессиониста Отто. По пути мы остановились в Антверпене и вечером направились в порт. Длинный ряд кабачков соблазнял нас медными бананами, качающимися попугаями и неграми с воткнутыми в жестяные губы трубками из тыквы. Мы вошли в один кабачок, как будто наиболее спокойный (мистер Куль высказывал всяческие опасения касательно Библии и долларов). На столах и под столами сидели люди различных цветов: белесые скандинавы, подрумяненные фламандцы, хорошо прожаренные солнцем итальянцы, пережаренные арабы и уже окончательно черные сомалийцы. Люди под столом неистово кричали, и мистер Куль, схватившись за доллары, мысленно цитировал Библию, убежденный, что сейчас начнется свалка с ножами, а возможно, и с револьверами. Но Учитель успокоил его, объяснив, что это кастильцы вполне дружески говорят о достоинстве икр дочери хозяина кабачка. Мрачный англичанин сидел один, на птичьей клетке, каждые пять минут выплевывая: «Виски!», потом оживился, показал сам себе какой-то детский фокус, состоящий в таинственном появлении монеты в шляпе, и, показав его, сам же долго, простосердечно смеялся. Французы пили мало, много шумели, хвастались — один тем, что он в Марокко заколол в течение дня двенадцать разбойников, другой тем, что у себя в Ниме он в течение одной ночи доставил ряд различных удовольствий такому же количеству девушек. Оба они, когда мимо куля с перцем проходила служанка, уродливая баба лет пятидесяти, хватали ее за руку, выше локтя, с возгласами: «Э-э! красотка!», что, очевидно, являлось необходимым ритуалом.

Вдруг в дальнем углу кто-то застонал по-русски: «Друг мой, брат мой, скажи мне, человек я или нет?» Я оглянулся и увидел достаточно показательного русского интеллигента, с жидкой, как будто в год неурожая взошедшей, бородкой, в пенсне с одним выбитым стеклом, в широкой фетровой шляпе, на которой, безусловно, сидели и лежали различные посетители различных кабачков.

Он настойчиво тряс одного из негров, который никак не мог ответить на столь глубокомысленный вопрос, тем более предлагаемый на языке непонятном,

но от волнения и усилия понять высунул кончик языка и качал во все стороны головой. Зрелище это было столь живописно и трогательно, что мы перекочевали за столик русского, который необузданно обрадовался, увидав соотечественника, и предложил мне тотчас решить проблему, не выясненную бедным сомалийцем. Засим он очень внушительно объявил, разбив при этом кувшин и четыре стакана, что «все фикция!». Это понравилось Учителю, и он показал русскому философу небольшие, но любопытные опыты, или, выражаясь языком более патетическим, «чудеса», подтверждающие отсутствие пространства и времени. Русский был настолько этим потрясен, что пощупал свои карманы, нос негра, а потом долго и глубокомысленно сидел, приложив свою руку с браслетом к уху и, очевидно, проверяя, идут ли его часы. Убедившись, что у негра есть нос, что часы не испорчены и что вместе с тем ни времени, ни пространства не существует, не зная, как это все согласовать, русский икнул, спросил еще литр водки и гордо объявил: «Все фикция, но существует человек!» На ласковую усмешку Учителя он обиделся, хотел уйти, не ушел, но счел нужным представиться: «Свободный человек, то есть Алексей Спиридонович Тишин». Непосредственно за этим он высказал острое желание рассказать Хуренито свою жизнь и спросил, не можем ли мы пойти на вокзал и сесть в пустой вагон. Даже я не понял его хода мысли. Тишин объяснил, что он привык рассказывать свою жизнь незнакомым людям в вагонах, и так как ему уже за тридцать, то менять привычки тяжело, а жизнь рассказать необходимо, иначе он побьет негра, или утопится, или начнет здесь же строить баррикады. Все три возможности нам мало улыбались, но и идти на вокзал не хотелось. С присущим ему тактом Учитель убедил Алексея Спиридоновича, что кабачок в порту то же самое, что вагон, и поэтому, рассказав здесь свою жизнь, он не отступит ни от традиций великой русской литературы, ни от своих тридцатилетних привычек.

Родился Алексей Спиридонович в городе Ельце и там же провел свое детство. Мать его вскоре после рождения Алеши убежала с французом Жоржем, парикмахером местного предводителя дворянства. В Москве Жорж, получив от нее «сувениры без цены», то есть ларец с фамильными бриллиантами, счел свою миссию в стране дикарей законченной и уехал в родную

Тулузу. Мать Алеши попробовала существовать, писала какие-то письма, ходила к родственникам и, проваландавшись два года, умерла. Мальчик рос с отцом — генералом в отставке и большим самодуром. Наблюдали за ним различные гувернантки, довольно быстро сменявшие одна другую, которые свои досуги посвящали уходу за генералом. После ночей в кабинете отца они били Алешу, щипали его с вывертом и при этом смеялись: «Ну-ка, попробуй, пойди пожалуйся отцу!» Зато, когда судьба заставляла их проводить долгие недели в детской, предчувствуя немилость, они дарили Алеше трубочки со сливками, пришептывая: «Ты хороший мальчик, пойди скажи папе, что я тебя очень люблю и его тоже. Только смотри не говори, что это я тебе сказала». Генерал пил запоем. Порой он хватал хлыстик, висевший над турецким диваном, хлестал им по спине Алешу и приговаривал: «Шлюхино отродье, вот тебе! И черт тебя знает, чей ты! Цирюльник поганый! Иди мыль морду!» А потом ночью будил мальчика, и тот в ужасе видел старика на четвереньках перед кроваткой с сеткой, который завывал: «Ангел мой чистый! Солнышко мое! Недостоин я тебя, гад, блудодей! Раздави меня! Плюнь, ну, плюнь в отца!» Он не успокаивался, пока Алеша не делал вида, что плюет в него. Иногда после этого генерал смиренно уползал на четвереньках, как пес к себе в конуру, но порой вдруг вскакивал, рычал: «В отца плюешь, пащенок?» — хватал хлыст, и все начиналось сызнова.

Особенно запомнилась Алексею Спиридоновичу одна ночь. Генерал как-то привез к ним на двор молоденького медвежонка, который стал закадычным приятелем Алеши, участником всех игр. Звали медвежонка Бумбой, был он растяпым, падким на сласти и очень ласковым.

Ночью генерал будит Алешу, закутывает бережно в одеяло и несет в садик. Там, привязанный к беседке, на задних лапах стоит Бумба. Генерал размахивает наганом, хохочет: «Убиение святого Себастиана, картина, достойная кисти Айвазовского, хи, хи, хи! Мишка, тащи сюда бутылочку зубровки — за переход души раба божьего Бумбы!» Медвежонок, думая, что с ним играют, облизывается и урчит. Генерал стреляет, спьяна мимо, только прострелил лапу. Бумба отчаянно визжит, как щенок, которому наступили на хвост. Наконец кончено. Алешу несут наверх в забытьи. Жар, горячка. Ничего — отлежался.

Еще рассказывал Алексей Спиридонович о своих детских играх. Больше всего он любил ловить на окошке мух и отрывать им лапы, крылышки. Но потом ему было их жалко и скучно. Тогда он устраивал «мушиный лазарет» — в одной спичечной коробке помещались мухи без крылышек, в другой однокрылые, в третьей безногие и так далее. Иногда он молился перед иконой богородицы, чтоб она устроила в раю его, Бумбу и маму (о которой он слыхал от старушки ключницы), но потом, раздраженный тем, что у него, только у него нет мамы, что Бумбу пристрелил отец, вынимал из шляпы очередной гувернантки большую булавку и начинал колоть глаза богородице: «Вот тебе, вот тебе!»

Когда Алеша был в шестом классе гимназии, генерал, перепив зубровки и схватив простуду во время поездки на богомолье к Тихону Задонскому, куда он возил с собой девку Любку и фрейлейн Шарлотту, умер; он оставил сыну некоторую сумму и жуликоватых опекунов. Вскоре после этого Алеша впервые познал тяготы плоти. До сего, прочитав тайком в «Ниве» «Воскресение», он тщетно старался претворить горничную Лену в Катюшу, неожиданно, как бы невзначай, прошмыгивая пальцами по ее телу и заставляя ее нещадно бить посуду. После волнений, колебаний и страхов Алеша отправился с «камчадалом», усатым Пукловым, в заведение Ангелины Карповны и там за три рубля получил от дородной, но расторопной Стеши некоторое элементарное воспитание. Когда Алеша вышел из каморки в салон Ангелины Карповны, Пуклов, глотая мутное пиво, спросил восторженно: «Ну, что скажешь, брат? Здорово? Это мое открытие, в некотором роде Колумб!..» Но Алеша, закрыв лицо руками, бубнил: «Что я сделал?» И, получив «размазню», выбежал на улицу. Дома он брезгливо мылся, вспоминал мать и хныкал. А на следующий день, решив начать новую жизнь, пошел в библиотеку, записался по второму разряду и взял книги Мережковского и Бердяева.

Все это, конечно, не помешало ему вскоре отправиться снова, правда, не к Стеше, но к Маруне, черной и потной молдаванке, похожей на истекавшую соком маслину. Читать книжки о грехе и об антихристе он, однако, не перестал. Завел альбом и, разделив его на отделы: «любовь», «бог», «природа» и другие,— выписывал туда наиболее потрясавшие его мысли. Так, в отделе «человек» значилось: «Человек создан для

счастья, как птица для полета» — В. Короленко, «Человек — это звучит гордо» — М. Горький и так далее.

Засим он влюбился в голубоглазую Нюру, дочь почтового чиновника, отличительными чертами которой были четыре локона в виде колбасок, медальон с изображением котенка и страстная любовь к шоколаду с фисташковой начинкой. Влюбившись, он ходил, вздыхал и наконец долгими разговорами о своем одиночестве, подсаживаниями поближе на узкой кушетке добился основательного поцелуя. Тогда его охватили сомнения. Как ни была возвышенна и заманчива любовь в произведениях всех лучших писателей, как ни были сладки пухлые губы Нюры, многое заставляло его призадуматься. Нюра не Стеша и не Маруня, у нее отец и прочее, значит, придется жениться. Но Нюра и не Беатриче, в ней нет жажды божественного. Значит — служба, пеленки. Разве можно читать Ницше или Шопенгауэра, когда рядом пищит младенец? Конечно, дети не всегда бывают, говорят даже, что есть кое-что. Но ведь «кое-что» — это не бирюзовое колечко, его не поднесешь невесте. И такое загрязнение идеалов!.. Он открыл свой альбом, отдел «любовь», и прочел: «Только утро любви хорошо» — С. Надсон. Это окончательно толкнуло его на определенное решение, и он послал Нюре письмо на шестнадцати страницах о «великом конфликте между разумом и сердцем» и о «непостижимых путях провидения». Полгода спустя, узнав, что Нюра выходит замуж за товарища прокурора, он вознегодовал: «Вот вечная любовь! Идеал! А впрочем, я незлобив и желаю ей счастья».

Лет двадцати Алексей Спиридонович начал заниматься политикой, то есть составлять конспект по «Политической экономии» Богданова и размышлять: грех или не грех убить губернатора? Как-то Пуклов, его приятель с детских лет, ставший членом подпольной организации, привел к Алексею Спиридоновичу рыжего детину в косоворотке и пробасил: «За ним слежка, все ночевки провалены, так что он у тебя переночует». Алексей Спиридонович согласился и весь вечер пытался добиться у гостя, что тот думает о революции, о насилии и об искуплении. Но парень оказался молчаливым и сочувственно реагировал лишь на бутерброды с языком, да еще на альбом с видами итальянской Ривьеры. Все последующие дни Алексей Спиридонович томился сомнениями: «Быть может, он убил или убьет. Я приютил его, спас. Значит, я покрываю

убийство. Я — убийца. Конечно, «не мир, но меч», а как понять тогда «поднявший меч — от меча падет»?» Словом, Алексей Спиридонович был глубоко удручен и подавлен совершившимся. Ко всему, когда он ходил в библиотеку, за ним всю дорогу волочился какой-то подозрительный субъект. Ясно — за ним следят. Прежние духовные терзания сменились житейскими. Он видел себя в тюрьме, бритым, в кандалах, иногда даже идущим на виселицу. Это улучшило его моральное состояние, ибо он почувствовал себя героем, но все же не давало возможности спокойно жить. После мучительной недели он решил убежать за границу, но, не зная, как это делается, в отчаянье подал прошение орловскому губернатору. Три дня он ждал ареста и был бесконечно удивлен, когда ему принесли заграничный паспорт. «Я перехитрил их»,— думал он, мчась в спальном вагоне в Берлин.

За границей его убеждение еще более укрепилось, и Алексей Спиридонович искренне считал себя политическим эмигрантом. Заказывая модные костюмы у парижских портных, останавливаясь в первоклассных гостиницах, скупая сотни поражавших его вещей, как-то: специальный набор мазей и щеток для чистки мундштуков, электрические щипчики для усов и тому подобное, Алексей Спиридонович любил высказывать свое преклонение перед «сермяжной Русью», противопоставлять тупой и сытой Европе ее «смиренную наготу». Ничем он не занимался и в анкетах гостиниц в рубрике «профессия» гордо ставил — «интеллигент», чем немало смущал швейцаров. Иногда он впадал в уныние и решал, что необходимо трудиться для «грядущей России». В одну из таких минут он записался в версальскую школу садоводства,— считал, что грубый материализм чужд славянству и что родине нужны будут цветы. Но, прослушав первую лекцию об удобрении, сбежал в Париж и мертвецки напился. Другой раз он почувствовал необходимость войти в организацию и долго колебался в выборе между группой содействия партии социалистов-революционеров и Обществом улучшения церковного хора, считая социализацию земли и возрождение церкви равно важными. Он беседовал с неким мрачным эсером, занимавшимся предпочтительно игрой в шашки и набиванием папирос, на разные отвлеченные темы, а от него шел в кафе с садиком, где рябой псаломщик любил обыгрывать в кегли французов, и начинал приставать к нему с теми же

вопросами. В конце концов он записался в обе организации, внес членские взносы, но ни на одно собрание не пошел — наступила летняя жара и было куда приятнее, завесив окно мокрой простыней, в одних кальсонах пить настоящий русский чай Высоцкого.

Европа не испортила Алексея Спиридоновича, и он по-прежнему боялся греха. Познакомившись в кабаке с веселой француженкой по кличке «Юю», он направился к ней и готов был уже совершить все, что в таких случаях полагается, когда заметил, что она не проявляет к нему никакого внимания, раздумал и начал одеваться. На недоуменные вопросы он деликатно ответил, что может предаваться земной радости без духовного общения, ибо это было и в Элладе, но не без взаимной страсти, и ушел, получив вдогонку груду ругательств, а также какой-то не подходящий для метания предмет, который оказался у Юю под рукой.

А между тем шли годы, деньги тоже уходили, немало этому способствовали и бывшие опекуны, теперь доверенные. Присылки становились все скуднее. Алексей Спиридонович переселился на мансарду, и вместо «Кафе де Монако» посещал различные притоны в районе рынков и вокзалов. Но, как прежде, выпив полбутылки, он начинал бить стаканы, устраивать трагический массаж лба, кидая неизвестно кому горькие истины: «Все фикция, но есть человек!..», «Что мир? — ничто, а человек — это дух!..» — и прочее.

За таким занятием в кабачке Антверпена, куда он попал, объезжая со скуки старые города Бельгии, мы и застали его. Приблизительно таковой была его биография, рассказанная нам, хоть, видно, и не впервые, но с пафосом, слезами и глубоким волнением. Закончив рассказ, он закричал: «Пусть я скот, жалкий слизняк, но есть человек!» Учитель мягко возразил: «Друг мой, ваше интересное и поучительное повествование только еще убедительнее показывает, что то, о чем вы мечтаете, так же иллюзорно, как и все на свете». Тишин возмутился, и так как мы уже заметили, что сильные душевные движения у него связаны с битьем посуды, то поспешили увести его прочь из кабака.

Алексей Спиридонович объявил, что он немедленно едет на пароходе «Реджина» в Рио-де-Жанейро, чтобы искать человека. Учитель сказал ему, что если человек существует, то область его нахождения распространяется на два полушария, и ему незачем ехать

в Бразилию. Он, Хуренито, и мистер Куль охотно предоставят господину Тишину необходимые средства. Будет основано Общество для изыскания Человека. Если же эта работа ни к чему не приведет и человек окажется несуществующим, Алексей Спиридонович должен будет признать правду Хуренито и в дальнейшем следовать за ним. «Я буду очень рад, если возле меня окажется коренной русский. Каждый раз, когда я говорю со славянином, я испытываю великолепное ощущение расступающегося болота. О, конечно, у вас тоже имеются поэты, биржи, кажется, даже парламент! Но все, что так крепко и основательно на Западе, у вас ждет не урагана, а лишь легкого дуновения, случайного вздоха, чтобы бесследно исчезнуть. Я не наивен, я знаю, что вы, как женщины, предпочитаете отдаваться, а не брать, знаю, что вы слабы, нерешительны и склонны ко всему, кроме дела, знаю, что не вам сокрушить эти спаянные кровью многих сотен поколений, насиженные города. Но вы велики, и такой пустыни не выдержит дряхлый мир — голова закружится. Вы никого не свергнете, но, падая, многих потащите за собой. За это я вас люблю, и я верю, что вы, господин Тишин, будете со мной». Алексей Спиридонович согласился и торжественно подал Хуренито руку. Это было на рассвете в пустынном порту, среди дремавших на узлах эмигрантов — евреев из Галиции и каких-то бродяг в кепках, ругавшихся из-за большого кашне. Картина была немного оперная, и Хуренито, усмехнувшись, запел: «Где же цыпочка? Где Маргариточка?» — на что Алексей Спиридонович почему-то обиделся.

Я не стану подробно описывать деятельность Общества изыскания Человека ввиду ее чрезмерно сложного и разнообразного характера. К тому же труды академической секции общества собраны датским психологом Фальсом и должны вскоре появиться в свет. Как и следовало предполагать, они дали крайне неблагоприятные для Алексея Спиридоновича результаты, доказав отсутствие специальных, им предначертанных, схем и обнаружив полное тождество обследованных экземпляров с выродочными (дегенеративными) особями, уже ранее известными зоопсихологам. Что касается практической деятельности общества, то есть непосредственных розысков Человека, то она привела лишь к ряду более или менее живописных анекдотов.

Вначале агенты общества, соблазненные огромными премиями, рыскали повсюду с анкетами, составленными Алексеем Спиридоновичем и состоящими из тридцати восьми вопросов, ища тех, кто удовлетворит предъявленным требованиям. Они привозили в правление общества на рю де ля Боэси самых неожиданных кандидатов на звание «Человека»: престарелых богомолок, зобастых идиотов из Альп, докторов философии из Гейдельберга, молоденьких евреев-«бундовцев». Но вскоре, разочарованные строгостью Алексея Спиридоновича, они перешли на службу к мистеру Кулю и занялись продажей его неподражаемых автоматов.

Во всяком случае, искать «Человека» стало модным, и возможно, что некоторые читатели этой книги помнят конкурс, объявленный парижской газетой «Матэн» непосредственно вслед за конкурсом лучших танцев и наиболее остроумных определений обманутой любви. Газета поместила фотографию молоденькой женщины в лохмотьях с грудным младенцем. Подпись: «Эта женщина утверждает, что она три дня ничего не ела и что ей негде спать. Что должен сделать настоящий «Человек», увидев ее?» Ответы были весьма разнообразны и всесторонни: «Озаботиться нравственным воспитанием молоденьких девушек», «Очистить наши улицы от бродяг», «Подвергнуть ее медицинскому освидетельствованию», «Испытать, сколько она еще сможет прожить при подобных условиях», «Свергнуть кабинет министров», «Передать миру в стихах или, в случае неумения, в прозе, ее муки». Премию получил наиболее распространенный (13 426) ответ: «Сказать ей: стыдитесь! Вы молодая женщина и должны работать». Как курьез, газета отмечала получившее всего один голос пожелание: «Свести ее в ясли и на государственный счет один раз накормить».

Отчаявшись в работе общества, Тишин пробовал сам предпринять розыски, но был трижды обокраден, раздет, избит каким-то консьержем, и, наконец, попал в тюрьму, откуда Учитель должен был его освобождать.

Хуренито наконец решился спросить упрямца, признает ли он себя побежденным? «О нет,— закричал Алексей Спиридонович,— пойми меня! (Надо сказать, что он был очень фамильярен и на следующий день после знакомства с Хуренито потребовал выпить с ним на брудершафт и облизал щеки Учителя, после чего

тот, брезгливо морщась, направился к умывальнику.) Пусть я не нашел истинного человека, но он существует! Не веришь? Вот тебе доказательство — я Человек! Ты усмехаешься? Да, я животное! низкое! подлое! грязное! Но я люблю Наташу, и я Человек, я бог! Слышишь?» Далее многоречиво и патетично он рассказал о своей любви к какой-то курсистке Орловой, изучающей в Париже французский язык. По вечерам она играет ему «Песню без слов» Чайковского, и Алексей Спиридонович чувствует, что он Человек. «Все это прелестно, в том числе и Чайковский,— возразил Учитель,— но чем, собственно, твое чувство (вполне законное, скажу кстати) отличается от некоторых эмоций моего кота Джо? Тем, что кошка не берет напрокат пианино, а удовлетворяется природными музыкальными данными?» Алексей Спиридонович впал в ярость, крича, что «его любовь — любовь Человека», ибо ей «ничего не нужно», и «она навек». «Что ж, посмотрим...— сказал Учитель,— отложим разрешение нашего спора на несколько месяцев».

Предсказанию Хуренито суждено было скоро осуществиться, увы, при довольно трагических обстоятельствах. В мае месяце, пять недель спустя после описанного мной разговора, Наташа Орлова умерла. Будучи нрава необузданного и хаотического, Алексей Спиридонович, как-то выпив, посмел обвинить Учителя в смерти своей возлюбленной. Это было явной нелепостью: Наташа скончалась после неудачной операции аппендицита, произведенной одним из лучших хирургов Франции. Учитель в крайне мягкой форме ответил, что, ведя большую игру, он не нуждается в мелких взятках и, чтобы доказать ему свою правоту, скорее заставил бы мадемуазель Орлову дожить до ста лет, ибо смерть способна лишь замедлить неминуемое. Действительно, вначале Алексей Спиридонович был безутешен. В дождливую ночь, обманув бдительность привратника кладбища, он приполз на могилу Наташи и, уткнувшись лицом в землю, лежал, пока его не заметили и не увезли. Мало-помалу он начал возвращаться к жизни, продолжая постоянно говорить о своей любимой, о том, как она любила пармские фиалки и музыку, какие у нее были маленькие ручки (перчатки $5^1/_2$) и как он ее любил. Как-то раз он сказал: «Я думаю, что для нее лучше, что она умерла, она не узнала всего горя жизни». Учитель шепнул мне: «На-

чинается! Он уже ищет утешения». Потом Алексей Спиридонович стал интересоваться обычными житейскими делами, читать газеты, играть в шахматы. Вспоминая о Наташе, он внезапно замолкал и как бы отходил в сторону. Но это бывало все реже и реже. Как-то раз, когда Айша, подарив ему букетик фиалок, сказал: «Это любила твоя госпожа»,— он рассердился, и Хуренито заметил: «Дальнейшая фаза — он ищет забвения». Потом, в течение довольно долгого времени, Алексей Спиридонович о Наташе не упоминал вовсе, был весел, спокоен и ровен. После этого перерыва, в одной из бесед со мной, он заговорил о ней безо всякого волнения, я сказал бы, «эпически», как говорят о воспоминаниях детских лет, о бабушке или о семейном гардеробе. Это было в октябре, а в ноябре он познакомился с француженкой мадемуазель Виль, художницей, взбалмошной и весьма очаровательной. Началось все по порядку: вздохи, одиночество, но на сей раз без неудобного отца и без аппендицита. Он пришел к нам и заявил, что в судьбе — высшая мудрость. Наташа была слишком тихой и задумчивой, она бы с ним мучилась, ей теперь лучше и мадемуазель Виль тоже. Ну да и ему... Встретив насмешливый взгляд Учителя, он смутился, как бы сразу вспомнив все, закричал, что Хуренито прав, что он, Алексей Спиридонович, «не человек, а скот», но что «жизнь, несмотря на это, прекрасна».

Через месяц мадемуазель Виль, которой, видимо, наскучили лирические вздохи и философия Тишина, заменила его аргентинцем-жокеем, а Алексей Спиридонович приплелся к Учителю с причитаниями о «жизни — фикции»; с тех пор он следовал за ним повсюду. Будучи человеком неорганизованным и беспорядочным, цели Хуренито он не усвоил и часто сбивался с пути, увлеченный различными, как он сам говорил, «фикциями», но любил Учителя елико мог. Таким был четвертый ученик Хулио Хуренито.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Различные суждения Учителя о любви

В настоящей главе я приведу некоторые суждения Учителя о любви. Злая молва утверждала, будто Хуренито развратник, растлевает девочек и возит с собой

в специальном сундуке-шкафу какое-то чудовище, полуженщину, найденную им на вершине Анд, для удовлетворения своей нечеловеческой похоти. Все это низкая ложь. О жизни Учителя я рассказываю, глава за главой, не утаивая ничего. О плотской любви и о страсти Учитель говорил всегда спокойно, чисто и легко, без смущения, хихикания, пауз и слюнявых словечек. С равным вниманием глядел он на гимназистку пятого класса, у которой под передником только начинают тесниться груди, стыдливо просящую у него автографа в альбом, и на грандиозное зрелище случки кровоглазых бешеных быков.

Однажды, проходя мимо быка, в ярости и муке оседлавшего телку, Учитель снял шляпу и на недоуменный вопрос мистера Куля ответил: «Я повторяю ваш скучный и условный жест. Снимите и вы котелок, мистер Куль. Если обнажать голову (а это, кроме всего, гигиенично), то не перед выцветшими красавицами с золотыми венчиками, не перед трупом, начинающим попахивать,— нет, здесь, перед этим жестом пахаря, вспахивающего жесткую землю, перед этим в муке извергаемым семенем, перед потом, кровью, жизнью».

Мистер Куль, безусловно, считал Учителя человеком глубоко безнравственным и развратным, что, впрочем, по его мнению, не мешало Хуренито быть хорошим гидом. Но порой американец начинал надоедать Учителю сомнительными наставлениями.

Помню, как утром, встретив в саду нашего миссионера, Хуренито сказал: «Мистер Куль, вчера вечером на моем ночном столике я нашел грязную и низкую брошюру. Я соблюдаю в своей комнате чистоту, сплю всегда с открытым окном, ибо люблю свежий воздух, и не могу допустить подобных явлений. Будьте добры перенести вашу деятельность за пределы моей спальни».— «Вы шутите? Я занес вам высоко талантливый и безусловно нравственный труд нашего молодого проповедника Хэля «О супружеской жизни, согласно наставлениям апостола Павла».— «Вот именно об этой скабрезной литературе я говорю. Были тычинки и пестик, козел и коза, юноша и девушка. Пришли ваши апостолы и пророки, отцы церкви и кастраты, объявили великое — стыдным, достойное — едва терпимым, расплодили кары и гнусный шепоток в углу, сюсюкание перед чистотой, то есть перед малокров-

ным, худосочным бессилием, вырождающимся извращением. Вместо первого человека, весной буйно кидавшего женщину на траву, поставили где-то рядом с уборной кровать, на которой человеку разрешается, по его человеческой, следовательно низменной, жалкой слабости спать с законной супругой. «Конечно, лучше не женитесь»,—советовал ваш любимый апостол. Подумали ли вы над этим? «Лучше не рожайте». Установили культ матери, окружили ее грудь ангельским светом, повели ее в храм, но путь к этому храму завалили грязью, заплевали брезгливыми плевочками монахов. Конечно, не смогли оскопить человечества,— пороху не хватило,—а посему были «терпимыми». Что ж, не удивляйтесь, если мир превратился в огромный «дом терпимости». Вы сказали: «Плотское плохо», а миллионы уверовали. Одни надели вериги и занялись бесплодным делом, днем и ночью думают, как бы удержать пробку в бутылке газированной воды. Где, в каком блудилище столько думают о похоти, как в келье аскета или в каморке старой девы? Думают, не ведая о том, думают телом, истомой, мечтами о Вечной Деве или Небесном Женихе. Другие—большинство—решили: скверно так скверно. То, что могло стать священным, стало свалкой нечистот. Вместо дивного мифа—портсигары с двойной крышкой: на первой—пейзаж или незабудочки, а на второй, тайной, для приятелей,—нечто нехорошее. Этот портсигар, то есть, простите, вашу духовную книжицу, мистер Куль, я, заботясь о чистоте и гигиене, был вынужден из моей комнаты со всей поспешностью выкинуть».

Учитель ненавидел институт нашего брака, ставя значительно выше даже современную проституцию. На этой почве ему пришлось столкнуться с косностью и враждой общества. Так, раз к нам явился знакомый Хуренито виконт Ленидо, сильно возбужденный и размахивая тростью. История этого юноши из весьма знатного рода была такова. Проиграв в казино Биаррица последние крохи наследства, наделав мыслимые и немыслимые долги, он познакомился со старой американкой мисс Хопс, которая жаждала любви, нежных признаний и герба на визитной карточке. Дальнейшее понятно, надо только добавить, что мисс Хопс была на редкость уродливой, так что ее лицо казалось чем-то на лицо отнюдь не похожим и бесстыдно обнаженным, и не менее страстной, требуя, безо всякого

стеснения, на пляже, чтобы жених то обнял бы ее за талию, то коснулся бы ее груди. Получив извещение о свадьбе, Учитель был озабочен тяжелым будущим этой четы. На свадьбу он не пошел, но послал, в виде подарка, большой платок мексиканской выделки и извлечение из Календаря сельского хозяина о приемах спаривания жеребца с ослицею. Жеребцу в таких случаях показывают раньше кобылу, а потом завязывают наглухо глаза. Хуренито, прилагая платок, предлагал воспользоваться этим методом для взаимного супружеского счастья. Как я уже сказал, виконт явился к Учителю на следующий день после свадьбы с весьма недвусмысленной тростью. Но Учитель сам признал свою ошибку: «Это было непростительно с моей стороны, я послал вам все, кроме... кобылы. Но я думал, что у вас здесь обширные знакомства. Я понимаю ваше негодование, простите меня великодушно. Знаете ли вы мадемуазель Тонетту?..» Виконт опустил палку, рассмеялся и ушел, захватив несколько адресов.

Другой раз, в кафе, где мы сидели, явился мосье Бок, мелкий журналистик, целый день жадно выискивавший сенсацию строк на двадцать и принужденный довольствоваться трехстрочными известиями о кражах, которые ему давал чиновник префектуры, получавший за это право на не регулированные ничем визиты к мадам Бок. Журналист начал приставать к Хуренито, прося какой-нибудь, хоть небольшой, сенсации, ну что-нибудь о революции в Мексике или о новых изобретениях мистера Куля. Учитель вначале отнекивался, но потом, будучи очень отзывчивым, продиктовал Боку совершенно необычайную по предстоящему успеху заметку: «Исключительное злодеяние. Вчера вечером, в людном месте Парижа на рю Сан-Онорэ, известный парижский адвокат мосье Трик, вице-председатель Лиги борьбы с уличной безнравственностью, совершил гнусное насилие над молоденькой девушкой Люси З., шестнадцати лет. Самое ужасное в преступлении то, что оно было совершено с ведома родителей девушки, владельцев большого мыловаренного завода, которые находились в это время в той же квартире». Мосье Бок убежал в состоянии беспредельного энтузиазма. Заметка была напечатана, а через несколько дней журналист явился к Хуренито с забинтованной головой. «Вы меня подвели. Все оказалось выдумкой. Этот негодяй Трик просто женился на Люси З., и они

поселились у ее родителей на рю Сан-Онорэ. Меня уже три раза били и собираются еще бить. Я не ночую дома, не бываю больше в редакции. Кроме всего, я получил повестку из суда. Вы сделали меня самым несчастным человеком на свете...» Учитель возразил: «Друг мой, я глубоко скорблю о ваших несчастиях, но я не погрешил против истины. Шестнадцатилетняя Люси не могла дать никакого согласия на все над ней совершенное, ее ведь воспитывали в чистоте и неведении. Она не знала даже, почему люди целуются. Жениха своего она видела только два раза и сильно его боялась. Родители ее, разумеется, ведали о преступлении...» Бок застонал: «Но ведь поймите же, они повенчались!..» — «Только чтобы избавить вас от еще больших неприятностей, я не упомянул в заметке о том, что в преступление были замешаны и представители государства, то есть мэр, скрепивший брачный договор». Эти доводы не убедили Бока, и он ушел расстроенным, захватив с собой все содержимое кошелька Хуренито, дружески ему предложенное. Учитель был очень обрадован, узнав неделю спустя, что мосье Трак, конкурент и ярый враг мосье Трика, разыскав бедного журналиста, предложил ему наградные и возмещение за диффамацию.

Учитель говорил: «Когда два человека основывают вместе коммерческое дело, они интересуются капиталом и соответствующими способностями друг друга, а не любовью к поэзии или умением играть в футбол. Когда хотят посадить в саду дерево, то не занимаются рассуждениями, что такое земля — прах или святыня, не любуются ею как пейзажем и не оценивают ее у соседнего перекупщика, но смотрят, подходит ли она для такого-то дерева. Когда заходят покупать рубашку, то, как бы ни была красива окраска и низка цена, никто не возьмет слишком большой или слишком маленький номер. Когда же людей сводят для супружества, то исследуют все, кроме того, для чего, по существу, их сводят. Узнают, каково приданое невесты и много ли у нее серебряных ложек, сколько получает жених и есть ли шансы на увеличение его оклада, любит ли он играть в бридж или нет, умеет ли она готовить паштет из печенки, добрые ли у них сердца, здоровые ли легкие, знают ли они иностранные языки и прочее. Узнав, ведут не в контору, не в благотворительное учреждение, не на экзамен филологии,

а к широкому уютному ложу, стыдливо потупив глаза, и потом очень удивляются статистике несчастных браков. О, лицемеры, отцы, мужья, вселенские матримониалы, волочащие земную радость по захватанным папкам нотариуса, маклера пломбированных товаров, и вы, пришептывающие при сделках всяческие возвышенные словечки, патеры, пасторы, попы и раввины — какой притон не покраснеет от вашего присутствия?»

Учитель познакомил нас в Севре с четой Нольво. Оба были энтомологами, то есть предпочитали всему на свете обследование гусениц. Помимо этого, они были молоды, не уродливы, милы, жили в уютной квартире, где среди стеклянных банок с червями стояли фарфоровые статуэтки и вазы с цветами,— словом, имели всю видимость людей счастливых. Мы жили в это время по соседству, часто встречались с Нольво и по какой-то особенной горечи мелких словечек, почти неуловимых движений заметили, что не все обстоит благополучно в этом очаровательном домике. Действительно, вскоре Нольво-муж сделал Учителю соответствующие признания. Оказалось, что супруги друг друга нежно любят и чувствуют истинную взаимную близость и понимание, сидя по целым дням над распоротыми червями или вечером для отдыха читая трогательные элегии графини Ноай. «Наши души созданы одна для другой,— сказал Нольво,— но...» И далее он смутно коснулся того, о чем современные моралисты и ханжи разрешают говорить лишь в кабинете психиатра или на судебном процессе,— о роковой дисгармонии их тел. Это убивает радость, это превращает страсть в оброк, выполняемый двумя каторжниками. Выслушав эти жалобы, Учитель познакомил бедного ученого с мадемуазель Виль, которая к тому времени совершенно износила своего аргентинца, а нам предложил чаще встречаться с госпожой Нольво. Очевидно, страдания супругов были длительны и чрезмерны, ибо дело пошло быстрым темпом.

Через две недели, возвращаясь из Парижа после свиданий с Виль, Нольво не мог скрыть улыбки полного удовлетворения. Госпожа Нольво, как это ни покажется странным, остановила свой выбор на Айше и тоже, судя по рассказам нашего наивного брата, не жалела об этом. Казалось, должно было наступить совершенное счастье. Но супруги, вместо того чтобы

в свободное от мадемуазель Виль и Айши время продолжать рассматривать гусениц и читать стихи предались раздумьям о любви духовной и недуховной. Засим Нольво-он повез Виль коллекцию особенно интересных червей, найденных им в различных породах сыров, требуя, чтобы она разделила с ним все его восторги перед желудками этих существ, и был своей любовницей изгнан решительно и навсегда. Нольво-она решила читать Айше сонеты о любви греческих нимф, и, когда тот, убаюканный ее голосом, уснул, начала громко рыдать: «Ты не понимаешь духовной красоты...» Все это протекало, более или менее, на наших глазах, так как ни господин Нольво, ни Айша скрытностью не отличались.

«Вот вам еще один пример издыхания Эроса,— сказал нам Учитель.— Нольво обязательно хочет поцелуев, духовного общения и вытаскивает из кармана червей. Он ведь взращен на понимании своей плоти как чего-то низменного — не зал, а передняя. И он предаст свое тело, свой восторг, свою любовь, вернется к госпоже Нольво, будет ласкать ее без страсти, без воли, без радости, только потому, что, проспав с нею ночь, он утром найдет духовное общение, два микроскопа и книжечку стихов в парчовом переплете».

Другой раз семейное счастье было нарушено нами в Милане, где мы часто бывали у депутата Стрекотини. Он был плюгав и щупл, но мнил себя безумным революционером, непонятым пролагателем новых путей,— словом, чем-то вроде Бранда, ставшего марксистом. Сдирая воротничок, потея и не успевая стирать пот, стуча кулаком по изящному столику «ампир», он любил поносить «собственнические инстинкты» и «мещанский уклад» современного буржуа. Жена его, итальянка в теле, слушала эти речи с чуть заметной усмешкой, как будто она знала к ним какие-то достаточно веселые примечания. Слушая, она все чаще и все нежнее поглядывала на Алексея Спиридоновича, в то время переживавшего очередное разочарование жизнью. Один из таких многообещающих взглядов был перехвачен товарищем Стрекотини, который, оборвав обличение «проклятой собственности» на самом патетическом месте, отослал супругу якобы по делу в редакцию и стал выразительно ждать, когда же мы уйдем.

Вечером Алексей Спиридонович получил письмо: «Гражданин, я счел вас за честного человека, за

русского социалиста и пустил вас в свой дом. Вы нарушили все святые обычаи и посмели быть назойливым по отношению к моей жене. Будучи врагом мещанских предрассудков, я не вызываю вас на дуэль, но прошу больше ко мне не показываться. С социалистическим приветом. Стрекотини».

Из этого письма Алексей Спиридонович узнал о чувствах супруги депутата к нему, и поэтому, когда на следующий день увидал в «Аванти» объявление: «Мой ангел. Не обращай внимания на тирана. Я твоя. Приходи в три часа в галерею!» (быстрота появления и экономия места указывали на практический опыт госпожи Стрекотини), понял, к кому оно относится, бросил пессимизм и пошел бриться.

Учителя очень развеселило это небольшое происшествие. «Что ты наделал, Алексей Спиридонович? Ты забыл, что у врага собственности есть не только собственная квартирка с изящной мебелью, но и собственная жена. А ведь жена или муж, это как вещь,— мое, твое, чужое. Покушение на них — наказуемая по закону кража. Мужа можно взять, как добрый деревянный шкаф, бывший уже в употреблении, но, конечно, чтобы потом никто им не пользовался, ключик в шкатулке. Жена же вообще, как кровать, должна быть новая, неподержанная и служить только своему хозяину. Ты пренебрег этим, разбойник, ты не гражданин, а преступник, нарушитель священных прав величайшего революционера мира».

Учитель повел нас в воскресенье в лондонский Гайдпарк. «Глядите на тех, которые могут, но которым не разрешено». В траве сидели молоденькие парочки. Это женихи и невесты, принужденные долгие годы ждать свадьбы, пока молодой человек не «станет на ноги», то есть не станет более или менее старым. Они могут видеться в комнатах только при посторонних или по праздникам в парке, где и стараются, при всей невозможности этого, насытить накопляемую страсть. У них под глазами круги, глаза мутны от желания. Как преступники они ерзают по траве, проводя мучительные часы в полуобъятиях и касаниях, распаляемые беглыми поцелуями. Пройдет лет пять, может даже десять, им, усталым, развращенным всеми этими ухищрениями, больным от невольных пороков, родители, которые сами свою юность и радость растеряли в притоптанной траве, милостиво разрешат — «теперь сколько угодно».

Эти парочки припомнил Хуренито в другой раз, входя с нами в гнусное заведение в Париже на рю Пигаль: «Здесь вы увидите тех, которым разрешено, но которые не могут». В зале за кружками пива мирно, чинно и сонно сидели добрые буржуа. Я запомнил лицо одного, с красной ленточкой в петлице. Потом, в отделение, отгороженное от зала решеткой, вошли голые мужчина и женщина, проделывавшие обстоятельно все, что мнилось бедным дикарям прошлого священным, и получавшие по десяти франков за сеанс. Мало-помалу, разбуженные зрелищем, добрые буржуа зашевелились, иные хихикали, другие слюняво возмущались: «О, какой бык!..» Из соседней комнаты выбежали девицы и быстро расхватали гостей. Господин с ленточкой в петлице долее всех проявлял безразличие и под конец потребовал, чтобы с ним отпустили особу, участвовавшую в представлении.

В начале 1914 года в Лондоне вышла книга «Энциклопедия механической любви», нечто вроде современной «Камасутры». По недосмотру типографии эта книга попала в склад какого-то Евангелического общества, которое, воспользовавшись суматохой первых недель войны, уничтожило все издание. Уцелело лишь шесть экземпляров, один из которых, насколько мне известно, находится в «аду» парижской Национальной библиотеки. Эта книга была составлена одиннадцатью старейшими проститутками Парижа. Как известно, в Париже женщины указанного ремесла в молодости не ценятся, оставаясь в дешевых кафе левого берега на положении учениц. Только к сорока годам, потеряв молодость и красоту, но приобретя искусство, они становятся модными, ценными и могущественными. Женщины с большим стажем составили «Энциклопедию», и Хуренито охотно согласился написать к ней предисловие. Вот как оно заканчивалось: «Вы сделали жизнь искусством, трудной наукой, сложной машиной, великолепной организацией. Не удивляйтесь же и в любви встрече с тем же феноменом: искусство сменяет наивную непосредственность, разнообразные механизированные ласки — жалкие кустарные поцелуи. Вы приехали на семнадцать минут к вашей возлюбленной, вы смотрите на секундную стрелку, чтобы не опоздать. У подъезда вас ждет автомобиль. Вы приехали с биржи, где продали банкиру в Мельбурне акции хлопковых плантаций Бухары, и едете сейчас на

аэродром, чтобы посмотреть международные состязания. Не ждите, что вас встретит Суламифь. Нет, вы найдете перед собой прекрасную, усовершенствованную, согласно последнему слову техники, машину, которая даст вам в течение семнадцати минут, по вашему выбору, любые из 13 806 доселе открытых развлечений, не уступая вашему радиоприемнику, великолепному «форду» и электрической ванне».

Хулио Хуренито рассказывал нам, что он организовал в Мексике кружок проституток для оказания помощи дамам общества. Проститутки, видя, с какой завистью рассматривают их в кафе «порядочные» женщины, и желая отплатить добром за различные филантропические начинания светских дам, обратились к ним, при содействии Хуренито, со следующим воззванием: «Дорогие коллеги, наша сходная работа одинаково тяжела и требует солидарности. Если мы страдаем от разнообразия, то вы, отданные в вечное пользование зачастую отвратительным вам мужьям, выполняете не менее тяжкую работу. Поэтому мы решили прийти вам на помощь. Тем из вас, которым нравятся ласки мужа, мы предлагаем подать соответствующие заявления в нашу секцию охраны брака. Мы ограничим право посещения наших заведений такими мужчинами одним разом в месяц, обязав их, кроме того, формальной распиской отдавать женам не менее тридцати шести вечеров в год. Но есть среди вас другие, тщетно тоскующие о радостях плоти. Мы среди тысяч находим одного, двух, трех, тапера, сутенера, случайного гостя, они же обречены на муки тюрьмы. Мы устраиваем для них особые тайные «вторники», обещая соблюдение секрета, и проверенное на опыте общество наиболее одаренных из наших гостей». Хуренито говорил, что кружок пользовался неслыханным успехом, но через полгода был обнаружен полицией нравов и председательницу его арестовали.

Приведу также речь Учителя на Интернациональном конгрессе борьбы с проституцией, происходившем в 1911 году в Филадельфии: «Милостивые государи, я знаю, что мои слова вызовут протесты, быть может, негодование, но я считаю необходимым выполнить свой гражданский долг и выступить здесь решительно в защиту проституции. Наше общество покоится на великом принципе свободы торговли, и я не могу допустить, чтобы вы покушались на эту священную

основу цивилизации. Я, конечно, всячески уважаю ваше стремление оградить человеческое тело, но никто здесь не будет отрицать наличности разума и духа. Почему же, запрещая проституцию, вы не совершаете дальнейших безумий — не восстаете против права журналиста продавать себя еженощно за построчный гонорар? Почему не жаждете сразить депутатов, раздающих избирателям различные земные блага, и миссионеров, награждающих неофитов отнюдь не небесной манной? Священно право обладания своим телом и право продавать его за золото или за ассигнации. Проституция является одним из наиболее ярких выражений нашей культуры, и я предлагаю не только не бороться с ней, но поставить ее под охрану международных законов, отнести ее к числу самых чтимых учреждений наравне с сенатом, биржей и Академией искусств. Прошу немедленно поставить на голосование мое предложение, переименовать конгресс в Международное общество насаждения проституции». При содействии полицейских Хулио Хуренито был удален из зала заседаний.

Учитель часто говорил нам о земной любви грядущего человека. Он как бы рассекал тяжелые туманы веков, и мы, изумленные, трепетали перед неописуемым величием человеческих тел, радостно сопряженных, не тех тел, дряблых и бесформенных, что мы привыкли наблюдать в общих банях, но новых, суровых, как сталь, и все же вольных. Он говорил нам, что путь к этим празднествам длинен и труден. Через отрицание любви, поношение тела, через скрытые тканями тела и совокупления по разверстке идет он. Будет час, когда мужчина вместо поцелуя даст женщине аптекарскую пробирку. Но затем он или его правнук объединит смутные атавистические воспоминания и жажду созидания лучшего из миров в одно блаженное, никогда доселе не бывшее объятие.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Эрколе Бамбучи

Из Голландии мы направились в Италию и там, кроме описанных мною назидательных прогулок по монастырям и соборам, занимались также обследованием различных вин — кьянти, барбера,

чинзано — в грязных тратториях, сбором пожертвований на памятник д'Аннунцио из каррарского мрамора и золота 56-й пробы (для этого Айша обходил с кружкой кондитерские и шляпные магазины, ударяя в кастрюлю и выкрикивая: «Эввива!»), наконец, совместными с футуристами выступлениями, которые, впрочем, были однообразны и состояли в выявлении бурных восторгов перед поломанным мотоциклетом, брошенным американским туристом за ненадобностью. Так шли дни, легкие и беспечальные. Приближалось время отъезда, все церкви были осмотрены и все вина испробованы, в кружке Айши бренчали уже четыре лиры, одиннадцать сольди и кольцо из американского золота, великодушно снятое с пальца некой маркизой Нукапрути, а футуристы и мотоциклетка нам окончательно надоели.

В жаркое летнее утро мы решили направиться в любимый квартал Рима Транстевере, не зная точно зачем — не то поглядеть мозаики святой Параскевы, не то выпить из глиняных кувшинов невинное фраскати, не то просто проститься с милым нашим сердцам городом. Поехали мы в экипаже и скоро, вступив в узенькие улички Транстевере, услышали дивный запах оливкового масла, сохнущих на перетянутых через улицу веревках пеленок, церковного ладана, насквозь просаленных домов — незабываемый запах Вечного города. Вскоре извозчик остановил лошадей, и мы недоуменно стали поглядывать то на колеса, которые как будто все были на месте, то на конец улички, откуда мог идти навстречу очередной крестный ход и откуда никто не шел. А извозчик пылко и красноречиво ругался с каким-то человеком, лежащим поперек дороги и явно не желавшим очистить путь. Извозчик приводил свои доводы: он везет иностранцев, к святой Параскеве проехать иначе нельзя, на улице лежать не полагается, а ездить можно; человек возлежащий — свои: сегодня жарко, уже два раза ему пришлось вставать, и встать в третий раз ему гораздо труднее, нежели извозчику объехать кругом. Спор этот продолжался долго, потерял свой первоначальный практический смысл и превратился в поединок красноречия, достойный древнего римского Сената. Мы вылезли из коляски и тоже, правда робко, как дилетанты, подавали свои реплики. Мистер Куль пробовал соблазнить ленивца лирой, но итальянец, ловко ногой подобрав

брошенную в сторону монету, не двинулся с места. Тогда извозчик, впавши в предельный пафос, начал грозить бродяге святой Параскевой, путь к которой он преграждает и которая нашлет на него язвы, понос и комаров, карабинерами, которые артистически изобьют его мокрыми полотенцами, связанными в жгуты, а потом посадят в тюрьму, палкой мистера Куля, своим хлыстом, лошадиными копытами. Так как все это выходило из рамок абстрактной дискуссии, итальянец не счел возможным возражать, но, сладко потянувшись, зевнул, почесал пуп и плюнул высоко в соседний дом, попав прямо в вывеску повивальной бабки над вторым этажом. Этот жест окончательно покорил Учителя, выявлявшего все время признаки умиления; он подошел к итальянцу и, дружески ткнув его ногой в живот, сказал: «Хочешь поехать в экипаже и вообще жить со мной?» Итальянец задумался, после, видно, думать устал, снова плюнул в ту же злополучную вывеску, не говоря ни слова, подошел к коляске и сел на самое удобное место мистера Куля. Потом он дружески сказал Учителю: «Мне очень жарко, но вы мне нравитесь... Садитесь-ка рядом!» — и, сам о том не думая, вообще вследствие высокой температуры и благородной лени не думая ни о чем, с этой минуты стал пятым учеником Хуренито.

По дороге Учитель заметил, что его новый питомец одет чрезвычайно своеобразно, а именно обмотан различным тряпьем, которое, в зависимости от местонахождения, важно именовалось «рубашкой» или «штанами». Хуренито предложил ему заехать в магазин и выбрать одежду по своему вкусу. Итальянец оказался очень скромным, он решительно отказался от костюма, но взял высокий лакированный цилиндр, несмотря на жару, зимнюю куртку для шофера с козьим мехом наружу и, наконец, кальсоны «зефир» лососинного цвета в изумрудную полоску, которыми немедленно заменил тряпицы, исполнявшие роль штанов. Облаченный в такой своеобразный наряд, он вдвойне почувствовал симпатию к Учителю и даже какие-то угрызения совести, ибо воскликнул: «Синьор, я ваш гид!» А на углу, возле трехэтажного дома, недавно обгоревшего, схватил Хуренито за рукав — «Глядите, это развалины Рима!», после чего в изнеможении откинулся назад и попросил лиру на кувшин вина.

В гостинице «Звезда Италии» предупредительный портье, сдержав свое изумление при виде живописного туриста, подбежал к нам с листком, прося его заполнить. Но странный посетитель презрительно заявил ему, что он,«слава Мадонне, писать не умеет и учиться этому скучному делу даже за вторую пару таких же прекрасных штанов не станет. Имя? Эрколе Бамбучи. Откуда приехал? Он лежит всегда днем на виа Паскудини, а ночью под железнодорожным мостом, что близ церкви святого Франциска. Род занятий? Он на мгновение смутился, поглядел себе на ноги, оглянулся, как будто потерял что-то, но потом гордо закричал: «Никакой!»

Мистер Куль, Алексей Спиридонович, даже Айша очень заинтересовались выбором Учителя и начали всячески интервьюировать Эрколе, который разлегся на софе курительного салона. Мистер Куль интересовался главным образом отношением Бамбучи к Библии и к доллару. Но итальянец проявил и к тому и к другому величайшее равнодушие. Впрочем, узнав, что доллары — это нечто вроде лир и даже лучше, заявил, что он от них не отказывается, но полагает, что не Бамбучи должен добывать лиры, а, приблизительно, наоборот. Он часто думал, что какой-нибудь «английский осел» найдет его на виа Паскудини и даст ему тысячу лир. За что? За то, что он настоящий римлянин, за то, что он — Эрколе, и вообще... у этих ослов (жест в сторону Хуренито) нет Рима, но есть уйма денег. Кроме того, у него были другие планы,— например, жениться на богатой американке. «Вы американец? Правда? Может быть, у вас есть дочка, которая захочет выйти за благородного и красивого римлянина, за Эрколе Бамбучи? Нет? Жаль! Скажите, а ваши родители не выходцы ли из Кави-ди-Лаванья? Видите ли, оттуда многие уехали в Америку, и это неплохой способ найти дядюшку. Нет? Ну что ж, и без этого тоже хорошо. Дайте мне десять сольди. На два сольди можно съесть у стойки макарон, на два — живых полипов, на четыре — литр вина, на остаток — половину «тосканы», это хорошая сигара, длинная, как собачий хвост. Или на все шесть вина, а возле Колизея подобрать с дюжину великолепных окурков — эти ослы бросают не докуренные до конца сигареты. Засим — под мост, и уверяю вас, что жизнь превосходная штука, а ваши доллары ерунда». Произнеся такую длин-

ную сентенцию, Эрколе предался своему любимому занятию, то есть начал плеваться, решив окружить сложным узором ботинки мистера Куля. Американец почувствовал крайнее неудобство и хотел было уйти, но Эрколе остановил его: «Не бойтесь! Я не буду Эрколе Бамбучи, если я задену кончик вашего башмака!»

Но отдаться вполне этому мирному занятию помешал Эрколе Алексей Спиридонович, проникновенным голосом начавший допытываться: «Скажите, у вас бывают муки, терзания?» — «О да, в особенности осенью, когда много дынь и фиг; бывает, что я не могу уснуть от колик». — «Нет, духовные муки! Как объяснить вам это?.. Чувствуете ли вы иногда потребность все уничтожить, сжечь старый хлам, переродиться?» Еще бы, он, Эрколе, обожает праздники, когда из домов вытаскивают старье, тюфяки с клочьями сена, одноногие столы, провалившиеся ящики, складывают все в костры и зажигают. Шутихи — бум! бум! Это все в честь святой Марии. «Вот вы говорите «святой», значит, вы чувствуете, что есть нечто над нами, провидение...» — «Ну конечно! А банко-лото? Никто, слышите, никто, даже сам король не знает, какие выйдут номера!» Эрколе очень любит играть в банко-лото, один раз в складчину он выиграл четыре лиры. А почему все так устроено — вчера выиграл, сегодня встретил богатого осла, завтра, может быть, умру, — об этом думать не стоит. Думать вообще очень трудно и скучно, тем более в такую жару. Лучше будет, если Алексей Спиридонович принесет две «тосканы», ляжет рядом, закурит и будет плевать вокруг второго ботинка этого бездарного американца, у которого нет дочери, который не дядюшка, а так — что-то с долларами.

Айша сказал: «Вы не знаете, почему господин взял его с собой, а я знаю. Он, наверное, как я, делает богов. Скажи, Эрколе, ты умеешь сделать бога?» Итальянец вознегодовал: «Ну, кто этим теперь занимается! У нас их столько понаделали! На каждого римлянина два бога, трое святых и еще одна великомученица. Ты не думай, что я в Бога не верю (Эрколе даже перекрестился), но я вообще не хочу ничем заниматься, а уж тем паче таким скучным ремеслом. Если бы я делал что-нибудь, то только подтяжки. Это удивительная вещь (Эрколе оживился). Я их никогда не носил, но видал на Джузеппе Крапапучи и даже пытался ночью стащить,

только он проснулся. Когда мне приходится вставать, я не могу разговаривать, потому что, если я начну разговаривать, я должен махать руками, а если я буду махать руками, мои штаны останутся на мостовой. Когда я не лежу, я должен их держать — это очень утомительно. Иногда я отпускаю их, вроде как на честное слово, но у них нет ни чести, ни совести — лезут вниз. Нет, лучше подтяжек ничего не придумаешь. Знаешь, если тебе не жарко и ты хочешь обязательно что-нибудь делать, то брось своих богов и займись изготовлением подтяжек, только пунцовых или голубых».

Из бесед в последующие дни я узнал отдельные страницы биографии Эрколе. Выяснилось, что три события наиболее потрясли Бамбучи — как он утащил косточку святой Плаксиды, как его били из-за художницы карабинеры и как он устраивал революцию. Косточку он стащил совсем маленькую, меньше мизинца, помолившись предварительно и отдав ее толстой Розалии, «такой, такой богомольной, вроде святой Плаксиды», которая косточку завернула в шелковый платок и положила рядом с пальмовой веткой, освященной самим папой. Он, Эрколе, за это получил большой кусок жареной свинины и фляжку вина. С художницей было хуже. Она вздумала рисовать Эрколе, «англичанка какая-то... ослица», и нарисовала скучно, скучно — все, как на самом деле, даже вывеску повивальной бабки. Эрколе потребовал, чтобы она, во-первых, нарисовала б его в цилиндре, о котором он давно мечтал, во-вторых, рядом с домом приделала бы пальму и птицу, в-третьих, пеленки на веревке заменила бы красивыми флагами. Англичанка отказалась и вместо этого предложила Эрколе лиру. Эрколе лиру взял, но подошел к картине и, вежливо отстранив художницу, сам принялся за дело. Англичанка стала визжать, как будто Эрколе ее душил, и он не успел покрыть грязного серого дома прекрасной лазурной краской, как пришли два карабинера и начали его больно бить. А вот делать революцию было совсем не больно и очень весело. За границей, кажется в Испании, кого-то застрелили, вот и устроили революцию — повалили скамейки, омнибусы, фонари, зажгли фонтаны газа и пели, кричали, стреляли до самой ночи. Это лучше праздника, жаль только, что скоро кончается...

Как-то мы катались втроем — Учитель, Эрколе и я — по Риму. Эрколе попросил извозчика поехать

в Транстевере. На виа Паскудини он слез, снял куртку и цилиндр, отдав их на попечение мне, а сам в полосатых кальсонах лег на прежнее место и занялся своей излюбленной вывеской, попросив нас оставить его хотя бы на один час. «Они удивляются,— сказал мне Учитель,— почему я вожу с собой этого босяка. Но что мне любить, если не динамит? Эрколе не Айша, он все видел и все сделал. В его руках перебывали все аксессуары мира: скипетр и крест, лира и резец, свод законов и палитра. Он строил дворцы и арки, храмы с полногрудыми богинями Эллады, с тощими Христами готики, с порхающими святыми барокко. Посмотри на него — его жесты будет копировать примадонна Мюнхена, а его красноречию позавидует лучший адвокат Петербурга. Он с детства все знает и все может, но, между прочим, предпочитает плеваться, потому что ненавидит крепко и страстно всякую должность и всякую организацию. Он все делает наоборот. Скажешь, клоунада? Может быть, но не на рыжем ли горят последние отсветы свободы? Получив цилиндр, он его вежливо отдает тебе. В этом жесте грядущее возрождение мира. На великой фабрике цилиндров, не забудь об этом, Эрколе будет с нами как хаотическая любовь к свободе, как баночка с взрывчатым веществом в саквояже, рядом с брильянтином и с духами Коти!»

Эрколе, лежа, одним ухом слушал нашу беседу и, хитро подмигнув, сказал: «Я знаю — вы хотите устроить революцию, вроде той, из-за испанца!.. Что же, я не прочь — это ведь так весело!.. Но вообще я — ваш гид, синьор, и десять сольди на сигареты!»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Различные суждения Учителя об искусстве

Учитель не любил беседовать пространно об искусстве. Относясь одобрительно к разговорам деловым, как-то: о достоинстве красок, о корнях слова, о различных строительных материалах,— он не выносил ламентаций об искусстве в плане метафизическом, полагая, что этим приличествует заниматься лишь землемерам, подрядчикам и художественным критикам. Но так как организующие и разрушительные силы искусства были ему хорошо известны, он должен был при различных обстоятельствах выявлять свое

к нему отношение, тем более что среди двадцати трех ремесел, изученных Хуренито в течение жизни, были поэзия и архитектура. Я разыскиваю теперь рукопись его поэмы, озаглавленной «Трепфэрт № 1717», написанной в дни юности. По отрывкам, которые мне на память читал Учитель, я могу судить о достоинствах этой единственной эпической поэмы современности, посвященной культу акций, рекламе грузовиков системы «норт» и грандиозной борьбе рас и классов. Если рукопись не погибла, я издам ее как в оригинале (она написана по-испански), так и в переводах на другие языки. В области архитектуры я видел два проекта сооружений, сделанных Учителем. Первый — огромные грузоподъемники из стали, со стеклянными корзинами, вращающиеся и переносящие по воздуху тысячи людей с одного конца Нью-Йорка на другой. Они возвышались над городом, как гигантские железные цветы с блистающими чашками. Другой проект представлял собой подземные писсуары, рассчитанные на тысячи посетителей. Увы! Папка с работами погибла в день трагической смерти Учителя.

Я указал на труды Хуренито, чтобы всем было ясно, что в его лице мы имеем дело не с дилетантом, но с человеком больших знаний и опыта. Большинство из суждений Учителя стало за последние годы достоянием общества. Различные барахтающиеся в лапах старого «новаторы» ходили по пятам за Учителем, подхватывая его краткие замечания. По своему природному тупоумию, обкорнав мысли Хуренито, они выдавали их за свои. Так, редактор одного «ужасно передового» парижского журнала, который выдает себя за поэта, а в действительности пиликает на скрипке, пишет туманные статьи о живописи, существовал исключительно тем, что на вернисажах поджидал у входа Учителя и записывал его реплики. Хуренито, не зная, что такое тщеславие, и заботясь лишь о распространении своих идей, не боролся с подобными явлениями и даже мне завещал никогда никого в плагиате не обвинять, а также не писать никаких писем в редакцию с «необходимыми опровержениями». Я не буду здесь восстанавливать различные суждения Хуренито об искусстве, которые известны хотя бы в искаженном виде, но укажу лишь на некоторые практические выступления, им предпринятые.

Для того чтобы эти выступления стали понятными, надо напомнить о великом пренебрежении Учителя

к роли искусства в современном обществе. Обедая с мистером Кулем, который под влиянием старого бургундского расчувствовался и заявил Хуренито, что больше всего на свете, даже больше долларов, любит красоту, Учитель чистосердечно ему признался: «А я предпочитаю эти свиные котлеты с горошком». Учитель говорил, что смысл существования искусства в том, что оно, как и всяческие другие рычаги культуры, способствует организации людей. Так было во все эпохи истории человечества. Искусство спаивало отдельных индивидуумов в тесные соты — национальные, религиозные, социальные — для совместной любви или ненависти, для труда или для борьбы,— словом, для жизни. Не только пирамида или готический собор, но и заунывная песня или богоматерь какого-нибудь тречентиста — все это лишь цемент грандиозного сооружения, топливо для поддержания быта. «Какой же неостроумной шуткой, каким жалким харакири является гордый разрыв искусства с жизнью! Искусство торжественно меняет свое назначение: одна лошадь выпрягается из колесницы и пробует нелепыми прыжками замедлить ее ход. Искусство больше не хочет организовывать жизнь, наоборот, оно якобы стремится человека из жизни увести. Но так как выше положенного, будь то гений, все равно не подпрыгнешь, то все эти судорожные прыжки остаются в пределах самой жизни, являясь лишь ее посильной дезорганизацией. Так началась, так проходит борьба искусства с жизнью. Жизнь применяет сотни других организующих средств. А искусство? Искусство обращается в бирюльки, в спорт немногих посвященных, в различные фазы душевного заболевания, в послеобеденную прихоть мистера Куля, менее необходимую, нежели рюмка кордиаль-медока или мягкая подушка. Искусство, трижды презренное, издыхает, по профессиональному навыку изображая победителя жизни, издыхает с романтическим кинжалом в руке, издыхает в отдельном кабинете, где хозяин для наиболее просвещенных Кулей повесил «Танцоров» Матисса, куда он пригласил актеров, завывающих стихи Дюамеля, и музыкантов, исполняющих Стравинского. А так как я верен древней мудрости, гласящей, что живая собака лучше дохлого льва, то я не плачу, а честно восхваляю свиные котлеты с горошком или даже без оного».

В 1913 году журнал «Мерккюр де Франс» устроил большую литературную анкету о достижениях и возможностях современной поэзии. Хулио Хуренито, получив опросный лист, тотчас же послал ответ, который почему-то не был напечатан. Копия его сохранилась, и я ее воспроизвожу: «Получив ваши вопросы, я находился в сильном затруднении, не зная точно, что называется в современности словом «поэзия». Правда, мне попадаются среди статей в журналах, а порой даже в виде отдельных книг, напечатанные особой типографской манерой рассуждения о политике, о любви, о святости троицы и о кофейном сервизе, с созвучными окончаниями строк или без них. Если вы называете именно эти странные упражнения поэзией, то я ответить на ваш вопрос не могу. Я также не имею никакого суждения о многих других бессмысленных занятиях — раскладывании пасьянсов или чесании спины с помощью китайских ручек. Впрочем, я охотно допускаю, что такое времяпрепровождение нравится отдельным индивидуумам, и не вижу в этом ничего предосудительного. Я полагаю, что в подобных случаях надо проявлять полную терпимость, руководясь изречением, вырезанным на ошейнике собаки Диогена, попавшей в собачий рай: «Здесь каждый развлекается, как может». В давние эпохи под словом «поэзия» подразумевались занятия, непохожие на вышеуказанные, но весьма осмысленные и полезные. Слово являлось действием, и поэтому поэзия, как мудрое сочетание слов, способствовала тем или иным жизненным актам. Мне известна высокая поэзия знахаря, умевшего сочетанием слов добиться того, что бодливая корова давала себя доить. Но как я могу применить то же возвышенное слово к головоломкам Малларме, которые тридцать три бездельника разгадывают в течение тридцати трех лет? Слово некогда могло убить или излечить, заставить полюбить или возненавидеть. Поэтому заговоры или заклинания были поэзией. Поэты являлись ремесленниками, работавшими, как все люди. Кузнец ковал доспехи, а поэт слагал героические песни, которые вели к победе. Плотник тесал колыбель или гроб, а поэт писал колыбельную песнь или причитания. Женщины пряли и за пряжей пели песни, делавшие их руки быстрыми и уверенными, работу легкой. Я читал как-то стихи, которые вы печатаете в вашем уважаемом журнале, и спрашивал: кого они могут

пробудить или повести на бой, чьей работе могут помочь? Единственное их назначение, не вытекающее, впрочем, из задания авторов, убаюкать человека, уже подготовленного ко сну статьей о количестве гласных и согласных в стихе Расина. Итак, повторяю, вспоминая былое прекрасное ремесло и сравнивая его с непонятным мне занятием, я не знал, как ответить на ваш, с виду простой, вопрос. Но мой юный друг Э., русский, с которым я посоветовался, сообщил мне о факте исключительном и в известной степени уничтожавшем мои сомнения. Оказывается, в России живет поэт (фамилию его я, к сожалению, не запомнил), который написал следующее стихотворение:

Хочу быть дерзким! Хочу быть смелым!
Хочу одежды с тебя сорвать!
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу из грудей венки свивать!

Э. утверждает, что, когда в городе Царицыне какой-то военный писарь продекламировал это четверостишие горничной, бывшей к роману с ним отнюдь не подготовленной, оно возымело столь решающее действие, что горничная сама начала поспешно расстегивать платье. Это важное сообщение показывает, что для поэзии в современности есть некоторые возможности, и я могу закончить мой ответ не панихидными вздохами, а словами надежды».

На банкете в честь очередного «принца поэтов», состоявшемся в Париже в январе 1914 года, Хулио Хуренито выступил со следующей речью:

«Я пью за здоровье одного из мучеников современной цивилизации. Положение поэта в нашем обществе напоминает мне бессмысленного пса, честную дворняжку, которую поместили в зоологический сад с торжественной надписью не «Барбос», не «Жучка», но «канис вульгарис». Посетители, после львов и гиен, подходят к клетке пса, читают непонятную латынь и, вместо того чтобы дружески потрепать его по морде, как тысячи других «канис вульгарис», просто блуждающих по улицам, раскрывают рты, с опаской тычут в него кончиками зонтиков, принимают его веселый лай за грозный рык, а жалобное тявканье за боевой сигнал хищника. Потом уходят.

Бедный пес! Бедный поэт! Ты мог бы честно делать свое дело, мирно писать стихи! Но от тебя ждут всего,

кроме работы! Во-первых, ты «пророк», во-вторых, «безумец», в-третьих, «непонятный вождь». «Канис вульгарис»! Когда хирург режет живот, когда портной кроит жилет, когда математик изучает законы — они работают. А когда ты потеешь над листком бумаги, в сотый раз перечеркивая слово, сбивая крепкий стих,— ты «творишь»! И кретины вокруг клетки изучают твои внутренности: куда именно ангел вставил «пылающий угль», какая «муза» вчера спала с тобой, и сошло ли на тебя по этому случаю «вдохновение» или не сошло. Единственное, что тебе остается,— принять игру всерьез, раскрыть пасть и старательно подражать льву. «Падите ниц перед пророком! На меня нисходит вдохновение! Тсс!..» И бедный, грустный, обиженный пес, работая под тигра, сквозь прутья решетки хватает зубами нос зазевавшегося парикмахера. Браво! За ваше здоровье, мосье бенгальский тигр!»

Учитель, к ужасу мистера Куля, любил часто проводить вечера в обществе поэтов, художников и актеров. Он говорил, что человек, столь преданный грядущему, как он, может позволить себе слабость любить две-три старинные безделушки и веселое племя цыган, бурно доживающее свой век на площадях городов Европы. «Я люблю их за бесцельность, за обреченность, сам не знаю за что. Каждый из них в отдельности молод, дерзок и жив, все вместе они дряхлее средневековых соборов. Они страстно любят современность, и это почти патологическое чувство восторга присужденного к казни пред эшафотом. Бедные кустари, они бредят машиной, тщатся передать ее формы в пластике, ее лязг и грохот в поэзии, не желая думать о том, что под этими колесами им суждено погибнуть. Машина требует не придворных портретистов, не поэтов-куртизанов, но превращения живой плоти в колеса, гайки, винты. Должны умереть свобода и индивидуальность, лицо и образ, во имя механизации всей жизни. Радуйтесь, мистер Куль, эти великие обормоты умрут вместе с любовью, бунтом и многим другим. Впрочем, как вам известно из вашей любимой книжки (нет, не той, не в синей обложке, а в сафьяновом переплете), умирающее снова воскресает. Но никогда уж эти цыгане не будут живописной сектой, маленькой мятежной кастой, им суждено, расплывшись, возродиться в далекие дни обесцеленного и освобожденного человечества».

Один раз, на выставке работ итальянских футуристов, Учитель сказал мне: «Здесь особенно ясен тупик современного искусства. Разучившись делать вещи полезные, потерявши чувство необходимости своей работы, художник начал отбивать хлеб у фокусника. Что может быть точнее и строже грани искусств временных и пространственных? Но посмотри на этого наивного лукавца, который стремится на неподвижном полотне рассказать о том, что человек умеет бегать. Он не хочет знать о том, что живопись, скульптура, архитектура статичны не по случайному сюжету, а по своей природе, что совершенная картина убивает самое существование времени, останавливая часы всех башен и всех жилетов. А другой дядя — поэт — описывает подробно в стихах зеленое поле, в поле голубую речку, у речки беленький домик, в домике розовую Мимочку, а на груди у Мимочки пунцовую розу. Ничего, что это каталог фабрики красок Лефран, ничего, что между полем и розой прошли двадцать стихов, то есть века, тысячелетия. Зато он показал фокус по части перелезания заборов. Надо ли говорить обо всем разнообразии этого нового ремесла — о музыкальной живописи, о живописи рельефной, о раскрашенной скульптуре, о стихах звукоподражательных и прочее, прочее. Булочники начали заботиться о долговечности хлеба, каменщики строят дом, состоящий из одной стены. По крайней мере, за упразднением искусства остаются приключения барона Мюнхгаузена!»

Вскоре после этой выставки Хуренито обратился с нижеследующим письмом к министру просвещения и изящных искусств Италии:

«Господин министр! На днях я посетил трогательную и убогую выставку моих друзей — футуристов. Я ознакомился также с современной поэзией и театром. Во мне вызывает величайшую жалость преклонение молодых итальянских художников перед сломанной американской мотоциклеткой, дурной немецкой зубной пастой и прошлогодними парижскими модами. Хотя область гигиены находится вне пределов вашего ведомства, я осмелюсь напомнить вам, господин министр, о необходимости своевременно отлучать младенца от груди в интересах не только матери, но и ребенка. Отдельные наблюдавшиеся случаи кормления трех- и даже пятилетних детей грудью заканчивались, насколько мне известно, слабоумием. Лично

я мог убедиться в этом на примере моего котенка, который, будучи вдвое больше своей матери, продолжал ее сосать и, оставшись не приспособленным к другим способам пропитания, когда кошка наконец-то освободилась от него, начал худеть и вскоре издох. Я полагаю, что бессилие и худосочие современного искусства является виной тех, кто не только не отлучил его вовремя от материнской груди, но, наоборот, поощрял и продолжает поощрять жалкое высасывание последних капель уже вредоносного молока. В итоге мы получили обширные, откормленные стада импотентов, в тысячный раз копирующих художников Возрождения или Дантовы терцины, а рядом с ними отдельных исхудалых, одичавших «новаторов», о которых я уже упоминал выше. Будучи иностранцем, но искренне любя вашу прекрасную страну, я осмелюсь предложить вам, господин министр, необходимые на мой взгляд меры для того, чтобы спасти от гибели последующие поколения. Надо решительно отучить детей от соски, а для этого обратить внимание на опасные очаги эпидемии сосания — на старые города, на музеи и на издания так называемых классиков. Хотя применяемый вами по отношению к ним метод искусственного продления жизни крайне негигиеничен, ибо никакие бальзамирования не предохраняют от разложения, а следовательно, и от заражения, хотя ваши муниципалитеты все чаще склоняются к замене тлетворных кладбищ практичными крематориями, я не решаюсь предложить вам радикальный способ сожжения всех образцов мертвого искусства — я вынужден считаться с чувством привязанности многих к привычным вещам, а также с соображениями бюджетного порядка. Но я хочу обратить ваше внимание, господин министр, на ряд вполне осуществимых мер, хотя паллиативных, но действительных.

1. Объявляется ко всеобщему сведению, что существуют Микеланджело, Рафаэль, Тициан (если вы найдете это необходимым, можно прибавить и Гвидо Рени), Данте, Торквато Тассо, Леопарди, соборы св. Петра, Миланский и прочее, по усмотрению. Этим дается полное удовлетворение законным чувствам любви к предкам и национальной гордости.

2. Посещение музеев, старых церквей и чтение так называемых классиков разрешается лицам, к искусству никакого отношения не имеющим, ни как созидающие,

ни как воспринимающие элементы, а именно: скотопромышленникам, историкам искусства и туристам англосаксонской расы.

3. Все активно занимающиеся искусством переселяются за счет государства из городов с художественным прошлым в промышленные центры Ломбардии и Пьемонта. Особенно строго преследуются прогулки художников по римской Кампанье и поездки поэтов в венецианских гондолах. Я убежден, господин министр, что эти разумные мероприятия вызовут подлинный расцвет итальянского искусства. Примите и пр.».

Отправив письмо, Учитель ожидал приглашения от министра для выяснения различных деталей, но этого не последовало. Впоследствии Учитель поделился со мной опасением — не пропало ли его письмо, хотя отправлено заказным, вследствие преданности итальянской почты священным традициям.

Таковы некоторые суждения Учителя об искусстве. Впоследствии я расскажу, как он пытался претворить их в жизнь в годы российской революции.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Мосье Дэле, или Новое воплощение Будды

Вернувшись в Париж, мы испытывали некоторые финансовые затруднения, вызванные сложными опытами Учителя, отъездом мистера Куля в Чикаго и необузданными тратами Алексея Спиридоновича, в этот период особенно пессимистически настроенного. Желая выйти с достоинством из затруднительного положения, Учитель направился в знакомую контору по приисканию капиталов и вернулся оттуда вполне удовлетворенный, с адресом некоего рантье мосье Гастона Дэле, проживающего под Парижем в Масси-Верьер и желающего вложить в солидное дело сорокатысячный капитал. «Я предложу ему устроить фешенебельный кабак или большой родильный приют»,— сказал Хулио Хуренито, отправляясь к мосье Дэле.

На следующий вечер Учитель познакомил меня в отдельном кабинете «Кафе де ля бурс» с низким жирненьким господином. У него имелись тощие, тщательно закрученные усики на розовом, опрятном лице и в петлице неизбежная ленточка Почетного легиона. Сначала мы решили выпить аперитив, и мосье Дэле,

хлопнув себя по коленям, закричал: «Официант, пиконситрон! — и пояснил нам: — Это удивительно хорошо для пищеварения». Потом он молчал, говорил Учитель, который несколько смутил меня, ибо, не упоминая ни о кабаке, ни о родильном приюте, обстоятельно, с карандашом в руке, доказывал небывалые выгоды какого-то акционерного общества «Универсальный Некрополь». Сердце мосье Дэле явно откликалось на эти речи, но нули цифр его смущали. «Почему так кругло — триста тысяч, может быть, больше или меньше?» И Хуренито пояснял: «Вы правы, триста тысяч сто четырнадцать франков восемьдесят сантимов». Ничего не понимая в коммерческих предприятиях, я скучал. Зато я был вознагражден не только прекрасным обедом, но и совершенно изумительным рассказом мосье Дэле. Неожиданно он объявил, что так как мы оба отныне его компаньоны по крупному делу, то он должен познакомить нас со своей особой и со своими идеями: «Дело — не любовная интрижка, и, пожалуйста, все карты на стол!»

Это была совершенно необычайная автобиография, прерываемая восхвалениями блюд и выбором напитков. Я попытаюсь здесь восстановить ее моим, увы, притупленным годами пером.

— Официант, вы можете подавать!

«Мой друг, я рекомендую вам тунца, это самая нежная рыба и, потом, исключительно легко переваривается. Вы удивляетесь, что я весел? Да, я всегда весел, находчив, остроумен! Что вы хотите? Галльский ум! Вы, иностранцы, должны быть счастливы, что вы находитесь в такой стране. Страна разума и свободы! Я сам никогда не поехал бы за границу — зачем? Хочу моря — Бретань! Хочу гор — Савойя! Хочу солнца — Ницца! Хочу лес — Фонтенбло! Хочу удовольствий — хи-хи! — Париж! Вы, конечно, другое дело. У вас... Впрочем, не будем говорить о печальных вещах.

Я часто скорблю — столько еще мрачного на свете! Вы русский, так ведь?.. У вас чертовски холодно! Но зато большая страна, и, потом, вы наши союзники! И еще у вас писатель... О, как они трудны, эти славянские имена!.. Вспомнил! «Тольстой» — это вроде нашего Дюма. Прекрасный салат! Скажите, мой друг, а не выгоднее ли вместо этих акций купить русскую ренту? Вы уверены? С рентой как-то спокойней. Чик, и готово! Я вам не советую ростбифа — зачем вечером утомлять

желудок? Вы, русские,— мистики! А вы мексиканец? Это ведь в Америке? Да? Да? Дядя Сэм! Ну, я спокоен,— вы люди деловые! Итак, о себе. Я уже ребенком был гениален. Покойный отец, основатель нашего бюро похоронных процессий, говорил всем: «Смотрите на Гастона, он будет депутатом!» Но я не люблю политики. Это мешает наслаждаться жизнью.

— Официант, бутылочку нюи, но смотрите, слегка подогрейте!

Я говорю вам, что я был гениален. Из наук я признавал только арифметику. Я не выношу выдумок. Дайте мне светлое, ясное! В пять лет я уже знал, что Поля, сына прачки, можно поколотить, а Виктора, сына мэра, нельзя. Хи-хи, наука жизни! И я уже умел бить так, чтобы не оставалось синяков. Как бьют полицейские. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, отец дал мне луи и сказал: «Гастон, будь во всем умерен». Великие слова! Бедный отец! Они здесь удивительно приготовляют кончики спаржи! Увы, я был молод. Хи-хи! Я забыл слова отца. Я потерял чувство меры! О, вы не знаете, что такое чувство меры! Это разумная политика, это красота, это полный кошелек, необремененный желудок, приятная дрожь при виде хорошенькой женщины. Это все! Друг мой (это — Учителю), вы еще молоды, вы мне нравитесь, скажу больше — вы похожи на француза, вы почти француз — помните — мера! Мера! Я был жестоко наказан. У меня сделался катар желудка. С тех пор я должен быть осторожен, очень осторожен. Я принимаю пилюли «пинк» — отличное средство! Я повторяю, я был молод, кровь шумела. Святой Антоний!.. Хи-хи! И вот — к двадцати пяти годам я уже ослабел. Иду по бульварам, солнце греет, столько хорошеньких курочек, а я спокоен. Мне нужна диета. У меня была миленькая подруга Минэт. У вас такой никогда не было. А что она знала! Хи-хи! Она повторяла мне: «Бедный Гастон, ты помнишь, уже Дантон говорил: «Смелость, смелость и еще раз смелость!» (Это на памятнике, возле метро «Одеон».) Я купил на выставке картину за шестьдесят франков — охотник спасает утопающую в ручье девушку. Повесил ее в спальне Минэт. Она мне придавала бодрость. Что? Порыв! Хи-хи!

— Официант, камамбер хороший? А течет ли?

Но вы не думайте, что я только насчет любви. Я занялся делами. Я взял похоронное бюро, я вознес

его, расширил, сделал величайшим делом всего квартала Монруж. Что такое смерть? Конец! Ни поцелуев, ни вина, ничего! Дырка! Понюхайте камамбер — изумительно пахнет. Я в глупости не верю. Я свободный человек, без предрассудков. Обо мне говорили даже в палате депутатов, то есть не обо мне, но это все равно,— я там был... Я поехал к дядюшке в Перпиньян. Там мэр — человек широкий, философ, настоящий Вольтер. Он приказал вынести из собора плиты со всякими епископами, святыми — одним словом, клерикалами — и вымостил ими общественную уборную. И я присутствовал на торжественном открытии. Довольно они нас морочили! А клерикал Баррес внес запрос в парламент. Я готов был пострадать за идею. Но ничего, обошлось: теперь не времена инквизиции! Итак, смерть — крышка... Ждать после смерти нечего! Но надо, чтобы похороны были приличными, как вся жизнь. И вот я внес в бюро похоронных процессий глубочайшую философию. До меня было пятнадцать классов, я прибавил еще два — один высший, «вне классов»,— для сумасшедших, для дураков, которые кидают деньги в окошко. Грех не подымать. Но похороны прекрасные, художественные. Дамам раздают надушенные кружевные платочки. Потом для бедняков — шестнадцатый класс. Я человек добрый, и, потом, я люблю справедливость. Надо, чтобы все имели право быть похороненными. Зачем озлоблять бедных? Это только на руку преступникам, социалистам. Конечно, нужно, чтобы бедные знали свое место — просто, честно — на три года. Полежал, и хватит, пусти другого. Начиная с шестого класса — в вечную собственность. Люди солидные — заслужили спокойствие. Это, друзья мои, целая система, лестница мира, глубина! Я хотел бы, чтобы меня похоронили по третьему или по четвертому разряду — мило, прилично; не кричу: «Я такой-то, вне классов»,— нет, вежливо говорю: «Я, Дэле, честно жил, заработал честно, умер — и вот покой, отдых, сон». Правда? Ну, довольно о смерти. В сорок один год я женился. Выбрал молоденькую, свеженькую мадемуазель Бое — не слыхали? Дочь фабриканта санитарных приборов. Еще двадцать тысяч. Хи-хи! Что дальше?.. Догадайтесь сами!.. Я был счастлив, утром кофе, вечером газета, а рядышком Мари. Увы! Судьба решила иначе. Несчастные роды. Сын жив. Мари умерла. Бедная Мари!

— Официант, кофе и кальвадос. А вы? Это нектар! Три кальвадоса!

Сын! Глядите карточку. Молодец! Гений! Четыре года, а как считает! Я отвез его к сестре. И вот — один. Живу тихонько. После всего пережитого я продал бюро. Мари я еще сам похоронил. Я достаточно наработался. Купил хорошенькую виллу. Развожу фасоль и душистый горошек. Как прекрасна природа! У меня экономочка. Хи-хи! Зизи! Бутончик! Вот он видел!.. Что? Хочется?.. Я еще бодр, свеж, живу. Теперь решил поместить мои капиталы. Хотел купить русскую ренту, а он убедил по моей же части — «Некрополь». Что ж, хоронить так хоронить! Я отдохнул за три года. Могу теперь поработать... Главное — заранее точно высчитать. А будут доходы — будут и кальвадос, и Зизи, и горошек. Только в меру, тогда жизнь прекрасна!..»

Мосье Дэле как-то сразу, видимо, устал. Прежде чем проглотить кальвадос, он пополоскал им рот, потом откинулся на спинку дивана, расстегнул нижнюю пуговицу жилета и задремал.

Тогда Учитель сказал мне: «Мосье Дэле будет моим шестым учеником». На минуту мосье Дэле как бы очнулся и пробормотал: «Учеником? Нет! Мы будем двумя равными компаньонами... Он расцветет — наш «Универсальный Некрополь»!» Но сейчас же вновь погрузился в безразличие.

«Он поспел, он готов, он течет, как этот прекрасный камамбер! Дитя, если в душу твою закрадутся сомнения, взгляни тотчас на мосье Дэле, и ты поймешь, что близок конец. Может быть, во всем мире сейчас нет человека, столь далеко зашедшего вперед по дороге к грядущему, как он,— утро рождается из поздней ночи». Учитель встал и мне приказал встать: «Гляди еще! Гляди хорошенько на него!»

Мосье Дэле сидел, уставив вдаль неморгающие, совершенные в своей бессмысленности глаза, с погасшим окурком, прилипшим к нижней губе, одной рукой давя лежащий на столе букетик фиалок, другой чуть играя на животе брелоками «Вера — Надежда — Любовь». «Гляди, это уже не мосье Дэле, это Будда, последний покой! К нирване есть два пути — через полный отказ, предельное отрицание, путь аскета или мятежника, и через эту сладость бытия, через наслаждение. Гляди, мосье Дэле уже не на пути к концу. Он сам — конец, предел, ничто!» И, говоря это, Учитель,

а за ним и я, благоговейно преклонились перед мосье Дэле. Едва скосив на нас глаза, мосье Дэле в истоме лениво прошептал: «Да, да, я знаю! Это варварские обычаи ваших стран! Но теперь вы во Франции, вы свободные люди. Дайте лучше мне стакан воды, я должен принять пилюли. Не то — желудок, желудок, мой бедный желудок!..»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Германия.— Штраф в шесть марок и организационные способности Шмидта

В начале 1914 года в характере и в образе жизни Учителя произошла резкая перемена. Ни успехи мистера Куля, после возвращения из Америки обратившего на путь истины одного Ротшильда (настоящего), двух радикальных журналистов, захворавших подагрой, и более двадцати папуасов, привезенных на Международную выставку животноводства, ни драмы Алексея Спиридоновича, который вздумал, ввиду отсутствия Бога и легкомысленного поведения своей новой невесты, покончить с собой, для чего ежедневно принимал на глазах у этой, впрочем далеко не пугливой, особы английскую соль, выдавая ее за цианистый калий, ни новый бог Айши Флик-Флик, созданный по подобию полицейского, стоявшего напротив нашего дома и особенно поразившего моего черного брата, гордый, жестокий, указующий судьбы своей державной палочкой,— ничто уж не занимало Учителя. Он стал серьезен, почти мрачен. Часто он уходил от нас, и я встречал его в обществе самых различных людей: сербских студентов, германских коммивояжеров, до крайности подозрительных, и французских финансистов. Как-то я застал его даже с русским монахом, любимцем аристократок, кутивших в Париже, который кричал на Хуренито: «Плюю, лягушка, в мурло твое! Рассыпься, антихрист, бисером свиньим!» А потом шептал: «Накиньте, батюшка, сто катенек — проведу без заминки!» Учитель не объяснял нам, зачем ему нужны эти люди. Ночи напролет он сидел над скучными изысканиями, как-то: статистикой германского или английского экспорта, продукцией различных угольных бассейнов и прочим. На стенах теперь вместо картин Пикассо и Леже висели карты африканских колоний и сложные диаграммы.

В марте месяце Учитель объявил, что ему необходимо на несколько недель съездить в Германию, и предложил всем нам сопровождать его, так как эта поездка будет весьма назидательной. Мосье Дэле вначале заупрямился, говоря, что ему вообще противно ехать за границу, а тем паче к пруссакам. Но Учитель легко и быстро убедил его. Меня всегда поражала находчивость Хуренито и разнообразие его приемов дрессировки несхожих между собой людей. Действительно, как мог он заставить скупого и расчетливого рантье мосье Дэле отдать ему деньги, заработанные на всех мертвецах? Как мог Хуренито убедить этого толстяка, до сорока пяти лет просидевшего у себя в бюро или в кафе на углу своей улички, бросить горошек и Зизи, чтобы следовать на край света за каким-то проходимцем? О, конечно, Учитель соблазнил мосье Дэле не обновлением человечества,— нет, с безукоризненной точностью он доказывал французу, что только «Универсальный Некрополь» ведет к богатству, к счастью, к сладости жизни. Действительность как будто опровергала эти доводы, сорок тысяч франков исчезли, а доходов не предвиделось, зато безукоризненность исчислений оставалась, и, когда мосье Дэле слабел духом, неизменно появлялся Учитель с карандашиком в руке, вышучивающий мелкие затруднения и прозревающий за ними кущи рая. Так было и на сей раз. Учитель доказал Дэле, что немцы более других заинтересованы в «Универсальном Некрополе» и что, презрев все предрассудки, они наконец-то поставят дело на ноги. «Ничего не поделаешь — дела, дела!..» — сказал мосье Дэле, садясь в вагон и давая последние наставления мадемуазель Зизи, как поливать грядку с любимой им каротелью.

Итак, мы попали в Германию и, надо признаться, чувствовали себя там не слишком хорошо. Больше всех страдал Эрколе, и его страдания становились уязвимым местом нашего бюджета. Не по злой воле, а исключительно вследствие своей детской непосредственности он делал все наборот, нам приходилось до пяти раз в день выплачивать различные штрафы. Он запаливал свой любимый «собачий хвост» в купе для некурящих, кидал корки бананов под ноги шуцмана, ходил именно по тем аллеям, по которым ходить запрещалось, садился, чтобы отдохнуть, на спины мраморных дев, которые, как

назло, оказывались аллегориями, окружающими памятник Бисмарку, и совершал тому подобные проступки. Особенно дорого обошлась ему невинная страсть плеваться: арестованный полицейским во Франкфурте и приведенный для допроса, он в кабинете разок плюнул — как он утверждает — очень ловко поверх папок с бумагами, между головой чиновника и бюстом кайзера, в плевательницу, стоявшую в углу, за что и попал в тюрьму, откуда Хуренито освободил его, уплатив солидную сумму и представив медицинское свидетельство о нервном заболевании Бамбучи.

Дэле сильно грустил, потерял свою бодрость и «порыв». Он говорил, что если бы у всех женщин были такие толстые икры и во всех ресторанах мира давали бы вареную картошку, то жить явно не стоило бы. «Понятно, почему немцев интересует наш «Некрополь». Что же делать в этой стране, если не умирать?..»

Алексей Спиридонович, хандря, изловил наконец магистра философии из Галле и решил отвести с ним душу, высказав все свои сомнения по части существования логики вообще и иллюстрируя это, в иксов раз, историей своей жизни. Но магистр проявил непонятное равнодушие. В начале беседы он снабдил Алексея Спиридоновича обстоятельной библиографией по интересовавшему его вопросу, но потом список книг вежливо отобрал и вместо него дал адрес водолечебницы с усовершенствованными душами. Алексей Спиридонович с горя ту же историю жизни вечером изложил кельнерше Клерхен, белокурой и пухлой, которая, искренне прослезившись, предложила ему немедленно свои услуги «как любящая сестра» и за все попросила только десять марок, потому что копила сумму, достаточную, чтобы выйти замуж за Отто, приказчика сигарного магазина.

Айша просто и тихо мерз, кутаясь в клетчатый плед Учителя.

Я тосковал по парижским кабачкам и тщетно пытался заменить «Ротонду» кондитерскими с клетчатыми скатертями на столах и с подавальщицами в гофрированных чепчиках.

Только мистер Куль не выявлял никаких признаков неудовольствия, он любил путешествовать и считал Хуренито способным гидом. В любом городе он немедленно осведомлялся о том, каков курс доллара, сколь-

ко церквей и школ, а также много ли учреждений, где можно поставить свои автоматы.

Учитель, по утрам уходя на какие-то деловые свидания, после обеда осматривал с нами города, которые мы проезжали. Все останавливало его внимание, и все явно приводило его в хорошее настроение. В особенности он любил показывать нам университеты, казармы и пивные; это были, по его словам, «личинки нового общества». Изрубленные наподобие котлеток, во время периодических дуэлей, бурши, как послушные дети, положив кончики пальцев на пюпитр, постигали великолепное построение вселенной в пафосе Канта или в остроте Гегеля, готовясь к честной карьере дрессировщиков крестьянских детей или чиновников государственного акциза. На военных занятиях Учитель восторгался равномерно выпяченными грудями, подобранными животами, потерявшими всякий индивидуальный смысл лицами и криком: «Направо!», «Налево!», мгновенно передвигавшим сотни великолепных игрушек. Когда унтер ударял по щеке какого-нибудь Фрица, скосившего свою, еще недисциплинированную голову, все, в том числе и Фриц, выявляли полное удовлетворение, ибо суть дела была не в выбитом зубе Фрица, а в исправлении дивного механизма. Далее, мы шли в одну из пятиэтажных пивных, где регулярно две тысячи посетителей пропускали через свои желудки от десяти до пятнадцати тысяч литров пива. Все сидели за одинаковыми столами: мужчины, женщины, дети. Кельнерши, подбегая к кранам, вделанным в стены, ежеминутно наполняли пивом десятки монументальных кружек. Сотня посетителей дружно подымалась и переходила в соседнее обширное помещение для того, чтобы, облегчив себя, потом снова возобновить прерванную работу. Впрочем, это называлось развлечением, оркестр играл военные марши, некоторые папаши читали юмористические журналы и гулко хохотали, другие тупо смотрели на стены, где были развешаны пословицы и мудрые изречения: «Пей спокойно! Бог бережет этот дом!» — и тому подобные.

«Смотрите,— говорил после таких прогулок Учитель,— везде люди просто живут для тихого благополучия, для радости, говорят, что любят, болеют, мучаются, потом умирают. Здесь же люди, стиснув зубы, с утра до ночи, и в школах, и на военных плацах, и в этих «биргалле», куют великие цепи себе и другим,

цепи, а может быть, нежнейшие пеленки из железа для крепко любимых деток».

Когда во время одной из таких прогулок по Штутгарту мы проходили мимо прекрасных цветников городского сада, случилось нечто для Германии необыкновенное и приведшее в экстатическое состояние нашего Эрколе. По пустынной дорожке навстречу нам шли бедная женщина с грудным младенцем и какой-то молоденький студентик в клеенчатом картузе, вида кроткого и мечтательного. Студент вежливо поздоровался с женщиной и, проговорив с нею минуты две-три, задумчиво отошел в сторону. Далее последовало невообразимое. Студент совершенно спокойно переступил через решетку клумбы и начал усердно топтать первые мартовские гиацинты. «Вот это жест! — закричал в упоении Эрколе.— Сейчас его схватят, как меня тогда!..» Но кругом никого не было. Постояв немного, студент пошел к воротам и, отыскав полицейского, начал с ним объясняться. Это было окончательно любопытно, и мы последовали за ним. Вот что студент заявил шуцману:

«Меня зовут Карл Шмидт, я студент техникума. Только что в парке я вытоптал клумбу, протестуя против плохой организации государства!» Полицейский равнодушно выслушал его и вынул квитанционную книжку: «Вам придется уплатить штраф: шесть марок!» — «У меня всего две марки восемнадцать пфеннигов».— «Тогда будьте любезны следовать за мной!» Мы также отправились с ними и зашли в городскую полицию, оставив на улице лишь Эрколе и Айшу, чтобы не вводить чинов полиции в излишние соблазны.

«Объясните ваш поступок»,— сказал Шмидту дежурный чин. «Я протестовал против дикой системы общественного хозяйства. В саду я встретил фрау Мюллер, вдову рабочего-каменотеса. В прошлом году она стирала мне белье по дешевому тарифу. Она спросила меня — не знаю ли я, где она может найти работу, так как после смерти мужа ей приходится очень туго. У фрау Мюллер грудной ребенок, и она не может найти себе места. Она сказала мне также, что ей пришлось заложить одеяло и что у нее, вследствие недостаточного питания, пропадает молоко. После этого я поглядел на цветники общественного сада. На их содержание уходят большие суммы, а сын фрау Мюл-

лер, член общества, будущий избиратель рейхстага, может умереть из-за отсутствия материнского молока. Мне отнюдь не жаль фрау Мюллер, хотя она вполне порядочная женщина. Я готов одобрить уничтожение тысячи младенцев для блага общества, но я не могу вынести бессмысленности. Я вытоптал цветы, которые я к тому же вообще ненавижу, как вещь явно ненужную, для того, чтобы обратить внимание общества, прессы и правительства на эти позорные противоречия!»

Полицейский, не говоря ни единого слова, записал показания, а засим осведомился о шести марках. «Штраф может быть заменен арестом!» Тут в дело вмешался Учитель. Дружески предложил он Шмидту недостающие три марки восемьдесят два пфеннига, говоря, что человек с подобным умом не может терять время в тюрьме.

Засим все мы, захватив Айшу и Эрколе, отправились к Шмидту. Он жил на чердаке, столь тесном, что мы были вынуждены все время стоять не двигаясь, как на площадке трамвая, но отменно опрятном. На стене висели портреты различных особ: кайзера Вильгельма, Карла Маркса, философа Канта, герра Ашингера, владельца двухсот семидесяти ресторанов в Берлине, организаторским талантом которого Шмидт немало восхищался, и большая разграфленная «Система распределения будничных и праздничных дней студента техникума Карла Шмидта». Все время, с семи часов утра, когда Шмидт просыпался, и до одиннадцати вечера, когда он засыпал, было строго разделено на различные занятия. По субботам с 10 до 11 часов вечера Шмидт предавался любви. Он объяснил нам, что любовь его мало интересует, что он собирался даже остаться девственником, но это требовало бы напряжения воли, необходимой для более серьезных дел. Тогда, посоветовавшись со знакомым студентом-медиком, он остановился на решении пожертвовать одним часом в неделю и подыскал скромное, но гигиеническое заведение фрау Хазе.

Придя домой, Шмидт из экономии (проживал он всего шестьдесят марок в месяц) снял костюм, положил его бережно в сундук, ибо другой мебели в комнате не было, сам же остался в нижнем белье. Из бесед с ним мы узнали немало живописных фактов, подтверждавших его страсть к порядку и системе. Оказалось,

что, кроме расписания занятий, существует еще другое, посвященное шестидесяти маркам и объемлющее все расходы от стирки носков до суббот у фрау Хазе. Пять месяцев тому назад Шмидт получил от матери дополнительно три марки «на развлечения». Он долго думал, как их разумно истратить, не нарушая воли матери. Ему хотелось купить новую готовальню, но она стоила четыре марки. Он решил было в день рождения тетки Берты устроить праздник, то есть пойти в кафе «Метрополь», выпить кофе и съесть вишневый пирог со взбитыми сливками, но это обошлось бы всего в шестьдесят пфеннигов и остающуюся сумму было бы еще труднее истратить. Три марки продолжали лежать в сундуке, и Шмидт объяснил, что не может, чтя глубоко свою мать, отдать их Хуренито.

Засим разговор перешел на общие темы. Шмидт очень интересовался всеми нами. Существование Айши его смущало, и он признался: он не может вынести мысли, что огромная Африка продолжает пребывать в первобытном состоянии хаоса. Но он оптимист и верит в лучшее будущее. Главное, организовать весь мир, как свою жизнь. Он убежден, что в своей конуре на шестьдесят марок он живет разумнее и прекраснее всех миллиардеров. Он может быть одновременно и националистом, поклонником кайзера, и социалистом — по существу это одно и то же. И Вильгельм, и любой социалист, оба понимают, что мир неорганизован и что организовать его надо силой. Наш враг — анархизм, все равно, будь то герр Бамбучи, революционер с бомбой, или герр Дэле, который станет завтра министром, но останется рантье, признающим лишь удовольствия. (Служа за переводчика, я перевел эту фразу мосье Дэле, и он очень обиделся, главным образом сравнением с Эрколе, одно присутствие которого его всегда стесняло.) Он, Шмидт, много работает в различных областях и механики, и химии, и политической экономии. У него есть множество планов, — к сожалению, при существующем беспорядке их трудно осуществить. Например, окончательное отделение сложных половых проблем от коренного вопроса увеличения народонаселения. Он настаивает на осуществимости искусственного оплодотворения. К сожалению, он не может произвести необходимых опытов. Он убежден в успехе. А в таком случае им разработан закон об обязательном деторождении. Да-

лее, не менее важный вопрос — замена первобытного питания химическим: устранение голода, нищеты, выигрыш миллиардов рабочих часов. Но когда же он сможет приступить к практической деятельности? Кайзер увлекается пацифизмом, а социалисты с каждым годом домифицируются. Откуда ждать спасения?

Все эти рассуждения, мною переведенные, вызвали взрыв возмущения. Мосье Дэле старался быть спокойным и даже, считаясь с местом, логичным. «Хорошо! Пусть все эти басни могут стать действительностью. И что же? Вместо эскалопа а ля жардиньер — пилюли (мало мне «пинка»!), вместо Зизи... О, какой ужас! Ни природы, ни красоты, ни любви, ни аппетита — расписание! Но спросите, спросите его — зачем тогда жить?» Эрколе просто сказал, что, будь это не в проклятой Германии, где за все, абсолютно за все берут штраф, а у себя дома, в Италии, он бы немедленно прирезал этого мерзавца. Какой негодяй! А он еще думал, тогда в саду, что это порядочный человек! Алексей Спиридонович ничего не мог вымолвить. Прижатый мистером Кулем к двери, он вдруг жалобно расплакался и начал шептать: «Чур-чура! Господи! Господи! Господи помилуй!» Я же испытывал перед Шмидтом смущение и даже страх, как на фабрике перед непонятной машиной в ходу, готовой оторвать голову зазевавшемуся рабочему.

Несмотря на протесты и даже слезы мосье Дэле, Учитель, протиснувшись к Шмидту, сказал: «Я сразу оценил вас. Вы будете моим седьмым, и последним, учеником. Вашим надеждам суждено сбыться скорее, нежели вы думаете, и верьте, я помогу вам в этом. А вы, господа, смотрите — вот один из тех, которым суждено надолго стать у руля человечества!»

Шмидт стоял, добродушно улыбаясь, с кудряшками на голове, в больших очках, в старой заплатанной рубашке. Выслушав Учителя, он кратко ему ответил: «Хорошо, герр Хуренито!»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Пророчество Учителя о судьбах еврейского племени

В чудный апрельский вечер собрались мы снова в парижской мастерской Учителя, на седьмом этаже одного из новых домов квартала Гренелль. Долго

стояли мы у больших окон, любуясь любимым городом с его единственными, как бы невесомыми, сумерками. С нами был и Шмидт, но тщетно я пытался передать ему красоту сизых домов, каменных рощиц готических церквей, свинцового отсвета медленной Сены, каштанов в цвету, первых огней вдали и трогательной песни какого-то охрипшего старика под окном. Он сказал мне, что все это прекрасный музей, а музеев он не выносит с детских лет, но что есть нечто чарующее и его, а именно — Эйфелева башня, легкая, стройная, гнущаяся под ветром, как тростник, и непреклонная, железная невеста иных времен на нежной синеве апрельского вечера.

Так, мирно беседуя, поджидали мы Учителя, который обедал с каким-то крупным интендантом. Вскоре он пришел и, спрятав в маленький сейф пачку документов, измятых в кармане, весело сказал нам:

«Сегодня я хорошо потрудился. Дело идет на лад. Теперь можно немного отдохнуть и поболтать. Только раньше, чтобы не забыть, я заготовлю текст приглашений, а ты, Алексей Спиридонович, снесешь их завтра в типографию «Унион».

Пять минут спустя он показал нам следующее:

В недалеком будущем состоятся
торжественные сеансы

уничтожения еврейского племени
в Будапеште, Киеве, Яффе, Алжире
и во многих иных местах.

В программу войдут, кроме излюбленных уважаемой публикой традиционных погромов, реставрированные в духе эпохи: сожжение евреев, закапывание их живьем в землю, опрыскивание полей еврейской кровью, а также новые приемы «эвакуации», «очистки от подозрительных элементов» и пр., пр.

Приглашаются

кардиналы, епископы, архимандриты, английские лорды, румынские бояре, русские либералы, французские журналисты, члены семьи Гогенцоллернов, греки без различия звания и все желающие.
О месте и времени будет объявлено особо.

Вход бесплатный.

«Учитель! — воскликнул в ужасе Алексей Спиридонович.— Это немыслимо! Двадцатый век, и такая гнусность! Как я могу отнести это в «Унион»,— я, читавший Мережковского?»

«Напрасно ты думаешь, что это несовместимо. Очень скоро, может через два года, может через пять лет, ты убедишься в обратном. Двадцатый век окажется очень веселым и легкомысленным веком, безо всяких моральных предрассудков, а читатели Мережковского — страстными посетителями намеченных сеансов! Видишь ли, болезни человечества не детская корь, а старые закоренелые приступы подагры, и у него имеются некоторые привычки по части лечения... Где уж на старости лет отвыкать!

Когда в Египте Нил бастовал и начиналась засуха, мудрецы вспоминали о существовании евреев, приглашали их, резали и кропили землю свеженькой еврейской кровью. «Да минует нас глад!» Конечно, это не могло заменить ни дождя, ни разлившегося Нила, но все же это давало некоторое удовлетворение. Впрочем, и тогда были люди осторожные, воззрений гуманных, говорившие, что зарезать несколько евреев, разумеется, полезно, но землю окроплять их кровью не следует, потому что это ядовитая кровь и даст вместо хлеба белену.

В Испании, когда начинались болезни — чума или насморк,— святые отцы вспоминали о «врагах Христа и человечества» и, обливаясь слезами, впрочем не столь обильными, чтобы погасить костры, сжигали несколько тысяч евреев. «Да минует нас мор!» Гуманисты, опасаясь огня и пепла, который ветер разносит всюду, осторожно, на ушко, чтобы какой-нибудь заблудившийся инквизитор не услышал, шептали: «Лучше бы их просто уморить!..»

В южной Италии, при землетрясениях, сначала убегали на север, потом осторожно, гуськом, шли назад поглядеть — трясется ли еще земля. Евреи тоже убегали и тоже возвращались домой, позади всех. Разумеется, земля тряслась или потому, что евреи захотели этого, или потому, что земля не захотела евреев. В обоих случаях полезно было отдельных представителей этого племени закопать живьем, что и проделывалось. Что говорили люди передовые?.. Ах да, они очень боялись, что закопанные окончательно растрясут землю.

Вот, друзья мои, краткий экскурс в историю. А так как человечеству предстоит и глад, и мор, и вполне приличное землетрясение, я только проявляю понятную предусмотрительность, печатая эти приглашения».

«Учитель,— возразил Алексей Спиридонович,— разве евреи не такие же люди, как и мы?»

(Пока Хуренито делал свой «экскурс», Тишин протяжно вздыхал, вытирал платком глаза, но на всякий случай отсел от меня подальше.)

«Конечно, нет! Разве мяч футбола и бомба одно и то же? Или, по-твоему, могут быть братьями дерево и топор? Евреев можно любить или ненавидеть, взирать на них с ужасом, как на поджигателей, или с надеждой, как на спасителей, но их кровь не твоя и дело их не твое. Не понимаешь? Не хочешь верить? Хорошо, я попытаюсь объяснить тебе вразумительнее. Вечер тих, не жарко, за стаканом этого легкого вуврэ я займу вас детской игрой. Скажите, друзья мои, если бы вам предложили из всего человеческого языка оставить одно слово, а именно «да» или «нет», остальное упразднив,— какое бы вы предпочли? Начнем со старших. Вы, мистер Куль?»

«Конечно «да», в нем утверждение. Я не люблю «нет», оно безнравственно и преступно. Даже рассчитанному рабочему, который молит меня принять его снова, я никогда не говорю этого ожесточающего сердце «нет», но «друг мой, обожди немного, на том свете ты будешь вознагражден за муки». Когда я показываю доллары, все мне говорят «да». Уничтожьте какие угодно слова, но оставьте доллары и маленькое «да»,— и я берусь оздоровить человечество!»

«По-моему, и «да» и «нет» крайности,— сказал мосье Дэле,— а я люблю во всем меру, нечто среднее. Но что же, если надо выбирать, то я говорю «да»! «Да» — это радость, порыв, что еще?.. Все! Мадам, ваш бедный супруг скончался. По четвертому классу — не правда ли? Да! Официант, стаканчик дюбоннэ! Да! Зизи, ты готова? Да, да!»

Алексей Спиридонович, еще потрясенный предшествующим, не мог собраться с мыслями, мычал, вскакивал, садился и наконец завопил:

«Да! Верую, господи! Причастье! «Да»! Священное «да» чистой тургеневской девушки! О Лиза! Гряди, голубица!»

Кратко и деловито, находя всю эту игру нелепой, Шмидт сказал, что словарь действительно надо пересмотреть, выкинув ряд ненужных архаизмов, как-то: «роза», «святыня», «ангел» и прочие, «нет» же и «да» необходимо оставить как слова серьезные, но все же,

если бы ему пришлось выбирать, он предпочел бы «да» как нечто организующее.

«Да! Си! — ответил Эрколе.— Во всех приятных случаях жизни говорят «да», и только когда гонят в шею, кричат: «Нет!»

Айша тоже предпочитал «да!». Когда он просит Крупто (нового бога) быть добрым, Крупто говорит «да»! Когда он просит у Учителя два су на шоколад, Учитель говорит «да» и дает.

«Что же ты молчишь?» — спросил меня Учитель. Я не отвечал раньше, боясь раздосадовать его и друзей. «Учитель, я не солгу вам — я оставил бы «нет». Видите ли, откровенно говоря, мне очень нравится, когда что-нибудь не удается. Я люблю мистера Куля, но мне было бы приятно, если бы он вдруг потерял свои доллары, так просто потерял, как пуговицу, все до единого. Или если бы клиенты мосье Дэле перепутали бы классы. Встал бы из гроба тот, что по шестнадцатому классу на три года, и закричал бы: «Вынимай надушенные платочки — хочу вне классов!» Когда чистейшая девушка, которая, подбирая юбочки, носится со своей чистотой по загаженному миру, нападает в загородной роще на решительного бродягу,— тоже неплохо. И когда официант, поскользнувшись, роняет бутылку дюбоннэ, очень хорошо! Конечно, как сказал мой прапрапрадед, умник Соломон: «Время собирать камни и время их бросать». Но я простой человек, у меня одно лицо, а не два. Собирать, вероятно, кому-нибудь придется, может быть, Шмидту. А пока что я, отнюдь не из оригинальничанья, а по чистой совести должен сказать: «Уничтожь «да», уничтожь на свете все, и тогда само собой останется одно «нет»!»

Пока я говорил, все друзья, сидевшие рядом со мной на диване, пересели в другой угол. Я остался один. Учитель обратился к Алексею Спиридоновичу:

«Теперь ты видишь, что я был прав. Произошло естественное разделение. Наш еврей остался в одиночестве. Можно уничтожить все гетто, стереть все черты оседлости, срыть все границы, но ничем не заполнить этих пяти аршин, отделяющих вас от него. Мы все Робинзоны, или, если хотите, каторжники, дальше дело характера. Один приручает паука, занимается санскритским языком и любовно подметает пол камеры. Другой бьет головой стенку — шишка,

снова бух — снова шишка, и так далее; что крепче — голова или стена? Пришли греки, осмотрелись — может, квартиры бывают и лучше, без болезней, без смерти, без муки, например Олимп. Но ничего не поделаешь — надо устраиваться в этой. А чтобы быть в хорошем настроении, лучше всего объявить различные неудобства — включая смерть (которых все равно не изменишь) — величайшими благами. Евреи пришли — и сразу в стенку бух! «Почему так устроено? Вот два человека, быть бы им равными. Так нет: Иаков в фаворе, а Исав на задворках. Начинаются подкопы земли и неба, Иеговы и царей, Вавилона и Рима. Оборванцы, ночующие на ступеньках храма, — ессеи трудятся: как в котлах взрывчатое вещество, замешивают новую религию справедливости и нищеты. Теперь-то полетит несокрушимый Рим! И против благолепия, против мудрости античного мира выходят нищие, невежественные, тупые сектанты. Дрожит Рим. Еврей Павел победил Марка Аврелия! Но люди обыкновенные, которые предпочитают динамиту уютный домик, начинают обживать новую веру, устраиваться в этом голом шалаше по-хорошему, по-домашнему. Христианство уже не стенобитная машина, а новая крепость; страшная, голая, разрушающая справедливость подменена человеческим, удобным, гуттаперчевым милосердием. Рим и мир устояли. Но, увидав это, еврейское племя отреклось от своего детеныша и начало снова вести подкопы. Даже где-нибудь в Мельбурне сейчас сидит один и тихо в помыслах подкапывается. И снова что-то месят в котлах, и снова готовят новую веру, новую истину. И вот сорок лет тому назад сады Версаля пробирают первые приступы лихорадки, точь-в-точь как сады Адриана. И чванится Рим мудростью, пишут книги Сенеки, готовы храбрые когорты. Он снова дрожит, «несокрушимый Рим»!

Евреи выносили нового младенца. Вы увидите его дикие глаза, рыжие волосики и крепкие, как сталь, ручки. Родив, евреи готовы умереть. Героический жест — «нет больше народов, нет больше нас, но все мы!» О, наивные, неисправимые сектанты! Вашего ребенка возьмут, вымоют, приоденут — и будет он совсем как Шмидт. Снова скажут — «справедливость», но подменят ее целесообразностью. И снова уйдете вы, чтобы ненавидеть и ждать, ломать стенку и стонать «доколе»?

Отвечу — до дней безумия вашего и нашего, до дней младенчества, до далеких дней. А пока будет это племя обливаться кровью роженицы на площадях Европы, рожая еще одно дитя, которое его предаст.

Но как не любить мне этого заступа в тысячелетней руке? Им роют могилы, но не им ли перекапывают поле? Прольется еврейская кровь, будут аплодировать приглашенные гости, но по древним нашептываниям она горше отравит землю. Великое лекарство мира!..»

И, подойдя ко мне, Учитель поцеловал меня в лоб.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Таинственные разъезды учителя и легкомысленное поведение учеников

Стояли дни исключительно яркие, как бы заливая седые улицы голубой эмалью и жидким золотом. Я видал немало весен, южных и северных, нежных и жестких, но это было не время года, не очередной миф, а нечто буйное и праздничное и в то же время расточавшее все сладости осеннего предсмертья, напоминавшее в начале о конце, единственное... Весна поздняя и незаметно, без грома, без слез, перешедшая в смутное душное лето.

Впервые после памятного вечера в «Ротонде» я почувствовал себя одиноким, слабым, потерянным. Учитель беспрерывно уезжал из Парижа то в Германию, то в Вену, то в Лондон. Он категорически отказался рассказать что-либо об этих поездках: я так и не узнал, зачем он спешил на свидание с каким-то крупным заводчиком в Берлине и что делал в течение двух недель в милой, веселой Вене. В своем дорожном широком плаще, с неизменным портфелем, перекочевывающий из одного международного экспресса в другой, он казался мне то охотником, который рыщет по столицам Европы, выгоняя зверя из укромной норы, то просто моей тетушкой Марией Борисовной, суетившейся на именинах перед гостями и перебегавшей каждую минуту из кухни в зал для танцев.

«Что делает Учитель?» — в муке думал я, сидя в «Ротонде», которую еще более оценил как место моего обращения. Создает ли он новую религию? Или хочет взорвать дворец какого-нибудь раджи?

Я рисовал себе картины дикие и великолепные: экспедиции в Центральную Африку, проповеди нового Савонаролы на площади Опера, экстаза, охватившего палату лордов, которые в невинном порыве срывают с себя облачения и предаются трогательной чехарде. Но все эти образы исчезали, как только я вспоминал страшные диаграммы, висевшие в мастерской Учителя и напоминавшие мне почему-то Шмидта, который большими порыжевшими башмаками долго и основательно приминал розовые завитки распускавшихся гиацинтов.

Я начал много пить и по доброму совету моего друга, молодого скульптора, время от времени, в жажде осмыслить события, глотал два-три зернышка гашиша. Но, увы, реальность все более и более исчезала. В «Ротонде» я чувствовал себя то ихтиозавром и топтал в доисторическом гневе шляпки натурщиц, то раджей, дворец которого хочет взорвать Учитель, писал письма в страховые общества, требовал от хозяина кафе ритуальных преклонений и плакал горькими слезами. Впрочем, это никого не удивляло — волна безумья в ту весну залила и маленькое кафе Монпарнаса. Я все время находился в обществе полосатой зебры, умолявшей перекрасить ее кожу в квадратики, толстяка художника, утверждавшего, что он на седьмом месяце, родить же должен пророка-обезьяну в шляпе со страусовыми перьями, но что перья эти немилосердно его щекочут, и мулатки, сбежавшей из мюзик-холла, которая клялась, что философ Бергсон поручил ей завоевать Полинезию, а пока почему-то хлестала меня по щекам украденными со стойки ломтиками ростбифа. Я красил чернилами зебру, давал дружеские советы художнику, а избитый мулаткой, плакал: отчего она такая злая? Отчего мой дворец не застрахован? Отчего был потоп? Отчего я один, покинутый Учителем, должен страдать здесь? Да полно, подлинно я ли это? И я щупал под рубашкой свою потную, волосатую грудь, а убедившись, что это именно я — Илья Эренбург, Илюша, поэт, «Эрайнбур»,— еще горше роптал и томился.

В один из своих кратких наездов в Париж Учитель нашел меня под скамейкой в «Ротонде», чудесные зернышки отобрал, накормил яичницей и повел к нашим друзьям. Уехав в тот же день в Англию, он дал нам наставление не разлучаться, и буде если мы обязатель-

но захотим сходить с ума, проделывать это совместно. Я увидел, что с моими друзьями также происходит нечто неладное, правда, без гашиша и зебры. Все были подавлены отсутствием Учителя. Мосье Дэле жаловался, что «Универсальный Некрополь» чахнет, мистер Куль скучал, Шмидт не мог работать вследствие общего дезорганизующего характера парижской весны, об остальных и говорить нечего. Осознав кое-как свое состояние, я предложил, ввиду общего томления и отсутствия Учителя, заняться делами неподобными, так как сердце мое чует, что нельзя пропускать оказии этой неповторимой весны. Мосье Дэле начал говорить что-то об умеренности и о своем возрасте, но не очень энергично: за неимением «порыва» он любил смотреть, как развлекаются другие, и, несмотря на скупость, даже порой оплачивал ужин своего конторщика Лебэна за право оставаться все время в отдельном кабинете ресторана.

Итак, мистер Куль оторвал еще один листок из своей книжки (вспомнив при этом жест «претворившего воду в вино»), и мы начали кутить. Постепенно к нам прирастали различные посторонние люди. С иными из них мы проводили целые недели, не зная ни их имени, ни даже национальности. Но двоих я хорошо запомнил. Первого, польского поэта Озаревского, приволок к нам Эрколе непосредственно из комиссариата, где они оба провели ночь: итальянец за то, что, страдая от сильной жары, полез купаться в один из фонтанов Тюильри, поэт же по настоянию старой добродетельной консьержки, к которой он, выпив предварительно бутылку мадеры, приставал, требуя, чтобы она немедленно превратилась в вакханку и вместе с ним кричала в подъезде «эвое!». Озаревский был весьма горд, носил черные волосы до плеч, земли почти не касался из пренебрежения к ней, то есть, несмотря на свои сорок лет, подпрыгивал на цыпочках и вообще все грубое, материальное презирал. Производил себя то от испанских грандов, то непосредственно от Озириса, изъяснялся напыщенно, требовал, чтобы все ему поклонялись, почему и обижался на счета в ресторанах («Поэт пьет влагу златопенную, дарит за это песни звонкострунные...») и при самых неподходящих обстоятельствах сочинял стихи. Кроме того, говоря языком грубым, был он большой руки бабником и не мог пропустить ни единой юбки, не интересуясь

даже возрастом ее обладательницы, без того, чтобы не испробовать счастья. Везло ему главным образом с очень наивными девушками-польками, приезжавшими учиться в Сорбонну, знавшими наизусть его стихи о «любви небоподобной» и считавшими за особенную милость провидения быть отмеченными «чернокудрым гением». За свою «небоподобную любовь» Озаревский был уже неоднократно бит, как-то раз даже до потери сознания мокрыми калошами, но в уныние не впадал. Он очень развлекал нас, храбро подсаживался к старым американкам, к девочкам, играющим в Люксембургском саду, к певичкам, занятым уже другими кавалерами, повторяя всем примерно одно и то же, то есть: «Огонь — бог — Озирис — приходите сегодня вечером». Как-то, когда мы заканчивали трехдневную попойку в Версале, он увидал аппетитную молочницу и, вернувшись в Париж, тотчас послал ей телеграмму: «Вы — лотос. Жду 11 вечера Отель «Шеваль Блан», комната 16. Последний трубадур».

Второй — обанкротившийся банкир из Венесуэлы, сеньор Мадурос, был давнишним приятелем Учителя. Где бы и с кем бы он ни был — на стуле, на коленях, на уличной скамье немедленно появлялась карточная колода. Играл он в любые игры и на любые суммы. Рассказывали, что настоящая его фамилия — Капандэз, Мадуросом же он стал после того, как в Монте-Карло, сговорившись с крупье и с двумя служащими казино, совершил до начала сеанса маленькую операцию над рулеткой, а именно: отогнул задерживающие перегородки, после чего, выиграв сто восемьдесят тысяч франков, сбежал не только от полиции, но и от своих компаньонов по работе, а выигранные деньги в течение трех дней благополучно проиграл в Сан-Себастьяно. Был он весьма элегантным брюнетом, но брился нечисто, присыпая черную щетину пудрой, благодаря чему казался голубым,— считал это особенным шиком. Пока мы пьянствовали, Мадурос играл со всеми: с посетителями кабачка, с музыкантами, с официантами, однажды даже с полицейским, а когда никого кругом не оказывалось — резался в дурачки с Айшой на апельсин или на сигарету. Он проиграл на наших глазах тысяч триста, дом в Венесуэле, виллу в Остенде и жену (надо сказать, что Мадурос был нищ и гол, одалживая на обед два франка у мистера Куля, а также холост), выиграл же, если не считать фан-

тастических цифр, которые цифрами и остались, около пятидесяти франков, чью-то любовницу и большого охотничьего пса, с тех пор нас не покидавшего и требовавшего от нашей общей матери-кормилицы, дорогого мистера Куля, костей на обед.

Когда зажигались на бульварах бледные огни, мы собирались в небольшом кафе на рю Фобур-Монмартр и вскоре шли дальше шумным табуном. Огромные, зеленые и алые пауки с электрическими лапами бегали по стенам, требуя, чтобы мы пили куантро. Стройные отроки и библейские старцы в красных цилиндрах кричали нам: «Опомнитесь, если вы хотите счастья — идите в «Рояль»!» И безумный автомобиль, рыча и сверкая желтыми глазищами, как конь архангела, кидался к нам, заклиная курить сигареты «Нэви».

Мы шли покорно в «Рояль», пили куантро, курили «Нэви». Сотни официантов, важных, лысых и мудрых, как римские стоики, неслись, обгоняя друг друга, жонглируя бутылками, на лету выхлестывая что-то в рюмки, звеня монетами. О, эти пирамиды бутылок, длинных, как кегли, круглых, как шары, с таинственными печатями или с севильскими красотками желтых, зеленых, красных, белых, всех мыслимых мастей! За стойкой алхимики, в белых фартуках, готовили различные смеси, сменив лишь латынь на английский. Румыны, цыгане, негры выли в трубы, в ожесточении рвали струны, хрипели и рычали. Потом выбегали женщины — таинственное племя, почти без лиц, с опущенными на глаза челками, с ярко намалеванной мишенью для поцелуев, с открытыми грудями, с откормленными бедрами, сверкающими блестками стекляруса, отливами шелка, каменьями, лентами. Они налетали, как саранча, вереща, вспрыгивая на столы, танцуя меж бутылками, падая на колени гостей, судорожно извиваясь, снова взлетая наверх и замирая где-то в углах, на глубоких диванах. И мужчины вскакивали, с залитыми вином манишками, с продавленными цилиндрами, кружились, шуршали кредитками и убегали, схватив двух, трех или десять женщин.

Мы шли по улицам, и нас обгоняли страстные скопища, завитые то кадрильными парами, то густой спиралью. Мы заходили в маленькие бары, и те же бутылки поспешно наклонялись, брякали су, красногубые девицы кидались, носиком туфли ударяли цинковый прилавок, прижимались и тащили к себе. На

каждом шагу ухмылялись гостиницы, как бы выволакивая на улицу огромные, грязные, продавленные кровати. Париж пах пудрой, спиртом, потом.

Мы уходили на рынок и глядели, до тошноты, на громадные туши, горы яиц и сыров, глыбы масла и на цветы, сдавленные в огромные пудовые тюки.

Потом выбегала на улицы дневная смена. Полчища автомобилей оглушали воем и гулом, дышали бензином, жаром, пылью. Вокруг магазинов, громадных, как города, на широких тротуарах, в кипах ярких материй, в залежах шелков, в свалках лент и кружев рылись ожесточенные толпы женщин, потных, жадных и опьяненных шелестом, шорохом, шуршаньем, нежным треском материй. В полдень все застилал чад тысяч кухонь, запах сала, рыбы, лука. На террасах ресторанов люди с багровыми затылками равномерно, упорно жевали, щелкали зубами, чавкали, отрыгивали. Потом мы шли спать и, просыпаясь вечером, видели то же безумие.

Это было мерзостью избытка, отчаянием изобилия, тяжелым сном полнокровия. Слишком много и тряпок, и поэтов, и женщин, и цветов, и бутылок, и людей! Слишком много всего! Казалось, еще день — и не апокалипсический гром, нет, просто апоплексический удар хватит объевшийся, опившийся, заспавшийся на своем пуховике город.

В один из таких июльских вечеров Учитель, вернувшись наконец в Париж, пошел с нами в ночной кабак. По дороге, рассказывая ему несвязно обо всем — о рекламах, о подвигах Озаревского и о моем ужасе перед Парижем,— я осмелился спросить его, что он делает, не забыл ли он обо мне, обо всех нас и что будет дальше?.. Он не рассердился, но кротко ответил: «Дело клеится. А ты мне лучше расскажи еще про этого поэта!» Учитель очень изменился за три месяца, осунулся, сгорбился, на висках его ясно обозначалась седина. Он не шутил с Эрколе, не дразнил мистера Куля, даже не поцеловал Айшу. В кабачке, заказывая каждые четверть часа стакан виски, он то угрюмо молчал, то требовал от нас каких-то странных поступков. Он заставил мосье Дэле и Шмидта выпить на брудершафт и при этом неестественно смеялся. Айша, кроткий, нежный Айша, должен был показать, как бы он зарезал столовым ножиком Алексея Спиридоновича. Потом он предложил нам застрелить бродячую

кошку, но тут мы все решительно запротестовали, и мистер Куль торжественно заявил, что «никто из нас крови, даже скотской, проливать не станет!» Это почему-то страшно развеселило Учителя, он кричал: «Браво», бил в ладоши и велел Алексею Спиридоновичу записать на карточке вин слова мистера Куля. Всем этим Учитель окончательно смутил и встревожил меня.

На следующее утро, вдвоем с Хуренито, шли мы по тихой уличке нашего квартала. Навстречу женщина везла в коляске ребенка. Младенец весело и бессмысленно улыбался, а поравнявшись с нами, протянул свои руки к Учителю, прельщенный блестящим набалдашником его палки. Хуренито отступил к стене и беспомощно, будто он сам был ребенком, забормотал: «Этого я не могу!.. Взрослые... Но дети, почему дети?.. Может, не нужно?.. Бросить!.. Убежать!.. Пулю в лоб!..» Никогда, ни до этого, ни после я не видал нашего непреклонного, сурового Учителя в таком состоянии. Испугавшись, я закричал: «Скажите, скажите мне, что с вами? Что бросить?..» Но Хуренито, сразу оправившись, вытер лоб платком и уже вполне спокойно ответил: «Глупости. Не обращай внимания. Я переутомился, и потом эта жара!..»

А вечером, когда мы сидели под платанами, на веранде беспечного кафе, пробежал мальчик, дико завывая: «Ля пресс». Мистер Куль подозвал его, желая узнать результаты бегов, но через минуту, ткнув мне в лицо листок, остро пахнущий краской, пробасил: «Австрийского эрцгерцога убили! Каково!» Учитель переспросил и спокойно просмотрел газету. Он долго сидел молча. Мы уже забыли о по существу совершенно безразличной для нас сенсации, а мистер Куль восторгался победой кобылы Ириды, когда Учитель равнодушно объявил: «Итак, будет война». Это показалось нам столь смешным и нелепым, что мы все запротестовали, лучше всех наши общие чувства выразил мосье Дэле: «Война может быть где-нибудь у дикарей, например на Балканах или в Мексике, но не у нас! Вы забыли, друг мой, что это Европа!» Мистер Куль доказывал, что человечество все же слишком нравственно для войны и что притом война очень невыгодное предприятие. Эрколе уверял, что раз его не могли заставить встать с мостовой, то какой же черт его заставит воевать. Алексей Спиридонович говорил,

как всегда туманно, о «духе». Мне просто слова Учителя показались продолжением его утреннего бреда, и я спросил — хорошо ли он себя чувствует. Только Шмидт и Айша не спорили. Шмидт пробурчал: «Что-то не очень верится мне, опять вмешаются дипломаты, а впрочем, посмотрим!» Айша же объявил, что дома, то есть в Сенегале, ему говорили о войне и что это совсем неплохая вещь. Учитель не спорил, но, пробыв еще немного с нами, сказал, что чувствует усталость, и один пошел домой.

Мы же, забыв про войну, просидели вместе за полночь в беседах о вещах весьма мирных: о совместной поездке на Корсику, о достоинствах различных сыров и о последнем увлечении Эрколе некой венгеркой из цирка, подымающей двадцатипудовые гири. Напомнил нам о словах Учителя лишь Айша, которому, видимо, понравилась придуманная Хуренито забава: смеясь, крича и прыгая, он вдруг снова начал показывать, как он может хорошо зарезать Алексея Спиридоновича или застенчивого, тихого Шмидта.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Бурное расставание.— Я всячески переживаю войну

Скоро мы поняли, что Учитель не шутил. Я не стану описывать дней ожидания, они слишком памятны всем. То, что чувствовали мы, от одного выпуска газеты до другого, от надежды до тупого отчаяния, переживали в те дни сотни миллионов разноязычных людей. Наконец настало роковое 30 июля. Сомнения исчезли, все поняли, что случилось непоправимое и, больше ни о чем не думая, кинулись в водоворот.

Вечером, не сговорившись, но движимые одним и тем же чувством, мы собрались у Хуренито, чтобы расстаться надолго, может быть, навсегда. Я испугался, увидев мосье Дэле: он был совершенно невменяем, кричал, что убьет Шмидта, если тот посмеет показаться, пел «Марсельезу» и требовал, чтобы Хуренито немедленно отправился сражаться за цивилизацию. Шмидт пришел абсолютно спокойный, даже пробормотал что-то о жаре (28 градусов в тени), и мосье Дэле

не убил его. Зато началось нечто невообразимое, и мастерская Хуренито преобразилась не то в австрийский рейхсрат, не то в наш базар, где у бабки стащили пирожок с лотка. Все кричали, ругались, пели и наперебой обвиняли друг друга. Эрколе вопил, что война прекрасна и что он будет стрелять из самой большой пушки. В кого? Это он посмотрит, но стрелять будет обязательно, «Эввива!».

Под влиянием криков Айша обезумел, схватил нож для разрезывания книг и потребовал, чтобы ему тотчас сказали, кого именно он должен резать — мистера Куля или меня. Мосье Дэле внушительно объяснил ему, что он — Айша французский и поэтому должен резать Шмидта. Увлеченный такой перспективой, Айша решил приступить к делу незамедлительно и настолько серьезно, что Учителю пришлось его запереть в маленький чуланчик.

Охватив голову руками, Алексей Спиридонович голосил: «Ныне пришло светлое искупление! Русь! Мессия! На святой Софии крест! Братья славяне!» Он кинулся к Шмидту и, хныча, обнял немца: «Враг мой! Брат! Я люблю тебя, и оттого что так люблю — должен убить тебя? Понимаешь? Не убью, но, убивая, жертвенно умру! Мы победим Германию! Христос воскресе!» И он облобызал Шмидта, но тот, вежливо отстранившись, вытер лицо платком и маленьким гребешком оправил волосы.

Мистер Куль, всем этим растроганный, дружески сказал: «Я нейтрален! Но я тоже начинаю понимать, что война не так безнравственна, да и не так невыгодна, как мы думали раньше».

Я сидел совершенно подавленный совершившимся. Я вдруг понял, что все страшные призраки, преследовавшие меня в течение долгих лет, кажутся будничной петитной хроникой по сравнению с этой реальностью. А осознав это, я перестал вообще думать, чувствовать, жить отдельной жизнью и надолго потерял себя.

Когда все, утомленные, несколько затихли, Шмидт заговорил: «Дорогие друзья, ни к кому из вас я не чувствую никакой ненависти, хотя вы — мои враги. Но дело обстоит весьма просто. Нам необходимо вас организовать». Он подошел к висевшей на стене карте Европы и как бы отрезал пальцем четверть Франции, восьмушку России, а по дороге прихватил еще кое-что из мелких стран. «Пока лишь это мы непосредственно

присоединим, а на остальное будем оказывать систематическое воздействие. Это, конечно, не слишком галантная операция, но ничего не поделаешь, по доброй воле вы никогда не сорганизуетесь. Засим до свидания! Надеюсь встретиться с вами в одной из новых провинций Германской империи». Сказав это, он пожал руку Учителю, поклонился всем и вышел.

Снова начался дикий гам. Мосье Дэле освободил Айшу и требовал, чтобы тот, защищая цивилизацию, нагнал бы Шмидта и зарезал его, но Айша, в уединении успокоившись, предпочел на диване разбивать мексиканским идолом грецкие орехи.

На этот раз порядок навел Хуренито, ласково сказавший нам, что все происходящее ему вполне понятно и он рад быть в такие минуты с друзьями, но, к сожалению, через час отходит его поезд и он должен будет проститься с нами, возможно надолго. «Случилось неизбежное и необходимое. Не думайте, что это на неделю, а потом снова «Рояль». Нет, этот знойный день — грань. Оглянитесь, пока не поздно, еще раз!.. Проститесь со всем, что знали: это не банки, а вскрытая артерия. Вам странны мои слова, но разве вчера вы могли поверить в сегодня? Что же сказать вам о завтрашнем дне? Кричат знакомые, заветные, уютные слова «родина», «честь», «победа», «во имя»... Что им имя?.. Работают на безликого, нерожденного, но в утробе — жесточайшего. Работайте и вы! Ступайте, куда поведет вас необходимость! Грозитесь, стреляйте, пейте вино, плачьте, делайте все, что должны делать! Я ухожу, но мы еще встретимся. Когда? Не знаю. Прощайте, друзья!»

Взяв небольшой дорожный чемоданчик, наполненный главным образом бумагами, Учитель вышел, попросил на вокзал его не сопровождать. За ним все разошлись. Я остался вдвоем с Айшой в комнатах, еще как бы таивших дыхание Учителя. Всю ночь я смотрел на его страшные карты, на каменных божков, на забытую им короткую прожженную трубку с оттиском крепких зубов. Айша же, свернувшись у моих ног клубочком, все грыз и грыз орехи, время от времени испуская протяжный вздох: «Ай! Господин ушел на войну! Ай, Айша!..» А под окном до утра не смолкали песни, крики газетчиков, барабанный бой, топот проходивших к вокзалам солдат и чей-то пронзительный плач: «Жан! Жан! Жан!..»

Настало утро. Увы, дневной свет не помог понять, осмыслить, начать хоть как-нибудь, но все-таки жить. Открылось долгое существование, подобное неделям тифозного на койке лазарета. Кругом я видел те же горячечные глаза и слушал тот же бред, под конец ставший повседневной речью. Когда теперь, оглядываясь на свое прошлое, я дохожу до этих месяцев, предо мной яма, и я, не вспоминая поступков, мыслей, слов, стою и дивлюсь, как мог я из нее выкарабкаться.

Все мои друзья разъехались. Мистер Куль, увлеченный какими-то грандиозными заказами, отбыл в Нью-Йорк, обещав, впрочем, скоро вернуться. Мосье Дэле призвали и послали куда-то на юг сторожить железнодорожный мост. Он написал мне, что его перевели в Авиньон, он — начальник военного кладбища, кроме того, горя энтузиазмом и не имея возможности, по своему возрасту, сражаться, он занялся журналистикой и помещает статьи в «Заре Авиньона», а также устраивает различные патриотические собрания. Эрколе, оставшись без средств, пробовал лечь на парижскую мостовую, но был быстро отправлен на родину. Айшу мобилизовали и, поучив немного в южном городишке обращению с оружием, иным, нежели столовый нож, отправили на фронт.

Пришел черед Алексея Спиридоновича и мой. В Россию вернуться мы не могли и в зимнее утро отправились вместе во Дворец инвалидов, записываться добровольцами во французскую армию. Тишин шел, в восторге твердя о мученическом подвиге, о мече не то Христа, не то Мережковского, о Царьграде и еще о чем-то. По дороге он забегал в бары, выпивал по рюмочке и пытался целовать кабатчиков: «Союзники! Братья!» Я шел молча, скорее понуро, ничего не чувствуя, кроме нестерпимой жары и самоуничтожения, шел, потому что это было самым легким выходом. Подставить свой живот под чей-нибудь штык или проткнуть штыком чужой живот казалось мне значительно более простым, нежели утром, проснувшись, купить «Матэн», читать о распоротых животах и пить при этом кофе с бриошами.

На площади толпились тысячи людей с флагами различных стран. Они все вместе пели свои гимны, и от солнца, от пестрых лоскутьев, от дикой разноголосицы кружилась голова. Мы отыскали русских — они уже воевали между собой, размахивая всякими флагами —

трехцветными, красными просто, красными с надписями, объясняющими красноту, французскими и, наконец, вовсе непонятными. Они тоже, по примеру других, пытались петь, но только начинали какую-нибудь песню, как она тонула в гуле протестов. Потом перестали спорить и начали одновременно исполнять: «Боже, царя храни», «Марсельезу», «Интернационал», «Из страны, страны далекой» и даже «Не жури меня». Впечатление было сильное, напоминавшее несколько негритянскую музыку и как нельзя лучше гармонирующее с пестрой разноплеменной толпой.

Впрочем, вскоре эта неразбериха сменилась картиной бани. Придерживая кальсоны, я направился к столу, где меряли, щупали и выстукивали различные героические тела. Приставив трубку к моим ребрам, врач быстро гаркнул: «Не годится! Следующий!» — и я остался со своим героизмом, вольный читать «Матэн» и кушать сдобные булочки. Трогательно простился я с Алексеем Спиридоновичем, который на следующее утро был отправлен со «Святой Софией» и с компанией подозрительных испанцев для обучения в Турень. На вокзале он неожиданно объявил мне, что Хуренито — изменник, ибо «он душой нейтрален, а нейтральные — это скрытые германофилы», и попросил меня вернуть ему старый устав Общества изыскания Человека, а также меню «Рояля», на котором он записал памятный афоризм мистера Куля.

Но, увы! Хулио Хуренито бесследно исчез. Уезжая, он не оставил адреса, и никто от него не получал писем. Его мастерская стояла пустая, неприбранная, со смятыми газетами и раскрытым сундуком. Первое время я часто заходил туда, чтобы предаться сладостным воспоминаниям о стольких вечерах, проведенных в этом унылом сарае. Но вскоре мне пришлось прекратить эти посещения. В то время в Париже свирепствовала эпидемия шпиономании. Германских агентов находили в кафе, в канцеляриях, в детских садах, даже у себя дома, в гардеробе жены. Неожиданно оказывались предателями профессора-гинекологи, кормилицы, кладбищенские сторожа, двоюродные братья и многие другие. Когда наконец у старика, учителя географии, нашли исчерченную карандашом карту двух полушарий, а у старьевщика на Марше де Пюс подержанный компас немецкого происхождения, подозрительность достигла высшего предела. Консьержка, недолюбли-

вая Хуренито, то есть главным образом не его, а Эрколе, относившегося с недостаточным уважением к чистоте ее лестницы, донесла, что Учитель вел образ жизни подозрительный, у него бывали странные люди и говорили часто меж собой на иностранном языке, вероятно по-немецки. Явилась полиция, и мне пришлось расстаться с милой опустевшей храминой.

Осенью и зимой я страстно ждал Учителя, озирался, блуждая по улице, прислушивался к шагам на лестнице, караулил приход почтальона. Где он? Быть может, на фронте, командует какой-нибудь дивизией? Арестован? Утонул при переезде к себе на родину? Расстрелян? Убит в бою? Но зачем он оставил нас гореть на этом вечном огне? Зачем я живу? Я роптал, требовал, ждал, но ответа не было...

Передо мной встают теперь бурные ночи, когда все ветра трепали мою слабую ладью. Стреляли, кричали, что немцы возьмут Париж. Убегали с бархатными портьерами, с канарейками, с ночными горшками. По ночам мне казалось, что в мою комнату входит Шмидт и начинает меня организовывать: «Герр Эренбург Эльяс! Встаньте! Подберите живот! Направо! Налево! Фрау Хазе, ложитесь!» И я вскакивал, бежал вниз к консьержке, чтобы убедиться в том, что Шмидта нет.

Потом я стал реально, физически ощущать убийство. Кругом занимались исключительно этим, раньше запретным, делом. Я читал: «Три, пятьсот, десять тысяч убитых», «мы перекололи», «разорван», «заколот», «удушен», «засыпан», «потоплен», «убит, убит, убит!». Визжали мальчики на бульварах: «Все переколоты»; официант «Ротонды» отвечал: «Семьдесят пять. Меткая стрельба»; басила лавочница: «Окружили, разбили, перебили!» Напротив меня жил тихий старичок, целый день он читал газеты, а поздно вечером звал меня в гости и начинал колоть старой поломанной кочергой специально для этого повешенную открытку с каким-то усатым немцем. Другой сосед, мосье Инн, настройщик роялей, требовал, чтобы я показал ему, как работают пиками казаки. Я не мог, я не знал, не хотел, но он говорил, говорил: «Режут, колют, протыкают»,— и раз ночью, в белье, я вбежал к нему с маленькой тросточкой, крича «урра!», и начал сверлить ею его мягкий, растекавшийся живот.

Потом я начал сомневаться — не немец ли я? Сначала я, со всеми другими, принялся искать вокруг меня все немецкое. Разгромили молочные «Магги», а я там несколько раз покупал творог. Я выкинул мою бритву с подозрительной надписью. Я оборвал все пуговицы брюк, явно вражеские. Я готов был даже порвать брюки, но мосье Инн отговорил меня. Еще кто-то смел играть в соседнем доме Баха. Что это? Я бежал, узнавал, мне показывали статью в газете — Бах не немец, Бах почти француз. В отчаянии я не хотел верить. Произошло самое ужасное — я усомнился в себе. Это началось после того, как барышня в почтовом отделении, где я получал письма до востребования, дружески мне посоветовала: «У вас нехорошая фамилия, перемените окончание». Я был бы рад, но я не знал, как это делается, и почему-то послал прошение в Москву мировому судье Хамовнического участка. Но что фамилия — было нечто посерьезнее. Случайно я напал на провинциальную газету «Пти нисуа», и там, в передовой статье, определенно говорилось, что немцев можно узнать по особому, исключительно им присущему запаху, по какому, точно не объяснялось: ясно, всякий почувствует. Прочитав это, я стал нюхать себя, но свой собственный запах трудно различить, я слышал лишь запах табака да скверного одеколона, так как в то утро побрился. Но я не слышу — другие услышат... Я не мог терпеть: вернувшись поздно, я разбудил консьержку и очень вежливо попросил: «Понюхайте меня». Мне пришлось переменить комнату, а то, чем я пахну, продолжало для меня оставаться тайной.

В неизвестности дожил я до весны. Денег у меня не было, я стойко голодал, продал все, оставшись в одних подозрительных брюках и в высокой широкополой шляпе. Я должен был ходить на ночную работу, на вокзал Иври — подвозить вагонетки с ящиками. На ящиках была надпись «Осторожно!», и товарищи говорили, что это фарфор, но я был убежден, что в ящиках снаряды, и, приходя утром домой, сладко потягиваясь, кричал: «Недолет! Перелет! Бум! Трах! Шестьдесят три разорвано». Работа была трудная, тем более что мой вид, особенно шляпа, смешил рабочих, и они по душевной доброте поили меня в складчину дешевым ромом. Я, выбиваясь из сил, уже не руками, а животом толкал тележку. От спирта рельсы прыгали, ящики вываливались и огромные чугунные гады разрывались. Я падал.

В предместье Парижа, куда я перебрался, привезли раненых, с обмотанными марлей лицами, слепых, прыгающих на костылях. Еще кто-то прилетал и кидал бомбы, не те, что я возил, другие, немецкие. Я видел девочку в голубеньком платьице с оторванными выше колен ногами. А хриплые мальчики все кричали: «Убиты! Погибли! Взорваны!» Я задыхался от запахов крови, йодоформа, типографской краски. Я больше ничего не ждал. Я забыл, что встретил человека, которого звали Учителем.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Миссия Лабардана.— 155-миллиметровые орудия

В майское утро, когда, вернувшись с работы, я беспокойно спал в грязной каморке пригородной гостиницы, меня разбудила встревоженная хозяйка: «Вас спрашивает господин — он приехал в автомобиле!» Я не успел опомниться, как в комнату вошел чрезвычайно элегантный человек, с лицом невыносимо знакомым:

— Не узнал? Это я, Хулио! Я вчера приехал в Париж и едва разыскал тебя.

Да, да, это был Учитель! Он поправился, сильно загорел и отпустил небольшие усики. Я молча глядел на него, глядел жадно и восторженно, с каждой минутой я исцелялся от безумия. Мне даже показалось, что ничего не произошло и Хуренито зашел, чтобы пойти со мной во флорентийскую церковь или в таверну Амстердама.

— Учитель, ведь правда вас не было? Где же вы пропадали так долго? На фронте?

— Нет, я главным образом удил рыбу, а также ел виноград и фиги на Балеарских островах. Тридцатого июля я уехал прямо из Парижа на Майорку. Мне нечего было делать в Европе. Все делалось само собой. Я не мог быть полководцем и не хотел быть пацифистом. Разум мог лишь беспомощно барахтаться в этом хаосе. И потом... Потом там удивительный виноград, крупный, душистый, вроде «изабеллы», но лучше. А в речке — форели. Закинешь удочку... Я девять месяцев не читал газет. Теперь — другое дело, теперь хаос принимает формы, сумасшествие становится бытом. Сидеть

у речки я больше не могу. Одевайся-ка, милый, мы сразу приступим к работе. Видишь ли, я теперь полномочный представитель Лабарданской республики, а ты мой секретарь.

И Учитель вынул из портфеля огромные листы с красными печатями, оказавшиеся дипломатическими паспортами и напугавшие меня так, что я залез под одеяло. Спорить все же я не посмел и только показал на свои брюки. Хуренито сказал:

— Это не страшно, мы сейчас заедем к портному и в магазины. Гораздо хуже то, что ты любишь говорить о своих переживаниях. Если ты не можешь вообще перестать переживать, то, во всяком случае, молчи. Говорить буду я, а если тебя спросят — отвечай что-нибудь невинное, например «мерси».

На следующий день мы подъехали ко дворцу, где помещалось министерство. В книге, между мистером Уйльдом, американцем-пароходовладельцем, и представителями португальской прессы значилось: «Миссия Лабардана». С трепетом оглядел я лакеев в малиновых фраках и одному, особенно важному, безо всякой нужды, исключительно из стеснения, сказал: «Мерси!» Министр, наоборот, оказался совсем не страшным, но очень любезным. Учитель торжественно сказал ему, что Лабардан хочет присоединиться к союзникам и просит поэтому точно формулировать преследуемые ими цели. «Они известны всему миру,— ответил министр,— мы боремся за право всех, даже малых народов, самим определить свою судьбу, за демократию, за свободу». Учитель был видимо взволнован этим зявлением и не скрыл своего восторга. Я же раньше читал об этом в газетах и объяснил себе волнение Учителя тем, что на острове он газет, наверно, не читал. Я скромно сказал: «Мерси», и мы откланялись.

Вечером Учитель составил соответствующую декларацию и велел мне разослать ее во все крупные газеты мира. Вот текст: «Правительство республики Лабардан не может оставаться нейтральным в великой борьбе между варварством и цивилизацией. При переговорах с представителями союзных держав Лабарданское правительство окончательно выяснило высокие цели защитников права. Всем народам, даже самым малым, будет предоставлена свобода распоряжаться своей судьбой. Поляки, эльзасцы, гру-

зины, финны, ирландцы, египтяне, индусы и десятки других народов освободятся от ига. Кончится угнетение народов иных рас, больше не будет колоний. Наконец, в деспотической России при победе союзников будет введена свобода. Правительство и народ Лабардана не могут долее колебаться, и они гордо вступают в ряды борцов за истинное право!»

Ни одна французская газета нашей декларации не напечатала, все ограничились краткими заметками о разрыве дипломатических отношений между Лабарданом и Германией. Посланные же в заграничные органы телеграммы были возвращены с пометкой «Не пропущено военной цензурой». В гостиницу «Люкс», где мы поселились, неоднократно приходили различные чины префектуры, интересуясь нами, явно не только с намерением высказать добрые чувства к представителям дружественной державы. Я спросил Учителя, почему разумное толкование слов министра ведет к неприятным результатам, но он посоветовал мне не утруждать себя абстрактными рассуждениями, а лучше принести ему утренние газеты. Час спустя на его столе лежали отчеркнутые красным карандашом различные статьи и заметки, как-то: «Константинополь — России», «Германские колонии и японцы», «Рейн — французская река», «Исторические права Италии на Далмацию» и прочие. Учитель сказал мне:

«Я сам виноват. Я проявил непростительную вульгарность, толкуя, как простак, буквально возвышенные образы господина министра. Когда-то в Америке я проштудировал «Краткое руководство для начинающих дипломатов», но одновременно я изучал электротехнику, персидский язык и стенографию, так что, очевидно, был рассеян и не затвердил даже основ этого ремесла. Ничего не поделаешь, надо поскорее исправить ошибку, едем в министерство!»

На этот раз нас принял не министр, а чиновник и, судя по его чрезмерной важности, не крупный. Хуренито любезно, но вместе с тем непреклонно изложил условия, на которых Лабардан может примкнуть к союзникам:

1. В городе Нюрнберге, как это точно исследовано историками, в XVII столетии проживал часовщик, гражданин Лабардана. Поэтому Нюрнберг со всеми прилегающими к нему землями, включая Мюнхен, должен перейти к Лабардану.

2. Жизненные интересы Лабардана требуют колоний. Наиболее подходящим для колонизации является Гамбург.

3. Хотя Лабардан не имеет общей границы с Германией, опасность новой войны будет угрожать ему, если не будут произведены некоторые стратегические изменения в Европе. Уступка Смирны, парка Пратера в Вене и Баден-Бадена обеспечат спокойствие Лабардана.

Чиновник внимательно выслушал это, предложил нам пока отправиться на фронт вместе с другими почетными гостями, подарил дюжину открытых писем с видами разрушенных немцами городов и обещал о дальнейшем довести до сведения господина министра.

На следующий день мы поехали с каким-то фабрикантом из Барселоны, с журналистом-перуанцем и с весьма вежливым лейтенантом на фронт. Лейтенант долго выбирал то место фронта, где не было бы ничего напоминающего войну. Но даже туда мы не доехали. Как только перуанец услыхал далекие отзвуки канонады, он начал жаловаться на сильные рези в желудке, говорил, что поездкой вполне удовлетворен и теперь спешит назад, чтоб отправить телеграмму в свою газету. У нас было два автомобиля, в одном из них перуанец поехал назад. Фабрикант был, наоборот, очень храбр и все время доказывал лейтенанту, что, будь на месте французов испанцы, Берлин был бы давно взят. Отъехав немного дальше, мы позавтракали у очень милого генерала. Потом у другого генерала пили чай. У третьего обедали. Всюду были тосты, среди других: «За нового друга — Лабардан!» На следующий день мы еще немного продвинулись по направлению к фронту и наконец увидели батарею. Узнав, что сюда долетают тяжелые снаряды, фабрикант немедленно переменился, потребовал каску, дал мне адрес своей семьи и наотрез отказался ехать дальше. Он даже не вышел из автомобиля, и лейтенант напрасно пытался развлечь его беседой о превосходстве французской стрельбы над немецкой. «Но ведь все-таки немцы тоже стреляют», — стонал испанец и потребовал лист бумаги, чтобы написать жене последнее письмо.

Мы отошли в сторону. Было тихо и весьма мирно. Учитель разговорился с офицером, командовавшим батареей, и тот предложил, чтобы ознакомить нас с ходом артиллерийской дуэли, открыть стрельбу.

Обыкновенно она начиналась на два часа позже. Выстроенные в ряд, стояли огромные длинношеие чудовища. Крохотные гномы суетились вокруг них, подкатывали снаряды, дергали веревку, отбегали. Чудовища наклонялись, высоко выплевывали нечто черное, на одно мгновенье зримое, изнеможенные откидывались назад. В ответ несся грохот экспресса, влетающего в стеклянные своды вокзала. Это были немецкие снаряды.

Учитель долго, почтительно глядел на разъяренное, горячее, полное воли и огня чудовище. «Можешь смеяться над Господом и над поэзией, над родиной и над свободой,— сказал он мне,— но перед орудиями благоговейно преклонись. Из их глотки вылетает не только смерть сотни-другой людей, но черное, неизбежное будущее». И потом он сказал еще: «Кстати о свободе. Ты заметил — о ней забыли все, кроме разве профессиональных журналистов. Как эти люди подчинили свои чувства, думы, дни разумным машинам, так вся Европа предана сейчас железному, единому закону. О свободе, самой простой, не той торжественной, что в конституциях: «слова, совести, передвижения» и прочая, прочая, нет, о свободе жить, думать, ходить в гости, бить полотенцем мух, писать стихи, вешаться от любви на галстуке, о человеческой свободе забыли. Свобода стала анахронизмом». И потом добавил: «Кстати, ее и не было, этой свободы, был подлог, кукла, игрушка. Ее и не могло быть, пока была подделка. Конечно, война уже убила сотни тысяч людей, но она уничтожила также одним железным дуновением, одним вот таким снарядом-плевком мерзостную восковую красотку в витрине универсального магазина, свободу в корсете и в игривом декольте (конечно, не ниже стольких-то сантиметров)».

В это время раздался душераздирающий крик испанца, пережившего все муки ожидания смерти и дошедшего до агонии. Делать было нечего, мы повернули к Парижу.

Дома нас ждали неприятные новости. Оказывается, наши телеграммы с декларацией и претензии на аннексии различных территорий вместо министерства иностранных дел попали в префектуру полиции. Кроме того, выдающийся географ, член Академии, проделав различные изыскания, пришел к выводу, крайне изумившему как его, так и нас, что республика Лабардан

якобы вовсе не существует, есть остров Лабрадор и еще Лапландия, но она не республика. Это сообщение было напечатано в воскресном номере «Фигаро» и также, очевидно, по известной всем любви французов к географии, попало в префектуру.

К Хуренито явился полицейский и начал с ним беседу отнюдь не дипломатическую. Мне он также сказал нечто неприятное, но я, вспомнив лист с красной печатью и наставления Учителя, в последний раз промолвил «мерси» дипломата. Мы оказались в трагическом положении, но благодаря находчивости и такту Учителя все закончилось несколькими неприятными минутами и визитной карточкой одного симпатичного депутата.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

«Чемпион Цивилизации» и ожерелье Айши

Благодаря горячим симпатиям к делу союзников, красноречию и организаторским способностям Хулио Хуренито вскоре завоевал всеобщее уважение. Он был лучшим устроителем различных патриотических утренников, благотворительных базаров, концертов. Прекрасная виконтесса де Буран, получив за гвоздику сто франков «на разумные развлечения для наших бедных солдатиков», долго возбуждала зависть своих подруг рассказами об удивительном мексиканце. Он помог открыть невиданный по размерам «тир в голубей», где дамы, полные священного порыва, а также молодые люди из хорошего общества с неизлечимыми пороками сердец, могли стрелять если не в кровожадных бошей, то в раскормленных и разучившихся летать голубей. Плата за вход шла в пользу раненых воинов. Хуренито не забыл также о несчастных беженцах: для них в особняке маркизы де Жибье он устроил интимный бал-маскарад. Зал стараниями модного художника Гапаранды был преобразован в поле битвы, гости одеты солдатами, широкоштанными зуавами, индийцами в тюрбанах, матросами, тюркосами и сестрами милосердия. Сенегальцы сервировали в бокалах, имевших форму гранат, простой солдатский ром. Шампанское было заморожено в ведерках, напоминавших снаряды. Различные уютные уголки были ограждены колючей проволокой. В саду

пускали беспрерывно ракеты. Чистый сбор в пользу беженцев достиг восьмидесяти франков. Вдохновитель, верный помощник дам, не выносящих светского безделия, Хуренито способствовал организации многих полезных учреждений: в одном — «Возвращенный очаг» — жительницам разоренных войной мест за какие-нибудь десять часов неумелой работы давали чистую койку и питательный обед, состоящий из супа и вареной чечевицы, в другом — «Кусочек сахара» — всем младенцам, отцы которых были ранены не менее трех раз, выдавали совершенно бесплатно раз в неделю кусок сахара.

Но больше всего Хуренито любил организовывать делегации к различным памятникам. Это были великолепные паломничества ко всем конным и пешим статуям парижских площадей. Не удовлетворенный Парижем, он выезжал на гастроли в провинцию. Так, им были отмечены четырнадцать Республик, девять Свобод, четыре Гамбетты, одиннадцать Жанн д'Арк, маршал Ней, аббаты, открывшие хинин, неизвестная голая женщина (по всей вероятности, также Свобода), Альфред Мюссе и бронзовый солдат в Пуатье. В это время облик Учителя стал известен всему цивилизованному миру, так как ежедневно в тысячах кинематографах, после бебе, примиряющих неверных супругов, и похитителя сапфиров Индостана, обнаруженного сыщиком, на экране появлялся высокий патетический господин, возлагавший под бравурные звуки «Марсельезы» к ногам очередного героя большой венок с лентами.

Особенно удачно прошла последняя манифестация. Это было в начале октября. Учитель в унынии рыскал по городу, ища хотя бы одну еще не использованную им статую, но все было тщетно. Две тысячи восемьсот шесть паломничеств истощили Столицу Мира. Хуренито начал уже подумывать о заграничных поездках — там была девственная целина: полки британских адмиралов с невнятными именами, Витторио-Эммануилы, Скобелевы, все что угодно и в любом количестве. Но совсем неожиданно, проходя по узкой уличке Мутон-Дювернэ, недалеко от кладбища Монпарнас, Учитель вздрогнул и замер: перед ним в грязном дворе, рядом с мастерской цинковых ванн, стояла статуя, пусть поврежденная, в пыли, без пьедестала, но настоящая неизвестная статуя. Это был некто мужского пола, в одной руке державший как будто бы книгу, в другой, поднятой к небу, остатки весов.

Началось серьезное научное расследование. Сотрудник «Ля круа», аббат-археолог, заявил, что это архангел Михаил, измеряющий грехи Франции и возвещающий ее спасение. Относительно костюма архангела (статуя была в сюртуке) он сделал доклад: «Религиозные предчувствия и ясновидения наших гениев средневековья». Другой археолог утверждал, что найденная статуя изображает древнего галла, в руках его не книга и весы, а лук и шкура дикого медведя; статуя происхождения крайне раннего, но сюртук приделан при реставрации в середине прошлого столетия.

Совершенно особого мнения придерживалась консьержка, во дворе которой статуя была обнаружена. В ее наивном и вульгарном представлении эту статую лет десять тому назад заказала мастеру надгробных памятников мосье Бэку вдова мосье Краба, владельца большого колониального магазина на рю Фруадево. По настоянию вдовы мастер изобразил покойного лавочника с любимыми весами и приходо-расходной книгой. Но когда статуя была готова, легкомысленная вдова внезапно вышла замуж за содержателя бродячего цирка, уехала с ним в турне и заказа не взяла. Мосье Бэк четыре года тому назад бросил мастерскую (ту самую, где теперь делают ванны), не заплатив консьержке денег и оставив ей вместо этого изображение мосье Краба и старого, лысого кота. Кот издох, а статуя осталась. Такова была версия консьержки, достойная быть отмеченной как образец младенческого невежества.

Но Учитель не удовлетворился и соображениями двух археологов. Он выставил свою гипотезу. Статуя — это Чемпион Цивилизации, он держит Декларацию прав человека и гражданина, а также символ вечного правосудия — весы. Хулио Хуренито объявил, что 28 октября состоится торжественное паломничество к статуе Чемпиона Цивилизации. Приглашались различные научные и спортивные общества, а также академические делегации союзных и нейтральных стран.

Был прекрасный, солнечный день. Двор пристыженной консьержки был заполнен важными делегациями. Академия наук, кружок молодых пловцов через Сену, военный атташе Черногории, Общество патриотов непризывного возраста, артистки театра «Сан-Прежюдис» и другие с приветственными речами воз-

ложили венки. Неожиданным и трогательным было выступление консьержки: «Простите меня, господин Краб, то есть Чемпион Цивилизации! Я вас видела каждый день за прилавком и здесь у себя во дворе. Но я не знала, что ваши весы — символ правосудия, и я никогда не заглядывала в вашу книгу на конторке. Теперь, когда к вам пришло столько почтенных господ, я поняла все! Примите же и этот скромный дар!» — и она в экстазе бросила к ногам статуи свою метлу.

Последним выступил Хуренито. Я удивился, увидав, что он не принес венка. Как это могло случиться? Ведь Учитель готовился к торжеству. Говорил он выразительно и с глубоким чувством: «Дорогой Чемпион Цивилизации! Я не буду после стольких прекрасных речей напоминать о твоих былых подвигах. В переживаемые нами трагические дни твой образ светит миру. Здесь, на этом скромном дворе, зажжен неугасающий маяк. Ты создал божественную декларацию и, чтобы написанное не осталось мертвой буквой, взял бесстрастно весы, каждому отвесив по заслугам. Но вот дикие варвары, готы, современные Аттилы, каннибалы, деспоты посягнули на цивилизацию, на священные права человека и гражданина. Ты не уступил, сгрудив вокруг себя другие, младшие народы, ты поднял знамя борьбы за человечность, за гуманность, за любовь к слабым. Я не принес тебе венка. Какие цветы достойны лежать у твоих ног? Не эти, мирных садов и теплиц, но выросшие там — на поле брани. И я верю, что один из миллионов героев принесет тебе высший дар — победные трофеи, взятые у поверженного варвара!..»

Учитель не закончил своей проникновенной речи. Растолкав толпу и повалив какого-то чрезмерно маститого академика, к нему подбежал негр в солдатской форме, с болтавшимся рукавом шинели вместо правой руки. Мне трудно теперь передать изумление и радость, охватившие меня, когда я его разглядел — это был наш дорогой маленький Айша. Он целовал руки и жилет Учителя. Наконец, отдышавшись, он сказал:

«Господин! Добрый господин, Айша нашел тебя! Ты хорошо говорил, и бог твой — хороший бог!

Если б у Айши была рука, Айша бы сделал тоже такого бога, но у Айши нет руки. Айша был на войне! Страшно! Сначала Айша был глупый! Не хотел идти! Господин капрал, добрый господин, хотел убить Айшу. Айша очень боялся. Пушки у-у-у! Потом Айша

выскочил, бросил винтовку, вынул ножик, кричал, бежал. Помнишь, господин, ты спросил Айшу, как он режет ножиком? Айша прибежал. Немец, два, пять, десять, много немцев, он всем головы отрезал. Потом француз поймал пять немцев и не знал, что с ними делать, глупый француз, он говорит Айше: «Веди их к генералу». Айша не дурак. Добрый капрал учил Айшу — немец враг, немца надо убить. Айша зарезал всех. Потом пушки снова бум-бум! Айша понял — злой бог, хитрый бог, надо себя спасать, надо взять на сердце «гри-гри». Айша вырвал зубы у всех убитых немцев, сделал «гри-гри» и положил на сердце. Потом пуля ударила прямо в Айшу, злая пуля. На сердце был «гри-гри», Айша не умер, только руку отрезали Айше. Очень больно, господин! Айша носит всегда свой «гри-гри»! Айша любит «гри-гри». Но господин говорит, что это хороший бог. Господин не знает, что подарить своему богу. Айша любит господина! Айша дает свой «гри-гри»!»

Айша вынул из-за пазухи большое ожерелье из пожелтевших человеческих зубов, искусно просверленных и нанизанных на голубенький шнурочек. Учитель, повернувшись к статуе, торжественно сказал: «Великий Чемпион, я даю тебе героическое приношение твоего брата — скромного, безвестного борца за святое дело мировой цивилизации. Я кладу этот наивный и прекрасный дар на чашу весов, колеблющихся на повороте истории, да ляжет он всей тяжестью любви, жертвы и гуманности!» И действительно, на остов весов Учитель повесил ожерелье Айши.

Это была незабываемая минута. Многие, даже мужчины, даже военный атташе Черногории, растроганные, плакали навзрыд.

На следующий день описание церемонии и подарка Айши было напечатано во всех приличных газетах, а неделю спустя Айша, который снова поселился в квартире Учителя, получил телеграмму с извещением о том, что университет Лиссабона, восхищенный его беззаветным героизмом в деле защиты цивилизации, постановил присудить ему, Айше, звание доктора «гонорис кауза». Но Айша отнюдь не возгордился этими почестями. По-прежнему, скаля зубы, он тихонько просил у Учителя мелкую монету, чтобы купить шоколад с начинкой. Его очень смущал не наполненный ничем рукав. Тогда Хуренито купил ему особенную

механическую руку американской фирмы «Ультима». Искусственной рукой Айша чрезвычайно гордился и даже говорил, что, не будь это так больно, он бы отрезал другую, обыкновенную руку, чтобы получить «Ультиму». Единственное, чего он не мог делать с «Ультимой»,— это заниматься изготовлением богов. Учитель посоветовал ему вместо этого, беря с него пример, ходить в гости к чужим богам, то есть к различным парижским статуям, что Айша и делал с величайшим рвением. Богов он толковал по-своему, достаточно неожиданно: «Республика» была, по его мнению, богиней плодородия — «в животе дитя, молоко есть», «Свобода» — богиней танцев, «веселая, сейчас полетит «чик-чик», Дантон — «хороший бог, голову отрезал, очень доволен», «Мыслитель» Родена — «плохой бог, сидит, живот у него болит» и так далее. Впрочем, всех их без различия он часто навещал и носил им пуговицы, старые перья, даже серебряную бумагу от шоколада, которую сам страстно любил.

Иногда по вечерам в эти годы величайшей катастрофы, сидя в уютной столовой за круглым столом, под лампой с Учителем и Айшой, я забывал обо всем испытанном и чувствовал себя в тесной, неразлучной семье.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Хозяйство мистера Куля

Не удовлетворенный деятельностью идеологической и филантропической, Учитель решил приступить к практической работе. Прежде всего, он вернулся к своим химическим изысканиям; с исключительным терпением и настойчивостью он стремился найти различные, доселе не использованные способы умерщвления людей. Уже удушающие газы и насосы с пылающей жидкостью, о которых он писал в 1913 году, казались ему детской забавой. Он возлагал все свои надежды на известные эффекты лучей и на радий. Были забыты виконтессы и маркизы, по целым дням он не выходил из своего кабинета. Он жаловался мне на недостаток средств — ему не хватало каких-нибудь трехсот тысяч долларов, чтобы купить необходимое для опытов количество редкого металла. Еще бóльшие затруднения вызывало

отсутствие материала для проверки — ни кролики, ни собаки не могли заменить человека. Хуренито обратился к властям с просьбой предоставить ему для важных опытов партию военнопленных, но из-за предрассудков ему было в этом отказано.

Однажды Учитель вышел ко мне веселый и оживленный; несмотря на все затруднения, он нашел средство, которое значительно облегчит и ускорит дело уничтожения человечества. Он объяснил мне основы сделанного открытия, но по моей прирожденной тупости к физике и математике я ничего не усвоил, кроме того, что можно в течение одного часа на стоверстном фронте убить не менее пятидесяти тысяч человек. «Если б здесь был мистер Куль, он помог бы мне осуществить это изобретение!» — горестно воскликнул Учитель, понимая, что ни я, ни Айша не можем ссудить его нужными средствами для изготовления довольно сложных аппаратов. Обратиться же непосредственно к правительству, после полученного отказа, он не хотел.

Мы пробовали разыскать мистера Куля в церквах, в публичных домах, в клубах. Справлялись о нем в библейском обществе, в банках, но никто не знал его адреса. Как-то, совсем отчаявшись, после безрезультатных розысков, мы сидели в маленьком баре у Северного вокзала и пили дрянное винцо, когда к нам подсел солдатик, только что приехавший с фронта. Он был на участке, смежном с англичанами, и рассказывал о них много забавного: «Какие они чистые и глупенькие! Во-первых, моются каждый день! Да не лицо, а все тело! Ну, что вы скажете? Потом ходят в церковь и там все поют, да так весело, как будто это трактир. Есть такие, что ходят не в штанах, а в юбках. Я раньше думал, что у них снизу все-таки как-никак, а штаны. Даже поспорил с кухаркой английского генерала. Так та на лестнице подсмотрела. Ничего! Каково? Потом, как приезжают, сейчас: «Где французское вино?» Одному дали уксус, он выпил, не сморгнул. «Иес!» А как уезжают к себе — в парфюмерный магазин: женам подарки. В Амьене каждый день хвост. И чего им только не подсовывают! Вместо духов — клопиную жидкость, вместо маникюра — приборы для выпиливания. Чудаки! Или еще — английские летчики сбрасывают стрелы, а на стрелах надписи, гимн, что ли! Вот посмотрите, я одну везу в подарок сыночку!» Солдат показал нам

стрелу, на ней по-английски значилось: «Брат, войди в царство небесное!» Увидав это, Учитель в величайшем волнении закричал: «Это мистер Куль, не иначе!» И побежал в английское консульство, чтобы завизировать наши паспорта.

В течение нескольких недель мы искали следы мистера Куля в военном министерстве и в различных департаментах снабжения. Нельзя сказать, чтоб это занятие пришлось нам по вкусу. В нас заподозрили немецких шпионов, арестовали, тщательно допрашивали, интересуясь, чем занимался в 1898 году двоюродный дядя Хуренито, живший в Мексике, и есть ли у моей двоюродной сестры в Новгород-Северском недвижимая собственность. Потом нас заставили широко раскрывать рты, ища в них чего-то, кроме зубов и языка, терли вонючей жидкостью, от которой на теле должны были выступить предполагаемые записи, и наконец, после энергичного вмешательства мексиканского посла, выпустили. Зато именно в день ареста мы узнали адрес завода в штате Миссури, отливающего стрелы для авиации.

Мы послали немедленно каблограмму по указанному адресу, причем Учитель был настолько уверен, что эти стрелы изготовляются при участии нашего друга, что депешу адресовал непосредственно на его имя. Ответа не было, и мы решили ехать в Америку. За два часа до отхода нашего парохода Учитель получил телеграмму из Кале: «Жду. Отель «Британик». Куль».

Мы застали мистера Куля в разгаре работы. Приветствуя нас возгласом «э!» и энергичным движением ноги, лежавшей на письменном столе, он попросил у нас разрешения закончить самые неотложные дела. Мы сели, слушали его беседы с различными людьми — приходившими или по телефону, но я никак не мог понять, чем именно занимается предприимчивый американец. Зато я узнал, что в Австралии бараны хворают какой-то заразительной болезнью, что в автомобилях «бэрмон» сто восемь составных частей, что испанские девушки чрезвычайно выносливы, что слезоточивые газы вещь недорогая и много других полезных сведений.

Отпустив последнего посетителя, который зачем-то принес с собой огромный круглый сыр, мистер Куль отдался дружеской беседе с нами. Прежде всего, указав

рукой на восток, он мирно, даже как-то патриархально сказал: «Теперь у меня большое хозяйство, едва управляюсь. О друзья мои, какое великое дело война — это оздоровление Европы!» Потом он посвятил нас в различные отрасли своего изумительного хозяйства. Он поставлял все, что способны дать пять частей света. Ежедневно в Кале, в Булони, в Дьеппе разгружались десятки пароходов. Из Австралии привозили замороженные туши баранов, из Америки снаряды и автомобили, из Бразилии кофе, из Китая рис, из Северной Африки низкорослых ослов. Кроме казенных подрядов, мистер Куль проявлял частную инициативу, прежде всего в своей излюбленной отрасли: в тыловых городах он поставил на широкую ногу публичные дома, обслуживавшие военных. Так как туземных ресурсов не хватало, он выписывал женщин из Ирландии, из Испании, с юга Франции. Потом он открыл фабрику дешевых бисерных венков с национальными значками. Наконец, не забывая о своей основной, глубоко нравственной цели, он устроил ряд передвижных бараков-церквей, приспособленных также для кинематографических сеансов и для угощения солдат чаем, он печатал и раздавал в огромном количестве поучительные комментарии к Библии и даже на казенных стрелах ухитрился благодаря рассеянности принимавшего их офицера поместить обнадеживающую надпись.

Закончил свой рассказ мистер Куль словами глубокой надежды: «Война исправляет человечество. Никогда доллар и слово Божье не были так тесно слиты, как теперь. В этом залог спасения!»

На следующий день мистер Куль решил показать нам свое «хозяйство». Мы получили надлежащие пропуска и отправились в автомобиле по направлению к Сен-Полю. По длинному прямому шоссе полз ряд грузовиков с дарами мистера Куля: со снарядами, тушами мяса, пулеметами, сгущенным молоком, марлей, аппаратами для отравляющих газов, а также с теми, для кого все это предназначалось,— с прибывшими из Англии солдатами. Навстречу ехали пустые грузовики, только на некоторых лежали люди отработавшие, обмотанные марлей и неподвижные. На перекрестках стояли солдаты-полицейские, совсем как на Пикадилли-стрит, и флажком направляли движение автомобилей. Все было мудро и гениально в своей простоте. Туши варились. Солдаты ели суп. Снаряды

подкатывались к орудиям. Потом, по минутной стрелке, орудия стреляли, солдаты выбегали из окопов и занимали пространство в сто шагов. Одних после этого закапывали, других перевязывали и клали на грузовики, третьим давали снова есть. Отправляли донесение в штаб. В штабе составляли сводку и посылали новый приказ. Подвозили новых солдат, снаряды, туши баранов и так далее. Это продолжалось изо дня в день, месяцы, годы, и мистер Куль, видя свой вклад в общее дело, имел все основания быть гордым.

Потом мы поехали назад к Руану и увидали другие достижения нашего друга. На огромных кладбищах, с выстроенными в шеренги крестами, мы оценили практичность и красоту его венков. В маленьком городке, где стояли английские, французские и бельгийские войска, мы восхищались изумительным публичным домом, с гигантской пропускной возможностью и с образцовым порядком. И наши сердца глубоко умилили религиозные проповеди соратников мистера Куля, обращенные к солдатам, мирно вытиравшим после законченной работы свои штыки о траву. Они говорили: «Братья! Сказано — не убий! Убивать нельзя, и за это сажают в тюрьму, но защищать свое отечество и слушаться начальников долг каждого христианина. Братья! Будьте патриотами, истребите нечестивых врагов Христа — тевтонов. И не злоупотребляйте спиртными напитками!» Все вместе это было глубоко трогательно и напомнило мне далекие видения — бедного Франциска, беседующего с поселянами Умбрии.

Поблагодарив мистера Куля за доставленное нам удовольствие, Хуренито поделился с ним своим изобретением и своими надеждами. К моему удивлению, мистер Куль не только не обрадовался гениальному открытию Учителя, но пришел в угнетенное состояние. «Я прошу вас, дорогой друг,— сказал он Хуренито,— до поры до времени никому о вашем изобретении не рассказывать. Ведь если так просто можно убивать людей — война через две недели закончится и все мое сложное хозяйство погибнет. А моя родина только собирается воевать. Оставим это на крайний случай. Я вам дам возможность сделать ваши аппараты, если вы обещаете пока не употреблять их». Подумав немного, Учитель согласился. Он сказал, что действительно все, что он видел в последние дни, достойно развития и поощрения. Мне известно, что аппараты

он изготовил и оставил на сохранение мистеру Кулю. Когда год спустя он захотел наконец их использовать, мистер Куль начал всячески оттягивать дело, уверяя, что отвез аппараты в Америку, а поручить привезти их никому нельзя, и прочее. Я полагал, что мистер Куль руководится при этом соображениями финансового характера, но как-то он признался, что немцев можно добить французскими штыками, а фокусы Хуренито лучше оставить впрок для японцев. Впоследствии обстоятельства сложились так, что Учитель не вспоминал никогда об этом изобретении, но во всяком случае — я знаю это доподлинно,— аппараты и объяснительные записки находятся сейчас в руках мистера Куля.

Получив от Хуренито соответствующее обещание, мистер Куль снова пришел в хорошее настроение, внимательно выслушал о различных усовершенствованиях, придуманных Учителем в области военной,— о новых газах, быстроходных танках и другом, предложил Хуренито работать впредь с ним, расширяя и модернизируя дело. Учитель высказал свое полное согласие. Тогда встал вопрос обо мне и об Айше. Оба мы ничего не понимали в военной технике и не обладали никакими организаторскими способностями. Было решено, что Айша займется продажей бисерных венков,— мистер Куль находил, что его искусственная рука, военная медаль, черная кожа и громкий титул доктора «гонорис кауза» Лиссабонского университета будут как нельзя более способствовать удачной торговле патриотическими изделиями. Мне же было предложено занять место кассира в одном из публичных домов Амьена, устроенном мистером Кулем.

Через три дня я уже сидел в передней небольшого особняка за столиком, выдавая каждому посетителю билет, в зависимости от платы, часовой или на всю ночь, и назидательную листовку «Бог есть любовь!». Я сидел вечером, ночью, глядел на нетерпеливые жесты входящих, на зевки уходящих. Слушал долетавшие из зала звуки военных маршей, смех, порой ругань, стоны. Иногда раздавались пронзительные женские крики. Раз солдат, подвыпив, начал стрелять в портрет голландской королевы, висевший почему-то в одной из комнат. Но в общем было тихо. Мимо меня проходили ежедневно сотни посетителей. Иногда я встречался с женщинами, они утомлялись работой, но условиями

были довольны. Многие заболевали, их увозили, привозили других. Я просыпался часов в шесть вечера, обедал, просматривал газеты и шел на работу. Там я, тупо глядя на проходящих мимо солдат, отрывал билетики и в промежутках писал свою книгу «Стихи о канунах», о которой потом благожелательно отозвались многие маститые критики, в том числе и В. Я. Брюсов. Но через месяц я уже не мог писать стихи и проявлял ко всему полное безразличие. Как-то зашел навестить меня Учитель. Я встрепенулся, начал жаловаться на скуку, на мерзкий запах, на тапера, на пьяную икоту гостей. «Я не могу больше так жить! Зачем все это?» — кричал я. «Мой друг, не ты ли в мирной «Ротонде» среди ряженых натурщиц мечтал о бомбе, о крохотной бомбочке, которая уничтожит все? Теперь ты служишь на огромном заводе, который ежедневно уничтожает десятки тысяч людей!»

Я не возразил, только жалостливо всхлипнул и оторвал билетик очередному посетителю.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Благословенный Сенегал.— Различные толкования французского слова «пуар»

Мне кажется теперь, что я впал бы в тихое умалишение, если бы в начале 1916 года Учитель, приехав в Амьен, не спас меня. Когда он пришел ко мне в заведение, я уже выявлял такое безразличие к происходящему, что, взглянув на него, протянул ему билетик. В ответ Учитель повелительно сказал: «Сдай кассу управляющему, мы едем в Париж».

В автомобиле я нашел мистера Куля и Айшу. Выяснилось, что все страшно устали от напряженной работы и чувствуют потребность в достаточно длительном отдыхе. Куда? В Сан-Ремо? В Биарриц? В Севилью?.. Выступил Айша: «Ко мне — в Сенегал!» Это не только всех развеселило, но и понравилось. А мистер Куль там зря не потеряет времени: вопросы экспорта сырья, как человеческого, так и другого. Решено! Брест. Пароход «Провиданс». Солнце. Айша прыгает. Айша рад, что едет к себе, он сможет похвастаться всем — рукой «Ультима», мистером Кулем, дипломом с печатью, шоколадными поросятами, которых он везет в подарок.

Трудно передать всю сладость полного и глубокого отдыха, блаженной дремоты в тени убогого шалаша, приятного холодка реки, как бы смывающей с меня пыль, чад, мразь родной Европы. Я был когда-то молод, игрив, влюблялся, ходил с букетиком на свидание, писал стихи, краснел от восторга, когда какой-нибудь провинциальный журналистик писал: «Ничего себе... Поэт милостью божьей»,— словом, испытывал что-то приятное. Но только пять недель в жизни я был просто и всемерно счастлив, пять недель там, далеко на берегах широкого Сенегала!..

Я забыл все — войну, искусство, родных и друзей, оставшихся в Европе. Я убежден, что если бы в негритянских деревушках были бы городовые и один из них подошел бы осведомиться о моей личности — я бы промычал что-либо, или хлопнул бы его дружески по животу, или убежал бы под скирды сухого тростника,— я не помнил своего имени. Я не разлучался с Айшой, вместе с ним купался, пил овечье молоко, ел свежие финики и жирные полусырые лепешки, а когда он в банге, то есть в зверинце для богов, близ хижины, начинал молиться, я тоже ползал на брюхе перед очаровательными уродцами, сделанными из дерева, птичьих перьев, раковин, рыбьей чешуи, и рычал: «У-гу-гу». Айша быстро изменил европейскому костюму, он оставил на себе лишь белый пикейный жилет и был очень своеобразен в нем с блестящей искусственной рукой. Правда, он иногда перебрасывался несколькими словечками со своими сородичами, чего я делать не мог. Но я не завидовал и не грустил; без слов я понимал здесь больше, нежели при самых откровенных, задушевных беседах с белыми.

Я спрашивал Учителя — не лучше ли и нам, по примеру Айши, скинуть штаны и остаться навсегда в этой обетованной стране? Но Учитель отвечал: «Недостойно человеку глядеть назад. Детство — блаженное время, но что ты скажешь о зрелом муже, вырывающем из рук ребенка погремушку, чтобы самому поиграть с ней? Никогда о не прошедших еще через все скверны не говори «счастливые», пожалей их. Айша снова наденет свои брюки. Не гром богов пройдет по этой стране, не трескотня мотоциклеток, пулеметов, пишущих машинок. На месте милых бангов прозревшие наивцы выстроят публичные дома мистера Куля и иерархические кладбища мосье Дэле. И мы, отдыха-

ющие теперь здесь, в этом доисторическом Трувиле, должны будем им помогать. Что ж, еще один потерянный рай, только начало трудно, теперь нам не привыкать!..»

Я запротестовал — зачем помогать, надо сопротивляться. Но Учитель сказал, что мы приехали сюда для отдыха, а не для споров, я очень плохо выгляжу, и самое разумное — идти купаться.

Некоторые заботы причинял нам мистер Куль. Вначале, в поселках береговой полосы, он чувствовал себя великолепно. Потом, чем выше мы подымались по реке, направляясь к родине Айши, тем более и более он высказывал недоумение, а часто и негодование. Он говорил, что Африка еще хуже Европы. Его доллары не производили на негров никакого впечатления, и о Библии никто из них ничего не слыхал. Мистер Куль, обиженный, потребовал наконец, чтобы мы немедленно повернули назад. Но Айше очень хотелось побывать в родных местах, и он несколько успокоил мистера Куля, объяснив ему, что вместо бумажек с портретами американских президентов здесь существуют особые ракушки, а вместо Библии — амулеты. Все же мистер Куль становился каждый день в тупик. Учитель получил от одного вождя лук с резьбой по слоновой кости, при всей грубости работы оцененный мистером Кулем в три доллара, но никаких ракушек в обмен не дал. Также совершенно бесплатно Айша уходил под пальмы с черными женщинами, которые вместе с тем не являлись его законными женами. «Величайший беспорядок! — восклицал мистер Куль.— Только теперь я вижу, насколько благоустроена Европа! Нужна гигантская энергия, чтобы хоть немного просветить эту страну!» А так как энергии у мистера Куля был переизбыток, он приступил немедленно к делу и, созвав барабанным боем жителей ближайшей деревни, объяснил им с помощью Айши, что главным предметом поклонения должны являться доллары, то есть золото, то есть ракушки. Но неутомимого проповедника ожидало страшное испытание. Негры оказались последователями религии Бори, поучающей, что в людей вселяются злые духи, которых нужно всячески изгонять, и, на горе мистера Куля, не менее рьяными в исполнении своих нравственных обязанностей, нежели он сам. Услыхав поучения и поглядев на американца, важно подтверждающего кивками головы слова

Айши, они решили, что в бедного гостя вселился злой дух Алладьену, и, окружив его тесным кольцом, стали изгонять духа. Для этого они два дня и две ночи, сменяя одни других, в страшных масках, пели, плясали, кричали, били в медные гонги, ударяли в набитые на шесты шкуры, стучали по деревянным пластинкам с привешенными к ним сухими тыквами, дергали зубцы огромных металлических гребней и струны, натянутые на скорлупы кокосовых орехов,— словом, всячески пугали Алладьену. Мистер Куль пробовал вырываться, бил играющих, кричал что есть мочи, но это лишь подбодряло негров, полагавших, что дух начинает буйствовать, отходя от человека, и они еще громче пели и играли. На третье утро мистер Куль затих. По-моему, он начинал сходить с ума, ибо, сидя на земле, бессмысленно, блаженно улыбался. Тогда, убедившись, что Алладьену покинул человека, негры бросили инструменты и напоили мистера Куля пальмовым вином.

Мы двинулись дальше и наконец достигли долины, где была деревня Аларум — родина Айши. Но вместо хижин мы увидали следы недавнего пожарища. Людей не было. В окрестных полях мы нашли маленького негритенка лет пяти, который сосал вымя пасущейся мирно козы. Мальчик, увидя нас, бросился прочь, а настигнутый, ничего не смог объяснить. Айша плакал, ложась на живот, рыл землю и целовал ее комья. Но как ни велико было его горе — мы решили повернуть домой.

Вскоре в небольшом поселке напали мы на стоянку солдат иностранного легиона, которые и рассказали нам, что во время последней охоты за рекрутами негры Аларума взбунтовались, произвели ночью злостное нападение на лагерь, убив двух солдат. Эта вспышка, вызванная, вероятно, коварными происками немцев, была быстро подавлена, преступники наказаны, а деревня сожжена.

В большой хижине помещался полевой лазарет, там лежали два солдата, один раненый во время усмирения восстания, другой больной местной лихорадкой, закутавшись с головой в одеяло. Поговорив с первым о занимательных эпизодах боя, мы собрались уходить, когда с соседней циновки раздался по-русски отчетливый крик: «Негритенок! Бедный, черный!.. С высоты моего божественного «я» утверждаю челове-

ческое достоинство... Пить, пить!..» Я подбежал, отдернул одеяло: передо мной лежал Алексей Спиридонович. Он глядел на меня, ничего не видя, и продолжал бессвязно бредить.

Мы остались в деревне, ожидая выздоровления больного. Через шесть дней жар сразу спал. Алексей Спиридонович пришел в себя и по-детски бурно обрадовался, увидав нас, сидящих вокруг него. Только Айши он почему-то сначала испугался, но тот проявил к нему величайшую нежность, поцеловал кончики его волос и подарил ему большой кокосовый орех. Подкрепившись, Алексей Спиридонович сразу захотел рассказать нам всю свою жизнь и начал с первых младенческих впечатлений. Но Учитель напомнил ему, что все это мы знаем почти так же обстоятельно, как и сам он, и что лучше ограничиться последними годами.

Рассказ Алексея Спиридоновича, как всегда, был пространен, насыщен философскими отступлениями, но весьма печален. Его, вместе с другими русскими, мечтавшими о жертве, святой Софии и свободе, зачислили в иностранный легион. Сержанты и капралы всячески попрекали и унижали их: «Помните, что вы пришли сюда есть наш французский хлеб!» Никакие доводы Алексея Спиридоновича, пробовавшего доказывать, что фронт не вполне удобная столовая, на них не действовали. Вместе с русскими были и другие легионеры: француз Крик, преобразовавшийся в бельгийца, занимавшийся в течение двенадцати лет в Марселе мирной торговлей женщинами, потревоженный полицией и вырабатывавший себе чистенький документ, немец из Дрездена Хун, убивший свою тетку, бежавший во Францию и попавший в легион. Хун клялся всем, что он не то поляк, не то эльзасец, не то голштинец, но немцев во всяком случае будет колоть не хуже, чем другие. Испанец Хопрас презирал все существующие на свете ремесла, кроме боя быков и войны. Для боя быков он оказался непригодным вследствие природной тучности и неповоротливости, а посему, ограбив саламанкского ювелира, остановился в выборе дальнейших занятий на иностранном легионе. Эти и им подобные воины русских звали «пуар», что по словарю Макарова означает, кроме «груши», «простофилю», и проделывали над ними различные эксперименты, пользуясь своей старой штатской практикой. Побывав в боях и просидев год в окопах,

русские тихонечко попросили начальство перевести их в самый обыкновенный французский полк. Эта просьба показалась более чем подозрительной, и решено было, для оздоровления от причуд, десяток русских расстрелять. Когда же перед смертью преступники стали кричать: «Вив ля Франс!», то всем стало ясно, что это дерзкий мятеж, и нерасстрелянных спешно отослали в Африку. Среди них был и Алексей Спиридонович. В Африке он исправлял дороги, чистил чьи-то сапоги, ловил негров, усмирял арабов и, проделывая все это, томился над загадкой — где же жертвенность, Христос и святая София?

Недели три тому назад его послали с другими усмирять негров. Один черный, молоденький, совсем как Айша, кинулся на него с копьем. Он выстрелил. Кажется, убил. Потом лихорадка — он ничего больше не помнит.

Услыхав об убитом негре, Айша начал визжать, прыгать и плакать: «Это Аглах, брат Айши!» Алексей Спиридонович тоже расплакался, ища у Хуренито помощи. «Скажи же мне, как это? Я хотел спасти Россию, человечество, отдать себя на муки, защитить Христа и вместо этого убил какого-то негра! За что? Я человек! Во мне божественное начало! Как же я пал так глубоко?» Но Учитель не хотел верить ни в жертвы, ни в Христа, ни в божественное начало. Он мрачно сказал: «Ты жалкий раб мистера Куля, а мистер Куль раб своей синей книжки. Книжка знает, зачем надо было убить непослушного негра. Пора тебе метафизику заменить начальной арифметикой. Проще и вернее».

Айшу он успокоил, нежно гладя его по курчавой голове: «Алексей Спиридонович не виноват. У него тоже был добрый капрал. Он хотел поставить на крышу Айя-Софии,— это дом такой,— маленький крестик. А капрал сказал: «Стреляй в Аглаха!» У тебя рука «Ультима» и диплом, а у него ничего нет, и он плачет». После этих слов Айша куда-то исчез и вернулся с большой трубкой, выдолбленной из плода калабаша. Он дал ее Алексею Спиридоновичу: «Айша хотел тебе дать руку, но у тебя есть две, тебе некуда ее повесить. Это очень хорошая трубка. Айша сделал. Айша тебя любит!»

Алексей Спиридонович поправлялся медленно. Лихорадка осложнилась заболеванием печени, и Хуренито начал хлопотать о его полном увольнении. Через

две недели благодаря стараниям Хуренито на одном пароходе с нами Алексей Спиридонович был отправлен в госпиталь Тулона и там признан для дальнейшей службы негодным.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Папа благословляет ЖБД.— Фра Джузеппо

Большие разочарования ожидали мистера Куля при нашем возвращении в Европу. Его хозяйство без любящего ока хозяина пришло в запустение. Почти все военные заказы были перехвачены, и германские подводные лодки потопили четыре корабля с ценнейшим грузом. Какой-то француз выдумал веночки с ленточками вместо кокард, более дешевые и эффектные. Наконец, рьяные миссионеры мистера Куля с помощью властей закрыли одиннадцать публичных домов, принадлежавших ему же. «Идиоты,— с негодованием восклицал он,— они не поняли, что мои дома — это очаги нравственности, что оба предприятия не могут жить одно без другого!» Все эти несчастья произвели такое впечатление на мистера Куля, что из неистового патриота он сразу превратился в энергичного и последовательного сторонника мира. «Война портит нравы и разрушает народное хозяйство»,— сказал он нам. Мы охотно с ним согласились. Алексей Спиридонович после своих сенегальских подвигов не мог слышать слова «победа», купил книжки Толстого и собирался стать вегетарианцем. Бедному, осиротевшему Айше тоже перестали нравиться «добрые капралы». Я же по слабости своего характера всегда предпочитал платоническое разрушение в стихах или в пламенных «ротондовских» беседах образцовому хозяйству мистера Куля. Итак, все четверо мы были за мир, о чем немедленно сообщили Учителю.

Хуренито прежде всего очень весело и чистосердечно рассмеялся.

«Наивные ребята, вы думаете, что так легко кончить войну? Этого никто не может, даже те, кто ее начал: дипломаты, политики, заводчики, императоры, проходимцы, народы — никто! Мне тоже война не слишком нравится. Вначале были безумие, звериная ярость, прыжки, рев, неожиданная фамильярность

смерти, крах всех земных благ — словом, прекрасный переполох. Теперь обжились. Ничего, что «смертники» — пока что сдобные булочки. Быт! Верьте мне — легче опрокинуть Германскую империю, легче отправить на тот свет пятнадцать миллионов людей, легче перекроить все школьные карты, нежели проветрить насиженную, загаженную, облюбованную конуру человечества. Не люди приспособились к войне, война приспособилась к людям. Из урагана она превратилась в сквозняк. Простуживаются, но все же кое-как живут. Зато уничтожить эту приспособившуюся войну нельзя. Она — медленный, осторожный микроб, но дело свое знает. Война эта на десятки, а может быть, и на сотню лет. Не смейтесь,— в промежутках будут мирные договоры и вообще всяческая буколика. Она будет менять свои формы, как ручей, порой скрываться под землей и напоминать до отвратительности трогательный мир. Больной пойдет в садик поливать резеду, пока его не скрутит новый приступ возвратного тифа. Война не будет войной, она умело рассосется по сердцам; ограда города, забор дома, порог комнаты станут фронтами. Начатая в припадке апоплексии от избытка неразумных сил, от несправедливого, хищного, краденого богатства, она кончится только, когда разрушит то, во имя чего началась: лицемерную культуру и левиафана — государство!»

«При всех ваших практических способностях,— возразил мистер Куль,— вы всегда грешили наклонностью к утопиям. Зачем говорить о том, что будет после нашей смерти? Давайте подумаем, как добиться хоть какого-нибудь захудалого мира. Если начавшие войну не могут ее кончить, то есть другие силы».— «Какие?» — «Прежде всего религиозные организации, хотя бы, несмотря на все его недостатки, Рим. Потом убежденные пацифисты, устраивавшие съезды и конференции. Наконец, эти... (мистер Куль запнулся и долго не мог выговорить страшного слова) социалисты! Хотя они люди безнравственные и покушаются на все святое, но в данном случае они могут пригодиться».

«Ваши надежды неосновательны, мистер Куль. Как вам известно, христиане, к которым, если память мне не изменяет, принадлежите и вы, продолжают работать над различными хозяйствами, подобными вашему, увы, столь жестоко пострадавшему. Пацифисты

действительно о мире говорят задушевно и трогательно, не хуже Алексея Спиридоновича, но, когда ими командуют «добрые капралы», они пропарывают животы других пацифистов со всем рвением нашего миролюбивого Айши. Что касается социалистов, то их роль во время войны сильно напоминает недавнее, кстати сказать, очень почтенное, занятие дорогого Эренбурга, который отрывал билетики в вашем заведении и под звуки польки плакал над своей доисторической девственностью».

Мистер Куль, а за ним и Алексей Спиридонович пробовали спорить. Как это ни странно, оба они, до недавнего времени видевшие вокруг себя лишь патриотический пыл и жажду победы, после своих личных невзгод сразу заметили нечто противоположное и уверяли Хуренито, что народы требуют мира. «Недостает лишь объединяющего центра. Мы должны его найти!»

Тогда Учитель сказал, что он не верит в целесообразность таких розысков, но всегда рад способствовать нашему просвещению и предлагает для проверки совершить ряд экскурсий в Рим, Женеву и Гаагу, тем более что эти поездки ему будут также полезны для изучения дальнейших фаз заболевания человечества.

Решение принято — мы едем в Рим. Мистер Куль не очень одобряет католиков: вместо нравственности — фантастические истории, зато он верит в силу церкви. «И все-таки они христиане». Он берет с собой новый пулемет системы ЖБД, изготовленный по чертежам Учителя: пусть папа поглядит на это орудие ада и ужаснется. (Кроме того, откровенно говоря, хорошо бы предложить это новое вооружение военному министру Италии.) Алексей Спиридонович готовит речь, для чего немилосердно черкает сочинения Соловьева и Достоевского. Айша интересуется самым существом вопроса: «Что это папа?» — «Наместник Христа». — «А что это наместник? Хорошо. Айша понял. А Христос что любит — войну или мир? Тогда и наместник любит мир!» И, утомленный столь сложными размышлениями, Айша больше ни о чем не думает. Он прыгает по купе и кричит: «Будет мир, мир, мир!» Хорошо, что нет посторонних. За это слово, теперь самое непристойное и преступное из всех человеческих слов, нам бы пришлось поплатиться. А Учитель не готовит речей, не спорит, не слушает, он снова занимается своими скучными цифрами — экономическое состояние,

падение производства, неизбежный кризис,— и, на минуту отрываясь от серых столбцов газеты или от исписанного листка бумаги, чуть заметно улыбается.

Рим мы нашли после трех лет разлуки внешне мало изменившимся. Еще откровенней нищета Транстевере, еще нелепее крикливые флаги на встревоженных руинах — разница лишь количественная. Не теряя зря времени, мы сразу начали добиваться аудиенции у святого отца, но это оказалось делом чрезвычайно сложным. Учитель уже хотел прибегнуть к испытанным аршинным паспортам с красными печатями, но я запротестовал, вспомнив потерю дара речи и глубоко невыразительное «мерси». «Вы сможете лицезреть святого отца на пасху»,— презрительно ответило нам важное духовное лицо. «Но я занят! — воскликнул мистер Куль.— Я не могу ждать, у меня три орудийных завода!» — «О, в таком случае вы увидите святого отца завтра же! Я не знал, с кем имею честь говорить!»

На следующее утро мы вошли в зал для приемов. По приказанию мистера Куля и несмотря на протесты швейцаров Айша храбро вкатил вслед за нами пулемет. Некто гаркнул: «Синьор Куль, владелец орудийных заводов и его компаньоны!» Мы увидали на высоком кресле очень милого морщинистого старичка, который проникновенным голосом сказал: «Мы благословляем ваш полезный труд. Мы желаем вам заслуженного вашим рвением успеха и просим не забывать о святой церкви, а также о сиротах». Сказав это, старичок ткнул туфлей по очереди в лицо каждого из нас (догадавшись, в чем дело, мы все туфлю поцеловали), а потом, очевидно по рассеянности, и в задранный нос пулемета ЖБД. Закончив обряд, мы хотели приступить к беседе, но были очень быстро и ловко, с помощью тех же швейцаров, переведены в соседний зал, где увидали уже не папу, но кардинала, объяснившего нам: «Со святым отцом нельзя говорить. Святой отец не говорит, но изрекает. Я же смогу ответить вам на все интересующие вас вопросы». Мы заинтересовались главным образом деятельностью святого престола в годы войны. Она оказалась крайне обширной. В канцелярии работали сотни переводчиков. Для экономии времени различные пожелания, благословения и молитвы переводились и рассылались одновременно во все воюющие государства. Представителям церкви давались инструкции, как, например, служить

благодарственные молебны после побед, причем на одних листках вписывалось: «Расходясь, толпа восклицает: «Вив дие! Вив Жоффр!», а на других — «Гох готт! Гох Гинденбург!» и так далее. На случай окончательной победы или поражения рекомендуется объяснять первое — благословением Господа и молитвами единой апостольской, второе — Божьей карой за недостаточное к «единой апостольской» рвение. Повсюду католики должны поддерживать войну до победного конца. Работа очень сложная, но благодарная: дни испытаний, религиозное возрождение. «Война прекрасная вещь, надо только уметь ее понимать!»

«Но ведь сказано — не убий!» — застонал Алексей Спиридонович.

«Конечно, сын мой, и эта заповедь никем не может быть упразднена. Но Писание — священная книга, ее надо уметь понимать. Сердобольная церковь избавила от непосильного дела вас и других пасомых, взяв весь труд понимания и толкования божественной истины на свои подвижнические плечи».

«Но разве можно по-разному понимать «не убий»?» — Алексей Спиридонович не хотел уняться, я же, вспомнив крах лабарданской миссии и зная, к каким неприятным последствиям приводит страсть к толкованию вещей возвышенных, дергал его за рукав и наконец оттащил в сторону.

Мистер Куль оказался лучшим дипломатом, а именно — воздав всяческие хвалы деятельности святого престола и самого кардинала, он скромно спросил, что мы можем сделать: один истинный католик, один протестант, один православный, один идолопоклонник и один иудей (но очень приличный, так что это почти не чувствуется) для водворения мира, чаемого всем человечеством?»

«Я также жажду мира,— ответил кардинал,— и я молюсь о нем утром, днем, вечером, даже ночью. Пока что я посоветовал бы вам, если ваши дела на родине идут плохо, а об этом я сужу по тому, что вы так хотите мира, подарить эту милую вещицу, то есть это адское орудие, моему другу, епископу Вены, который известен своей страстью, впрочем, вполне невинной, к коллекционированию неизвестных моделей подобных безделушек. Конечно, этот подарок даст вам возможность недурно устроиться и в спокойствии молиться о водворении общего мира!»

Но мистер Куль был, как видно из предыдущих глав, человеком идеи и поэтому вежливо отклонил заманчивое предложение. Тогда кардинал предложил нам стать коммивояжерами святого престола, поставляя в союзные страны различные полезные изделия. Хотя это не приближало мира, мистер Куль, любя сие дело с детства, не отказался, и кардинал отослал нас к какому-то монаху-доминиканцу, брату Джузеппо, который заведовал сбытом указанных изделий.

Пройдя ряд комнат и коридоров, мы вошли в большой зал, напоминавший универсальный магазин. Кроме книг, брошюр, гравюр и открытых писем, мы увидали много занятных вещей. В одном углу висели различные крестики, ладанки, медали, предохраняющие солдат от смерти или ранений. Об этом свидетельствовали многочисленные благодарственные отзывы испытавших на себе спасительные свойства изделий, собранные в довольно пухлую брошюру. В другом углу было все необходимое для военных священников: оборудованные по последнему слову техники передвижные часовни, портативные алтари и даже пояснительные рисунки для совершения различных церемоний, как-то: окропления святой водой батарей, благословения летчиков, направляющихся скидывать бомбы, и тому подобное. В третьем находились экс-вото, то есть различные подарки, преподносимые святой Марии, а также некоторым наиболее чтимым святым после удачной атаки. Для оставшихся невредимыми — игрушечные солдаты в разных формах, для раненых, но выздоровевших — восковые руки и ноги на ниточке, для спасшихся от мин пассажиров — очаровательные модели судов, наконец, для правительств, выигравших войну,— прекрасные рельефные карты Европы с различными предусмотрительно заготовленными границами.

Мы с любопытством разглядывали все эти приспособления, явно опровергающие злостные рассуждения нечестивцев, утверждающих, что церковь окаменела и больше не проявляет признаков жизни. Мы даже не заметили, как в зал вошел тот, кого мы ждали, а именно фра Джузеппо, и вздрогнули от страшного крика: «Синьор! Дорогой синьор!» Мы испуганно оглянулись, и древние стены Ватикана вновь увидели столь подобающие им сцены нежных, бесхитростных, братских лобызаний. Фра Джузеппо оказался не кем иным, как

нашим веселым Эрколе. Он был в рясе, повязан веревкой, держал кипарисовые четки, а на его голове блистала безупречная тонзура.

«Друг мой, ты презрел греховную жизнь и занялся спасением своей души?» — торжественно спросил мистер Куль.

«Как бы не так! — И, невзирая на древность и святость мраморных плит, Эрколе, вспомнив виа Паскудини, презрительно сплюнул.— Ничего не поделаешь — война!» Так как нам было доподлинно известно, что нигде еще не объявлена мобилизация для пополнения монастырей, мы не поняли связи между войной с Австрией и костюмом нашего приятеля. Но для Эрколе эта связь была настолько очевидной, что он даже не попытался разъяснить ее нам. Вместо этого он начал упрашивать Учителя взять его снова в качестве чичероне и увезти в какую-нибудь страну, так как от окружающей святости он стал мрачен, зол и сух, как английские ослы, которые больше, увы! в Рим не ездят.

Учитель решительно попросил его раньше всего удовлетворить наше законное любопытство и объяснить все, то есть главным образом тонзуру. Эрколе оглянулся по сторонам, нет ли кого-нибудь, а потом провел нас в соседнюю комнатку, невероятно грязную. Мы сели на кровать, имевшую цвет и форму дорогой сердцу Бамбучи мостовой виа Паскудини, и начали пить принесенное Эрколе вино с вполне подобающим названием «лакрима-кристи». Пока мы пили, Эрколе рассказывал, то есть предпочтительно восклицал, ругался и клялся, что он не врет. Сначала, когда он приехал, было очень весело. Все хотели войны, ходили по улицам с флагами, пели, кричали «Эввива!». Разбили даже магазин негодяя австрийца, и Бамбучи достались два подсвечника и бронзовая ящерица. Потом войну объявили, и Бамбучи призвали. Это тоже было неплохо. Одна красивая дама дала ему букет цветов и десять сольди. Он заходил во все траттории и пил даром вино. А потом?.. Потом! Какое безобразие! Его надули! Сто тысяч чертей! Какая же это война? Это бойня! Не то чтобы он стрелял, в него стреляли, и еще как! Эрколе не такой идиот, чтобы сидеть и ждать, пока его убьют! Он видел раненых! Да! И убитых! Своими глазами видел!

От воспоминаний таких ужасов Эрколе ослаб, замолк, выпил два стакана вина и тогда только стал

продолжать свою трагическую эпопею. Он решил убежать, то есть нет, вовсе не убежать, а просто уйти домой на виа Паскудини. Его схватили, как будто он кого-нибудь убил, продержали три месяца в тюрьме и снова послали на то же проклятое место. Эрколе понял — надо схитрить, но как? Он попробовал посоветоваться с товарищами. Болваны! Ослы! Они предлагали черт знает что,— например, прострелить свою собственную руку. Вы слышите,— руку не австрийца, не генерала, а свою! Как будто у него сто рук! Остолопы! Нет, он придумал получше. Он стал на склоне невысокого холмика и, когда раздался выстрел, съехал на своем собственном вниз, лег, начал что есть духу вопить: «Умираю! Священника!» Его подняли, отнесли в лазарет. Доктор: «Что с вами?» — «Меня задела пуля, и я скатился в бездну».— «Какая пуля, никаких следов нет!» — «Еще бы, вы хотели бы, чтобы следы были, чтобы я умер? Говорю вам — пуля, она меня задела и повалила вниз, а сама улетела дальше. Подняли меня, а я не могу ходить — хромаю». Я даже попробовал захромать на обе ноги, но из этого ничего не вышло. Доктор, хотя вообще кровопийца, он хотел моей смерти, был ничего себе, не придирался, заявил, что у меня контузия. Честное слово! И дали мне отпуск — три месяца. Ну, я не такой дурак, чтобы второй раз лезть в эту крысоловку.

Приехал в Рим, и что же! Во-первых, всюду душегубы спрашивают документы, во-вторых, ни одного английского осла и можно безо всякой пули благополучно сдохнуть с голоду. Надо устраиваться. Он мог, конечно, стать редактором газеты. Это ему сказал один почтенный господин, когда он рассказывал в остерии, каким он был героем и как все должны идти добровольцами на фронт. Потому что Эрколе не изменник, не австрийское отродье, нет, он честный патриот! И теперь тоже! «Эввива Италия!» Но редактор должен уметь писать и вообще знать всякие фокусы. Не подходит!

Возле Рима он встретился с монахом, который, влюбившись в какую-то ужасно богатую синьорину, решил с ней бежать. Дело сделано. Монах — солдат Бамбучи в законном отпуску, Эрколе — фра Джузеппо, странствующий монах доминиканского ордена. Великолепно, но кушать даже в рясе надо. Он попробовал собирать на украшение храмов в Святой земле. Без-

божники, скупцы, чтобы их черти кипятили в тухлом масле! За день он не мог набрать на литр вина! И эти цены!..

Тогда он снял с себя образок и продал его одному солдатику за две лиры, как спасающий от пуль. На лиру купил еще три образка, и дело пошло. Он становился у вокзала и кричал: «Внимание! Дорогие защитники отечества! Знаете ли вы, что такое пуля? Она ревет, свистит, гремит, потом впивается в тело, разрывает внутренности, пробивает сердце, печень и пуп! Но есть верное средство — образок с изображением святой Екатерины Сиенской! Наденьте его на грудь, и никакая пуля не тронет вас! Ударившись об образок, она полетит назад к проклятым австрийцам! Глядите, вот образок со следом не повредившей ему пули. Триста благодарственных писем лежат у меня в келье! Спешите! Это последние образки, освященные самим епископом! Простые же не стоят ни одного сольди! Скорей! Лира! Одна лира!» И все покупали.

На Эрколе обратил благосклонное внимание проезжавший как-то мимо вокзала настоятель Сан-Джиованни и послал его к епископу, а тот, в свою очередь, к кардиналу. Его таланты оценили и поручили ему заведовать этой лавочкой в Ватикане. Вот и все. Да, он забыл самое важное — тонзуру. Это было чертовски трудно. К цирюльнику зайти он боялся и, купив за десять сольди на базаре старую бритву, должен был сам скрести макушку. Отвратительное занятие! И вообще он недоволен. Как только кто-нибудь приходит в магазин, он должен перебирать четки и бормотать под нос, как будто повторяет молитву. Лежать нельзя, плеваться можно тоже в исключительных случаях. Это не жизнь, а поганая схима! К черту! «Скажите, синьор Хуренито, а вы теперь не собираетесь устроить какую-нибудь маленькую революцию? Все-таки это гораздо веселее, чем воевать или перебирать паскудные четки!»

«Наоборот,— ответил Учитель,— мы до крайности мирно настроены, даже приехали сюда, чтобы искать мира».

«Ну, это все равно,— закричал Эрколе,— если не революция, то, по крайней мере, мир, и снова виа Паскудини! Я с вами!»

Он скинул рясу, и мы глубоко удивились, увидав воочию, сколь сильны традиции в этом народе. Он сохранил наслоения различных эпох, то есть

первичные тряпки, заменявшие ему в счастливые дни рубашку, полосатые кальсоны, подаренные Учителем, и военную куртку форменного покроя.

Мы доставили несколько минут радости засыпающим от скуки часовым, которых уже перестали смешить свои собственные мундиры, когда выходили из вековых ворот Ватикана, без мира, но с обретенным вновь Эрколе, в его эклектическом костюме и с сохраненным пулеметом, выволакиваемым Айшой.

В тот же вечер мы выехали в Париж.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1713 правил гуманного убоя.— Мы тонем.— Необыкновенное устроение социалистической гостиницы «Патрия»

Поездка в Рим и патетическое описание войны, сделанное Эрколе, еще более укрепили нас в наших миролюбивых намерениях. Особенно остро проявлялась жажда мира у Алексея Спиридоновича. Прочитав в десятый раз «Преступление и наказание» и вспомнив своего негритенка, он твердо решил пострадать, чтобы искупить вину. Пример Раскольникова указывал путь, и в одно утро Алексей Спиридонович, выйдя на площадь Опера, упал на тротуар возле входа в метро и завопил: «Вяжите меня! Судите меня! Я убил человека!» Быстро подбежавший полицейский спросил, где совершено преступление. Когда Алексей Спиридонович объяснил, что он убил негра во время восстания, полицейский, вместо того чтобы его связать, стал сразу приветлив, поднял его, хлопнул дружески по плечу и сказал: «Вы молодец и храбрый солдат, только не следует с утра много пить!» Так неудачно кончилась попытка нашего друга пойти по стопам героев русской литературы.

На церковь надежд мы больше не возлагали и решили направиться в Гаагу в комитет Международного общества друзей и поклонников мира.

Попавши в нейтральную страну, мы сразу почувствовали резкую перемену. Все, включая разноплеменных дезертиров, говорили о мире с большой нежностью, гордясь тем, что они не участвуют в варварской бойне, но, между прочим, ужасно боялись, что война может скоро кончиться, так как поставляли различные

вещи, часто весьма непацифистские, воюющим державам. Несмотря на недостаточное знание голландского языка, мы легко их понимали, так как подобное миролюбие вдохновляло и мистера Куля до поездки в Сенегал.

Освоившись несколько с нейтральной психологией, мы отправились во Дворец мира. К величайшему нашему удивлению, мы застали там очень интеллигентных людей, разглядывавших штыки различных образцов. Я настолько испугался, что подумал, не попали ли мы по незнанию языка вместо Дворца мира в военное министерство. Но интеллигентные господа, прекрасно изъяснявшиеся на многих языках, успокоили нас, объяснив, что исследуют штыки всех армий, нет ли среди них противных правилам, выработанным, если я не ошибаюсь, в 1886 году. Засим мы узнали много занимательного: война была совсем не тем диким убийством, которым она казалась нам, но чем-то весьма облагороженным 1713 параграфами правил о гуманных способах убоя людей. «Поймите, я убил человека!» — рычал Алексей Спиридонович. «Чем?» — «То есть как это — чем? Выстрелил и убил!» — «Пуля какая?» — «Обыкновенная!» — «Если пуля не дум-дум, то вы поступили, не нарушая правил гуманности».

Мы решили, что это простые члены общества, и прошли на заседание комитета. В уютных креслах сидели шесть старичков и сосали сигары. «Мы все очень, очень любим мир,— сказал нам самый старенький,— но что делать, нас шестеро в комитете и еще семеро в обществе... Все мы граждане нейтральных стран и люди непризывного возраста. А другие почему-то очень, очень любят войну. Плохой мир лучше хорошей войны, а хорошая война лучше плохой войны. Поэтому мы отсюда и следим, чтобы все убивали друг друга честно, по-хорошему».

Мы все же спросили у старичка, не может ли он нам посоветовать предпринять что-либо для замирения Европы. «Вы можете стать действительными членами Общества друзей и поклонников мира, тогда у нас будет девятнадцать членов. Мы вам дадим интересную и важную работу. Как вам известно, теперь на войне употребляются газы, не предусмотренные ни одним из 1713 параграфов. Отрицать их вообще значит проявить догматизм и реакционность. Вы сможете их исследовать и классифицировать. Тогда на будущей

конференции, после окончания войны, можно будет вынести постановление, ограничивающее применение газов, наиболее неприятных для задыхающегося человека».

Мы обещали записаться в члены общества, но от обследования газов отказались, мотивируя это нашим стремлением активно добиваться водворения мира. «Видите ли,— сказал другой старичок,— я тоже могу предложить вам работу, но позвольте раньше осведомиться, какого именно мира вы хотите?» — «Как какого?» — «Простите, но просто мира я не знаю, у нас есть газета, проповедующая английский мир, и другая, отстаивающая германский мир. Вы можете выбрать любую, так как обе хорошо платят, и в солидной нейтральной валюте!» Опять не подходит. Мы стали прощаться. Все старички, кроме бодрствовавшего председателя, успели задремать и со сна шептали: «Долой войну! Еще Берта Зутнер говорила... Ну, как же так можно?.. Спокойной ночи!..»

У ворот дворца, видя наши разочарованные лица, к нам подошел очень симпатичный скандинав и сказал: «Не унывайте! Старайтесь, молодые люди! Пишите романы против войны, и, может быть, вы получите в тысяча девятьсот тридцатом году премию Нобеля, или займитесь пока контрабандным сбытом сыра в Германию». Среди всеобщего озверения эти нейтральные сердца сохраняли истинное человеколюбие!

Мы уехали из Голландии с бутылочкой отменного «адвоката», с трогательными воспоминаниями, но все же без мира, и наша тоска была столь остра, что, казалось, судьба имела кое-какие филантропические намерения ее пресечь. При переезде из Флиссингена в Гулль небольшой пароходик «Аннибал» был потоплен подводной лодкой, и мы в течение суток валандались по открытому морю в маленькой шлюпке. В эти торжественные часы все были убеждены в близкой смерти, и каждый это выражал на свой лад. Только Учитель был спокоен, я сказал бы, даже будничен. Он заботился о нас, шутил с Айшой и рассказывал, как ребенком вздумал переплыть в пивной бочке Атлантический океан, но был, увы! выброшен через несколько минут волнами на берег. Я спросил его — неужели он совсем не воспринимает неизбежной, по-видимому, смерти? Учитель пожал плечами: «Привычка! Я и на земле не чувствую себя уверенным. Мой «Аннибал» давно потоплен...»

Мистер Куль с помощью ручки «ваттерман», вырвав из чековой книжки листок, написал завещание. Он оставлял все свои капиталы Обществу миссионеров. Потом, вспомнив папу, приписал: выдать по одному доллару всем сиротам солдат, погибших от стрел, изготовленных фирмой «Куль и К°». Кончив писать, он положил записку в бутылку из-под «адвоката», случайно уцелевшую в кармане Айши (ликер мы предварительно выпили), и кинул в воду. Засим, просветленный и верный установившимся среди американских миллиардеров традициям, страшно фальшивя, он стал петь псалом «Ближе к тебе, Господи!..». Айша, вначале испугавшись, плакал, но Учитель успокоил, даже развеселил его; шаля, он незаметно уснул, положив голову на колени Хуренито.

Легко понять, что делал Алексей Спиридонович,— он рассказывал свою жизнь, требуя, чтобы все его особенно внимательно слушали, это ведь предсмертная исповедь. Рассказав все наиболее интересные места, даже повторив их два раза, он приветствовал смерть: «О дочь легчайшая эфира!» А потом, хныча, начал отчаянно глядеть в пустынное море — не покажется ли откуда-нибудь спасительное суденышко.

Эрколе ругал Учителя, всех нас, мадонну, немцев, англичан, войну, мир и море всеми известными ему ругательствами. Как? Проклятье! Он мог бы теперь бормотать свои «Аве Мария» или пить «лакрима», и вместо этого — смерть! Стоило падать с диких высот! Предатели!..

Мерная зыбь немного укачивала меня, и я клевал носом. Я видел самые разнообразные вещи. Мне восемь лет, я избиваю живым котом, накрутив его хвост на руку, сестер. С трудом меня обезоруживают и запирают в сарай. Там — уголь, я раздеваюсь, катаюсь в черной пыли и, когда дверь наконец открывают, выскакиваю, пугаю нянюшку Веру Платоновну, которая, присев на корточки, в ужасе крестится, вбегаю в столовую и бросаю на пол горящую лампу. Вероятно, потушили. Жаль! Мне пятнадцать лет. Я — революционер. Митинг на фабрике красок Фарбэ в Замоскворечье. Полиция. Я бегу. Перелезаю через забор с колючками и оставляю на колючках штаны. Бух — упал в бочку с остатками красок! Городовые не хватают меня, а, как Вера Платоновна, шарахаются... «Тьфу, черт, как есть черт!..»

Пять лет спустя. Богомольным стал. Писатель Жамм свел с монахами. Лурд, Клодель и т. д. Отец

Иннокентий. Завтра обряд крещения. Потом пострижение. Я выбрал имя «брат Ипполит». Ничего себе! Последнее наставление. А у меня какая-то пружинка внутри, не в мозгу, а где-то под ложечкой лопнула. Святой отец! Хи-хи! Позвольте, я вам на гитаре сыграю! «Цветы, цветочки вы мои!..» Очень вы мне, постники, опротивели! А как насчет дочери, то есть филии Виргинии, коя в огороде сеет порей, сельдерей и прочие премудрые овощи?.. Недурственно бы, а, отец? Потом — бух на пол, и ползаю: Господи, Господи, Господи помилуй! Ну, начинай же колоть шилом, щипать с вывертом, чтобы околел я — гад протухший! Но отец, как нянечка, задрал со страху рясу, лопочет: «Изыде! Ай! Спасите!» Я еду в Париж. Третий класс. Тесно. Матросы. Шестой, кажется, литр. Качаются негодяи! Стойте же на месте!

Все эти картины проходили у меня перед глазами. Я искал смысла, точки опоры, но ее не было. Потом образы исчезли, и пошли одни лишь глаголы: сосал, пищал, бил, учился, молился, целовался, шлялся, пил, скулил, писал, жевал! От них еще сильнее качало. Вдруг я понял, что весь смысл в этой качке, в бесцельном движении, кружении, смене. Я встал, завопил: «Благословляю жизнь!» — и начал блевать.

Вечером английская рыбачья шкуна заметила нас и подобрала, а два дня спустя мы обедали в парижском ресторане. Отдохнувши от пережитого, мы снова взялись за различные склонения слова «мир» и, после аббатов и пацифистов, решили прибегнуть к содействию людей темных, подозрительных, а именно социалистов. Для этого мы направились в Женеву.

Я видал на своем веку немало различных способов расселения людей и архитектурных причуд: небоскребы, подвалы Реймса в дни войны, датские паромы-салоны, парижские писсуары, проект памятника Татлина Третьему Интернационалу, но все это бледнеет перед своеобразным остроумием гостиницы «Патрия», специально оборудованной для социалистических делегаций. Мы шли туда с большим волнением. Мистер Куль, зачинщик нашей поездки, не мог скрыть страха. Он оделся как можно проще, а под рабочую блузу нацепил металлический панцирь от пуль. «Ведь как-никак, а это злоумышленники»,— оправдывался он. Кроме того, Айша, по его приказанию, должен был нести огромный красный флаг. Так вошли мы в обширный двор «Патрии» (были два подъезда, но в них

нас не впустили, требуя рекомендательных писем от министров). Мистер Куль запел «Интернационал». Но его голос терялся среди десятков других, справа певших «Дейчланд юбер аллес» и слева отвечавших «Правь, Британия».

Высились два больших корпуса, один был украшен флагами союзных держав, другой германскими. Между ними были рвы, насыпи и проволочные заграждения, более сложные, нежели те, что я видел на фронте. В середине возвышался открытый павильон, где сидел престарелый социал-демократ из нейтральной страны, обложенный протестами и резолюциями. Видя наше беспомощное положение, он нас приветливо подозвал к себе. «Скажите, а здесь много этих злоумышленников, то есть, простите, революционеров?» — спросил мистер Куль. «В настоящее время в «Патрии» четыре министра, одиннадцать товарищей министров и девять заведующих отделами государственной пропаганды...» Мистер Куль прервал его, испуганно закричав Айше: «Разорви флаг, да скорее!» Далее старичок объяснил нам хитроумное устройство «Патрии». В двух корпусах помещаются делегации двух коалиций: чтобы не скомпрометировать себя, они не только не встречаются, но и не переписываются между собой, так как все они хорошие, честные патриоты. Но, будучи социалистами и членами Интернационала, они стремятся обеспечить после окончания войны возобновление товарищеских взаимоотношений. Для этого в окна корпусов выставляются плакаты с резолюциями, протестами и опровержениями. Против этого никто возразить не может, ведь каждый волен в своей квартире делать, что он хочет. В павильоне помещаются представители нейтральных стран, которые переговариваются с враждующими окнами.

Все это было несколько сложно, но воистину гениально. Мы решили приступить к делу, и мистер Куль закричал: «Преступники, то есть министры, то есть товарищи, являетесь ли вы противниками войны?» Немедленно появились два плаката. Один гласил: «Да, и мы боремся против империализма союзников и их сообщников, лжесоциалистов, начавших преступную войну!» Второй: «Конечно! Долой германский империализм и его прислужников псевдосоциалистов, виновников позорной бойни!» Эти слишком сходные ответы вызвали во мне подозрение — не сносятся ли противники меж собой с помощью подземных ходов? Но

нейтральный социал-демократ успокоил меня, объяснив близость врагов духовным родством и товарищеской солидарностью.

Тогда Алексей Спиридонович спросил: «Собираетесь ли вы протестовать против войны?» Плакаты ответили, что запросят по этому поводу соответствующие правительства, и через час мы прочли: «Позор поджигателям Реймского собора! Мы протестуем перед всем цивилизованным миром против германских приемов ведения войны!», «Ужасы казаков и негров вопиют к небу! Долой поругателей культуры — союзников!»

«Что нам делать для приближения мира?» — спросили мы. «Установите республику в России, в Италии, в Ирландии!» — ответили немцы. «Установите республику в Германии, в Австрии, в Турции. Докажите нейтральным рабочим необходимость присоединиться к нам»,— советовали союзники.

Эрколе завопил: «Жулики! Мы за мир!» — и пустил для эффекта шутиху. Раздались испуганные возгласы: «Это бомба!», и тотчас показались, умилительно согласные, два плаката: «Не забывайте, что мы — социалисты! Займитесь отделкой зала в хорошей гостинице, где мы все соберемся после войны. Украсьте стены красными знаменами. Пожалуйста, не кидайте в нас бомб! Да здравствует Интер... Вы поняли?» Вскоре пришли полицейские и попросили нас не тревожить почтенных революционеров.

Оставив во дворе обрывки флага, так и не отыскавши мира, мы с горя пошли в пивную. «Удивительно приятные люди эти социалисты, притом воспитанные»,— воскликнул мистер Куль и скинул панцирь, мешавший ему развалиться как следует в кресле.

«Итак, неизлечимость признана всеми, и валериановые капли больше никого не прельщают,— сказал Учитель,— мы можем вернуться домой и заняться нашим добрым, честным хозяйством».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Награждение мосье Дэле орденом.— Учитель о войне.— Мы схвачены немцами

В Париже нас ждали различные неприятности. Прежде всего, хозяйка гостиницы, предварительно спросив нас, уж не немцы ли мы, сказала, что нами

чрезвычайно интересуется некий мосье, тщательно выясняющий, куда мы ездим столь часто, что едим на завтрак и какого образа мыслей придерживаемся. Хотя наши поездки носили исключительно идиллический характер, нам не слишком понравилась любознательность незнакомца, тем более когда выяснилось, что он «очень почтенный» и с ленточкой в петлице. Впрочем, эти переживания длились недолго, на следующее утро нас вежливо пригласили явиться кое-куда. Там любезный чиновник познакомил нас с весьма поэтическим доносом: «Докладная записка о последних мероприятиях пяти германских шпионов, по донесениям штатного сотрудника Добровольной лиги для обследования сомнительных поступков». Все было отмечено и достаточно живописно представлено: указанные шпионы занимаются сбытом пулеметов в Германию через Голландию. Они сносились с папой по поводу предложений о сепаратном мире. Потопили пароход, на котором сами ехали, но, разумеется, остались невредимы. Подкупленные германскими социалистами, лакеями Вильгельма, бросили бомбу во французских социалистов, сильно испугав одного из них, товарища министра военного снабжения. Перечислив главные пункты обвинения, чиновник любезно пояснил, что подобный образ жизни кончается предпочтительно расстрелом. Дальше все пошло обыкновенно. Эрколе выл, мистер Куль пел псалмы и так далее. «Вот идет председатель лиги,— сказал чиновник,— он даст последние данные о вашем поведении, а после этого — суд и некоторые другие формальности, но уверяю вас, все будет закончено в двадцать четыре часа!» Итак, всего сутки: вой, Эрколе, пойте, мистер Куль! Вот он, страшный Азраил, непостижимый вестник смерти. Но почему же так беспечен Учитель, почему он улыбается, кивает головой и вместо «Аве, Цезарь» кричит: «Бонжур, мосье!»? Я ничего не понимаю. Я боюсь оглянуться, оглядываюсь... «Мосье Дэле, друг, дорогой! Вы живы? А Зизи? А каротелька? Нам суждено увидать вас перед смертью!..» — «Глупости! Ведь этого негодяя боша нет с вами? Ну, конечно! Это мои сотрудники постарались, но вы не беспокойтесь. Господин комендант, это явное недоразумение. Перед вами мои компаньоны по торговому делу. Да, да, ручаюсь! Вы свободны, друзья мои, а теперь в «Шатле» — уж час аперитива!..» Так

жалко закончилась еще одна попытка судьбы подменить мир общий, которого мы жаждали, нашим пятидушным.

Кто знает радость встречи после долгой разлуки, очарование неизменившихся привычек, сладость мелких вспоминаний, прелесть забытой близости, тот легко поймет наше состояние за стаканчиками хереса. Дорогой мосье Дэле, он был все тот же: пилюли в кармане, ясность взора, легкость ума. Правда, вместо Зизи, изменившей ему с четырьмя (ну, если б еще с одним!) арабами, в маленьком домике жила Люси; правда́, больше не цвел в саду душистый горошек, во имя защиты отечества замененный простым горохом, но все это были лишь мелкие детали. Зато на розовых щечках мосье Дэле теперь минутами ясно горели отсветы вселенских пожаров, и его порыв, милый, буйный, выпирающий пробку из бутылки, был обращен на священное дело защиты отечества и цивилизации.

Какая прекрасная лига! Еще вчера было отмечено, что некто Крю гуляет — когда бы вы думали? — с двенадцати до двух часов ночи, ест на рассвете, ничем не занимается, носит бороду, бреет усы. И что же — у него находят немецко-французский словарь, медную солдатскую пуговицу и, наконец (какая наглость!), прямо на столе пачку фотографий различных укреплений, причем негодяй уверяет, что это снимки с картин какого-то Пикассо, тоже, вероятно, шпиона... Ясно?..

Кроме лиги — бактериологическая лаборатория. Что паспорт? Бумажонка! Мосье Дэле близ площади Бастилии услышал на улице немецкий разговор; пусть его уверяют, что это еврейский жаргон, — он не дурак. А почему на вывеске лавки фамилия Зильберштейн? Не немецкая? Конечно, он человек без предрассудков и в клерикальные басни не верит. Никакого Христа не было, это уже сто раз доказано, так что Христа евреи никак не могли распять. Но ведь Франция — существует, мосье Дэле — факт, и распять его они могут. Оставьте ваш паспорт! Маленький укол мизинца, капля крови — и под микроскоп. Там сразу видно, какая она — честная или прусская. Ученые нашли способ. Мосье Дэле всех разоблачит. На днях генерал подвернулся — и что же?.. Анализ — 0,6 германских микробов! Хорошо бы ночью забраться в спальню министра Мальви и тихонько его уколоть, — наверное, немец!..

Третье занятие мосье Дэле — Национальный союз борьбы с укрывающимися от военной повинности.

Удостоверения? Бросьте! Грыжа? Покажите, пожалуйста! На войне потеряли глаз? Выньте искусственный! Мосье Дэле не упускает из виду всех подозрительных женщин, которые стригут волосы или говорят баском. Юбка тоже не гарантия. Надо выяснить сущность...

А в свободное время мосье Дэле не отдыхает, нет, он продолжает работать — пишет статьи: «Долой шептунов! Мы взяли домик паромщика на Изере. Португальцы с нами! Сирия неплохо пахнет». Он пишет в десяти газетах: «Утро Понтуаз», «Барабанщик Клермон-Феррана», «Возрождение Байоны» и в других. Он нам верит. Мы хотим мира? Мир будет. Через год, через месяц, возможно, даже через неделю, надо только добить этих преступников и проехаться в Берлин. Мы должны помочь сему. А для этого лучше всего стать журналистами. Святое дело! Перо — оружие! Когда мы победим, все придет в порядок: садик, Люси. О, как прекрасно французское небо! Еще по одному стакану, и за работу!

Предложение мосье Дэле показалось нам заманчивым. Хозяйство мистера Куля, как я уже сказал, находилось в плачевном состоянии. Учитель верил в великую организующую, а поэтому и разрушительную мощь газетных листов. Алексей Спиридонович, давно не удовлетворяясь нами и случайными встречами в вагонах, жаждал излить свою душу как-нибудь пошире. Я тоже по своей профессиональной привычке предпочитал нагонять строчки, нежели катать тележки или отрывать пресловутые билетики. Словом, мы сразу согласились.

Америку поделили между собой Учитель и мистер Куль. Первый обслуживал газеты двадцати двух республик Южной и Центральной Америки, второй — ассоциацию прессы Соединенных Штатов, объединяющую восемьсот семнадцать различных газет. Айша от исполнения обязанностей был освобожден ввиду отсутствия в Сенегале периодической печати. Что касается Эрколе, дело обстояло сложнее: к сожалению, он был неграмотен. Но все мы нашли, что у него удивительно газетный стиль, должный размах и титанический пафос. Решено было, что записывать телеграммы для «Джорнале дель Ареццо» станет Хуренито под диктовку Эрколе. Алексей Спиридонович от телеграмм отказался, так как презирал краткость. Можно ли в одной тысяче слов выразить всю муку, сладость

жертвы, ужас греха и веру в третье царствие святого духа? Он предпочел писать длиннейшие письма «За последним рубежом» в газету хотя древнюю, но сохранившую свою девственность, а именно в «Русские ведомости». Я же, как это, может быть, известно некоторым читателям, стал исправным корреспондентом не слишком взыскательной «Биржевки».

Все мы, включая мосье Дэле и при его содействии, выехали на фронт. Сначала мы решили писать только о том, что действительно видим: «Дождь. Один солдат стоит на посту, промок, обругал нас: «Что вы, жабьи внуки, здесь зря шляетесь!» Слышно, как стреляют. Два других солдата играют в карты. На станции баба продала нам за десять франков пяток тухлых яиц и спросила, скоро ли будет мир. Настроение у нас приподнятое. Председатель тридцати трех патриотических обществ мосье Дэле в интервью, любезно данном нам за аперитивом, сказал, что Германия будет разбита». В ответ мы получили от редакций телеграммы с предложением — денег на подобные пустяки не тратить и ежедневно описывать дуэли гидропланов с танками, кровопролитные бои под землей, интервью с главнокомандующими, а также три раза в неделю совершать полеты в Египет и отправляться на подводных лодках в Дарданеллы. Что же, мы честно занялись всем вышеперечисленным. Пребывание на фронте становилось бесполезным, даже вредным: чистоту и цельность нашей фантазии засоряла действительность. Все же Учитель настоял на том, чтобы мы продолжили нашу поездку до передовых позиций. Для прогноза болезни он хотел еще раз подвергнуть анализу кровь, гной и мочу человечества.

Преодолев десятки различных штабов, мы добрались до окрестностей Вердена. Там разыгралась довольно любопытная сцена, впрочем не подходящая ни под одну из указанных редакциями тем и потому не получившая огласки. Возле форта Во, на наблюдательном пункте, мы увидели трех солдат. Они были одеты весьма причудливо: поверх каски — вязаные чепцы, на плечах стеганые одеяла, ноги погружены в большие пузыри, не пропускающие воду, а чепчики, одеяла и пузыри, в свою очередь, покрыты чешуйчатой корой рыжей глины, подобной шкуре слона. К месту, где они стояли, пришлось ползти на животе по развороченному снарядами окопу, погружаясь в жидкую землю,

человеческие испражнения и в залежи дохлых крыс. Мосье Дэле, вытерев лицо и руки носовым платком, обратился к солдатам со следующим приветствием: «Дорогие пуалю! Европа, Америка, Страна Восходящего Солнца и оба полюса смотрят сейчас на вас, на беззаветных героев, ограждающих свободу и право! Сегодня, когда я полз по этим историческим местам, я сам приобщился к вашим мукам и могу теперь, как равный, хоть я и в котелке, приветствовать вас. Мы простоим, то есть вы простоите здесь, а мы простоим у прилавков, у бюро министерств, у стоек баров до того часа, когда изможденный людоед падет. Позвольте преподнести вам скромный дар — мою патриотическую статью в последнем номере «Победоносная Гасконь», где я говорю — смелость, смелость и еще раз смелость (это слова моей последней любовницы, то есть еще раньше это сказал, но по другому поводу, Дантон). Будем же тверды до победного конца!»

Право, эта речь была ничуть не хуже многих других, которые мне приходилось слышать на банкетах журналистов, даже выгодно выделялась своей сжатостью и насыщенностью, и только случайностью можно объяснить себе все последовавшее. Один солдат, самый пожилой и смирный, тихо выругавшись, сказал: «Вы бы лучше сказали, что слышно насчет мира, господин патриот». Мосье Дэле обиженно помолчал, зато обрадовался Алексей Спиридонович. «Брат мой, вы тоже за мир, за любовь! Убийство — грех, и эта винтовка оскверняет руки!..» — «Как бы не так,— запротестовал солдат,— винтовка хорошая вещица (он даже погладил приклад), только надо уметь с нею обращаться. Вот хорошо бы перестрелять всех генералов, депутатов, военных, штатских, попов, социалистов, дам и вообще всю семейку!..» — «Но кто же тогда останется?» — спросил деловито мистер Куль. На это солдат уже вовсе бессмысленно сказал: «Наплевать»,— и действительно сочно плюнул.

Другой солдат, значительно более темпераментный, с виду южанин, счел приличным ответить мосье Дэле целой речью. Приводя точный ее перевод, я прошу простить как ему, так и мне некоторую чрезмерную экспрессивность образов. «Дорогой писака, спасибо за бумагу, защитники права в ней весьма нуждаются. Кроме того, ты можешь, захватив с собой Восходящее Солнце и пять каналий, отправиться немедленно в коровий

желудок. Очень приятно, что ты немного выпачкал свою гнусную харю о мое творчество, я ведь тоже творю два раза в день, как ты в твоей редакции. Желаю тебе провести всю жизнь в верблюжьем дерьме! Сто тысяч лысых тыкв! Пуп папессы! Садись в теплые тетушкины штаны, пей липовый чай и чихай кошке под хвост!»

Не успел мосье Дэле опомниться от этого странного приглашения, как третий солдат, молоденький и безусый, с возгласом «подарок за подарок» вытащил из лужи дохлую крысу и вдел ее хвост в петлицу мосье Дэле, где обычно помещалось нечто совсем другое. Хотя мы речей не говорили и никаких подношений не удостоились, увидав энергию солдат, мы быстро уползли восвояси.

Достигнув мест, во всех отношениях более защищенных, мы начали обсуждать злоключение мосье Дэле. Эрколе все крайне понравилось, и по поводу награждения мосье Дэле своеобразным орденом он с пафосом воскликнул: «Это жест, достойный римлянина!» Алексей Спиридонович хотел «постичь душу» солдат: «Они грубы, озлоблены, но я чувствую, что они преданы миру, как я. Друзья, мы неожиданно встретились с тремя последователями нашего великого Толстого!»

«Твоя наивность,— ответил ему Учитель,— принимает форму святого анекдота. Если в России много дядь, похожих на тебя, то я удивляюсь, как ее не разобрали до последнего камешка все, кто постигать души на каждом шагу не жаждет, а обманывать стремящегося быть обманутым за грех не почитает. Эти солдаты отнюдь не пацифисты. Орден, выданный ими мосье Дэле, они с удовольствием присудили бы и римскому папе, и гаагским гуманистам, и Ромену Роллану. Два года тому назад они очень хотели убивать, и за это время у них не совесть проснулась, у них отсырел зад. Дай им волю, возможно, что они будут убивать, только совсем не тех, кого им приказано. Возможно даже, что они устроят великолепные каникулы, с кроткими женами под боком и с мирными барашками на лугах. Но придет срок, и они снова начнут постреливать: окопы не школа человеколюбия и не питомник толстовцев. Взять винтовку довольно легко, обучение несложное, сам знаешь — учили, но выпустить ее из рук невозможно. Можно только поставить на часок-другой в угол. Страшный век начинается. В четырнадцатом году, когда они кричали: «Да

здравствует война!» — эта война (которая ничего еще — здравствует) была чем-то вне их, историческим фактом, государственным делом, теперь они кричат: «Долой войну»,— но она уже проросла корнями в их тела, стала их бытом, этой профессии они не разлюбят. Тебе пришлось научиться различным толкованиям слов «священная война», теперь постарайся воспринять новый урок: «мир» означает послеобеденный сон антропофагов, дележ добычи громилами на травке, перенесение военных действий в места более привлекательные, например с этих кочек на Унтер-ден-Линден или с Пинских болот на Невский проспект,— словом, все, что угодно, кроме мира!»

Так дошли мы до мест недавних боев меж фортами Дуомон и Во. Кругом была подлинная пустыня. Ни один камень не уцелел, ни одна былинка не укрылась — все обратилось в серую жижу, покрытую — как бы гнойниками — ямами, вырытыми снарядами, с желтой водицей. Впрочем, кое-где торчали человеческие ноги распухших, выползающих из-под земли трупов. «Помните,— сказал нам Учитель,— что война дала нам не только хозяйство мистера Куля, но и этот великий апофеоз!»

«Будет мир,— возразил мистер Куль,— мы учредим еще одно акционерное общество и за год, за два разведем здесь такое хозяйство, что никто не поверит бредням уцелевших солдат, видевших эту пустыню».

«Конечно,— сказал Хуренито,— это отнюдь не завершение и не очищение земли. Пока мистер Куль, пока мистеры Кули живы, будут города, притоны, пушки, доллары, святые книжицы,— словом, все, что нужно порядочному человеку, чтобы в двадцать четыре часа загадить любой кусок так называемой «божьей земли». Построят, посеют, зароют мертвых поглубже, даже репа будет лучше расти. Но глядите! На минуту как бы прорывается пред вами пелена далеких времен. Это — предчувствие, прообраз последней огненной купели!»

На следующий день, несмотря на протесты мосье Дэле, ставшего необычайно осторожным, мы направились снова на позиции, а именно к вышке 384. Когда мы дошли до передовых окопов, германская артиллерия неожиданно открыла ураганный огонь по всей линии. Пробраться в тыл не было никакой возможности. Мы забрались в прекрасно оборудованную

землянку и, слушая грохот разрывов, с особенной страстностью начали заниматься излюбленным занятием, то есть всячески проклинать войну. Мосье Дэле как будто наших воззрений не разделял, но он тактично молчал; после того, как Эрколе одобрил поведение невоспитанных солдат, он предпочитал вообще не высказываться, дружески приговаривая: «Главное, друзья мои, терпимость и широта взглядов!»

Но Учитель решительно выступил против нас и начал защищать войну: «Выйдя в дорогу, надо идти. Если очень скверно, ускорить шаг. Но не оглядываться назад, где у печки было тепло, ветер в трубе выл по-диккенсовски, а на столике лежал мармелад со щипчиками. Трусы! Вы не дети своего века, вы кринолинщики, романтики, подавившиеся слюной умиления, мусорщики вчерашнего благополучия! Вы спрашиваете, что хорошего дала война? Она хорошо ударила по башке. Это прежде всего. Потом во все «ключи вдохновения» она подсыпала щепотку стрихнина. Прошлое стало невозможным, и как ни будут стараться люди по воспоминаниям, по выцветшим фотографиям или по шамканью стариков реставрировать свои парфеноны, ничего у них не выйдет, им придется выбирать между Ноевым ковчегом или уборной двадцать первого века. Вам не нравится двадцать первый век? Что же — согласен, он не слишком привлекателен, но, во всяком случае, он будет лучше девятнадцатого, он не станет, как старый ханжа, между двумя свинствами декламировать Шелли или Верлена. И потом впереди — тридцатый, или пятидесятый, или сотый век — век блаженства, и все, что приближает нас хоть на шаг к нему,— благословенно!

Вы клянете войну, а она даже не шаг, она прыжок в грядущее. Она убила все, во имя чего началась, и родила все, что должна была убить. «Война во имя свободы», и оказывается, что народы созрели для великого, откровенного ярма, она больше не могла выносить фикции свободы, ее призрачных благ.

«Война возвысит дух, покончит с гнилым материализмом»,— истошно вопили философы и просто добрые люди, по полноте тела склонные к мечтательности. Но война велась с помощью вещи, открыла всем ее смысл и мощь. Разрушая тысячи вещей, материей уничтожая материю, люди научились уважать вещь, как таковую, полюбили ее, как не умели любить в счастливейшие дни мира.

Надеясь на то, что пришел их сезон, священные особы всех культов выползли, вытащили давно забытый товар — загробные блага. Но война жестоко надула их. Чем ближе стали люди к уничтожению реальной повседневной жизни, тем сильнее она их к себе притягивала.

Война — это ненависть народа к народу, а между прочим, никакие проповедники братства, никакие книжки писателей, никакие путешествия, никакие переселения народов не могли их так сблизить, спаять, срыть рубежи, как эти годы в окопах. Опять шутки войны, все вышло шиворот-навыворот. Оказалось, что ненавидят, восторгаются, трусят, колют, терпят в окопах, хрипят, помирая, гниют все — и французы, и немцы, и русские, и англичане — до удивительности одинаково. Посидели рядышком — заметили. Пока один играл на мандолине, а другой ходил на медведя с рогатиной, казалось что-то разное; может, и правда, медведь ближе, роднее, нежели тренькающий мандолинщик. А послали делать одно дело — сразу ясно стало, даже не близнецы, а двойники, разве что у одного бородавка под лопаткой, а другой часто икает.

Дальше: уж кто-кто на войну надеялся, это защитники старой иерархии, божественного разнообразия, неограниченной личности во всех вариантах: император — не поденщик, Ротшильд — не нищий, поэт — не фабрикант туалетной бумаги, философ — не пастух и прочее. Опять разочарование — если снять горностаевые мантии, фраки и воротнички, посадить в этакие землянки, где ни стихов о мадонне, ни туалетной бумаги, ни прагматизма, оказывается, все кошки серы, так что легко спутать. Конечно, есть погоны, штабы, грациозный тыл и прочее. Но здесь важна пока что не суть, а демонстрация. Чего стоят одни торчащие из земли неопознанные трупы. Мосье Дэле, ваши шестнадцать классов мертвецов могут смешаться. Что тогда будет?..

Все это я вижу, и когда вы клянете войну, я ее благословляю, как первый день тифозной горячки, от которой человек либо переродится, либо умрет, очистив землю для нового собачества или для победных легионов крыс, муравьев, инфузорий!»

Это поучение Хулио Хуренито я хорошо запомнил. Мы слушали его с напряженным вниманием, не думая об опасности, грозящей нам. Орудийный

грохот, трескотня пулеметов, человеческий рев как будто подтверждали неумолимые слова Учителя, и мне кажется, что, если бы в эти минуты пришла к нам смерть в виде приличного осколка тяжелого снаряда, все мы, даже мосье Дэле и Эрколе, наиболее к жизни привязанные, встретили бы ее с должным спокойствием.

Когда Учитель кончил говорить, все кругом зловеще смолкло. Раздавались только несвязные ружейные выстрелы. Мы решили вылезть и попытаться пробраться назад. Но наверху ждало нас нечто более страшное, нежели все снаряды. Увидев свет, мы замерли: перед нами стояли немецкие солдаты с ручными гранатами: «Кидай!» — закричал один, но другой возразил: «Это, должно быть, важные птицы, сведем их в штаб дивизии, пристрелить всегда успеем!» Убедившись, что у нас нет оружия, солдаты погнали нас по разным коридорам и воронкам, подталкивая для убедительности прикладами. Особенно их раздражал бедный Айша. Они все время приговаривали, что с удовольствием приколют нас штыками, так как мы не солдаты, а шпионы. Надеяться было не на что, и мы, несмотря на удары, невольно замедляли шаг, понимая, что этот путь — последний.

Мы шли уже мимо германских окопов второй линии. Все, что мы видели, напоминало нам старые привычные картины: принесли в котлах суп, кто-то писал домой открытку, кучка солдат играла в карты. Я вспомнил слова Учителя о новой близости. Но вот — близкие,— они сейчас убьют нас. И такой прекрасной показалась мне жизнь! Я с завистью поглядел на усатого рыжего солдата, который сидел у костра и, сняв рубашку, искал вшей. Жить, как он, сидеть на корточках, выпить бурду из жестяной кружки, потом в грязи уснуть... Как это много и как невозможно!..

Я не знаю, что делал эти полчаса Учитель и друзья, как пережили они путь к смерти. Я опомнился лишь возле маленького крестьянского домика. Немец грубо втолкнул меня в темную узкую комнату. На столе стояла свеча. Я увидел генеральские погоны и спокойные, совершенно бесстрастные глаза. Я понял — спасения нет, и, пользуясь тем, что Учитель еще с нами, тихо поцеловал его плечо, прощаясь с самым жестоким и любимым из всего, что было в моей короткой сумбурной жизни.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

О трудах Шмидта, о неком Крюгере и о чайной колбасе

Кто склонен верить в некий тайный, человеку непостижимый смысл житейской кутерьмы, счастливых нелепостей и отчаянных случайностей, тот, бесспорно, задумается над моей книгой. Мы почти ежемесячно переживали смертельную опасность, и всякий раз какое-нибудь «но» выручало нас — будь то рыбачья лодка, визитная карточка депутата или добродушный смех мосье Дэле. Процент наших избавлений значительно превышает лурдские и другие чудеса; таким образом, я легко мог бы спекулировать на «провидении», особенно когда вместо расстрела и пары генеральских глаз оказалась тоже пара, но шмидтовских, и бутылка скверного коньяку. Но мне несвойственно мыслить возвышенно. С детства я горблюсь, на небо гляжу, лишь когда слышу треск самолета или когда колеблюсь,— надеть ли мне дождевик. В остальное время я гляжу под ноги, то есть на грязный, обшмыганный снег, на лужи, окурки, плевки. Возможно, что этими особенностями моего — увы! — уже окостеневшего позвоночника, объясняется мое пристрастие к вещам грубым и низменным. Немцев что-то около пятидесяти пяти миллионов. Если можно выиграть в рулетку — 1:36 шансов, то 1:55 000 000 лишь различие количественное, и отсюда до мистики далеко.

Шмидт сразу узнал нас. Он же, в остроконечной каске, возмужавший и загоревший, мало напоминал бедненького штутгартского студентика. Я так и не определил ни его чина, ни точного характера службы. Из его слов можно было понять, что в первые месяцы войны он выдвинулся, преуспел и теперь играет видную роль как в тылу, так и на фронте.

Успокоив нас касательно нашей судьбы, Шмидт сказал, что в его распоряжении восемнадцать минут, которые он охотно посвятит беседе с нами. Учитель заинтересовался его очередными занятиями. «Они очень сложны,— ответил Шмидт,— война приняла несколько иной характер, нежели я предполагал раньше. Совершенно ясно, что завоевать всю Европу и привести ее в порядок нам сразу в один прием не удастся.

Тогда остаются переходные задачи: колонизировать Россию, разрушить, как можно основательнее, Францию и Англию, чтобы потом легче было их организовать. Это общие положения, теперь частности. Нам придется вскоре, по стратегическим соображениям, очистить довольно изрядный кусок Пикардии; возможно, что мы туда не вернемся, и уже очевидно, что мы ее не присоединим. Поэтому я подготовляю правильное уничтожение этой области. Очень кропотливое занятие. Надо изучить все промыслы: в Аме мыльный завод — взорвать; Шони славится грушами — срубить деревья; возле Сен-Кантена прекрасные молочные хозяйства — скот перевести к нам и так далее. Мы оставим голую землю. Если можно было бы проделать такое вплоть до Марселя и Пиренеев, я был бы счастлив: самый безболезненный, гуманный, быстрый переход к торжеству Германии, потом к организации единого хозяйства Империи и к счастью всего человечества».

«Это варварство! — закричал Алексей Спиридонович. — Я убил одного негра, и я с тех пор самый несчастный человек на свете. А вы хотите убить миллионы невинных людей. Вы говорите о счастье человечества и топите детей на «Лузитании», разрушаете древние соборы, сжигаете города. Мы не дадим вам колонизировать Россию, мы выйдем против ваших адских машин с иконами, с молитвами. И вы падете!»

«Вы думаете, что мне, что всем нам, немцам, приятно убивать? Уверяю вас, что пить пиво или этот коньяк, пойти на концерт или даже к моей старой знакомой фрау Хазе гораздо приятнее. Убивать — это неприятная необходимость. Очень грязное занятие, без восторженных криков и без костров. Я не думаю, что хирург, залезая пальцами в живот, надутый газами и непереваренной пищей, испытывает наслаждение. Но выбора нет. Я, моя семья, мой город, родина, человечество — это ступеньки. Убить для блага человечества одного умалишенного или десять миллионов — различие лишь арифметическое. А убить необходимо, не то все будут продолжать глупую, бессмысленную жизнь. Вместо убитых вырастут другие. Детей я сам люблю не меньше вашего и напомню вам, что я даже вытоптал цветы в штутгартском парке, протестуя против порядка, обрекающего младенца на голод. Именно

поэтому, если сейчас потребуется для выигрыша войны, то есть для блага Германии и, следовательно, всего человечества, потопить все «Лузитании» и перебить сотни тысяч людей, я не стану ни одной минуты колебаться. Стоит ли после этого говорить о городах, церквах и прочем. Жалко, разумеется...

В частности, расскажу вам, что одной из батарей, громивших Реймс, командовал профессор Шнейдер, автор замечательных изысканий по истории готического зодчества. Взглянув в бинокль на собор, который он давно мечтал увидеть, герр Шнейдер прослезился, а потом отдал приказ: «Огонь». Я же, как вам известно, вообще старины не терплю. Выстроят завод или казарму, не век же хныкать над бабушкиным сундуком и ходить в драном платье!

Что касается России, то я уже слыхал о вашем странном обычае выходить против пулеметов с иконами и отношу это к плохому развитию сети школ и железных дорог. Ничего, мы поправим дело! Я вас очень люблю, герр Тишин, но когда мы придем в Россию, вам придется оставить ваши вздохи и заняться серьезным делом — агрономией или птицеводством. Иконы же мы перенесем в музеи, а молитвы издадим для интересующихся фольклором.

Полагаю, что это будет скоро. Пока что вы должны будете погостить у нас в концентрационном лагере. Там вы увидите германскую организацию и германскую культуру!..»

Оставались еще две минуты, и Алексей Спиридонович, сорвавший от волнения свой галстук, а также мосье Дэле хотели возразить на слова Шмидта. Но в это время в комнату вошли часовые и привели молоденького солдата. Выяснилось, что некто Крюгер, рядовой, узнав из письма, что его жена при смерти, и не надеясь получить отпуск, пытался бежать, но сразу был пойман близ штаба. «Я вполне понимаю ваши чувства,— сказал ему Шмидт,— и с удовольствием отправил бы вас немедленно к вашей супруге, но это будет способствовать усилению дезертирства и понижению боеспособности армии. Поэтому для ваших детей, а если у вас нет детей, для детей Германии, вам придется через десять минут умереть. Вы можете передать дежурному лейтенанту ваши вещи, а также письмо супруге!» Сказав это, подписав бумагу и быстро простившись с нами, Шмидт уехал.

Нас выпустили в садик, и там мы должны были ждать прибытия партии захваченных во время боев пленных, чтобы вместе с ними направиться на восток. Через несколько минут из домика вывели Крюгера. Он шел спокойно и обыкновенно, как будто это учение или парад. Стали созывать дежурных солдат. Они ели хлеб с чайной колбасой и пили кофе. Вытерев рукой губы, унтер скомандовал: «Стройся!» Крюгера приставили к стене амбара. К нему подбежала дворовая собака, но, поджав хвост, ушла прочь. На улице денщик скреб щеткой расседланную лошадь. Все было тихо, просто, буднично. Я взглянул на Крюгера, он глядел то под ноги, то на небо, то на улицу, как будто ожидая откуда-нибудь совершенно невозможного спасения. Унтер крикнул. Первый залп был неудачен, и Крюгер, визжа, раненный в живот, подскочил. Еще один залп. Унтер подошел заботливо к трупу и ногой потрогал голову, чтобы убедиться в результате. Потом два солдата оттащили труп в сторону, и все сели к столу, за недоеденные бутерброды. Слышно было, как в комнате кто-то диктовал: «Номер четыре тысячи сто двенадцатый... Крюгер Ганс... Четыре часа пятнадцать минут пополудни...»

«Учитель,— шептал я,— что это? Можно ли это забыть? Он очень складно говорил, герр Шмидт, но ведь дело не в одной арифметике. Пусть признано «что», остается еще «как». Разве не лучше для своего глупого счастья, для своей любовницы в безумии, в гневе, в ярости убить всех людей на свете, чем ради спасения человечества, рассчитав, в четыре пополудни, у сарайчика, деловито уничтожить одного, может быть, и никому не нужного, Крюгера?»

«Запомни, все запомни,— сказал Хуренито,— эти брызги мозга на стенке и аккуратные ломтики колбасы. Пусть они встанут перед твоими глазами, если, усталый, ты протянешь руку для того, чтобы благословить срам и гнусность жизни».

Ночью, когда, запертые в тесный товарный вагон, мы ехали куда-то, я вдруг отчетливо увидел всю сцену убийства дезертира. Но сознаюсь и говорю откровенно, не ненависть испытал я тогда, а приятное мерзкое удовлетворение, что у стенки стоял не я, а кто-то другой, что я жив, чувствую теплоту надышанного, нагретого людьми воздуха, могу закурить трубку или, прижавшись к толстенькому мистеру Кулю, задре-

мать. Я не признался в этом Учителю, но я знал, что эта нудная слепая тяга к жизни, все равно к какой, хоть в свином хлеву, мешает мне претворить в жизнь его высокое учение. Думая об этом, я всю ночь томился, пока под утро не понял, что слабость еще не смерть, что весьма непохвальная ночь Петра у костра не помешала его достойной кончине, и, сладко пришептывая: «Отрекаюсь, но только временно»,— я уснул.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Порядок и культура Великой империи.— Революционный Петроград нас приветствует

Нас привезли в лагерь Оберланштейн, близ маленькой речки Лан. В первый же день к нам пришел немолодой лейтенант. Он объявил нам, что Германия сражается за культуру, право, свободу, за дело всех малых народов мира. Это было настолько похоже на то, что мы слышали каждый день в союзных странах, что я усомнился, не собирается ли немец, повторяя вычитанные им из «Матэн» лозунги, выдать себя за сторонника союзников и вызвать нас на излишние откровенности. Но Учитель объяснил нам, что «культура», «свобода» и прочее здесь тоже очень в моде и что офицер прочитал о них, по всей вероятности, не в «Матэн», а в «Дейче цейтунг». Засим лейтенант спросил, нет ли среди нас русских — не русских (украинцев), англичан — не англичан (ирландцев) и французов — не французов (социалистов крайнего толка). Таковых не оказалось, но немец, скрыв разочарование, все же обещал нам, что в лагере мы сможем оценить культуру и порядок Великой империи.

Вслед за лейтенантом пришел унтер и приказал нам выстроиться. Живот мистера Куля, руки Эрколе, мой горб и, наконец, весь мосье Дэле выпадали из ряда. Унтер остался этим очень недоволен и ткнул со всей силой мистера Куля в живот, узнав, однако, что он американец, пробормотал что-то вроде извинения и дал по уху Алексею Спиридоновичу, живот и зад которого были безупречны. Я никак не мог понять потом этого вошедшего в привычку приема — как только наши хранители сердились на Учителя, мистера Куля

или мосье Дэле, они наказывали Алексея Спиридоновича, Айшу или меня. После этих упражнений нам дали миску нехорошего цвета помоев.

Засим началось постепенное посвящение нас в тайны культуры и порядка Империи. Мистер Куль мог немедленно убедиться, что его доллары не потеряли своей магической силы. Он и мосье Дэле за доллар получали хорошие обеды и вскоре в лагере числились лишь фиктивно, так как переехали к жене старшего фельдфебеля, фрау Кнабе, державшей нечто вроде семейного пансиона для пленных из приличного общества. Мосье Дэле жаловался лишь на тяжеловесность блюд, заставляющих его удвоить дозу пилюль «пинк», и на немочку Энхен, которая, будучи неповоротливой, как статуя Германии, не знает ни одного, даже самого примитивного, фокуса Люси. Зато мы, получая все ту же водицу, через месяц так ослабели, что не могли ходить, и лишь для переклички вставали с земли.

Впрочем, мы могли утешиться, узнав, что подобный порядок существует и вне лагеря. Один солдат рассказал мне, что его жена так голодала в месяцы беременности, что ребенок родился без волос, без ногтей и явным кретином. А герр Левен, в том же Бибрихе, интендант,— пожирал ежедневно целую индюшку. Я не знаю, был ли осведомлен об этом Шмидт; судя по тому, что он уничтожал лишь французские сады и прославлял германскую организацию, полагаю, что история этого ребенка до него не дошла.

С культурой дело обстояло столь же грустно. Както Айша, по своей бесконечной наивности, рассказал солдату-немцу, что он выдирал у убитых врагов зубы, потому что «гри-гри» предохраняет от злого духа — пушки, причем посоветовал и немцу делать то же самое. Айшу нещадно избили, сломав его гордость и радость — руку «Ультима», потом хотели расстрелять и не расстреляли лишь потому, что начали фотографировать и показывать различным голландцам и шведам как образец жестокости и варварства. Его вежливо выводили на двор, что-то объясняли господам в цилиндрах, измеряли голову, а потом, когда знатные посетители уходили, с руганью и пинками кидали в темный сарай. Мой бедный, милый Айша, ты не знал, что в эти часы своим варварством ты должен был возвеличивать культуру и гуманность твоих обидчиков! Ты даже не знал, что такое это странное слово

«культура». Когда на тебя глядели, ты застенчиво улыбался, а когда били — громко, по-детски плакал.

Эрколе, сильно отощав, стащил несколько картошек, за что был приговорен к тюремному заключению и также избит. Алексей Спиридонович все время хворал, его болезнь печени, начавшаяся в Африке, осложнилась. Он был до крайности подавлен и колебался между тремя исходами — повеситься, стать окончательно «толстовцем», то есть простить все палачам и даже предложить унтеру избить его до смерти, или преобразоваться в Тишенко, чтобы перейти в лагерь украинцев, где условия были значительно лучше. Ни на чем остановиться он не мог и с горя свалился. Я совместно с ним скулил и всячески проклинал культуру, писал все, что писать русскому писателю при подобных обстоятельствах полагается: «Россия — Мессия, бес — воскрес, Русь — молюсь, смердящий — слаще» — и написанное читал Алексею Спиридоновичу. Он хватался за голову, вопил: «Да, да! Она грядет!» — а потом, зарывшись в подушку, ночь напролет плакал. Я же, плакать не умея, либо писал еще, либо садился напротив француза, получавшего часто посылки из дому, и глядел ему с неистовством в рот до тех пор, пока он в отчаянье не отрезал мне крохотного ломтика сала.

Учитель ни внешне, ни внутренне на культуру и порядок не реагировал. Он мог бы, как гражданин Мексики, освободиться или по крайней мере переехать из лагеря к фрау Кнабе, но не хотел оставить нас. Он изучал гимнастику, языки Гауса и Гереро, постановку свекловичных хозяйств на Украине и различные опыты государственных монополий. Я немало поражался приспособляемости Хуренито к самым несовместимым условиям жизни. Он был тончайшим гастрономом, почетным членом парижского Клуба последователей Гаргантюа, знатоком всех бургундских и бордоских вин, экспертом на аукционах старых погребов и, несмотря на это, с аппетитом хлебал лагерную бурду, пребывая бодрым, здоровым и веселым. Также не затрагивали его оскорбления, он даже относился к ним с нескрываемым интересом путешественника, изучающего нравы страны или, вернее, Брема у клетки зверинца. В общем, он, несомненно, был занят какими-то своими планами, в которые нас не посвящал. Со мной он, правда, много беседовал, но больше о пустяках и, как признался сам, для практики русского языка.

В начале февраля начались новые муки: всех нас, в том числе мистера Куля и мосье Дэле, неожиданно отправили из лагеря на восточный фронт в окрестности Ковно и там заставили исправлять дороги. Это было до крайности тяжело, и я убежден, что, не случись многого, совершенно нами непредвиденного, через месяц-другой, мы бы все, за исключением Учителя, нашли успокоение, на этот раз отнюдь не романтическое, но верное.

Недели через три после нашего приезда немцы, украсив штаб флагами, радостно поздравили нас: «В России революция. Царь отрекся!» Как передать переживания этого дня, слезы и объятия Алексея Спиридоновича, мое истошное пение, опасения мосье Дэле и спокойное удовлетворение Учителя?

На следующий день, когда мы кончили трамбовать безнадежную дорогу, Хуренито собрал нас и сказал: «Друзья мои, я предлагаю вам подготовиться к нежному расставанию с прелестями великой культуры и к небольшому переселению на восток. Уверяю вас, что та же картофельная кожура будет сервирована там гораздо остроумней и занимательней. Болезнь начинает вступать во вторую фазу, мною давно предвиденную. Расплеснутая с тесных узких фронтов, война, прорывая все плотины, тщится размыть гранит и твердь мира. Верьте мне, сейчас в диком Петрограде разрушают и строят Пантеоны, Квисисаны, Акрополи и Би-ба-бо вселенной».

Мы не уловили точного смысла слов Учителя, но начали усиленно готовиться к побегу. Осуществить задуманное удалось нам лишь через месяц, и 7 апреля мы, переодетые в германскую форму (Айша же с забинтованной сплошь головой), пробирались к передовым линиям.

То, что мы увидали, совсем не напоминало войну. Никто не стрелял, а со стороны русских окопов раздавались звуки «Интернационала» и виднелись красные плакаты с надписями: «Братья, идите к нам! Да здравствует мир!» Мы совершенно свободно прошли пространство, разделявшее русские и немецкие окопы, и увидали необыкновенное зрелище. Маршировавшая в полном порядке рота немцев по команде офицеров: «Направо, целуйте русских!»—начала обнимать скуластых, бородатых пермяков и вятичей, которые кряхтели от восторга, крестились и плакали. В это время

другие немцы тщательно осматривали позиции и щелкали карманными аппаратами — «на память». После отработанных честно объятий немцы устроили на месте небольшой, но приличный базар, меняя картонные портсигары, незажигающиеся фонарики, отвратительную сивуху (впрочем, гордо именуемую «коньяком») на мыло, сало, сахар и прочие продукты дикой страны. Все вместе это называлось «братанием».

Мы были всем этим чрезмерно удивлены, особенно когда опознали среди «братающихся» нашего друга Карла Шмидта в простой солдатской шинели. Он же, увидав нас, на минуту смутился, но быстро оправился и заявил, что со службой своей он якобы прикончил, мечтает о братстве народов и, прельщенный миролюбием новой России, направляется в Петроград, чтобы там тоже брататься. Не скрою, что я усомнился в искренности Шмидта и поделился своими соображениями с Алексеем Спиридоновичем. Но тот воскликнул: «У тебя черствое сердце! В эти дни первой весны мира лучи братства растопили даже льды Империи. Ты не понимаешь — Шмидт прозрел, Шмидт кается. Он мой брат, и я бесконечно счастлив, что он едет с нами!»

Что же — брат так брат. Я больше не возражаю. Всемером мы едем в глубь России. После десяти лет разлуки я вижу вновь эти серые дымчатые поля, маленькие полустанки, где гуляют чистые русские девушки, мечтая о Москве, о Художественном театре и о любви какого-нибудь идейного помощника присяжного поверенного, узловые станции с пожарскими котлетами, украшенными розанами, с пьяненьким штабс-капитаном, который пьет из чайника «белоголовку», с грудой солдат, баб, ребят, всвалку лежащих на захарканном перроне, дымя козьими ножками, нудно вычесывая вшей и матерно ругаясь. Россия — это ты!

Из Пскова Учитель посылает телеграмму министру иностранных дел Временного правительства: «Едут Петербург мексиканский делегат, три союзника, два политических эмигранта, один немец против аннексий, контрибуций, один освобожденный негр. Примите меры». Копия — в редакции всех газет.

Хотя в те месяцы приезд иностранной делегации был явлением будничным, нас встретили весьма трогательно, даже торжественно. На вокзале собрались

представители самых разнообразных организаций, как-то: охтинского районного Совета солдатских депутатов, Лиги последнего спасения России, Союза генералов-социалистов, Объединения начальных школ и других. Лига преподнесла мосье Дэле альбом с портретами деятелей Великой французской революции: Пуанкаре, Альбера Тома и Чхеидзе. Гимназистки требовали автографов в альбом у окончательно растерявшегося Айши. Мосье Дэле фотографиями остался доволен, Чхеидзе он даже похвалил — «Красивый мужчина!», но когда оркестр заиграл «Интернационал», испугался и начал шептать мистеру Кулю: «Вы слышите!.. Надо спасаться! О! Даже у бошей было спокойнее!» Впрочем, кончив «Интернационал», музыканты принялись за «Марсельезу», и это успокоило мосье Дэле.

Больше всех встречей был обрадован Эрколе. Он рычал свое: «Эввива!», вырвал у кроткого студента флейту и начал изо всех сил дуть в нее, причем публика, полагая, что это некий иностранный гимн, благоговейно обнажила головы, а Эрколе потребовал бенгальского огня или шутих и, наконец, утомленный, лег на бухарский ковер в парадных, так называемых «царских», залах вокзала и стал плеваться. Никто его не вывел, наоборот, его начали фотографировать, подносили ему цветы, и он закричал нам: «Это изумительная страна! Наконец-то я нашел нечто достойное виа Паскудини, но куда мягче и удобней!..»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Эрколе кувыркается.— Мы ликуем, и мы беспокоимся

Приступив к настоящей главе, читатель, быть может, смутится легкомыслием и сбивчивостью моего рассказа. Но в свое оправдание скажу лишь, что все первые месяцы революции я был совершенно поглощен одним занятием, а именно: я ликовал. Мое ликование облекалось в различные формы: то я ходил с другими ликующими по улицам и пытался что-то петь, то взбирался на цоколи памятников, на скамейки или на тумбы и произносил многочасовые речи, то дома перед портретами любимых вождей начинал кри-

чать: «Ура! Долой!» — чем немало пугал кухарку Дуняшу. При таком образе жизни трудно, разумеется, было наблюдать и запоминать не только события, но даже поступки моего Учителя.

На следующий день после нашего приезда мы были приглашены на митинг, в полночь, в цирк Чинизелли. Время и место меня несколько смутили, но знакомый эсер объяснил мне, что даже в молодом государственном организме имеются свои традиции, и я не стал выискивать их происхождения. Это был удивительный митинг. Не только я, но и все присутствовавшие, а было их никак не меньше тысячи, явно и не смущаясь сего, ликовали.

Первым выступает мосье Дэле: «Граждане, позвольте приветствовать вас от страны — матери всех революций! (Ура!) Не думайте, что это что-нибудь новое. У нас все уже было. Ничего — обошлось! Теперь у нас республика (ура!), и какая! Всюду написано: «Свобода — равенство — братство», даже на тюрьмах. (С галерки: «Долой! Требовать от Франции амнистии!» Председатель: «Порядок! Все имеют право высказаться!») Но ведь в тюрьмах сидят только злоумышленники, враги порядка. У нас, граждане, порядок. И верьте мне, жизнь прекрасна, как майская роза. У меня домик с садиком, в садике розы («Буржуй!») и маленькая Люси... (Председатель: «Мне подана записка — «Просим оратора держаться ближе к теме митинга: «Революция и вселенная».) Граждане, я буду краток. Вы сами понимаете, чего мы ждем от вас. Идите на фронт! Умрите скорее за вашу свободу! («Умрем!») И за символ вечной свободы — за Францию!» (Гром аплодисментов, крики: «Да здравствует Франция!»)

Вслед за мосье Дэле выходит Шмидт и без помощи переводчика довольно грамотно начинает говорить: «Граждане и товарищи! Мы все устали. («Правильно!») Мы все хотим мира. Я знаю наверное, что Германия протягивает дружескую руку революционной России. Английские империалисты хотят, чтобы вы защищались. («Позор!») Итак, долой войну!» (Снова буря аплодисментов.)

Алексей Спиридонович: «Братья! Пророчества исполнились! На Мессию, на жертвенного агнца обращены взоры всего мира. Если бы дожил до этого часа яснополянский мудрец! Встаньте, братья! (Все встают,

сзади: «Сядьте! Мешаете слушать!») Владимир Соловьев писал — после царствий отца и сына придет царствие святого духа. Готовьтесь к последнему подвижничеству! Братья, на следующем митинге я расскажу вам всю мою жизнь, и вы увидите, как я прозрел от революции. Теперь, к сожалению, в моем распоряжении только две минуты. Но что время? Мы преодолеем его! Долой время! («Долой! К матери!») Есть вечность и революция духа!» («Браво! Продлить время! Еще! Довольно! Ура!»)

Выходит мастеровой. «То есть, я, товарищи, полагаю, вот как этот товарищ говорил о духе — сперва-наперво отпустить всех запасных по домам, а потом, чтобы огородников унять, то есть креста на них нет, пять рублев за картошку». («Заявить правительству!», «Товарищ, говорите о вселенной!», «Дайте высказаться представителю пролетариата!»)

Потом толстенький артист поет: «Тореадор, смелее в бой!» Курсистка по книжке с чувством читает: «Муза народного гнева». Сзади кричат: «Надули! Давайте мексиканца!»

Учитель: «Если б я видел лишь до завтрашнего дня и не умел бы приподнимать листки отрывного календаря, я бы сказал вам: вы величайшие реакционеры. Свобода, о которой вы все говорите, слава богу («Долой попов!») и войне, отправлена в архив. Но вы здесь не живете, вы бредите, и в бреду не о том вспоминаете, чего у вас не было, а прозреваете далекое будущее. Я приветствую ваше безумие, шалые крики, бессмысленные резолюции и эту арену цирка, на которой вы богомольно и вполне серьезно кувыркаетесь перед ошарашенной Европой!»

Недоумение. Молчание. Настроение как будто портится. Вылезает уж вовсе неподобная бабка, в платочке с горошком, шамкает: « Так-то я видела, батюшка, во сне, будто таракан огромадный обожрался вареньем, цельную банку слопал и ползет под зад отца Михаила и как скинет его усищами. Да разве это дело? Не иначе, как кто-нибудь на престол лезет!»

Крики. Наверху уж дерутся. На беду, Эрколе, прельщенный зрелищем, хочет и себя показать. Он быстро скатывается вниз на песочек и кувыркается через голову. Отнюдь не аллегория, просто прекрасный жест, достойный «римлянина Бамбучи». Шумят. Негодуют. «Провокатор!» — «Кто провокатор?» — «Смерть про-

вокаторам!» Задние ярусы напирают. Эрколе в опасности. Но оказывается, что провокатор не он, а какой-то господин в фетровой шляпе. Впрочем, господин тоже товарищ министра и вообще товарищ, а провокатор, по-видимому, убежал. Успокоение. Голосуется резолюция. На грех, Эрколе не удовлетворен и пускает предусмотрительно купленные им шутихи. «Стреляют!..» Паника. Мы еле спасаемся. Кричат: «До чего вы несознательны, товарищ, прямо наступили ребенку на голову!..»

Я был раздосадован таким окончанием нашего митинга, но тот же эсер опять сослался на традиции. Учитель, напротив, остался вполне удовлетворен бурной ночью и решил специализироваться на митингах; он устраивал их десятками, под различными названиями и для лиц любой категории.

Особенно запомнились мне три митинга: воров, проституток и министров. Митинг воров прошел очень оживленно. Представитель одного из министерств, также эсер (кстати сказать, весьма денежный господин, оптовик, торговец кофе), доказывал ворам, что, во-первых, конечно, собственность, как сказал еще Прудон, кража, во-вторых, красть не следует, а необходимо честно работать на оборону. Воры возражали, ссылаясь на тяжесть и ответственность своего ремесла, приняли устав профессионального союза и постановили выразить протест против двойных замков на входных дверях, нарушающих принцип свободы. Кончился вечер скандалом: эсер, обнаружив исчезновение бумажника с английскими фунтами, дико вопил: «Мошенники, воры, всех в тюрьму!» — и звал милиционеров. Но пришедший к утру милиционер заявил, что должен предварительно запросить свой комитет, и эсер, впервые трогательно вспомнив городового, ушел на очередное собрание.

На митинге проституток вдоволь наговорился Алексей Спиридонович. Он вспоминал Сонечку Мармеладову и Марию Египетскую, просил прощения, сам прощал всех, рассказывал свою жизнь и, наконец, предложил собравшимся «омыться» в водах революционного Иордана и заняться шитьем кальсон «для доблестных защитников родины и свободы». Многие плакали. Затем различные гражданки требовали повышения тарифов. Алексей Спиридонович снова пытался говорить, от умиления расплакался и был уведен некой

сердобольной Марией Египетской, шептавшей: «Товарищ кавалер, вы ужасный душка!»

Особенным многолюдством отличался митинг министров, так как на него приглашались бывшие, настоящие и будущие министры. На министерском посту люди тогда не засиживались, и каждый мог рассчитывать, что не сегодня завтра он станет министром. В цирк пришло не менее двух тысяч человек. Заседание правительства по этому случаю было отменено. Все министры, даже будущие, каялись и обещали, будучи министрами, министрами не быть. Говорили они поэтично — о море, закате, ржавых цепях, ключах от сердец и так далее. Вообще, я министров боюсь, но эти были совсем не страшные, и я чувствовал себя в обществе начинающих поэтов. Я даже решился выступить со следующей речью: «Граждане, за десять лет моих скитаний на чужбине я познал много нехороших занятий. Мне пришлось брить пуделей, таскать вагонетки с подозрительной посудой, служить кассиром в публичном доме моего друга мистера Куля. Но, честное слово, я никогда не был министром и не буду им. Я вообще люблю людей, и вы мне, в частности, очень симпатичны. Я вам советую заняться чем-нибудь другим. Вы все проявляете склонность к поэзии и, безусловно, можете писать рекламы для папирос «Шапшала» или даже описывать сельские красоты в «Русском богатстве». Да здравствует чистая поэзия!» Мне много аплодировали.

После митингов и статей в газетах заслуги Учителя были оценены всеми. Он был назначен Верховным комиссаром, чего — в точности он так и не узнал: министр, диктовавший приказ, спеша на митинг, его не додиктовал.

В середине лета я почему-то перестал ликовать и занялся другим делом, а именно начал беспокоиться. На это уходило также много времени. Я беспокоился утром, стоя в хвосте за хлебом, читая газеты, днем на заседаниях, вечером на митингах. Ночью я ходил по людному проспекту. Гуляли офицеры, матросы, проститутки, спекулянты, эсеры, обыкновенные обыватели, и все тоже беспокоились. Каждый вечер кто-нибудь пытался взять власть, но потом раздумывал, откладывал на после, и дело кончалось небольшим боем. С вокзалов неслись тысячи бородатых солдат, опрокидывая дам, падавших, впрочем, и без того в обморок,

расталкивая очаровательных земгусаров, которые уговаривали бородачей вернуться на фронт «за землю и волю». В хороших ресторанах, куда нас иногда приглашал мистер Куль, по-прежнему сгибались в пояс половые, бренчали союзники-румыны («Эй, румфронт, зажарь-ка еще про девчоночку!»), в кувшинах пенился крюшон, и обедавшие, поковыряв в бумажнике, широким жестом бросали трешницу на георгиевских кавалеров («Авось помогут генералу убрать эту сволочь!»).

Друзья мои тоже беспокоились: мосье Дэле оттого, что русские не наступают, Шмидт оттого, что они все же собираются наступать, мистер Куль не мог вынести финансовой паники, Эрколе израсходовал все хлопушки Петрограда, а новых не привозили, Айшу же избили где-то на островах пьяненькие полотеры, приняв его не то за черта, не то за черносотенца, и он боялся выходить один на улицу. Больше всех волновался Алексей Спиридонович; он записался было в «батальон смерти» «спасать родину», но почему-то в последнюю минуту раздумал. Надо было войти в какую-нибудь партию или по крайней мере голосовать при выборах в городскую думу за какой-нибудь список. Но правые эсеры были для него слишком левыми, левые же энесы слишком правыми. Он томился, вздыхал и, выпив крюшона, плакался мистеру Кулю: «Двенадцатый час грядет! Россия гибнет! А я здесь пью крюшон — хорош гражданин, сын отечества! Дайте мне искупление! Дайте мне муку крестную! О-о!»

Потом начали наступать немцы. Шмидт на радостях угостил Алексея Спиридоновича, уже не плачущего, но рыдающего, рижским кюммелем. Мосье Дэле грозил: «Вот возьму сложу чемоданы и уеду; посмотрим, что Россия будет делать без меня!» По Невскому еще больше бегали, пели, ругались, стреляли. Наконец было объявлено торжественное празднество в честь свободной Либерии, причем Айшу принудили вместо Сенегала родиться в этой республике. Впрочем, он не жалел об этом. Его посадили на почетное место и всячески за ним ухаживали. Какая-то дама говорила о Бичер-Стоу и советовала русским, «этим жалким взбунтовавшимся рабам», «взять пример» (с кого точно, она не указала, не то с Бичер-Стоу, не то с негров). Профессор, левый кадет, очень рекомендовал Айше применить в Либерии систему пропорционального представительства и предлагал даже свое содействие. В конце

концов вышел длинноволосый юноша и завопил: «Главное—раскрепощение духа, футуризм жизни! Если ты, либериец,—прелюбодей, убийца, разбойник, я люблю тебя! Мы вымажем наши хари в сажу и будем прославлять грядущий примитив. Сегодня вечером идите все в Тенишевское училище на лекцию «Пуп и нечто» с практическими демонстрациями!»

Когда мы вышли из аудитории, где происходило это празднество, я предложил немедленно отправиться на футуристическую лекцию, но Учитель сказал: «Надоело. Вообще, друзья мои, сегодня вечером я исчезаю, конечно, на время: скоро мы увидимся.

Глядите на эти испуганные, встревоженные, отчаявшиеся улицы. Каждый камешек, каждый сопляк вопиет: «Уберите свободу, она тяжелее всякого ярма!» Разве мыслима свобода вне полной гармонии? Она быстро превращается в скрытое рабство. Я становлюсь свободным, угнетая другого. Очень быстро можно научиться не стеснять себя, но нужны железные века нового, неслыханного искуса, чтобы потерять волю теснить других. Не верьте прекрасным басням и вздохам об Элладе. История наложила свой преображающий флер на свободного мудрого философа, отхожее место которого выгребал самый обыкновенный раб. Смейтесь, когда вам говорят о божественной иерархии Индии или о свободе независимых англичан. Свободы нет, и ее еще никогда не было. Почему-то Эпиктету хотелось, несмотря на все, кушать. Заранее даны законы, и какую поэтическую галиматью ни несет Эренбург, он ходит на двух ногах, любит пообедать и не безразличен к юбкам. Тысячи различных религий, догм, философских систем, законов только констатируют существующее.

Теперь человечество идет отнюдь не к раю, а к самому суровому, черному, потогонному чистилищу. Наступают как будто полные сумерки свободы. Ассирия и Египет будут превзойдены новым неслыханным рабством. Но каторжные галеры явятся приготовительным классом, залогом свободы—не статуи на площади, не захватанной выдумки писаки, а свободы творимой, непогрешимого равновесия, предельной гармонии. Вы спросите—зачем это отступление назад или в сторону, эти бесцельные сумасбродные месяцы? Хороший предметный урок! Сейчас это—ложь, сейчас это—дяди на вокзалах и земгусары, хвосты и крю-

шон, Пикассо у Щукина и тупое «чаво»! Но придет день, когда это будет правдой. Свобода, не вскормленная кровью, а подобранная даром, полученная на чаек, издыхает. Но помните,—это я говорю вам теперь, когда тысячи рук тянутся к палке и миллионы сладострастно готовят свои спины,—будет день, и палка станет никому не нужной. Далекий день! А пока до свиданья!»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Все вверх дном.—Мосье Дэле душевно заболевает

Мы остались одни в этом вымышленном и, по совершенно точным показаниям всех русских писателей, не существующем на самом деле городе.

Я по ночам бродил плоскими, прямыми улицами. В одинаковых, низких домах жили явно подозрительные чиновники, между двумя «исходящими», без всяких мук, только с запятнанными чернилами пальцами, рожающие антихриста; портные-чухонцы, а может, и немцы, изумительно аккуратные, с накрахмаленными женами, которые, выпив в праздник тминную, мерили аршином небо над Исаакием и пытали невидимого, выше Исаакия обитающего, не жмет ли у него под мышкой, церковные старосты, отставные швейцары, гробовщики, кропившие герань и фуксии какой-то дрянью, а потом приподымавшие половицы в поисках—не то дохлой крысы, не то припрятанной трешницы, не то пупа земли. Словом, всем известная петербургская, то есть санкт-петербургская ерунда. Неожиданно, из грязной ваты тумана, вставало огромное квадратное здание с глухими стенами, с навеки замершим меж пятым и шестым этажами лифтом и с пишущей машинкой, выстукивающей до зубной боли: «Спасите, спасите Россию!»

Смутные и осовелые толпы днями простаивали у белых экранов редакций. Было ясно, что дело пахнет Навуходоносором, но вместо «такел» и прочих нормальных слов появлялся бред: «Новый кабинет в Испании—Чернов селянский министр—Курите папиросы «Кри-кри». Я пробовал тротуар Невского, он не подавался. Адмиралтейская игла, без которой, как известно, не могут обойтись русские поэты, тоже стояла на месте.

Я шел в «Вену» и кричал: «Закуску и понимаете!.. Еще, спасайте!» И лысые официанты пришептывали: «Спасайте!» И поужинавший сытно репортер икал — «Необходимо спасать», и рюмки дребезжали: «Спасай, спасай!»

В октябре стало совсем невтерпеж. Как-то проснувшись, я вспомнил, что есть Москва, обрадовался и побежал разыскивать наших. Вечером мы уже осаждали поезд на Николаевском вокзале. Убедившись, что, кроме Петербурга, есть земля, желтые листья, а кое-где на околице деревень веселые поросята, я успокоился и заснул.

А когда мы приехали в Москву, было сыро по-петербургски и трещали пулеметы. В зале вокзала какой-то чиновник и солдат долго и нудно старались перекричать друг друга. Один вопил: «Спасайте Россию!», другой — «Спасайте революцию!». Потом, для двойного спасения, они подрались. Вскоре заговорили совсем близко пушки, и мы поспешили разойтись, кто куда, по разным адресам.

Как известно, бой длился неделю. Я сидел в темной каморке и проклинал свое бездарное устройство. Одно из двух: или надо было посадить мне другие глаза, или убрать ненужные руки. Сейчас под окном делают — не мозгами, не вымыслом, не стишками, — нет, руками делают историю. «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» Кажется, чего лучше — беги через ступеньки вниз и делай, делай ее, скорей, пока под пальцами глина, а не гранит, пока ее можно писать пулями, а не читать в шести томах ученого немца! Но я сижу в каморке, жую холодную котлету и цитирую Тютчева. Проклятые глаза, — косые, слепые или дальнозоркие, во всяком случае, нехорошие. Зачем видеть тридцать три правды, если от этого не можешь схватить, зажать в кулак одну, пусть куцую, но свою, кровную, родную?

Кругом по крайней мере охают, радуются и по различным обстоятельствам прославляют Вседержителя. «Слава богу, идет Алексеев, этих разбойников прогнали!» — кричит милая девушка Леля. «Слава тебе господи, — умиляется прислуга Лели Матреша, — большаки верх берут!» Я даже на это не способен. Если б был Учитель, он снял бы с меня непосильную свободу, сказал бы «иди», и я пошел бы. Но его нет, и я жую котлету. Запомните, господа из так называемого «по-

томства», чем занимался в эти единственные дни русский поэт Илья Эренбург!

Потом все стихло. Леля, милая девушка (чистая, светлая, русская), брат ее Сережа, хороший, с длинными волосами, честный, идейный, тот, что с Лавровым и Михайловским,— словом, все кругом начали плакать. Я сам плакать не умею (очевидно, какие-то железы не работают), но слезливых скорее люблю. Пошла повсеместная панихида. Причем многие оплакивали то, чего раньше вовсе не замечали или, замечая, не одобряли: Леля — великодержавность, Сережа (с Михайловским) — церковь, гимназист Федя (младший брат Лели) — промышленность и финансы. Это было все-таки делом, и за отсутствием другого я занялся оплакиванием.

Я вынимал, будто луковицу, воспоминания давних лет: детскую веру, быт столовых с фикусами и закуской, миссию России по «Дневнику писателя», купола псковских церквушек, кафе «Бома» на Тверской, со сдобными булочками и с веселыми рассказами Алексея Николаевича Толстого о псаломщике, вмещавшем в рот бильярдные шары,— слезы не текли, но я скулил честно и длительно, как пес в непогоду.

Я родился в 1891 году, воспитывался в первой московской гимназии, будучи еще в четвертом классе, записал в календаре «Товарищ»: «Ваш любимый писатель?» — «Достоевский», «Ваш любимый герой?» — «Протопоп Аввакум». Как мог я не скулить и не горевать? У меня уже сложились свои привычки: даже за обедом я презирал низкую материю. Во мне жил самый подлинный шовинизм, так ничего, бродил по заграницам, а иногда находило: у нас, мол, все особенное, и Бог особенный, и животы мы порем по-особенному... Предпочитал как будто, когда животов вообще не порют, но вот порой что-то подступало, где-нибудь в уютном кафе Копенгагена я начинал себя чувствовать скифом, презирал жалкую, мещанскую Европу и прочее.

Все эти скучные автобиографические сведения я сообщаю для того, чтобы объяснить мое состояние осенью семнадцатого года. Я вспоминал, отпевал, писал стихи и читал их в многочисленных «кафе поэтов» со средним успехом.

Так прошло два месяца. Учитель не давал о себе знать. Зато в одно морозное декабрьское утро вбежал

ко мне мосье Дэле, упал в кресло и закричал: «Умираю!» Зная, что французы отличаются деликатным телосложением, так что при двух-трех градусах мороза в Париже умирают партиями, я взволновался и начал щупать его пульс. Мосье Дэле руку свою вырвал и объявил, что он действительно нездоров и страдает небывалым в его жизни запором желудка, но не в этом суть дела, а в дворнике Кузьме и вообще в России.

Надо сказать, что, будучи занят оплакиванием, я ни разу не удосужился навестить кого-либо из моих друзей и только однажды в «Кафе поэтов» встретил Алексея Спиридоновича, который, выслушав мои стихи, начал плакать и вынул из кармана два носовых платка. О жизни мосье Дэле я ничего не знал, и поэтому Кузьма был для меня личностью таинственной. Я попросил у мосье Дэле необходимых разъяснений, и он, негодуя, плача, визжа, рассказал мне о своих злоключениях.

Сначала, когда «эти апаши» захватывают власть, мосье Дэле решает из протеста не выходить на улицу. Ужасно для пищеварения, но культура выше всего! Он ждет, что к нему явится какая-нибудь делегация — переговоры, уступки. Никого! Наконец — несварение, бессонница. Ко всему, мосье Дэле успел приютить в сейфе «Лионского кредита» особо любимую пачку. Необходимо выйти. Что же? Сейфа нет! Банка нет! Ничего нет! Слышите? Только люди и скандал! На Кузнецком встречает знакомого генерала — что-то не то Пирикан, не то Пиликан,— кидается к нему: «Что делать, мон женераль?» А тот — мелкой дрожью — «не мон женераль, мол, а тсс... и все. Никаких генералов больше нет». Слышите? Да лучше пренебречь своим желудком, лучше добровольно убить себя, чем ходить по этому аду, где ничего не существует.

Но ему не хотят позволить даже умереть. Являются какие-то разбойники, которых в Париже и в тюрьму не впустили бы, и объявляют, что отныне они будут помещаться в квартире мосье Дэле, потому что они не просто шесть босяков, а вот что...

Мосье Дэле читает — «Подотдел охраны материнства и младенчества». Все это гениально, но позвольте осведомиться, где же жить самому мосье Дэле? «Это ужасно, это зверство!» Дэле визжит и прыгает по моей комнате. «Они мне предлагают тесную конуру».— «Как?» — «Здесь вполне достаточно кубических ар-

шин!» Вместо столовой, гостиной, зала, кабинета, спальни — кубические аршины! Мосье Дэле — француз, он любит свободу, простор, воздух, чтобы даже на картинах был «пленер», он задохнется в этих аршинах! Никакого впечатления.

Тогда мосье Дэле решается на отчаянный жест, на героический подвиг, он сам идет в гнездо этих преступников, в «Районный Совет»! И что же? Там он видит среди других мошенников — дворника, его же собственного дворника — Кузьму. Это ль не безумье? Мосье Дэле все же крепится — он француз, иммунитет, поняли? «Нас это не интересует, мы даже трех консулов за некоторые штучки преспокойно сцапали. Ваше классовое положение?» Проблеск надежды! Знакомые слова! Незабвенные шестнадцать классов! Он гордо отвечает: «Конечно, не как вы, на три года в общей яме, шестнадцатого, я — четвертого, третьего, собственность могилы навеки, я могу быть и вне классов, вот что!»

«О, дорогой Эренбург, с вашей страной произошло самое ужасное, она перевернулась вверх дном. Все окончательно перепуталось. Я оказался внизу. Они прогнали меня, а Кузьма даже усмехался: «Вот вам, товарищ,— о! о! о! Он так и сказал: «Товарищ Дэле»! — ваше вне классов!..» Друг, спасите меня! Где мой компаньон Хуренито? Где все наши? Я могу сейчас, здесь же умереть! Я изнемогаю! В первый раз в жизни я потерял аппетит, потерял порыв, я потерял все! Даже пилюли «пинк» мне больше не помогают. Дайте мне дюжину настоящих маррэнских устриц, бутылочку шабли, Люси — все равно я не двинусь с места. Вы в Петрограде все время хотели кого-то спасать,— теперь спасайте Дэле!»

Выслушав эти тронувшие меня жалобы, я сообщил по телефону в редакцию, в кафе «Трилистник» и еще одной очаровательной актрисе, что сегодня я оплакивать не смогу, и решил вместе с мосье Дэле по записанным адресам разыскать наших приятелей. Может быть, кто-нибудь поможет умирающему другу.

Раньше всего мы направились к мистеру Кулю, но по дороге мосье Дэле закатил еще две или три истерики. Прямо из подъезда он понесся к стене, на которую каждое утро наклеивали декреты, и потребовал, чтобы я ему их перевел. Он любил это занятие, находя в нем какую-то мучительную сладость. Спокойно слушал он

о мобилизации агрономов и об учете швейных машин,— ни то, ни другое его не затрагивало, но после третьей бумажки громко завыл. Это была поэма молодого футуриста, озаглавленная «Декрет»; в ней языком сложным, изобилующим словообразованиями, предлагалось преобразовать и украсить жизнь, вытащить картины на улицу, а на площадях бить в барабаны. Поэма кончалась грозным предостережением о том, что жалкие пассеисты, этого не исполнившие, все равно бесславно умрут! «О, проклятие! Значит, меня завтра расстреляют! Да, да — завтра, я знаю, у них все в двадцать четыре часа! Завтра в половине одиннадцатого! Но что делать? Я с удовольствием вынес бы на Зубовскую площадь мою картину «Девушка мечтает в плодовом саду», но они ее забрали у меня,— эти прохвосты из «Материнства». Я не умею играть на барабане! Значит, конец, смерть, и даже без бюро!..» Я еле-еле успокоил его, объяснив, что это лишь стихи. «Как? Вы называете этим прекрасным именем бред бешеной собаки? Я сам люблю стихи! Я всегда с Зизи читал: «до» — Гюго или Ростана — для порыва, а «после», отдыхая, Мюссе или графиню де Ноай. Но это ужас, это преступление, а не стихи!..»

На улицах, по случаю какого-то праздника (с тех пор как меня выгнали из гимназии, я потерял интерес ко всяким святцам, в том числе и революционным), висели плакаты футуристические, кубические, супрематические, экспрессионистические и некоторые другие. Выбрав один, наиболее ему понятный, изображавший изумрудную бабу с ногами, растущими из грудей, и с четырьмя задами в различных положениях, освещении и трактовке, мосье Дэле принялся рыдать: «Искусство! О, мой милый охотник, который давал мне порыв! О, красота! Женщина! Любовь! Все поругано!»

Так пришли мы к Театральной площади, где застали любопытную сцену. Некто, по фамилии Хрящ, а по профессии чемпион французской борьбы и «футурист жизни», дававший советы молодым девушкам, как приобщиться к солнцу, водружал сам себе в скверике памятник. Хрящ был рослый, с позолоченными бронзовым порошком завитками жестких волос, с голыми ногами, невыразительным лицом и прекрасными бицепсами. Толпа опасливо молчала, полагая, что это какой-нибудь «большой большевик». Мосье Дэле всхлипывал. Потом пришел красноармеец, сплюнул и повалил статую на землю.

Публика разошлась, и мы направились в гостиницу, указанную мистером Кулем. Увы, там мы узнали, что американец, как «закоренелый эксплуататор», отправлен в концентрационный лагерь близ Симонова монастыря. «Это второй потоп!» — закричал мосье Дэле. Мы решили немедленно навестить бедного мистера Куля и нашли его в ужасном состоянии. Он исхудал и даже отпустил бороду. Со скуки он записывал в свою чековую книжку, потерявшую всю прелесть кладезя таинственных увеселений, несложные события тюремной жизни: «24-го выдали по два фунта сушеной воблы. 27-го на обед пшено. 29-го фабриканту Смитсу переслали фунт сахару, и он дал взаймы три кусочка». Желая утешить мистера Куля, я принес ему в подарок Библию — большой том с иллюстрациями — и начал читать вслух: «Последние будут первыми». Но, очевидно, от плохой пищи мистер Куль заболел потерей памяти, — не узнавая любимых текстов, он выхватил из моих рук толстую книгу и в ярости ударил ею меня по голове. После этого он начал вопить, что мосье Дэле тоже «закоренелый» и что его необходимо также посадить в лагерь. Мы поспешили уйти.

От мистера Куля мы направились к Алексею Спиридоновичу. Уже на лестнице мы услыхали причитания и стоны: это наш друг читал газету. «Срублен «Вишневый сад», — закричал он, даже не здороваясь с нами, — умерла Россия! Что сказал бы Толстой, если б он дожил до этих дней?» Потом он кинулся на грудь мосье Дэле. Я не любитель фотографий, но много дал бы, чтобы увидеть сейчас запечатленной эту сцену. Алексей Спиридонович объяснил мосье Дэле, что ко всему происходящему Россия не имеет никакого отношения, это дело двух-трех подкупленных немцами инородцев. Но скоро наступит освобождение, и он, Алексей Спиридонович, клянется мосье Дэле, что все долги, до последнего сантима, будут выплачены. Пока же он ничем помочь не может. Он болен нервным расстройством, саботирует и ждет светлого дня открытия Учредительного собрания.

Не более утешительными оказались наши дальнейшие визиты. К Шмидту, занимавшему важный пост, нас так и не пропустили. Получив после многодневного стояния в очередях семь различных пропусков, мы были под конец задержаны неким человеком, которому не понравились ни печати на пропусках, ни

наши лица. Зато на улице мы встретили Эрколе. Увидев нас, он сразу принял героическую позу, одну руку выпятив вперед, а другую прижав к сердцу. «Вы не знаете — я теперь памятник, да, да, монумент, и это такое же занятие, как и всякое другое, ничем не хуже, чем перебирать четки!» Эрколе рассказал нам, что его вздумали потянуть на какие-то трудовые работы, кажется, сгребать снег, пренебрегая тем, что он, римлянин, Бамбучи, никогда не работал и работать не будет. Тогда он разыскал итальянца, торговавшего кораллами, и начался совет — что делать? Эрколе хотел вернуться к своему ватиканскому прошлому и объявить себя снова доминиканцем. «Избави тебя мадонна, — закричал торговец кораллами, — это сейчас совсем не в почете, даже наоборот!» — «Тогда я скажу, что я убил тысячу австрийцев, что я почти генерал, подгенерал». — «Еще хуже, могут пристрелить». — «Но что же они, черти, любят?» — «Искусство — это теперь вроде монахов». Эрколе, обрадованный, вспомнив родной Рим, статуи богинь, чертей на порталах церквей и рисовавшую его англичанку, сначала решил объявить себя художником. «Но тебя могут заставить восемь часов в день рисовать картины». Раздумие. Плевок. Решение найдено — он будет не художником, а картиной, то есть не картиной, а статуей.

На следующий день, прорвав все заграждения, он проник на заседание археологической комиссии и начал изображать богов, полководцев и тритонов Рима. А домой ушел с вожделенным удостоверением, гласившим, что «товарищ Эрколе Бамбучи состоит под защитой Отдела охраны памятников искусства и старины РСФСР».

Сообщив все это и добавив, что он получает довольно скверный паек, но может подарить мосье Дэле фунт крупы и четверть фунта так называемых «кондитерских изделий», Эрколе показал фонтан Нептуна, особенно значительно плюнул и ушел.

Все эти встречи ужасно отразились на мосье Дэле. За неделю, проведенную с ним, я мог убедиться в серьезности его состояния. Оставалась последняя слабая надежда: Эрколе сказал нам, как найти Айшу, добавив, что он живет очень хорошо. Мосье Дэле немного воспрянул духом, высказав предположение, что Айша, наверное, служит грумом у какого-нибудь «крупного бандита», то есть большевика, и сможет вернуть Дэле

банк, сейф, книжку, а также помочь ему выбраться из этой варварской страны.

Мы пошли по указанному адресу, а именно в Комиссариат иностранных дел. В просторных залах для приема посетителей было пусто, так как в то время Россия ни в каких сношениях ни с каким государством еще не состояла. Только одна старая дама, очевидно гувернантка, устраивала бурную сцену самому комиссару по поводу незаконно у нее — швейцарской гражданки — реквизированных ночных рубашек и других вещей, которые она, будучи не большевичкой, а честной кальвинисткой, назвать не может. Мосье Дэле, не желая пропустить случая, тоже стал протестовать, говоря сразу о сейфе, о Кузьме и о пилюлях «пинк». Комиссару это не понравилось, и, дипломатически улыбнувшись, он вышел.

Мы спросили, где Айша, и нас направили по соседству, в Коминтерн, в секцию народов Африки.

Хотя за время войны и революции я потерял божественное чувство удивления, рассказ Айши меня взволновал. В общем, Эрколе был недурным памятником, а мистеру Кулю, с его жаждой духовной жизни, даже шла тюремная решетка. Но Айша, милый Айша, с которым я шалил на берегах блаженного Сенегала, в роли заведующего пропагандой среди негров,— это было необычайно, изумительно и гениально в своей простоте! «Белые нас убивали, нехорошие были. Теперь мы не пустим к себе добрых капралов!» Словом, Айша чувствовал себя великолепно в этой новой роли. Зато я боялся глядеть на мосье Дэле; у него были дикие глаза, он хрипел и почему-то норовил припечатать лежавшей на письменном столе печатью волосы Айши. Кротко улыбаясь, Айша проявил хорошую память и добродушие, обратившись к мосье Дэле: «Помнишь, ты Айше сказал: «Айша мой, французский, иди, Айша, работай на войне». Теперь Айша говорит: ты мой, сенегальский, Айша тебя очень любит! Иди работать, будешь младшим делопроизводителем в моей канцелярии».

Тогда произошло нечто безумное. Мосье Дэле, вскочив на стол, тоненько, по-петушиному завопил: «Я вне классов! Жабы! Падаль из шестнадцатого! Вы хотите ущипнуть меня за икры! Я вам покажу! Как они воняют! Чернь! Мертвецы! Дайте мне триста надушенных платков! Припечатываю ваш Сенегал и хороню по

третьему классу! Верните сейф! Да здравствует франко-русский союз! Бригадир, вяжите Кузьму и к мосье Деблеру его! На гильотину! Чик-чирик! А потом без бюро, в яму!..»

Увы, не оставалось сомнений — бедный мосье Дэле сошел с ума. Его связали и отвезли на Канатчикову дачу. На следующий день я принялся за свои прерванные занятия и, оплакивая все, искренне плакал над судьбой дорогого мосье Дэле, который во имя химерического «Универсального Некрополя» променял душистый горошек и Люси на унылые палаты больницы для умалишенных. Его чувство порядка и гармонии, стройная иерархия мира не могли выдержать дикого хаоса или, по предсказанию Учителя, «уютненького приготовительного класса».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Хуренито пишет декреты.— Спор о свободе в ВЧК

Ранней весной, когда даже правительство, убедившись в иллюзорности Петербурга, переехало в Москву, неожиданно появился Учитель. Он пришел ко мне, осведомился о моем образе жизни, не одобрил его, предложил мне оплакивание немедленно прекратить и ехать с ним в Кинешму, в качестве его личного секретаря. На вопрос, что, собственно, он делал в течение шести месяцев, он ответил кратко: «Крепкий быт, черт его побери! Выкорчевывал, мозоли натер!» В Кинешму он ехал в качестве комиссара.

Через три дня мы сидели на продавленной кровати кинешемской гостиницы, и Учитель, глядя в окошко на улицу, где местные охальники щупали мимоходом сонных волооких баб, развивал свою программу: «Хуже всего, если вместо сноса и стройки пойдет ремонт. Что может быть пошлее, пересадив галерку в партер, тянуть ту же идейную драму? Я попытаюсь воплотить в жизнь новые основы равенства, организации, осмысленности».

Засим в соседней комнате задорно затрещали машинки — это Хуренито диктовал декреты. Начал он с равенства. Все комиссары, советские спецы и артисты местного Кабаре имени Карла Маркса переселялись в рабочие каморки и подвалы. Далее, для заведующих складами одежды или стоящих во главе Комиссии по

сбору излишков у буржуазии устанавливалась форма: косоворотка, полушубок (простой), картуз, солдатские сапоги. Наконец, меню высших и низших служащих продовольственного отдела ограничивалось пшенной кашей, в просторечье именуемой «пшой». Но эти разумные меры привели к величайшему беспорядку. Деятельность различных, крайне важных учреждений (в том числе Комиссии по сбору излишков и Кабаре имени Карла Маркса) приостановилась. В центр были посланы многочисленные жалобы.

Хуренито, не отчаиваясь, приступил к подготовке всемирной организации и к истреблению растлевающего, по его словам, призрака личной свободы. Он опубликовал в один и тот же день — 12 апреля — три небольших декрета, относящихся к различным областям жизни. Вот их точный текст:

«I. Ввиду недостатка кожевенного сырья и готовой обуви, а также ввиду плохого состояния тротуаров г. Кинешмы, запрещается с 15-го с. м. всем гражданам ходить по улицам в рабочие часы с 10 до 4 часов вечера, кроме направляющихся по делам службы и снабженных соответствующими удостоверениями.

II. До выработки центральными советскими органами единого плана рождений на 1919 г., запрещается с 15-го с. м. гражданам г. Кинешмы и уезда производить зачатья.

III. Условия настоящего момента требуют от всех честных граждан максимального напряжения сил для воссоздания промышленности и транспорта. Поэтому, в целях экономии мозгов совработников, из общественной библиотеки временно прекращается выдача книг философских и теологических».

Эти декреты вызвали подлинную бурю. Кинешемская коммунистическая организация решила, что Хуренито не марксист, и обратилась в Центральный Комитет партии.

«О, лицемеры! — негодовал Учитель.— Они призваны разрушать, но среди развалин, с ломом в руке пытаются разыгрывать археологов или, по меньшей мере, антикваров. Чем эта шикарная лестница пайков, от восьмушки хлеба до бутербродов с икрой, хуже шестнадцати классов нашего несчастного друга? Они любят свободу не меньше Гладстона, Гамбетты и членов Общества защиты интересов мелкой торговли в южных департаментах Франции. И как джентльмены

«Ольд-Энгланд»», они пекутся о святости домашнего очага. Как будто заставить рожать или запретить рожать труднее, чем приказать убивать или молиться, чем запретить думать не по-указанному или спать с неокупленными и неприпечатанными объектами? Ханжи, драпировщики на кратере Везувия, великосветский бомонд, ряженный апашами, портняжки, кладущие последнюю, трагическую, вырезанную с самого неподходящего места, заплату на изношенные до последней нитки штанишки Адама!»

Враги Хуренито энергично работали для того, чтобы сместить его. В корреспонденции, посланной в петербургскую «Красную газету», Учитель был определен как «невежественный самодур», «один из примазавшихся», «позорящий своими поступками святое пролетарское дело».

Решительный бой разыгрался вскоре из-за отношения Хуренито к проблемам эстетики. Учитель полагал, что искусство,— так, как оно понималось доселе, то есть размножение совершенно бесцельных вещей,— является для нового общества ненужным и должно быть как можно скорее уничтожено. В одной из дальнейших глав я изложу подробно соображения, которыми руководствовался Учитель в своем неоиконоборстве, пока же настаиваю на выводах, а именно на его твердом намерении поступить с девятью музами так, как поступили с «закоренелым» мистером Кулем. Кинешемские большевики придерживались взглядов противоположных и искусство обожали. В городе открылось восемнадцать театров, причем играли все: члены исполкома, чекисты, заведующие статистическими отделами, учащиеся первой ступени единой школы, милиционеры, заключенные «контрреволюционеры» и даже профессиональные артисты. В театре имени Либкнехта Коммунистический Союз Молодежи ежедневно ставил пьесу «Теща в дом — все вверх дном», причем теща отнюдь не являлась мировой революцией, а просто тещей доброго старого времени. Все это, конечно, отличалось лишь количественно от прежнего кинешемского театра, который содержал купец Кутехин.

В области живописи также было сделано немало. Благодаря несознательному отношению крестьян к произведениям искусств из усадьбы были вывезены различные шедевры, и в Кинешме торжественно открыт музей. Гордостью музея были три картины: на

первой была изображена дохлая рыба, раскрывшая рот, пустая бутылка и кочан капусты, с подписью — «голландская школа», на второй, «приписываемой Андреа дель Сарто», очень большегрудая, дородная баба кокетливо улыбалась почтальону в костюме ангела и с глазами барана, третья была испещрена различными фиолетовыми и просто грязными, как бы чернильными пятнами, долженствовавшими передавать, по мнению Врубеля, нечеловеческую страсть Демона.

Учитель, не колеблясь, приказал музей и все театры немедленно закрыть, помещения предоставить для профессионально-технических школ, художников мобилизовать для выработки моделей солидной и удобной мужской обуви и канцелярских стульев, а актеров, снабдив всяческими директивами, отправить в уезд уговаривать крестьян сажать побольше картофеля.

Рабис, то есть Союз работников искусства, послал в Москву отчаянную телеграмму, и вскоре был получен ответ: «Убрать вандала». Председатель коммунистической организации торжествовал: «Я говорил, что он не марксист, но буржуй, то есть вандал!» Мы же с Хуренито отправились в Москву.

Тотчас по приезде мы пошли на большой митинг в аудитории Политехнического музея. По речам первых ораторов мы могли убедиться в том, что точка зрения кинешемских актеров разделяется великими держателями и рулевыми. Вот что говорили ораторы: «В пролетарском государстве воскресает красота античного мира», «Мы поборники вольной мысли», «Ныне наступило истинное царство свободы». Учитель не мог вытерпеть этой древней жвачки, линялых незабудочек и ста тысяч продавленных тюфяков, он закричал: «Как вам не стыдно возиться с протухшей красотой или с трухлявенькой свободой? Вы настоящие контрреволюционеры!..»

Произошло некоторое смятение, а когда мы вышли из музея и сделали шагов сто, два изящных молодых человека очень любезно предложили нам продолжить путь в автомобиле и со всеми удобствами отвезли нас в ВЧК.

Допрос Учителя был краток. «Вы отрицаете наличность красоты и свободы в коммунистическом государстве?» — «Безусловно!» — «Вы считаете выступавших на митинге контрреволюционерами?» — «Разумеется!» Я же на допросе стыдливо мычал, жаловался на боли

в желудке, но в конце концов подписался под показаниями Учителя.

Вечером нам пришли объявить, что мы приговорены к высшей мере наказания. «Что это?» — спросил я. «Так как приговорить нас к бессмертию не в их власти, то, очевидно, это самый банальный смертный приговор»,— ответил мне Хуренито.

Снова пережил я угрюмые часы ожидания смерти. Мне очень не хотелось умирать, во-первых, потому что я откровенно и нагло люблю жизнь, всякую, даже в камере чрезвычайки, во-вторых, из-за любопытства, чем кончится этот великолепный переполох. Я не умел тогда еще осмыслить, опознать происходящего; слепо подчиняясь словам Учителя, я не понимал его намерений и часто в душе роптал. Иногда мне мучительно хотелось простой будничной жизни, без масштаба вселенной, без перспективы тысячелетий, жизни со слоеными пирожками и со стихами Бальмонта. Тогда я бежал к Алексею Спиридоновичу, у которого была большая карта России и который всегда точно знал, где находятся чехословаки, донцы, немцы или французы,— словом, близок ли «светлый день воскресения».

Иногда, когда я попадал в общество подрядчиков или присяжных поверенных, равно погибавших без «Русского слова» за утренним кофе, с душевными фельетонами попа-расстриги Григория Петрова, без завтраков в «Праге», без биржи, без клуба, без «свободы слова, печати, совести, передвижений», я вдруг приходил в веселое состояние и радовался их горю. Я испытывал в такие минуты глубокое нравственное удовлетворение перед торжеством справедливости, достойным хорошего английского романа, а также истинный экстаз от мирового скандала, знакомый всем поклонникам выдающегося актера Чарли Чаплина, который идеально громит посудные лавки и сбивает с ног почтенных дам.

Но бывали минуты, когда и чехословаки с булочками, и разбитые вазоны меня не удовлетворяли. Я старался постичь слова Учителя о новом железном искусе. Я хотел взглянуть на самого себя пыльными глазами Иловайского. Тогда я видел вещи чудесные и ужасные — небо застилалось циклопическими спиралями и кубами. По гулким, светлым и холодным площадям маршировали осмысленные табуны грядущих поколений. Природа юлила, ползала в ногах и выки-

дывала из-под своего форменного «таинственного покрывала» белый флажок. А в конце мерещилось нечто вроде последней железнодорожной катастрофы, с участием комет и других посторонних тел, осколки стекла, ржавь, освобождение.

Ожидая смерти в камере ВЧК, я залпом, судорожно думал обо всем и чувствовал, как нелепо, глупо умереть, не досидев даже до конца первого акта. Ночь прошла скверно, а утром нас вызвали и повели по скользким, пропахшим капустой и кошками лестницам, по коридорчикам и глухим внутренним дворам. Учитель вел меня под руку, и это придавало мне силы. Он улыбался и шутил с солдатами, протестуя против того, что ему не выдали утром пайка, который он успел бы еще съесть. У меня в ушах гудело, и бессмысленно мелькали перед глазами неожиданные клочья не убранной с неба синевы. Потом нас почему-то повели снова по лестницам и проходам и, вместо того чтобы просто, честно пристрелить, впустили в комнату с грязными, замусоленными обоями, где на диване какой-то интеллигент пил чай вприкуску.

Посмотрев на нас близорукими, весьма добрыми глазами, он сказал, что по случаю приезда в Москву депутации, кажется, сиамских коммунистов, объявлена амнистия и нас, в частности, расстреливать не будут. Учитель выслушал это молча, я же промолвил вежливо, как меня учили в детстве,— «мерси». Но интеллигент, явно не удостаивая меня вниманием, обратился к Хуренито с вопросом: «Скажите, пожалуйста, неужели вы столь злостны и слепы в своей ненависти к рабоче-крестьянской власти, что не видите очевидного всем, не хотите признать простенькой истины, а именно, что РСФСР — подлинное царство свободы?»

Учитель улыбнулся. «Товарищ, увы, я не слеп, не злобствую, говорю «увы», ибо злоба и слепота являются залогом борьбы, движения, а следовательно, жизни. К сожалению, у меня зоркие глаза, трезвый ум и уравновешенный темперамент. Но это так, между прочим. Еще менее могу я ненавидеть власть, жизнь меня научила уважению ко всем ремеслам. Революция же мне вполне по сердцу, и я полагаю, что в течение тридцати одного года своей жизни я предпочтительно занимался именно уничтожением, подрывами, подкопами и всяческими очистительными операциями. Что касается свободы, то это — абстракция, в наши дни

крайне вредная. Вы уничтожаете «свободу», поэтому я вас приветствую. Вы величайшие освободители человечества, вы несете ему прекрасное иго, не золоченое, но железное, солидное и организованное. Будет день, когда для школьников выпускного класса свобода станет революционным кличем и от него полетят, как перья общипанной курицы, тысячи облачений ныне строящегося мира. Но сегодня «свобода» — понятие контрреволюционное, подушка рантье, леденец в кулаке антропофага, канонизация всех помойных ям мира. Я приветстую вас — вы за год основательно вышибли из голов лежебоков, грезеров и слюнтяев само понятие свободы. Но мне очень обидно видеть, что в безумном повороте корабля повинен не руль, а волны. Короче — вы сами не сознаете, что делаете. Это, конечно, бывает часто, но это все же невесело. Если вы меня не расстреляете, я буду по мере своих сил работать с вами, то есть уничтожать красоту, свободу мыслей, чувствований и поступков во имя закономерной, единой, точной организации человечества!»

Интеллигент, который оказался революционным следователем, пришел в негодование. Отставив чашку, он даже слез с дивана, пробежался по комнате и, желая убедить Учителя, раскрыл «Коммунистическую азбуку» и начал читать о прибавочной стоимости. Прочитав страницы три, он воскликнул: «Теперь, надеюсь, вы поняли — из царства необходимости мы вступаем в царство свободы!»

«Дорогой товарищ, я ничуть не сомневаюсь, что царство свободы когда-нибудь настанет (возможно, тогда, когда будут истреблены последние люди на нашей планете). Пока что мы именно вступаем в царство откровенной необходимости, где насилие не покрывается пошлой, сладенькой маской английского лорда. Умоляю вас, не украшайте палки фиалочками! Велика и сложна ваша миссия — приучить человека настолько к колодкам, чтобы они казались ему нежными объятиями матери. Для этого вовсе не надо подходить осторожно, крадучись, пряча колодки за спину. Нет, нужно создать новый пафос для нового рабства. Мало соблазнять приготовишку дипломами, надо научить его радоваться восьми годам — восьми векам, а может быть, тысячелетиям. Вы, кажется, несмотря на свою интеллигентность и пристрастие к цитатам, человек дельный, энергичный. Оставьте же свободу сифи-

литикам из монмартрских кабаков и делайте без нее все, что вы, собственно говоря, и так делаете!»

«Вы неисправимы,— сухо ответил следователь.— Я не вполне точно выяснил благодаря вашей странной терминологии, являетесь ли вы монархистом или анархистом. Во всяком случае, вы контрреволюционер, и ваши симпатии к советской власти носят провокационный характер. Мы не враги, мы ревнители свободы. Смертная казнь по отношению к вам и к гражданину Эренбургу заменяется принудительными работами и содержанием в концентрационном лагере вплоть до окончания гражданской войны. Надеюсь, там вы осознаете свою ошибку!»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Мистер Куль в коммунистическом семействе.— Слезы продкома.— Святой грааль

Мы попали в лагерь, где содержался мистер Куль, и таким образом наше заключение было не лишено приятности. Неутомимый миссионер успел за время своей неволи несколько освоиться с происшедшими переменами и даже с ними примириться. Конечно, он не сделался коммунистом, даже не объявил себя «сочувствующим», но все же смягчился и восстановил былое уважение к своим двум книжкам — синенькой и сафьяновой. «Я ошибался, думая, что все погибло: доллар и нравственность продолжают царить над людьми. Чем больше преследуют доллар, тем быстрее он растет, и осмеянная нравственность вновь правит ее поносителями. Верьте практической жилке мистера Куля — не так страшен коммунист, как его малюют».

Учитель вел с мистером Кулем длинные беседы на темы скорее абстрактные: «Понятие собственности у евангелистов», «Святой Павел и Ленин» и тому подобные. Я же убивал время, играя с американцем в «шестьдесят шесть» на четвертку табаку за шестьдесят шесть выигранных партий. Хотя нас отправили на принудительные работы, мы, кроме упомянутых занятий, ничего не делали и делать не могли. Комендант лагеря на наши жалобы отвечал, что специальная комиссия займется вскоре изысканием наиболее производительных работ для нас. Учитель к комиссиям всегда относился с нескрываемым скептицизмом и по-

этому, томясь вынужденным безделием, стал искать и вскоре нашел другой выход.

Оказалось, что мы можем быть освобождены на поруки двух членов коммунистической партии. Первым мог быть, конечно, Айша. Насчет второго мы колебались. До нас дошли слухи, будто Шмидт окончательно переменился, послал к черту свою Империю и стал деятельным спартаковцем, но это были лишь слухи. Новая «белая кость» никакими внешними признаками не отличалась — все приметы, данные нам, оказались ложными; портреты Маркса и красные звездочки в петлице употреблялись и беспартийными, хотя бы для более удачного проезда в служебном трамвае.

Мы совсем было потеряли надежду найти второго коммуниста, когда несчастный случай спас нас. В нашем лагере содержался некто Брюхалов, бывший владелец трактира с садиком на Шаболовке. Времени он даром не терял, все время корпя над какими-то книжками, и часто ночью я слыхал, как он тупо, но с упорством повторял: «Стокгольмский съезд, Лондонский съезд. Пресвятая богородица, спаси и помилуй!..» Вот этот-то Брюхалов однажды взял полученный мною табачный паек — пятнадцать папирос — и засунул себе в карман. Я возмутился и начал даже кашлять от гнева. Но Брюхалов дружески объяснил мне, что он вообще в лагере не числится, а живет по доброй воле до получения ордера из жилищно-земельного отдела, так как вчера сдал экзамен по политической грамоте и рассчитывает войти в ячейку кандидатом. Я сразу перестал кашлять, то есть начал вежливо покашливать. Брюхалов оказался человеком добрым и незаносчивым. После недолгого, но серьезного разговора с мистером Кулем он дал свою подпись.

Мы были освобождены и немедленно все трое поступили на службу: Учитель к Айше в подотдел Южной Африки, мистер Куль в Межведомственную комиссию по борьбе с проституцией, я же — в детский Театр Дурова, где помогал дорогому Владимиру Леонидовичу просвещать кроликов и морских свинок по части стрельбы из пушек, вздергивания флагов и прочего героизма.

Поселились мы все вместе в двух комнатах, реквизированных у спекулянта Гросмана. Там же рядом помещалась коммунистическая чета Назимовых. Мистер Куль чувствовал себя великолепно. Совместно

с Гросманом он осуществлял в американском масштабе своеобразное продолжение «Мертвых душ», скупая национализированные фабрики, аннулированные акции и реквизированные ценности. Гросман ежедневно рыскал по сомнительным адресам, принося как добычу затертые облигации. Он в упоении излагал мистеру Кулю свой символ веры: «Выше всего биржа! Гоните нас — мы уйдем в катакомбы и там, в темноте, задыхаясь, будем жить шепотом цифр, шелестом бумажек. Я согласен за это умереть! Даже пред смертью я крикну: трехпроцентный растет! Бедные мальцевские! Незыблем фунт! Биржа — пульс мира. Я прихожу в жалкую конуру, где ютится биржевик Чибищев, у которого «они» отняли все. Жена, дети, печка, суп, нищета, дым, небытие! И тогда наступает сказочное, таинственное. Чибищев шепчет мне: «Доллар растет, в Париже он поднялся на два пункта!» И я вижу торжество Нового Света, статую Свободы в гавани Нью-Йорка. «Лиры падают!» Бедная Италия! Там «они» начинают работать. По жилам мира струится кровь, и я, Гросман, отрезанный от священных бирж Лондона, Парижа, Берлина, слышу здесь, в большевистской Москве, ее жар и бег». Мистер Куль, просветленный и растроганный, жал руки Гросмана.

Но как это ни покажется странным, американец подружился и с Назимовыми. Это были милые честные люди, старые партийные работники. Мистеру Кулю нравилась их глубокая нравственность. Как-то раз, когда ко мне пришла одна почитательница моего поэтического таланта и вовремя не ушла, товарищ Назимова поделилась с мистером Кулем своими соображениями: «Эренбург — прекрасный образец вырождающейся буржуазной культуры. Я, конечно, против церковного брака, но ведь мы установили брак гражданский. А главное, я бы не придиралась к нему за то, что он не объявил в подотделе записи гражданских актов о своих намерениях по части этого товарища женщины, если бы я чувствовала, что у них настоящая идейная близость, но, уверяю вас, этого нет! Я с моим мужем, товарищем Андреем, связана тринадцатилетней партийной работой. Только этим можно все объяснить. Представьте себе, если бы он был меньшевиком, как я могла бы?..» В комнате Назимовых висели открытки: портрет Карла Маркса, «Какой простор» Репина и Венера Милосская,— Назимовы свято чтили

искусство. Когда Назимов ходил на «субботник», а именно: таскать дрова на Рязанский вокзал, он по дороге все время вспоминал любимые стихи Бальмонта: «Я хочу горящих зданий! Я хочу кричащих бурь!» Назимова любила посещать Художественный театр, и когда там гудел ветер, трещали сверчки, звенели бубенчики или что-то переливалось в желудке «лишних людей», она умилялась: «Это сон, мечта!..»

Жили Назимовы скромно, утром на службе, днем в комиссиях, вечером на заседаниях. Иногда, после волнующих бесед с Гросманом, мистер Куль поздно за полночь любил зайти в комнату Назимовых. Там уютно горела лампа, и товарищ Ольга читала товарищу Андрею последние «тезисы о профсоюзах», он же прерывал ее вставками: «Это синдикализм», «Где же Маркс?», «Опасная демагогия мартовцев» — и прочими. Мистер Куль садился и тоже слушал, не столько, собственно говоря, слушал, сколько наслаждался безупречным миром и тишиной этого семейства. «Вы не революционеры,— говорил он,— вы самые достойные квакеры. Я совсем не боюсь вас»,— и он храбро касался руки товарища Андрея, который не слушал его, потрясенный «мелкобуржуазным уклоном рабочей оппозиции».

Мистер Куль привлек товарища Назимову к работе в Комиссии по борьбе с проституцией. Как ряд других кустарных промыслов, это ремесло процветало в Москве, утратив прежний узкокастовый характер. Все, конечно, понимали его глубокие социальные корни, но, не довольствуясь диагнозом, прибегали к паллиативам. Мистер Куль предлагал натурпремирование перешедших на производительный труд, товарищ Назимова (которая вообще, как и большинство встреченных мною коммунистов, отличалась крайним идеализмом) стояла за нравственную работу, в частности за лекции, посвященные великим коммунисткам мира.

Большую роль в комиссии играл товарищ Раделов, комиссар продкома. Он приходил иногда к мистеру Кулю, и мы с ним познакомились. Человек, всецело преданный своей идее, он говорил исключительно о вагонах, грузах, пудах хлеба, сушеной рыбе и прочем. Сам он ходил в перелицованной дамской жакетке, неизвестно как к нему попавшей и совершенно изодранной, питался фунтом хлеба и мерзкой жижей, именуемой «супом из овощей для столовых категории «Б»,

худел, болел, но ничего, помимо ползущих по каким-то линиям таинственных вагонов, не замечал. Была у Раделова одна слабость — порой находила на него дикая, нечеловеческая страсть к женщине, не к какой-либо,— обремененный вагонами, он людей не замечал,— но к женщине вообще. Был же он уродлив до какой-то музейной исключительности, с пурпуровым лицом, глубоко изрытым оспой, с бельмом на левом глазу и с огромным кадыком, трепещущим под высоким бумажным воротничком. Никакая женщина к нему никогда ничего, кроме брезгливости, смешанной с жалостью, не испытывала. Пойти к проститутке Раделов не мог, это в корне противоречило его принципам, но порой занимался наивным самообманом, а именно находил какую-нибудь горничную или белошвейку, приносил ей подарки, говорил с полчаса об идеях, а потом, теряя сознание, говорить переставал, действовал.

Как раз такую вспышку давно не удовлетворенных вожделений испытывал Раделов, когда я с ним познакомился. Минутами казалось, что вот-вот произойдет необычайное крушение его таинственных поездов.

Как-то вечером Раделов пригласил меня и Хуренито пойти с ним вместе к милой телефонистке, которую он просвещает, готовясь стать ее «крестным отцом» в торжественный день вхождения в «ячейку». Мы согласились, и Раделов захватил с собой два фунта сахару и фунт льняного масла — весь свой месячный паек. Как я сказал уже, сам он ел хлеб всухомятку, а чай (морковный) пил без сахара.

Телефонистка — товарищ Маруся — оказалась очень кротким и еще более худым существом. Я видел в Москве худых людей,— собственно говоря, только худых там я и видел,— но худоба Маруси была поразительной: скелет с плохо натянутой дряблой кожей. Увидев сахар и масло, она богомольно уставилась глазами на них и оторваться больше не могла. А Раделов принялся с особенным жаром говорить о вагонах и грузах, сколько пудов чего едет в Москву. «По карточке «А» выдадим еще сельдей и керосина. Сколько величия в этом уравнительном потреблении! Тринадцать тысяч сто два вагона! Единый хозяйственный план. Впервые трудовые элементы, освободившись от паразитических, обеспечены всем необходимым!» Маруся все продолжала глядеть на бутылочку с мутной желтой жидкостью.

Вдруг Раделова всего передернуло. Не докончив гимна в честь новой карточной системы, он подсел поближе к Марусе и пробормотал, задыхаясь: «Вы, товарищ!.. сознательная и прекрасная!..» Мы отошли в сторону и начали внимательно разглядывать висевшую на стене картинку, «Остров мертвых» Беклина.

Но неожиданно Раделов вскочил с криком: «У вас кости, слышите, кости торчат! Что ж это? Как же так?» Маруся, растерянно поправляя блузку, шептала: «Так что паек уменьшили, за прошлый месяц вовсе не выдали, жиров нет, простите, товарищ!..» Раделов громко плакал, не плакал даже, а выл. Среди рыданий пробивались отдельные слова: «Паек!.. Я не могу!.. Жиры!.. Как же это?.. Бедная!..» Он стал еще уродливее. Распухший, красный, сидя на корточках, он все плакал и плакал.

Мы вышли. На лестнице было скользко — ступеньки обмерзли — и темно, а из квартиры доносился безумный, ни на что не похожий вой. Учитель сказал мне: «Люди смеются над каждым, кто не умеет рассчитать шага, кто, ступая, не замечает ступеньки и падает. Бедные люди — как они панихидно торжественны перед своей масленичной чепухой, как беззаботны и тупы перед обреченностью, перед невозможностью! От тринадцати тысяч ста двух вагонов до ребрышек Маруси — один шаг и бесконечность. Слезы Раделова великие, незабвенные слезы. Если б я возился с обрядами, я собрал бы их в чашу — новый святой Грааль. И когда человечество засыпало бы, прихрюкивая от удовлетворения, сочинив стишок и придумав вполне осуществимую реформу, я кропил бы этими слезами отчаянья и стыда творцов «гармонии», поборников прогресса, тучную землю, унавоженную ничтожеством мертвых и обжорством живых!»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Великий инквизитор вне легенды

В скудные томительные дни, изрядно голодая, замерзая, обмотанный вязаным шарфом поверх головы, начал я не думать, но раздумывать, то есть стараться обойти мир и самого себя со всех сторон. Ничего не выходило, ибо фас зачеркивал профиль,

ансамбль же оставался неуловимым. Ни святой Грааль Продкома, ни идиллия Назимовых никак не объясняли смысла происходящего. Столь же неплодотворны были мои работы в Театре Дурова.

Я день и ночь раздумывал — просто и в стихах (причем стихи даже озаглавил «Московские раздумья»). Я боялся быть андерсеновским дураком и заметить, что король гол, ибо одни набожные взгляды миллионов давно соткали бы пышные облачения, ежели их даже по природе не полагалось бы. Но и обратная крайность меня мало удовлетворяла. Так уж я устроен. Поет рослый детина о небесном воинстве, а я стою и думаю: «Какой у него нос угреватый, потный, сейчас, верно, соображает: «Кончу петь, буду есть окрошку и кота Ваську с тоски щелкать по носу». Что лучше — апостола Павла посадить в каталажку как громилу или стоять разинув рот перед всяким, морды богов и людей сворачивающим, ожидая — вот-вот он разрешится новым Евангелием?..»

Так я раздумывал, перебирая хронику «Известий» и полфунта воблы, выданной по купону восемьдесят семь одним из помощников Раделова. Обо всех сомнениях я рассказал Хуренито. Учитель ответил:

— Я сам хочу несколько очистить свои впечатления от различной воблы. Для этого мы посетим капитанский мостик и побеседуем с неким, на оном стоящим. Там ты сможешь, как медик-первокурсник во время обхода палаты, предметно опознать различные симптомы этой новой патетической лихорадки. Итак, завтра в два часа пополуночи.

Зная Учителя, я не стал грешить любопытством и допрашивать его, к кому именно мы пойдем, почему в столь поздний час и, наконец, как он надеется получить пропуск.

Когда мы уже шли по пустынному завьюженному Кремлю к «капитану», я почувствовал, что боюсь. Не то чтоб я верил очаровательным легендам досужих жен бывших товарищей прокуроров, кои изображали большевистских главарей чем-то средним между Джеком Потрошителем и апокалипсической саранчой. Нет, я просто боялся людей, которые что-то могут сделать не только с собой, но и с другими. Этот страх перед властью я испытывал всегда, даже мальчиком, тщательно обходя добряка-городового, дремавшего в башлыке на углу Пречистенки. В последние же годы,

увидав ряд своих приятелей, собутыльников, однокашников в роли министров, комиссаров и прочих «могущих», я понял, что страх мой вызывается не лицами, но чем-то посторонним, точнее: шапкой Мономаха, портфелем, крохотным мандатиком. Кто его знает, что он, собственно, захочет, во всяком случае (это уж безусловно), захотев — сможет. Словом, я заявил Учителю, что к важному коммунисту я не пойду, потому что сильно боюсь его, а лучше похожу у ворот, подожду, он же мне после все расскажет. Это уж было в подъезде, и Учитель вместо ответа отечески вскинул меня на лестницу. Но страх мой возрос, когда последний часовой долго изучал мое лицо и наконец с небывалой торжественностью сказал: «Идите!»

Войдя в кабинет, я только успел заметить чьи-то глаза, насмешливые и умные, понял, что надо бежать, но вместо этого кинулся за стоявшую в углу тумбу с бюстом Энгельса и, ею прикрытый, сидя на корточках, зяб и томился: «Сейчас меня найдут. Какой позор! Как опишет это грядущий биограф Ильи Эренбурга — поэта?» Я не боялся ни пушек, ни пулеметов, ни Шмидта, ни сородичей Айши и вдруг испугался добродушного дяди, который пять лет тому назад был в Париже моим соседом и пил «боки» в излюбленном мною кафе... И все же я не мог преодолеть страха. Все время, пока они беседовали, я просидел в углу, раз от попавшей в нос пылинки чихнув и вызвав недоуменный взгляд «самого» и пренебрежительное: «Это со мной товарищ один, не обращайте внимания»,— Учителя.

В европейской прессе появилось немалое количество самых разнообразных интервью с вождями коммунизма. Особенной яркостью отличались два — беседа английского писателя Уэллса с Лениным о прогулках в грядущих городах, сопровождаемая веселым щелканьем развивавшего максимальную энергию фотографа, и рассказ собственного корреспондента мадридской газеты «Буэнас-Диэс» о том, как Троцкий, пока длилось интервью, с особенной жадностью пожирает небольшие котлетки из мяса буржуазных младенчиков. Все же, мне кажется, ночная беседа Учителя с коммунистом представляет интерес исключительный благодаря остроте затронутых тем. Несмотря на свое печальное состояние, я действительно чувствовал, как небольшая комната с высокими окнами, выходящими на заснеженные пустыри, преображается в капитан-

скую вышку, а мертвый Кремль и вся ледяная угрюмая Россия — в дикий корабль, отчаливший в ночь.

Сначала коммунист пытался, впрочем, говорить совсем о другом, не отвечать, но предпочтительно спрашивать — близка ли в Мексике социальная революция, применялась ли там в широком масштабе электрификация и прочее. Но Учитель быстро перевел беседу на другие рельсы. Для этого он применил верный способ нападения, предоставив коммунисту защищаться и, защищаясь, выявлять себя.

— Что вы думаете,— начал Хуренито,— о бездеятельности, разгильдяйстве и дикой расточительности сил, царящих в Советской республике? У нас на очереди посевная кампания, Донбасс, продагит, наконец, электрификация. А на что идут силы? Поэты пишут стихи о мюридах и о черепахах Эпира, художники рисуют бороды и полоскательницы, филологи ковыряют свои корни, математики от них в этом не отстают. В театре — мистерии Клоделя. Почему не закрыты все театры, не упразднены поэзия, философия и прочее лодырничество?..

— Обо всем этом,— ответил миролюбиво коммунист,— поговорите лучше с Анатолием Васильевичем. Искусство — его слабость, я же в нем ничего не смыслю и перечисленными вами ремеслами совершенно не интересуюсь. Мне кажется гораздо более занимательным писать декреты о национализации мелкого скота, нежели читать стихи Пушкина, от которых я сам честно засыпаю. Я с детских лет ничего не читал и не читаю, кроме работ по моей специальности. Я не гляжу на картины, мне интереснее смотреть на диаграммы. Я никогда не ходил в театр, вот только в прошлом году пришлось мне по долгу службы с гостями республики, и это было еще снотворнее гимназического Пушкина. Чтобы перейти к коммунизму, нужно сосредоточить все силы, все помыслы, всю волю, всю жизнь на одном — на экономике. Засеянная десятина, построенный паровоз, партия мануфактуры — вот путь к нему, а следовательно, и цель нашей жизни. Оставьте санскритские словеса, любовные охи, постройки новых или ремонт старых богов, картины, стихи, трагедии и прочее. Лучше сделайте одну косу, достаньте один фунт хлеба!

— Я вас понимаю,— сказал Хуренито,— вы высокий образец здорового однодумья. Со многими

мыслями жизнь кончают на корточках, за тумбой (это было уже после моего чиханья), а начинают ее, напротив, с неумолимыми шорами, концентрирующими всю энергию на едином помысле. Однодумье — дело, движенье, жизнь. Раздумье — прекрасное и блистательное увеселение, десерт предсмертного ужина.

...Позвольте теперь задать вам второй вопрос. Как можете вы терпеть левых эсеров, выступающих на митингах, идеалистов, продолжающих, пусть тихо, в семейном кругу, поносить исторический материализм, наконец, просто миллионы людей, которые до сих пор верят не в торжество коммунизма, а хотя бы в целительные способности святителя Пантелеймона?

— Это опять не по моей части. За разъяснениями обратитесь к товарищу... (От острого приступа страха я прослушал имя.) Мне кажется, что людей безвредных, даже если они заблуждаются, обижать не следует. Конечно, правы мы. Конечно, они ошибаются, одни из них глупцы, другие предатели. Первых мы просветим, научим, вторых — устраним.

— Вы безусловно правы,— подтвердил Учитель,— лицемеры назовут вас фанатиком. Но разве можно делать что-либо, не будучи слепым, не веря в свою абсолютную правоту? Если я, может быть, и прав, но прав и враг мой, один, другой, третий, и у всех нас лишь осколки единой истины, как уверяют импотенты сызмальства, то остается признать факты, а засим сесть на подушку и чесать до смертного часа зад. Действие начинается там, где кончаются высокомудрые «но». Я вполне оценил всю мощь вашего «конечно». Это значит, что у вас не девяносто девять сотых, а вся истина, ибо если у какого-нибудь меньшевика хоть одна сотая ее, то его вместо Бутырок надо позвать в Совет, начать советоваться, обсуждать, раздумывать, колебаться и перестать действовать. Ваша повязка на глазах — великолепный панцирь от беса мудрости, всеприятия и прочей индопослеобеденной чепухи. Сегодня в «Известиях» опубликован список расстрелянных...

Коммунист прервал Учителя возгласом:

— Это ужасно! Но что делать — приходится!

Я не видал его лица, но по голосу понял, что он действительно удручен казнями, что слова его не дипломатическая отговорка, а искренняя жалость челове-

ка, вероятно, очень добродушного, никогда никого не обижавшего.

Он продолжал:

— Мы ведем человечество к лучшему будущему. Одни, которым это не выгодно, всячески мешают нам. Прячась за кусты, они стреляют в нас, взрывают дорогу, отодвигают желанный привал. Мы должны их устранять, убивая одного для спасения тысячи. Другие упираются, не понимая, что их же счастье впереди, боятся тяжкого перехода, цепляются за жалкую тень вчерашнего шалаша. Мы гоним их вперед, гоним в рай железными бичами. Дезертира-красноармейца надо расстрелять для того, чтобы дети его, расстрелянного, познали всю сладость грядущей коммуны!

Он вскочил, забегал по кабинету, заговорил уже без усмешки, быстро, отчаянно выкашливая слова:

— Зачем вы мне об этом говорите? Я сам знаю! Думаете — легко? Вам легко — глядеть? Им легко — повиноваться? Здесь — тяжесть, здесь — мука! Конечно, исторический процесс, неизбежность и прочее. Но кто-нибудь должен был познать, начать, встать во главе. Два года тому назад ходили с кольями, ревмя ревели, рвали на клочки генералов, у племенных коров вырезывали вымя. Море мутилось, буйствовало. Надо было взять и всю силу гнева, всю жажду новой жизни направить на одно — четкое, ясное: стой, трус, с винтовкой защищай Советы! Работай, лодырь, строй паровоз! Сейте, чините дороги, точите винты! Над теми генералами, над помещиками, подожженными в усадьбах, над прапорщиками в Мойке глумились и потом ползали на брюхе под иконами, каясь и трепеща. Пришли!.. Кто? Я, десятки, тысячи, организация, партия, власть. Сняли ответственность. Перетащили ее из изб, из казарм сюда, в эти ее исконные жилища, в проклятые дворцовые залы. Я под образами валяться не буду, замаливать грехи, руки отмывать не стану. Просто говорю — тяжело. Но так надо, слышите, иначе нельзя!..

Высунувшись, я увидел, как Учитель подбежал к нему и поцеловал его высокий, крутой лоб. Очумев от неожиданности и ужаса, я бросился бежать. Опомнился я только у кремлевских ворот, где часовой остановил меня и Хуренито, требуя пропуска.

— Учитель, зачем вы его поцеловали, от благоговения или из жалости?

— Нет. Я всегда уважаю традиции страны. Коммунисты же тоже, как я заметил, весьма традиционны в своих обычаях. Выслушав его, я вспомнил однородные прецеденты в сочинениях вашего Достоевского и, соблюдая этикет, отдал за многих и многих этот обрядный поцелуй.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Марк Аврелий и главки.— Шахсей-вахсей

После ночного визита положение Хуренито упрочилось, и он получил в Коминтерне высокое назначение. Я же продолжал с Дуровым революционизировать кроликов, получая за это половину академического пайка. Так шли месяцы. Я ел пшенную кашу, ночью контрабандой мечтал о жирных бифштексах, о парижских кафе, о жизни легкой и невозвратимой. Иногда мне становилось невмоготу, и я искал поддержки у Хуренито, неизменно бодрого, хотя тоже сильно похудевшего и от холода в нетопленных комнатах захворавшего ревматизмом.

Мы с ним любили ходить поздно вечером по совершенно пустым, мертвым улицам с задымленными, грязными домами. Москва казалась сестрой Брюгге или Равенны, громадным мавзолеем, и только неожиданные отчаянные гудки автомобиля да лихорадочные огни в окнах штабов или комиссариатов напоминали, что это не развалины, но дикие чащи, что мы не засыпаемые снегом плакальщики, а сумасшедшие разведчики, ушедшие далеко в необследованную ночь.

Во время одной из таких прогулок на Красной площади мы встретили Алексея Спиридоновича. Имел он вид человека окончательно затравленного и отчаявшегося. Рассказал нам, что, увы, дух духом, а помимо сего низменное брюхо. Словом, ему пришлось «сдаться в неравной борьбе» и поступить на службу. Он долго колебался, до последней минуты помышлял о самоубийстве и о бегстве на Дон, потом написал письмо потомству с оправданием своего поступка и выбрал наконец место, где паек был немного лучше (два фунта масла). Учреждение называлось «Гувузом», и он должен был курсантам, обучавшимся ведению военного хозяйства, читать лекции о русской литерату-

ре. «Но представьте себе, какой ужас! Варвары! Можно ли это пережить? И Европа все еще молчит! Я начал читать им про Чехова, про нежных задушевных земцев, мечтавших о царствии Божьем на земле, явился какой-то комиссар и заявил мне, что все это никому не нужно, пора бросить буржуазное нытье и начать писать полезные рассказы о героях трудового фронта, превысивших на сто процентов задание Главка. Стихов Лермонтова об ангеле он также не одобрил и указал на какого-то Демьяна Бедного, который уговаривает крестьян менять картофель на гвозди. Что ж мне делать? Сказано — простится все, кроме хулы на духа святого!..»

Учитель остался спокойным: «Этот комиссар, видно, хороший парень, не лишенный остроумия. Пожалуйста, познакомь меня с ним. Я решительно предпочитаю коммуниста, влюбленного в гвозди, нежели коммуниста в роли Лоренцо Великолепного, который хмыкает от умиления пред «вечностью надклассового Лермонтова». Что делать, любезный, не ты выбирал себе эпоху для рождения. Несомненно, ты попал не в свой век. Мне очень жаль тебя, но ругаться и поминать историю нечего. Ей подобные коленца выкидывать не впервые. Придет денек, и главки, гвозди, прочая дрянь претворятся в изумительную мифологию, в необычайные эпопеи. Я даже смею думать, что эпирский пастух прежде согревал свою похлебку на костре, нежели его поэтический внук произвел на свет Прометея. Теперь время начала, то есть варварства, огульного отрицания, примитивной мощи первых шагов, которыми (в отличие от обычного) очарована не перепуганная мамаша, но сам, достаточно в себя влюбленный, младенец. Прости, немного гинекологии: чтобы младенец жил, надо отрезать пуповину. Потом его поднесут к материнским сосцам, и пойдет махровый Ренессанс. Лермонтова твоего откопают и будут воздыхать: «Как прекрасно! И этого они не понимали!..»

Алексей Спиридонович не мог согласиться: «Они варвары, но у них нет высоты духа, превосходства этики! Бога у них нет! Они не первые христиане, они просто вандалы! Я сам ждал нового откровения, я сам томился от материализма Европы, я сам готов был вот на этой Театральной площади пасть ниц перед суровым пророком. Но при чем тут святые гвозди и непогрешимые главки?..»

«Очень просто! Ты ждал пророка, похожего на себя в идеальном аспекте, то есть изучающего Соловьева и Достоевского, но не бегающего в промежутках к девочкам. А получилось нечто вовсе неожиданное. Но вспомни,— разве первые христиане показались римлянам носителями «великого откровения», а не жалкими рабами с невежеством, суевериями и примитивной моралью? Вместо высокого римского права — коммунистический лепет недорезанных евреев, вместо Гомера — убогий декалог какого-то побежденного племени. Разве Нерон презирал христиан? Он их просто боялся, а презирали христиан другие — более умные конфрэры твоего Мережковского, например Марк Аврелий. Главки — вот новый завет!

Гляди (мы проходили в то время мимо Большого театра)! На почти развалившемся доме мигают лампочки. Что это? Рекламы новых папирос? Нет, скрижали Синая — «Да здравствует электрификация!» В стране, сносившей последние портки, корчащейся от голода и сыпняка, замерзающей в дырявых избах, потому что нет гвоздей, слышишь, гвоздей, а не святителей, сумасшедший возглас: «Электрификация!» Собираются люди, слушают доклады, чертят схемы, и для них светят грошовые огоньки, озаряя далекий электрифицированный рай с танцующими молотилками, беззаботными мельницами, рощами бездымных фабрик. Ради этого пусть падет наземь последний лоскут рубахи, пусть вши съедят вспухший от жмыха живот, пусть погибнут сотни тысяч. «Верую в огонек»,— кричит он. Чем не современный пророк?»

От слов Учителя мне стало невыразимо страшно. Взяв под руку стонущего Алексея Спиридоновича, я повел его к себе. Мы погрызли корочку хлеба и начали друг друга утешать,— может, все это не так, а наоборот. Коммунисты будут свергнуты новой революцией духа или сами станут другими, добрыми, душевными, позволят мне печатать стихи о Петре и Павле, а Алексею Спиридоновичу читать курсантам: «Мисюсь, где ты?..» Закрывшись моим полушубком, двумя старыми жилетами и ковриком, мы наконец уснули.

Ближайшие недели доставили мне некоторое развлечение. Учитель, командированный на Кавказ для участия в съезде народов Востока, взял меня и Айшу с собой.

Наше путешествие было живописным: желая изучить нравы и обычаи населения, Учитель отказался от

купе в спальном вагоне. Мы с трудом влезли в теплушку, и то лишь благодаря применению Учителем приемов французской борьбы и воинственному реву Айши. В теплушке мы оказались в обществе веселом и разнообразном. Но, к сожалению, две недели мы должны были простоять, так как даже легкое движение рукой вызывало ропот и негодование всего вагона. Впрочем, на третий день мы освоились и научились спать стоя. Поезд шел очень своеобразно, от одной счастливой случайности до другой. Мы останавливались у какого-нибудь станционного амбара и разбирали все здание, досок хватало обжорливому паровозу на несколько часов. Когда проезжали лесом, пассажиры вылезали и шли рубить деревья. Завидя лужицу побольше или речонку, становились цепью и передавали ведро, поя глоток за глотком наше чудовище.

Кроме этих мирных занятий, долгие дни пути оживлялись военными действиями. Четыре раза нападали на нас различные люди (кто точно, мы так и не узнали, комиссар мрачно отвечал — «банды»), близ Харькова стреляли даже из пулемета. Мы тоже стреляли и кое-как улепетывали. Ехавшие на крышах вагонов мешочники являлись нашими сторожевыми постами. За всю дорогу мы потеряли всего четырех пассажиров убитыми, да еще один старик просто умер, я думаю — от старости.

Наши попутчики, предпочтительно крестьяне, в промежутках между сражениями делились с нами своими взглядами на религию, крышу, культуру и на многое другое. Во всяком случае, им нельзя было отказать в своеобразии. Господа Бога, по их словам, не имелось, и выдуман он попами для треб, но церкви оставить нужно, какое же это село без храма Божьего? Еще лучше перерезать жидов. Которые против большевиков — князья и баре, их мало еще резали, снова придется. Но коммунистов тоже вырезать не мешает. Главное, сжечь все города, потому что от них все горе. Но перед этим следует добро оттуда вывезти, пригодится, крыши к примеру, да и пиджаки или пианино. Это программа. Что касается тактики, то главное, иметь в деревне дюжину пулеметов. Посторонних никого к себе не пускать, а товарообмен заменить гораздо более разумными нападениями на поезда и реквизицией багажа пассажиров.

Все это Айше весьма нравилось. Учитель также не только не спорил, но сочувственно одобрял подобные

проекты, советуя лишь вместо пианино брать граммофоны — легче и занятнее. Мне же, как человеку городскому, к тому же в ранней юности не лишенному идейности, такие разговоры претили. Я упрекнул Хуренито в непоследовательности, напомнив ему московские беседы. «Неужели эти внучата дедушки Пугача и являются апостолами организации человечества?»

Учитель ответил мне: «Миленький мальчик (скажу, кстати, что я был моложе его всего на три года), ты очарователен в своей наивности. Неужели ты только сейчас заметил, что я негодяй, предатель, провокатор, ренегат и прочее, прочее? В тебе чувствуется, что ты печатал свои стихи в «Русском богатстве» и любишь (не отпирайся! знаю!) прекраснодушных народников. Ты еще, может быть, вспомнив передовую либеральной газеты, заявишь мне: «Кто сказал «А», должен сказать «Б»!» Ха! А я еще раз скажу «А» или возьму и прямо упраздненную ижицу вытащу за уши. Мне-то что! Это относительно последовательности. А об апостолах организации тоже отвечу. Все интеллигенты вашей страны, и проклинающие революцию, и жаждущие ее принять, все они хотят поженить овдовевшего Стеньку Разина вместо персидской княжны на мудреной Коммунии. Глупцы! Был один момент, живописный, правда, но краткий, когда пути стихии и пути жаждущих эту стихию использовать совпали — осень семнадцатого года. С тех пор прошло больше двух лет, и дух «разиновщины», то есть вздыбленная Россия, разор, раздор, жажда еще немного порезать для коммунистов теперь то же, что для паровоза дрова. Поленья не дают направления машине, они ее кормят, правда, порой отсыревшие, замедляют ход или, наоборот, развивают такой жар, что лопаются котлы и машинист летит вверх ногами. Коммунистическая революция сейчас не «революционна», она жаждет порядка; ее знаменем с первой же минуты был не вольный бунт, а твердая система. А эти буйствуют, томятся, хотят не то поджечь весь мир, не то мирно расти у себя дубками на пригорках, как росли их деды, но, связанные верной рукой, летят в печь и дают силы ненавистному им паровозу».

Наконец кончились бои, лекции крестьян, примечания Учителя, и мы приехали. Настали вновь блаженные дни, и порой, сидя в духане с Айшой, я вспоминал далекий Сенегал. Кругом все, даже декреты и непре-

станные выстрелы, носило характер беспечный, сонный, отдохновенный после монастырской Москвы. Я, признаться, совершенно перестал думать о судьбах мира. Ходил в баню, где меня облепляли вонючей грязью, после чего моя животная растительность исчезала и в бассейне отражался почти Нарцисс. Изучал в духанах дивные вина, различные напареули и тальяни, которые пил из большого рога. Слушал унылые сазандари. Словом, был почти английским туристом.

На съезд я отправился лишь один раз. В большом зале сидели кавказцы в черкесках, афганцы с чалмами, в клеенчатых халатах, бухарцы в ярких тюбетейках, персы в фесках и многие иные. У всех были приколоты на груди портреты Карла Маркса, с его патриархальной бородой. В середине восседал товарищ просто в пиджаке и читал резолюции. Делегаты кивали головами, прикладывали руку к сердцу и всячески одобряли мудрые тезисы. Я слыхал, как один перс, сидевший в заднем ряду, выслушав доклад о последствиях экономического кризиса, любезно сказал молодому индийцу: «Очень приятно англичан резать»,— на что тот, приложив руку к губам, шепнул: «Очень».

Вдруг за окном послышалась дикая неподобная музыка — медные тарелки и трубы. Перс, тот самый, что мечтал рядом со мною в кресле, быстро вскочил и, не доголосовав двенадцатого пункта резолюции «принимая во внимание...», выбежал на улицу. Заинтересовавшись этим, я решил последовать за ним, тем более что даже этот достаточно живописный съезд мне казался невмоготу скучным.

Я был вполне вознагражден, увидав зрелище хотя и неоднократно описанное, но все же неописуемое. На носилках, украшенных яркими коврами и блистающими миниатюрами, сидели завернутые в черные шелка персиянки. Вокруг бежали юноши: всадники в доспехах стегали их нагайками. За ними двигались целые стада полуголых персов, которые хлестали свои спины, густо-синие от ударов, железными цепями. Но самое изумительное предстало в конце. Мужчины — юноши, степенные отцы, немощные старцы — в белых как снег халатах, шли рядами и, раскачиваясь в такт, восклицая: «Шахсей-вахсей!», ударяли себя саблями по лицу. Чем дальше они шли, тем крики становились пронзительнее, удары тяжелее, и светлая быстрая кровь широкими потоками текла по лицам, по халатам на

сухую рыжую землю. Некоторые падали, но никто не обращал на это внимания. Мой перс вбежал в домик и минуту спустя, уже в халате, полный экстаза, кричал: «Шахсей-вахсей!» — и своей кровью заверял преданность чему-то мне неизвестному и чужому.

Учитель также видел эту фантастическую церемонию, и ночью, когда мы делились с ним впечатлениями, сказал: «Вот еще дрова... Ох, не взорвут ли они всю машину? Конечно, люди Востока падки на дары культуры, они отдают свои прекрасные кувшины за эмалированные чайники и меняют старые ковры на пакостный бархат. Но они сохранили нечто свое, особенное: какой европеец, трижды верующий, все равно во что — в туфлю папы, в мировой прогресс или в симпатичные «совьеты»,— оцарапает себя булавочкой во имя идеи? А эти, и не только те, что на улице, но и делегаты, с удовольствием устроят хорошенький мировой шахсей-вахсей, разумеется, не только по своим лбам, но и по многим другим, сначала предпочтительно английским. А потом?.. Конечно, паровоз — вещь мудреная, и этому персу его не построить, но сломать его он может...

Спокойной ночи, Эренбург! Спи хорошо! Сегодня мы видали чудесных зверей, их выпустили по соображениям высокой стратегии. Назад путь сложнее. Может быть, отсюда придет основательная баня для сорганизовавшегося человечества? Приятных снов!..»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Жизнеспособность обыкновенной палки.— Схема Шмидта

Обратно мы поехали уже в спальном вагоне и с охраной. Нас ждало неприятное, хоть и ставшее в достаточной мере тривиальным, испытание: не доезжая Москвы, мы были арестованы сотрудниками одной из разновидностей «чеки», а именно «орточекой», то есть чекой, действующей на железной дороге.

Ни тогда, ни после мы не узнали причин нашего ареста. Я думаю, что подозрение вызвал Айша, который нацепил себе на костюм ниже груди три красных звезды, молот и серп, орден Красного Знамени и шесть медальонов с портретами Маркса, Энгельса, Либкнех-

та, Ленина, Троцкого и Зиновьева. Так или иначе, нас повезли уже в вагоне, далеко не спальном, в Москву и поместили в Бутырки, где я однажды сидел, когда мне было шестнадцать лет, за прокламацию с призывом к забастовке.

Я мог констатировать, что в годы великих потрясений и перемен тюрьма проявила наибольшую устойчивость, ничуть не изменившись. Так же сторожа торчали у «волчков» и шарили по телу, так же мерзко пахли параши и от них не отстающая баланда в позеленевших мисках. Даже общество до странного напоминало прежнее: какой-то меньшевик защищал марксизм от ярого максималиста. Вызывали на допросы, выводили на свидание через две решетки, иногда судили, иногда расстреливали, иногда кричали: «С вещами!» — и отпускали.

Я очень удивился этому постоянству. Учитель, наоборот, находил его естественным.

«Палка в любых руках палка,— утешал он меня,— сделаться мандолиной или японским веером ей весьма трудно. Правительство без тюрьмы — понятие извращенное и неприятное, что-то вроде кота с остриженными когтями.

Жили себе в Бутырском районе два человечка, товарищ Иван и товарищ Петр. Первый был большевиком и работал в Московском Комитете РСДРП, второй, меньшевик, состоял в Московской организации РСДРП. Жили они мирно, то есть вместе ходили на явки, прятались по ночевкам у сочувствующих адвокатов, вместе сиживали здесь в Бутырках, ссорились до полной потери голоса, Иван был за «отрезки», а Петр за муниципализацию земли, но так как земля была не у Ивана и не у Петра, а у помещика, то скоро мирились, объединялись, раскалывались,— словом, буколическое супружество, не Иван и Петр, а «Поль и Виргиния». Потом кое-что на свете изменилось — Иван засел в Кремле и стал сочинять уже не резолюции для пяти сознательных наборщиков, а декреты, обязательные для ста пятидесяти миллионов граждан. Петр прочел декреты и не одобрил. Хотел пойти поспорить по старой привычке, но у «ворот святых Кремля» его остановил солдат: «Без пропуска нельзя!» С горя Петр собрал пять сознательных наборщиков и предложил им протестовать. Иван узнал, рассердился, и так как у Ивана была уж эта прекрасная

тысячелетняя палка, он не спорил, не исключал, он позвал «кой-кого» и распорядился. А засим пошло как по маслу — Петр прятался, ночевал у адвокатов, его ловили, словили и привезли на старую квартиру.

Ты взволнован, ты негодуешь? Друг мой, напрасно! Неужели ты думаешь, что Петр поступил бы иначе? Будь даже он не Петром, а Валентином или Максимилианом, он без «кой-кого» не обошелся бы. Править без него — это все равно что сесть на табурет о трех ножках; конечно, оригинально, но больше минуты не высидишь. А все остальное быстро приходит. Сделай Эрколе итальянским королем — он не успеет даже надеть штаны, а уже начнет покрикивать: «Эй вы, которые прочие!..» Пройдут не годы, но эпохи, времена, много раз будут выстраивать человечество для последнего парада, и столько же раз неожиданные персы будут преобразовывать парады в веселые «шахсей-вахсей», пока люди не поймут, что дело совсем не в том, кто именно сегодня держит палку, а в самой палке. Пока что давай хлебать баланду, не то она совсем простынет».

Вероятно, мы просидели бы долго, никто нами не интересовался, если бы на смену очередного несчастного случая не пришел бы тоже случай, тоже очередной, но счастливый. Обследовать тюрьму прибыла специальная комиссия Московского Совета. На нее мы никаких надежд не возлагали — уже раньше нас посещали различные инспекции и делегации. Но когда в камеру вошел Шмидт, я даже запищал от восторга. Второй раз судьба посылала его как нашего спасителя.

Все пошло просто: звонок по телефону, несколько дружеских слов, и час спустя нас со всяческими извинениями выпустили за старенькие, но все еще добротные тюремные ворота.

Доходившие до нас слухи об эволюции Шмидта оказались правильными. Путь от генерала германской имперской армии до спартаковца в заплатанном пиджаке может удивить своей длиной, но надо вспомнить, что, еще будучи студентом, Шмидт говорил, что может сделаться и ярым немецким патриотом, и крайним социалистом, ибо и те и другие преследуют дорогую ему цель организации человечества. Приехав в Россию убежденным германским националистом, он первые месяцы всячески способствовал победе Германии. Но

после Октябрьского переворота новые горизонты, более широкие и увлекательные, раскрылись перед ним. Он решил, что Коммунистический Интернационал сможет вернее подчинить Европу единому плану, нежели нерешительная и уже поколебленная в своей мощи Империя. Он был прежде исступленным шовинистом, ярым монархистом, но к новому делу примкнул честно, без задней мысли, со всем упорством и прямотой, ему присущими. Во время боев с белыми он был дважды ранен. Жил он внешне убого, работал по восемнадцати часов в сутки, от казенного автомобиля, несмотря на простреленную ногу, отказался, ковыляя из одного комиссариата в другой,—словом, был во всех отношениях честным и последовательным коммунистом.

На следующий день после нашего освобождения мы отправились к нему в его рабочий кабинет. На стенах висели схемы сложные и диковинные. Шмидт был облеплен планами, сметами, чертежами. С жаром принялся он рассказывать нам о своих трудах. До сих пор люди непроизводительно тратили свои силы: все было случайным и нелепым. В Японии или Голландии задыхались от скученности, а Сибирь или Испания пустовали. В черноземной России топили в пруду хлеб, не желая продавать его за несколько грошей, тщась в отчаянье удержать падающую цену, а кули в Пекине умирали с голоду. В Англии выделывали столько материи, что некуда было ее деть, начинался кризис и рабочие нищенствовали у остановившихся станков, а калужский дядя все еще мечтал о портках. Поэты бегали по редакциям, вымаливая напечатать стишок, хотя бы по пятачку за строчку, но не хватало агрономов. Адвокатов было больше, чем уголовных преступников, но трудно было порой найти дельного электротехника. Хаос, бессмысленный, дикий, хозяйство сумасшедших фургонщиков или надевших сюртуки обезьян! Теперь все будет по-иному. Вот на этой карте обозначено—сколько где людей должно жить, точно, по квадратным метрам...

Другая схема показывает распределение трудящихся по ремеслам. Нужно столько-то инженеров, столько-то слесарей, столько-то поэтов. Никаких отступлений. Тула знает, что по разверстке на 1930 год она должна выпустить восемьдесят докторов, семь худож-

ников, шестьсот металлистов, триста пятьдесят текстильщиц и так далее. Ребенка с раннего возраста приучают любить предназначенное ему ремесло. Вводится для обучения производственная азбука, где все буквы обозначаются орудиями труда данной отрасли. Общее число рождений также подлежит точному учету и должно соответствовать заданиям центра. Семью следует уничтожить, нельзя оставлять детей под случайным и пагубным влиянием родителей, то есть лиц безответственных. Детские дома, школы, трудовые колонии подготовляют работников. Общежития, общественное питание, однородность распределения. Закончив работу, каждый имеет право пойти в распределитель развлечений того района, к которому он прикрепил свою карточку. Там определенная доза эстетических эмоций: музыка, многоголосая декламация, празднества по точному сценарию. Наконец, ограничиваются и половые излишества, над чем работает специальная комиссия врачей при Наркомздраве. Вот жизнь человека!

Шмидт показал нам на самую таинственную схему — она была похожа на корни исполинского растения. Жизнь человека!

Я вспомнил наивные лубочные картинки: мальчик играет, влюбленный юноша с цветком, отец семейства, ласкающий младенца, зрелый муж почему-то с гусиным пером в руках и дряхлый старик, ковыляющий к раскрытому гробу. Но здесь ничего подобного не было: белые квадраты расходились в зеленые пирамиды, эти передавали токи красным кругам, круги преображались в ромбы, и так еще долго, сложно, и не было видно отдохновенного гроба, только черные треугольники поселений для трудовых инвалидов.

А Шмидт, показывая нам эти пути и переходы, выбрасывая сотни цифр и наименований организующих центров, с пафосом говорил: «Вот жизнь! Она уже не тайна, не сказка, не бред, но трудовой процесс, в этой жалкой комнате разложенный на части и воссоединенный мощью разума!»

Мне вспомнилась каморка на чердаке, в Штутгарте, расписание на стенке, шестьдесят марок и фрау Хазе. Но стучащие машинки, секретарь, беспрестанно приносящий бумаги на подпись, очередь посетителей в приемной говорили о том, что это не детское сумасбродство, а гигантская мастерская, где строится новый мир.

Я готов был от ужаса расплакаться и неожиданно, неприлично рассмеялся — услышал доносившуюся с улицы частушку:

> Наживу себе беду,
> В сортир без пропуска пойду.
> Я бы пропуск рада взять,
> Только некому давать.

Потом Шмидт переговорил с Учителем касательно его работы и предложил ему заняться организацией наиболее хаотической и трудной области, именно искусства. Учитель предложению обрадовался.

Когда мы вышли, я начал высказывать Хуренито свои соображения по поводу Шмидта и его схем: «Все это, может быть, и гениально, но при чем тут жизнь человека? Это просто вращение крохотного винтика!»

Учитель возразил: «Нет, это новые люди, они столь же отличаются от тебя, как жители Камеруна. Ты не заметил, как появилось новое племя. У них своя психология, свои нравы, свой религиозный пафос. Люди прежде падали ниц пред непостижимым, таинственным, случайным. Каждое отступление от обычного, от постигнутого путем эмпирическим обожествлялось. Пафос новых людей в законности явлений, их трезвенный экстаз в ощущении безошибочности. Ты хорошо понимаешь первобытный восторг огнепоклонника, сидя в своей морозной каморке, на корточках, перед пылающими языками, вылетающими из печи. Теперь пойми другой восторг — механика, впервые осмыслившего ход сложной машины!»

Мы шли по моим любимым переулочкам между Пречистенкой и Арбатом. Крохотные дома с палисадниками, сирень, луковки беленькой церквушки Успенья на Могильцах — все это поддерживало меня в моем протесте.

«Учитель, новые люди, о которых вы говорите, уродливы и поэтому невозможны. В их жизни нет ничего случайного, а следовательно, прекрасного, нет неожиданности, противоречий, романтизма. Скука-то какая!..»

«Ну, что ж, ты поскучаешь, ты ведь человек старой породы. Подрастут другие по схеме, эти будут работать, и скучать они не будут. Старое вообще отдает гнилью и нафталином, но этот запашок высоко котируется под названием «романтики». Расстались с аббатами, с мадоннами, с высочествами, ничего,

обошлось!.. Расстанутся и с прелестью сумасбродств американского миллиардера, с живописностью лохмотьев, с лоском роскоши, с кинематографически увлекательной борьбой за корку хлеба или за гору золота. Все, о чем ты хлопочешь — каприз, прихоть,— кончает гнить и скоро перестанет даже бить в нос. Ты можешь, разумеется, сняв комнату без соседей, плакать о прошлом до конца твоей жизни, но вряд ли от этого что-либо изменится.

Ты видал картины современных художников-кубистов? После всяких «божественных капризов» импрессионистов — точные, обдуманные конструкции форм, вполне родственные схемам Шмидта.

Ты был на войне? Что ты там видел — Наполеонов, Давидов, жест, подвиг, героического знаменосца или образцовое хозяйство мистера Куля?

Несмотря на свою безалаберность, ты любишь играть в шахматы. Гляди — как комбинационная игра уступает место позиционной. Вместо неожиданных комбинаций, благородной жертвенности гамбитов — точный, скупой, тщательно выслеженный план. Я дивлюсь, до чего ты слеп — валандаешься всюду и не замечаешь самых основных, самых неоспоримых черт современности!»

«Если все это так,— возмутился я,— для чего же, собственно говоря, жить? В частности, для чего переписывать декреты Шмидта, вместо того чтобы как-нибудь уничтожить его?»

«Если на заре ты начнешь стрелять из тысячи батарей в солнце, оно все равно взойдет. Я, может быть, не меньше тебя ненавижу этот встающий день, но для того, чтобы пришло завтра, нужно стойко встречать жестокое светило, нужно помогать людям пройти через его лучи, а не цепляться за купол церквушки, на котором вчера теплился, угасая, закат!»

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

«Свобода творчества», или Козни контрреволюционеров

На заседание комиссии, которой было поручено организовать искусство, кроме Учителя, пришли жены крупных коммунистов, коммунисты мелкие, но честные, любящие чистую работу, актеры, больше из

бывших «солистов его имераторского величества», и художники, всю жизнь изображавшие маркиз в кринолинах. Председателем этой высокой комиссии был большевик, напугавший как-то стар採еньких профессоров до того, что они хотели было рассыпаться и не рассыпались, лишь желая спасти незабвенную альма-матер, а на самом деле добродушный толстяк, отменный семьянин, с золотой цепочкой на жилете и с благородной страстью к искусству. Любил он до чрезвычайности «Литургию Красоты» Бальмонта и заказывал художникам, отнюдь не футуристам, но тем самым, что рисовали недавно жен московских мукомолов и любовниц великих князей, портреты: свой — одинокий (борец за идею), с женой (тоже борец), жены с младенцем (материнство), жены борца и себя в семейном кругу (отдых борца). Все портреты были с выражениями и в бронзовых рамах.

Комиссия должна была обсудить вопрос — как приспособить искусство для агитации, не уничтожая при этом творчества? Председатель долго говорил о высоком достоянии культуры, о вершинах человеческого духа и предложил решение компромиссное — творцам, которые будут создавать агитационные произведения, выдавать паек, равный по калориям двум академическим. Всем прочим, не посягая на свободу их творчества, выдавать простой паек по трудовой карточке категории «Б».

После него выступил Хуренито, который сразу внес радикальное предложение — упразднить искусство. Вот что он сказал в защиту предлагаемой меры: «То, что вы предлагаете, является лишь новой вывеской над старой пакостью, впрыскиванием камфары уже похолодевшему трупу. Зачем вы отстранили религию, если вам необходимо, чтобы кто-то освящал нимбами вашу солидную державную дубину? Или отъевшаяся на калориях каста привилегированных жрецов официального искусства лучше крестобрюхих иереев? Что вы получите? Стихи, романы, пьесы, картины, симфонии, сделанные по предписанию, будут ниже, слабее прежних, и, сравнивая их с Пушкиным, Шекспиром или Рембрандтом, люди решат, что виноваты современность, коммунизм. Этого нельзя допустить; уничтожая искусство, надо показать, что оно, и только оно виновато в том, что хотело пережить самого себя, заслужив пули в зад вместо честной кончины на семейном ложе.

«Вершины человеческого духа», о которых здесь говорилось, были государственными преступниками, они подрывали все основы разумного, трезвого общества. Конечно, подрывать английскую императрицу, немецких князьков или Николая I, с нашей точки зрения, похвально. Но вы, товарищи, ошибаетесь, думая, им важно было, что именно они подрывают. Ничуть! Будь Катания вотчиной древнего деспота или коммунистической колонией, деятельность Везувия от этого не изменится. Завтра вчерашние «вершины», которым вы ставите памятники, и сегодняшние, на которых вы не жалеете ни кондитерских изделий, ни жировых веществ, начнут подрывать наше общество. Искусство — очаг анархии, художники — еретики, сектанты, опасные бунтовщики.

Итак, не колеблясь, надо запретить искусство, как запрещено изготовление спиртных напитков или ввоз опиума. Это тем легче сделать, что искусство, одряхлев, само порывается покончить свою бесславную старость самоубийством. Новое искусство тщится раствориться в жизни, и это является для нас лучшим способом ликвидировать опасную эпидемию. Действительно, иные газы, сконцетрированные в одном месте, угрожают ежеминутно взрывом, удушают, загораются, но, растекшись по надземной атмосфере, становятся безвредными.

Взгляните на современную живопись,— она пренебрегает образом, преследует задания исключительно конструктивные, преображается в лабораторию форм, вполне осуществимых в повседневной жизни. Преступление Греко, Джотто, Рембрандта в том, что их образы были неосуществимы, единственны, а посему бесполезны и опасны. Картины кубистов или супрематистов могут быть использованы для самых различных целей — чертежи киосков на бульварах, орнамент набойки, модели новых ботинок. Надо лишь суметь направить эту тягу, запретить заниматься живописью как таковой, чтобы рама картины не соблазнила живописца вновь на сумасбродство образа, прикрепить художников к различным отраслям производства. Пластические искусства перестанут жить самостоятельно и угрожать обществу, помогут создать коммунистический быт, дома, тарелки, брюки. Вместо всяких скрипок Пикассо — хороший конструктивный стул.

То же самое относится и к другим видам искусств. Поэзия переходит к языку газет, телеграмм, деловых разговоров, сбрасывает рубашку за рубашкой — риф-

мы, размеры, образы, пафос, условность, наконец, ритм, она остается голой, ничем не примечательной, и нужен большой профессиональный опыт, чтобы понять, почему некоторые современные стихи — это поэзия, а не передовица и не реклама «Спермина». Таким образом, дело обстоит очень просто, надо лишь запретить печатать книги с неэкономным распределением строк, по традиции былых поэм, и вычеркнуть из словаря слово «поэт», способное ввести в искушение.

Театр ломает свой панцирь — рампу, переезжает в зал или на площадь, зрителей тащит на сцену, уничтожает авторов и актеров. Он в двадцать четыре часа может быть окончательно распылен — через промежуточные стадии всяческих празднеств, процессий и прочего. Потом даже эти организованные выявления станут будничными, растворятся в жестах, позах и шутках.

Я уже пытался в Кинешме провести ликвидацию искусства, но мне помешал мещанский эстетизм многих революционеров. Я верю, что теперь вы примете мое предложение, и сегодняшний день будет датой смерти одного из величайших безумств человечества, мешавшего ему как следует устроиться на земле!»

Протесты посыпались. «Мы не варвары»,— кряхтел председатель. «Мы любим все прекрасное»,— ворковали жены. «Кто за?» Только один голос самого Хуренито. Предложение отклонено.

Решили предоставить искусству жить и, оперируя гаммой пайков, стараться направить творчество в коммунистическое русло. Учитель усмехнулся: «Еще постановите использовать циклон для вращения ветряных мельниц!» Мне же наедине он признался: «То, что я предлагал, весьма логично и правильно, но существует одно «но» — это Эрколе в чемодане Шмидта. Мы с тобой над этим плакать не будем, но великим и малым городовым грядущего мира он доставит немало хлопот. Они решили использовать удары молний вместо дорогих шведских спичек для закуривания папирос. Я же предлагал заняться лучше изготовлением спичек, а молнию для успокоения детей вовсе упразднить. Конечно, это не помешает ей в хороший летний полдень неожиданно упасть на лысину человека, уверенного в том, что грозы навсегда уничтожены декретом. Пока что посмотрим на результаты их деятельности!»

В ближайшие недели Москва была потрясена рядом странных и печальных происшествий, которые

блестяще подтвердили грозные предостережения Учителя. Композитор Крыс, музыка которого до последнего времени была неизвестна даже профессионалам, написал симфонию «Титан потягивается». Она была исполнена пред тысячами слушателей. Но вместо воспитательного действия эта музыка пробудила самые недопустимые чувства. На следующий день советские учреждения пустовали: никто из слышавших симфонию на службу не явился. Более того, многие отказались сгребать с улиц снег, визжа, плача и нечленораздельно изъясняясь. Один совсем обезумел и, крича, что он больше не в силах сидеть в канцелярии и регистрировать ордера на калоши, вскочил на крышу, кинул ключом в милиционера, контузив его, и под конец был убит «при попытке к побегу». «Известия» писали: «Снова саботаж. Господа меньшевики работают на капиталистов». Главного же виновника — Крыса — никто не тронул, он даже получил за концерт сто тысяч рублей и двадцать пять рассыпных папирос.

Только перестали писать о саботаже, как разразилась новая пакость. Молодой поэт Ершов ухитрился, перекупив у кооператора Хайлова наряд в типографию, отпечатать книгу стихов, озаглавленную «Рыжему жеребцу молитесь, куп-куп!». Это был косноязычный бред последнего мечтателя, жующего пшено в подвязанном к морде мешке, возомнившего себя жеребенком и начавшего ржать нечто вроде глоссалий. Успех книги был необычайный, издание разошлось в несколько дней. А вскоре образовалась секта, предпочтительно женщин, которые «жеребствовали», и в одно дождливое утро, вместо того чтобы шить по трудовой повинности кальсоны для красноармейцев, вышли на Тверскую со ржаньем, а спрошенные подоспевшими милиционерами, куда именно они направляются, начали лягаться. Об этом была заметка в газете «Поповская демонстрация».

Наконец, красноармеец Кривенко, бывший семинарист, пытался взорвать старой ручной гранатой Спасские казармы, повредив себе при этом мизинец. Арестованный, он объяснил сбивчиво, но с подкупающей искренностью, что на днях его водили с товарищами в музей, и он видел там необычайные картины, летящие во все стороны дома, рассеченных на кусочки фиолетовых женщин, семь чашек на одном блюдце и страшные оранжевые квадраты. Там он что-то понял, что именно, обяснить он не умел. Но, вернувшись

в казарму, услышав запах портянок, увидев нары, сундучки и миски с супом, он сразу решил, что эти два мира несовместимы и один из них должен погибнуть. Его объявили эсером, но, не зная, левый он или правый, для опознания отправили в соответствующее место. Там попытались связать все три факта и арестовали две тысячи подозрительных, среди них попался и Ершов, но он был немедленно освобожден, как член союза поэтов.

Казалось единственно разумным после всех этих мрачных инцидентов вспомнить совет Учителя и запретить искусство. Но вместо этого напустились на очень кротких и никому не интересных людей, которые когда-то до социализма и до революции были социалистами-революционерами, а теперь тихо переживали тоску об Учредилке и городовом, нудную, как зубная боль.

На Хуренито стали поглядывать косо, и он нашел нелишним переменить климат. Посоветовавшись, мы решили поехать на юг, для подкрепления престижа взять с собой Айшу, а по соображениям человеколюбия Алексея Спиридоновича и мосье Дэле. Наш мученик, слава богу, поправился и был выпущен из сумасшедшего дома, зато Алексей Спиридонович, удрученный несовместимостью свободы духа с пайком, был готов занять его место. Оба, безусловно, нуждались в отдыхе.

В последнюю минуту к нам присоединился мистер Куль, который хотел пробраться на Украину, чтобы купить еще несколько мертвых душ, а именно национализированные сахарные заводы.

Так как о курортах нечего было помышлять, мы погадали по карте, заставив Айшу ткнуть куда-либо пальцем. Вышел Елизаветград. Мы не стали раздумывать и гадать, но, раздобыв пять хороших командировок, сели в делегатский вагон и не спеша поехали в неведомый санаторий.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Одиннадцать правительств.— Учитель — претендент на российский престол

Кое-как доехав в три недели до Елизаветграда, мы хорошо выспались и утром решили пойти осмотреть достопримечательности города, в который судьба привела нас, как в землю обетованную. Но только мы

вышли из дому, как нас задержал патруль, потребовав документы. Хуренито гордо протянул солдату солидный лист, на котором значилось, что мы командируемся в город Елизаветград для обследования находящихся там музыкальных инструментов. Прочитав внимательно бумагу, солдат показал ее своему товарищу, и оба почему-то возымели твердое желание расстрелять нас. Заверения Учителя о том, что на мандате подпись «управдела», их в этом непонятном желании только укрепили.

Нас повели в штаб, и мы, убежденные, что там недоразумение выяснится, шли весело, любуясь солнцем, растекавшимся в грязи уличек, вывесками «мужеской портной», великолепными брюнетами, довольными миром, бездумными мальчишками, кидающими осколками бутылки в паршивую суку,— словом, невинными радостями маленького, но милого города.

Вдруг, подходя к штабу, я вскрикнул: «Они с погонами!» — «Что это значит?» — беззаботно спросил мосье Дэле. «Это значит, что нас на самом деле пристрелят». Увидав, что перед нами не большевики, мистер Куль оживился: «Не беспокойтесь, друзья мои! С порядочными людьми я сумею объясниться». Действительно, он стал беседовать с поручиком, объясняя, что он владелец многочисленных предприятий и бежал из проклятой Совдепии, спасая себя, душу и доллары. Мосье Дэле и Хуренито — его компаньоны, Алексей Спиридонович и я — приказчики, а Айша — лакей. Подкрепленное американским паспортом, на мой взгляд это являлось весьма убедительным, но поручик все же был склонен нас расстрелять. Мистер Куль решил тогда прибегнуть к своим двум героическим средствам. Он вынул Библию и важно прочел офицеру: «Не убий!» Поручик сказал, что он не безбожник, в господа Бога верит (при этом перекрестился), но все это относится к честным людям, а не к большевикам или к жидам, которых надо убивать при всякой возможности как бешеных собак. Гораздо сильнее оказалось действие пачки долларов, приобретенных мистером Кулем в Москве при содействии Гросмана. Поручику они сказали несравненно больше, чем наш мандат или Библия,— он нас отпустил.

Курортный режим Елизаветграда оказался очень своеобразным, и мы не сразу к нему привыкли. Дело

в том, что противники большевиков выгодно отличались своим разнообразием — среди них были сторонники «Единой, Неделимой», украинцы — просто, украинцы — социалисты, социалисты — просто, анархисты, поляки и не менее трех дюжин крупных «атаманов», не считая мелких, промышлявших кустарничеством, то есть ограблением поездов и убийством местечковых евреев. Все они дрались не только с большевиками, но и друг с другом, поочередно на короткое время захватывая нашу резиденцию. За три месяца мы пережили одиннадцать различных правительств. Надо было быть Учителем, с его блестящим мексиканским стажем, чтобы освоиться в этой белиберде. Выйдя утром на улицу, мы не знали, в чьих руках город, и на всякий случай во всех карманах пиджаков, жилетов и брюк держали разнообразные удостоверения на разных языках и наречиях, с орлами в короне и без короны, с серпами, с трезубцами, даже с вилами, которые имелись в гербе батьки Шило.

Впрочем, нужно сказать, что это разнообразие выявлялось почти исключительно во флагах и в гербах, на городской жизни отражалось мало. Освобождаемые еженедельно от ига обыватели даже не замечали этого, так как действия «тиранов» и «освободителей» были до удивительного сходны между собой, притом одеты все были одинаково, донашивая серые шинели царской армии. Кроме того, сказывались традиции мест: в меблированных комнатах, где помещалась Чека, разместилась контрразведка и все десять последующих учреждений однородного характера. Тюрьма оставалась тюрьмой, хотя в нее приводили тех, кто вчера еще сам приводил в нее смутьянов,— ни консерваторией, ни детским садом она не становилась. Даже расстреливали на том же традиционном пустыре, позади острога. Все, приходя, издавали законы о свободе и неприкосновенности личности, вводили осадное положение и смертную казнь за малейшее выражение недовольства дарованной свободой. Засим, в течение краткой мотыльковой жизни, спешили «наладить нормальную жизнь», то есть ограбить как можно больше еврейских часовщиков и успеть расстрелять всех лиц с несимпатичными физиономиями или с неблагозвучными фамилиями.

Как-то, сидя в маленьком грязном кафе, представлявшем благодаря подвижности хозяина-грека

отрадный остров среди этого бушующего океана, Учитель заинтересовался: «А какое у нас сегодня правительство? Украинцы, что ли?» Грек отчаянно цыкнул: «Какие вы слова говорите! Мы, то есть все,— только малороссы, а правительство у нас ростовское. Романовки во как поднялись, а за украинки дают трешку за сотню, советские и те дороже!» — «Это меня молодит,— рассмеялся Хуренито,— думал ли я, что на старости лет попаду к себе на родину!..»

Айша спросил его: «Господин, скажи Айше, Айша очень глупый, он не понимает, почему они все говорят, что друг друга не любят, а делают одно и то же, как родные братья».

«Милый Айша, ты не глуп, ты слишком мудр, брось высоты своей африканской философии. Ты хочешь отыскать некое различие там, где его и быть не может. Это твое дикарское дело — слушать речи и глядеть на флаги; мы, люди культурные, больше интересуемся системами пулеметов. Конечно, было бы остроумней им всем объединиться для дружного грабежа и массовых расстрелов, но чувство солидарности не имеет корней в данном цехе. Я представляю себе все выгоды Профессионального союза тружеников, пытающихся захватить власть. Какая экономия сил и времени! Каждая секция получает город на один месяц, разрежает городскую скученность, борется с роскошью, способствует поднятию производительности труда наборщиков и маляров, так как печатает новый свод законов и на всех городских вывесках вставляет мягкие знаки, уничтожает твердые или восстанавливает «яти», потом мирно, собрав все свои пожитки, как, например, замена и свод законов, перекочевывает в другой город, уступая место товарищам-противникам. К сожалению, для такого объединения почва еще не готова, и ты должен примириться с тем, что конкуренты, кроме законного объекта, то есть обывателей, режут бессмысленно и друг друга».

А между тем, пока мы в тихие дни (то есть без орудийной стрельбы) болтались по городу, пили у грека кофе и философствовали, мистер Куль и мосье Дэле, не теряя времени, о чем-то меж собой усиленно договаривались.

Результаты этих бесед были неожиданными, а именно: в одно утро, вполне спокойное и располагающее к идиллическим прогулкам, в комнату Алексея

Спиридоновича явились наши солидные друзья, и мосье Дэле торжественно, но задушевно заявил: «Великий час пробил! Дорогой мосье Тишин, вы мобилизованы!» Алексей Спиридонович еще пребывал, мечтая, в кровати; услышав это, он вскочил и завопил: «Что вы говорите? Господи! Но кем?» Мистер Куль важно ответил ему: «Разумеется, не нами. Мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела. Для этой цели мы наняли одного отставного вахмистра, и он подписал указ. Друг мой, вы должны не горевать, а радоваться. Вы будете защищать культуру и свободу от варваров!» После этого, оставив на столе указ и два доллара на обмундирование, они ушли. Алексей Спиридонович, который уже однажды защищал культуру от варваров, упал на кровать, начал голосить и делал это до вечера, когда Учитель и я пришли к нему.

Он рассказал нам обо всех своих мучениях. Разумеется, большевики — варвары, их следует свергнуть. Но он против насилия, он почти толстовец, он знает, что «Святая София» окончилась братом Айши. Кроме того, он не может стрелять в своих, в русских. Правда, мосье Дэле заверяет его, что красные войска состоят из всех, кроме русских,— из башкиров, киргизов, евреев, венгерцев, китайцев, латышей. «Но все может быть,— вдруг среди них затесался хотя бы один свой, русак? Господи, что мне делать?»

Но делать было нечего. Получив от мосье Дэле винтовку и трехцветный флаг, а от мистера Куля Библию и еще один доллар, Алексей Спиридонович с тридцатью «добровольцами», как он, горящими жаждой сражаться, отправился брать у красных деревню Дырки.

Героической атакой, потеряв двадцать три человека, добровольцы заняли деревню и прилегающий к ней сахарный завод Кутуменко.

К величайшему недоумению и ужасу Алексея Спиридоновича, ему пришлось заколоть штыком русского, и все трупы, найденные им в Дырках, походили не на китайцев, но на тульских и калужских мужичков. Мучения его удвоились. Ко всему, в Дырки приехали мистер Куль и мосье Дэле «благодарить и приветствовать славное воинство», причем мистер Куль разъяснил, что завод Кутуменко он приобрел за гроши, а мосье Дэле напомнил «освобожденным пейзанам» о необходимости честно работать для погашения всех

долгов России, к которым прибавилась стоимость тридцати винтовок, двух флагов и жалованья вахмистру.

Все это так подействовало на Алексея Спиридоновича, что он бежал ночью из Дырок прямо на квартиру к Учителю, винтовку обменял на две бутылки самогона и в пьяном виде декламировал «Клеветникам России», причем Айша должен был изображать «клеветника», получая уничтожающие взгляды, брызги слюны и даже прикосновения рукой.

С этого дня Алексею Спиридоновичу пришлось скрываться, главным образом от вахмистра и от мосье Дэле. Он ужасно осунулся и опустился. Лежа целыми днями в кладовой Учителя, он мечтал о том, что если бы к свободе Керенского прибавить организацию Шмидта, доллары и высший дух, свойственный одному славянству, то было бы хорошо... А так — очень скверно!..

Мое положение не было лучшим. У меня губы семита и подозрительная фамилия. При этих данных я мог в любой момент закончить свой трудный земной путь у облупленной стенки елизаветградского амбара.

Как-то ночью меня на улице остановили военные: «Стой! Ты жид?» В ответ я выругался, сочно и обстоятельно, как ругаются в Дорогомилове сдавшие заказ сапожники. Это показалось убедительным, и меня отпустили.

В квартиру Учителя, где жил и я, пришел один человек в форме, завопил: «Жиды! Христа распяли! Россию продали! — и сразу, без паузы спросил деловито: — Этот портсигар — серебряный?»

Даже Учитель поплатился. Однажды он вышел погулять и наткнулся на застывшего в мечтательной позе военного. «Жид, иди сюда!» — «Я мексиканец». — «В таком случае простите. Может быть, вы скажете, где мне найти хоть одного жида?» — «Поищите». — «Вот несчастье! Все попрятались — с утра зря стою». И, сняв с Учителя его меховую шапку, несчастный охотник пошел искать редкую дичь.

В общем, Учитель тоже был скверно настроен. Уже в Москве последние месяцы я начал подмечать в нем усталость и апатию. Все же он держался и даже завел знакомство со многими белыми, больше других остававшимися в городе.

Один из них, подпоручик Ушков, был трогательным юношей. Он был помешан на романтизме про-

шлого, на трубных звуках старой гвардии и победном шелесте великодержавных знамен. Идеи его были убоги, но его воодушевляла патетическая любовь к былому. В его мыслях Куликовская битва, вербная суббота, с огоньками, порхающими по московским улицам и переулкам, кремлевские соборы, бал с подругами сестры — институтками, Отечественная война, мама, елка сливались в одно цельное, отнятое злыми людьми. Учитель говорил о нем: «Вот Евгений, бедный чудак, который не ждет, пока всадник претворится в медь. Кто виноват, если Хулио Хуренито, отпихнув сценариуса, выскочил на сто лет раньше положенного, а тихий Ушков на столько же опоздал, пропустив пирушку с пуншем и великолепных офицеров, умиравших на полях Бородина, сводивших с ума парижанок танцами и усами, влюбленных в родных Наташ и в заграничную масонку «Свободу»?»

В одном полку с Ушковым служил Давилов, молодой помещик, азартный игрок, но человек трезвый. Ушкова он звал «девчонкой». «Дело просто и ясно, без романтической чепухи: либо мы, либо они. Я предпочитаю погибнуть от пули, нежели тянуть лямку «пролетария» и подделываться под мерзкий мне язык. Если мы победим — мы будем жить по-настоящему, как живали отцы и деды, с приемами у предводителей дворянства, с кутежами в «Стрельне», с тыщами на зеленом сукне, с разгулом, удалью, бесшабашностью, присвистом; нет — погибнем, придут «товарищи» и разведут на пять веков такую скуку, что даже чистокровные русские мухи и те подохнут».

Третий приятель Хуренито, казачий хорунжий, был детина необычайного роста с гигантскими ногами, прозванный всеми «Танком». Танк глядел на гражданскую войну как на опасную и завлекательную охоту. Он гонялся за комиссарами, за атаманами, за всеми, кого мог нагнать, и в десятый или в сотый раз бриллиантовые серьги купчихи Ягодицевой, как и английские фунты спекулянта Айзенштейна, переходили в новые руки. «Наш, мексиканец»,— с гордостью говорил Учитель, хлопая по массивной спине Танка, который показывал свою добычу — дутый браслет. «Ты, брат, не на сто лет опоздал, а всего на три года. В семнадцатом году ты бы вдоволь порезвился. А теперь нельзя, теперь там Шмидты такую организацию

развели, пошлют тебя вагоны выгружать да предварительно все ящики пересчитают!..»

Несмотря на дружбу с описанными мною офицерами, Учителя не оставляли в покое: то контрразведка интересовалась, что именно он делал 12 июля 1915 года, то осетины приходили выяснять в сотый раз его вероисповедание, прихватывая старые брюки Хуренито или чайный сервиз квартирной хозяйки. Может быть, поэтому, а может быть, просто со скуки Учитель решил действовать и неожиданно для всех объявил себя претендентом на российский престол. Он доказал, что является родственником расстрелянного императора Мексики Максимилиана, происходившего из Габсбургов, которые связаны с датским двором, а следовательно, с Романовыми. О своем намерении воссесть на опустевший трон он довел до сведения местной контрразведки, Освага и всех иностранных держав. Контрразведка прекратила неприятные визиты, а один из ее сотрудников притащил даже по сему случаю Учителю бутылку мартелевского коньяку, не без удовольствия нами распитую. Осваг вывесил портрет Хуренито в своей витрине, впрочем, о престоле дипломатично умолчав, чтобы не оскорблять деликатных чувств некоторых социалистов. Из-за границы Учитель получил телеграммы с пожеланием успеха, а также сто франков на карманные расходы. Обменяв эти деньги у мистера Куля на сто тысяч рублей, мы изумительно их пропили, причем Айше попойка и, главным образом, рахат-лукум в кофейной грека так понравились, что он возымел безумное желание объявить и себя претендентом, чтобы тоже получить сто франков.

Но сроки одиннадцатого правительства уже истекали. В городе началась обычная суматоха, к заставам потянулись телеги, груженные добром; все напоминало Москву в доброе старое время к началу летних каникул. Утомленные событиями и скомпрометированные монархическими выступлениями Хуренито, мы тоже решили отправиться на дачу. Откуда идут враги и кто именно идет, мы не знали, а пошли куда глаза глядят и, проделав верст двадцать, ночью попали в деревню, занятую красноармейцами. Вытащив из-под подкладки пиджака старые, но почтенные советские удостоверения, мы благополучно миновали девять Особых отделов и двинулись в Москву.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Немного противоречий

Путь наш до Москвы длился семь недель — часто приходилось вместо теплушки, спасая свою шкуру, брести по топким буграм бездорожья. После схем Шмидта мы увидали чудовищную топь, с восстаниями и усмирениями, подобными ознобу, глушь нищую и на все речи, воззвания, декреты, манифесты отвечающую все тем же неистребимым «чаво?».

Голодные, мы бродили по деревням, тщетно выклянчивая ломоть хлеба, отдавая за кринку молока жилеты, шляпы, часы и прочее. Даже брелок мосье Дэле («Вера — Надежда — Любовь») был обменен на одно яйцо, оказавшееся тухлым. Айша нас подводил: вместо товарообмена начиналось либо патетическое бегство, либо храброе изгнание поганых арапов. Все же иногда нам удавалось преодолеть недоверие, тогда крестьяне сердечно с нами беседовали, давали кукурузные или ячменные лепешки и за все брали какую-нибудь рубаху или кожаное портмоне.

Меня очень удивляла в голодавшей стране жирная, черная, поросшая ковылем земля. Собеседники наши, наоборот, находили это весьма естественным и даже говорили, что в будущем году еще меньше засеют: «Только-только самим не околеть. На кой ляд сеять? Все одно загребут!»

«Пойми,— вразумлял меня Учитель,— от ста миллионов «чаво» требуют самоотверженного труда во имя непонятной им идеи. Кто требовал прежде смирения? Барин, купец, царь, но за всеми стоял Бог, с лестницей посредников, начиная от «заступницы» и кончая сельским дьячком. Бог не отбирал, он брал в долг, обещая на том свете все вернуть с лихвой. Кредитоспособность была безусловной. Все аскеты, бессребреники, схимники меняли тленные ассигнации сорока или пятидесяти лет сомнительных земных радостей на «вечное золото» неба. Теперь людям раскрыли, что дело именно в этих сорока годах, в хлебе, в марципанах, которые жрал паразит, в перинах, в бабах, в театрах — словом, в трижды дорогой и любимой земле. Очень замечательно об этом гаркнул ваш прекрасный поэт Маяковский:

Нам надоели небесные сласти,
Хлебище дайте жрать ржаной!
Нам надоели бумажные страсти —
Дайте жить с живой женой!

Но вместо немедленных безмятежных часов с супругой и хорошего кусища хлеба предлагают осьмушку, сверхурочные работы, «субботники» и «воскресники», беспрерывные повинности — схиму, вериги, подвижничество, причем никаких векселей на царство небесное не дают, даже наоборот, гарантируют червей в могиле. Кто-то — дети, внуки, а может быть, внуки внуков будут жить лучше!.. Идеалистический материализм оказался во сто крат выше и труднее материалистического идеализма. Как же ты можешь удивляться тому, что сто миллионов не сделались сверхсвятителями? Дивись лучше тому, что нашлись тысячи новых подвижников, великих самосжигателей, жаждущих не отлететь с дымом в небо, а своими телами немного согреть замерзающий край».

В вагоне мы разговорились с одним приказчиком из Малого Ярославца, уродливым горбуном. Он очень своеобразно нападал на коммунизм: «Что я? Образина. Насекомое с человеческим паспортом. Прежде я хоть мог надежду питать — разбогатею, зашуршу катеньками, все наверстаю. Может, скажете, что за деньги нельзя было все захватить? Ошибаетесь, хоть я ей и противен, и она будет юлой юлить, горб целовать, прыщ мой превозносить! А теперь что? За паек работать? Равенство? Так пусть они раньше всех родят ровненькими. Хорошо, за восемь часов работы — полторы селедки. А за горб, спрошу я вас, за мое унижение,— кто за это заплатит? Одно мне осталось — поступлю в продотдел чеки, и никто меня осудить не посмеет. Не от жадности, а во имя священного равенства».

От всей поездки у меня осталось столь тягостное впечатление, что я жаждал, более чем когда-либо, бодрых, возвышающих речей Учителя. Но он хмурился и молчал. Такие периоды бывали у него и прежде, но тогда он работал над своими изысканиями, теперь же не скрывал усталости, безразличия, скуки. Я забеспокоился — не болен ли он? Хуренито улыбнулся. «Я не мосье Дэле, «пинком» моих дел не поправишь!»

Только раз он нас утешил и ободрил. Он купил за пять косых крохотную белую булочку, мы ее честно

поделили на пять ломтиков и тщательно подобрали все крохи. Учитель сказал: «Радуйтесь, друзья, вы познаете сейчас величье человеческого труда, святость созданного мозолистыми руками. Помните Париж накануне войны, задыхавшийся от избытка ненужных вещей, от труда, подобного пересыпанию гороха арестантом? Кто тогда мог понять божественную природу булки или сапога? Теперь вам возвращена первоначальная радость, и, потеряв сотни лживых идеалов, вы обрели вещи, достойные обожествления. Вы топтали благословенную землю и шарили по небесам не астрономическим, но размалеванным каждым не слишком ленивым жуликом. А под ногами у вас лежали радость, счастье, восторг, эти белые крохи, подобные лучшим из звезд. Вы презирали труд и преклонялись пред бормочущими бездельниками, выдумывающими Эдемы и Атлантиды, но неспособными пришить пуговицу к штанам. Теперь произведена полезная экспертиза, и фальшивые камни отделены от ценных».

Эти слова были единственным маяком за долгие месяцы плавания. Учитель снова замолк. С новыми разуверениями и с новой тяжестью вылезли мы на грязную платформу московского вокзала.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

О героизме, о скуке, главным образом о нелетающем самолете

В Москву мы приехали утром, в десятом часу. Выйдя на площадь, мы увидели караваны советских служащих, направляющихся в канцелярии с кульками для пайков. Изредка проносились автомобили с ответственными товарищами и сани, в которых сидели товарищи в чине не ниже заведующего отделом наркомата.

В продовольственном распределителе девяносто три выдавали по сто седьмому купону кислую капусту и фунт соли. Длинная вереница женщин, старцев, детей и чиновников, рискующих опоздать на заседания комиссий, с салазками, молча стояла у входа.

На стенах бабка расклеивала «Известия», и какой-то длинноволосый, судя по саркастической улыбке, из

оппозиции, читал очередную статью о мировой революции, замерзая и переступая с ноги на ногу. Барышня продавала три карамели, но, очевидно, все, кроме нас, вздумавших прицениться, знали, что цена им три тысячи и, отвернувшись, быстро проходили мимо. Только мальчишка не мог оторвать от них побледневших в экстазе зрачков.

Все хорошо знали, что ждет их, бывших читателей «Русских ведомостей», сегодня, завтра, послезавтра. Сейчас надо по старым тарифам ухитриться составить новую смету так, чтобы Рабкрин пропустил ее, отослать назад с пустыми руками сто делегатов из провинции, приехавших за книгами или за машинами, составить отчет о безделье прошлого месяца и план на безделье следующего,—словом, шагом на месте, вечным притопыванием, бормотанием создавать видимость лихорадочной работы. Потом обед из воды и пши на первое и пши с водой на второе, потом брусничный чай с сахарином «Красная звезда», купленный на месячное жалованье, потом критика совместно с женой, вполголоса, советской власти, мечты о потерянном рае и печенье «Эйнем», наконец, сон в морозной конуре, под пахнущими псиной шторами. Все это было начертано на их опростившихся лицах.

Учитель сказал нам: «Слышите, как пахнет бытом? Ничего, что быт бедненький, он подкормится. Радуйтесь, мосье Дэле,—здесь больше не ходят на голове. Ходят на обыкновенных, только сильно отощавших ногах».

Действительно, на этот раз возвращением в Москву остались наиболее довольны мистер Куль и мосье Дэле. Их объявили «гостями Советской республики», поселили в хорошей гостинице, кормили мясными котлетами и возили в литерную ложу Большого театра глядеть балет «Сильфиды». Всем этим, включая классические па обаятельных балерин, они остались вполне удовлетворены и, заважничав, стали разговаривать пренебрежительно не только с нами, но и с Учителем. Мосье Дэле как-то вынес мне в коридор половину недоеденной, по случаю плохого действия «пинка», котлетки и сказал: «Вот благородный жест гостя республики!» Так как они удостаивали нас лишь краткими репликами, я не мог выяснить в точности, чем они занимались. Я узнал лишь, что мистер Куль играет по вечерам в бридж с важными сановниками и торгует

у них крупные концессии не то в Туркестане, не то в Сибири. Мосье Дэле предложил Учителю попытаться переговорить с теми же дипломатами об «Универсальном Некрополе», но Хуренито отказался: «Надоело!»

Зато положение Эрколе пошатнулось. Он пришел к нам донельзя опечаленный: «Тысяча чертей! Как все меняется! Его открыли! Пришел какой-то контролер, и ни Юпитер, ни тритон не помогли. Ему, Эрколе Бамбучи, предложили заниматься!.. Как вы думаете — чем? Стрелять из хлопушек? Развешивать флаги? Ничуть не бывало! «Производительным трудом»! Кровопийцы! Иезуиты! Зачем же тогда Советы? Чем это не Германия? Выдали какую-то трудовую книжку, вписали туда, что он получил из Собеса старые брюки и лакейский фрак, и хотят еще вписать, сколько часов он проработал. Но для этого — идиоты! — нужно, чтобы он работал! Капитолий провалится, а этого не будет!..»

Алексей Спиридонович, после опыта в Дырках, перестал ждать генералов и союзников. Все свои надежды он возлагал на то, что коммунисты окончательно засовестятся и после открытия бакалейных лавок разрешат выходить «Русским ведомостям». Тогда все пойдет изумительно.

Айша и я честно поступили на прежнюю службу, приставленные — он к Африке, я же к кроликам, ставшим благодаря исключительной энергии В. Л. Дурова за время моего отсутствия гораздо более сознательными.

Но, увы, работа меня не удовлетворяла, и я томился. В маленькой комнате я подолгу занимался метафизическими рассуждениями о том, что лучше: холод или дым? Склонившись в сторону последнего, я шел на двор, тащил тихонько дрова, привезенные соседу, владельцу магазина ненормированных продуктов, то есть сахарина и мороженых яблок, колол их и кое-как разжигал печурку. Тогда замерзшие стены начинали оттаивать, и я на кровати чувствовал себя как в лодке средь Ледовитого океана. Затем в окно, куда выходила труба, дул ветер, печка тряслась и выкашливала клубы едкого дыма. Я тоже кашлял, плакал и каялся. Потом в отчаянье напяливал полушубок подозрительного происхождения и выходил на лестницу. Может быть, пойти в Дом печати — там по

одному бутерброду с кетовой икрой и диспут — «О пролетарском хоровом чтенье», или в Политехнический музей — там бутербродов нет, зато двадцать шесть молодых поэтов читают свои стихи о «паровозной обедне». Нет, буду сидеть на лестнице, дрожать от холода и мечтать о том, что все это не тщетно, что, сидя здесь на ступеньке, я готовлю далекий восход солнца Возрождения. Мечтал я и просто и в стихах, причем получались скучноватые ямбы:

Как полдень золотого века будет светел!
Как небо воссинеет после злой грозы!
И претворятся соки варварской лозы
В прозрачное вино тысячелетий.

Никогда я не жил так честно, скудно, духовно и целомудренно. Вся Москва представлялась мне монастырем со строгим уставом, с вечным постом, обеднями и оброками. Даже в скуке было нечто подвижническое, и только обросшие жиром сердца не поймут трогательного величия народа, прокричавшего в дождливую осеннюю ночь о приспевшем рае, с низведенными на землю звездами и потом занесенного метелью, умолкшего, героически жующего последнюю горсть зернышек, но не идущего к костру, у которого успел согреться не один апостол!

Учитель нигде не работал, ничего не делал, курил беспрерывно махорку и глядел прямо пред собой невидящими, остановившимися глазами. Мне он сказал: «Поэт Шершеневич написал книгу «Лошадь как лошадь». Если продолжать,— можно добавить «Государство как государство». Мистер Куль — в почете. Эрколе — курьер. На рассыпных папиросах и на морковном кофе герб мятежной республики «РСФСР». Французы написали на стенах тюрем: «Свобода — Равенство — Братство», здесь на десятитысячных ассигнациях, которыми набивают себе карманы спекулянты и подрядчики, революционный клич: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Я не могу глядеть на этот нелетающий самолет! Скучно! Впрочем, не обращай внимания. Это можно видеть и наоборот. Я как-то увидел и даже решил у тебя хлеб отбивать, написал стишки. Слушай:

Нет, в России не бунт, нет, в России не смута!
Ее знамена — державный порфир,
И она закладывает, тысячерукая,
Новый мир.

Пусть черна вседневная работа,
Пусть кровью восток осквернен —
Исполинская бабочка судорожно бьется,
Пробивая жалкий кокон.
Так, в бумагах скудных Совнархоза,
Под штыком армейца, средь чернил и крови,
В великом томленье готова раскрыться дивная роза
Неодолимой любви...

И так далее. Хотел послать их Шмидту в Совнархоз, но решил, что он за «скудные» обидится, и порвал. Тарарабумбия! Видишь ли, в чем дело, Эренбург, мне надо умереть, потому что свои дела я закончил!»

От ужаса и тоски я не мог вымолвить слова, но, вцепившись в колено Хуренито, качал бессмысленно головой. Учитель же продолжал:

«Мне окончательно все надоело. Но умереть, как это ни странно, довольно сложное предприятие. Один болван зовет меня «гидом», второй — «компаньоном», третий — «другом», четвертый — «товарищем», пятый — «хозяином», шестой — «господином» и ты, седьмой,— «Учителем». Что скажут все семеро, узнав, что Хулио Хуренито покончил с собой, как обманутая модистка? На всю жизнь их вера в коммерцию, в дружбу, в божественность, в мудрость будет поколеблена. Я не столь жесток. Я должен умереть пристойно. Для всякого другого это легко — достаточно иметь несоответствующие убеждения. Но у меня, как ты знаешь, нет никаких убеждений, и поэтому я выходил с веселой улыбкой из всех префектур, комендатур, чрезвычаек и контрразведок. За идеи я не могу умереть, остается одна надежда — сапоги...»

Потрясенный страшными словами Учителя и непонятным упоминанием сапог, я решил, что он сошел с ума, и хотел бежать за мосье Дэле, у которого имелся соответствующий опыт. Но Учитель остановил меня и снова предложил полюбоваться высокими английскими сапогами, шнурующимися доверху, полученными им в Елизаветграде, когда он был претендентом на российский престол.

«Я могу погибнуть только из-за сапог. Беда в том, что большевики вывели в Москве всех бандитов. Мне придется поехать на юг, где нравы много проще. Ты и Айша поедете со мной. Его я люблю больше всех, тебя я совсем не люблю, но ты будешь писать мою биографию и должен поэтому сопровождать меня до

конца. Приготовься — мы едем завтра в Конотоп, это, кажется, уютный городишко».

От страха и муки я совершенно обалдел. Может, надо было осмелиться отговорить Учителя или постараться, для такого случая, раз в жизни выдавить из проклятых желез хоть одну слезу. Но я, ничего не соображая, пошел к знакомым и получил бумаги для Учителя и для нас. В удостоверениях значилось, что мы едем в Конотоп «ликвидировать безграмотность».

Придя вечером домой, я не топил печки, не писал стихов, не мечтал, но, сидя в углу на корточках, до утра кричал: «Караул! Караул! Учитель хочет умереть из-за сапог!..» И пел похоронный марш.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Смерть Учителя

Это был крестный путь. Я знал, что Учитель довершает изумительное здание своей жизни, что для потомства его смерть будет неизбежной и торжественной точкой на странице, которая не могла не быть последней. Но я любил его простой животной любовью, как способен любить лишь пес, которого подобрали на улице паршивым, слепым щенком. И, верный этому чувству, я, не думая о потомстве и не обращая внимания на смущенных пассажиров, закинув голову, долго и отчаянно выл.

Зачем я пишу теперь о моем горе, о моей слабости? Ведь не для того, чтобы поделиться своими жалкими переживаниями, я тружусь над этой книгой. Это — повесть о великом Учителе, а не о слабом, ничтожном, презренном ученике. Илья Эренбург, автор посредственных стихов, исписавшийся журналист, трус, отступник, мелкий ханжа, пакостник с идейными, задумчивыми глазами, выл на скамье вагона. Кто сможет вынести эту оскорбительную, назойливую деталь, когда рядом с ним, в том же вагоне готовился к смерти, крутя козью ножку и шутя с Айшой, наиболее достойный человек нашего века.

Я не стану говорить ни о горе Айши, ни о приезде нашем в маленький городок, ставший отныне бессмертным. Все произошло так, как предвидел Учитель. 12 марта под вечер мы сидели на скамье длинного бульвара, который идет от вокзала к центру города.

Учитель, тщательно выбритый и торжественный, повел нас гулять. Если бы не его разодранный пиджак, я чувствовал бы себя снова секретарем посла Лабардана. Мне даже на минуту показалось, что Учитель передумал и собирается не умереть, а объявить себя царем, президентом или негусом какого-нибудь государства. Но он обратился к нам со следующими словами, последними словами Учителя:

«Весьма вероятно, сегодня бандит прельстится моими сапогами. Товарищ Ольтенко сказал мне, что грабежи в городе усилились. К сожалению, потомство не узнает его имени. Я вижу ясно в 1980 году памятник, воздвигнутый этому неизвестному избавителю государств бывших, сущих и будущих от мексиканского бандита Хулио Хуренито. Жаль, что я не могу положить к его ногам венок — это очень приятное занятие. Для этого и для многого другого ты, Эренбург, отправляйся после моей смерти в какое-нибудь тихое место и, времени своего, никому не нужного, не жалея, но и строк бессмысленно не нагоняя (ты это любишь делать), опиши все, что знаешь о моей жизни, беседы, труды и анекдоты, анекдоты предпочтительно. Давно уже место эпопеи или проповеди занял анекдот — он ключ к сокровищнице человечества. Над этой книгой умные будут смеяться, глупые негодовать. Впрочем, и те и другие мало что поймут. Тогда не печалься над своей бездарностью. Понять меня — дело вообще трудное. В самом начале угрюмого величественного дня я говорил уже, забегая вперед, как пес, принюхиваясь, прислушиваясь, о дне завтрашнем. Алексей Спиридонович как-то спросил меня, неужели я так ненавижу эту жизнь?.. Нет, не ненависть, но величайшая нелюбовь опустошила мое сердце. Стройте! Трудитесь! Растите! Я не зову вас назад, бомб не подсовываю и, снявши штаны, пасти овец по примеру Раймонда Дункана не рекомендую. Дорогой Айша, верь мне, ты самый прекрасный из всех людей, встреченных мною в жизни. Но не твоим детством спасется мир. Ты уже десять раз «защищал культуру», ты сидишь в подотделе, любишь самопишущие ручки и патефоны. Словом, порядок времен года и прочее. Чтобы спираль мира ринулась к новому счастью, должен быть описан круг столетий, круг крови, пота, железный круг.

Я вижу полдень этого встающего дня. Парфенон будет казаться жалкой детской игрушкой в столовых исполинских штатов. Пред мускулами любой водокачки

застыдятся дряблые руки готических соборов. Простой уличный писсуар в величье бетона, в девственной чистоте стекла превзойдет пирамиду Хеопса. Так будет! Здесь, в нищей, разоренной России, я говорю об этом. Ибо строят не те, у кого избыток камня, а те, кто эти невыносимые каменья решается скрепить своей вязкой кровью. Я это предвижу, но не радуюсь.

Мне хочется в последние мои часы прозреть иное, следующее, туманное. Вот идет человек с папкой бумаг. У него сзади в кармане браунинг. Не бойтесь, это не бандит, но честный чиновник. Утром он отстучал нечто на машинке за номером и расстрелял человека, с ним несогласного. Сейчас он пообедал и бодро идет на заседание. Видите около него кошку? По всей вероятности, она съела сегодня мышь. Позвольте мне преклониться пред кошкой, пред Айшой, пред отсутствием номеров и посмотреть вперед — неужели там не кошки, а лишь номера, номера, даже кошки за номерами? Мир замкнут для человека. Что ему не только Марс, но лошадчество? О звездах он думает лишь в дни влюбленности, как о специальной небесной иллюминации. Новые миры — это снаряжение экспедиции на Южный полюс. Он отъединился, замкнулся, потерял гармонию. Человека можно заставить ходить по канату, но, как только уйдут зрители, он шлепнется на мягкий песок арены. Вне гармонии нет свободы, нет любви, нет преодоления смерти. Либо мистер Куль научными средствами выводит со света, как тараканов, Айшу, либо Айша запросто, в семейном кругу, завтракает бедрышком мистера Куля. Или обоих их запрягут в одно ярмо, и они будут, ненавидя друг друга, всех и все, тащить праздничную колесницу «освобожденного человечества». Или Эрколе сам по себе чешет пуп на виа Паскудини, или вечный военный парад Шмидта. Бегут от смерти, ищут ее, но никто не засыпает просто, все дергаются и прыгают. Вместо любви приходо-расходная книга — близости, помощи, измен, отчуждений, любовь не объекта, но своего чувства, согревание по рецепту доброго царя Давида своего холода на чужом сердце. Вне гармонии нет жизни, но лишь существование людей и племен. Вот мосье Дэле тоже гармонию поминал. Для него это разумная диета, средняя из всех сложенных в одно единиц. Я не об этом, конечно, говорю, но о потерянном человеческом ощущении, необходимом для прекрасной жизни, в ладе со всей вселенной.

Я не знаю, как оно будет обретено — в лабораториях, на пожарищах стихийной катастрофы или последним напряжением разумной воли. Я не знаю, когда придет этот час свободы, восторга, бездумья. Знаю, что он придет. Еще знаю, что для этого надо торопить неизбежную стрелку событий, войн, революций нашего нелюбого мне дня.

Делайте это, как умеете. А мне что-то больше не хочется. Я сыт по горло, в животе тяжесть — словом, величайшее несварение, которое потрясло бы даже нашего Дэле. Прощайте, друзья мои! Берегите свое здоровье! С трупом моим не возитесь! Еще — кушайте в Москве простоквашу, это ненормированный продукт и рекомендуется для бессмертия».

Кончив говорить, Учитель съел мороженую грушу и вытер лоб красным фуляровым платком; Айшу он поцеловал, мне же подарил обкуренный пенковый мундштучок и, приказав нам сидеть на скамейке, пошел вперед по пустынной улице. Я дрожал и хныкал.

Вскоре раздался чей-то резкий крик, свист и близкий выстрел. Айша бросился бежать, догоняя Учителя, я же свалился под скамью и там, свернувшись, замер.

Через четверть часа я выполз и решился пойти на розыски. В ста шагах от скамьи я увидел Учителя, лежавшего в канаве с окровавленным лицом. Он был мертв, сапоги сняты с сиротливых холодных ног. Я упал рядом, не выпуская из рук его ног в полосатых, заштопанных носках. Здесь было все, чем я жил!

Прибежал Айша, размахивая своим большим африканским ножом: он хотел нагнать убийцу, но тщетно.

Что делать с останками Учителя? Не звать же милиционера, подменивая величайшую мистерию гнусным протоколом. Мы понесли тело Учителя, пользуясь безлюдием и темнотой, за город, в поле и там, с помощью ножа Айши, всю ночь рыли яму.

Когда все кругом дрогнуло от подступающей зари, могила была готова, и смутная полоса рассвета как бы напомнила нам о пророчествах Учителя. Я нашел кол, вбил его и привесил мою трудовую книжку,— ничего другого у меня под рукой не оказалось,— надписав на ней: «Осторожно! Здесь погребен Учитель Человечества Хулио Хуренито, убитый 12 марта 1921 года, в 8 часов 20 минут пополудни». Наверное, теперь не осталось и следа его священной могилы.

Пока мы работали, напряжение и мелкие заботы заслоняли от меня случившееся. Но когда мы вернулись к вокзалу и я понял, что мы поедем в Москву без Учителя, что никогда я уж не услышу его ровного любимого голоса, я закричал от боли. Напрасно Айша пытался успокоить меня, говоря, что Хуренито теперь стал Богом и живет в других людях. Это были жалкие и недостойные его имени бредни. Я знал — он умер, навек, навсегда. А я остался, и у меня нет сапог, а если бы и были, я бы спрятал их, скрылся, жил бы все равно...

В безумии кинулся я к какой-то торговке пирожками и, опрокинув лоток, завопил: «Поймите, Учитель умер! Умер из-за сапог! Я этого не переживу!» (Как читатель видит, последнее было лишь образом, выражавшим беспредельность моей скорби.)

Меня побили, отвели в комиссариат, а вечером выпустили, и мы поехали в опустевшую Москву, в мир, потерявший право крутиться, кружиться, нестись без смысла, без конца...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ,

и, по всей видимости, ненужная

Может быть, мне следовало бы остановиться на смерти Учителя и не начинать этой главы, тусклой и скучной, не озаренной его присутствием. Но мне кажется, что для читателя представит интерес краткий отчет о том, что случилось с людьми, сопровождавшими Учителя в его жизненном пути. Кроме того, все увиденное мною в Европе столь потрясло мое воображение, что я не считаю возможным скрыть патетическое и неуравновешенное состояние, предшествовавшее написанию этой книги. Поэтому я решился прилепить к стройному зданию неуклюжую и убогую пристройку главы тридцать пятой, и последней.

Вернувшись в Москву, я созвал всех наших для того, чтобы сообщить им о смерти Учителя. Мы собрались в его комнате, и казалось, ласковый, насмешливый его образ был неотступно с нами. Алексей Спиридонович горько плакал, вспоминая свои размолвки с Учителем, приступы недоверия, слабости, отступничества. «Я клятвопреступник!— кричал он.— А этот бандит да будет за-

клеймен цареубийцей!» Мосье Дэле не мог спокойно слышать моего рассказа о яме со вбитым в землю колом: «Такой порядочный человек, мой компаньон, и хуже, чем по шестнадцатому классу!.. Страна варваров — вот все, что я могу сказать!»

Горюя, плача, вспоминая слова и привычки Учителя, мы мало-помалу перешли к вопросу о нашем будущем. Несмотря на различные дела и занятия, главное, что объединяло нас и прикрепляло к Москве, было присутствие Учителя. Мистер Куль, хотя и наладив кой-какие дела, был не прочь переменить котлетки «гостя республики» на устрицы и лангусты Парижа. Мосье Дэле ежеминутно поминал свою прекрасную родину: «Ля дус Франс», Зизи, Люси и душистый горошек. Эрколе тоже скучал без римского солнца, без вина, без вывески на виа Паскудини. Алексей Спиридонович ни о чем, собственно, не тосковал, плотские нужды презирал, но жаждал эмигрировать, чтобы «спасти свободу духа от растлителей и насильников». Я до его высот подняться не мог, и высшей приманкой для меня оставалась чашка скверного кофе с дешевым ромом на террасе моей незабвенной «Ротонды». Но было у меня идейное соображение, побуждавшее повернуться с вожделением к Западу: несмотря на узкий эгоизм и преобладание животных инстинктов, я понимал мой долг перед человечеством — ведь мне завещано Учителем написать историю его глубоко назидательной жизни. Писать же в Москве или вообще в России было крайне трудно — много времени поглощали если не сами кролики, то комиссии, им посвященные, получение различных пайков и раздобывание на тайных базарах четвертки табаку. Даже бумагу, потребную для такой большой работы, найти было нелегко. Кроме того, я отощал и с трудом мог сосредоточиться на возвышенных проблемах, поставленных Учителем. Наконец, атмосфера творимой истории мало благоприятствовала тихому труду летописца. Я знал, что стоит только мне попасть в «Ротонду», выпить несколько рюмочек, закричать: «Официант, бумагу, чернила!» — и тотчас быстрая рука начнет заносить на забрызганные кофе листочки священные проповеди Учителя. Что касается Айши, то, потеряв своего господина, сиротливый и беспомощный, он готов был следовать за нами, безразлично куда.

Итак, все мы, введенные Учителем в чистилище революции, жаждали вернуться в уютненький ад или, если это определение покажется неблагоразумным, в непроветренный рай. Сделать это было не так легко, но,

к счастью, Шмидт тоже собирался за границу, правда, руководясь соображениями особыми и от нас скрываемыми. С его помощью мы получили паспорта и две недели спустя в хорошем рижском ресторане пожирали жирные свиные котлеты, одну за другой, все, включая мосье Дэле, потеряв какое бы то ни было чувство меры.

Наши челюсти, а кругом десятки других, звучно, дружно, торжественно работали. Засыпающие музыканты честно играли «Пупсика». Мистер Куль, жестом подманив к себе, как собачку, скромную девицу, дал ей доллар и получил все, что за это полагалось. Мосье Дэле, разговорившись с соседями на политические темы, был весьма растроган выдачей Германией молочных коров союзникам и шептал: «Справедливость восторжествовала!» Это был вечер восторгов и примирений, широких объятий, раскрытых для встречи блудного сына. Наши общие чувства хорошо выразил мистер Куль, подняв бокал с поддельным шампанским: «Друзья, за торжествующую цивилизацию!»

От волнения я вышел на балкон проветриться. Вот она, мудрая, вечно прекрасная Европа! Нежно замирало чавкание, задорный «Пупсик» и чмокание лобзаний. Все покрывалось величавым храпом, с присвистом, бурчанием, подсапыванием. Мосье Дэле, Рига, Европа, покушавши и поерзав на брачном ложе, заработав хлеб насущный и попытавшись отнять хлеб у другого, ибо «не хлебом единым сыт человек», мирно спали. Я окончательно расчувствовался и начал петь «баю-баюшки-баю», но голоса не соразмерил. Пришел официант и попросил меня занятие это прекратить, так как я беспокою клиентов в двадцати отдельных кабинетах.

Через несколько дней начались трогательные расставания, слезы, обещания присылать открытки с видами. Правда, выехать было не совсем просто, так как Европа, за время нашего отсутствия, обогатилась институтом, хоть обременительным, но безусловно разумным, а именно «визами». Действительно, давно существуют дверные цепочки, строгие швейцары и тщательно изучаемые визитные карточки. Если такую осторожность проявляет простой обыватель, каким безумием было со стороны государства впускать в свои врата чужеземцев, не проверив предварительно, симпатичные ли у них физиономии, подходящие ли убеждения и достаточно ли толстые бумажники! Бла-

годаря этому нововведению мы выехали не сразу, но постепенно, подтверждая этим правоту иерархии.

В первом классе, разумеется, очутились мистер Куль и мосье Дэле, а когда все уже разъехались, Алексей Спиридонович и я долго выстаивали положенные часы в приемных консульств больших и малых держав. Но мы сами понимали правоту этого деления, и Алексей Спиридонович на вопрос о подданстве отвечал, как бы извиняясь, неопределенным жестом: «Так, знаете... одна страна... на Востоке...»

Но не месть, а милосердие царили в культурных государствах, и, почтительно простояв положенное время, даже мы получили визы. Пожав руку швейцару консульства, который за месяц успел ко мне привыкнуть, я еще раз преклонился перед дивной чинарой, принявшей в свое лоно дубовый листок, и хотел даже сказать об этом швейцару, но вовремя вспомнил, что страна Ронсара не любит варварских поэтов, и тихонько вышел.

Итак, круг описан — я еду в дорогой, любимый, возвращенный мне Париж!

Вся дорога была для меня, после долгих лет войны и революции, одной непрерывной демонстрацией торжества мира, порядка, благоразумия, цивилизации.

Я пробыл неделю в гостеприимном Копенгагене, и хотя, по трезвенности характера, его мистичности, воспетой Бангом, не заметил, но был потрясен богатством витрин и избытком яств. Люди, которых я встречал на улицах, были толсты, красны и веселы. После московских раздумий я чувствовал благоговейное умиление перед каждым круглым животиком, мерно раскачивающимся в уютном жилете. В кафе «Тиволи» я увидел, как официант, наливая себе чашку кофе, предварительно сполоснул ее жирными, густыми сливками. Я даже привстал от восхищения глубиной этого назидательного жеста. Где-нибудь в Вене или Петербурге сейчас умирают тысячи детей, не имея молока, а здесь оно течет, как в Аркадии, никому не нужное. Здесь не устраивали революций, не тщились переделать мир, но честно торговали, проводили законы в риксдаге и пасли коров. Какая поучительная история для детей о мальчиках пае и шалуне! Можно ли после этого не крикнуть в ярости: «Прочь герои, полководцы, поэты, революционеры, сумасброды всех мастей! Да здравствует честный коммерсант!»

В Лондоне я ходил по улицам, как в храме,— на цыпочках и сняв шляпу: я был вновь в исконной стране

права, свободы, неприкосновения личности, в стране Хабеас Корпус. Какое достоинство, какая независимость на гордых лицах даже мелких клерков Сити! Я вспомнил, как английские полисмены били палками по голове батумских жителей, нарушавших опубликованные правила. Теперь в Лондоне я понял, что виноваты некультурные русские, грузины, турки, не заслужившие Хабеас Корпус и достойные глубоко воспитательной дубинки.

Мой энтузиазм достиг высшего предела, когда я наконец увидел дорогой Монпарнас и «Ротонду». Я почувствовал себя вновь в родном гнезде. Зачем было мечтать, тосковать, скитаться, чтобы вернуться вновь к круглому столику с горкой блюдечек? Но здесь я ощутил с особенной силой невозвратимую потерю. Как могу я без Учителя осмыслить эту рюмку, город, жизнь? Вместо стройной картины предо мной мелькали яркие точки пуантилистов, создавая иллюзию видения.

Милый Париж был все тем же. Огни кафе и реклам реяли, как верные маяки, зажигаемые неослабевающей рукой сторожа. Текли рубиновые и изумрудные аперетивы; депутаты, героически напрягаясь, сбрасывали кабинеты министров; поэты писали безукоризненные стихи о грудях и бедрах; в маленьких журнальчиках отчаянные революционеры раз в неделю громили, впрочем, малочувствительное к этому правительство; и чиновники сберегательных касс вносили в бережно обернутые книжки новые путеводные нули.

Но появилось и много нового — мужчины щеголяли костюмами в талию, с грудями и задами, свойственными скорее другому полу, что объяснялось модой на любовь, несколько отличную от общепринятой. В кабаре и в салонах танцевали новый танец фокстрот, основанный на ассоциативных раскачиваниях. Наконец, газеты открыли неизвестный в былое время, весьма увлекательный спорт — конкурсы маршалов.

Через несколько дней после моего приезда я был совершенно ошеломлен зрелищем воистину прекрасным. Было объявлено состязание между двумя знаменитыми боксерами — французом и англичанином. Париж, а за ним все города Европы и Америки, затаив дыхание, ждали исхода. Я отправился с Алексеем Спиридоновичем поглядеть этот великий поединок. На арену вышли два очень здоровых, больших человека. Все замерли, понимая, что сейчас решаются судьбы мира.

Сначала англичанин, раскачавшись, ударяет со всей силой француза по лицу. Он выбил зуб и окровавил его... Алексей Спиридонович стонет: «Господи, что же они делают! Лицо! Лик! Подобье Божье!.. Не могу!..» Начитавшись Толстого, бедняга перестал понимать красоту войны, государственной мощи, искусства, бокса — словом, всего, чем человек отличается от какого-нибудь барана. Я не спорю с ним, увлеченный борьбой. Удары сыплются один за другим. О каждом из них радиостанция немедленно сообщает всему миру. На площадях Лондона и Нью-Йорка пред гигантскими экранами стоят толпы, обсуждая вес и значение кулака, выбившего зуб. Заключаются пари. На пароходе «Тюрбания» в Тихом океане пассажиры толпятся у приемника, взволнованные тем, что француз получил уже второй удар в подбородок. Я знаю, что нахожусь сейчас в центре вселенной. Но вот француз, собравшись с силами, со всей силой ударяет англичанина в нос. Кровь бьет. Громадный детина падает наземь. Нокаут. «Вив ля Франс!» Я выбегаю на площадь. Какое ликование! Зажжена иллюминация. Над Парижем летают три самолета, разбрасывая бюллетени победы. Трубят трубы, женщины кидают цветы. Вот истинный праздник национального самолюбия, справедливо удовлетворенного!

Вечер бокса после всех восторгов, испытанных мною в предшествующие дни, окончательно оглушил меня. Я потерял душевное спокойствие, бредил, безумствовал, готов был каждую минуту упасть на мостовую, целуя древние, седые камни. Тогда неизвестные мне друзья решили спасти меня. Кто бы они ни были — я знаю, что чувство любви к человечеству, к русской поэзии, ко мне руководило ими, и я буду вспоминать этих таинственных благодетелей, пока человеку дано жить и помнить. Они поняли, что я слаб телом и духом, что мне нужен покой, чистый воздух, и предложили мне немедленно переехать в иные края.

Я отправился в радушную Бельгию и здесь, опомнившись от избытка впечатлений, приступил к труду, завещанному мне Учителем. Но прежде, нежели описать мою жизнь в эти месяцы, я должен рассказать все, что мне известно о судьбах учеников Хулио Хуренито.

Мистер Куль продолжает торговаться с представителями России. Кроме того, он обеспечивает человечеству длительный мир. Еще по пословице древних известно, что для этого нужно готовиться к войне. Мистер

Куль, как высокий гуманист нашего века, выполняет это со свойственной ему энергией. Вновь оборудованные заводы и верфи работают вдвое интенсивнее, чем в дни войны. Пущены в ход все изобретения, сделанные Учителем в 1915—1916 годах. Но мистер Куль одновременно не забывает и чисто этических заданий — пишет трактаты о преимуществе мира и работает в Лиге наций.

Я считаю его деятельность залогом благоденствия и мирного расцвета. Не без его содействия разоружена окончательно Германия, и, конечно, ее примеру последуют и другие державы. Отчего-то в Европе происходят различные мобилизации, и какие-то полудикари еще продолжают в Силезии, в Литве, в Турции и в других местах следовать по былым путям, не понимая совершившегося поворота.

Мистер Куль пишет мне: «Я счастлив. Религия укрепляется. Доллар стоек. Мое хозяйство процветает. На снарядах, изготовляемых моими заводами, марка — олива мира. Да разнесут они когда-нибудь благую весть во все земли, острова и материки!»

Не хуже его живет мосье Дэле. Он быстро оправился от пережитых потрясений и, не возобновляя деятельности «Некрополя», стал во главе бюро, организующего экскурсии на места недавних боев, под названием: «Вени — види — вици». Многие американцы, англичане, а также французы обоих полов, несколько лет тому назад тщательно избегавшие близости фронта, теперь образумились и проявляют живейшее любопытство к полям битв. На севере Франции находится широкая полоса, совершенно разоренная боями, с остатками укреплений, с зарослями проволочных заграждений, с рощами крестов, где в жалких бараках ютятся разоренные, несчастные жители.

Дэле сразу оценил высокопатриотический и коммерческий интерес подобных экскурсий. Мужчины и дамы в комфортабельных автомобилях выезжают из Парижа. В Вердене они осматривают развалины и кладбища, а также хорошо завтракают. Потом едут дальше. На местах, где шли особенно ожесточенные бои, мосье Дэле устроил небольшие кафе; там можно выпить замороженный оранжад и отправить открытку с видом пустыни друзьям. Дальше — обед в Реймсе. Продажа сувениров из осколков снарядов и спокойное возвращение домой.

«Мой друг,— пишет он мне,— я снова нашел сладость жизни. Я делаю не только выгодное, но и воз-

вышенное дело пропаганды героизма и подвига. Мой домик цел и требует лишь небольшого ремонта. Я взял себе в экономки совсем молоденькую девушку, мадемуазель Габриель из Аркашона. Не жалейте меня — я еще бодр и, несмотря на свои пять десятков, полон порыва!.. «О, как ужасна жизнь»,— восклицал царь Эдип (мадемуазель Габриель повела меня вчера по случаю своих именин во «Французскую комедию»,— это серьезная особа, но она знает и остальное). Я же воскликну: «Как она прекрасна!»

Судьба была менее милостивой по отношению к Эрколе. Еще в Риге он был арестован за то, что пошел в первоклассный ресторан и хорошо там покушал, а по счету, разумеется, не заплатил, пригрозив немедленно здесь же в ресторане устроить такой «Совьето», что столы и те побегут. Тогда его выпустили. Но недавно в газете «Джорнале д'Италия» я прочел, что в Риме на виа Паскудини во время стычки между социалистами и фашистами был задержан некто Эрколе Бамбучи, который стрелял в тех и в других, а допрошенный, заявил, что он всем сочувствует, но больше всего на свете любит беспорядок и бенгальский огонь.

О Шмидте я тоже знаю лишь по газетам — он задержан германской полицией во время последнего неудачного восстания.

Айша занимает должность несколько необычную, а именно: мадам Жоб, жена разбогатевшего во время войны подрядчика, наняла его гувернером для своей любимой собачки, брюссельского пинчера, по кличке Виктуар. Айша должен воспитывать в собачонке любовь к порядку, выводить гулять, чистить зубной щеткой зубы и купать в грязевых ваннах, ибо Виктуар страдает ишиасом.

Мадам Жоб приезжала недавно в Остенде, и я видел Айшу. Он относится к своему делу с таким же рвением, с каким работал год назад в подотделе пропаганды. В восторге он мне показал специальные собачьи калоши, которые надевают Виктуару в сырую погоду. Я вполне разделил его чувства. Можно ли после этих калош оспаривать мировой прогресс? Скептики скажут, что у детей многих безработных нет пары цельных ботинок. Суждение прямолинейное, тупое и не заслуживающее внимания. Важно не количество, а качество. Босые дети были и будут, но разве в невежественные средние века существовали собачьи калоши и гувернеры? Мы движемся вперед!

Хуже пришлось бедному Алексею Спиридоновичу. С открытым сердцем кинулся он к русским эмигрантам, но там его встретили далеко не дружелюбно. Конечно, он сам виноват во многих отношениях. Так, например, он принялся скучно рассказывать свою жизнь некому почтенному академику, но тот его сразу ошеломил вопросом: «Все это мелкие детали, а вот расскажите-ка лучше, как коммунисты варят щи из пальчиков младенцев?» Алексей Спиридонович ответил, что хотя большевики и варвары, ибо запретили ему читать Чехова курсантам, но насчет щей он слышит впервые и никаких данных представить не может. Академик рассердился: «А позвольте узнать, вы какого вероисповедания?» — «Православный».— «Сословие?» — «Дворянин». Это показалось совершенно неправдоподобным, и последовала длительная насмешливая гримаса, достойная лучшей из академий.

Через несколько дней в одной эмигрантской газете было напечатано, что большевик Тишин был комиссаром чрезвычайки в Самарканде и пытал с помощью сахарных щипцов местных лавочников. Алексей Спиридонович возмутился и написал тотчас «письмо в редакцию», но, очевидно, от волнения (ибо в России, из протеста, даже начертал упраздненные буквы на обоях своей комнаты) в слове «сведение» поместил из двух «ятей» лишь одно. Прочитав это письмо, редактор окончательно уверовал в свое собственное творчество.

Алексею Спиридоновичу пришлось скрываться. Несмотря на это, он жаждал общения с честными русскими эмигрантами из группы «Час близится». Наученный опытом, против щей он не протестовал, но даже излагал различные способы их изготовления. Впрочем, эмигранты, состоявшие из демократических черносотенцев и монархических социалистов, были очень заняты и не могли уделять много времени задушевным беседам.

По утрам они выстаивали длинные панихиды по особам коронованным. Потом шли к симпатичным румынам или полякам и доказывали необходимость немедленно уничтожить всех большевиков, среди которых нет ни одного русского. Вечером, прочитав в газете, что японцы убили одного русского, шептали: «Верно, большевика»,— и умилялись. А ночью трудолюбиво ели «кавьяр рюсс» и пили шампанское за грядущее «возрождение», за великого генерала и за скромного, но честного труженика — городового.

Алексею Спиридоновичу пришлось в этом обществе туго: панихиды он, правда, любил, но японцев смертельно боялся, а на икру денег не хватало. Денег вообще не было, даже на хлеб. Тщетно он искал себе заработка и, голодая, вспоминал даже пшу. Наконец, познакомившись на улице с агентом частного сыска, он нашел место, которое хотя и обеспечивает его материально, но причиняет ему ужасные моральные терзания.

Он живет в квартире некой госпожи Диркс, в темном чуланчике, причем никто, кроме названной дамы, не знает о его существовании. Этот странный образ жизни объясняется вовсе не развращенностью госпожи Диркс, но ее чрезмерной привязанностью к семейному счастью. Ее муж весьма легкомыслен, и Алексей Спиридонович должен повсюду его сопровождать, докладывая о замеченном госпоже Диркс.

Я приведу отрывок из письма моего друга, характеризующий его душевное состояние: «...Брат мой, где ты? Я погибаю! Я не буду говорить о простом страхе, что хозяин, то есть муж хозяйки, наконец обнаружит меня, заслуженно оскорбит, побьет. Но зачем я бежал от палачей человеческого духа? Неужели, чтобы следить, не изменяет ли этот рыжий биржевик своей половине? Где же жизнь? Где святые идеалы? Поруганы, осмеяны, убиты! О, как прав был Хуренито, доказывая мне, что ничего нет, что нет даже, страшно вымолвить, человека! Он ушел в небытие, в Лету, в нирвану, а я остался. Скажи мне, что делать, зачем жить?..»

Получив это письмо, я сам заколебался и смутился. Мои первоначальные восторги немного умерились. Я начал спрашивать себя — не предаю ли я Учителя?.. Письма друзей, тяжелые воспоминания последних лет, наконец, необузданный рост культуры смущали и давили меня. Я даже подыскал в одном магазине пару сапог, похожих на те, что избавили от жизни Учителя, и написал несколько стихотворений для посмертного издания. Но быстро я собрался с силами, зная, что мне предстоит великое задание — рассказать о жизни Учителя.

Теперь я кончил эту книгу. В душе моей пустота и покой. Я вновь пережил прошедшее год за годом и восстановил побледневший было образ Учителя. Я больше не боюсь предать незабвенного Предателя. Я не убегаю трусливо от неодолимых противоречий, ими жил и дышал Хуренито. Предо мной проходят

Россия, Франция, война, революция, сытость, бунт, голод, покой. Я не спорю и не преклоняюсь. Я знаю, что много цепей, разного металла и формы, но все они — цепи, и ни к одной из них не протянется моя слабая рука.

Довольно обильная седина, частые перебои сердца, слабость утешают меня. Я миновал трудный перевал, и, может быть, недалек тот час, когда я смогу больше не просыпаться, не мыться, не обедать, не писать, даже не вспоминать. Мой долг выполнен: книга написана. Я знаю, что она оттолкнет от меня всех, кто из чрезмерной любви к литературе или по чувству сострадания еще тщился понять и оправдать меня. Какой консул теперь положит на мой паспорт визу? Какая мать семейства пустит меня за порог своего дома, где живут честные юноши и чистые девушки? Одиночество, отверженность ждут меня. В рассказе об истинных событиях, в передаче искренних чувств безжалостные Фомы увидят гнусный пасквиль, и даже имя мое станет презренным. Да будет так! Я плохо жил,— и счастливый закат был бы лишь нелепым и оскорбительным диссонансом.

Кругом меня сейчас жизнь, тихая, ровная, как бы тысячелетняя. По утрам кто-то внизу играет гаммы. Потом звонят к обеду. Я иду и ем суп, мясо с картошкой, компот. Дамы, живущие в пансионе, показывают на меня — «странный тип». Я молчу, курю трубку, немного гуляю, немного читаю адюльтерные рассказы Рони или «Теорию относительности» Эйнштейна в популярном изложении. Наконец завожу часы, кладу на ночной столик трубку и ложусь спать.

Так живу я, нехорошо живу, но не стыжусь и не отчаиваюсь. Конечно, я умру, никогда не увидев диких полей, с плясками, рыком и младенчески бессмысленным смехом наконец-то свободных людей. Но ныне я бросаю семена далекой полыни, мяты и зверобоя. Неминуемое придет, я верю в это, и всем, кто ждет его, всем братьям без Бога, без программы, без идей, голым и презираемым, любящим только ветер и скандал, я шлю мой последний поцелуй. Ура просто! гипгип ура! вив! живио! гох! эввива! банзай!

Трах-тарарах!

Июнь — июль 1921 г.

ИЗ КНИГИ

„Тринадцать трубок"

ПЕРВАЯ

На ней значилось: «Трубка системы доктора Петерсона». Конечно, она была сделана в Германии людьми, придумавшими кофе без кофеина и вино без алкоголя. По хитрому замыслу доктора Петерсона, табачный дым, проходя сквозь различные сложные спирали, должен был лишаться всех присущих ему свойств. Но, показывая трубку чопорному покупателю, приказчик магазина «Шик паризьен» вынул из нее внутренности и забыл их вложить назад. Это объяснялось, вероятно, тем, что приказчик был молод и, оценив достоинства молодой актрисы, покупавшей жокейскую кепку, не был склонен оценить труды доктора Петерсона.

Впрочем, Виссарион Александрович Доминантов, крупный сановник и гордость российской дипломатии, купивший трубку доктора Петерсона, оказался не менее рассеянным. Он забыл слова приказчика, установившего непосредственную связь между немецким изобретением и долговечностью людей, и пропажи не заметил. Трубку он решил приобрести после недавнего визита к первому советнику великобританского посольства сэру Гарольду Джемперу. Виссариону Александровичу казалось, что в тесном кругу друзей и приближенных трубка придаст его лицу особую дипломатичность; кроме того, в одном образе — «С трубкой в зубах» — было нечто английское, а Виссарион Александрович почитал все, шедшее с дальнего острова, от политики натравливания континентальных держав одной на другую до горького мармелада из апельсиновых корок. Трубку доктора Петерсона он приобрел, пренебрегая ее происхождением и внутренней организацией, исключительно из-за ее формы, напоминавшей подводную лодку. Точно такую же трубку курил и сэр Гарольд Джемпер.

К трубке Виссарион Александрович привык не сразу. Между ней и папиросами, специально изготовляемыми фабрикой Бостанжогло из легчайших сортов дюбека,

лежали вершины искуса, отделявшие жизнь дипломата от жизни простого смертного. Трубка часто гасла, горчила во рту и требовала тщательного ухода. Как все, принадлежавшее дипломату, как цвет лица его любовницы, колоратурного сопрано Кулишовой, как хвост его рысака Джемса, как маленькая пуговка его ночной пижамы,— трубка не могла просто существовать: она должна была представлять благоустройство и мощь Российской империи. Для этого Виссарион Александрович во время докладов младшего секретаря Невашеина часто скреб трубку серебряным напильником, покрывал лаком и терпеливо натирал замшей. Трубка кокетливо блестела чернью дерева и золотом кольца.

Мало-помалу Виссарион Александрович пристрастился к трубке. Он курил ее в просторном кабинете, работая над ворохом донесений, газетных вырезок, шифрованных депеш. Курил и в маленьком будуаре Кулишовой, ожидая, пока певица скинет громоздкое концертное платье и порадует суровое сердце сановника невинной детской рубашонкой с розовыми лентами. Курил, наконец, засыпая, оглядывая прошедший день — успехи и неудачи, престиж империи и флирты Кулишовой, богатство, славу и подмеченную в зеркале обильную седину. Когда день был плохой, побеждала враждебная партия фон Штейна, ставленники Виссариона Александровича в Токио или в Белграде делали промахи, управляющий его имениями сообщал о низких ценах на хлеб, Кулишова получала слишком частые подношения от придворного вьюна Чермнова,— сановник раздраженно грыз трубку, и на нежном роговом мундштуке чуть намечался след крупного зуба.

Так настало первое потрясение в жизни молоденькой и фешенебельной трубки. С утра Виссарион Александрович был раздражен плохо проведенной ночью и скверным вкусом во рту. Не дотронувшись до завтрака, морщась брезгливо, он выпил стакан боржоми. Невашеин принес несколько телеграмм и газеты. Развернув «Новое время», Виссарион Александрович замер. Его партия была против соглашения с Румынией. Когда происками фон Штейна договор все же был заключен, он надеялся на мгновенное поражение румынской армии, ибо только в этом видел залог дальнейшего укрепления своей дипломатической карьеры. И вот газета сообщила о совместной победе русских и румын. Сановник был не только расстроен, но и воз-

мущен. Годами он жил мыслью о том, что его личные успехи и благо России — одно и то же. Если бы сейчас разбили и румын и русских — это означало бы конец фон Штейна, его, Доминантова, торжество, следовательно, счастье горячо любимой империи. Так думал сановник. Так думая, он с отвращением пообедал: буше а ля рен пахли жестью, а груша пуар империаль напоминала резину. После обеда он прочел письмо управляющего о том, что урожай всюду плох, что в имении Разлучево сгорели все службы, а в Ивернях, где был лучший конский завод, начался сап. Совершенно расстроенный, Виссарион Александрович решил поехать в неурочный час к Кулишовой, послушать колоратурное сопрано и поглядеть на детскую рубашонку. Но в будуаре он нашел полный беспорядок и, заглянув в спальню, увидел отнюдь не детскую рубаху Чермнова. Приехав домой, сановник прилег и закурил трубку; болели виски; все ему было противно. Он ясно сознавал, что гибнет Россия, гибнет любовь, гибнет он сам, Виссарион Александрович Доминантов, седой, старый, никому не нужный. Хотелось плакать, но слез не было, и, хмыкнув, он только почувствовал во рту горький, отвратительный привкус.

«Какая невкусная трубка»,— подумал он и позвонил.

Вошел Невашеин, подал вечернюю почту и, почтительно осклабясь, поздравил сановника с крупной победой на фронте.

— Идиот! — отнюдь не дипломатично крикнул Виссарион Александрович, зная, что перед ним не сэр Гарольд Джемпер, а простой чиновник, и, немного отойдя, добавил:

— Возьмите эту трубку. Я ее больше не буду курить. Подношение по случаю победы. Вы можете быть довольны — это прекрасная трубка системы доктора Петерсона.

Вещь долговечнее слова. На следующее утро Николай Иванович Невашеин уже не вспоминал нанесенной ему обиды и наслаждался неожиданным подарком. Правда, он никогда до этого не курил трубки, удовлетворяясь «Сенаторскими» папиросами (высший сорт «А» — 10 штук, 6 копеек), и, закурив впервые, испытал легкий приступ тошноты. Но все, что делал Виссарион Александрович, было для Невашеина возвышенным и вожделенным. По вечерам, подобрав в кабинете

сановника старый номер английской газеты «Таймс», Невашеин шел в пивную Трехгорного завода, спрашивал бутылку портера и быстро, неуверенно поглощал моченый горох — он подсмотрел раз, как сановник, в павильоне на бегах, заказал себе портеру, но сильно сомневался в том, чтобы Доминантов стал есть низменный горох, к тому же моченый, а пить пиво, не закусывая, секретарь не мог. Затем он гордо вынимал из портфеля газету и долго ее читал, хотя по-английски понимал мало — почти исключительно названия городов и собственные имена. Иногда к нему подсаживались учитель гимназии Виренко и частный поверенный Блюм. Тогда Невашеин снисходительно цедил сквозь зубы:

— Интересы империи... достоинство... великодержавность...

Получив трубку, он сразу понял, что это много убедительней и английской газеты, и портера. Легкий след зуба сановника на роговом мундштуке умилил его почти до слез, и когда мелкий секретарский зубок попал во впадину, он увидел себя, Невашеина, богатым и всесильным — послом в Сиаме или в Абиссинии. Зная по-гимназически иностранные языки, Невашеин понимал, что быть послом в Европе он никак не может. Но в Сиаме? Ведь сиамского языка уж никто не знает!

Привыкнув к трубке, он курил ее часто: у Доминантова, разбирая почту или отдыхая после приема посетителей; в гостях у начальника канцелярии Штукина, к которому ходил исключительно ради его жены, Елены Игнатьевны; вечером у себя, на пролежанном турецком диване, гадая, пойти ли в пивную, где скверный портер, но зато дипломатическая слава, или послать старого слугу Афанасия в лавку за четвертью милой белоголовки и распить ее безо всяких стеснений, вздыхая о титуле посла в Сиаме и о воздушном бюсте Елены Прекрасной, то есть жены Штукина.

Невашеин заботился о своей внешности, мыл голову хинной водой от преждевременного полысения, обрамлял свой кадык двумя блистающими углами высочайших воротничков фасона «Лорд Грей» по восемьдесят пять копеек штука и даже припудривал веснушчатые щеки. Во-первых, он твердо решил пойти по дипломатической части и, в ожидании высокой сиамской карьеры, занять место старшего секретаря

Блохина, который, при минусе несоответствующей должности фамилии, обладал двумя плюсами: знанием языков и галантной внешностью, особым умением по-секретарски, смиренно и вместе с тем независимо, сгибаться в пояснице. Во-вторых, Невашеин, пудря веснушки, твердо надеялся стать Парисом, то есть, не вызывая войны, которая и без того имелась в изобилии повсюду, эмпирически познать степень и природу воздушности Елены, супруги Штукина. Поэтому и трубку Невашеин содержал в должном виде, счищая перочинным ножом нагар, вытирая дерево старым носком, оставшимся после давней стирки во вдовстве и служившим для многих посторонних целей. Трубка обкурилась, загорела, утратив элегантность, приобрела солидность, добротность. След зуба уже явственно обозначился. Когда сановник бранил секретаря и хвалил Блохина, когда вследствие повышения цен приходилось отказываться от фарса «Муж под душ» или от нового галстука с изумрудной искрой, когда Елена Игнатьевна, кокетничая с подпоручиком Ершовым, смеялась над кадыком и веснушками Николая Ивановича — мелкий острый зубок секретаря крепко вгрызался в роговой мундштучок.

Однажды — был понедельник, тяжелый день,— Невашеин узнал, что к празднику наградных не будет. Одной фразой зачеркнули его ботинки, жилет, новогоднюю бонбоньерку жене Штукина и многое другое, вплоть до скромной бутылки церковного вина. Никогда не следует в понедельник начинать серьезные дела. Но Невашеин, пренебрегая этой мудростью, не рассчитывая больше на придаточную силу бонбоньерки и воспользовавшись тем, что сановник отпустил его до вечера, решил наконец приступить к решительному наступлению на сердце, точнее, на бюст Елены Игнатьевны. Как он и предполагал, Штукина дома не оказалось, и все располагало к любовной неге. Дипломатически, по-доминантовски улыбаясь, стоя на коленях, он принимался подталкивать углами воротничка «Лорд Грей» руку прекрасной Елены. Нежнейшая супруга начальника канцелярии не только не оттолкнула Невашеина, но ласково пощекотала его шею и щеки. Закрыв глаза и утопая в воздушнейшем бюсте, секретарь сладостно мурлыкал. Пробуждение было не из приятных, а именно, приоткрыв глаза, Невашеин увидел мерзкую физиономию подпоручика Ершова,

искаженную едва сдерживаемым смехом, а вслед за ним беззвучно, но весьма обидно, смеялась жена Штукина. Невашеин бросился к выходу и, случайно взглянув в зеркало передней, увидел, что он глумливо обезображен — на его шее, на мужественном кадыке, меж двумя углами воротничка «Лорд Грей», был нарисован углем восклицательный знак, щеки же поверх веснушек и пудры покрыты сомнительными многоточиями.

Когда Невашеин вошел в кабинет сановника, он был раздавлен мрачными событиями дня. Из полутьмы в ответ на скрип двери раздалось только одно:

— Идиот!

Это было во второй раз за все время его службы. Но год назад он позволил себе поздравить сановника, что-то сказать, приблизиться к столу. Теперь же он был оскорблен совершенно безвинно. Потом, тогда вслед за обидой последовала трубка. Теперь Виссарион Александрович усугубил бранное слово дальнейшим:

— Убирайтесь и вызовите Блохина!

Поздно вечером Невашеин послал Афанасия за спиртом — водки давно не было. Он пил и курил трубку. Тройная горечь входила в него: сивухи, табачного дыма и злых, незабываемых обид. Как мог он — жалкий чиновник, лакей сановника, пешка — мечтать о Сиаме, о бюсте Елены, о жизни прекрасной, благоуханной, открытой для Доминантовых, для офицеров, для богатых, для красавцев, для всех, только не для того, кто в сорок четыре года остается младшим секретарем с кадыком и веснушками? Он выпил еще стакан и поморщился. Мерзость! Впрочем, мерзость во всем. Чья вина? Кого уничтожить? Невашеин перебрал всех мыслимых виновников — Доминантова, Ершова, Бога, царя, даже Штукина, но ничто не удовлетворяло его. Неожиданно всплыли в памяти старые слова, и стало ясным, что главный преступник у него во рту,— немец, выдумавший ранги и системы, сделавший так, что нельзя щелкнуть Доминантова по носу, нельзя схватить пакостницу Елену и разложить ее на паркете, ничего нельзя — и все из-за него, из-за доктора Петерсона!..

Вынув изо рта трубку, Невашеин отчаянно завопил:

— Бей немцев!

И когда вбежал испуганный Афанасий, он запустил в него ненавистной трубкой.

Утром Афанасий подал Николаю Ивановичу трубку, счастливо миновавшую его лоб. Но секретарь, дрожа от недомогания, буркнул:

— Можешь сам курить. Мне нельзя — доктора запретили...— И, при этом вспомнив что-то, уже влезая в шубу, добавил: — Хорошая трубочка. Доктора какого-то... Фамилию забыл — немец.

Афанасий поблагодарил. Оставшись один, он прежде всего подумал — зачем ему трубка? Он никогда ничего не курил, кроме папирос «Молодец», третий сорт; их держали в соседней лавчонке. Но вещь была господская, следовательно, хорошая, и Афанасий начал курить трубку, как он носил штиблеты Невашеина, слишком узкие, и допивал в праздник сливки приторной малаги, от которой его мутило.

Что же, он быстро приспособился к трубке, так же как приспособился к манишкам, к лести, к лифту и ко лжи, как сорок лет тому назад, приехав из родной деревни Чижово, приспособился к трудному Санкт-Петербургу. Трубки он не чистил, и, сначала кокетливая девица, потом благообразная дама, теперь она стала грязной бабой. Черная, она походила на грудь негритянки, и золоченое кольцо, покрывшись зеленью, больше не блестело. Но Афанасий любил ее и заботливо гладил теплое дерево, по вечерам раскуривая трубку на крыльце черного хода. Его желтые, лошадиные зубы ласково входили в пробитую ямочку.

Но трубке предстояло еще много испытаний. Правда, Афанасий не мечтал ни о победах империи, ни о месте старшего секретаря, ни о прекрасном телосложении различных ветреных особ; для этого был он слишком стар и мудр. Но все же в его сердце жила тревога — страх потерять то, чем он обладал. Четыре года Афанасий спокойно прожил у Невашеина со своей женой Глашей, уходившей на день помогать поварихе заводчика Петросолова в качестве приходящей судомойки. Но последние месяцы Невашеин стал нервничать, беспричинно ругать Афанасия, проверять его мелкие расходы, пить, буянить — словом, всячески портить жизнь старого слуги. Афанасий по случайно оброненным словам понимал, что секретарь вымещает на нем свои обиды. Знал он также, что секретаря обижает его начальник — важный сановник. Думая вечером с трубкой на крыльце, он приходил к заключению, что и сановника, вероятно, обижает царь. Но кто

обижает царя, он понять не мог и, оставляя высокие раздумья, снова отдавался страху, что обиженный кем-то Невашеин прогонит его с места. А Афанасий понимал, что тогда ему конец. Куда он пойдет, старый, больной, не знающий никаких ремесел, теперь, когда на каждое свободное место приходится десять лакеев, и все ученые, с дипломами? Второй тревогой Афанасия была Глаша. Хоть Афанасий и не знал, в чем ее попрекнуть, но может ли быть спокойным муж, когда жена на двадцать лет моложе его? И трубка жалобно скрипела в зубах Афанасия.

Настал неизбежный день. Николай Иванович вернулся со службы слишком рано, не сняв пальто, прошел в спальню и, кинувшись на диван, завопил:

— Афанасий! Вместо меня тестя Блохина назначили, вот как!..

Афанасий понял, что это и есть роковой час, но, не зная, что ответить, только виновато улыбнулся, как будто это он уволил Невашеина ради другого, со скверной фамилией и чудесной талией. Отставленный младший секретарь, увидев улыбку слуги, пришел в ярость:

— Получай расчет и убирайся! Ты мне больше не нужен!

И в последний раз, по привычке подражая Доминантову, задрав вверх остренький подбородок, он гаркнул:

— Идиот!

Афанасий кротко поплелся к господам Петросоловым, чтобы вызвать Глашу, посоветоваться, расспросить — может, кто-нибудь из тамошней прислуги знает свободное место. Но повариха Лукерья встретила Афанасия длительным фырканием и под конец разъяснила, что Глаша изволила отбыть со своим любовником, унтером Лилеевым, в город Самарканд, просили мужу кланяться, обещали письма писать. Сказав, она снова зафыркала, а с нею вместе новая судомойка, три горничных в чепчиках, кучер, конюх, мальчик, кошки, болонки — словом, весь мир смеялся над бедным Афанасием.

Он вышел, хотя идти было некуда. Он сел на скамеечку у чужих ворот и закурил трубку. Рядом с ним молоденький маляр красил забор охрой. Афанасий позавидовал ему — поет, работает, молодой, жены нет, жена только будет, а теперь он сам, если захочет,

может чужую жену увести, вот как унтер... Может в деревню уехать — там тихо. В Чижове братья Афанасия — у них ни штиблет, ни малаги, ни трубки, зато на душе покой. А ему — старому слуге — нет места, в большом Петербурге нет для него угла. Сорок лет чистил штиблеты, сдувал пыль, целовал руку, подбирал чаевые, и вот теперь, на скамье у чужих ворот, сидит, пока не прогонят. Жена ушла. Все ушли. И впервые почувствовал Афанасий горечь лакейской судьбы, горечь старого рогатого мужа, горечь старости, одиночества, нищеты, всей человеческой жизни, почувствовал глубоко в горле, на деснах, под языком, с такой силой почувствовал, что вынул трубку и несколько раз плюнул. Потом подошел к пареньку, красившему охрой забор, протянул ему трубку.

— Бери, милый! Кури на здоровье. А мне уж не годится — стар я. Да ты не бойся — она хорошая... немецкая...

Маляр — он же Федька Фарт, по паспорту Федот Ковылев — трубке удивился, честно и неподдельно, как будто с неба упала на его, Федькину, голову звезда. Бросив кисть, он сел на мостовую, стал вертеть странную вещь, понюхал мундштучок, лизнул дерево, соскреб с кольца зелень, так что оно засияло, как некогда, в счастливые доминантовские дни,— словом, с трубкой играл, как дитя, забыв, что в паспорте значилось — Федоту Ковылеву от роду двадцать два года. А наигравшись, Федька, который баловался порой козьей ножкой, набрал в кармане щепотку махорки, набил трубку, закурил и от удовольствия зажмурился.

С этого часа он больше не разлучался с трубкой. Когда он не курил, он либо жевал хлеб, либо пел. Все, что он делал, он делал хорошо. Жевал вкусно, трудолюбиво, выразительно. Пел звонким задорным голоском, забираясь высоко-высоко, словами песен пренебрегая и выводя одно: «И-и-и». Еще лучше красил. Красил все — стены и двери, церкви и лавочки, кабаки и беседки. Красил охрой, суриком, белилами, лазурью. Больше всего любил он сурик и жалел, что никто не хочет целый дом сделать густо-красным, самое большее разрешая проложить суриком тоненькую полоску. А когда он размешивал в ведерке алую краску, ему делалось беспричинно весело, как будто он выхлестал ковш вина; стоял и пел: «И-и-и», так что прохожие

оборачивались — веселый маляр! Как-то, проходя в Сестрорецке мимо дач, когда солнце садилось, Федька загляделся на небо — было оно поверх жидкой лазури, поверх облачных белил щедро покрыто царственным суриком,— и маляр не выдержал, выпустил лесенку из рук, заорал:

— Здорово работают!

Его молодые, крысиные зубы прогрызли насквозь роговой мундштук, но трубка от этого не стала хуже. Никогда Федька не жаловался на нее. Он ведь не знал, что такое престиж или карьера, и, ничем в жизни, кроме самой жизни, не обладая, был спокоен, голый, молодой, подобный птице. Часто встречался он с разными девушками и в ночной темноте целовал их, но, когда девушка, еще вчера целовавшая его, целовала другого, Федька не грыз злобно трубку и не жаловался на ее горький вкус. Вероятно, трубка мирно кончила бы свою бурную и тревожную жизнь, через год-другой прогорев, если бы не вмешалась в ее скромную судьбу сумасбродка — История. Павшей на дно и на дне нашедшей успокоение, ставшей уродливым обломком, уродливым, но любимым, трубке, называвшейся когда-то «трубкой доктора Петерсона», непостижимой волей рока, который играет веками и человеческими жизнями, идеями и домашней утварью, суждено было вновь подняться на прежние высоты. Из зубов бедного маляра она опять перешла в зубы сановника, хотя курил ее по-прежнему все тот же Федька Фарт, по паспорту Федот Ковылев.

Это странное на первый взгляд обстоятельство объясняется общеизвестными событиями, происшедшими в России в 1917 году.

Федька Фарт, молодой и веселый, пуще всего любивший задорное пение и сурик, оказался, конечно, с теми, кто хотел песнями потрясти гранитный Санкт-Петербург и суриком залить не только десяток заборов, но небо над Сестрорецком и дальше — над Индией, над Сенегалом, над двумя полюсами. Он ходил, размахивал руками, говорил бойко и громко, а когда надо было стрелять — стрелял. Как было уже сказано, все, что он делал,— он делал хорошо. Пока это относилось к жеванию хлеба, пению или закрашиванию стен лабаза, никто способностями Федьки не интересовался. Когда же он говорил, размахивал руками и стрелял, все нашли, что он прекрасный пропаган-

дист, одаренный организатор, и товарищ Федот — недавно последний — стал одним из первых. В горячее время митингов, демонстраций, уличных боев товарищ Федот не вынимал трубки из кармана. Там дожидалась она, как зерно в земле, своего вторичного рождения.

Когда исполнились сроки и товарищ Федот в бывшем великокняжеском дворце стал выслушивать доклады и принимать просителей, трубка вновь показалась на свет, черная, древняя, изъеденная, похожая на престарелую монахиню. Но встреча бывшего маляра с трубкой не была радостной — они как бы не узнали друг друга. Товарищ Федот больше ничего не пел, кроме гимнов на официальных церемониях, вытягиваясь при этом в струнку, хлеб жевал тихо и корректно, а вместо того чтобы заливать суриком стены, подписывал резолюции или мандаты. Может быть, поэтому трубка показалась ему горькой и невкусной. В несколько месяцев он познал то, на что Виссарион Александрович Доминантов положил долгие годы, а именно — считать свое дело общим. Правда, он никогда не говорил об империи, но если брала верх какая-либо враждебная ему партия, фракция или группа, он, откладывая трубку, кричал о гибнущем достоинстве Российской республики.

Ко всему, товарищ Федот влюбился в идейную девушку, в товарища Ольгу, влюбился идейно, а поэтому, когда товарищ Ольга после конца заседания уходила с товарищем Сергеем, он страдал, и зубы его попадали в старое знакомое место на роговом мундштуке.

В жаркий июльский день товарищ Федот получил телефонограмму, где говорилось, что на съезде победило течение товарища Вигова. Почти одновременно ему принесли письмо от товарища Ольги, которая извещала его, что, презирая институт брака, она все же, во имя сохранения этической чистоты, находит необходимым поставить в известность работников района о том, что начиная с 12 июля она является подругой Сергея. Слова и в телефонограмме, и в письме были сухие, иностранные, звучащие, как щелканье пишущей машинки: тезисы, декларация, обструкция, позиция, информация. Но слова спадали подобно одежде, и Федот видел: Вигов — умный, хитрый, схватил его за горло, душит, побеждает, отнимает силу, власть,

возможность подписывать, приказывать, то есть жить по-настоящему, а рядом другой — красивый, сильный, вырывает из его рук вожделенную девушку, целует, берет и ему, Федоту, не дает, да и не даст никогда. Впервые узнал он слабость, скуку, нехотение жить. И вновь трубка, умевшая быть столь сладкой в далекие дни, когда Федька красил забор белилами, лазурью и суриком, наполняла горечью человеческий рот. Он бросил ее на стол.

Вошел секретарь товарища Федота Читкес и спросил, как быть с инструкцией. Федот раздраженно взглянул на него: наверное, Читкес доволен резолюцией съезда, наверное, у него идейная жена, отдающаяся ему, и только ему, не омрачая при этом чистоты партийной этики, наверное... И даже не додумав, чем еще грешен тщедушный, чрезмерно услужливый товарищ Читкес, Федот сухо сказал:

— Дело не в инструкции, а в том, что комиссия постановила снять вас с учета и отправить на фронт.

Читкес выронил кипу бумаг и взглянул так, как глядят при подобных обстоятельствах все люди призывного возраста — товарищи, граждане, верноподданные, в империях или республиках, русские или сомалийцы.

Но товарищ Федот, с тех пор как он стал глядеть в лицо мировой Истории, перестал интересоваться человеческими лицами и, не обращая внимания на Читкеса, добавил:

— Можете идти, товарищ. Да, вот что, возьмите себе эту трубку — вам на фронте пригодится. Не смущайтесь, хорошая трубка.

Товарищ Читкес никогда не курил. Он не умел делать еще очень многое, совершенно необходимое секретарю революционного сановника товарища Федота. Самое главное, что он никак не мог научиться различать многочисленные партии, фракции, группы, ненавидевшие одна другую. От сознания своего невежества Читкес дрожал крупной дрожью, и за это Федот, герой многих боев, еще сильней презирал своего секретаря. А так как Читкес никогда не забывал о своих недостатках, то и дрожал он всегда: когда сдавал экзамены за четыре класса, когда кондуктор спрашивал у него билет, когда проходил в былое время мимо околоточного, когда был непостижимо вовлечен в толпу, открыто разгуливавшую с красными флагами, ко-

гда получал паек, когда приоткрывал дверь кабинета товарища Федота, когда ходил, сидел и даже когда спал — видел во сне экзамены, проверку документов, участки, тюрьмы, штыки, смерть.

Выйдя из кабинета начальника, Читкес прежде всего подумал, как отнестись к предмету, названному «хорошей трубкой». Может быть, надо подарить ее какому-нибудь курящему солдату? Но Читкес вспомнил, что эту трубку курил товарищ Федот, к которому не допускают просителей и который вместо подписи ставил только одно многозначительное двухмордое Ф. Очевидно, трубка была знаком благонадежности, и Читкес, обменяв последнюю теплую фуфайку, немного согревавшую его зябкое тело, на пачку табака, закурил трубку. Засим секретарь, снятый с учета, побежал по всяким учреждениям хлопотать, чтоб его не отправляли на фронт, так как он болен сердцем, легкими, почками и печенью. Он не выпускал из трясущихся зубов знака своей революционной добропорядочности — трубку, подаренную товарищем Федотом,— и так как никогда до этого дня не подносил к губам даже легкой дамской папироски, то часто забегал по дороге в глубь дворов и блевал.

Читкесу повезло, вместо фронта он попал на должность младшего комиссара тюрьмы. Давно известно, что человек привыкает ко всему. Читкес привык к роли тюремщика и даже к трубке. Проверяя утром и вечером камеры, он пытался не дрожать, но казаться величественным, как товарищ Федот, и, с трубкой в гнилых черных зубах, покрикивал на заключенных. Он полюбил трубку, и, когда она, не выдержав столь ревностной службы пяти людям и двум режимам, треснула, младший комиссар тщательно обвязал ее бечевкой.

Жизнь Читкеса отнюдь не была спокойной: по-прежнему он боялся всех и всего, а главным образом того, что тюрьма, будучи, как все люди, вещи и даже учреждения, смертной, перестанет существовать. Тогда его, Читкеса, пошлют на фронт, а фронт в представлении младшего комиссара являлся вездесущим и вечным.

Кроме того, товарищ Читкес изнывал страстью к делопроизводительнице Розочке Шип и только вследствие предельной дрожи, мешавшей ему издать сколько-нибудь человекоподобный звук, не мог поделиться с ней своими чувствами. Но каждый вечер, после про-

верки, с трубкой, придававшей ему бодрость, комиссар шел к Розочке и нес ей свой паечный сахар. Розочка весело грызла кусочки сахара и, жалея дрожавшего Читкеса, кутала его в свою вязаную кофту, чем укрепляла надежды, жившие где-то в глубине сердца младшего комиссара.

Гроза грянула нежданно — самая прозаическая гроза,— приехала инспекция и нашла непорядки. Начальник вызвал Читкеса и кратко объявил:

— Я подал заявление, чтобы вас сняли с учета.

Он ничего не сказал о фронте, но Читкес великолепно понял его. Он был уже готов снова бежать по учреждениям, доказывая болезни легких, сердца, почек и печени, но зашел перед этим в контору тюрьмы. Там лежали списки вновь привезенных арестантов. Читкес взглянул случайно и сразу увидел: «Розалия Шип». Он не выдержал и запищал:

— Как?.. Шип?..

Старший комиссар, чистивший свой револьвер, многозначительно ответил:

— Да. Шип.

И здесь Читкес понял, что теперь ему никто не сможет помочь. Он навеки неблагонадежен, и никакая трубка его не спасет.

А старший комиссар, усмехаясь, добавил:

— Любовница важного преступника.

Нет, этого Читкес не мог вынести: Розочка, его Розочка — любовница! Все смешалось — страх, ревность, отчаянье. Читкес бегал с трубкой по темному тюремному коридору, корчась и дрожа так, что приходилось обеими руками поддерживать трубку. Во рту его была такая горечь, как будто там уже разлагался крохотный Читкес, младший комиссар тюрьмы, снятый с учета, заподозренный и навеки потерявший Розочку Шип.

Читкес быстро открыл дверь камеры шестьдесят второй, где сидел высокий, худой, давно не бритый арестант, которого со дня на день должны были расстрелять, и сунул ему трубку:

— Берите. Ну, гражданин!..

И хотя дрожал он, Читкес, а не заключенный, комиссар все же нашел необходимым успокоить его:

— Вы не бойтесь... Это только трубка.

В камере шестьдесят второй находился бывший сановник империи Виссарион Александрович Доминан-

тов. Он взял из рук комиссара вещь, мало напоминавшую трубку. Изгрызенный роговой мундштучок походил скорее на обглоданную собакой кость. Веревка еле держала расколовшееся дерево. Кольца вовсе не было. Прогоревшие края черной узорной бахромой окаймляли трубку. Безусловно, доктор Петерсон, увидавши эту скверную головешку, не признал бы в ней даже останков своего прекрасного изобретения, патентованного в различных странах.

Но есть великие и незаметные приметы сердца. Взяв в зубы трубку, арестант что-то вспомнил и улыбнулся. Через несколько дней, стерев толстый налет гари и пыли, отыскав на левом боку надпись, свидетельствующую о том, что это именно трубка «системы доктора Петерсона», он ничуть не удивился — в первую же минуту он опознал свою былую подругу. Вместе с ней пришли воспоминания. Мирно и беззлобно думал Виссарион Александрович о далеких днях — об империи и о колоратурном сопрано, о хитром враге фон Штейне и о счастливом сопернике Чермнове. Думал с нежной грустью о пятидесяти годах своей шумной, суетной, такой великолепной и такой жалкой жизни. Думал еще о том, что ему предстоит,— о смерти, думал без страха и без ропота. Думая, он курил трубку, и, набитая какой-то трухой, она казалась ему необычайно сладкой. Больше не было империи, престиж которой сановник Доминантов должен был ограждать. В служебной карьере оставался лишь один непройденный этап — смерть у тюремной стены. Певица Кулишова, увидев теперь эти поросшие седой мочалкой некогда холеные щеки, не соизволила бы даже уронить одну мелкую трель своего колоратурного сопрано. Уже никто не мог его обидеть и никто не мог ему изменить. Он — арестант номер шестьдесят второй, бывшая гордость Российской империи, в конце своей жизни так же радостно курил трубку, как курил ее когда-то маляр Федька Фарт, молодой и вольный, начинавший жить. Доминантов курил ее до того вечера, когда все небо было в огне и золоте, как будто поверх жидкой лазури, поверх облачных белил кто-то покрыл его царственным суриком, и когда в коридоре раздался отчетливый голос:

— Номер шестьдесят второй!

Я нашел эту трубку в камере Внутренней тюрьмы, где находился осенью 1920 года. Я ее никогда не

курю — тщетно пытаться в описанный круг ввести новую жизнь. Я только гляжу на следы стольких зубов и думаю, кто же был виноват в ее неизменной горечи: приказчик магазина «Шик паризьен», заглядевшийся на хорошенькую покупательницу и поэтому забывший вложить в трубку хитрые приспособления доктора Петерсона, или человеческие страсти, которые мучили непохожих друг на друга людей, бравших трубку с надеждой и откидывавших ее с отчаяньем?..

ВТОРАЯ

Есть много прекрасных городов — всех прекрасней Париж, в нем смеются беспечные женщины, под каштанами франты пьют рубиновые настойки, и тысячи огней роятся на зеркальном аспиде просторных площадей.

Каменщик Луи Ру родился в Париже. Он помнил июньские дни 1848 года. Ему тогда было семь лет, и он хотел есть. Как вороненок, он молча раскрывал рот и ждал, напрасно ждал, — у его отца Жана Ру не было хлеба. У него было только ружье, а ружье нельзя было съесть. Луи помнил летнее утро, когда отец чистил свое ружье, а мать плакала, вытирая лицо передником. Луи побежал вслед за отцом — он думал, что отец с вычищенным ружьем застрелит булочника и возьмет себе самый большой хлеб, больше Луи, хлеб — с дом. Но отец встретился с другими людьми, у которых тоже были ружья. Они начали вместе петь и кричать: «Хлеба!»

Луи ждал, что в ответ на такие чудесные песни из окон посыплются булки, рогалики, лепешки. Но вместо этого раздался сильный шум и посыпались пули. Один из людей, кричавший: «Хлеба!», крикнул: «Больно!» — и упал. Тогда отец и другие люди стали делать непонятные вещи — они повалили две скамейки, притащили из соседнего двора бочонок, сломанный стол и даже большой курятник. Все это они положили посередине улицы, а сами легли на землю. Луи понял, что взрослые люди играют в прятки. Потом они стреляли из ружей, и в них тоже стреляли. А потом пришли другие люди. У них также были ружья, но они весело улыбались, на их шапках блестели красивые кокарды, и все

называли их «гвардейцами». Эти люди взяли отца и повели его по бульвару Святого Мартына. Луи думал, что веселые гвардейцы накормят отца, и пошел за ними, хотя было уже поздно. На бульваре смеялись женщины, под каштанами франты пили рубиновые настойки, и тысячи людей роились на аспиде зеркального тротуара. Возле ворот Святого Мартына одна из беспечных женщин, сидевшая в кофейной, закричала гвардейцам:

— Зачем вы ведете его так далеко? Он может и здесь получить свою порцию...

Луи подбежал к смеявшейся женщине и молча, как вороненок, раскрыл свой рот. Один из гвардейцев взял ружье и снова выстрелил. Отец закричал и упал, а женщина смеялась. Луи подбежал к отцу, вцепился в его ноги, еще подскакивавшие, как будто отец лежа хотел идти, и начал визжать.

Тогда женщина сказала:

— Застрелите и щенка!..

Но франт, пивший за соседним столиком рубиновую настойку, возразил:

— Кто же тогда будет работать?

И Луи остался. За грозным июнем пришел тихий июль, больше никто не пел и никто не стрелял. Луи вырос и оправдал доверие доброго франта. Отец Жан Ру был каменщиком, и каменщиком стал Ру Луи. В широких бархатных штанах и синей блузе он строил дома, строил летом и зимой. Прекрасный Париж хотел стать еще прекрасней, и Луи был там, где прокладывались новые улицы,— площадь лучистой Звезды, широкие бульвары Османа и Малерба, обсаженные каштанами, парадный проспект Оперы со строениями, еще покрытыми лесами, куда нетерпеливые торговцы уже свозили свои диковины — меха, кружева и ценные каменья. Он строил театры и лавки, кофейни и банки, строил прекрасные дома, чтобы беспечные женщины, когда на улице дует ветер с Ла-Манша и в рабочих мансардах тело цепенеет от ноябрьских туманов, могли беспечно улыбаться, строил бары, чтобы франты не переставали в темные беззвездные ночи пить свои рубиновые настойки. Подымая тяжелые камни, он строил легчайший покров города, прекраснейшего из всех городов — Парижа.

Среди тысяч блузников был один по имени Луи Ру, в бархатных штанах, припудренных известкой,

в широкой плоской шляпе, с глиняной трубкой в зубах, и, как тысячи других, он честно трудился над благолепием Второй империи.

Он строил чудесные дома, а сам днем стоял на лесах, ночью же лежал в зловонной каморке на улице Черной вдовы, в предместье Святого Антония. Каморка пахла известкой, потом, дешевым табаком, дом пах кошками и нестираным бельем, а улица Черной вдовы, как все улицы предместья Святого Антония, пахла салом жаровен, на которых торговцы жарили картошку, пресным запахом мясных, с лиловыми тушами конины, селедками, отбросами выгребных ям и дымом печурок. Но ведь не за улицу Черной вдовы, а за широкие бульвары, благоухающие ландышами, мандаринами и парфюмерными сокровищами улицы Мира, за эти бульвары и за лучистую Звезду, где днем на лесах качались блузники, прозван Париж прекраснейшим из всех городов.

Луи Ру строил кофейни и бары, он носил камни для «Кофейни регентства», излюбленной шахматными игроками, для «Английской кофейни», где встречались снобы, владельцы скаковых рысаков и знатные иностранцы, для таверны «Мадрид», собиравшей в своих стенах актеров двадцати различных театров, и для многих других достойных сооружений. Но никогда Луи Ру, со дня смерти своего отца, не подходил близко к уже достроенным кофейням и ни разу не пробовал рубиновых настоек. Когда он получал от подрядчика несколько маленьких белых монет, эти монеты брал старый кабатчик на улице Черной вдовы, вместо них он давал Луи несколько больших черных монет и наливал в бокал мутную жидкость. Луи залпом выпивал абсент и шел спать в свою каморку.

Когда же не было ни белых, ни темных монет, ни абсента, ни хлеба, ни работы, Луи, набрав в кармане щепотку табаку или отыскав на улице недокуренную сигарету, набивал свою глиняную трубку и с ней шагал по улицам предместья Святого Антония. Он не пел и не кричал: «Хлеба!», как это сделал однажды его отец Жан Ру, потому что у него не было ни ружья, чтобы стрелять, ни сына, раскрывающего рот, подобно вороненку.

Луи Ру строил дома, чтобы женщины Парижа могли беспечно смеяться, но, слыша их смех, он испуганно сторонился — так смеялась однажды женщина в кофей-

не на бульваре Святого Мартына, когда Жан Ру лежал на мостовой, еще пытаясь лежа идти. До двадцати пяти лет Луи не видал вблизи себя молодой женщины. Когда же ему исполнилось двадцать пять лет и он переехал из одной мансарды улицы Черной вдовы в другую, с ним случилось то, что случается рано или поздно со всеми людьми. В соседней мансарде жила молодая поденщица Жюльетта. Луи встретился вечером с Жюльеттой на узкой винтовой лестнице, зашел к ней, чтобы взять спички, так как его кремень стерся и не давал огня, а зайдя — вышел лишь под утро. На следующий день Жюльетта перенесла две рубашки, чашку и щетку в мансарду Луи и стала его женой, а год спустя в тесной мансарде появился новый жилец, которого записали в мэрии Полем Марией Ру.

Так узнал Луи женщину, но в отличие от многих других, которыми справедливо гордится прекрасный Париж, Жюльетта никогда не смеялась беспечно, хотя Луи Ру ее крепко любил, как может любить каменщик, подымающий тяжелые камни и строящий прекрасные дома. Вероятно, она никогда не смеялась потому, что жила на улице Черной вдовы, где только однажды беспечно смеялась старая прачка Мари, когда ее везли в больницу для умалишенных. Вероятно, она не смеялась еще потому, что у нее были только две рубашки и Луи, у которого часто не было ни белых, ни темных монет, угрюмо бродивший с трубкой по улицам предместья Святого Антония, не мог ей дать хотя бы одну желтую монету на новое платье.

Весной 1869 года, когда Луи Ру было двадцать восемь лет, а сыну его Полю два года, Жюльетта взяла две рубашки, чашку и щетку и переехала в квартиру мясника, торговавшего конским мясом на улице Черной вдовы. Она оставила мужу Поля, так как мясник был человеком нервным и, любя молодых женщин, не любил детей. Луи взял сына, покачал его, чтоб он не плакал, покачал неумело — умел подымать камни, но не детей, и пошел с трубкой в зубах по улицам предместья Святого Антония. Он крепко любил Жюльетту, но понимал, что она поступила правильно,— у мясника много желтых монет, он может даже переехать на другую улицу, и с ним Жюльетта начнет беспечно смеяться. Он вспомнил, что отец его Жан, уйдя в июньское утро с вычищенным ружьем, сказал матери Луи, которая плакала:

— Я должен идти, а ты должна меня удерживать. Петух ищет высокого шестка, корабль — открытого моря, женщина — спокойной жизни.

Вспомнив слова отца, Луи еще раз подумал, что он был прав, удерживая Жюльетту, но Жюльетта была права, уходя от него к богатому мяснику.

Потом Луи снова строил дома и нянчил сына. Но вскоре настала война, и злые пруссаки окружили Париж. Больше никто не хотел строить домов, и леса неоконченных построек пустовали. Ядра прусских пушек, падая, разрушали многие здания прекрасного Парижа, над которыми трудились Луи Ру и другие каменщики. У Луи не было работы, не было хлеба, а трехгодовалый Поль уже умел молча раскрывать свой рот, как вороненок. Тогда Луи дали ружье. Взяв его, он не пошел петь и кричать: «Хлеба!», но стал, как многие тысячи каменщиков, плотников и кузнецов, защищать прекраснейший из всех городов, Париж, от злых пруссаков. Маленького Поля приютила добрая женщина, владелица зеленной лавки, госпожа Моно́. Луи Ру вместе с другими блузниками, в зимнюю стужу, босой, у форта Святого Винценсия подкатывал ядра к пушке, и пушка стреляла в злых пруссаков. Он долгие дни ничего не ел — в Париже был голод. Он отморозил себе ноги — в зиму осады стояли невиданные холода. Прусские ядра падали на форт Святого Винценсия, и блузников становилось все меньше, но Луи Ру не покидал своего места возле маленькой пушки: он защищал Париж. И прекраснейший из городов стоил такой защиты. Несмотря на голод и стужу, роились огни бульваров Итальянского и Капуцинов, хватало рубиновых настоек для франтов, и не сходила беспечная улыбка с женских лиц.

Луи Ру знал, что больше нет императора и что теперь в Париже Республика. Подкатывая ядра к пушке, он не мог задуматься над тем, что такое «республика», но блузники, приходившие из Парижа, говорили, что кофейни бульваров, как прежде, полны франтами и беспечными женщинами. Луи Ру, слушая их злое бормотание, соображал, что в Париже ничего не изменилось, что Республика находится не на улице Черной вдовы, а на широких проспектах лучистой Звезды, и что, когда каменщик отгонит пруссаков, маленький Поль будет снова открывать свой рот. Луи Ру знал это, но он не покидал своего места у пушки, и пруссаки не могли войти в город Париж.

Но в одно утро ему приказали покинуть пушку и вернуться на улицу Черной вдовы. Люди, которых звали «Республика» и которые, наверное, были франтами или беспечными женщинами, впустили злых пруссаков в прекрасный Париж. С трубкой в зубах угрюмый Луи Ру ходил по улицам предместья Святого Антония.

Пруссаки пришли и ушли, но никто не строил домов. Поль, как вороненок, раскрывал свой рот, и Луи Ру начал чистить ружье. Тогда на стенах был расклеен грозный приказ, чтобы блузники отдали свои ружья — франты и беспечные женщины, которых звали «Республика», помнили июньские дни года 48-го.

Луи Ру не хотел отдать свое ружье, а с ним вместе все блузники предместья Святого Антония и многих других предместий. Они вышли на улицы с ружьями и стреляли. Это было в теплый вечер, когда в Париже едва начиналась весна.

На следующий день Луи Ру увидел, как по улицам тянулись нарядные кареты, развалистые экипажи, фургоны и телеги. На телегах лежало всякое добро, а в каретах сидели люди, которых Луи привык видеть в кофейнях Больших бульваров или в Булонском лесу. Здесь были крохотные генералы в малиновых кепи с грозно свисающими усами, молодые женщины в широких юбках, обрамленных кружевами, обрюзгшие аббаты в фиолетовых сутанах, старые франты, блиставшие вороньими, песочными и рыжими цилиндрами, молодые офицеры, никогда не бывшие ни у форта Святого Винценсия, ни у других фортов, важные и лысые лакеи, собачки с бантиками на гладко причесанной, шелковистой шерсти и даже крикливые попугаи. Все они спешили к Версальской заставе. И когда Луи Ру вечером пошел на площадь Оперы, он увидел опустевшие кофейни, где франты не пили больше рубиновых настоек, и заколоченные магазины, возле которых уже не смеялись беспечные женщины. Люди из кварталов Елисейских полей, Оперы и Святого Жермена, раздосадованные блузниками, не хотевшими отдать своих ружей, покинули прекрасный Париж, и аспидные зеркала тротуаров, не отражая погасших огней, грустно чернели.

Луи Ру увидел, что «Республика» уехала в каретах и в фургонах. Он спросил других блузников, кто остался вместо нее,— ему ответили: «Парижская комму-

на», и Луи понял, что Парижская коммуна живет где-то недалеко от улицы Черной вдовы.

Но франты и женщины, покинувшие Париж, не хотели забыть прекраснейший из всех городов. Они не хотели отдать его каменщикам, плотникам и кузнецам. Снова ядра пушек стали разрушать дома, теперь их слали не злые пруссаки, а добрые завсегдатаи кофеен «Английская» и других. И Луи понял, что ему надо вернуться на свое старое место у форта Святого Винценсия. Но владелица зеленной лавки, госпожа Моно́, была не только доброй женщиной, а и доброй католичкой. Она отказалась пустить в свой дом сына одного из безбожников, убивших епископа Парижского. Тогда Луи Ру взял трубку в зубы, а своего сына Поля на плечи и пошел к форту Святого Винценсия. Он подкатывал ядра к пушке, а Поль играл пустыми гильзами. Ночью мальчик спал в доме сторожа водокачки при форте Святого Винценсия. Сторож подарил Полю новенькую глиняную трубку, точь-в-точь такую же, какую курил Луи Ру, и кусочек мыла. Теперь Поль, когда ему надоедало слушать выстрелы и глядеть на плюющуюся ядрами пушку, мог пускать мыльные пузыри. Пузыри были разных цветов — голубые, розовые и лиловые. Они походили на шарики, которые покупали нарядным мальчикам в Тюильрийском саду франты и беспечные женщины. Правда, пузыри сына блузника жили одно мгновение, а шарики детей из квартала Елисейских полей держались целый день, крепко привязанные, но и те и другие были прекрасны, но и те и другие быстро умирали. Пуская из глиняной трубки мыльные пузыри, Поль забывал раскрывать свой рот и ждать куска хлеба. Подходя к людям, которых все называли «коммунарами» и среди которых находился Луи Ру, он важно сжимал в зубах пустую трубку, подражая своему отцу. И люди, на минуту забывая о пушке, ласково говорили Полю:

— Ты настоящий коммунар.

Но у блузников было мало пушек и мало ядер, и самих блузников было мало. А люди, покинувшие Париж и жившие теперь в бывшей резиденции королей — в Версале, подвозили каждый день новых солдат — сыновей скудоумных крестьян Франции и новые пушки, подаренные им злыми пруссаками. Они все ближе и ближе подходили к валам, окружавшим город Париж. Уже многие форты были в их руках, и больше

никто не приходил на смену убитым пушкарям, вместе с Луи Ру защищавшим форт Святого Винценсия. Каменщик теперь сам подкатывал ядра, сам заряжал пушку, сам стрелял, и ему помогали только два уцелевших блузника.

В бывшей резиденции королей Франции царило веселье. Открытые наспех дощатые кофейни не могли вместить всех желавших рубиновых настоек. Аббаты в фиолетовых сутанах служили пышные молебствия. Поглаживая грозно свисающие усы, генералы весело беседовали с наезжавшими прусскими офицерами. И лысые лакеи уже возились над господскими чемоданами, готовясь к возвращению в прекраснейший из всех городов. Великолепный парк, построенный на костях двадцати тысяч работников, день и ночь копавших землю, рубивших просеки, осушавших болота, чтобы не опоздать к сроку, назначенному Королем-Солнцем, был украшен флагами в честь победы. Днем медные трубачи надували свои щеки, каменные тритоны девяти больших и сорока малых фонтанов проливали слезы лицемерия, а ночью, когда в обескровленном Париже притушенные огни не роились на аспиде площадей, сверкали среди листвы торжествующие вензеля плошек.

Лейтенант национальной армии Франсуа д'Эмоньян привез своей невесте Габриель де Бонивэ букет из нежных лилий, свидетельствовавший о благородстве и невинности его чувств. Лилии были вставлены в золотой портбукет, украшенный сапфирами и купленный в Версале у ювелира с улицы Мира, успевшего в первый день мятежа вывезти свои драгоценности. Букет был поднесен также в ознаменование победы — Франсуа д'Эмоньян приехал на день с парижского фронта. Он рассказал невесте, что инсургенты разбиты. Завтра его солдаты возьмут форт Святого Винценсия и вступят в Париж.

— Когда начнется сезон в Опере? — спросила Габриель.

После этого они предались любовному щебетанью, вполне естественному между героем-женихом, прибывшим с фронта, и невестой, вышивавшей для него атласный кисет. В минуту особой нежности, сжимая рукой участника трудного похода лиф Габриели цвета абрикоса, Франсуа сказал:

— Моя милая, ты не знаешь, до чего жестоки эти коммунары! Я в бинокль видел, как у форта Святого

Винценсия маленький мальчик стреляет из пушки. И представь себе, этот крохотный Нерон уже курит трубку!..

— Но вы ведь их всех убьете, вместе с детьми,— прощебетала Габриель, и грудь ее сильнее заходила под рукой участника похода.

Франсуа д'Эмоньян знал, что он говорил. На следующее утро солдаты его полка получили приказ занять форт Святого Винценсия. Луи Ру с двумя уцелевшими блузниками стрелял в солдат. Тогда Франсуа д'Эмоньян велел выкинуть белый флаг, и Луи Ру, который слыхал о том, что белый флаг означает мир, перестал стрелять. Он подумал, что солдаты пожалели прекраснейший из городов и хотят наконец помириться с Парижской коммуной. Три блузника, улыбаясь и куря трубки, ждали солдат, а маленький Поль, у которого больше не было мыла, чтобы пускать пузыри, подражая отцу, держал во рту трубку и тоже улыбался. А когда солдаты подошли вплотную к форту Святого Винценсия, Франсуа д'Эмоньян велел трем из них, лучшим стрелкам горной Савойи, убить трех мятежников. Маленького коммунара он хотел взять живьем, чтобы показать своей невесте.

Горцы Савойи умели стрелять, и, войдя наконец в форт Святого Винценсия, солдаты увидели трех людей с трубками, лежавшими возле пушки. Солдаты видали много убитых людей и не удивились. Но, увидя на пушке маленького мальчика с трубкой, они растерялись и помянули: одни святого Иисуса, другие — тысячу чертей.

— Ты откуда взялся, мерзкий клоп? — спросил один из савойцев.

— Я настоящий коммунар,— улыбаясь, ответил Поль Ру.

Солдаты хотели приколоть его штыками, но капрал сказал, что капитан Франсуа д'Эмоньян приказал доставить маленького коммунара в один из одиннадцати пунктов, куда сгоняли всех взятых в плен.

— Сколько он наших убил, этакий ангелочек! — ворчали солдаты, подталкивая Поля прикладами. А маленький Поль, который никогда не убивал, а только пускал из трубки мыльные пузыри, не понимал, отчего это люди бранят и обижают его.

Пленника-инсургента Поля Ру, которому было четыре года от роду, солдаты национальной армии пове-

ли в завоеванный Париж. Еще в северных предместьях отстреливались, погибая, блузники, а в кварталах Елисейских полей, Оперы и в новом квартале лучистой Звезды люди уже веселились. Был лучший месяц — май, цвели каштаны широких бульваров, а под ними, вокруг мраморных столиков кофеен, франты пили рубиновые настойки и женщины беспечно улыбались. Когда мимо них проводили крохотного коммунара, они кричали, чтобы им выдали его. Но капрал помнил приказ капитана и охранял Поля. Зато им отдавали других пленных — мужчин и женщин. Они плевали в них, били их изящными палочками, а утомившись, закалывали инсургентов штыком, взятым для этого у проходившего мимо солдата.

Поля Ру привели в Люксембургский сад. Там, перед дворцом, был отгорожен большой участок, куда загоняли пленных коммунаров. Поль важно ходил меж ними со своей трубкой и, желая утешить некоторых женщин, горько плакавших, говорил:

— Я умею пускать мыльные пузыри. Мой отец Луи Ру курил трубку и стрелял из пушки. Я настоящий коммунар.

Но женщины, у которых остались где-то в предместье Святого Антония дети, может быть тоже любившие пускать пузыри, слушая Поля, еще горше плакали.

Тогда Поль сел на траву и начал думать о пузырях, какие они были красивые — голубые, розовые и лиловые. А так как он не умел долго думать и так как путь из форта Святого Винценсия до Люксембургского сада был длинным, Поль скоро уснул, не выпуская из руки своей трубки.

Пока он спал, два рысака везли по Версальскому шоссе легкое ландо. Это Франсуа д'Эмоньян вез свою невесту Габриель де Бонивэ в прекрасный Париж. И никогда Габриель де Бонивэ не была столь прекрасна, как в этот день. Тонкий овал ее лица напоминал портреты старых флорентийских мастеров. На ней было платье лимонного цвета с кружевами, сплетенными в монастыре Малин. Крохотный зонтик охранял ее матовую кожу цвета лепестков яблони от прямых лучей майского солнца. Воистину она была прекраснейшей женщиной Парижа, и, зная это, она беспечно улыбалась.

Въехав в город, Франсуа д'Эмоньян подозвал солдата своего полка и спросил его, где помещается

маленький пленник из форта Святого Винценсия. Когда же влюбленные вошли в Люксембургский сад и увидели старые каштаны в цвету, плющ над фонтаном Медичи и черных дроздов, прыгавших по аллеям, сердце Габриели де Бонивэ переполнилось нежностью, и, сжимая руку жениха, она пролепетала:

— Мой милый, как прекрасно жить!..

Пленные, из числа которых каждый час кого-нибудь уводили на расстрел, встретили галуны капитана с ужасом — всякий думал, что наступил его черед. Но Франсуа д'Эмоньян не обратил на них внимания, он искал маленького коммунара. Найдя его спящим, он легким пинком его разбудил. Мальчик, проснувшись, сначала расплакался, но потом, увидев веселое лицо Габриели, непохожее на грустные лица других женщин, окружавших его, взял в рот свою трубку, улыбнулся и сказал:

— Я — настоящий коммунар.

Габриель, удовлетворенная, промолвила:

— Действительно, такой маленький!.. Я думаю, что они рождаются убийцами, надо истребить всех, даже только что родившихся...

— Теперь ты поглядела, можно его прикончить,— сказал Франсуа и подозвал солдата.

Но Габриель попросила его немного подождать. Ей хотелось продлить усладу этого легкого и беспечного дня. Она вспомнила, что, гуляя однажды во время ярмарки в Булонском лесу, видела барак с подвешенными глиняными трубками; некоторые из них быстро вертелись. Молодые люди стреляли из ружей в глиняные трубки.

Хотя Габриель де Бонивэ была из хорошего дворянского рода, она любила простонародные развлечения и, вспомнив о ярмарочной забаве, попросила жениха:

— Я хочу научиться стрелять. Жена боевого офицера национальной армии должна уметь держать в руках ружье. Позволь мне попытаться попасть в трубку этого маленького палача.

Франсуа д'Эмоньян никогда не отказывал ни в чем своей невесте. Он недавно подарил ей жемчужное ожерелье, стоившее тридцать тысяч франков. Мог ли он отказать ей в этом невинном развлечении? Он взял у солдата ружье и подал его невесте.

Увидев девушку с ружьем, пленные разбежались и столпились в дальнем углу отгороженного участка.

Только Поль спокойно стоял с трубкой и улыбался. Габриель хотела попасть в двигающуюся трубку, и, целясь, она сказала мальчику:

— Беги же! Я буду стрелять!..

Но Поль часто видел, как люди стреляли из ружей, и поэтому продолжал спокойно стоять на месте. Тогда Габриель в нетерпении выстрелила, и так как она стреляла впервые, вполне простителен ее промах.

— Моя милая,— сказал Франсуа д'Эмоньян,— вы гораздо лучше пронзаете сердца стрелами, нежели глиняные трубки пулями. Глядите, вы убили этого гаденыша, а трубка осталась невредимой.

Габриель де Бонивэ ничего не ответила. Глядя на небольшое красное пятнышко, она чаще задышала и, прижавшись крепче к Франсуа, предложила вернуться домой, чувствуя, что ей необходимы томные ласки жениха.

Поль Ру, живший на земле четыре года и больше всего на свете любивший пускать из глиняной трубки мыльные пузыри, лежал неподвижный.

Недавно я встретился в Брюсселе со старым коммунаром Пьером Лотреком. Я подружился с ним, и одинокий старик подарил мне свое единственное достояние — глиняную трубку, из которой пятьдесят лет тому назад маленький Поль Ру пускал мыльные пузыри. В майский день, когда четырехлетний инсургент был убит Габриелью де Бонивэ, Пьер Лотрек находился в загоне Люксембургского сада. Почти всех из числа бывших там версальцы расстреляли. Пьер Лотрек уцелел потому, что какие-то франты сообразили, что прекрасному Парижу, который захочет стать еще прекрасней, понадобятся каменщики, плотники и кузнецы. Пьер Лотрек был сослан на пять лет, он бежал из Кайенны в Бельгию и через все мытарства пронес трубку, подобранную у трупа Поля Ру. Он дал ее мне и рассказал все, написанное мною.

Я часто прикасаюсь к ней сухими от злобы губами. В ней след дыхания нежного и еще невинного, может быть, след лопнувших давно мыльных пузырей. Но эта игрушка маленького Поля Ру, убитого прекраснейшей из женщин, Габриелью де Бонивэ, прекраснейшего из городов, Парижа,— говорит мне о великой ненависти. Припадая к ней, я молюсь об одном — увидев белый

флаг, не опустить ружья, как это сделал бедный Луи Ру, и ради всей радости жизни не предать форта Святого Винценсия, на котором еще держатся три блузника и пускающий мыльные пузыри младенец.

ТРЕТЬЯ

Когда ослу говорят, что впереди ночлег, а позади овраг, осел ревет и поворачивается назад. На то он осел. А кроме ослов, никто против истин явных и вечных возражать не станет. Когда салоникский старьевщик Иошуа попросил у меня за старую трубку из красной левантской глины с жасминовым чубуком и янтарным наконечником две лиры, я смутился: ведь в табачной лавке такая же трубка, чистенькая, новая, без трещин, стоила всего два пиастра. Но Иошуа сказал мне:

— Конечно, лира не пиастр, но и трубка Иошуи — не новая трубка. Все, созданное для забавы глупых, старея, портится и дешевеет. Все, созданное для услады мудрых, с годами растет в цене. За молодую девушку франтик платит двадцать пиастров, а старой потаскухе он не даст и чашки кофе. Но великий Маймонид в десять лет был ребенком среди других детей, а когда ему исполнилось пятьдесят лет, все ученые мужи Европы, Азии и Африки толпились в сенях его дома, ожидая, пока он выронит изо рта слово, равное полновесному червонцу. Я прошу у тебя за трубку две лиры, ибо каждый день я ее семь раз курил, кроме дня субботнего, когда не курил вовсе. И в первый раз я ее закурил после смерти моего незабвенного отца Элеазара бен Элиа, мне было тогда восемнадцать лет, а теперь мне шестьдесят восемь. Разве пятьдесят лет работы Иошуи не стоят двух лир?

Я не уподобился ослу и не стал возражать против истины. Я дал Иошуе две лиры и поблагодарил его от всей души за достойное наставление. Это так растрогало старого старьевщика, что он попросил меня зайти в дом, усадил в покойное кресло между бабушкой, давно разбитой параличом, и правнуком, восседавшим на ночном горшке, угостил сразу всей сладостью и горечью евреев, а именно — редькой в меду, и продолжил свои поучения, может быть, из природного прозе-

литизма, а может быть, в надежде получить и за них добрые турецкие лиры.

Я услышал много высоких абстрактных истин и мелких практических советов. Я узнал, что, когда рождается кто-либо, надо радоваться, ибо жизнь лучше смерти, а когда кто-либо умирает, огорчаться тоже не следует, ибо смерть лучше жизни. Я узнал также, что, купив меховую шапку, лучше всего побрызгать ее лавандовой настойкой, чтобы покойный бобер не испытал посмертного полысения, и что, скушав много пирожков на бараньем сале, надлежит закусить их лакричником и неоднократно мягко потереть свой живот справа налево, дабы избавиться от изжоги. Я узнал еще много иного, хотя и не вошедшего ни в Талмуд, ни в Агаду, но необходимого каждому еврею, желающему всесторонне воспитать своих сыновей. Со временем я, вероятно, издам эти поучения салоникского старьевщика Иошуи, пока же ограничусь изложением одной истории, тесно связанной с моим приобретением,— истории о том, как и почему юный Иошуа начал курить трубку из красной левантской глины с жасминовым чубуком и янтарным наконечником. Я передам эту историю во всей ее красноречивой простоте. Мудрость древнего народа в ней сочетается с его неуемной страстностью, принесенной из знойной Ханаанской земли в степенные и умеренные страны рассеяния. Я знаю, что она покажется многим кощунственной и что, пожалуй, иные евреи станут даже оспаривать, что я действительно обрезанный еврей, несмотря на всю очевидность этого. Но в истории трубки Иошуи скрыта под грубой оболочкой благоуханная истина, а против истины, как я уже сказал, возражают лишь ослы.

Пятьдесят лет тому назад престарелый Элеазар бен Элиа заболел несварением желудка. Вероятно, за свою жизнь он съел немало пирожков на бараньем сале, и так как сыновья отцов не учат, тем паче мертвых, то и Иошуа, узнавший много позднее о целительных свойствах лакричника, в те дни никак не мог облегчить страдания отца. Почувствовав приближение конца, Элеазар бен Элиа собрал вокруг своего ложа четырех сыновей: Иегуду, Лейбу, Ицхока и Иошуу. Кроме четырех сыновей, у Элеазара бен Элиа были еще четыре дочери, но он не призвал их, во-первых, потому, что все они были замужем, во-вторых,

потому, что женщине незачем присутствовать там, где один мужчина поучает другого. А именно для мудрых наставлений собрал Элеазар своих сыновей.

Прежде всего он обратился ко всем четырем с проникновенным вступлением: «Суета сует, все суета и томление духа», но так как это было отнюдь не ново и все четверо в свое время в школе за легкое искажение приведенного текста ощущали прикосновения длани учителя к пухлым детским щечкам, то, услыхав знакомые слова, они нисколько не изумились, а терпеливо стали ждать дальнейшего. Отец попытался подкрепить мысль Екклезиаста опытом своей долгой и тягостной жизни. За семьдесят пять лет он познал суетность всех желаний и заклинал сыновей отгонять от себя всяческие вожделения. Жизнь, по его словам, была подобна бабочке: прекрасная издалека, пойманная, она линяет и марает пальцы человека своей жалкой пыльцой. Мечтать о чем-либо — значит обладать многим, получить что-либо — значит тотчас все потерять. Но и эти глубокие истины показались сыновьям похожими на нечто, много раз слышанное между библейской дланью учителя и освежающими розгами, поэтому они почтительно попросили отца перейти к сути дела. Тогда Элеазар бен Элиа подозвал к себе старшего сына Иегуду.

— Когда я был молод, как ты, я вздыхал о любви. В синагоге, вместо того чтобы честно молиться, я задирал голову вверх и глядел на женщин, напоминавших ласточек, щебечущих под крышей дома. Однажды, проходя мимо турецкой бани, я услышал звук поцелуя и нашел его более прекрасным, нежели напев молитв утренних или вечерних.

Будучи скромным и бедным евреем, сыном мудрого меховщика Элии, я не мог пойти в кофейные или в бани, где греки и турки получали за несколько пиастров для глаз — оперенье заморских ласточек, для уха — серебряный звон поцелуев, для носа — дыханье розового масла и черных, нагретых солнцем волос, для пальцев — прикосновенье кожи, более мягкой, нежели смирнские ковры, для языка — слюну, которая слаще критского вина. Все это было не для меня. Но господь снизошел к бедному Элеазару, и, протомившись в сладчайшем ожидании три года, я нашел наконец дочь Боруха, портного из Адрианополя — Ребекку, твою мать. Правда, с виду она походила на лысеющую

ворону, кожа ее была жестче булыжной мостовой салоникских набережных, ее поцелуи грохотали, как удары палкой по жестяной кастрюле, запах, исходивший от нее, состоял из пота, горчичного масла и камбалы, а слюна ее напоминала рыбью желчь. Но Ребекка была честной еврейской девушкой, не погнушавшейся выйти замуж за бедного Элеазара. Сын мой, я не допущу плохого слова о твоей покойной матери, да будет земля ей легче верблюжьего пуха! Но, умирая, скажу тебе: я знал любовь до того часа, когда познал наконец, что такое любовь. Я оставляю тебе наследство — оловянное кольцо, которое я некогда надел на грязный палец Ребекки,— носи его. На твоей руке оно будет счастливой любовной сетью, на женской — станет для тебя каторжной цепью.

— Отец,— возразил Иегуда,— твоя жизнь лучше твоих поучений. Если бы ты только мечтал о турецких банях или о греческих кофейнях, ни я, ни мои братья не увидели бы света.

Сказав это, он взял оловянное кольцо и вышел.

По словам Иошуи, подарок отца и его наставления помогли Иегуде счастливо прожить свой век: он стал немедленно и с редким усердием искать себе невесту, встретился вскоре с красивой и к тому же богатой дочерью купца Ханой и, умиленный, надел на ее розовый пальчик скромное отцовское кольцо.

Далее Элеазар бен Элия стал поучать второго сына, Лейбу:

— Увидав, что любовь только сон, я обратился к веселью. Я завидовал всем, кто смеялся, пел и плясал. Я смотрел издали на танцы греческих свадеб, прислушивался к песням арабов, бродил по базарам и, встречая ватагу пьяных забулдыг, восторженно ухмылялся. Мне не было весело — очень трудно, чтобы бедному еврею, у которого к тому же жена и дети, было весело, но я верил, что, если сильно захотеть, можно развеселиться. Я начал тихонько от твоей матери Ребекки прыгать, закидывать вверх ноги и мотать головой, как это делали ловкие греки. Я даже достиг искусства, подражая одной турчанке, которая плясала на базаре, двигать своим тощим вислым животом так, чтобы тело при этом оставалось неподвижным. Закончив танцы, я приступил к песням,— я изучил щебет греков, плач турок, любовные вздохи арабов и даже странные звуки, напоминавшие икоту приезжих

австрийцев. Постигнув все тайны веселья, я продал свои последние штаны, купил на них бутылку вина и, выпив ее до дна, принялся веселиться, то есть танцевать, петь и смеяться. Но веселье вблизи оказалось очень скучным. Сын мой, заклинаю тебя, удовлетворись тем, что другие веселятся, сам же ходи всегда с опущенной вниз головой — и ты будешь счастлив. Я оставляю тебе в наследство пустую бутылку. Когда жажда веселья овладеет тобой, подыми ее высоко и долго гляди на пустое донышко.

Это поученье, казалось, должно было упасть на благодатную почву, ибо Лейба с рождения отличался редкой угрюмостью. Когда во время радостного праздника симхасторе он приходил в синагогу, дряхлые, выжившие из ума праведники, глядя на его унылое, постное лицо, думали, что они перепутали дни календаря, и начинали петь молитвы, приуроченные ко дню разрушения храма. Выслушав слова отца, Лейба все же заинтересовался неизвестными ему дотоле вокальными и хореографическими способностями Элеазара бен Элии.

— Отец, покажи мне, как ты веселился, и я навеки познаю тщету этого занятия.

Элеазар горячо любил своих детей, и, несмотря на семьдесят пять лет, а также на несварение желудка, он привстал с ложа и принялся подпрыгивать, выставлять вперед морщинистый живот, бегать рысью, скакать галопом, икать, как сто австрийцев вместе, и чирикать, как маленькая канарейка. Труды его не пропали даром — Лейба, до этого дня никогда не улыбавшийся, громко расхохотался, он даже не смог ничего ответить отцу, гогоча и дрыгая добродетельными худыми ножками. Наконец, схватив пустую бутылку, он выбежал прочь.

Жизнь его также сложилась хорошо под светлым впечатлением отцовских заветов. Став самым веселым человеком Салоник, он открыл балаган на главном базаре и неплохо зарабатывал. Никто не умел лучше его ворочать животом, издавать низкие утробные звуки, исполнять на пустой бутылке похоронные арии, так что жирные греки со смеху катались по полу, подобные розовым небесным мячам.

Несколько смущенный сильным впечатлением, произведенным на Лейбу его мудростью, Элеазар бен Элиа сказал третьему сыну, Ицхоку:

— Познав тщету веселья, я раскрыл книги и перешел к наукам. Но — бедный еврей — я должен был довольствоваться тремя книгами: молитвенником, арабским толкователем снов и руководством к взысканию процентов. Я прочел их с начала до конца так, как читают евреи, потом еще раз с конца до начала, согласно обычаю христиан, и, увы, я все понял. А знание лишь тогда заманчиво, когда кажется непостижимым. Я узнал, что, если бы я действительно был праведным и не занимался вращением своего живота, Бог наградил бы меня, Элеазара, и весь мой род до двадцатого колена включительно тучными пастбищами, также, что, если бы мне приснились когда-нибудь белые мыши, я получил бы наследство от богатого тестя, хотя никакого тестя, даже бедного, у меня давно нет, наконец, что, если бы кто-нибудь был мне должен один пиастр, я смог бы по всем правилам подсчитать, сколько процентов приросло на этот пиастр. Все это наполнило меня скукой. Я уже готов был презреть науку, как презрел раньше любовь и веселье. Но новые соблазны открылись передо мной. Мать твоя, Ребекка, ненавидела мои книги и раз, воспользовавшись тем, что я, подсчитывая проценты, задремал, обратила все три тома на растопку жаровни. Она пощадила только кожаные переплеты, которые казались ей вещами безвредными и даже имеющими ценность. Плача над гибелью книг, хотя и разоблаченных мною в их лжемудрости, я сжимал переплеты, подобно одеждам дорогого покойника. Вдруг я заметил, что к коже, облачавшей молитвенник, приклеен листок с письменами на неизвестном мне языке. Я сразу догадался, что именно здесь таится непостижимое знание. Я отнес листок к мудрому Абраму бен Израель, и он сказал мне, что эти слова написаны на голландском языке, ему неизвестном. Сын мой, второй раз в жизни я продал самую необходимую вещь — штаны и купил учебник голландского языка. По ночам, когда Ребекка спала, я изучал тысячи труднейших слов, у которых, как у диковинных цветов, были труднейшие корни. Прошло три года, пока наконец я смог разобрать, что было написано на листочке, приклеенном к коже, облекавшей когда-то молитвенник. Это были советы, как лучше всего шлифовать крупные алмазы. Но никогда я не видел никакого, даже самого мелкого алмаза. Правда, на берегу моря я находил порой блестящие камешки,

но они не поддавались никакой шлифовке. Я оставляю тебе этот листок как явное свидетельство тщеты знания. Удовлетворяйся приятным сознанием, что на свете много непонятных языков и непрочитанных книг. Пусть другие учатся, портят глаза и жгут зря масло.

Ицхок поблагодарил отца за листок бумаги с переводом, тщательно приписанным к нему рукой Элеазара бен Элии, и сказал:

— По-моему, ты не напрасно изучал голландский язык. Масло все равно бы сгорело, и твои глаза все равно бы испортились, потому что маслу подобает сгорать, а глазам с годами портиться. По крайней мере ты меня научил, как надо шлифовать крупные алмазы. Кто знает, может быть, я найду другой листок, где будет сказано, как разыскать эти каменья, и стану самым богатым купцом Салоник.

Иошуа рассказал мне, что Ицхок действительно разбогател. Правда, он не нашел трактата о том, как находить крупные алмазы, но, очевидно, другие прочитанные им фолианты дополнили наследство отца, так как он открыл мастерскую фальшивых бриллиантов. Дела его идут блестяще, и совесть его чиста, ибо если в Талмуде и осуждаются фальшивомонетчики, то там ничего не сказано о тех, кто честно изготовляет фальшивые каменья.

Отправив трех старших сыновей, довольных назиданиями и наследством, Элеазар бен Элиа остался вдвоем с младшим сыном Иошуей, который тогда был глупым юношей без определенных занятий, а теперь считается самым уважаемым старьевщиком города Салоник.

— Младший и любимый сын,— проникновенно начал Элеазар,— когда ты родился, я был уже стар и мудр. Я больше не предавался ни наукам, ни веселью, ни любви. Я даже не понимаю толком, кстати будь сказано, несмотря на всю мудрость, как это случилось, что ты родился. Я долго думал о том, чем мне теперь заняться и чем заменить шершавые бедра твоей матери Ребекки, пустую бутылку и сгоревшие на жаровне книги. Размышляя, я выходил вечером на улицу и видел, как на порогах домов турки, греки, евреи курят длинные трубки с чашечками, подобными раскрывшимся цветкам тюльпана. Я уже заметил прежде, что люди, предающиеся любви, веселью и наукам,

быстро устают от своих занятий. Турок, подбирая шаровары, спешит уйти от десяти самых прекрасных жен. Грек, выпив критского вина, пропев и проплясав, ложится на мостовую и начинает корчиться от усталости, а порой и от тошноты. Самый мудрый еврей засыпает над Талмудом. Очевидно, трубка была выше прочих услад, ибо никто не уставал подносить ее к вечно жаждущему рту. Дойдя до этого, сын мой, в третий и последний раз я продал штаны, незадолго перед этим сделанные Ребеккой из ее свадебного платья. На вырученные два пиастра я купил себе хорошую трубку из левантской глины, с жасминовым чубуком и янтарным наконечником. Но когда я принес ее домой и, распечатав пачку смирнского табаку, готов был поднести уголек к тюльпановым лепесткам, голос мудрости остановил меня.

«Элеазар,—сказал я себе,—неужели ты напрасно ласкал Ребекку, вертел животом и изучал голландские корни? Зажженная трубка окажется хуже никогда не изведанной. Глупец, не дай твоему счастью уйти вместе с дымом!»

С этого дня каждый вечер я вынимал из-под кровати тщательно хранимую от ревнивых взоров Ребекки заветную трубку и благоговейно касался губами золотого янтаря. Он напоминал мне солнце и кончики грудей прекрасных женщин в турецких банях, которых никогда не сможет увидеть наяву бедный еврей. Я вдыхал запах жасминового дерева, и ствол как бы зацветал белыми хлопьями. На нем пели соловьи лучше, чем самые искусные греки. Красная глина мне напоминала о священной земле, где покоятся кости патриархов и пророков, со всей мудростью, которая больше книг еврейских и даже голландских. Так, не куря, я был со своей трубкой счастливее всех турок, греков и евреев, на порогах домов безумно испепеляющих свое счастье. Сын мой, я оставляю тебе эту трубку, и я молю тебя—не вздумай огнем осквернять ее холодное девичье тело!..

Велико было негодование молодого Иошуи, услыхавшего эти речи.

— Отец, если бы ты не плевал в трубку, подобно евнуху, а курил бы ее толком, обкуренная, она стоила бы теперь по меньшей мере десять пиастров.

Иошуа был нрава буйного и горячего. Возмущенный потерей восьми пиастров, а пуще этого глупостью

отца, прикидывающегося мудрым, он схватил трубку и чашечкой ее, подобной раскрытому цветку тюльпана, ударил по лбу Элеазара бен Элиа. Вопреки общепринятому мнению о том, что левантская глина отличается хрупкостью, трубка осталась целой, хотя лоб мудрого Элеазара бен Элии славился в Салониках своей крепостью, достойной мрамора. Зато Элеазар вскоре после этого закрыл навеки глаза, испорченные чтением голландских трактатов. Конечно, Иошуа и его благородное негодование тут ни при чем. Как явствует из предшествующего, старик был готов умереть от несварения желудка и, закончив наставления ввиду отсутствия пятого сына, привел свои намерения в исполнение.

Иошуа, не задумываясь в ту минуту над юридическим или медицинским объяснением непосредственных причин смерти Элеазара бен Элии, побежал в кухню, достал из жаровни уголек и быстро закурил унаследованную трубку. С тех пор в течение пятидесяти лет он не расставался с нею. Будучи человеком богомольным и праведным, он впоследствии заинтересовался своим поступком, предшествовавшим кончине отца, и, подумав, нашел его угодным Богу. За почитание родителей полагается долголетье, но так как Иошуе исполнилось уже шестьдесят восемь лет и он обладал еще отменным здоровьем, то ясно, что никакого непочитания с его стороны не было. С другой стороны, сам Элеазар перед смертью намекнул Иошуе, что причины рождения сына неясны так же, как оказались впоследствии неясны причины смерти отца. Наконец, заповеди, подобно всем законам, даны для повседневного употребления, а не для таких исключительных случаев, как унаследование сыном необкуренной трубки лжемудрого отца. Итак, Иошуа курил свою трубку до шестидесяти восьми лет и продал ее лишь потому, что, надеясь прожить еще по меньшей мере тридцать лет, решил обкурить вторую трубку, удовлетворенный первой, давшей почти две лиры чистой прибыли.

Я бережно храню трубку Иошуи, часто закуриваю ее вечером, лежа на диване, но никогда не могу докурить до конца. Это объясняется не ее вместительностью, а исключительно высокодуховными переживаниями. Каждый раз, когда я касаюсь губами янтарного наконечника, я вспоминаю жалкую жизнь Элеазара бен Элии, увенчавшуюся слишком поздним уроком

Иошуи. Я принимаюсь сожалеть не о том, что было в моей жизни, а о многом, что только могло быть и чего не было. Перед моими глазами начинают рябить карты неизвестных мне стран, разномастные глаза не целовавших меня женщин, пестрые обложки не написанных мною книг. Я кидаюсь к столу или к двери. А так как нельзя ни путешествовать, ни целоваться, ни писать рассказы с огромной трубкой, напоминающей раскрытый цветок тюльпана, то она остается одна, едва согретая первым дыханием. А посмотрев новый город, где люди, как всюду, плодятся и умирают, поцеловав еще одну женщину, которая, как все, сначала читает стихи, а потом, похрапывая, спит, написав рассказ в полпечатного листа, похожий на тысячи других рассказов,—о любви или о смерти, о мудрости или о глупости, я возвращаюсь на тот же протертый диван и с сожаленьем спрашиваю себя, почему я не докурил моей трубки?

Так за две турецких лиры я приобрел вещь, которая в зубах другого явилась бы источником блаженства, а в моих напоминает Танталову чашу, пенящуюся рядом и трижды недоступную.

ЧЕТВЕРТАЯ

Тишайший луч несется тысячи лет, но короток век человека: детство с играми, любовь и труд, болезни, смерть. Есть телескопы и таблицы, есть разум и глаза, но как построить такие весы, чтобы взвесить короткую жизнь: на одну чашу положить тишайший луч, вереницы чисел, пространство, миры, а на другую прозябание зерна, которое всходит, колосится и отсыхает? Кто знает, может быть, сорок ничтожных лет перетянут?..

Была война. Когда-нибудь подберут эпитет «великая» или «малая», чтобы сразу отличить ее от других войн, бывших и будущих. Для людей, живших в тот год, была просто — война, как просто — чума, как просто — смерть.

Была война, и на крохотной точке — точке среди точек — близ груды камней, называвшихся прежде городом Ипром, лежали, сидели, ели и умирали чужие, пришлые люди. Их называли сто восемнадцатым ли-

нейным полком французской армии. Полк этот, сформированный на юге, в Провансе, состоял из крестьян — виноделов или пастухов. В течение шести месяцев курчавые темные люди ели и спали в глинистых ямах, стреляли, умирали, вскинув руки, один за другим, и в штабе корпуса значилось, что сто восемнадцатый линейный полк защищает позиции при «Черной переправе».

Напротив, в пятистах шагах, сидели другие люди и тоже стреляли. Среди них было мало курчавых и черных. Белесые и светлоглазые, они казались крупнее, грубее виноделов, и говорили они на непохожем языке. Это были земледельцы Померании, их называли в другом штабе восемьдесят седьмым запасным батальоном германской армии.

Это были враги, а между врагами находилась земля, о которой и виноделы и хлебопашцы говорили «ничья». Она не принадлежала ни Германской империи, ни Французской республике, ни Бельгийскому королевству. Развороченная снарядами, изъеденная вдоль и поперек брошенными окопами, круто начиненная костьми людей и ржавым металлом, она была землей мертвой и ничьей. Ни одной былинки не уцелело на ее паршивой коже, и в июльский полдень она тяжело пахла калом и кровью. Но никогда ни за какой благословенный сад с тучными плодами и с цветами теплиц люди так не боролись, как за этот вожделенный гнилой пустырь. Каждый день кто-нибудь выползал из земель французской или немецкой на землю, называвшуюся «ничьей», и замешивал желтую глину вязкой горячей кровью.

Одни говорили, что Франция сражается за свободу, другие, что она хочет похитить уголь и железо. Но солдат сто восемнадцатого линейного полка Пьер Дюбуа воевал только потому, что была война. А до войны был виноград. Когда падали слишком часто дожди или на лозы нападала филлоксера, Пьер хмурился и стегал сухой веткой собаку, чтобы она его не объедала. А в хороший год, продав выгодно виноград, он надевал крахмальную манишку и ехал в ближний городок. Там, в кабачке «Свиданье принцев», он веселился вовсю, то есть хлопал служанку по широкой гулкой спине и, бросив в заводную шарманку два су, слушал, приоткрыв рот, попурри. Один раз Пьер болел, у него сделался нарыв в ухе, и это было очень больно. Когда

он был маленьким, он любил ездить верхом на козе и красть у матери сушеный инжир. У Пьера была жена Жанна, и он часто любовно сжимал ее груди, крутые и смуглые, как гроздья винограда в солнечный хороший год. Такова была жизнь Пьера Дюбуа. А потом Франция начала сражаться за свободу или добывать уголь, и он стал солдатом сто восемнадцатого линейного полка.

В пятистах шагах от Пьера Дюбуа сидел Петер Дебау, и жизнь его была непохожей на жизнь Пьера, как непохожа картошка на виноград или север на юг, и она была бесконечно похожей, как похожи друг на друга все плоды земли, все страны и все жизни. Петер ни разу не ел винограда, он только видел его в окнах магазинов. Музыки он не любил, а по праздникам играл в кегли. Он хмурился, когда солнце пекло и не было дождей, потому что тогда травы желтели и коровы Петера давали мало молока. У него никогда не болело ухо. Однажды он простудился и с неделю лежал в сильном жару. Мальчиком Петер играл со старой отцовской таксой и картузом ловил солнечных зайчиков. Его жена, Иоганна, была бела, как молоко, рыхла, как вареный картофель, и Петеру это нравилось. Так жил Петер. Потом — одни говорили, что Германия сражается за свободу, другие, что она хочет похитить железо и уголь,— Петер Дебау стал солдатом восемьдесят седьмого запасного батальона.

На ничьей земле не было ни свободы, ни угля — только труха костей и ржавая проволока, но люди хотели во что бы то ни стало овладеть ничьей землей. Об этом подумали в штабах и упомянули в бумагах. 24 апреля 1916 года лейтенант призвал к себе солдата Пьера Дюбуа и отдал приказ в два часа пополуночи проползти по брошенному окопу, прозванному «Кошачьим коридором», вплоть до германских позиций и подглядеть, где расположены неприятельские посты.

Пьеру Дюбуа было двадцать восемь лет. Это, конечно, очень мало — тишайший луч несется сотни веков. Но Пьер, услышав приказ, подумал, что были филлоксера, губившая виноград, и болезни, губившие человека, а стала — война, человеку надо считать не годы, а часы. До двух пополуночи оставалось еще три часа и пятнадцать минут. Он успел пришить пуговицу, написать Жанне, чтобы она не забыла посыпать серой молодые лозы, и, громко прихлебывая, грея руки над кружкой, выпить черный кислый кофе.

В два часа пополуночи Пьер пополз по скользкой глине завоевывать ничью землю. Он долго пробирался окопом, прозванным «Кошачьим коридором», натыкаясь на кости и колючую проволоку. Потом коридор кончился. Направо и налево шли такие же брошенные окопы, сиротливые, как брошенные дома. Раздумывая, какой выбрать: правый или левый — оба вели к врагам, то есть к смерти,— Пьер решил передохнуть и, пользуясь укромностью места, закурил бедную солдатскую трубку, испачканную глиной. Было очень тихо — люди обыкновенно громко стреляли днем, а ночью они убивали друг друга без шума, посылая одиноких людей, ползущих змеей, как Пьер, или роя подкопы. Пьер курил трубку и глядел на густое звездное небо. Он не мерил и не гадал, не сравнивал миров со своей деревушкой в Провансе. Он только подумал: если там на юге такая же ночь — винограду хорошо и Жанне тоже, Жанна любит теплые ночи. Он лежал и курил, всей теплотой своего волосатого звериного тела радуясь тому, что здесь, на мертвой, ничьей земле, он еще жив, дышит и курит, может шевельнуть рукой или ногой.

Но Пьер не успел раскурить хорошенько трубку, как из-за угла показался человек. Кто-то полз ему навстречу. Пьер видел лицо — светлое и широкое, непохожее на лица виноделов или пастухов Прованса, чужое лицо, чужой шлем, чужие пуговицы. Это был Петер Дебау, но для Пьера он был просто врагом, как просто — война или просто — смерть. Он не знал, что вечером германский лейтенант вызвал к себе солдата Петера и отдал приказ, что Петер тоже чинил свою шинель, писал Иоганне, чтобы она не забывала стельных коров, и, чавкая, хлебал похлебку. Пьер не знал об этом, а если б и знал, все равно не понял — ведь в тот год была война. Для Пьера Петер был просто врагом, а встретив врага, приползшего навстречу, Пьер, как древний пращур в лесах, как волк, изогнулся, напрягся, готовясь вцепиться в добычу. И рядом Петер, увидев врага так близко, что он слышал, как бьется чужое сердце, как пращур, как волк, выпростал руки, подобрал ноги, размеряя лучше прыжок.

Они лежали друг против друга. Каждый ждал и не хотел начинать. Руки обоих были на виду, и, не глядя на лица, оба зорко следили за вражескими руками.

А трубка Пьера курилась. Враги лежали рядом, не желая убивать, но твердо зная, что убить необходимо,

лежали мирно и громко дышали друг другу в лицо. Они, как звери, принюхивались к чужой шерсти. Запах был родной и знакомый, запах солдата, промокшей шинели, пота, скверного супа, глины.

Пришедшие из дальних земель, из Прованса, из Померании, на эту землю, ничью и чужую, они знали: враг — удушить. Они не пытались разговаривать: много чужих земель и чужих языков. Но они мирно лежали рядом, и трубка Пьера курилась, и Петер, который не мог закурить своей, зная, что малейшее движение рукой — борьба и смерть, вдохнув жадно табачный дым, раскрыл рот. Он этим просил, и Пьер его понял, и еще ближе выпятил свою голову. Петер взял трубку зубами из зубов. А глаза обоих по-прежнему не отпускали выпростанных, как бы безжизненных рук. Затянувшись, Петер возвратил трубку Пьеру, и тот, в свою очередь, уж не дожидаясь просьбы, после затяжки предложил ее врагу. Так они сделали несколько раз, сладко куря солдатскую трубку, два врага на ничьей земле, которую надо было во что бы то ни стало завоевать. Они затягивались осторожно, медленно, очень, очень медленно. Тишайший луч мчится тысячи лет, а они знали, что для одного из них это последняя трубка. Случилось несчастье — трубка, не додымив до конца, погасла. Кто-то из двух задумался и вовремя не продлил проглоченным вдохом ее короткой жизни. Был ли это Пьер, вспомнивший смуглую Жанну, или Петер, прощавшийся с белесой Иоганной? Кто-то из двух... Они знали, что достать зажигалку нельзя, что малейшее движение рукой — борьба и смерть. Но кто-то первый решился, Пьер ли, защищавший Французскую республику и в заднем кармане хранивший кремень с длинным шнуром, или Петер, у которого были спички и который сражался за Германскую империю? Кто-то из двух...

Они сцепились и начали душить друг друга. Трубка выпала и завязла в глине. Они душили и били один другого, душили долго, молча, катаясь по земле, обрастая комьями глины. Потом, так как никто не мог одолеть, они зубами вцепились в жесткие лохматые щеки, в жилистые шеи, издававшие родной и знакомый запах, замешивая желтую глину вязкой, горячей кровью. И снова затихли, снова мирно лежали рядом. только без трубки, мертвые, на мертвой и ничьей земле.

Вскоре перестали быть зримыми тишайшие лучи, идущие от звезд к земле; рассвело, и, как каждый день, люди, убивавшие ночью молча, ползая по глине и роя подкопы, увидев солнце, начали убивать громко, стреляя из ружей и пушек. В двух штабах занесли в списки пропавших без вести имена столь различные и сходные двух солдат, а когда снова пришла ночь, поползли на землю, называвшуюся ничьей, новые люди, чтобы сделать то, чего не сделали ни Пьер, ни Петер, ведь в тот год была война.

В деревушке Прованса смуглая Жанна, посыпая серой виноград, плакала над Пьером, а поплакав, пустила в свой дом другого мужа — Поля, потому что кто-нибудь должен был надрезать лозы и сжимать ее груди, крутые, как гроздья в урожайный год. И очень далеко от нее, но все же ближе, чем звезда от звезды, в деревушке Померании плакала белесая Иоганна, подсыпая корм стельным коровам, и так как коровы требовали много забот, а ее тело, белое, как молоко, не могло жить без ласки, на ферме появился новый муж, по имени Пауль. Узнав, что мужчины выкурили свою последнюю трубку, две женщины горевали, а потом снова радовались с другими мужьями, ведь в тот год, как и в другие годы, была жизнь.

В апреле 1916 года ничья земля, пахнувшая калом и кровью, перестала быть ничьей. В теплый ясный день на ней умерло очень много людей из разных земель, и желтая глина, замешенная кровью, сделалась чьей-то собственной, законной землей. Впервые по окопу, носившему название «Кошачьего коридора», люди, прежде ползавшие на животе, пошли спокойно, не сгибая даже голов. На повороте, там, где кончался «Кошачий коридор» и ветвились направо и налево другие окопы, не имевшие прозвищ, они увидели два скелета, обнимавшие друг друга, как счастливые любовники, застигнутые смертью. Рядом с ними валялась маленькая трубка.

Вот она передо мной, бедная солдатская трубка, замаранная глиной и кровью, трубка, ставшая на войне «трубкой мира»! В ней еще сереет немного пепла — след двух жизней, сгоревших быстрее, чем сгорает щепотка табаку, жизней ничтожных и прекрасных. Как построить такие весы, чтобы взвесить прозябанье людского зерна, чтоб кинуть на одну чашу тысячи тысяч лет, а на другую столько, сколько может дымиться маленькая солдатская трубка?..

ДЕСЯТАЯ

Люди очень наивные и очень самоуверенные полагают, что человек является господином вещи, что он может купить ее, подарить, продать или выбросить. Это суждение, разумеется, давно опровергнуто ворохами фактов. Человек всецело подчинен различным вещам, начиная от своей рубашки, той самой, что ближе к телу, и кончая золотом Калифорнии или нефтью Ирака. История различных войн — это томление вещей, выбирающих себе резиденцию, придворных и слуг. То, что возле Салоник в 1916 году умерли многие индийцы, относится главным образом к свойствам характера лотарингской руды. Хроника уголовных преступлений отнюдь не приключения каких-либо особых людей, а просто биография беспокойных вещей, предпочтительно женского обихода. Этому господству вещей равно подчинены люди великие и малые. Шинель, сшитая по особому заказу покойного Акакия Акакиевича, жила жизнью не менее патетической и бурной, нежели тога Цезаря.

Самое страшное в явном господстве вещей над людьми — это отсутствие точной науки, которая заранее указывала бы нам на потенциальные силы, скрытые в том или ином предмете. Может быть, моя книга с достоверными данными о жизни тринадцати трубок, владевших, не считая меня, тридцатью пятью людьми различных национальностей, наведет какого-нибудь молодого ученого на мысль о необходимости приступить к серьезным исследованиям психологии вещи. Для начала я предлагаю ему заняться небольшой кустарной трубкой, полученной мной при странных обстоятельствах, о которых речь будет впереди. Трубка эта сделана из простой сосны, не покрашена, хотя бы ради приличия, состоит из маленького бочонка, в который воткнута палка, и могла быть названа трубкой лишь в эпоху величайших иллюзий, когда люди принимали брусничный отвар за чай, капустные листья за табак, а мои книги за изящную словесность. Но вещь, состоявшая из бочонка и палки, хотела быть трубкой и трубкою стала. Я расскажу о некоторых происшествиях, тесно связанных с ее жизнью, но должен заранее предупредить и молодого ученого, и любопытствующих обозревателей, что это лишь отдельные листочки летописи, разбросанной ветром.

В Киеве, на Мариинско-Благовещенской улице, в доме номер тридцать три, жил преподаватель истории Никита Галактионович Волячка. Жил отменно, тихо, и никаких примет за ним не числилось, кроме разве одной — Никита Галактионович любил вечером, отнюдь не занимаясь письменными работами, неожиданно крикнуть своей жене Агафии Ивановне:

— Гапка, душа моя, прошу клякс-папиру!

Но подобные казусы случаются со многими, и на них не стоит останавливаться. Настала революция. Ученики Никиты Галактионовича предпочли историю не изучать, а творить, и безработный преподаватель, после длительных неурядиц, весной 1919 года, когда в Киеве утвердилась советская власть, стал сотрудником губзема по части животноводства. Был он сотрудник как сотрудник, умел составлять проекты, и никакие «комиссии по чистке» его не трогали. Опять-таки было маленькое недоразумение — Никита Галактионович однажды отправил на племенной завод молодого элегантного вола, но и это не бог весть какой грех, особенно если вспомнить, что до 1919 года он занимался историей человечества, а не размножением скотов, лишенных чувства истории.

Настал дождливый день — 18 июля. Утром в отделе объявили, что прибыла партия «предметов широкого потребления» — кошельков, расчесок, подвязок и прочего,— всего девять названий и сорок две штуки на восемьдесят семь служащих. Одни предлагали вещи разломать, другие — протестовать письменно, третьи — пользоваться поочередно. Но мудрый секретарь, тов. Кравец, изобрел лотерею-аллегри, и десять минут спустя Волячка, икая от томления, запустил свою тощую, гусиную руку в папаху курьера. Кругом раздались завистливые крики: Волячка выиграл — на кусочке бумаги явственно значилось «11». Погладив свои жидкие волосики, он помечтал о расческе. Но под номером 11 лежала белая кустарная трубка. Это было несколько непонятным, так как Никита Галактионович отроду не курил, и товарищи тотчас предложили ему меняться, но Волячка обиделся, нежно пощелкал трубку, а завистникам крикнул в злобе:

— Прошу клякс-папиру... вот как!..

Лотерея давно закончилась, а два события все еще продолжали волновать сотрудников. Первое: секретарь, тов. Кравец, одинокий холостяк, выиграл дам-

ские подвязки. Как я говорил, это произошло 18 июля, а 21-го, то есть ровно через три дня, тов. Кравец отправился в отдел записи гражданских актов третьего комкома с молодой регистраторшей тов. Шель, и всех сотрудников секции по случаю торжества угостил простоквашей. Конечно, довольствующиеся общими местами могли бы сослаться на любовь и на прочие тривиальности, но сотрудники были людьми серьезными и вдумчивыми. Они хорошо знали, что такое «предмет широкого потребления», и, кушая простоквашу, благодарно вспоминали пару розовых подвязок, лежавших под номером 34. Вторым событием, занимавшим сотрудников, являлось чудодейственное перерождение Волячки. В течение трех дней Волячка совершил ровным счетом три злодеяния: во вторник стащил сахарный песок — целый фунт, паек за май месяц тов. Кравеца, в среду, заявив, что ягнятам необходимо срочно размножаться, выпросил у зава тысячу рублей подотчетных, а в четверг вовсе не явился на работу. Тов. Кравец, ввиду своих семейных радостей, к тому же совершенно непредвиденных, простивший Волячке даже фунт сахарного песку, был потрясен, увидев в четверг животновода на Бессарабке, откровенно менявшего сахар Кравеца на табак. Получив от солдат целый фунт махорки, Волячка не удовлетворился, вынул тысячу, принадлежавшую еще не размножившимся ягнятам, и стал торговать другой табак — легкий, высшего сорта. На Кравеца он не обратил никакого внимания, а когда секретарь припугнул его соответствующими разоблачениями, взял трубку в рот и прорычал:

— Вы знаете, на кого я похож?

Кравец, махнув рукой, отправился к розовым подвязкам.

С тех пор Никиту Галактионовича не спрашивали ни: «Как ваше?», ни: «Как Агафья Ивановна?», но только: «Как она?» Он отвечал: «Благодарствую — соответствует». Кравец теперь жил для жены — добывал ей ботинки, рис, ввиду деликатности пищевода, пудру; старый агроном Власьев служил своей печурке, таскал проекты Волячки и даже табуреты на растопку: хотя было лето, Власьев предчувствовал холода и заранее обхаживал печку. А Никита Галактионович знал только трубку, и Агафья Ивановна, как бы овдовев, вечерами печалилась:

— Ты хоть бы о кляксе попросил...

Но Волячка курил трубку и был непреклонен.

В августе Киев обложили белые. Агафья Ивановна сожгла проекты, размножавшие ягнят и волов, кульки от паечного пшена и потребовала также казни трубки:

— Увидят сразу, что большевицкая... Хоть белая, а дух от нее такой идет...

Но Волячка, услыхав это, взбесился и запел сначала «Интернационал», а потом уже вовсе необъяснимое, и лишь ночью, сжалившись, пояснил недоумевающей жене:

— Подобно курантам...

Агафья Ивановна была права — трубка накликала беду. Как-то под вечер пришел казак, пощекотал Волячкину супругу и рявкнул:

— Коммунисты!..

После чего он начал собирать вещи давнего, романовского периода, когда Волячка был еще преподавателем истории, как-то: будильник, наперсток, ночной чепчик. Агафья Ивановна громко причитала, но Никита Галактионович стоял безмолвно, скрестив руки на груди, подобный монументу. Уходя, казак заметил трубку и вытащил ее из зубов Волячки.

— Это вещь военная, тебе нечего баловаться... Можешь из пупа дым пущать...

Казак ушел с трубкой. Но за ним рысью побежал Никита Галактионович. В ночной темноте казался он маленьким жеребенком, сопровождающим огромную кобылу. В одной из пустынных уличек Печерска Волячка взял кирпич, подпрыгнул высоко, ибо росту был неуважительно малого, и ударил казака по голове. Кирпич распался, но вместе с ним и голова похитителя, а Волячка с трубкой затрусил дальше. Домой идти он не решился и вышел на окраину города. Пошел полем. Шел долго, повинуясь, очевидно, трубке, шел дни и дни, дошел до лесов под Почепом, в Черниговской губернии, и там остановился. Крестьяне давали ему хлеба, курил же он сухие листья. Через месяц пришли красные. Волячку чествовали — продефилировал целый полк с оркестром. Он стоял величественно, с трубкой и пришептывал:

— Ранг блюсти. Раз-два!..

Засим, отнюдь не по своей воле, но ввиду отмеченной выше военной доблести, Волячка проследовал с полком на петлюровский фронт. По дороге какие-то

жупаны обстреляли эшелон. Два армейца были легко ранены, а Волячка умер от непонятной контузии. Ветеринар и коновал, товарищ Сшиб, объяснил это сотрясением воздуха. Волячка остался мертвый в овраге, а через три часа воскрес, достал из кармана трубку и, припрыгивая, побежал по дороге. Увидев большую лужу, Никита Галактионович лег на живот и загляделся. Перед ним было крохотное, с кулачок, личико, безбровое, вообще бесстыдно голое, глаза цвета снятого молока, бородавка, грязный воротничок и, наконец, трубка. Волячка осмотром остался доволен и подумал: «До чего похож!..»

Потом он зачерпнул штиблетом воду из лужи, глотнул, сплюнул, ибо вода была густая от рыжей глины, взглянул на запад, где должны были находиться низменные жупаны, убившие его, и торжественно возгласил:

— За шведов!

Я не знаю, что сделал Никита Галактионович после этого загадочного тоста, и вообще его дальнейшая жизнь мне известна лишь по отдельным патетическим эпизодам. Вскоре после перестрелки с петлюровцами Волячка прибыл в село Гвоздилово, Бобровского уезда, Воронежской губернии. Встретив на околице попа, он в ярости зачерпнул его библейскую бороду и начал вопить:

— Двухперстным, контр, орудуешь?

Поп, видавший виды, мигом осознал ситуацию.

— Ни двух, ни трех, но пятиконечной.

За что был пощажен. С короткой дубиной Волячка ходил из двора во двор. Дубинкой бил предпочтительно по голове и поучал, как надо на австралийский лад размножать волов. Председатель совета, он же бывший староста, лукавец Пантелей, попросил Волячку зайти в сельскую читальню и там, медово улыбаясь, заинтересовался его полномочиями. Никита Галактионович вынул большущий лист, на котором в порядке пребывали серп и молот, Пантелей прочел:

— «Мандат сей дан...»

Но чем дальше он читал, тем сильней дрожала его хитрая рыжая бородка. Дочитав же до конца, он поклонился Волячке в пояс.

— Прости нас, батюшка!

Еще раз поклонился и еще раз попросил прощенья, а потом, ловко нацелившись, сшиб Никиту Галакти-

оновича с ног и стал его дубасить кубом для кипяченой воды, стоявшим издавна в читальне и впервые нашедшим себе применение. Волячку выволокли в поле. Когда стемнело, он приподнялся, случайно оказавшимся в кармане английским пластырем облепил себе голову и пошел неизвестно куда, бормоча:

— Когда всерьез умру, восплачут сыны отечества. Никакой трудовой дисциплины! Размножение с помощью коров и трехпольная система...

Дальнейшие вести о Никите Галактионовиче были получены его супругой Агафьей Ивановной в виде официальной бумаги о разводе. Бедная женщина, ничего не соображая, побежала к швейцару Игнату, секретарю домкома, дома под номером тридцать три. Игнат прочел извещение и, будучи в канцелярских процедурах искушенным, заявил Агафье Ивановне:

— Совершеннейший развод, а от вас испрашивает бумагу о непротиводействии.

Агафья Ивановна расплакалась.

— Может, он клякс-папиру хочет?..

Когда происходил этот трагический диалог, сам Волячка находился далеко от родного дома, а именно в городе Пензе, у старой девы Эммы Мюллер. Эта особа родом из Митавы в течение двадцати семи лет была экономкой в доме предводителя дворянства. Когда же не стало ни дворянства, ни, следовательно, его предводителей, Эмма переселилась ко вдове Аглагантовой и жила продажей различных вещей, вплоть до золотой коронки своего собственного зуба. Как к ней попал Волячка, неизвестно, но, войдя в комнату, он вежливо попросил вдову Аглагантову удалиться и, став на колени, промолвил:

— Сватаюсь.

Эмма подумала было, что Волячка насмехается над ней, и хотела позвать вдову Аглагантову. Но Никита Галактионович шепнул ей на ухо нечто совершенно непостижимое, от чего немка, пикнув, свалилась на взбитые подушки вдовы Аглагантовой. После пятидесяти лет бесплодных ожиданий, в течение которых не только на руку, но даже на безусловную невинность Эммы никто не покушался, найти такого жениха было воистину чудом.

— Смотри роди сына,— деловито добавил Волячка.

Засохшая грудь Эммы вздогнула от новых, неведомых чувств. Она была безмерно счастлива. Ее только

несколько смущало, что жених не целует ее, хотя бы по-братски, и не говорит ей соответствующих положению нежных слов. Не пустив в комнату вдову Аглагантову, Эмма уложила Никиту Галактионовича на хозяйскую кровать. Он лег не раздеваясь, с трубкой в зубах, с короткой дубинкой в руке и стал глядеть на потолок неморгающими глазами цвета снятого молока. Эмма не выдержала.

— Приласкай же меня!

Тогда Волячка, занятый высокими и ответственными мыслями, напряг все свои силы, чтобы вспомнить, как люди ласкают друг друга, а вспомнив, крикнул столь громко, что в соседней комнате вдова Аглагантова перекрестилась:

— Катька, душа моя, прошу клякс-папиру!..

Услышав эти несуразные слова, Эмма решила, что жених издевается над нею. Чужое имя и какой-то «клякс-папир» явно не соответствовали рангу гостя. Конечно, перед нею был самозванец. Эмме стало смертельно обидно, что она могла на час поверить проискам проходимца и отдать ему первый трепет своего девственного сердца. Со стоном она выбежала ко вдове Аглагантовой, которая в соседней комнате гладила накидки для смятых гостем подушек. Эмма выхватила из ее рук утюг, и, не помня себя от стыда и злобы, несколько раз раскаленным утюгом проутюжила лицо Волячки. Самозванец больше не дышал. Боясь ареста и казни, Эмма Мюллер со вдовой Аглагантовой убежали в летний сад, где и спрятались под киоском. Никита Галактионович все еще глядел на потолок глазами цвета снятого молока. Ему было очень больно, и лицо его горело. Он тяжело вздохнул:

— Горячее власти опаляет любовь...

Приложив к пылавшему носу картошку, он вышел на улицу.

Это курьезное происшествие было в мае месяце 1920 года, а в июле Волячка объявился в городе Уфе. Впоследствии утверждали, что он прибыл туда в качестве инструктора по профессиональному образованию и в первый же день, увлекшись рубанком, отстругал непомерно большое, явно дегенеративное правое ухо мукомола Чукчина. Правда ли это или выдумка досужих сплетниц — не знаю. Как бы то ни было, до 17 июля никакие предержащие Волячкой не интересовались. В указанный день назначена была вечеринка всех

местных комячеек по случаю присоединения к Коминтерну отколовшейся группы PSP (Социалистической партии Парагвая). Вечеринка состоялась в помещении городского театра и протекла достаточно оживленно. Когда все ораторы произнесли соответствующие речи, настала часть неофициальная, и как члены, так и гости предались веселью.

Оркестр исполнил похоронный марш и «Молитву Валентина». Было угощение: кофе и хлеб, по восьмушке на человека. Часов в одиннадцать, когда празднество близилось к концу, на сцену вышел некий субъект, сильно испачканный гримом, в сподниках и в мундире городничего. На голове его была маленькая самодельная лодочка. Полагая, что это один из артистов, соблазненный восьмушкой и решивший подхалтурить, все приготовились к восприятию монолога. Но актер, сойдя со сцены, воскликнул:

— Размножайтесь, ячейки, с помощью ягнят! — Потом схватил большой жестяной чайник, доверху полный рыжей бурдой, именуемой советским кофе, и закричал почтенному товарищу Рабе, хранителю архива:

— Веселись, буржуй боярский! Я тебя перетряхну, теремовая гидра!

От неожиданности товарищ Рабе присел на корточки. Тогда наглец, приставив носик чайника к губам товарища Рабе, стал с непомерной быстротой вливать бурду в рот хранителя архива, приговоривая:

— Еще штоф, и веселья преисполнись!..

Товарищ Рабе захлебнулся, а преступника увели чекисты. После тщательной проверки он оказался сотрудником киевского губзема Никитой Галактионовичем Волячкой. В Чека пахло селедкой, и Волячку мучила жажда. Часа в три утра он почувствовал ожог на груди под левым соском и сильный зуд. Он лежал у стенки, весь в крови. Потом труп свалили на телегу вместе с другими трупами и повезли в город. Кто поймет, какие страсти испытывал несчастный Никита Галактионович, покачиваясь на телеге, среди холодных трупов, предчувствуя яму и червей? Ведь он до сорока двух лет был отнюдь не героем, а тишайшим человеком, преподавателем истории в третьей казенной гимназии, нежным супругом Агафьи Ивановны. Но в кармане его брюк лежала трубка, замаранная свежей кровью, и трубка не позволяла Волячке ни смириться, ни умереть.

По случаю жаркого утра солдаты трупов не зарыли, а кинули прямо в яму. Волячка оказался внизу. Он очень страдал и даже плакал, и его слезы текли на окоченевшие трупы, уже неспособные чувствовать жар человеческих слез. В полдень Никита Галактионович выкарабкался наверх и пополз в лес.

Исчезновение трупа, конечно, никого заинтересовать не могло. В Уфе об испорченной вечеринке все позабыли, а не прошло и месяца, как Агафья Ивановна, приготовляясь ко сну и расчесывая свои пегие волосы, вскрикнула и упала без чувств. Перед ней стоял на детских ходулях пропавший муж, который еще недавно требовал какой-то бумаги о непротиводействии. Опомнилась она от сильной боли: Никита Галактионович схватил маленькие кривые ножницы, употребляемые Агафьей Ивановной для маникюра, ибо с горя она занялась маникюром, точкой безопасных бритв и разведением кресс-салата, и, посвистывая ножницами, как опытный парикмахер, тщился обкорнать волосы супруги.

— Постригу! Интригуешь с меньшевиками, крыса монастырская!

Но, отрезав одну пегую прядь, Никита Галактионович, очевидно чем-то чрезмерно утомленный, потерял равновесие, соскользнул с ходулей и задремал. Величайшая нежность переполнила сердце Агафьи Ивановны. Она перенесла мужа на кровать, раздела его и принялась тихо плакать — все тело Волячки было покрыто синяками, рубцами ран и язвами. Никита Галактионович дрожал от холода — домой он пришел в рубищах. Агафья Ивановна облекла его в свое теплое зимнее платье, повязав лысую голову оренбургским платком. Волячка не сопротивлялся. Он нежно мурлыкал, пока жена одевала его и натирала грудь, напоминавшую решето, гусиным салом. Даже у самых испытанных героев бывают минуты слабости. Мудрено ли, что Волячка, попав на супружеское ложе, где в течение многих лет знал золотое бездумное счастье, расчувствовался и покорился? Агафья Ивановна легла рядом, согревая его своей неубывающей, несмотря на продовольственный кризис и бумагу о разводе, шестипудовой добротностью. Засыпая, она слышала райский голос — это, как в давние дни романовского периода, Никита Галактионович, нежно прижимаясь к супруге, попискивал:

— Гапка, душа моя, прошу клякс-папиру...

Проснувшись под утро, Агафья Ивановна от ужаса упала с кровати. Рядом никого не было. Ее рука сжимала теплое платье, а на подушке хитро подмигивал ушками оренбургский платок, еще хранивший форму человеческой головы. Только собственная плешь Агафьи Ивановны являлась признаком того, что не привидение явилось к ней вчера вечером,— привидения стрижкой волос не занимаются,— а сам Никита Галактионович во плоти, на ходулях, с проклятой трубкой.

Следующего появления Никиты Галактионовича удостоились члены академической комиссии по украшению Петербурга к Октябрьским торжествам. Заседание комиссии происходило в большом зале дворца. Членов было восемь, они пили яблочный чай и спорили, так как четверо из них были футуристами, а четверо реалистами. Первые предлагали поставить в Летнем саду оранжевые кубы величиной с Нью-Йорк, вторые — нарисовать на стенах Адмиралтейства березу, поющих соловьев и грусть вдовы героя.

Споря, они все время голосовали резолюции, но голоса неизбежно делились пополам, и от этого, а также от яблочного чая, члены комиссии сильно потели.

Стоявший у стены Волячка, никем не замеченный, был удовлетворен и шептал:

— Рьяность и ревность! Прекрасный красный Санкт-Петербург!

Когда же, проголосовав в тридцатый раз одну и ту же резолюцию и, как в первый раз, расколовшись пополам, члены комиссии решили заседание закрыть, Волячка не вытерпел. Он выскочил на председательское место и заговорил. Увидев его, все члены обомлели — действительно, Волячка был страшен: в рваном белье, на детских ходулях, с явно приклеенными к дряблому личику грозными черными усищами, дымивший прожженной трубкой. Говорил он восторженно и безумно:

— За украшение города согласен на дыбу... Навек отрекаюсь от пайков... Опомнитесь, члены... Мое детище... попраны и шведы и Юденич... преуспевая... А я все претерплю... Бит староверами, железом обожжен, пулей коварной прострелен — служу изо всех сил... Прибуду с женой Катькой... Молю вас об усердии!

И, показывая на один из старых портретов, висевших над столом, Волячка строго топнул ходулей.

Опомнившись, все члены комиссии — и футуристы и реалисты — единогласно заверещали:

— Сумасшедший!

И самый молодой, футуристик Чик, поймал Волячку. Но Никита Галактионович лягнул футуриста и быстро улизнул. В руке Чика остался пучок конских волос, служивший Волячке грозным усом.

А Волячка носился по любимому Санкт-Петербургу и разыскивал синдетикон, именно синдетикон, а не гуммиарабик.

Вечером я встретил Чика, и он рассказал мне о забавном заседании академической комиссии. Сам не зная почему, я сильно взволновался и ночью плохо спал. Рано проснувшись, я побрел по пустынным улицам. На площадях желтела трава. Заштатная столица была величественна и прекрасна. Я направился по проторенной всеми российскими пиитами дороге проверить, не случилось ли чего-нибудь особенного с нашим традиционным благодетелем. Надо признать, что я ужасно завидовал Александру Сергеевичу Пушкину, увидавшему, как всадник скакал по улицам, и не менее его Владимиру Владимировичу Маяковскому, подсмотревшему всех трех, то есть всадника, лошадку и змею за табльдотом в гостинице «Астория».

На этот раз я был вознагражден. Император Петр Первый курил трубку, а под ним валялся голый Волячка с одним приклеенным усом. Трубка достигла своей цели, и Волячка был действительно мертв.

Да, Волячка был мертв, но я, еще живой, недаром плохо спал, встал чуть свет и приплелся к памятнику. Этого хотела трубка. Не смея нарушить ее воли, я, понатужась, влез на статую Петра, взял трубку и, пренебрегая как державностью моего предшественника, так и мерзким вкусом синдетикона, закурил ее. С тех пор я ее курю не очень часто и не очень редко, в минуты, которые назову историческими. Думаю, что и меня она ведет к некой таинственной цели. Но так же, как Никита Галактионович Волячка, выиграв на лотерее-аллегри под № 11 кустарную трубку, не знал, что он через полтора года умрет у подножья знаменитого монумента, так и я не знаю, что мне еще предстоит. Об этом сможет написать довольно забавный рассказ какой-нибудь из более или менее одаренных потомков.

ТРИНАДЦАТАЯ

История тринадцатой трубки, самой любимой из всех моих трубок, чрезвычайно сентиментальна, и она, безусловно, вызовет насмешки многих. Что же делать, я сам сентиментален и ничуть не стыжусь этого. Я люблю мелодраму — кровь и незабудки на плакате кинематографа. Я знаю, что любовь не только в ледниковых очах полубога, но и в слезящихся глазах старой собаки, ожидающей очередного пинка.

В 1909 году в Париже по соседству со мной, на тихой улице Алезия, проживал крупный скотопромышленник господин Вэво с молодой женой Марго. Господин Вэво любил свое дело и каждое утро отправлялся на бойню близ улицы Вожирар. Он глядел, как животных резали, глядел деловито и любовно, расценивая шкуру и мясо, сало и кровь. Особенно нравился ему убой свиней, закалываемых медленно, чтобы успела вытечь вся кровь. Господин Вэво как бы взвешивал дымящуюся густую струю, взвешивал ее густоту и добротность, — сколько из нее может выйти кровяных колбас и сколько луидоров даст колбасник за каждое ведро. Иногда господин Вэво марал рукава своей рубахи свиной или бычьей кровью, и на голубом полотне кровь сохла, чернела. Проверив туши и получив луидоры, господин Вэво шел в ресторан на улице Вожирар, где заказывал себе жирное мясо. Хозяин знал вкусы своих посетителей, и господину Вэво подавали груду жира. Он долго ел, после еды полоскал рот крепкой нормандской водкой и ехал домой. Марго должна была ожидать его, и, ложась рано, часто еще засветло, как ребенок, господин Вэво, пахший свиной кровью и бычьим салом, ласкал ее, стискивал шею, ударял бедра так, как если бы жена его была хорошей полновесной тушей. Вскоре он засыпал и спал долго, мыча, прихрапывая, а под утро, когда ему снились нехорошие сны, скрежетал зубами.

Марго была телосложения деликатного и темперамента флегматического. Ласки господина Вэво пугали ее, а от запаха крови ее тошнило. Она не могла говорить с мужем ни о весенних туалетах, выставленных в магазине «Самаритянка», ни об интригах домовладелицы госпожи Лекрюк, ни о хорошей погоде, — господин Вэво все указанные вопросы рассматривал чисто профессионально, высчитывая, сколько килограммов

вырезки стоит платье с ажурными прошивками. Лишенная духовного общения и скорее запуганная, нежели удовлетворенная общением телесным, Марго на третий год брака окончательно созрела для любовника. Как всякая женщина, она искала любви тихой и ровной, любви, подобной матовому фонарю ее будуара, слишком темному, чтобы мужчина мог при нем работать, и достаточно яркому, чтобы не давать ему спать.

В это время с госпожой Вэво познакомились два приятеля, вернее, два земляка, недавно прибывшие из Лиона,— молодой поэт Жюль Алюет и студент Сорбонны, математического факультета, Жан Лиме. Поэт любил женские письма, сладкое вино и рецензии в толстых журналах. Студент всему предпочитал западный сырой ветер, скуку и блуждание ночью по пустынным предместьям города, когда он крупными и ровными шагами мерил длину улиц. При явном различии наклонностей и Жюль и Жан, увидев Марго, равно растерялись. Поэт вечером не просмотрел журналов, а студент забыл о том, что ему надлежит скучать. Далее все пошло естественным порядком. Два косолапых, долговязых человека начали проделывать тысячи несуразностей ради одной маленькой расчетливой женщины, никогда не способной просчитать хотя бы одно су. Утром, когда господин Вэво марал свиной кровью свои голубые рубашки, Жюль Алюет и Жан Лиме, как два пса, сопровождали Марго в магазин «Самаритянка» или в парк Монсури, покорно следя за малейшим движением своей госпожи. И любовь, которая грозна и громка в ледниковых очах полубога, робко жалась в их кротких собачьих глазах.

Господин Вэво как-то столкнулся с обоими юношами и внимательно осмотрел их. Они показались ему двумя мелковесными барашками. Он понимал, что оба вместе они недостойны сравниться с ним, даже в часы его слабости, и поэтому не испытал никакой ревности. Напротив, посещения двух молодых людей, из которых один писал в газетах, а другой был племянником мэра города Дижона, льстили самолюбию господина Вэво.

У Жюля бывали часто неприятности с хозяином ресторана, где он столовался, и с привратницей из-за неоплаченных счетов, так как деньги, получаемые от матери, он тратил на цветы Марго, на сладкое вино и на угощенья черствых критиков. Почувствовав

благорасположение господина Вэво, он как-то в трудную минуту взял у скотопромышленника взаймы тысячу франков, выдав взамен расписку на вексельной бумаге.

Прочитав как-то, что Верлен курил трубку, Жюль решил не пренебречь этой живописной потребностью. Он курил маленькую пенковую трубку с янтарным мундштуком и на кольце выгравировал свои инициалы. Трубка показалась ему на редкость невкусной, и когда он признался в этом одному опытному курильщику, то узнал, что трубку надо обкурить. У Жюля не было терпения. Он хотел получить сразу обкуренную трубку, не понимая, что обкуренная трубка столь же мало похожа на выставленные в витринах магазинов, как прожитая жизнь на мечтания двадцатилетнего юноши. Жюлю пришлось, таким образом, примириться с неприятным привкусом ради приближения к незабываемому облику Верлена,—судьба готовила ему иные сладостные утешения.

Господин Вэво не был столь далек от истины, оставаясь равнодушным к отношениям между его женой и двумя поклонниками. Если Марго, как уже было сказано, созрела для любовника, молоденькие провинциалы, неопытные и наивные, познав на опыте, что такое любовь, еще не знали, как надлежит поступать с этой любовью. На помощь пришла весна, эта известная всему Парижу сводня, с ее притворными ливнями и кокетливым солнцем.

Как-то, угрюмо шагая по парку Монсури, Жан увидел среди листвы Марго и Жюля. Поэт храбро поцеловал щеку Марго. Женщина не только не ударила его, но сама поцеловала в губы и, доставши из сумочки ключ от двери, подала его с лукавой улыбкой Жюлю. Жан видел все это, и, вопреки утверждениям многих писателей, ему не захотелось убить ни Марго, ни Жюля. Он продолжал крупными шагами мерить аллею парка Монсури, думая о том, что Марго любит Жюля и что это хорошо, длительно и важно, как пустынные улицы предместья и как ветер с моря. Жан думал еще о том, что поезд в Лион отходит по вечерам в восемь тридцать и что ему, Жану, следует завтра уехать этим поездом.

Так думал Жан, потому что он был молод и наивен. Он не понимал, что Марго созрела для любовника и что, если бы Жан поцеловал ее среди листвы парка Монсури, она отдала бы Жану ключ от двери. Жан не знал, что женщине нужна любовь тихая и ров-

ная, как матовый фонарь будуара, слишком бледный для того, чтобы мужчина мог при нем работать, и достаточно яркий, чтобы мешать ему спать.

Вечером Жан встретил Жюля. Казалось, поэт должен был петь, смеяться и проказить, как это делают в книгах все счастливые влюбленные. Но Жюль был зол и мрачен. Он имел для этого достаточные основания и поделился ими с Жаном. Господин Вэво, очевидно почувствовав некоторую перемену в Марго, потребовал у Жюля немедленной уплаты давно просроченного векселя, грозя в противном случае публичным скандалом. Жана очень огорчили подобные неурядицы, как бы осквернявшие нежное видение среди листвы парка Монсури. Он посоветовал поэту успокоиться и обещал ему тотчас по приезде в Лион раздобыть тысячу франков. На этом они расстались.

Это было в субботу, 21 апреля, в семь часов вечера. В воскресенье, около четырех часов пополудни, Жан отправился на улицу Алезия, чтобы попрощаться с госпожой Вэво. Он не знал, что Марго еще накануне, то есть в субботу, уехала на два дня к своей тетушке в Медон. По словам привратницы, Жан пробыл в квартире Вэво не более десяти минут и вышел оттуда чем-то сильно взволнованный.

Госпожа Вэво вернулась в Париж в понедельник утром, а очередной номер газеты «Патрие», которая, как известно, выходит около часу дня, был заполнен подробностями о «сенсационном убийстве на улице Алезия». Скотопромышленник Вэво был найден зарезанным кухонным ножом в своей кровати. Хроникер сообщал, что «ввиду характера ранений и полнокровия убитого, тело буквально утопало в крови». Вечером посыльный вручил Марго венок из белых роз, на красной ленте значилось: «От служащих городских боен».

Первой мыслью Марго, когда она увидела грузную тушу господина Вэво, замаранную уже не свиной, но своей собственной кровью, была тревога за Жюля. Ей вспомнились слова поэта, увидевшего среди листвы парка Монсури на руке Марго, немного выше локтя, синее пятнышко — след супружеских ласк скотопромышленника:

— Если он еще раз посмеет тебя тронуть, я его зарежу, как свинью...

Она ясно представила себе ревность и гнев Жюля, короткий ночной разговор, нож, томление возлюбленного, которого ждет теперь гильотина. Для маленькой

Марго это было слишком сильным испытанием, и не мудрено, если посыльный, принесший венок из белых роз, нашел ее заплаканной.

Сыскное отделение командировало на улицу Алезия Гастона Ферри, прозванного «Волчьим Нюхом», одного из лучших сыщиков Парижа. Волчий Нюх тщательно осмотрел все комнаты, запретил полицейским и Марго касаться вещей, находившихся в спальне убитого, веря, что на них сохранились оттиски пальцев убийцы, подобрал пуговицу от брюк и апельсинную корку и потом, вспомнив романы Конан-Дойля, стал мрачно раздумывать, облокотившись, точь-в-точь как это делал великий Шерлок Холмс.

Выслушав сбивчивые объяснения жены убитого, Волчий Нюх приказал немедленно привести Жюля Алюета, на которого различные люди указали как на предполагаемого любовника Марго. Поэт при допросе хранил редкое спокойствие. Искренностью и обстоятельностью своих ответов он расположил к себе всех сыщиков. Он разъяснил невинный характер своего флирта с госпожой Вэво, и только на один вопрос, а именно: где он провел вечер и ночь с субботы на воскресенье,— ответил не сразу, смущаясь и краснея. В конце концов Волчий Нюх все же узнал, что в субботу вечером Жюль Алюет направился к Люсьен Мерд, хористке театра Гэте, и оставался у нее до полудня следующего дня, когда пошел с ней позавтракать в ресторан Шартье. Допрошенная Люсьен Мерд подтвердила показания Жюля. Таким образом, отпадало первое предположение, что убийцей является любовник госпожи Вэво, и в понедельник около шести часов вечера Жюль Алюет был отпущен на свободу.

Тогда, опираясь на слова привратницы, видевшей, как Жан Лиме в воскресенье, около четырех часов пополудни, поднялся в квартиру Вэво и вскоре вышел оттуда чем-то сильно взволнованный, Волчий Нюх отдал распоряжение привести второго заподозренного. В отличие от точных ответов Жюля, показания Жана сразу указывали на его виновность. Студент кратко заявил, что, придя в воскресенье после обеда в квартиру Вэво, он нашел хозяина уже мертвым. На вопрос, почему же он не позвал полицию и никому не сказал о своей страшной находке, студент ответить не смог. Столь же тяжелое впечатление оставили объяснения Жана о том, где он провел ночь с субботы на воскресенье.

— Ходил по улицам...

Наконец полицейский, который привел Жана, заявил, что застал его с запакованным чемоданом, готовящимся отбыть на Лионский вокзал. Это являлось также не малой уликой, так как объяснить причины своего предполагаемого, достаточно внезапного отъезда студент не захотел.

Волчий Нюх приказал обыскать Жана Лиме. В карманах его не нашли ничего подозрительного: ключ, кошелек, трубка, спички. Но левый карман, в котором находилась трубка, был замаран кровью. Через час экспертиза дала заключение, что это человеческая кровь. Жан Лиме был препровожден в тюрьму Санте.

Хотя все говорили о глупости и неопытности преступника, Волчий Нюх горделиво охорашивался, чувствуя себя Шерлоком Холмсом.

На следующий день после похорон господина Вэво Марго пошла к Жюлю. Войдя в его комнату, она разразилась слезами, жалобами и укорами. Не понимая значения последних, Жюль нервно мял толстый журнал с очень милой рецензией. Наконец Марго объяснила, что она глубоко возмущена изменой Жюля, отправившегося после утра среди листвы парка Монсури к какой-то вульгарной хористке.

Жюль объяснил Марго, что это случилось исключительно вследствие ее отъезда к тетушке в Медон и что теперь, когда они смогут проводить вместе дни и ночи, он не будет больше ходить к вульгарным хористкам. Это успокоило Марго, она спешно напудрилась, повеселела и, отдавшись, стала его подругой вначале, супругой потом, напудренной и веселой, на долгие и долгие годы, ибо любовь для нее была тусклым фонарем в будуаре, который не дает мужчине работать и мешает ему спать.

Уходя, Марго спросила Жюля:

— А где же твоя трубка?..

Жюль впервые проклял праздное любопытство, присущее всем женщинам, и пробормотал:

— Доктор запретил мне курить трубку. Я перешел на сигареты.

Через несколько дней счастливые любовники заговорили о Жане.

— В его лице всегда было нечто криминальное. Пожалуйста, не думай, что я был его другом,— сказал Жюль.

— Ты прав, как всегда, мой гордый лев,— томно промолвила Марго.— Этот негодяй за мной ухаживал, но я знала, что он способен только на низость.

Газеты, продолжавшие интересоваться «сенсационным убийством на улице Алезия», напечатали интервью, в которых госпожа Вэво и господин Жюль Алюет, делясь своими впечатлениями от убийцы, повторяли суждения, высказанные ими в интимной беседе.

Один из номеров газеты, содержавший эти интервью, случайно попал в тюрьму Санте, и Жан прочел его. Но да позволено мне будет умолчать о том, что он испытал при этом. Есть чувства, которых лучше не называть, как не называли древние иудеи Бога, а суеверные кастильцы — змею.

Настал день суда. Ввиду того, что процесс был назван газетами «романтическим», пришло много публики, главным образом женщин. На суде Жан держал себя так же, как и во время следствия: не сознаваясь в совершенном преступлении, он не делал ничего для своей защиты, ограничиваясь краткими и малоубедительными ответами:

— Нет, не знаю... Сказать не могу...

Лишь во время речи защитника произошел небольшой инцидент, сильно взволновавший женскую аудиторию. Молодой адвокат вначале изложил гипотезу о том, что Вэво убили неизвестные грабители и, понимая всю ее неправдоподобность, стал напирать на то, что если даже Лиме является убийцей, то он убил мужа женщины, которую страстно любил, и поэтому заслуживает всяческого снисхождения. На этом месте речи подсудимый, все время сохранявший полное спокойствие, вскочил и раздраженно крикнул:

— Если я убил Вэво, то хотя бы ради денег. Прошу госпожи Вэво не касаться!

Это выступление не только разочаровало дам, пришедших взглянуть на романтического убийцу, но и ожесточило судей, размягченных речью адвоката. Все же благодаря красноречию молодого защитника Жану Лиме было дано снисхождение, и суд приговорил его к бессрочной каторге.

Так кончилась жизнь студента математического факультета Жана Лиме, и началась другая — арестанта номер триста сорок восемь каторжной тюрьмы Нанта. От своего прежнего существования, кроме воспоминаний, которых люди еще не научились отнимать при различных осмотрах и обысках, арестант номер триста сорок восемь сохранил маленькую пенковую трубку.

Арестант номер триста сорок восемь был одет в полосатый дурацкий халат. На нем было восемнадцать черных полос и семнадцать белых.

Арестант номер триста сорок восемь плел кули из рогожи. Когда он сплетал десять кулей, он начинал их расплетать,—так приказал ему надзиратель. Из одного вороха рогожи он сплел тысячи и тысячи кулей. Арестант номер триста сорок восемь гулял, описывая круг по тюремному двору, загороженному стенами без окон. Впереди и позади шли другие номера, но номер триста сорок восемь не знал их. Он делал восемнадцать больших кругов справа налево, потом повертывался и делал восемнадцать кругов слева направо. В году триста шестьдесят пять суток. В сутках двадцать четыре часа. Номер триста сорок восемь пробыл в каторжной тюрьме Нанта одиннадцать лет и четыре месяца.

Тюремщики говорили, что номер триста сорок восемь хорошо ведет себя. Но они не знали, что номер триста сорок восемь был счастлив, так счастлив, как редко бывают счастливы люди не только в каторжных тюрьмах, но и в городе счастливых, в Париже. У номера триста сорок восемь в тюрьме оставались скука, долгие шаги и долетавший в окошко ветер с моря. Номер триста сорок восемь знал долготу и мощь времени. Но он знал еще иное — далекую радость, улыбку Марго среди листвы парка Монсури, чужую любовь, ради которой он мерил длину бесконечного круглого двора тюрьмы и плел кули из неубывающей рогожи. Жан Лиме, так звали когда-то номер триста сорок восемь, любил Марго. Марго любила Жюля. Может быть, полубог с ледниковыми очами сразил бы Марго или Жюля. Но номер триста сорок восемь любил, как может любить собака, горячим шершавым языком лижущая руку наносящего ей побои; любя так, он был счастлив, и счастья его никто не мог понять.

Люди зовут время жестоким, но время милосерднее людей. Если кончается июньская ночь влюбленных, то приходит срок и тому, что люди именуют «бессрочной каторгой». Когда прошли одиннадцать лет и четыре месяца, номер триста сорок восемь заболел и почувствовал, что скоро умрет. Он лежал на койке и держал в руках трубку, но закурить ее уже не мог. Трубка, когда-то нарядная и невкусная, стала черной, рабочей, родной. Глядя на нее, номер триста сорок восемь вспомнил, где он ее нашел, и блаженно улыбнулся.

Потом он попросил сторожа переслать после его смерти трубку господину Жюлю Алюет в Париж и забылся. Очнувшись, чем-то сильно обеспокоенный, он снова взял трубку и уже неповоротливыми, костенеющими пальцами сорвал с нее кольцо, на котором под нагаром и пылью таились инициалы «Ж. А.»; после этого, успокоенный, он глухо прошептал: «Марго»,—и умер.

Супруги Алюет жили тихо и хорошо. Бросив стихи, Жюль стал писать рецензии в толстых журналах, и теперь его часто угощали ужинами молодые поэты. Марго потолстела, но не подурнела. Детей у них не было—сначала потому, что в квартире не было детской комнаты, а потом вследствие мировой войны. Из глаз Жюля исчезла собачья нежность, он теперь самодовольно щурился, как хорошо раскормленный кот. У Жюля были любовницы, у Марго любовники, но супруги любили друг друга нежно и ровно, как светит матовый фонарь будуара. Они давно позабыли о бурных днях «сенсационного убийства на улице Алезия». Получив от администрации нантской тюрьмы старую трубку, Жюль Алюет ничего не вспомнил. Впрочем, эта обкуренная трубка так же мало походила на другую, которую он пробовал когда-то курить, желая приблизиться к облику Верлена, как долгая жизнь арестанта номер триста сорок восемь мало походила на легкий поцелуй среди листвы парка Монсури. Взглянув на трубку, Жюль ничего не вспомнил; брезгливо поморщась, он отставил пакет.

— Какая гадость!—сказала за него и за себя умная Марго.

Литературный критик Жюль Алюет, у которого я иногда бывал по пятницам на журфиксах, вместо рецензии в толстом журнале подарил мне, как чудаку, собирающему трубки, наследство арестанта номер триста сорок восемь, и эта трубка стала моей любимой. Я знаю, где нашел ее студент Жан Лиме, знаю также, как старался номер триста сорок восемь, умирая, снять с нее почерневшее колечко. В его глазах, в человеческих глазах, а не в ледниковых очах полубога, была преданность издыхающего пса. Я курю ее, чтобы научиться любить любовью верной и бескорыстной, как любят только покинутые матери, кроткие рогоносцы и уличные псы, как любил женщину по имени Марго, спавшую со многими, много плакавшую и после слез неизменно пудрившую нос, печальный каторжник номер триста сорок восемь.

Июнь 1922 г.

Рассказы

Бубновый валет

Собственно говоря, во всем виновата гадалка Квачка. С утра ничего, как все, регистраторша в Москвотопе исходящие записывает мелкой вязью и ссорится с товарищем Гузиным, который пайки выдает — кому к Октябрьским праздникам по фунту мяса, а Квачке колбасы — без сомнения, собачина. «Вот все доложу исполкому: и как Гузин карамель, три штуки, в брючный карман усунул, и как билет в Камерный дал курьерше Марусе вне очереди, только за некоторые стоянки в коридорчике, все, все открою». Словом, до четырех Квачка честная гражданка, и ничего такого не чувствуется. К вечеру же в ее комнатке начинается непотребное, а именно: Квачка за продукты открывает судьбу, причем сама ворует, скулит, пляшет от избытка с притопыванием, нёсмотря на формальное запрещение домкома. Даже комиссар приходил, важный, сахарную голову принес, а Квачка ему пакостей насказала: «Опился керосином, все нутро сгорит, а на ощупь станешь тоненький, слизкий, как «американский житель», понапыжишься чутку, декрет выводя, пикнешь и вовсе издохнешь».

Не понравилось, пригрозил даже суеверия извести. Но Квачка не боится, где только у нее нет друзей бескорыстных. (Гадает с 5 до 8, а после от гадания утешает всяческих.)

Раньше гадала на гуще. Но всем известно — советский кофей не что иное, как горелая морковь, гуща крупная, неповоротливая, и не то чтоб откровений, даже намеков от нее никаких не дождешься. Зато колода карт старенькая, с королями неупраздненными, все скажет — и когда в железкоме паек за февраль месяц выдадут, и как Лидочке фрукта Пилина к попу приманить, ибо хитрый, «религия — опиум» бубнит, а сам, времени не теряя, безо всяких норм цапает, и даже откуда спаситель придет, не вообще, а в частности, то

есть государь по закону, который ныне в лесу за Обью зябнет и ежевикой прокормляется.

Вот к этой самой Квачке пришла, на беду, в прошлый четверг губастая Дуняша, по записям официальным «инвалид труда», но как и прежде месящая тесто в кухне Брынзова, по дороге вынося горшки деток брынзовских и разглаживая юбку самой. Работы прибавилось, раньше были еще и кухарка Фекла, и горничная Матильда, а теперь Дуняша «за все». Дело простое — прежде Брынзов хапал на поставках, в бирже, и еще честно, неторопливо присовокуплял акции рудников и сахарные (ох, до чего сладенькие!). Хапает и теперь, но быстро, с опаской, в главке, да николаевские скупает у запасливых барынек, коим уж не до запасов, хлеба купить не на что. Как видно, Брынзову не так уж плохо, ибо Дуняша не только хлеба в печку ставит, но и булочки (масла-то сколько на сдобу!), кулебяки древние с прослойками, пыжики финтифлюшистые. Да и самой Дуняше грех на что пожаловаться, если бы не думы всяческие, длинные, непосильные, уж когда все пироги готовы, все юбочки разглажены. И зачем заставили только эту бедную голову, с седенькими, жидкими волосиками, на которые без изводу, скромненько идет пол-ложечки господского льняного маслица, столько думать, будто она начетница многодумная, а не Дуняша вовсе?

Первая дума о сыне Васе, Васеньке, Васильке. Ох, темная каморочка под лестницей у господ Селиверстовых на Якиманке, Гришка-лакей с позументами, да что с позументами, с зубами точеными. Устоять ли девчонке? И мармелад тут, и клятвы клятвенные, и портрет с нее сделать обещался. Как ни страшно было, а Дуняша к бабке Шабловской, что с гвоздем промышляет, не пошла и сыночка в воспитательный не сбыла, а пристроила в Челицы, что под Серпуховом, и платила за него по два целковых в месяц. Девять лет Васе исполнилось, когда свела его Дуняша к парикмахеру Фердинанду, то есть к Трюхину, земляку. Не брить, конечно, а волосы заметать, и в субботу при стечении большом собственноручно щеки мылить, пока освободится мастер надлежащее соскрести.

Но кто попутал, а только чудные вещи заерзали в голове белобрысой, недолго мылил, а месяца три спустя к весне сбежал, ни Трюхину, ни матери слова не сказавши. Выла Дуняша, да так голосисто, что четыре

места пришлось переменить. Ходила и на гулянья к Девичьему, и на богомолье к преподобному — не повстречала нигде. Притихла, но не смирилась. Где его найти? Встретит — и то не узнает. Вот отметка есть, так и та скрытая. Под левым соском у Васи большое родимое пятно, красное, точно бубен с карты. Дуняша просила даже Трифона, младшего дворника: «В бане ежели увидишь на груди бубен, тащи его — не иначе мой будет». Но охота ли Трифону ходить, глядеть, не его кровь ведь. Жив ли Вася? Может, как ставить свечу за здравие, только душу его томить в небесах? Батюшка, отец Афанасий, наставлял не смущаться, молиться о здравии и о победе христолюбивого, ибо по годам должен быть Василий воином. А теперь-то не словил ли дьявол дитя несмыслящее, вот ведь сын лавочника Перлова, бессребреника, трудничка божьего, стал — господи огради и помилуй! — большевиком большущим, так когтями окаянными и загребает души.

Вот и вторая дума Дуняши, первой не легче, о нестроении страшном, о всех мытарствах церкви православной. Под самую душу подкопались, баламуты!

Ходила Дуняша на Зацепу, против рынка видала портрет самого главного губителя, в очках на нитке, смотрит вбок, ухмыляется через бородку — скольких русаков загубил, ирод! Слыханное-де это дело, чтобы карточки, и те с печатью антихристовой, так и прожигают руки письмена нечестивые. А тут еще носи их в давку на груди, к сердцу поближе, чтоб не выкрали, сокровище какое! Отец Афанасий и не то говорил — нечестивцы мощей святителя Фрола коснуться осмелились, но не допустил Господь — послал на глаза затмение. Которые монахи и достойные молельщики узрели телеса нетленные и из чрева проросший злак златоносный. А саранча рыжая только и увидела что чучело с паклей.

Все знает Дуняша, как Никола на Спасских паскудную пелену прервал и как святая голубица с Чудова влетела в нечистое становище и крылышками повергла каменное идолище усатое, громадное, коему, отрекшись, поклоняться должны все переписанные. И ее, Дуняшу, переписать хотели, так она в чуланчике с углем на черной лестнице упряталась, всю ночь пролежала, чихнуть не осмелилась, лишь внутри повторяла «Отче наш».

А с четверга прошлого новое горе. Гостиную Брынзовых нехристь большевик, гуляя по лестнице,

мимоходом реквизнул и немедля переехал, притащив полпуда бумаг да рожи поганые всего воинства сатанинского. У Дуняши сладеньким голосочком молоточек попросил, рожи тотчас по стенкам развесил, а икону — не выдержал — убрать приказал, от ликов Козьмы и Демьяна дух захватывало у семени бесова. И какая жена низкоутробная могла породить такого блондинистого гада? А то еще уставится на Дуняшу желтыми глазищами, так, что у нее ноги подкашиваются, и шепотком завлекает на погибель: «Товарищ, кипяточку бы!..» Знает Дуняша, что послан к ней гонец адов, искуситель последний, к великим мукам готовится.

Вот соблазнилась, пошла к Квачке судьбу попытать, свой паек — четвертку песку — принесла. Квачка сразу поняла главное, а именно: коту желтоглазому, точь-в-точь блондинчик, крикнула:

— Брысь, бесстыжий, изыди из обители, ишь наблудил, пузан, кружку молока вылакал, тыщу, можно сказать, слизнул, да не расчихался.

Потом, плюнув на кончики пальцев, колоду разметнула веером и, не вглядываясь в карты, одну выхватила, затопала, топ-топ, на месте заходила, голосом из живота в ухо Дуняше дунула:

— Судьба твоя — бубновый валет, к последнему искусу готовься!

Кто не знает, что бубновый валет карта мирная, хорошая, веселые хлопоты означает? Но Квачка на то умна и хитра, о карты мозоли не зря натерла, не на карту смотрит, а внутрь куда-то, ничего от нее не скроется. Объяснить же Дуняше не захотела, ругнула только на прощанье:

— Песок желтый, подмокший.

Дуняша всю дорогу думала — как понять трудную карту? Бубны масть ясная, божья масть, не пики же какие-нибудь, у Васи на сердце бубен, да хранит его заступница! А валет весь на жильца недоброго смахивает, усики — крысьи хвостики. От кого же судьбы ждать: от голубка своего весточки или от этого, коготь черный, карточку припечатанную?

А проходя мимо Волхонки, увидала Дуняша новую пакость. Со стены глядел голый мужичище густокубовый, и в красных пятнах, будто в аду его раки клещами щипали, а из пупа у него рос третий глаз, большущий и рыжий. Грешник, верно, печатник старший. Вкруг

картины народ толпился. Подошла Дуняша: «Что, мол, здесь произошло?» А старичок очкастый, знает его Дуняша, был он прежде сидельцем в Охотном, прочел степенно: «Выставка «Бубновый валет». И пояснил в снисхождении:

— То и есть ихний водитель.

Услыхала Дуняша, не упала наземь, не вскрикнула даже, помолилась в душе, чтобы скорее судьба пришла, не томила бы так. Ибо знала ныне, что неминучее грядет.

И точно, на следующее утро все началось. Блондин позвал так, будто невзначай, карточки свои из домкома попросил взять, а ему, мол, некогда, на комиссии спешит. «Вы уж, товарищ, за меня распишитесь в конторе».

Смекнула Дуняша — подступает.

— Я, господин, то есть товарищ, этому не обучена вовсе.

— Как?

— Да так просто. В чистоте соблюла душу.

— Вам, товарищ, тогда в ликбез пойти придется.

— И гвоздики ваши под ногти забейте, воля ваша, а к бесу на поклон не пойду.

Рассмеялся блондин, веселый уж больно, объяснил, не к бесу идти нужно, а в школу, такое постановление ликбеза, то есть «Комиссии по ликвидации безграмотности». Ученье — свет, вот что. Сам он тоже неученым был, из дому сбежал, книжки читать начал, до всего допер своим собственным. Вот и адресок школы, недалеко, на Коровьем валу, в бывшей чайной Янтарева (помер Пров Тихонович, не дожил до поруганья этого!). Дал записочку, пригрозил:

— Сами не пойдете, милицейский с ружьем поведет.

Кинулась Дуняша к Брынзовой:

— Барыня, голубушка, спасите от большевика меня! Так-то и так-то.

Брынзова сама струсила:

— Ты меня барыней не зови, «товарищем», что ли, не то, не ровен час, живо скрутят. А помочь тебе я не могу! У меня, глупая, в сейфе брошка пропала, восемнадцать каратов, вот как! Да что тебе, не в чеку ведут — в школу, делать нечего: иди, учиться не учись, а сиди тихонько в углу и всячески потворствуй.

Что ж, пошла Дуняша, от положенного не укроешься. Глядит, сидят бабки, старенькие, мшистые,

у одной зуб на вершок вбок пророс, у другой из уха рощица кудрявится, старички тихенькие, залежалые, а наверху, как в балагане, мерзкое изображенье выведено, а под ним девчонка юркая, стрижка и в военной куртке, бесстыдница! Идет же вовсе нехорошее. Девчонка ручкой машет, как жезлом, а богаделки и старцы смирненькие за ней гнусавят: «Бы!.. а!.. ба!..» Почести-то идолу воздают!

Сидит Дуняша и трясется — в своей плоти в преисподние вошла. А девчонка к ней:

— Вы, товарищ, новенькая? Повторите — бы... а...

Вскочила Дуняша, истошно завопила:

— Не подведете меня к присяге. Смерть приму, а сквернословить не стану!

Любила Дуняша чистоту донельзя — наследить в комнате за страшный грех почитала. На что кротка со скотами была, а и кота Мурзу утопить хотела, когда он в кабинете, на персидском ковре, лужу напрудил. Но здесь не стерпела — прямо в середину плюнула:

— Отрекаюсь от царствия вашего! Знаю теперь, кто водит вами — у нас на Успенском поселился. Так что терзайте меня, а в бубнового валета этого, в усища его тухлые три раза плюю!

Прокричав — выбежала. Домой не пошла. Дома блондин. Небось все знает, схватит печать свою, припечатает за волосы, и погибла душа без покаяния. Нет у нее орудия, кроме креста нательного, слова такого не знает. Вспомнила о приятеле давнем, советчике премудром, об Иване Кузьмиче. Хоть далеко до Дорогомилова, мигом добежала.

Иван Кузьмич прежде золотошвеем был, эполеты делал, на звездочки умилялся: «Премудрость небес, маяк волхвов, уменьем своим на плечи достойные низвожу». После же, как пошли бунтовать, когда скатились золотые звездочки с погон последнего генерала — всплакнул, но не возроптал, обратился к светилам нетленным и занялся апокалипсисом. Никто лучше его толковать не умел и кладезь распечатанный, и жену, облаченную в Солнце, и всех коней по череду. Утречком скупал он у рабочих завода Гивартовского дрожжи краденые и продавал их на Смоленском. Вечерами же толковал и советовал. Рассказу Дуняши Иван Кузьмич сильно обрадовался:

— В среду запрошлую видел я уже предзнаменованье, хоть и не русого, а черного, как уголь, но твоего

душегуба. Знаю многое и тебе открою. Ты, Евдокия,— Юдифь, словом божьим сокрушишь Олоферна, кой в мерзости и блуде пресмыкается. Державу спасешь Российскую, святую церковь оградишь. Готовься, Евдокия, к свету подвижническому, зрю венчик вокруг влас твоих!

Встала Дуняша, поклонилась в пояс:

— Недостойна я сего, Иван Кузьмич, под успенье молочка откушала, грехи довлеют многие.

Но нет, Иван Кузьмич знает, не зря такие слова говорит — на Дуняшу пала честь сладчайшая поразить врага рода человеческого, пострадать за многогрешный мир.

Жилец, блондин, он же валет бубновый, не кто иной, как черт. Но не с голыми руками пойдет на него Дуняша. Есть у Ивана Кузьмича орудия многие — крестики, ладанки, пришептывания. Вовсе не так уж силен черт, есть и у него слабости всякие, надо лишь знать. Легче всего одолеть черта, когда он махонький. Рожки у них прорезываются и хворь находит — прыщи и размягчение телес. Потом, ежели черта, хоть и большого, в ночь на целителя Пантелеймона хлестнуть по темени вербой освященной, он сразу смирится, захнычет. Тогда, времени не теряя, надобно посадить его в огуречный рассол и держать до полного издыхания. Но против валета усатого дает Иван Кузьмич средство скорое и верное. Баночку, а в ней святая водица со святой горы, монахи привезли. Надо Дуняше ночью, крадучись, подступить к дрыхнущему, оголить и водицей окропить, пришептывая: «Во реке Иордани мира омовение, Сатаниилу с приспешниками гибель гиблая. Аминь!» Черт задрожит, хвостик отвалится, из утробы вой выйдет песий, а вскоре весь съежится ежиком и завянет.

Домой пришла Дуняша строгая, ясная, со склянкой заветной. Как ни верила Ивану Кузьмичу, но в одном сомнения одолевали — недостойна она, грехами захватана, белизны не хватит покрыть собой зло злейшее. Грешница, маловерка, погибнет, дела не сделав. Чистую рубаху надела — в достоинстве преставиться. У барыни Брынзовой прощенья просила, как в Прощеную, ручку смиренно целуя. Жарко молилась заступнице скорой.

Блондин долго домой не возвращался. Сидел он, о своих обличителях не ведая, на заседании еще какой

то комиссии, будто профобра. Сидел и считал, сколько к девятьсот тридцатому году откроют они школ для горняков в Пермской губернии, какие все будут сознательные, дельные, будто не люди из костей трухлявых да мяса дрянного, что пожить не успело — уж испортилось, а машины американские, все высчитано, где каторга, свадьба, не икнешь в промежутке. Сидел и считал — школ триста восемнадцать, учеников шестнадцать тысяч, школ девяносто четыре, учеников восемь тысяч, четыре добавочных. Досчитав же до конца, башкиров прихватив да мордву, выпил стакан чая, настоянного на каких-то листьях, что в Сокольниках собирал сторож профобровский, вместо сахара пососал ложечку, отдававшую жестью и селедочным духом, а засим поплелся домой с портфелем тяжелым: схемы, проекты, доклады никак не меньше полпуда весили.

К щелке дверной прилипши, не дышала Дуняша, ждала, пока гад задремать соизволит. А он еще на сон газетку читать вздумал. Прочитав, громко хмыкнул:

— Что ж, в Аргентине забастовка, мировой пожар начинается,— улыбнулся, заботливо стянул штаны латаные, на стульчик положил и нырнул под одеяло.

Скоро услыхала Дуняша подсапывание легкое, будто младенец в люльке. И чем только они не прикидываются!

Перекрестилась. Дверь тихохонько без скрипа открыла, одеяльце отдернула и пошла кропить да пришептывать. Вскочил блондин, завопил ужасно, точь-в-точь как предвидел сие Иван Кузьмич. Глаз открыть не может, только руками машет да орет. С верой в победу близкую подступила прямо к нему Дуняша. Но ждало ее испытание последнее, меч немыслимый повис над бедным сердцем. Распахнулась рубашка на груди чертовой, и узрела Дуняша бубен родимый, ею выношенный, крови помета, ее кровной крови. Васька! Сын! Валет! Антихрист! И с криком нечеловеческим выбежала она прочь, по лестнице с обмерзшими ступеньками, по пустому двору, по улицам,— бог весть куда, от проклятия своего, в лес, в снег, в пекло адское.

О, какой огонь пожирал ее чрево! И тот, тот, с позументами, с портретами, с мармеладками сахарными, был тоже чертом! Чертово семя приняла, в себе носила, своей христианской кровью выходила, людям на смерть. Нет ей милости, нет пощады. Жалостливая

заступница и та отвела очи заплаканные, за тучи укрыла израненные рученьки, не может протянуть их чертовой полюбовнице, кормилице сатанинской.

Далеко за заставой, под татарским кладбищем, упала она в сугроб и стала глотать снег, чтобы потушить страшное пламя. Но снег жег рот, и огненные языки, пылающие черви, извивались в ее нутре, подступали к горлу, душили старческие, дрябленькие груди. Глубже, глубже зарывалась она в снег, только ноги в стоптанных рыжих башмаках еще торчали, два пнища сгнивших, гнилушки проклятые.

1921

В розовом домике

Чудной город Москва, вот уж действительно неправдоподобный город! Сколько статистики развели, переписи, учеты, анкеты, а чепушистости московской извести не сумели.

Возьмем, к примеру, Николо-Песковский переулок, с виду все в порядке: подотдел Совнархоза, советская амбулатория, курсы хорового пения пролеткультовские, а в домике бывшем тайного советника Всегубова, в розовом домике, самом обыкновенном — нелепица, чудеса, дебри непроходимые!

Прислонился домик бывший Всегубова к совнархозскому, задумался, глазки-шторки опустил. В совнархозском сидит барышня и стучит на машинке, крепко стучит, изо всех сил — ленты нет, вся продырявилась, прямо копию через переводную жарит: «Комячейка приветствует революционное выступление рабочих Лидса. Долой лакеев Ллойд-Джорджа!» А во всегубовском тоже барышня на плешивой софе читает папаше очередной номер «Московских ведомостей»: «На обеде у предводителя дворянства присутствовали...» Кто же присутствовал? Про себя подумаем: что за теософия такая? На небесах банкеты званые с пуляркой а ля рен... Царствие небесное!.. Это про себя, а папаше, то есть генералу от инфантерии Модесту Никифоровичу Всегубову, лишь улыбнемся вежливо — хороший обед, с подъемом.

Так идет все изо дня в день, и хватает же предводителей дворянства, пулярок, желтеньких листков «Московских ведомостей», благоговейно хранимых дочкой генеральской Евлалией в печной трубе, на веревочке у вьюшки, чтобы не прочел об обедах кто-нибудь посторонний. В уголке над саксонскими болонками, над раковинами, над расписными вазочками висит портрет приятеля генеральского обер-форшнейдера

графа Флауге — высоко парит человек, с великими князьями на «ты», прямо без стеснений перед носом высочественным «кодаком» щелкает, взаймы на Тити из кордебалета ассигнации дает. По субботам Евлалия пишет письмо графу, под диктовку папаши, не без достоинства, но с горькой слезой стариковства, обиды покинутого: «Помнишь, как мы с тобой после турецкой в Кюба девицу-молдаванку, имя вот запамятовал, при большом стечении общества, раздели догола и усадили верхом на дрессированного медведя? А как выкупали моську Крэкера в шампанском, а ему самому ягодицы украсили гербами баронскими? Молодость! Теперь я стар, дряхл, болен, все друзья обо мне забыли. Молю тебя, откликнись, не то потомство проклянет вероломников, презревших героя Хивы». Но нет ответа на письма. «Занят человек, высоко парит, все на аудиенциях, послы, иностранные принцы», — утешает себя генерал. Да, важный был граф, одних хороших отличий, кроме Льва и Солнца какого-нибудь, не меньше двух дюжин, только прежде это... Царствие ему небесное!

Эти письма в запредельные края, веселые празднества с мертвецами раститулованными объясняются просто, как, впрочем, и все человеческие тайны. В России была революция, даже две как будто, но дикие валы, грозящие смыть все материки, покорно замерли у приступочка всегубовского домика. В тесных комнатках ничего не произошло, кроме того, что сдох пойнтер Наполеон, нажравшись на помойке тухлой конины, и в столовой осыпался потолок — давно не ремонтировали.

О том, что творится за порогом домика, в пучинах Николо-Песковского, генерал не ведает, ибо опекаем он нежно и беззаветно старой девой Евлалией, злую революцию от него утаившей. Променяла Евлалия далекую жизнь на этот сладкий плен старчества, пропахшего камфорой, нафталином, с ватой в ухе, с примочками, припарками и шамканьем невпопад о былых парадах. Послушаешь Всегубова, не поймешь, как жил он, хотя покажет старик и послужной список, и орден на выцветшей ленточке, и ленточки просто пышного котильона. Путаются мысли, язык блудит, не то с хивинцами танцевал он шакон у генеральши Малменьшевой, не то штыком заколол лакея Яшку, который, склонившись до полу, особенно нежно

пришептывать умел: «Балычок тает-с!..» Давно ведь все это было. Тринадцать лет уже прошло, как хватил генерала первый удар, с тех пор он не ходит, ездит лишь в креслице, а правой рукой шевельнуть не может.

Была некогда у генерала и жена, но как-то он ее незаметно в походе обронил. Одни говорили, что сбежала она с цифиркой жалким — земским врачом, другие, напротив, заверяли, будто генерал сам ее глупому земцу подкинул, ибо был в это время чрезвычайно занят полковницей Володьевой и Хлюськой — певичкой, а на супругу не хватало ни времени, ни денег. Как-никак две дочки оказались не у земца, а у генерала. Старшая Ольга прямо из института кавалерственной дамы Чертковой, что на Пречистинке, после двух туров вальса, отправилась с штабс-капитаном Глазковым к попу, благословением пренебрегая, но мелочи всякие — простыньки и десертные ножички — через сестру вытребовав. Генерал хотел проклясть, но позабыл, ибо очень был увлечен гувернанткой Евлалии m-lle Тонэт из Авиньона. Зато Евлалии самой строго-настрого запретил к кому-либо мужского пола, кроме него, папаши, да глухого батюшки отца Спиридона, приближаться, уверив ее, что от одного прикосновения чужого мужчины начнутся в душе ее страшные рези, а по телу пойдут синие пятна величиной в грецкий орех. Должна была Евлалия за ним ходить, как за дитятей, покрывать грехи матери и сестры. Уж чуял он недобрый конец, только успел гувернантку свозить разок в «Мавританию» и, пока она кушала засахаренные ананасы, малость побаловаться, как пришлось сменить все эти невинные забавы на доктора Таубэ с банками, на кресло неповоротливое да на всякие размышления.

Любил генерал беседовать о двух предметах предпочтительно: о победах своих неисчислимых над полом, ошибочно называемым слабым, ибо сильных одолевал герой Хивы, и еще о кознях пакостных многолапчатых масонов.

И чего только не узнала скромная девица Евлалия, заветов папаши не преступившая, даже доктора Таубэ, который лечил ее от запора, не впускавшая к себе в комнату. Знаниями в делах любовных удивила бы она любую дамочку с парижских бульваров, которой фокусы и прибауточки всегубовские были бы невдо-

мек. Поднатужится вечером генерал, откушав манной кашки, да как гаркнет: «Сядь, Евлалия! Слушай отца. У гоф-фурьера Ивашина была полечка... Дамские пальчики, безе наивоздушнейшее и в ажурах матине... По дружбе уступил он ее мне на вечер...» И пойдет, пойдет, а Евлалия, не сморгнув даже, слушает, обвыкла, стали ей и полечки эти, и ажуры-амуры вроде банок с бальзамами и притирками на полочке.

Но еще охотнее толкует генерал о судьбах Российской державы, разоблачая перед дочерью происки, подвохи, подкопы, подсиживания хитрые проклятого иудейского племени, сиречь масонов. В молодости еще встретился он с одним бессарабским помещиком, у которого в услужении находился выкрест Монька. От этого Моньки узнал помещик мерзкие замыслы неугомонного жидовства, и генералу, тогда еще подполковнику, все до мельчайших деталей поведал.

Каждый год в страстную пятницу собираются главари жидовские со всех концов света. Раввин ихний, цадик пейсатый, он же первый масонский жрец, закалывает младенчика православного и всем дает крови пригубить. Кончив моленья, вой да покачивания, жиды делят меж собой мир, где акции скупить, где военные планы выкрасть, где бунты развести. Сидят они за границей, повсюду в министерствах, в газетах, в штабах, да что за границей, у нас в России-матушке министр Витте не кто иной, как обрезанный...

На Витте обрываются воспоминания генерала. После идут одни смуты, о черте оседлости позабыв, пустили в Санкт-Петербург кагал жидовский, сидят там чесночники в ермолках, зонтиками грозятся, зовут себя депутатами, и нет на Руси городового, чтоб, тряхнув за шиворот легонько, выслать этапным в Бердичев на Белопольскую.

Хоть стар генерал, военный человек, финансами не занимался, но порой подмывает: взять да послать государю императору «всеподданнейшую» — сердце русское, корневое, исконное кровью обливается, не беседовать же с масонами, запретить их просто, замести в уголок веником железным.

За такими беседами проходят дни Всегубова. Много было прежде до страшного семнадцатого года вот таких розовеньких и голубеньких домиков, не в одном Николо-Песковском, но и в Мертвом, в По-

луэктовом, в Штатном, в сотнях переулков и тупичков, где безобидные старички, хихикая, считали локоны, перевязанные ленточками, или ругали ожидовевших гласных, виноватых в том, что купчиху Квасову почистили среди бела дня и вообще жулье расплодили. Но пришла революция, полетели с подоконников фикусы и фуксии, жалобно зазвенели, прощаясь, китайские болванчики, зарявкали издыхающие болонки, и стали резвые молодчики прибивать к почтенным воротам дикие надписи, от которых трепетали ставенки и подкашивались колонки: «Ревтрибунал», «Профсоюз», «Наробраз». А мирные старички либо тихо померли, неслышно рассыпались от страха, горя и голода, либо побрели в далекие заграницы, но не в Монте-Карло поставить на номер сто десятин пахотной, не в Карлсбад сполоснуть раздосадованную интригами кадетскими печень, а в города и земли, жалостно побираясь среди чужих, сытых, злых разночинцев.

Но любовь сделала невозможное. Тщетно десятки тысяч людей плотиной живых тел, рядами безупречных французских пушечек хотели запрудить поток революции, а вот слабенькая, тощая девица оградила комнату своего папаши, и в двадцатом году было еще в самой Москве место, где жил, царствовал, депутации принимал самодержец всероссийский божьей милостью. Как прошли в феврале семнадцатого по Арбату первые бунтовщики с флагами, поняла Евлалия, что не выдержит сердце генеральское безмерного поругания. Скрыла от него все, а тихонько, в чуланчике молилась за царскосельского узника, изнывая от тоски, ни с кем не разделенной. Там, за стенами, чернь бунтовалась, чванилась, горланила страшные песни, похожие на разбойные крики, а здесь рядом родной папаша, откушав вареньица, ругал проклятого Витте, потворщика, масонского крота.

Гул уличный, гул толпы, песни, не стихавшие до утра, объясняла Евлалия победой над немцами. Генералу не очень понравилось: и песни какие-то несоответствующие, и не немцев следовало бы расколотить, а англичан, у них верховная ложа масонов, всех пакостей питомник.

Много забот было у Евлалии: к окошку не подвозить, «дует, папаша, простудитесь», за прислугой смотреть, чтоб не проболталась. От старости стал давно

генерал рассеянным, глуховатым, смотреть смотрел, но мало видел и, уж конечно, ничего не подозревал, кроме старых жидовских происков — «зря народ по улицам шляется», — все грозил, что выведет полицмейстера на чистую воду, через обер-гоф Шнейдера донесет августейшему монарху. Писала Евлалия об этом письма субботние и тихонечко в сторону сморкалась.

Настали октябрьские дни. Евлалия знала, что не страх, а позор может остановить боевое сердце героя многих походов, и, когда раздался с Девичьего первый залп по Александровскому училищу, сказала отцу:

— Папаша, мужайтесь, немцы осаждают Москву. Но у государя лучшие дивизии, и мы отбросим их.

Верный расчет: генерал не содрогнулся, весь день, под грохот рвущихся снарядов, вспоминал он былые годы, как вел он в штыки своих сибиряков, и уснул, мурлыча:

— Сильный, державный, царствуй на славу нам!..

А на софе беззвучно плакала Евлалия — все гибло: и держава, и розовый домик, и две человеческие судьбы.

Еще томилась Евлалия, зная, что в Кремле, отражая атаки разбойников, насмерть дерется ее племянник, Ольгин сын, молодой гвардейский поручик Петя Глазков.

Наконец пушки стихли, и, пряча платком густо заплаканное лицо — «зубы болят»,— Евлалия сообщила папаше радостную весть: немцы отогнаны. Хотел старик по-всегубовски львино рявкнуть «ура», но сил не хватило, только прошамкал что-то.

Приходили какие-то горлодеры, оружия искать: «У вас, говорили, пулемет в перине пристроен». Умолила их Евлалия старичка больного пощадить. Только заглянули в комнатку да один, юркий, быстро слазил под софу. Шепнула Евлалия папаше, что вор у дворничихи Пелагеи утки стянул, вот ищут его, не пролез ли в окошко.

— Жиды! Мазурики! — бурчал старик, а на солдат умилился: — Молодцы, а ну-ка сцапайте бунтаря и за форточку!

С каждым месяцем становилось все горше. Хитрей дипломатов изворачивалась Евлалия. Приметили до-

мик какие-то бритые прохвосты. Уж одно имя — «летучая труппа» — чего стоит, скорее всего карманники. Пришлось генералу с Евлалией перебраться в мезонин: «Сыро внизу, вот и ноет нога ваша» (не штатская хворь, шампанские сифончики — ранение хивинское). Уверял генерал, что рана вовсе не слышится, а наверху пакостно, и от крысиного духа душу мутит, но твердой рукой покатила Евлалия креслице. А к бритым пошла, чтобы сердце смягчить воровское, на подушки положила бабушкины накидочки крахмальные с прошивками и сочла за долг, гордостью родовой пренебрегая, в общение войти:

— Папаша у меня с детства революционер, из платка флаг красный себе сделал, все сидит и машет — дай бог им светлого преуспевания. Жаль, не могу свести вас к нему, радостью поделиться, очень болен он и от посторонних лиц впадает в ярость неслыханную, вроде падучей, все жандармы проклятые чудятся.

А генерал поджидал наверху:

— Евлалия, почитай-ка мне «Московские ведомости»,— и, плотно прикрыв двери, вынимала Евлалия старенький рыжий листок, мерно, покойно, будто Псалтырь над покойником, читала: «Высочайшим рескриптом назначается...» — пока засыпал папаша. Все время на ноже ходила, к осени восемнадцатого съехали «воришки» — видите ли, печки в неисправности, рабочих найти нельзя, другой дом, почище, облюбовали. Прошла сырость, утишилась рана, спустились генерал с дочкой вниз, к веселым мандаринам (одного, что язычком помахивал, разбойники не то разбили на радостях, не то стибрили просто).

Зато подступили другие испытания, давно ушли уж последние рубли серебряные, отложенные на черный день Евлалией. За ними поплелись — браслетик гранатовый, серебро закусочное, массивные подстаканнички и многое другое. Повязавшись платочком, бежала Евлалия на Смоленский рынок со скатеркой или со старыми штанами генеральскими, стегаными, на пуху верблюжьем. Ругали ее бабы, мальчишки измывались, пихали, цапали, все выносила и генералу несла под полой рваной шубки тысячную булочку, замерзшую, крепкую, как камень, вкусную (ох, как самой куснуть хотелось!), но на суд строгий и несправедливый. Ворчал генерал:

— И где только такую пакость пекут, послала бы ты Пелагею к Филиппову, там за пятачок горяченькие, румяненькие, не чета этой мозоли кобыльей.

Крохи подобрав, слизнув у окошка, думала Евлалия о страшной, непонятной жизни. За что такое испытание? Были — городовой на углу Афанасьевского, в башлычке, добренький, шоколад эйнемовский «Золотой ярлык», порядок на улице, магазины в Пассаже, было что-то, а теперь вот эти крохи, стоянки на рынке, где какой-нибудь вшивый харкун по скатерти с метками фамильными лапищами пройдется, облает, облапит *еще*, вечера в нетопленной комнатке, звонки смертельные, записи, выиски, книжки трудовые. Прежде в институте Евлалия вздыхала о гусаре, о сумце голубом, о букетах от Ноева с лентами,— всю жизнь шептаться бы на веранде дачи о чем-то приятном, красивом. И вот иди, пили в морозных сенях дрова, на последнюю нижнюю юбку выменянные. Долго глядела она на руки заскорузлые, трещинами покрывшиеся наподобие слоновой шкуры, от мытья простынь, золы печной и упрямой пилы. Некому ей пожаловаться, не у кого спросить, за что такая мука, придет ли скоро конец, все равно какой — генерал казачий с городовыми, с шоколадом, с таким «разойдись!», что, увидав Евлалию, бабы смоленские задом бы пятились, или смерть избавительная, три аршина на Ваганьковском.

Потом совсем плохо стало. Мороз в комнатке, четвертка хлеба паечного, усатого, не проглотишь — зацепишься, мокрого, тяжкого, как ком могильной земли.

— Потерпите, папаша,— молила Евлалия,— скоро Таубэ отменит диету, печи разрешит топить. Если вас сейчас перевести в натопленную комнату — снова удар. И есть ничего нельзя, кроме пшена на воде и вот этого хлеба, специально для болезни вашей в лаборатории пекут, лекарственный хлеб, невкусный, правда, но помогает очень.

— Странная диета, болезнь странная, говорю,— стонал генерал и дрожал дрожью крупной, завернувшись с головой в одеяло.

А раз не выдержал, ночью позвал дочку:

— Евлалия, деточка, ангел мой, ну немножко хлебца беленького! Все равно — пусть потом хоть удар, смерть, ничего. Сил нет, так внутри все и прыгает,

жалуется. Пожалей отца, обойди рецепт, дай разок откусить и затопи уж. С легкой душой отойду.

Так просил все и плакал, будто дитя малое, и, муки не выдержав, плакала с ним Евлалия, силы собирая, чтобы, гладя папашу по бедной трогательной лысине, шептать:

— Нельзя, ей-ей!

Весной двадцатого года, в апреле, не то пятого, не то восьмого, как будто вечером, может, за полночь (сбилась Евлалия от всех штук анафемских: календарь, часы с ума сошли — Рождество Христово в январе месяце, солнышко садится в первом часу пополуночи — время перестала различать), услыхав звонок торопливый, задрожала девица: уж не ночь ли, не чекисты ли, о «Ведомостях» пронюхавшие, а может, милостив господь, день еще, пришли из орды ханской за штанами, кои должна генеральская дочка шить палачам, ослушникам, Троцким маленьким со звездой Давида из Талмуда.

Но радость поздняя за долгие годы ждала Евлалию. Племянничек, герой непримиримый, крестоносец, Петенька! Исхудал до чего, заострился, на ботинках рваных не штрипки залихватские, лоскуточки брюк переношенных, но душой прежним остался, ни на полвершка не отступил перед наглецами, перед захватчиками. Крадучись пришел к тетушке — спрятать его нужно, охотятся звездастые, принюхиваются, ну да ничего-о, он замел следы! Не гвардейцу-герою на Смоленский бегать, у окошка кондитерские вспоминать — высокими делами он занят, законному престолонаследнику *престол* возвращает, семеновец ли потерпит, чтобы вместо орлов — суворовских, скобелевских — торчала бы со стен обнаженных борода, сальная борода лапсердачника Маркса, застилая всю робостную Русь? Чтоб во дворцах императорских стриженые жидовочки пащенков сопливых холили, будто великих князей? Чтоб вместо мазурок громоносных, кантов, орденов, ведерок с замороженным, Стеш-хористок пошла бы коммуния голопятая, воблистая, скучная, что если не верить: вот-вот конец, давно бы — бух в Неву. Но дело на лад идет. В полках верные людишки, на стороне «тройки» отчаянные, под Курском мост подорвали, в Елецком уезде мужиков подняли новоявленной богородицей, коя кровь из груди изливает и дьячка молила: «Рану исцели, изгони из Кремля внучат иудовых!» На юге генерал Врангель, Петр Николаевич,

через Днепр переправился, на Алешки метит. Скоро, скоро конец! Только не подлезли бы оборотни двухмордые, кадеты с «Думами», профессора из ума выжившие со «свободами» чумными, не для того кровь дворянская льется, чтоб депутатик в пенсне, суточные пропив, требовал бы к ответу министра: «А почему у вас делается нечто, мне неизвестное?» И нос спрячет в футляр вместе с пенсне, форточку открыть побоится, как проскачет гвардия на парад через Спасские ворота.

Поняла Евлалия, что это и есть жданный избавитель, Георгий Победоносец, и, не смея слова глупого сказать, только ясная, счастливая поцеловала его руку, прежде славную во всем Петербурге, гордость маникюрши m-me Вилет, а теперь загрубевшую, грязью времени окаймленную.

Не понял генерал костюма внука:

— Оболтус, лоботряс, так-то ты служишь? За деревенскими девками небось лазил? Струхнул? Перекрасился? Отвечай, бабий хвост, в каком чине?

— Лейб-гвардии Семеновского полка поручик. В отпуску, о снисхождении прошу.

— То-то же.— И задремал генерал, а Петенька, жадно проглотив кашу Евлалии,— что ей каша, она радости высшей преисполнена,— тоже в чуланчике лег спать, под голову подложив тетушкину шубку. И от запаха семейственного, мышей, лекарств, меха, лежалой всячины снились ему приятные сны, будто он маленький, ни о чинах, ни о балах, ни о подвиге ничего не знает, а играет с маменькой и прячется в передней, стащив из буфетной горсть шепталы сладкой, за лисью ротонду прячется, отыскала маменька, щекочет, а сама в рот кладет — только глазки закрой — что-то очень вкусное, вкусней шепталы — шоколад с ананасом внутри. Господи, хорошо как!

А Евлалия не спала, но пред иконой молилась о даровании победы. Вот-вот полетят все мосты, подымутся все мужички, не те, что на Смоленском, грубияны дрянные, а честные, хорошие, послушливые, бритых актеров, счетчиков, солдат охальных прогонят и поедет в карете его императорское, а за ним на коне белом, нет, в яблоках, в яблоках всего красивее, Петенька, гордый, но выше гордости добрый, улыбчивый. «Матерь Божья, помоги!»

Еще звонок. Боже, кто же это? Штатский, отвратный, хоть и не китаец, но почти, военные с винтовками,

с револьверами. Не послушали криков Евлалии, прямо прошли в комнату генеральскую, криком, топотом, звяканьем разбудили старика:

— Не у вас ли находится Петр Глазков, обвиняемый в устройстве заговора для ниспровержения существующего строя?

Хоть сонный, но сразу все сообразил генерал — вот почему внук его в костюме маскарадном явился:

— Петька! Крамольник! Изменник! Присягу нарушил! Держите его — вот он, в чуланчике укрылся, злодей! Проклинаю смутьяна мерзкого!

Быстро, быстро, подмахнув бумажку, ушли люди, и Петю увели с собой, промолчал внук, ничего деду не сказал, только Евлалии, громко голосившей в углу, крикнул:

— Эх, не горюйте! Все равно лучше, чем советские конюшни скрести!

Дверью, отставшей от сырости, скрипучей не в меру, пошумели и ушли.

Не вытерпела Евлалия, все позабывши, закричала:

— Папаша! Папаша! Что вы сделали? Ведь давно у нас царя нет, третий год уж эти негодяи владычат, против них восстал Петенька, убьют его теперь, замучают!

— Врешь,— гневно ответил генерал,— сама заразилась тлетворностью. Жив самодержец всея Руси, не вам его спихнуть, нигилистам низким! Пусть повесят Петьку, псу смерть песья! Чуял я, что у Ольги такой изверг вырастет, трясогузка, с фертиками нюхалась, без благословения под венец пошла! У! Масоны, и когда вам крышка будет? Не хочу слышать о нем, слово скажи — тебя прокляну! Садись, читай газету, забыться от мальчишки, пакостника!

И снова подняла Евлалия крест, на минуту выпавший из ослабевших рук, но стал он по-новому тяжек. Видала она Петеньку, лежащего у стены, фуражка рядом, на виске милом, повыше оспинки (ветряной еще в корпусе болел), кровь родная, всегубовская. А штатский, китаец почти, измывается, рану сапогом теребит, теребит...

«Государь император успокоил представителей курского дворянства, подтвердив, что никаких уступок мятежным кругам сделано не будет».

Поддакивал генерал:

— Правильно!! Никаких поблажек! В тюрьму масонов! Петьке, змее гнусной, веревку, да мылом, мылом ее!.. Тяни потуже!..

Расстреляли Петю. Больше ни на что не надеется Евлалия, спасения не ждет и ночь о муках своих не пытает. Даже молиться и плакать перестала. Ходит на рынок, читает газету, пишет письма обер-гоф Шнейдеру. Тихо, очень тихо в розовом домике.

1921

„Веселый финиш"

Двадцать шестого ноября жизнь решительно остановилась и началось сплошное наваждение. Еще накануне вечером Осваг, подбоченившись, весело подмигивал громадными каракулями: «Не бойтесь! Отогнаны красные!», но Федька Платов, плакат вывесив, прищурившись, хорошо ли висит, схватил со стола пачку папирос и все карандаши и айда к вокзалу — авось вынесет!.. Утром же рассыльный Игнатьич, прочитав платовское творчество, усмехнулся, тихо, правда, осторожность и приличие блюдя, но все же не утерпел и Грушко, державшей табачную лавку напротив Освага, шепнул одно словечко недлинное: «Ревком», от которого Грушко забилась, как квочка, обхватила горестно ящик папиросный, николаевские пихая между прочим за лиф и быстро прилаживая к окнам деревянные щиты.

С виду даже нормально было: двадцать шестое число, никто дней не переставил, в кафе «Шик» мальчик заметал большие залы, газета вышла, только все больше объявления и насчет советов сельским хозяевам, как капусту от червей предохранить, хоть и не к сезону. Да оно и понятно: не только редактор, но и выпускающий, воспользовавшись теплушкой цензорской, давно потряхивались, тихо, но верно ускользая, а червяков изыскал младший метранпаж, с горя, все колючее обходя,— знал он тоже о ревкоме, уезжать же не помышлял.

Прочитав тщательно газету, люди останавливались на улице, будто комментариев ожидая, но с минуту простояв, сразу, уже безо всякой задумчивости, неслись к вокзалу, где вскоре образовалось скопище невиданное, все приличные люди города — инспектор реального Бугров; отец Антоний, богослов, муж ума редкого; спекулянт Гиршфельд, в Америке был бы министром; журналист Момо, руку набивший на

изысканиях в генеалогии большевистской; сыщиков парочка; маклеры; владелец фабрики гильз Брюхин — козлы это, жохи почтенные, а за ними стадо тысячеголовое, дамы курдючные, интеллигентики, до святительства отощавшие, офицеры с узелками вовсе не походными, ребята, чернь, словом, первым не чета.

Все, будто на гору крутую, лезли на один и тот же с верхом, наподобие лукошка, полный состав, назад скатывались, снова лезли, так весь день, потому что не трогались с места вагоны: паровоз взял себе начальник Освага, в классном отбывший с запасных путей. Многие пешком пошли, залезая в снег, оглядываясь на город, где все же дома есть, люди, даже фонарь напротив театра, но, вспомнив одно — «ревком»,— ныряли в сугробы.

Тянулись тележки по городу, и чего только на них не было!.. Из штаба комод пузатый вывозили, а к чему, никто не знал, пустые ящики, клетки птичьи, вывески прихватывали. Всунув пачку кредиток чину с винтовкой или парням-мордобоям («ледоколами» звали их), счастливчики влезали в вагоны, даже с клеткой порой. Но когда под вечер отошел наконец первый поезд, все видели, как на платформе мальчонок, не доползший до матери, кричал, и в окошке цеплялась за воздух, его тщась подловить, простоволосая женщина. Но кто бы согласился хоть на минуту поезд остановить, когда там, в сумеречном городе, не торопившемся зажечь свои огарочные огни, уж вылупливался на свет страшный ревком? Так и уехали, смыла толпа детеныша, стали приступом брать второй состав.

Днем как-то все утешительней было, дома стояли, многие магазины в-нерешительности — торговать или нет — приподняли веки, если не *жизнь*, то хоть видимость сохранялась. Говорили о ревкоме, но не чувствовали его. Когда же стемнело, провалились дома, исчезли в окнах ботинки, часики, колбасы, напоминавшие о том, что не конец все это, но двадцать шестое ноября, когда кануло все в туман, снег повалил хлопчатый, крупный, мокрый, все, будто навалился уж он вплотную, одно увидели — ревком.

О красных, которые идут с севера (китайцы, что ли, потрошители?), никто не думал, шли они, как вьюга — заметет всех, ничего не поделаешь, а может, враки,

даже с порядком идут, добренькие, помилуют. Дело далекое, думать не стоит. Но ревком, выросший здесь, в рабочем поселке, за речкой, был близким и страшным по случайности, каждый тяни лотерейный билет. Кто же в нем сидит? Неизвестные судьи, но уж безусловно всезнайки, многое отмечено у них в записных книжках. Меховщик-оптовик Тешин подозревал приказчика своего Алексея, коли так — крышка, зачем дураком был, при нем на белых доброхотным раскошелился, а жалованья не набавил?

«Еремеев, журналист, пачкун,— думал инспектор страхового общества Лазарев, родами жены удержанный,— знает он, что выдал я казакам двух большевиков-реквизиторов, раньше всех меня посетит»,— думал и, криков жены не слыша, плакал в шубе на черной лестнице.

За речкой, у ворот гвоздильного завода валялись никем не убранные четыре трупа: осетины, проскакав, пошалили малость, чтоб не слишком радовались красным. Молчали дома окрест, дома узкие, высокие, с жильцами угловыми, коечными, артельными, без огней: есть ли там кто, пустые ли — не разберешь. Люди притаились, только бы продержаться до завтра, в темь врасти, а завтра, завтра — ревком! Что такое «ревком» этот, кто там будет, и здесь, за речкой, не знали, но темное слово повторяли с нежностью. Может, и не было никакого ревкома, только должен был он быть, родиться в сыром, кровью подмоченном снегу, у заводских ворот, чтоб откликнулись люди на злое ауканье сухих, быстрых, для памяти посланных выстрелов, чтоб приволокли завтра сюда, на это облюбованное уже место, десятки других людей. Недобро, смертельно молчала заречная слободка, лишь отряды отступающих постреливали наспех.

Ночь близилась. Замолк и город, оставленный всеми, кто торговал, спорил, суетился, бегал в кафе «Шик» за валютой, устраивал лекции о возрождении России, писал, читал, веселился, спорил, смехом, говором, повседневной белибердой оживлял эти скучные улицы. Вдали гудел, отчаянными всплесками напиравших на поезда толп, вокзал, и сквозь гуд прорывались вскрики, уж просто невозможные, оставленных, придушенных, забытых.

Глазами выколотыми торчали окна Освага со сползшей на пол картой. Только два учреждения еще

жили и бодрствовали — контрразведка, помещавшаяся в гостинице «Венеция», и ночное кабаре, излюбленное офицерами, артистами, над дверью коего была нарисована художником маркиза с розой и значилось: «Художественный погребок «Веселый финиш».

Ротмистр Александр Степанович Рославлев, гордость контрразведки, уставший от ночной работы, проспал далеко за полдень и лишь в пять часов позвонил по телефону на службу. Подошел корнет Мылов и сказал неутешительное: эвакуацию закончили, хоть непосредственной опасности нет, в городе паника. Уйдем, по всей вероятности, завтра. Получены верные сведения, что в слободке образовался местный ревком. Необходимо до ухода ликвидировать. Выслушав все это, Рославлев спокойно потянулся и заботливо свой пробор, по точности и белизне известный всему полку, оправил от забредших в сторону волосиков, после чего пошел, как и каждый день, в кафе «Шик». Там никого не было, и лакей в ужасе посмотрел на блиставшие погоны Рославлева, хоть и знал его за лучшего посетителя.

— Музыки сегодня отчего нет?

Лакей совсем потерялся и, заикаясь, выволок из себя:

— Никак нет, ваше благородие! Ревком!

Добродушно усмехнулся ротмистр:

— Чепуху городишь! Москву скоро возьмем! — И приказал подать чашку шоколада. Но на душе его было невесело: значит, снова отступать, снова цокот погребальный, под злые взгляды остающихся, еще пули вдогонку, новая остановка — на неделю, на месяц, а там конец, хорошо бы в бою, хоть без муки, без надругательств. Ни в какую Москву Рославлев не верил, а пошел с присужденными от невыносимой, из нутра выпиравшей ненависти к пигмеям ненасытным, к уродцам без традиций, без шелеста знамен, без звяканья шпор. Но никогда он так не болел неудачей, как нынче, не только город русский покидал, но еще домик один на Спасской, а там в антресоли с крашеным полом, с вязаными салфеточками на креслах лапчатых Наталию Николаевну Боброву, нет, если признаться, Талю просто, единственную, короткую, жалостную радость за шесть лет боев, крови приторной, от крови этой такой скуки, что никому не расскажешь, только вот сейчас вместо эвакуации ляжешь здесь, на полу,

под столиком и зевнешь — лакей очумеет. Посидев, совсем расстроился Рославлев, хотел к Тале пойти, но решил, что скрыть правды не сможет, только замучит ее. Лучше завтра прямо перед уходом, пока подтянуться надо, в разведку пора.

Проходя по Николаевской, Рославлев увидел за щитом цветочного магазина прилипшую к стеклу хозяйку и настойчиво постучал. Открыли, но свежих цветов не было, только полузавядшие хризантемы с тронутыми ржавью лепесточками. Строго приказал ротмистр немедля снести цветы на Спасскую.

— Никого нет, все с перепугу разбежались,— причитала хозяйка, но, увидев револьвер, юркнула куда-то, и мальчик тотчас появился, взял большущий букет, понес. Редкие прохожие, вперегонку уличку перебегавшие, с ужасом взирали на белые звездочные цветы, глядел на них и Рославлев — будто венок на гроб, поминание небывшей любви, сразу затравленной, отнятой. Сколько радости могло быть в этих белых комнатах на Спасской: поцелуи тихонько за тетушкиной спиной, записочки, после — поезд быстро, быстро несется, парк в Гурзуфе, и не понять, где волн вздохи, где Талины... Господи, и вместо всего — вялый букет, «прощайте», да бегство, каждый цок копыта так и кричит: «Навек!»...

В тоске шел Рославлев, а когда наконец поднял глаза, осмотрелся, где он,— увидел маленького мальчонка, еврейчика ушастого, продававшего папиросы. Подступила злоба; вот от них, от грязных, юрких, курчавых,— уши выпирают, нос птичий, картавят мерзко: «Папигосы»,— от них все пошло, от них нет ни России, ни радости, ни Тали. И, раскачнувшись, он швырнул мальчонка кулаком в снег, нос прошибив и перепачкав кровью перчатку.

— Видали? Начинается,— шепнул неизвестно кому стоявший на углу студентик и быстро засеменил. Мальчик визжал, подпрыгивая и корчась. Брезгливо кинув перчатку:

— Гады! Искариоты! — Рославлев уже спокойно, уверенно пошел в разведку.

В загаженных номерах «Венеции» было пусто, неуютно, разор полный.

«Совсем дача в августе»,— подумал Рославлев. Валялись окурки, газеты, папки «дел», синие листочки какие-то нехорошие, сломанная пишущая машинка.

Ротмистр заглянул в номер двадцать третий, где помещался раньше кабинет начальника. У стены на табуретке увидел мастерового, будто прикорнувшего мирно, но с раздробленной головой, обои голубые и портрет генеральский были густо забрызганы кровью.

— Это мелюзга,— пояснил корнет Мылов,— с гвоздильного, листки нашли. Главное — ревком.

— Пакость,— пробурчал ротмистр,— запакостили мир,— и прошел в соседний номер, где поручик Головчан допрашивал служащего кооператива Курицына:

— Отвечай, сукин сын, ходил вчера на заседание?

— Никак нет, господин поручик, из бани прямо домой пошел.

— Вы б его шомполами,— раздражительно крикнул Рославлев и отвел в сторону Мылова — взять справки о розыске ревкома.

— Надежды мало,— признался корнет,— связи упущены. Вы когда снимаетесь?

— Завтра утром.

— А я сегодня со штабом. Если что-либо до двенадцати подвернется, сообщу вам.

— Ладно, только не домой, спать не буду. В «Финиш» позвоните.

И, не дожидаясь, пока рябой Курицын пущен будет в расход, Рославлев вышел, из одного очага жизни по кладбищенскому городу направляясь в другой, а именно в кабаре «Веселый финиш».

Держатель кафе, грек Ливидопуло, хотел было учреждение свое прикрыть, ревкома боялся, да и деньги деникинские его мало прельщали. Но перед просьбами шутника есаула, подкрепленными увесистым наганом, не устоял, и пошло веселье. Виды немалые видывал «Веселый финиш»: и как гвардеец куплетиста Коралькова за подозрительный акцент ухлопал, и как корниловцы с кубанцами, раду обсуждая, в перестрелку ударились, и как разведчик Штальгарт адвоката Сергеенко, дух большевистский учуяв, на месте ликвидировал, недаром зеркала все перебиты, потолок изрешечен, но подобного вечера не было, не вечер, но городское, заречное, вокзальное, то есть предревкомовское наваждение.

Пришли отчаянные, полоумные, на все рукой махнувшие, перед чекой, перед каторгой советской с трудовыми повинностями, перед смертью в последний разок кутнуть, да так, чтоб жарко небу стало, с паль-

бой, с бутылками, пролетающими в морды музыкантов, с выкинутыми на ветер, греку, черту самому не нужными больше бумажниками.

За крайним столиком сидели артистка опереточная Зельми с кавалером. Пили они из больших чайных чашек — рюмочки все есаул, проклиная тыловиков-предателей, перебил — бенедиктин, причем Зельми время от времени восклицала истерично:

— Пропало колье в ломбарде, по вашей любви пропало — вот что!

Кавалер же с лицом глупым, но трагическим, улыбаясь благостно, отвечал:

— А меня завтра расстреляют.

Позади шумели офицеры, валютчик Тигель, инженю городского театра Версева с ухаживателями и другие, которых Рославлев в лицо не знал.

Ротмистр сел в углу за ширмами, спросил портвейну и начал глядеть в зеркала на прыгающие фигуры: танцевали, били скрипача, целовались. Тигель ползал на четвереньках у ног Версевой. Чем больше пил Рославлев, тем быстрей прыгали фигурки, лиц уж не было видно, только ноги, да где-то наверху проскакивали чуб, перо шляпки, заломленная лихо папаха. Музыканты тянули нечто невыразимо грустное, трогательное: «Прощай навеки, прощай, прощай!..» Вторую бутылку опорожнив, Рославлев совсем затомился, тяжелый хмель ног не поднимал, голову клонил, все внутри сгущал, ложась окисью. Мастеровой лез в голову: «Вот так и я, тоже в номерах, чекист поиграет собачкой, окорочусь, тьфу, и самое главное, что пакость все это, обои загаженные, вонь, чепуха, ничто!»

За третьей бутылкой подошел к Рославлеву ординарец и подал записку от корнета Мылова:

«Пишу с вокзала. Только что удалось добиться от Курицына, что председателя ревкома зовут Афанасием, фамилии не знает, имя тоже, верно, вымышленное, роста среднего, на голове пробор, косит слегка, под нижней губой большая бородавка. Есть предположение, что он сегодня вечером будет в «Финише». Жалею, что не могу остаться. Желаю успеха».

Рославлев записку прочел: «Косит, бородавка, совпадение какое!» — прошло у него быстро в голове, но мысли не докончил, двигались они быстро, юркие, не ухватишь, и жадно стал пить стаканами залпом, глазом одним подзывая лакея: еще! А музыканты играли

уже что-то веселое, дразнили, злился ротмистр: «Им-то что, раздавить проклятых!» Пел кто-то «Всех купчих краса и жар, голубой сумской гусар...» «Опять измываются,—какие купчихи? Где они? Ревком! Бородавка! Пакость!» И вдруг, взглянув перед собой в зеркало, увидал этого самого Афанасия. Негодяй откровенно косил и даже бородавку не потрудился спрятать.

Стойко, крепким шагом прошел ротмистр к соседнему столику, за которым пели о купчихе, и сказал:

— Господа офицеры, здесь находится в настоящий момент председатель ревкома. У меня приметы, по которым я его легко опознаю. Будьте любезны никого не выпускать.

Весело кинулись офицеры к дверям, револьверами помахивая, не докончив танго, расползлись музыканты, все учуяли недоброе, заметались.

— Идут!

— Кто?

— Ревком!

— Врешь, это разведка.

— Разведка ревком ищет.

А Рославлев стал обходить столики, медленно, старательно вглядываясь в лицо каждого и выпятив черное дуло.

— Это ты!—кричала Зельми кавалеру.—Он, он, я не виновата!

А «он», улыбнувшись, так и не мог скинуть улыбки, радостный сидел. Тигель пытался влезть на люстру. Кричали, бегали, просили пощады, молились, а Рославлев все подвигался неминучий, прямой, среди многих выискивая одного. Когда же он обошел все углы и Афанасия не оказалось, новый страх овладел всеми—здесь ревком, скрывается, сейчас встанет, словит, живьем не выпустит!..

Усталый пошел Рославлев к выходу, но из двери зеркальной снова злобно, холодно, безразлично глянуло на него лицо с бородавкой.

— Теперь не уйдешь!—И ротмистр в упор выстрелил; полетели зеркальные осколки, вниз скатившись, вопила в истерике Зельми. Поручик Крылов, выпивший за весь вечер всего-навсего бутылку коньяку, понял, что дело неладно, и ласково сказал:

— Вы утомились, разрешите мне осмотреть публику.

Молча протянул ротмистр ему записку Мылова, молча тот прочел ее и, прочитав, быстро взглянул на

Рославлева — пробор, косит, бородавка, переоделся чекист проклятый, раздался еще выстрел, уже не в зеркало — вниз покатился ротмистр Рославлев, ногой зацепив столик с бутылками и разок отчаянно на полу подпрыгнув.

— Господа, пора в путь! — закричал Крылов, ногой отпихнув голову Рославлева. Но сверху по лестнице, офицерам навстречу, скатился грек-хозяин:

— Поздно! Оцепили! В городе ревком!

1921

Любопытное происшествие

(Рассказ обывателя)

Кобели существуют, всякий знает, время теперь — собачьи свадьбы под окном, есть город Кобеляки, кажется, Полтавской губернии, странное название, еще кабели, это уж сложней и концессиями пахнет. Кто-то говорил, что в Германии немец Эйнштейн выдумал теорию относительности. Может быть, а вообще скучно в городке нашем, даром что Рософосер, слов нет, чтоб сказать, до чего скучно.

Только и интереса, что, где и как выдают. Маруся уверяла, что в Рабкрине по фунту изюма предполагают. Вкусная вещь, только не врет ли? А в Собесе по полкурицы на рыло, тоже невредно. Только у нас все еще раскачаться не могут, дальше пшена лежалого не идут. Ну, да, может, к Первому мая и нас не обойдут, конфет, что ли, или колбаски пожалуют. Так и живем от пайка до пайка. Скучно!

А недавно было в нашем городке происшествие любопытное, прямо достойное радио, немного развлеклись мы: среди бела дня пропал председатель исполкома, товарищ Терехин, или еще «товарищ Валентин», как называют его по старой памяти коммунисты, а иногда для форса и «сочи», то есть сочувствующие. Имя звучное, романтическое, но лишь для высоких политических сфер, ибо зовут на самом деле Терехина Иваном Ильичом. Пропал Терехин в субботу, примерно в полдень. Утром заходил он еще в Наробраз побеседовать с товарищем Браудэ, как бы на выборах к партсъезду провести сторонников Троцкого, и профсоюзы, где сидит товарищ Бирюк, бывший меньшевик, от которого на версту соглашательством несет, перетряхнуть вежливенько. А в два часа дня на заседание исполкома, где должен был обсуждаться вопрос важности первостепенной, Терехин не явился, и, прождав его до четырех, сотоварищи подняли тревогу.

Следует сказать, что только в глазах невежественного профана Чека—это нечто простое, что сразу понять можно. На самом деле учреждение это сложное и деликатное, с механизмом, который по-дилетантски, с маху не постигнешь. Чеки много, и вся она разная, есть у нас представители Вечека, есть Губчека, есть Орточека, есть Уточека (ее любители буколики «уточкой» обозвали), есть и совсем особая, «ОО», такая страшная, что даже наш заведующий секцией, на что важный, в комячейке состоит, лошадьми пользуется, и тот, когда заговоришь с ним об «ОО» этой, ерзать начинает:

— И что вы всегда о таком вспоминаете, лучше бы о музее нашем или о детках в яслях, миленькие дети, крохотные, а то и не ровен час, сами знаете, ведь я «мартовский», плохой выводок, нестойкий, как анкету о стаже подписываю, рука дрожит и росчерк подозрительный получается, вроде старорежимного...

Так вот, все чеки дружно взялись за дело, защелкали машинки, забегали элегантные сотрудники, все автомобили города засопели, ну, и, надо признаться, обыватели струхнули изрядно—уж очень все это недобрые признаки. Одни уверяли, что раскрыт заговор не то монархистов, не то анархистов, и сейчас начнут обстреливать городской театр, где будто монархисты или анархисты, свергнув власть, строчат радио в Европу (радио стали у нас привычными, легче, кажется, всю Эйфелеву башню нотами закидать, нежели городскую открытку отправить, вот наш секретарь Попов, когда машинистка Шумова спрашивает, что на свете новенького, глядя на ноги ее в огромных бобриковых валенках, галантно восклицает: «Вы Терпсихора,—последнее саморадио»).

Другие утверждали, что никакого заговора нет, в театре идет репетиция «Гамлета», приспособленного артистом Клюковым для производственной агитации, а чекисты суетятся по случаю нового сбора излишков. Туманное слово «излишки», когда-то в детстве еще читал я в книжке, будто американские рабочие бисквиты едят. Конечно, сам я в Америке не был, возможно, выдумка. Но у нас на сей счет построже будут. Когда последний раз просматривали потрохи, у статистика Кчемина забрали два фунта сахарного песку и теплый вязаный жилет, без которого Кчемин заболевал коликами в желудке, объявив это «излишками».

Говорили, будто на сей раз отнимут все самовары, ибо медь нужна на пушки, и жена фельдшера Глумова, из Наркомздрава, свой брюхатый тщетно пыталась спрятать в пустом курятнике, присыпав, за отсутствием соломы, золой. А на окраинах бабки измышляли уж совсем бессмысленные вещи — будто чекисты гоняются за «прыгунчиками», у которых лицо ночью светится, ноги на пружинах, так что прыгать могут без натуги выше каланчи, и прибыли из американского царства, чтобы отомстить поругателям мощей святителя Трифона. Оживились все, хоть и боязно стало, но все-таки происшествие.

А автомобили гудели, свистели, рыскали, до вышедшей эссенции и лопнувших шин старались разыскать товарища Терехина. Обошли все отделы, подотделы, комиссии, коматы, ячейки города. Заглянули в музей, где Клик, наш художник признанный, объяснял двум ломовикам, пришедшим за отсутствием чайной малость обогреться, что есть фактура и есть конструкция. Увидев чекистов, Клик, будучи от природы крайне скромным, присел в уголок за какой-то глиняный шар с жестяной покрышкой, именуемый «Памятником Спартаку». Просмотрели общественный сад. Даже к Анне Николаевне, у которой иные чекисты получали шипучее и трубочки с заварным кремом, забежали, хоть и знали, что Терехин — страшнейший педант, даже от повышенного пайка осенью отказался. Пошарили за городом. К вечеру стало ясно, что это не что иное, как контрреволюция.

Исполком заседал почти до рассвета, чекисты к Анне Николаевне не пошли, а всю ночь честно работали, получив предписание арестовать заложников из среды буржуазии, духовенства и левых эсеров.

Взяли помощника присяжного поверенного Тугенштейна из комюста, по привычке — его всегда брали, обходилось дело тихо, почти любовно, и Тугенштейн на ночной звонок (даже телеграфистами не приходилось прикидываться) выходил сразу одетый, с подушкой под мышкой. Взяли еще лавочника Митрофана Саввича Романова, торговавшего прежде москательным товаром, а теперь кустарными изделиями, то есть половыми щетками, бисером и кислой капустой. Романова губила его явно неудобная фамилия, просил он разрешения именоваться впредь Краснолобовым, но ему было отказано ввиду паразитического происхож-

дения. Эти два были от буржуазии. От духовенства взяли одного протодьякона, да и тот идти не хотел, жаловался на паралич, валялся в ногах и цеплялся за дьячиху, завывавшую: «Прощай, Иона, супруг мой любезный!» Труднее всего было с эсерами — хоть город у нас порядочный, губернский, но эсеров в нем не осталось совсем, вывели давно. Весной семнадцатого на каждой тумбе эсер торчал, а теперь, как ни ищи, все равно не выкопать. Одних пристрелили при мятежах различных, другие сбежали, третьи коммунистами заделались. Имеется, правда, бывший студентик Пиликин, летом семнадцатого устраивавший в училище живые картины с сопроводительными речами приезжего эсера. Его можно прихватить, да, на беду, он этой зимой сидел уже два раза, как правый эсер, а теперь предписано ущемить левых. После долгих поисков изловили служащую продкома Леватидову, которая, по ее же словам, сочувствовала прежде эсерам, даже с Черновым, будучи в Питере, на митинге ласково перемигивалась, а последнее время полевела, словом, если и не совсем, то приблизительно.

Арестовать арестовали, весь город перетряхнули — Терехина не было. А находился он в месте, куда, конечно, уж никакой чекист, даже самый рьяный, заглянуть не надумал, а именно в общей камере губернской тюрьмы. Председатель исполкома — средь всякой белогвардейской шантрапы!

Чтоб это непостижимое происшествие стало ясным, необходимо остановиться на двух предметах: на особенностях натуры Терехина и на галантных авантюрах сторожа Емельича. Терехин был человеком мечтательным, не займись он еще в гимназические годы политикой, вышел бы из него уездный статистик, который посреди села, глядя на чушку и слюнтяя мальчишку, стравливающего сучек, прозревает душу природы и, приехав домой, читает на сон страничку о пантеизме Спинозы или еще в своей кухарке Луше чует Дульцинею плюс Вечная Женственность Соловьева. Человек, безусловно, возвышенный! Но в пятом классе прочел Терехин брошюрку «Пауки и мухи», возмутился нехорошим устроением мира и отважно порешил все переделать заново. Сначала таскал «литературу», потом был произведен в пропагандисты и восьми рабочим с кирпичного завода «Глашки», прерывавшим его нудными вопросами: «Вот как же

насчет землицы?», читал об историческом материализме, особенно цитируя «Анти-Дюринга». Вскоре он попал в тюрьму, и потом уж из семи лет до революции четыре с половиной года провел за решеткой. В тюрьмах читал он умные книжки, делал конспекты, и до одурения спорил с меньшевиками, защищая «отрезки» против муниципализации. В краткие промежутки, обретаясь на воле, он тоже срамил меньшевиков, уже на всяческих собраниях, и считался мастером составлять сложные резолюции с предпосылками, особенно нежно-родительски повторяя: «Принимая во внимание, что...» Ютился он на ночевках, а обедал, и то в самых дрянных харчевнях, лишь когда ему об этом напоминали: «Да, да, конечно, вы правы, питаться совершенно необходимо». Женщин совсем не знал, хотел как-то сойтись с какой-нибудь для идейной близости и совместной борьбы рука об руку, но запамятовал или времени не хватило.

Когда началась революция, сидел он далеко в Сибири. Приехав в наш город, сразу выступил с агитацией большевистской. Посему наши интеллигенты и объявили со всеми деталями, что получил Терехин лично от фельдмаршала Гинденбурга сто тысяч марок и золотые часы в придачу (стоит рассказать, что Терехин деньги не только ненавидел, но и держать боялся: когда раз очутились у него триста рублей партийных, он от забот расстроился, перестал читать «Анти-Дюринга» и наконец сплавил их секретарю).

В октябрьские дни, во время короткой перестрелки с кучкой офицеров, Терехин был серьезно ранен и полгода провалялся в госпитале. Потом поехал в Москву, писал до потери последних сил резолюции с пунктами, но был комитетом партии мобилизован для работы на местах и этой зимой вернулся к нам уже в качестве председателя исполкома.

Удивительно, какие есть люди,—ходят они по земле, шлепают по лужам, наступают на плевки и на прочую пакость, а все им кажется, что кругом цветочный луг с отменными благоуханиями. Хорошая вещь коммунизм, высокая, большие дела, верно, в Москве делаются, но вот мы в захолустье нашем, по обычной человеческой ограниченности, больше эти плевочки замечали. Терехин же радовался не власти и положению своему, ибо был кроток и скромен настолько, что никак не мог попросить заведующего складами выдать

ему кальсоны вместо сносившихся и солдатскими штанами стер всю кожу с ног, нет, радовался он величию происходящего. В качестве председателя исполкома приходилось ему заниматься организацией хлебопекарен, борьбой с сыпняком, поставкой крестьянами картошки. Но все эти будничные дела возводил он на многоэтажные сооружения своих «принимая во внимание...», и там парили они совместно с мировой революцией, воспитанием коммунистического юношества, гигантскими видениями нового потопа, безумного ковчега среди вод и прекрасного берега, который ясен и близок.

В памятный для всех обитателей города, особливо для дьякона Ионы, день, побеседовав с Браудэ, направился Терехин в клуб подростков, где должно было состояться литературное утро в память Розы Люксембург. Проходя по Павловской мимо тюрьмы, он остановился, охваченный воспоминаниями. Здесь, в этом сыром, стареньком остроге, прошли его юношеские годы. Терехин почувствовал нежность к кривой башенке с крохотными решетчатыми щелками. К этому примешивалась и гордость — мы разбили Бастилию, из застенков сделали неизбежный приют для дефективных детей общества. Взглянув на часы и подумав, что утро начнется уже безусловно не без опоздания, Терехин решительно постучал в тюремные ворота.

Начальника тюрьмы не было, а заменял его старший сторож Емельич, давний знакомый Терехина, немало пакостивший ему в свое время ночными обысками, ковырянием старой шашкой в тюфяке и даже залезаниями в рот — не припрятана ли там тайная записочка. Емельич ничуть не смутился, но, наоборот, всячески старался проявить свое удовольствие по поводу неожиданного визита.

— Обозреть пожаловали? Так-то оно лучше, чем изнутри, то есть при царе проклятом!.. Уж вы тогда мне высоким человеком казались, отменного поведения, я и брату говорил: «Арестант Терехин в люди выйдет». Проводить позволите?

Но Терехину Емельич вовсе не нравился; глядя на эти молодцеватые усы, вспоминалось больше нехорошее, и, показав для порядка свой мандат, он сказал, что пройдет в камеры один.

Здесь надобно перейти от титанических видений Терехина к мелким страстишкам Емельича. Не пил

человек, не курил, в карты никогда не играл, но зато был падок до баб, одно слово — бык! Если собрать всех девок, попорченных им за жизнь, целый город получится. Никакие опасности остановить его не могли. В деревне Пашевке парни избили его, прикрыв мешками, долго били, переломали ребро, после чего он и пошел в тюремные сторожа, потеряв, по его словам, к иным должностям телесные возможности. Три года тому назад, прельщенный арестанткой Фенькой, перевел он ее для удобства из тюрьмы к себе на квартиру. Фенька, случая не теряя, сбежала, и Емельича не только уволили, но и посадили под замок. Впрочем, пришла скоро революция, Емельича выпустили, и он, не смущаясь, причислил и себя и Феньку к политическим, после чего был восстановлен в своих прежних правах. Теперь Емельич был одержим жаждой смягчить сердце молодой наездницы одесского государственного передвижного цирка Дуни Левченко, или по афише Леонеллы. Он знал безусловно, что не устоит Леонелла перед усами, перед уменьем многоопытным и стишок повторить, и вовремя ткнуть в бок, перед неописуемым жаром дыхания. «Издали защекочу»,— ухмылялся он. Но, на беду, ходил с Леонеллой повсюду, ни на шаг не отступая, бывший боксер, а теперь инструктор по физическому воспитанию, некто Чуб с весьма недвусмысленными кулачищами. Тщетно две недели караулил Емельич, не пройдет ли Леонелла одна. И вот теперь, пропустив Терехина, выйдя за ворота проветриться, увидал он наездницу, которая покупала у бабы на углу Коровьего проулка моченое яблоко. Быстро передав ключи младшему сторожу Бугачеву, Емельич кинулся вдогонку, и далее пошло сплошное подтверждение всех бахвальств неотразимого усача. На срам Чубу, наездница была увлечена в каморку Емельича. Будучи по счету не сотой, а женщиной, которую встретил на своем веку Емельич, тысячной, Леонелла оказалась самой необыкновенной: недаром побывала она не только в Одессе, но даже в Бухаресте. Мог ли он, глядя на ее жаркие плечи, думать о каком-то Терехине? Только в понедельник, далеко за полдень, когда Леонелла решительно заявила, что пора ей, честной труженице, вернуться к лошадям (о Чубе же, хоть был он и главным обстоятельством, благоразумно умолчав), Емельич выполз нечесаный, оголтелый на улицу и там сразу узнал о потрясающих событиях.

Но все это было в понедельник, а в субботу Терехин, отклонив услуги Емельича, пошел по темному, пахнувшему парашей коридорчику. Прежде всего заглянул он в камеру уголовных. Посреди сидел рыжий детина, в одних портках, медленно, деловито похрустывая вошками, густо изукрасившими нежным серебристым бисером его волосатую грудь. Позади двое, очень юрких, скорей всего форточники, содружно плевались, истошно напевая:

Мы из Вязьмы два громилы
И в тюрьме недавно были...

Еще ругался кто-то так, как ругаться могут люди только свободные, досугами располагающие, то есть громоздя на бабку прабабку. Хоть картина эта Терехину, прошедшему через Бутырки, Лукьяновку, Самарскую и многие иные места, была знакома, он удивился, ибо давно уж о тюрьмах думал не по воспоминаниям, а по статье в «Вестнике Наркомюста», очень хорошей статье, с мастерскими игрушек, концертами и даже древонасаждением.

— Вы, товарищи, довольны ли советской властью? — спросил от растерянности Терехин, сам понимая, что глупый вопрос, никчемный, лучше б записать злоупотребления и в Рабкрин сегодня же послать, но так вышло. Прямого ответа не последовало, только детина, не выпуская из-под пальца очередной жертвы, громко, раздельно сказал:

— Власть!

Но в укор ли, в хвалу ли, или просто, чтоб сказать слово, так никто и не понял. Зато форточник, прошмыгнув вперед, пропел тоненько:

— Товарищ, разрешите папиросочку попросить, — и, сжимая добычу: — «Ява»-с. Первый деликатес!

От всего этого стало Терехину неприятно, захотелось уйти поскорее, сидеть в школе и слушать, как поют дети, звончатые, веселые: «Это есть наш последний...»

Он постоял еще в нерешительности на пороге «политической», но не вошел. Сколько трогательного связано с этой паскудной порой — здесь борцы сидели неунывающие, будильщики, и теперь увидать на знакомых нарах жандармов юлящих, палачей, трусов, убоявшихся великих свершений. Нет! Терехин прошел

мимо и громко, нетерпеливо постучал в дверь, выходившую в сборную возле конторы (тюрьма в нашем городе древняя, почти историческая, но уж без всякого комфорта и устройства примитивного). На стук к волчку подошел Бугачев, дремавший мирно на диванчике в конторе:

— Чаво шумишь?

Терехин пояснил вежливо:

— Товарищ, откройте дверь, я кончил осмотр камер!

— Ты что, сукин внук, буйствовать?.. «Кончил!» Вот я те кончу, живо харю разузорю!

— Как вы смеете, я не арестант, я председатель исполкома.

— Знаем вас, холуев, стримулятор ты, вот что!

Последнее определение было, очевидно, бугачевским откликом на подслушанное им как-то от тюремного врача интересное словечко «симулирует».

— У нас один зимой, хайло мавританское, господом богом себя объявил, громы испускал, хотели его в лечебницу свести, ну, я живо, без дохтуров вылечил!

— Вот мандат с печатью.

— Ах ты хлюст паршивый, я те за такие слова всю твою карточку припечатаю.— И, показав в окошечко свой кулак веса доброго, Бугачев пошел досыпать на диванчик.

«Ужасно обидно, весь день пропадет, в два исполком,— подумал Терехин,— ну, да к вечеру этот Емельич вернется на смену, или в городе хватятся. Пока что надо ждать».

И, поглядывая на мокрый коридорчик, где и присесть негде было, Терехин, скорей по привычке, поплелся в политическую, вошел, не здороваясь ни с кем, и мрачно сел на свободный краешек нар.

В раздражении он не глядел на заключенных. Слышно было шушуканье:

— Новенький!

Потом подошел к нему мальчишка в косоворотке и с достоинством спросил:

— Товарищ, вы партийный?

Терехин кратко пробурчал «да», а мальчишка представился:

— Беспартийный анархист, отрицаю цепи. Арестован за то, что в общественном саду не встал при

исполнении Интернационала и публично прямо сказал: «Выше всего свободная личность!»

«Статья сто двадцать девятая»,— пронеслось в голове Терехина.

За мальчишкой другие похрабрели — старикан бородатый ласково Терехина потеребил за ворот и ткнул в миску с холодной баландой.

— Похлебайте, миленький, натощак оно совсем неутешительно.

— Да, да, питаться необходимо,— как-то машинально ответил Терехин и стал честно глотать помоистую бурду, а старик в это время, пользуясь оказией, в сотый раз жаловался:

— Какой я преступник? Посудите сами, всю жизнь в повиновении пребываю. На именинах кума Чижина, столяр-белодеревец, не слышали? Распили мы бутыль ханжи, вот и поддался, оглупел до неуважительности. Побрел домой, а утречком очухался, смотрю — батюшки, где я? По воровскому в милиции! Ты, говорят, преступник, ночью на Главной улице кричал: «За тормашки Ленина вашего стащу!» — и прочее неповторимое. Ну, какой же я преступник, в таком злоключении, то есть от ханжи этой треклятой долго ли обмолвиться?

И снова Терехину вспомнилось: «Оскорбление величества... статья сто третья...» И потянулись мысли по этой дорожке: «У писаря веснушчатого нашли прокламацию «возрожденцев» каких-то, за хранение, значит, статья легкая, сто двадцать третья...» Так вошел Терехин в этот быт привычный, что даже задумался: по какой же он сам статье сидит? Но от этих вздорных раздумий был отвлечен ласковым возгласом:

— Товарищ Валентин, вы-то какими судьбами? Неужто раскрамольничались?

Рядом стоял давнишний приятель, спорщик неуемный, товарищ Игорь (или Исаак Львович Зильберман), закоренелый меньшевик, сиживавший не раз вместе с Терехиным. Нескрыто обрадовался Терехин, но и смутился, сам не зная почему, очень хотелось ему ответить, что он тоже плотно засел, по солидной статье, сто второй, что ли, но соврать не мог и виновато пробормотал:

— Я по недосмотру!

Сразу стали поминать старое — годы «объединенной», как на предсъездовских дискуссиях грызлись дру-

жески (Терехин с Урала большущий мандат раздобыл, а Зильберман промышлял все больше печатниками), как бегали по проходным дворам, устраивали в чайных явки, глотали папиросные бумажки с адресами (связи), как в Лукьяновке их обоих избил до крови надзиратель, а потом швырнул в карцер, где по ночам шныряли жирнущие крысы и залезали в ухо мерзкие мокрицы, как мечтали они оба — скоро, скоро кончится все это, будет по-иному, как — толком не расскажешь, даже понять не поймешь, но совсем по-иному... Обо всем поговорили, даже квартирную хозяйку Браво, спрятавшую Терехина во время обыска в узел с бельем, вспомнили, потом сразу замолчали. Зильберман думал о том, что все это почему-то, по случайности какой-то, по недомыслию вот таких Терехиных, близких, своих, не стало иным, а осталось прежним, с прежним пакостником Емельичем, шмыгающим по миру, с той же огромной парашей посреди всего. А Терехин просто болел глубокой, человеческой болью, которая начинается с шишки дитяти, захотевшего перелезть через забор, а кончается отчаянным предсмертным брюзжанием, когда кто-то невольно кладет на одну чашечку весов пятьдесят прожитых без толку лет, а на другую задорные вымыслы, диковинную веру молоденького паренька, не умеющего еще горбиться, припадать к земле и честно, безо всяких мудрствований плакать.

Снова заговорили, даже заспорили. Зильберман не менее Терехина умел закручивать саженные «принимая во внимание» и, обрадовавшись возможности, начал подводить под всяческие ошибки, под декреты, даже под Емельича некие «базы» с придаточными, скобками и выразительными «мы предупреждали». Терехин ясно понимал, что Зильберман несет чушь, что не в «учредилке» здесь дело, и легко бы мог, как некогда, крепкими ядрами диалектики разбить все эффектные пирамиды соглашателей. Но вместо этого он маловыразительно мычал, предоставляя Зильберману переживать радость легкой победы. Как мог он спорить с ним, он, Терехин, в роли почти жандармского ротмистра, с добродетельным, нелегальным, переживающим свой девятый или десятый провал?

Зильберман закончил эффектным напоминанием о прочности тюрем. Чувствуя себя уже арестантом, сразу войдя в привычный родной быт, Терехин ожи-

вился, расспрашивать стал: как сидится? по каким дням передачи? дают ли теперь книги из библиотеки, кроме замусоленного Патерика? шляется ли по ночам Емельич, решетки выстукивая и галстуки «по любви ко твари грешной» у особенно мрачных на всякий случай отбирая? С толком, входя в суть даже детали мельчайшей, отвечал на вопросы Зильберман: все по-прежнему, даже Патерик изъять позабыли, ни зверств каких-нибудь романтических, ни древонасаждений, тихо, мирно, тюрьма как тюрьма.

Вечер подошел. Уголовные притащили парашу и чан с кипятком. За неимением чая кинули яблоки сушеные, попили, залегли, голова к ногам в ряд. Прародителей помянув, Бугачев запер камеру. Пошло сначала тонкое, редкое подсапывание, потом густой, ровный, как бы спевшихся, храп. Только Терехин не спал, и виной сему были не облепившие его вши, не крепкий парашин дух, но совершенно ему несвойственные, неприличные даже мысли. Речи товарища Игоря его не поколебали, что ж меньшевику делать, если не причитать «а мы предупреждали»? Нет, не в этом дело, не в программах, не в тактике, не в резолюциях! Терехин тщился разрешить непосильный вопрос, в самую утробу залезть, допытаться, как же это так все устроено, помимо царей, меньшевиков и большевиков, что был Емельич, есть и, видно, во веки веков будет, ну подучится, усы сбреет, не будет пропадать, мошенник, среди бела дня, а все-таки Емельичем останется. Что это за паскудная болезнь: взрежешь только нарыв на голове, выскочит где-нибудь пониже. В чем же самая суть, последнее зло, чтоб ни жандарм его, Терехина, ни он жандарма ни в какие вшивые (так и ходят) закоулки не кидал бы? Хорошо этому Зильберману, он и тогда и теперь сидит, а вот ты оставь «принимая во внимание», начни сам сажать! Думал Терехин, но ничего, кроме белиберды, выдумать не мог.

Думал он и весь следующий день, старательно обходя дискуссии с Зильберманом, который все боялся не упомянуть о некоторых самых важных доводах, отмеченных на последней областной конференции. Своей судьбой он совершенно не интересовался и, хоть Бугачева сменил Кривич, добряк редкий, не сделал никаких попыток свое положение разъяснить и выйти из тюрьмы.

Снова пришла трудная ночь, с теми же срочными, но невозможными томлениями. Под утро что-то

переломилось внутри Терехина — надорвалась душа или просто не в меру устал человек, но сдался он, от дерзости розысков самой сути отступил. Понял одно, что зла ему не одолеть и мира (да, да, не семью, не городок наш, не Россию, уж если не себя, то обязательно мир) не спасти. Тогда он удерет, сдрейфит, как самый мелкий меньшевик, откровенно, не стыдясь даже. Да! Не хочет он строить дома,— прекрасный, светлый, лучше всех домов, что строили люди,— ибо будет в нем одна комнатка, пусть самая маленькая, но будет же — для нового Емельича. Лучше здесь сидеть, ниспровергать, протестовать, много легче, спокойней. Даже от одной мысли этой охватил Терехина такой покой, что, пристроив голову свою к колючим коленкам куцего Зильбермана, он уснул, спал долго, проспав утренний кипяток, вынос параши, баланду и проснулся только от робкого, но беспрестанного шепота Емельича:

— Товарищ председатель, простите великодушно, девочка у меня при смерти, не мог отлучиться.

Увидя, как грозный Емельич лебезит перед новеньким, старик, сидевший за «оскорбление», кинулся тоже к нему и стал умолять старость пощадить, «явить божескую!».

Со сна не сразу очухался Терехин от этих жалоб и извинений льстивых, а сообразив, что больше не спит и страшная минута, которую ждал он в трепете две ночи, наступила, мягко, но с твердостью безусловной сказал Емельичу:

— Я никуда не пойду, но останусь здесь!

— Как же это возможно? Простите вину мою! Девочка отходит уж, дух испускает, ослабел я. Вас ищут-то — весь город всполошили, к исполнению обязанностей не дождутся.

Озлился Терехин от сладости елейной, не сдержался:

— Иди к черту! Я никуда не вылезу отсюда! Я не председатель больше, заговорщик, вот как! Ниспровергать хочу!

Хоть и сознавал свое преступление Емельич, знал: не погладят по головке, но делать было нечего, явно Терехин или задумал против него страшные козни, или с перепугу рехнулся, побежал бедняга в чеку, да сразу сообразил, по важности, все четыре простых минуя, в «ОО». А полчаса спустя заведующий «ОО» лично

явился в камеру. Но Терехин, не признавая ни партийной дисциплины, ни дружбы давней, стоял на своем: идти на волю не хочу и с особенной любовностью повторял: «Ниспровергаю». Тогда на радость всей белогвардейской банде, часовые вежливо, но крепко под руки подхватили Терехина, вывели и усадили в крытый автомобиль.

— Товарищ Валентин переутомился от работы последних месяцев, четыре кампании и еще эти выборы на съезд,— сказал заведующий «ОО»,— мы его отвезем в дом отдыха.

Что ж, справедливость восторжествовала! Дорого обошлась Леонелла Емельичу, отплевываясь злобно, вспоминал он ее телеса в чеке, ожидая грозного допроса.

Выпустили к вечеру всех заложников, и взвыла дьячиха, увидав в окне незабвенную косичку:

— Святители преблагие! Отец Иона или привиденье дьявольское?—ибо была убеждена, что от этих извергов никто живым не выходит, даже панихиду заказала за упокой души.

Недели две только и было разговоров в городе, в учреждениях, в очередях, на всяком крылечке, что о пропаже диковинной, о террористе Емельиче и о покаявшемся грешнике Терехине. Сколько легенд развели!

Емельич, видите ли, был подкуплен румынами или японцами в предвидении десанта (а от нашего города до моря ох как далеко!). Даже не только Емельича, через Леонеллу самого Чуба, который от ревности и срама больным прикидывался, тоже пристегнули. Терехин, оказывается, хотел себя диктатором объявить и «порядок подлинный» завести. Сбежал он и теперь с повстанцами идет наш город осаждать. Все это, разумеется, чистейший вздор. Сидит Терехин в лечебнице, бывшей Фекельштейна, сидит тихонько, бежать никуда не пытается, только каждое утро, проснувшись, высовывается из окошка и кричит на петуший манер:

— Ниспровергаю!

Теперь надоело всем, бросили, а нового ничего не приключается. Вот, может быть, к Первому мая и вправду «излишки» отбирать будут или амнистию, что ли, объявят, все-таки разнообразие, а то со скуки умереть легко...

1921

«Ускомчел»

Хорошо будет другим историю писать: перенумеруют документики для порядка, разложат на столе просторном стопочками и пойдет «историческая неизбежность», наборщикам на утешенье. А вот у нас в Москве до сих пор еще многие коммунистов не за людей почитают, а за крокодилов на шарнирах, в наказание телеса до пупа обнажавших и голубей (Духа Святого поругатели!) пожиравших с горошком, ниспосланных. Конечно, галиматья явная — только и услышишь ее где-нибудь у лабазника бывшего на Вшивой Горке,— люди коммунисты, как и прочие, с причудами всякими, нашей породе свойственными. Есть и умники, так Ллойд-Джордж к ним в приготовительный и просится, есть звезд не хватающие, но честно по директивам на свадьбах причитающие, на похоронах трепака выводящие, есть прямо подвижники, от пши прелой сами запревшие, наподобие Серафима Саровского баню средь духовного подъема презирающие, есть и снобы, после трудового дня сигарку почитающие не за грех выкурить, с галстуками такими, что сам Брюммель бы ради оных сочувствующим стать не отказался; а есть и совсем обыкновенные — пока такой до декретов не дорвется, никто его за коммуниста не примет, человек как человек, даром что билет эркапевский в кармане.

Вот таким с виду невыразительным был и товарищ Возов, хоть стоял он на верхушке государственной пирамиды, там, где, стоя день и ночь, балансировать приходится, совнаркомщик безусловный! А посмотреть на него, скажешь: интеллигент, скорее всего саботажник. Одна бородка недосевная, в минуты патетические энергично выкручиваемая, чего стоит честная народническая бородка, так и сочатся из нее добродушие, этика, стихи Некрасова. Обманчивая видимость, ибо хоть Возов и предпочитал в душе «музу гнева

народного», то есть Некрасова в приложении к «Ниве», всем современным выкрутасам футуристическим, хоть и добродушен был до крайности, как Магомет, кошки не потревожил бы зря, хоть и без этики дня прожить не мог и, ввысь ударяясь, то есть в билет эркапевский новый декалог вписывая и в буднях честность блюдя, никогда чужими папиросами на заседаниях не пользуясь, но при всем этом был Возов не эсером белотелым, а чистой крови коммунистом, так что каждый эсер его бы с удовольствием ухлопал, если б цека ихний не запретил бомбами швыряться по соображениям дипломатии особой.

Но вот стряслась с Возовым беда, и кто знает, не те же ли эсеры всю хитроумную махинацию задумали? Очень они простодушны, на крылечке славянском об общине мирно калякают, а что при сем думают, неизвестно. Словом, эсеров ли козни или стечение обстоятельств неблагоприятное, но приключилось с Возовым нечто весьма странное и печальное. Началось все вечером 23 февраля 1921 года, в одной из комнат Николаевского дворца, где помещался рабочий кабинет Возова.

Мирно спала Москва, поеживаясь, калачиком свернувшись под рваными стегаными, байковыми, лоскутными одеялами, под тулупами вонючими, под всякой дрянью, горой накиданной, спала, не думая о феврале 24-го, ибо никаких заговоров, празднеств, даже выдач значительных не предвиделось. Но отнюдь не о сне благодетельном думал Возов, хоть тяжелели веки,— шестую ночь бодрствовал человек, все работал, работал. А в чем, собственно, выражалась работа эта — трудно сказать по сложности многоликой, дерзанию невероятному. Будь Возов наркомом Проса, то есть Просвещения, ясно, что он за шесть ночей не менее тысячи школ накрутил бы, ведай путями сообщения, опять-таки сомнения не было — так и сновали бы по столу дубовому электрические поезда, но Возов определенных функций не имел, а ум свой всеобъемлющий ко всякой диковине прикладывал. Какие только проекты и сметы не безумствовали нолями миллиардов пред припухшими от бессонницы вечной глазами. Сразу думал он и о воспитании соответствующем, немедленно в производство дитя вгоняющем, и об единомыслии необходимом всех людей, рабочую оппозицию и чувашей включая, и о регулиро-

вании грядущем рождений, в беспорядке свершающихся, и о многом ином, действительно титаническом, так что, выражаясь языком религиозным, хоть и неприличным в Кремле красном, но приспособленным именно для однородных случаев, можно сказать, что Возов, отделив свет от тьмы, творил, не мудрствуя, мир.

В вечер стоял несчастный Возов, мысли последние закончив, почувствовал необходимость синтезировать напряженные поиски свои и, как всякий честный коммунист, новое творящий, принялся рисовать организационную схему. Рисовать он, правда, не умел, вместо кругов получались груши с хвостиками, а вместо квадратов круги, то есть бублики поломанные. Но красивые схемы делает одна мелюзга, заведующий секцией живописных музеев в Пензе, например, или начальник информационного подотдела шахматного спорта при тверском всеобуче; там месяц с готовальней не разлучаются, не жалеют акварели, прямо картина выходит, так что пензенский ее, к слову будь сказано, покушался даже в музей за отсутствием экспонатов перетащить. А серьезные работники схемы чертят наспех, нервность и срочность выражая, не для красоты пластической, а исключительно для закрепления важнейших открытий.

Итак, Возов рисовал схему, но не учреждения какого-либо, не новой канцелярии, а самой сердцевины бытия — жизни человека, не безалаберного лодыря, разгильдяя кутерьмового,— нет, осмысленного, регулированного человека. Начиналась она с единого центра, вырабатывающего точно разверстку детей по губерниям и областям. Разбивалась в многогранности функций на сотни треугольников с ребрами труда, развлечений, отдыха и снова впадала в широкие ворота проектируемого по электрификации общей грандиозного крематория. Выходило изумительно: без заминки, без заковырочки пробегали люди по всем этапам, ни заблудиться, ни улизнуть никто не мог. Кончив работу, восторженно подумал Возов:

«Вот он, усовершенствованный коммунистический человек»,— по привычке слова сократил, так что вышло «ускомчел», и закрыл усталые глаза.

Через минуту открыв их, увидел он напротив себя самого себя, тоже с бородкой и деловитого. Больше удивленный, нежели испуганный и сходством разительным, и появлением неожиданным в столь поздний час, Возов запросил субъекта:

— Вы, товарищ, кто такой?

Субъект же, сцапав мимоходом портфель со стола, ответил:

— Я? Возов, ускомчел. А теперь мне пора по ниточке в следующий ромб переходить.

И здесь случилось наименее правдоподобное, а именно: ускомчел исчез сразу, не подходя к двери и не пользуясь окошком.

«Переработался,— подумал Возов,— надо беречь все же себя во имя дела».— И, взглянув на план вырисованный, уже лежа, еще раз прошептал:

— Здорово! Ускомчел! Только бы рабочая оппозиция не затеяла дискуссии.

Поспал хорошо товарищ Возов, и хоть прыгали во сне диаграммы, но на приличном расстоянии, отнюдь не тревожа. Зато пробуждение было неприятное: в одиннадцатом часу настоятельно забарабанил телефон и, сонный, в кальсонах, пробурчал Возов:

— Алло!

Басок, чересчур знакомый, ответил:

— Кабинет товарища Возова? Примите телефонограмму. Единогласие отправлений установлено, рабочая оппозиция ликвидирована, приступлено к ректификации черепов чувашей. Записали? Кто принял?

Возов спросонок, не вникая в суть, ответил:

— Принял Возов.— Для порядка больше спросил:— А кто подал?

Басок с предупредительностью, по слогам отчеканил:

— Подал Возов, ускомчел,— и трубку повесил.

Остался текст телефонограммы, явно нелепый, и еще воспоминание о какой-то ночной ерунде.

«Кто это пакостит? Уж не телефонная ли барышня?» — подумал Возов раздраженно, потом решил козни разрушить, то есть ничего не замечать, а поспешить на заседание особой комиссии.

Поспешил, но все же опоздал, к концу попал. Председатель как раз перерыв объявил, для составления резолюции. К Возову подошел товарищ Вуль и льстиво сказал ему:

— Я ведь совсем не в рабочей оппозиции. Прекрасный доклад вы сделали, ну кто теперь возразить сможет?

— Какой доклад? — взволнованно спросил Возов.— Я только что приехал, вы, верно, меня с кем-нибудь спутали.

Вуль решил, что Возов балуется, успехом довольный, и хихикнул:

— Да! Спутаешь вас с кем-нибудь! Вы как вцепитесь тезисом...

— Вздор! Вздор! — кричал Возов.— Какие там тезисы, говорю вам, я проспал, заработался. О чем резолюция? Только толком говорите!..

— О вашем проекте организовать Ускомчел.

Возов испуганно выбежал. Черт возьми! Ведь кто-то его нагло мистифицирует. Значит, вчера не приснилось, решительно какой-то прохвост шлялся и портфель с проектами стянул. Но как он мог в Кремль без пропуска прошмыгнуть? Возов побежал к будке у ворот и запросил, кому пропуска выдавали вчера ночью. Оказалось, прошли в Кремль: курсант Плешко, двадцати двух лет, и гражданка Учелищева, к заведующему клубом. Возов усомнился — уж не болен ли он, расстройство, может, выдумка, вздор. Тогда надо в руки взять себя. И опять, решив забыть происшедшее, отправился он в столовую Совнаркома. Но забвения никакого быть не могло, ибо заведующая не только заявила ему, что он уже пообедал, но еще прибавила, что вполне с ним согласна касательно замены битков с картошкой конденсированными калориями (заведующая курсисткой была и знала даже почище слова). Возов ужасно застыдился: вот она вздумает, будто он хотел съесть еще один биток, и, не пробуя оправдываться, побежал прямо к себе с твердым намерением либо вылечиться сразу, либо преступника изловить.

Дома он заперся, снял телефонную трубку и начал себя убеждать, что он, Возов,— один, учился в нижегородском реальном, из шестого был выгнан, в 1907 провалился, дельный, умный, эркапе, других нет, вздор, пять ночей не спал и прочее. Успокоившись, снова уснул, недоспанное сказалось, и проснулся поздно вечером, безо всяких звонков неприятных, свежий и крепкий.

— Ну, вот и вылечился,— потягиваясь, крякнул Возов, утренние страхи припомнив.

Но, собравшись снова на вечернее заседание, Возов увидел, что, лечись не лечись, портфеля с проектами не было. Ясно, здесь не декадентство какое-нибудь с двойниками мистическими, а самый паскудный заговор. Еще раз под стол слазив и обшарив углы, не обронил ли он ночью портфеля злополучного, Возов

подошел решительно к телефону и спросил по прямому проводу кого нужно, но, когда услышал строгое, деловое: «Алло! Коммутатор Вечека»,— вдруг сконфузился и ничего вымолвить не мог. Ну, как объяснить, что заговорщик не вышел в дверь, а исчез, будто кинематограф это, что он обед слопал и еще про калории что-то набубнил неподобное? Смехота, и только, серьезные люди, занятые, обидеться могут! И, не назвавшись, Возов бросил трубку.

Был готов Возов снова смертельно расстроиться, но вызволила мысль пойти к Тане Яншиной, дочери цекиста почтенного, жившей в соседнем монастыре, в бывших покоях игуменьи. Хоть и неприятно, когда говорят о людях, в шесть дней Творцу на зависть мир созидающих, обычных человеческих страстей касаться, необходимо здесь для освещения всего печального инцидента прямо разоблачить, что не только не был Возов к Тане равнодушен, но даже попросту влюблен, слепо и неистово, несмотря на тридцать четыре года и эркапесистость, совсем как пятиклассник какой-нибудь или, того хуже, тургеневский лодырь.

Вот еще занятие вполне приличное для внучат наших — пока историк будет декреты старенькие, точно ежи полысевшие, совсем не страшные, не спеша комментировать, примечание на примечание нанизывая, романист займется бытом вокзальным, закулисным пафосом, воистину циклопическим шурымурством великой эпохи. Бог его знает какое умозаключение под конец выпотеет — об упадке нравов или о воскресении неожиданном постниками умученного Эроса, во всяком случае, откроется перед глазами потомков новая Москва, не только схемы вычерчивающая, но еще способная целоваться взасос в героических антрактах, между двумя сальто-мортале декретов неожиданных, восстаний, боев, мировой суетни и прочих революционных будней. И кто знает, не позавидует ли девушка другого, счастливого века, в теплице, избытком одуряющей, тем усталым, голодным, подчас кровью замаранным или смерть ожидающим, которые срывали в дикой Москве скудные, минутные, трижды святые цветы любви, почти что невозможной?..

Впрочем, все это, конечно, относится ко временам далеким, а пока что, подобными обобщениями не задаваясь, быстро шел по пустынной площади Возов к Тане, к Тане ненаглядной, милой, с родинкой на шее,

с улыбкой такой детской, что, кажется, вот-вот цекист почтенный и то не выдержит от такой простой, необычайной радости, запляшет сдуру или расплачется, к Тане, не умевшей даже большевика от меньшевика отличить, но от одного слова которой забывал Возов все диаграммы свои, и сам, как ребенок, детские прозвища повторял, хлопая в ладоши или просто тихонько сидел, боясь шелохнуться, чтоб не рассыпалась Москва, монастырь старенький, Таня, любовь, любовь, всегда и везде хрупкая, как спичка на ветру, а здесь, в эти дни, столь необъяснимая, что нечеловеческие руки могли лишь укрыть ее от заметающей мир вьюги.

Войдя в низенькую беленую комнату, где табачный дым, кипы газетные, портреты неистовцев всего света как бы смешивались с невыведенным запахом ладана, с духом акафистов, чая липового и вздохов скоромных, образуя один туман веры, дикой алчбы, духоты, Возов успокоился мгновенно, о портфеле и ночном налетчике даже не вспоминая. Жадно глядел он на боковую дверцу, откуда должна была выйти Таня. Долго ждал. Часы на башне одиннадцать прозвонили. Наконец вышла Таня, заплаканная, сгорбившись, кутая в большой платок вздрагивающие плечики. Со вчерашнего дня как переменилась! Будто шла и шла, пела только, а вот выскочил кто-то, навалил ей на плечи ношу, двум такой не снести,— сломалась, идти пробует, с непривычки что ни шаг — хочется наземь упасть, заплакать: не могу! Вскочил Возов:

— Таня, что с тобой? Иволга моя родненькая!..

Но горько отстранилась Таня.

«Снова!» Страшное, не понимая еще, почувствовал Возов, в голове ветром закружились квадратики, кружки, тяжелый с замочком портфель.

— Я теперь все поняла. Вам не нужна любовь, только разверстка зачатий, пробирки химические. Чужой вы мне, может, все это так, прекрасно, верно... Когда вы ушли под вечер, я сбежала по лесенке, окликнула еще вас, вы не слыхали, но это по слабости — не вас, другого, вымышленного, не бывшего! А вы не нужны мне! Простите!

И еще более склонившись под ношей новой, вышла Таня из комнаты. Выбежал и Возов, шапку оставив на вешалке, прямо во двор, на площадь, стараясь безмерную боль и ужас не выдать звериным отчаянным воем.

Снег падал, заметая мертвый пустой Кремль. Силились одолеть его слеповатые окошки кабинетов, где

другие, еще здоровые и покойные, чертили стоэтажные схемы. Но белые, крупные, беспрерывно падающие хлопья душили крохотные огоньки. Только камни вздымались бойниц оскаленных, стен крепкобоких, кресты колоколен, будто изуверы, на костре вздымающие свое двуперстное знамение жизни, силе, солнцу, железу наперекор.

Возов сел на тумбу у собора Двенадцати Апостолов. Он больше не сомневался, не надеялся вылечиться, не помышлял изловить врага. Потеряв сейчас там, в беленькой горнице, самое важное, невозвратимое, он тихо, бесслезно плакал, а снег заносил его, желая стереть, смыть эту живую, чужую точку средь дивной пустыни. Древний Кремль как бы надвигался на Возова, довлея темным посмертием, вчерашним неоплаченным грехом. Из маленьких часовенок, церквей закоулчатых, низкосводчатых, из покоев царских и княжеских, с монахами, попивающими чаек у цариц, с замурованными, ослепленными, с огромными душными постелями, где ерзали на телесах порфироутробных монахи после чаепития, выползал желтый, жаркий туман. Это шла на пришельца Русь — молитвенница похотливая, каторжанка гулящая, крест на пузо, мир объедавшее, нацепившая, смиренница, молчальница, изуверка нежная.

Знал Возов — от нее не уйти. Разнюхает, вытащит, навалится большегрудая. Хотел он в страхе, будто пустынник крестом, оградить себя тем, что еще недавно было живым, необоримым — миром, им сотворенным, своим державным «да будет свет». Вспомнил он чудную схему, волей безумной вытащил из завьюженного белого города, чуть вздыхавшего шагами редкими за Москвой-рекой, грядущую жизнь. Но тогда началось самое ужасное. Огромные стеклянные дома, бетонные городища, пружинистые люди, скакуны в квадратных рубахах, смешались с игуменьями, с кельями, с подворьями, с былой полнотелой, любодеянной, кровавой суетой. Люди мигом насиживали просторные квадратики, и становились они уютными, жаркими, смрадными, как монашьи норы. Какие-то разгульные юнцы прорывали треугольники, а баба (хоть и профессор), голося над упокойничком, роя землю ногтями, разрыла под конец, раскидала последний безукоризненный круг смерти. Новое было в явной стачке с прежним, так что стерлась между ними грань,

и пошли безобразить у Чудова разновековые двойнички. А снег все валил, едва торчала над ним косматая голова соглядатая живого, бедного ребенка, чей яркий шарик, купленный за пятак на Девичьем, сморщился, завял, приник к земле, члена эркапе, товарища Возова.

Так бы, наверно, и замерз он на несоответствующем месте, если б не услыхал над самым ухом насмешливого баска:

— Что ж, товарищ, теперь переезжайте по крайней ниточке в крематорий, будьте ускомчелом.

— Стой! — отчаянно закричал Возов и кинулся за мерзким комедиантом. Но тот, подпрыгнув высоко, как вчера, исчез, расплылся в желтом небе.

Но не хотел на этот раз уступить одураченный Возов, не задумываясь, полез он на холодные, скользкие камни Ивана Великого, карабкаясь по-обезьяньи, завывая:

— Я тебя не выпущу! — А сравнявшись с куполом Благовещенским, не выдержал, оступился, тихо, будто снега ком, соскользнул вниз.

Что это? Эсеровские козни? Усталость от работы беспримерной? Или тяжкий отравный дух былой златоверхой, святошной крепости, где засели, у ворот посты выставив, разведчики иного века? Все может быть!..

А главное, зря погиб дельный работник, хороший человек. Когда хоронили его 26 февраля, сказал товарищ Вуль прочувствованное:

— Ему не суждено было войти в землю обетованную, хоть и был он истинным человеком коммуны.

Все присутствующие слышали тогда, как кто-то сзади за гробом, венком помахивая, всхлипнул в ответ:

— Ускомчелом!

1921

Пивная „Красный отдых"

Необходим анализ, прежде всего, граждане, необходим доскональный анализ. При ближайшем рассмотрении все разоблачается. Что такое пресловутая любовь, эти томики «Всемирной литературы» в папках или без папок? Совокупления капиталистических акул. Точка. Найдены токсины усталости. Поищите, и вы найдете микроба жизни. В особом растворе ухо, отрезанное ухо великолепно живет само по себе, без головы, сохраняя гул трамваев и агонию истлевшего собственника. Можно, наконец, жить вовсе вне времени: стоит построить мотор, равный скорости света. Здесь начинается вечность, не обман «живцов», которые под флагом социального милосердия распространяют все тот же опиум, нет, настоящая, строго научная вечность. Анализируйте, граждане, в свободные от работы часы. Если же напряжение интеллекта вызовет законную жажду, зайдите в пивную. Бутылка — сорок копеек. Анализ может продолжаться, среди трудового и нетрудового элементов, над измельченными теориями моченого гороха.

«Красный отдых». Отдых? Не верьте! Напряженнейшая работа мозгов, мышц, желудочных кислот. Отдыха вообще не существует. Даже сон — производственное задание дублеров жизни: фантазии (формула?), мечты (базис?), искусства (?). Даже смерть — это рациональное удобрение почвы и расчистка жилищной площади. В пивной до трех пополуночи воздух твердеет от интенсивности процессов. Еще бутылочку! Гражданин, до ворота наполненный солодовым настоем и энергией, обхаживает икса, чья идейность сказывается хотя бы в пришитых белых пуговках от кальсон или в пугливом прикосновении к пивной пене (совместимо ли?). Партия единых государственных флагов установленного образца. Вышитая эмблема. Медные наконечники. Размер пятнадцать на тридцать. За сто штук

двадцать пять червонцев. Пять процентов комиссионных. Дальше — барабаны. Замечательные пионерские барабаны, высшего качества. Справиться у Мейерхольда. На западе — фокстрот. Здесь же — красные стадионы. Мимо пивной трусят в купальных трусиках комсомольцы. Курносые облики повернуты к солнцу и к победе. Если престарелая Вафля и умрет от охальства, это исключительно недоразвитость. Красная физкультура — лозунг дня.

Пиво всем — комиссионеру скромному, комсомольцам, старой Вафле (с того света), рабкорам, мне, вам, сорок копеек бутылка. Рабкор, тот обличает: тащут мазут, тащут среди бела дня из баков. На линованном листочке скорее кончиком сосредоточенного языка, нежели вставкой: «Классовый эгоизм или, правду сказать, безусловный хищник, так что просим, товарищ редактор, его на черную доску, а после — куда Макар телят не гонял». Хвалитель барабанов пугливо озирается — очевидно, «барабан» и «Нарым» не совместимы. Зачем там флаг установленного образца пятнадцать на тридцать? Потряхивая локтями, по улице несутся комсомольцы. Громкое дыхание. Громкая жизнь. Пиво всем. Даже конструктору. Даже фининспектору. Даже «живцу». Только угодникам ни пива, ни гороху, потому что их нет, они фикция, обман.

Чаще всех в пивную «Красный отдых» заходил Александр Ильич Сахаров, столяр-краснодеревец, пятидесяти четырех лет, член профсоюза, беспартийный, причастный, однако, к культурному строительству. Звал он себя (и от других того же требовал) «гражданином Адамантом». Пиво пил умеренно, для процесса, между двумя глотками читая журнальчик «Смехач» или научную хронику «Известий». Беседовал с кем приведется, главным образом с хозяевами, вследствие текучести состава и длинноты иных сентенций, прерываемых на пятом или шестом придаточном уходом собеседника. С хозяином играл также в «дамки». Все шло хорошо. Анализ углублялся. Несмотря на налоги, пиво, просачиваясь, оставляло червонный слой. Вмешалось событие, само по себе радостное. Метафизическое закругление форм обозначило, что жена хозяина, Нюся Федосеевна (ну и выдумали!), ожидает приплода. Радоваться бы надо... Что же, радовались. Радовался хозяин, Иван Егорович, радовался и гражданин Адамант. Последний не бескорыстно:

человек жил анализом, в мирное семейное событие на Шаболовке он обязательно хотел вмешать пытливый дух. Результаты налицо. Впрочем, о результатах после.

Мокрицы, фита и ижица, «мокроступы» (из словаря), монашки, просфоры, паразитическая рать в союзе с банкирами Сити, как известно, многого испугались. Ходил прошлой зимой в пивную «Красный отдых» подобный нарост на теле, явный мистик, безусловно занятый обновлением икон или фабрикацией чучел, которые свиным пергаментом и конской челкой волнуют выживших из ума бабок. Тот видел в естественной перемене стиля сатанинский заговор: тринадцать дней похищены для вывода в инкубаторе «Красных дьяволят» (иллюзион «Спартак») из холодного семени книжника Леонардуса. Но что остается от подобных субъектов при трезвом свете науки? Пророка этого арестовали в пивной агенты МУРа за кражу со склада «Моссельпрома» копировального пресса и за совершение трех незаконных абортов. На допросе «инкубатор» исчез, и паразит преглупо бубнил: «Хожу на дом морить крыс и мышей, а молюсь обо всех, включая национальные меньшинства».

О таких и говорить не стоит. Моль, белесоватую труху мощей и мозгов, следует истреблять электрификацией. Гражданин Адамант если и осуждал новый стиль, то за несовершенство — отстает, и этот отстает! Надо регулировать с безусловной точностью. Суть в числе. Таковы последние данные цивилизации. Конечно, диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства прогрессивный факт, но необходимо снабдить ее высоким знаменателем. Исцеляют рак и подают сигналы планетарным товарищам — все при содействии известных таблиц. В темноте плоти — пот и отрыжка, летят стружки волос, стружки зубов, стружки чувств. Так делают дрянные столы для потогонных чаепитий. С числом выходит дредноут — металл держится на воде, как поплавок. Признание Франции? Очень приятно. Иван Егорович, бутылочку с моченым! Может быть, на пятьдесят четвертом году и гражданина Адаманта кто-нибудь признает, скажет: «Эта молекула фактически существует». Но подобными ли деталями интересоваться, когда остается минус бессознательного вращения Земли, вне всякого разумного контроля? Направлять бы ее по установленным рейсам, также ход народонаселения, пропорцию рождения и смертей, в виде лабораторной обработки сырья, то есть тканей.

Вот такие задания волновали гражданина Адаманта. Естественно, что беседы с Иваном Егоровичем, даже невинная игра в шашки насыщали пивной воздух копошением умственных бацилл.

— Дамка, она как идея, по диагонали ходит, не считаясь с начальной арифметикой. Выдвижение числа и твой полный разгром, Иван Егорович, на просветительном фронте. Сдавайся!

Бедный Иван Егорович, каково ему было это слушать. Можно стерпеть и несправедливые выкладки фининспектора, и чрезмерную жажду милицейских, и толки о конце нэпа, и штрафы, даже штрафы, но не такое углубление. Человек терялся, плошал, неуместно потчевал:

— Может, тебе воблы дать, гражданин Адамант?

Но, произнося последнее, сам чувствовал, что слова не те: «Адамант» — и вдруг «вобла»!.. Что, если вправду пиво здесь ни при чем. После семи фронтовых лет голова не одолевала даже отрывного календаря, где популярно излагались заслуги основоположника Фридриха Энгельса. Счетом пивных бутылок и пересудами о характере нового начальника милиции ограничивались бы его дни, если бы не гражданин Адамант, уплотнявший мозги мучительными своими проблемами. Атавистическая тоска подымалась в сердце калужского мещанина, и «беседы трех святителей», борода козла и борода Адама, даже устойчивость китов примешивались к загадочному «электрофону» или к «лучам икс». Он страдал. Он сам ел воблу и, корчась от жажды, но пиво жалея, пил воду, теплую, сомнительную воду, отдававшую металлом, который держится при помощи числа на волнах, как поплавок. О... «господи»? Нет, Иван Егорович не такой. О, вождь!..

Спасением должно было явиться указанное выше семейное событие. Наравне с животом Нюси Федосеевны росли и отцовские чувства. Накопление червонцев приобретало лирический оттенок. «Красный отдых» мог бы и впрямь стать отдыхом. Но дух гражданина Адаманта, этот универсальный хлопотун, был тут как тут. Только-только поделились с ним трогательными упованиями, как он уже начал анализировать. Вместо того чтобы выпить на радостях бутылочку за сорок копеек (и веселье, и будущему папаше прибыль), он немедленно приступил:

— Если сеют, скажем, клевер, не ждут тыквы. Так и с человеческим естеством. Ты вот знаешь, кто у тебя будет — сын или дочка?..

— Сынка бы...

— «Бы!..» Наукой вздохи превращаются в факт, причем не только половое обозначение, но и задатки, то есть жизненный путь. Зачем твоему сыну преть над моченым горохом, когда он может стать электроматематиком? Тогда-то все числа будут в его руках. Это тебе не пивные бутылки.

— Брешешь ты, гражданин Адамант! Насчет короля — верю. А бабе в нутро залезать — разве мыслимо это?

— Я брешу? Отсталость твоя брешет. Если бы не культурные начинания советской власти, ты бы меня и на костре сжег. При чем тут нутро? Здесь не в хирургии центр, а в числе, то есть в упрямой воле. Можешь журнал себе выписать через государственную книжную торговлю, два рубля — там все обозначено.

Иван Егорович отчаянно вздохнул, прощаясь с последней надеждой, с уютным копошением (как встарь) темной жизни, а гражданин Адамант принялся за работу. Все свое внимание он теперь отдавал Нюсе Федосеевне. Трогательное недоумение ее глаз, овощных и молочных, передававших исключительно естественное накопление отлагаемой жизни, не останавливало гражданина Адаманта. Начал он с простейшего, пугая полудремоту апатичной хозяйки внезапными и поэтому неправдоподобными, как гром в театре, выборками из таблиц умножения:

— Семью девять — шестьдесят три.

Нюся Федосеевна дрожала, и горох сыпался из рук ее мужа, ровный крупный горох, счет горошин, число, отчаянье.

Потом он принес купленный на Сухаревке старый учебник тригонометрии. Тоска Нюси Федосеевны оказалась окруженной страшными чертежами.

— Я ведь не понимаю этого.

— Все равно. Глядите и отдавайтесь упрямству цифр. Они входят сквозь поры сами по себе, как энергия света.

Не выдержав, Иван Егорович как-то взмолился:

— Может быть, не нужно, гражданин Адамант? Пусть будет столяром, что ли, как ты. Сил нет...

— Поздно, Иван Егорович. Вошло в гомункулус, обязательно вошло.

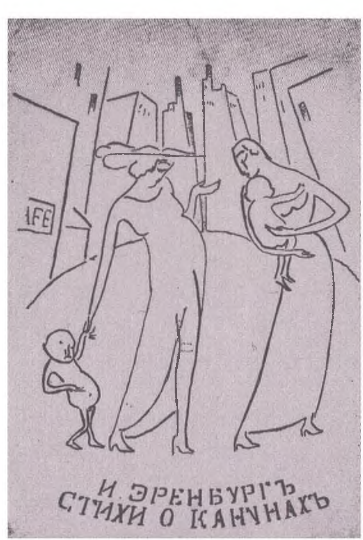
И говоря это, он вынул из кармана лотерейный билет. Перед травой и молоком беззащитной Нюси Федосеевны вырос тотчас же номер «685612».



Илья Эренбург. Париж, 1915 г.

Обложка петербургского журнала «Северные зори», где в январе 1910 г. были впервые напечатаны стихи И. Эренбурга.

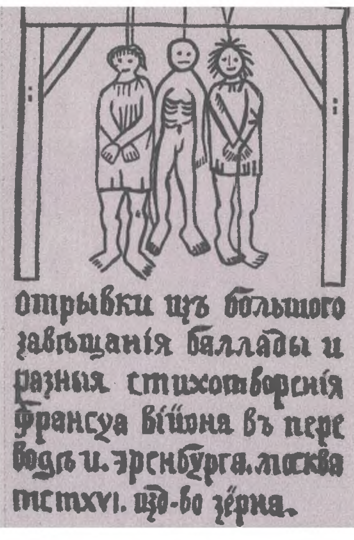




Обложка книги стихов И. Эренбурга «Стихи о канунах» (Москва, 1916 г.). Художница М. Воробьева-Стебельская.

Обложка книги стихов И. Эренбурга «Я живу» (издание товарищества «Общественная польза», СПб., 1911 г.). Художник В. Равич.





Обложка первого издания Франсуа Вийона в переводах И. Эренбурга (издательство «Зерна», Москва, 1916 г.). Художник И. Лебедев.



Илья Эренбург. Литография работы Диего Риверы (1916 г.).

Отпечатано въ ста нумерованныхъ экземплярахъ

№.....

И. Эренбургъ

Повѣсть о жизни нѣкой Наденьки и о вѣщихъ знаменіяхъ явленныхъ ей.

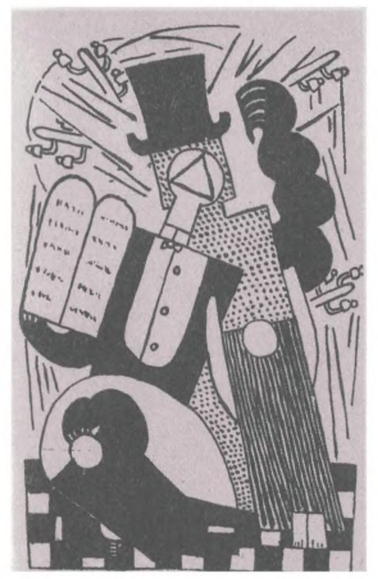
Портретъ автора и иллюстраціи работы Діего. М. Ривера

1916.

Титульный лист литографированной книги И. Эренбурга «Повесть о жизни некой Наденьки» (Париж, 1916 г.).

Страница рукописи «Повести о жизни некой Наденьки» (воспроизводится по литографированному изданию).

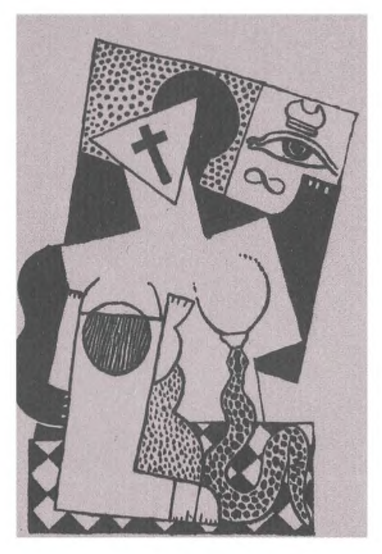





Иллюстрации Диего Риверы к «Повести о жизни некой Наденьки».

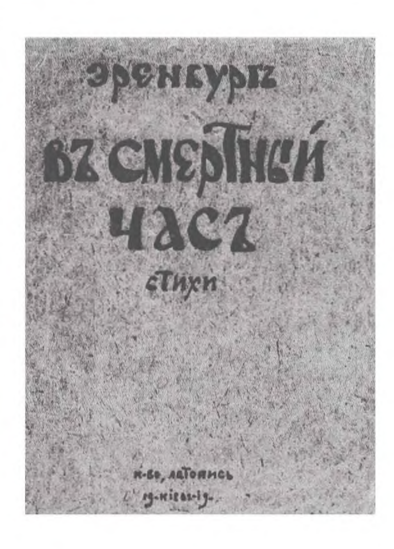
Иллюстрации Диего Риверы к «Повести о жизни некой Наденьки».



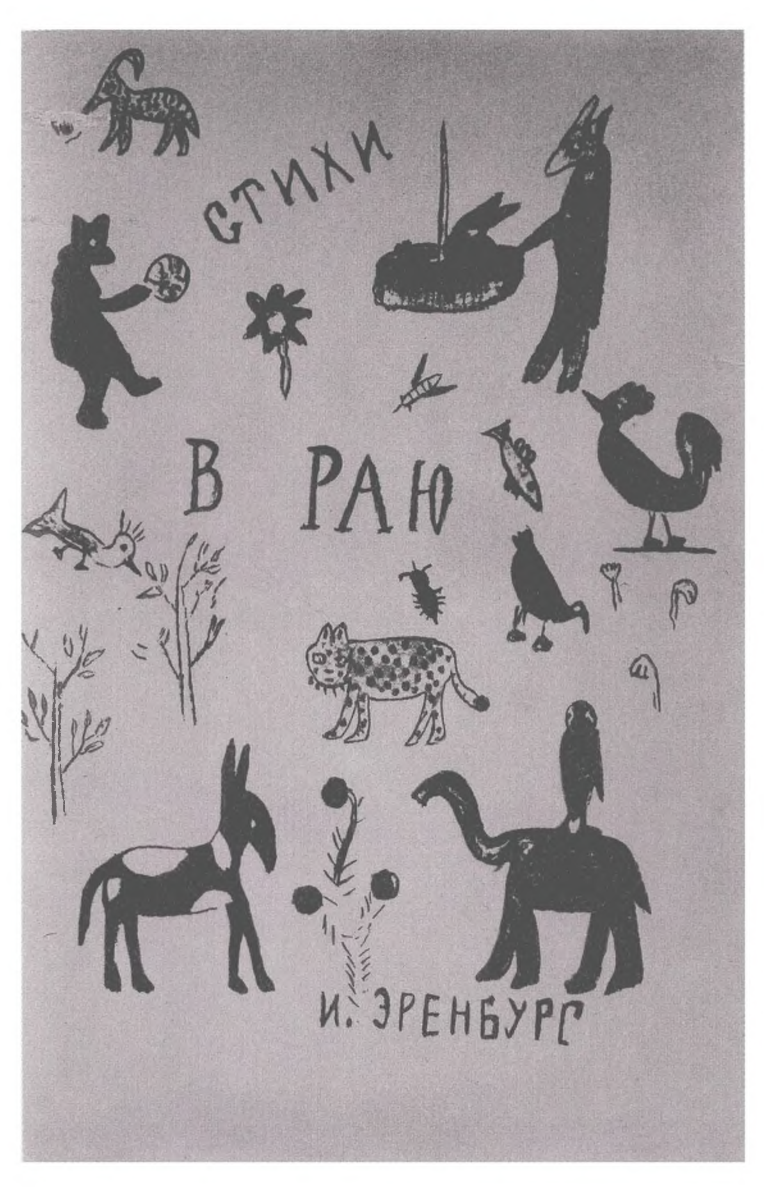




Обложка романа в стихах И. Эренбурга «В звездах» (Киев, 1919 г.). Художник Диего Ривера.

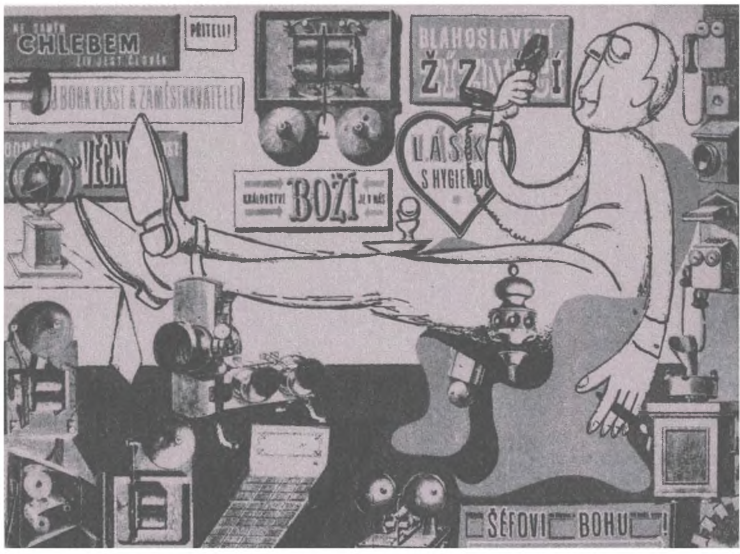


Обложка книги И. Эренбурга «В смертный час» (издательство «Летопись», Киев, 1919 г.).

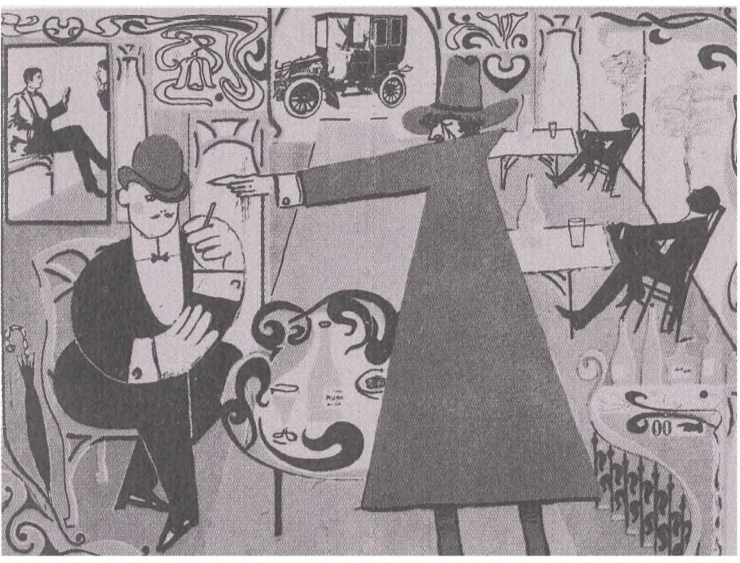


Обложка рукописной книги стихов И. Эренбурга «В раю» (Москва, 1920 г.). Художник И. Г. Эренбург. (Подлинник — ИМЛИ, фонд И. Г. Эренбурга.)

La Rotonde

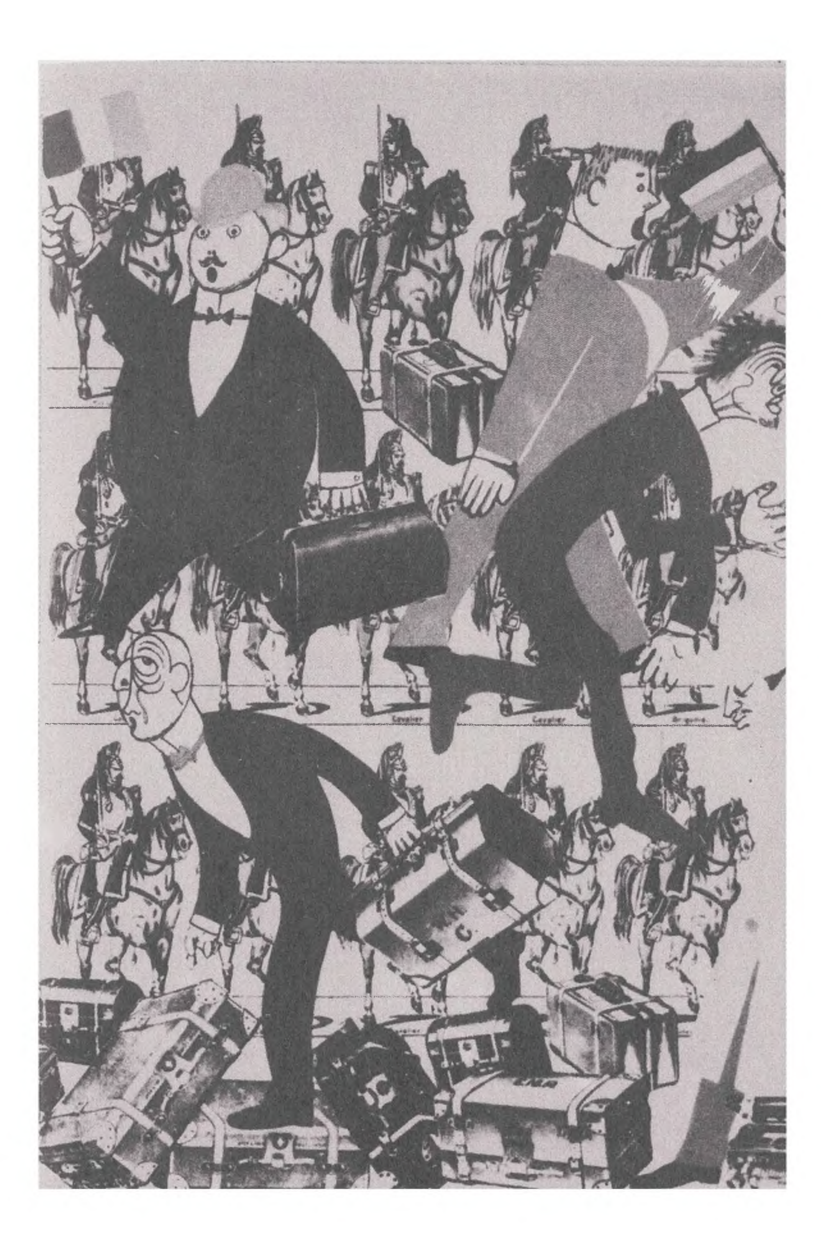


Иллюстрации Адольфа Гоффмейстера к роману И. Эренбурга «Хулио Хуренито», 1964 г. (воспроизводятся по изданию романа: Прага, 1966 г.).





Иллюстрации Адольфа Гоффмейстера к роману И. Эренбурга «Хулио Хуренито», 1964 г. (воспроизводятся по изданию романа: Прага, 1966 г.).


Cavalier
Cavalier



Иллюстрации Адольфа Гоффмейстера к роману И. Эренбурга «Хулио Хуренито», 1964 г. (воспроизводятся по изданию романа: Прага, 1966 г.).



Суперобложка книги И. Эренбурга «Четыре трубки» (издательство «Молодая гвардия», Москва, 1936 г.). Художник В. Милашевский.



Обложка книги И. Эренбурга «Трубка коммунара» (Госиздат Украины, Харьков, 1924 г.). Художник А Страхов.

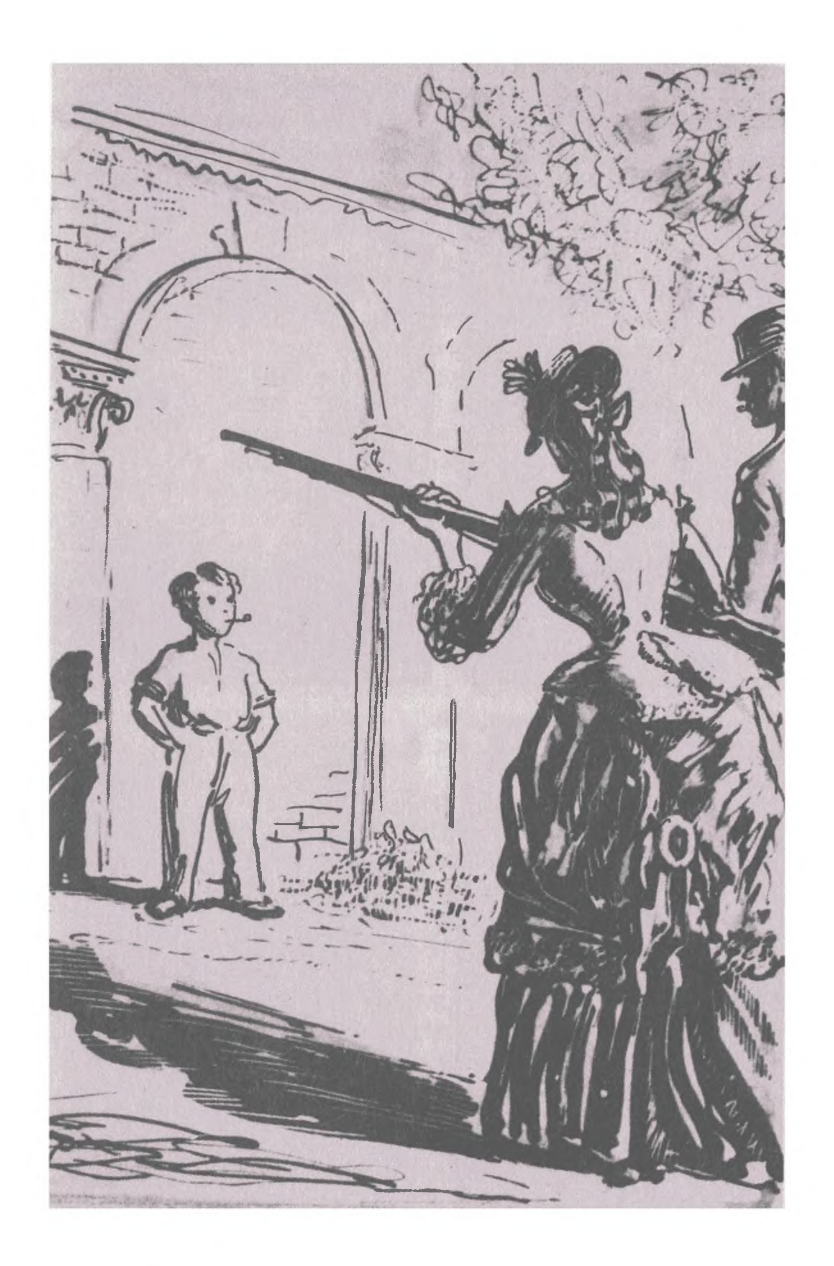




Обложка книги И. Эренбурга «Бубновый валет и компания» (издательство «Петроград», 1924 г.). Художник Д. Митрохин.



Обложка книги И. Эренбурга «Условные страдания завсегдатая кафе» (издательство «Новая жизнь», Одесса, 1926 г.).



Фронтиспис В. Милашевского к книге И. Эренбурга «Четыре трубки» (1936 г.).

Иллюстрации В. Милашевского к книге И. Эренбурга «Четыре трубки» (1936 г.).









Илья Эренбург. Рисунок Е. Кругликовой (Париж, 1912 г.). Публикуется впервые. (Подлинник — в фонде И. Г. Эренбурга в ЦГАЛИ.)

— Есть.

По ночам Нюся Федосеевна кричала, соединяя железные числа с богородицей и с зеленью лужаек, где безмятежно цветут кашка и колокольчики. Цветочные дисканты по-церковному повторяли «электрофон» и «гомункулус»: это в поры входило число, а из пор выходил злой пот ужаса. Опасались преждевременных родов. Обошлось, и 12 мая у владельца пивной «Красный отдых» родился младенец, как и следовало предвидеть, мужского пола. Веривший науке лишь наполовину, Иван Егорович сообразил: это не шутка. Вместо того чтобы радоваться, он только испуганно поглядывал на ангельски пустые глазки новорожденного и шептал:

— Вот она, электроматематика...

Октябрины отличались угрюмой сосредоточенностью. Нельзя назвать иначе как зловещими ауспициями вскрики Зета из «Кожтреста», после трех бутылок возомнившего себя астрономом:

— Эпилепсия планет и пошлый адюльтер спутниц. Статистам в «Аэлите» выплачивали по два рубля при полном ослеплении глаз. Спрашивается, какое же на Марсе социальное законодательство? И вообще, существует ли этот Марс, или он только оптическое воображение моей дезорганизованной мечты?

Имя. Наименование. Переименование. Улица Фридриха Лассаля. Столица Норвегии — Осло. Папиросы «Красный дипломат». «Месс-Менд». Кто же не понимает, что имя является предрешением дальнейшей судьбы. Иван Егорович — тот долго упрашивал:

— Назовем Ильичом. Хоть и отчество это, но ясный звук.

Говорил «назовем», понимая, что настоящий родитель не он, тупо, бессознательно возившийся по ночам с Нюсей Федосеевной в темной комнатушке, кислой от пивного духа и от мещанских грез, нет, другой, проходящий сквозь кожу и мясо, как дикие «лучи икс».

— Назовем!

Гражданин Адамант был, однако, непреклонен.

— Имя «Нумбер», то есть чрезвычайность числа и конечная победа. Будет управлять движением Земли — вот как!

Нумбер заумно пищал, еще свободный от грядущих заданий пупок был тривиален, но весь особенный,

как бы корректированный досрочным воспитанием. Ивану Егоровичу оставалось прибегнуть только к универсальной, как и жизнь, горечи пива. Опасаясь соприкосновения с числами, бутылок он не считал. Хмель отстаивался. В насыщенном растворе отчаяния намечались кристаллы. Посетители, понимая значимость часа, поддерживали хозяина спросом повторных бутылок и абстрактной бурей, звездной бурей уголовно наказуемых возгласов. Конструктивист. Хоть последний из могикан, держал спич:

— Несмотря на интриги ахрровцев, мы внедряемся в производство. Говорят, мой стул не годен для сидения. Вздор! Он вычислен. Он точен, как теорема. Виноват зад, исключительно человеческий зад, этот тупой ком бесформенного мяса. Не снижать выкладки до запросов седалища должны мы, но, превращая жизнь в трудовые процессы, видоизменить самое форму вислых мяс, сделать зад динамическим треугольником.

Продавали партию маринованных груздей, юпитеры для киносъемок, наждак, подшипники, любительские радиотелефоны, толь и темное, как портер, отчаяние.

В задней комнатушке над рассыпанным горохом вздыхала Нюся Федосеевна и, приступая к трудам, бессонный Нумбер кричал на санскрите или на грядущем воляпюке о сумме сумм, также об опрокинутой безумием восьмерке, о предполагаемой бесконечности.

— Когда восьмерка лежит на боку, тогда и конца нет,—подтвердил гражданин Адамант.

Иван Егорович тупо переспросил его:

— Конца нет?

После чего просто, будто сдирая серебряную капсулу с пивной бутылки, оторвал он голову своего страшного сына. Нумбер больше не кричал о сумме сумм. Земля лишилась грядущего регулятора. Посетители, еще ничего не зная, продолжали заливать пивом изжогу и печаль.

— Зовите милицию!

Это кричал сам хозяин, обычно пуще налогов боявшийся протокола. Кража? Скандал? Нет, огромное человеческое сиротство широкоплечего балды, тоска пяти пудов и тридцати пяти лет, калужское тесто, вобла, беда, да, беда: умер, умер Нумбер, первенец, Нумберчик, или Нумбик!

Пожалейте! У него был пупок, самый обыкновенный пупок!..

Детоубийцу увели. Возле пивной «Красный отдых» всю ночь стоял гражданин Адамант и плакал. Кто определит удельный вес этих невыносимых слез? Впрочем, анализ все устанавливает: влага, органические соли,— словом, выделение, то есть категорическая ерунда.

1926

Старый скорняк

Что такое Шехтель? Воспаленные глаза над грудой вонючих мехов. Скорняк это или библейское проклятье? Стоит только посмотреть на него... Впрочем, кто же станет смотреть на Шехтеля? И без того жизнь горька. Люди глядят на меховую шапку Горовича, или на красивых девушек, или же на свое собственное горе. На Шехтеля никто не смотрит. Из его глаз неизменно текут слезы. Но это не слезы скорби и не слезы умиления. Это стыдные слезы гноящихся век. Шехтель беден и уродлив. Он к тому же одинок. Смерть — известная сумасбродка. Она забыла о Шехтеле, и Шехтель остался над пестрыми шкурками. Он подбирает меха, и он думает.

Под окном шумят дни. Меняются мундиры, вывески, ассигнации. Но не об этом думает Шехтель. Он думает не о Боге, хоть он честный еврей, хоть он соблюдает все посты и в пятницу на его нищенском столе — взволнованные свечи. О Боге он не умеет думать. Он думает о самом простом: зимой о том, что дни короткие, летом о том, что они длинные. Старый скорняк выжил из ума.

Иногда к нему приходит племянник Мотька. У Мотьки горячие зрачки и комсомольский билет в кармане. Мотька смеется над Шехтелем:

— Скажи, например, почему вошь можно раздавить в субботу, а блоху нельзя?

Шехтель молчит, печально разглядывая темный мех. Он не знает этого. Он ведь не ученый раввин, он только последний скорняк. Пусть Мотя беседует с умными людьми. Но Мотька не унимается:

— Глупо придуман твой Бог, и пора бы его выкинуть, как керосиновую лампу.

Шехтель глядит на Мотьку. Он глядит беспомощно и трогательно. Он даже пробует улыбнуться — ведь мальчик, наверное, шутит. Из его больных глаз все

текут и текут ничего не выражающие слезы. Тихо говорит он:

— Зачем ты меня обижаешь, Мотя? Может быть, твой новый бог и придуман лучше. Я этого не знаю. Я слишком стар и глуп, чтобы читать твои листки. Но ты хороший человек и, значит, у тебя хороший бог. Оставь же меня с моей глупостью. За вами бегать мне поздно. А без Бога я не могу жить. Без Бога я буду только ругаться и горевать, как самый страшный злодей. Скажи, с кем я стану тогда разговаривать? С твоими напечатанными листками? Или с кровавым ножом? Или, может быть, с моим окаянным одиночеством? Пожалей меня, Мотя! Ты сам говоришь, что с вами весь мир. Много ли места занимаю я, и мои субботние свечки, и мои смешные слова?..

Нет, Мотьке не переубедить Шехтеля. Он и не очень старается. Он ведь занят делами поважнее: он переделывает заново мир. А Шехтель продолжает подбирать шкурки и повторять слова теплые, желтые, шершавые, как его щеки.

Под окном шумят дни, и наконец приходит один, ветреный, злой день. С утра противно скрипят обозы. Возле заборов жмутся смельчаки. Они читают великодушные воззвания победителей. Шехтель не читает воззваний. Он сидит без дела — никто не приносит заказов. Он сидит и думает: вот уж осень, дни становятся короче... Шехтель дряхл и туп. Он не думает о том, почему это так волнуются люди, почему скрипят телеги и мать Мотьки ревет. Нет, он думает о старой сумасбродке, о смерти. У него болит поясница и слипаются глаза.

Ночь заводится в узких проклятых дворах. На улице еще сверкают аксельбанты и бодрится крикливая баба со своими мочеными яблоками. А во дворах уже темно: ночь рвется на волю, чтобы придушить жалкий воробьиный день, и она наконец выбегает. Тогда-то раздается топот.

У победителей глаза, полные озорства и несчастья, серьги у них в ушах, охрипшие голоса. Они заходят в первый дом, глядя на груды пестрых и никчемных вещей, они, кажется, мирятся с жизнью. Не замечая перепуганного дыхания хозяев, они разрывают сундуки. Они комично чихают от нафталина. Заботливо проверяют они пробу на серебре. Перед затейливым кофейником или домотканой скатеркой они становятся трогательными домоводами. Вот они вышли. Они

улыбаются смущенно и недоверчиво, как после театральной феерии. А из узлов торчат яркие ленты, мельхиоровые вазы, голенища сапог.

Но вот второй дом, третий... Тоска ошеломляет победителей. Уныло отворачиваются они и от ваз и от лент. Ничто уже не может их развеселить. Как едкие костры среди степной ночи, разгораются сердца. Они мстят этим, мягким, кудахчущим, залезающим кто в курятник, кто в погреб, за других, мстят за свою злобу и сиротливость, мстят за сожженный хутор, или за убитого друга, или просто за ветер, за проклятый ветер, под которым должны они носиться, спать, убивать.

А люди?.. Люди кричат. Зачем?.. Что пользы в крике?.. Об этом они не думают. Они кричат просто и непоправимо. Крик одного подхватывается всеми, он заражает квартиру, этаж, и вот уже не человек кричит, кричит дом, высокий черный корпус, каменная коробка среди темноты и топота.

Сначала крик озадачивает победителей. Кого они зовут на подмогу? Только ветер отвечает невесело: «Черт с вами! Пропадайте!..» Но быстро они привыкают к крику. Он для них теперь часть огромной ночи, когда текут звезды и гудит земля, как грохот пушек и чад огней, как ругань, вши, печаль. Когда они выходят из дому, брезгливо отряхиваясь, дом молчит. Молчат все этажи, с ювелирами и с попрошайками, с седобородыми начетчиками и с запальчивыми подростками, вчера еще горланившими на сходках.

Шехтель живет на самом верхнем этаже крутого рабочего дома. Это далеко, это в Заречье, и к Шехтелю приходят под утро. Кричат, один за другим, нижние этажи. В соседней комнате воет часовщик Фукер — он оплакивает сорок злосчастных лет и часы заказчиков. А Шехтель стоит возле лампы. Он молится. Лампа выгорела и тяжело дышит. Сейчас лампа умрет. Но Шехтель знает слова на память. Он бормочет: «Да будет сладка и легка смерть перед тобой...» Эти слова ничего не означают, они пахнут пылью, гвоздикой, старостью. Они просто-напросто слова молитвы.

Тогда входит один из победителей. Это огромный дурень с двумя крестами на груди. Он печален, как вся ночь. Нарочно топочет он и даже пытается залихватски сверкнуть серьгой, но дыхание его полно тревоги: он дышит в лад лампе.

Увидев поблескивающий тускло штык, Шехтель пятится. На лице вошедшего опять усмешка: трусишь, гад!.. Он ведь не знает Шехтеля, он думает, что Шехтель и впрямь боится, что Шехтель, как другие, будет ползать по полу, выклянчивая жизнь, что будет он визжать о детках или о внуках, целовать будет пахнущие дегтем сапоги. Пусть помучается, собака!.. Может быть, это его сын сжег беленький хутор, далеко отсюда, в стране высокого солнца и золотой пшеницы?.. В ненастных глазах победителя посвечивает радость. А Шехтель пятится к окну.

— Убежать хочешь? Дудки!

Одна мысль у Шехтеля — дойти до окна. Он и не думает о бегстве. От кого ему убегать? От сумасбродки смерти? Но разве горше она этой остывшей старости среди мехов и усмешек? Нет, смерть сладка и легка. Но может ли старый еврей умереть, не вымыв рук? Может ли он подать Богу руку, всю перепачканную жизнью? С детских лет тяготел над Шехтелем суровый закон, и теперь вспоминает он последнее его предписание.

В окно уже просачивается грязный свет зари. Сальные облака обложили небо, и жалок рассвет среди вящей нищеты выпотрошенного города. Стекла запотели, на них несколько капель, серых и подлых, как все цвета этого часа. К оконным стеклам пятится Шехтель — он хочет выполнить свой последний долг.

Погромщик хохочет. Дурак, наверное, высунется в окно и будет звать на помощь. Как будто кто-нибудь поможет ему! Там, внизу, только угрюмые его товарищи, трупы, мусор: пух подушек, осколки зеркал, конец первой ночи.

Дойдя до окошка, Шехтель прижимает ладони к слезящемуся стеклу. Он трет одну руку о другую, и он улыбается. Он выполнил все, что предписывает суровый закон. Он протянет Богу чистые руки. И Шехтель ласково говорит:

— Теперь я вымыл руки, теперь вы можете меня убить.

Тогда внезапная злоба зачернила лицо простодушного победителя.

— Сволочи! Умереть — и то не могут!.. Нет, он еще всю душу из тебя вывернет!..

Яростно ударяет он старика прикладом. Шехтель падает просто и шумно, как стул. Но убийца уже не

может успокоиться. Бросив винтовку, бежит он вниз. Сидя на тумбе, товарищ его зевает и нехотя свертывает папироску.

— Старый черт!.. Руками зачем-то водил и смеялся... Не могу я этого вынести! Жить они мне не дают!..

Товарищ молчит. Он только зевает громко и одиноко, как пес. И победитель бежит по прямым, чересчур просторным улицам.

1927

Комментарии

Настоящее Собрание сочинений, осуществляемое к столетию Ильи Григорьевича Эренбурга, является первым посмертным изданием. При жизни автора собрания его сочинений выходили трижды. В 1927—1928 годах издательство «Земля и Фабрика» выпустило Полное собрание сочинений (вышли тома 1—4, 6—8, вобравшие избранную прозу Эренбурга, после чего издание было прекращено). В 1952—1954 годах ГИХЛ выпустил 5 томов избранных сочинений и, наконец, в 1962—1967 годах к 70-летию писателя вышло 9-томное Собрание сочинений, наиболее полно представившее его творческий путь. Нынешнее издание, несмотря на ограничение объема восемью томами, представляет творчество Ильи Эренбурга его высшими достижениями и при этом достаточно полно отражает основные этапы его литературной работы.

Проведенная при подготовке издания текстологическая работа позволила в ряде случаев восстановить подлинные авторские тексты.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Первое стихотворение Ильи Эренбурга датировано 1909 г., последнее — 1967-м. Между этими датами уместилась вся его творческая жизнь. Не все эти годы Эренбург писал стихи, но нельзя не согласиться с Б. А. Слуцким, сказавшим: «В самые значительные периоды своей жизни он писал стихи».

Эренбург начинал как поэт и в 1910—1921 годах был известен преимущественно как поэт, хотя с 1915 г. он систематически выступал в печати и как публицист. Успех романа «Хулио Хуренито» и последовавшей за ним прозы, а затем, с 1930-х годов, мировая известность Эренбурга-публициста вытеснили из сознания читателей представление об Эренбурге как своеобразном поэте. Характерно, что популярный в 1950-х годах сатирик в комплиментарной эпиграмме на Эренбурга от имени читателей «прощал» написанные им стихи, предрекая им неминуемое забвение. Время распорядилось иначе, и после смерти Эренбурга именно стихи и поэтические переводы были тщательно собраны и изданы.

Психологической особенностью Эренбурга-писателя была неспособность писать «в стол»; возможность сказать хоть малую долю правды своим современникам он предпочитал ничем не скованному разговору с гипотетическими потомками (для писателя, работавшего в условиях сталинской диктатуры, такая позиция не могла не быть губительной). При редкой плодовитости Эренбурга в его необъятном литературном наследии практически не оказалось завершснных неопубликованных произведений. Исключение составляли стихи. Эренбург не спешил их печатать и, хотя реальных возможностей издания он не упускал, все же писал их как бы для себя.

«Мои стихи — это дневник»,— сказал Эренбург в последней, седьмой, части мемуаров «Люди, годы, жизнь». «Если в книге воспоминаний я не раз останавливался на моих стихах,— продолжил он эту мысль,— то только для того, чтобы рассказать о самом себе. Стихи отвлеченнее и, вместе с тем, конкретнее прозы, в них можно рассказать о большем, не впадая в ту нескромность, которая всегда мне претила» (кн. 7, гл. 16). То, что Собрание сочинений Ильи Эренбурга открывается стихами, оправдано не только их самоценностью, но и тем, что они дают читателю ключ к прочтению его книг, к пониманию драматической судьбы писателя.

Поэтическое наследие Эренбурга включает около 800 стихотворений (поэмы и стихотворные драмы не входят в это собрание), из них около 600 приходится на 1910—1923 годы. Нынешнее издание, содержащее практически все стихи зрелого Эренбурга и наиболее значительные и характерные его ранние вещи, является самым полным из всех предпринимавшихся доныне сборников. Девять разделов представляют все этапы поэтической работы Эренбурга. В заголовки разделов (кроме первого и последнего) наряду с их хронологическими рамками вынесены названия основных поэтических сборников Эренбурга. При этом не все стихи, печатающиеся в данном разделе, входили в соответствующий сборник (одни печатались только в периодике, другие исключались из сборников цензурой, третьи переносились автором из книги в книгу); наконец, иногда раздел, названный по одному сборнику, включает стихи из нескольких, вышедших почти одновременно,— в этом случае для раздела выбрано наиболее представительное название.

Тексты большинства стихов печатаются по изданию: Илья Эренбург. Стихотворения. Библиотека поэта, Большая серия. Л., Сов. писатель, 1977 (ниже при ссылках — *БП*). Эта книга была составлена Б. М. Сарновым на основе изучения как прижизненных публикаций, так и рукописей автора. Тщательная текстологическая работа была проведена Е. И. Ландау; однако после трагической гибели в 1970 г. подготовленная им рукопись комментариев к *БП* исчезла, и книга вышла лишь в 1977 г. (подготовка текста и примечания Н. Г. Захаренко; в отдельных случаях здесь использованы эти

примечания). Первоначальные публикации указываются только для стихов, не вошедших в *БП*, или в тех случаях, когда они даны в *БП* неправильно. Уточнена датировка стихотворений.

Из первых книг
(1910—1914)

Литературная деятельность Ильи Эренбурга началась вдали от родины: участник революционного движения, он в декабре 1908 г. был вынужден эмигрировать; поселившись в Париже, вскоре бросил политическую работу, целиком посвятив себя сочинению стихов. Первые стихотворения появились в петербургских журналах в январе 1910 г.; весной с тетрадкой его стихов познакомился В. Я. Брюсов. «Ваши указания,— писал ему в ответ Эренбург,— послужили мне руководством для дальнейшей работы над стихами». В августе в Париже вышла первая книга Эренбурга «Стихи». Несмотря на ничтожный тираж (200 экземпляров), книжка была замечена русской прессой.

Рецензируя «Стихи», Брюсов хвалил мастерство молодого автора: «Среди молодых разве одному Гумилеву уступает он в умении построить строфу, извлечь эффект из рифмы, из сочетания звуков... Пока И. Эренбурга тешат образы средневековья, культ католицизма, сочетание религиозности с чувственностью, но эти старые темы он пересказывает изящно и красиво» [1]. Среди откликов на «Стихи» отметим высказывания М. Волошина, назвавшего Эренбурга ослабленным Гумилевым, и Н. Гумилева, высказавшегося о молодом поэте скорее отрицательно.

К лету 1911 г. у Эренбурга сложилась новая книга стихов «Я живу». Она вышла не позже сентября того же года в Петербурге; ее составили главным образом идиллические стихотворные впечатления от поездки в Италию (весна 1911 г.). «Эренбург сделал большие успехи со времени выхода его первой книги,— писал Гумилев.— Из разряда подражателей он перешел в разряд учеников и даже иногда выступает на путь самостоятельного творчества». Весной 1912 г. в Париже выходит новая книга лирики Эренбурга «Одуванчики». Былое увлечение средневековьем, итальянские сюжеты сменились в ней грустными воспоминаниями о детстве, о Москве. В. Ф. Ходасевич отметил, что новая книга Эренбурга «гораздо менее претенциозна, чем его предыдущие сборники». «Один из немногих, г. Эренбург понял, что от поэта не требуется исключительных переживаний»,— писал Осип Мандельштам.

---

[1] Русская мысль, 1911, № 2, с. 232—233.

Каждый год Эренбург выпускал новую книгу стихов, и каждая новая книга отрицала предыдущую. В «Буднях» (Париж, 1913) нет ничего от легкой грусти «Одуванчиков», это главным образом картины парижской жизни, подчас натуралистические до цинизма («Будни» были запрещены цензурой к распространению в России). Последняя из ранних книг Эренбурга — «Детское» (Париж, 1914) — посвящена французскому поэту Франсису Жамму, стихи которого Эренбург переводил и в 1913 г. издал отдельной книжкой. «Самой гармоничной и трогательной из книг Эренбурга» назвал «Детское» М. Волошин. Подражание Жамму, его безыскусной простоте, близости к природе было, кажется, последним на ученическом пути Эренбурга-поэта к собственным темам, к своему стиху.

«В одежде гордого сеньора...» (с. 17).— Впервые — «Стихи» (1910), открывало книгу.

«Как скучно в «одиночке»...» (с. 22).— *Остоженка, и в переулке // Наш дом...*— Семья Эренбурга жила в Москве в Савеловском переулке, перпендикулярном Остоженке; отсюда 30 января 1908 г. Эренбург был увезен в тюрьму и пробыл там до июля.

Верлен в старости (с. 29).— *Верлен* Поль (1844—1896) — французский поэт; Эренбург переводил его стихи.

Вздохи из чужбины (с. 31).— Этот цикл стихов, вызванных неосуществившимися надеждами на амнистию к 300-летию дома Романовых, был напечатан весной 1913 г. в журнале «Русское богатство» по рекомендации В. Г. Короленко. *Вандомская колонна* — воздвигнута в Париже в честь побед Наполеона; *Тюильри* — королевский дворец в Париже, большая его часть сгорела во время Парижской коммуны, и теперь на этом месте находится сад.

Стихи о канунах

(1914—1915)

Первая мировая война обозначила зримый рубеж в творчестве Эренбурга. По собственному признанию Эренбурга, именно в стихах 1914—1915 годов он впервые заговорил «своим собственным голосом». Войну Эренбург знал не только по газетам и жизни тыла — корреспондент «Утра России» и «Биржевых ведомостей», он не раз выезжал на франко-германский фронт. Невиданные прежде масштабы бессмысленной бойни, изуверство оккупантов, отвратительная волна национализма, моральная деградация общества создавали ощущение надвигающейся катастрофы, крушения идеалов гуманизма. Ощущение действительности как некоего бреда нашло отражение и в стихах, наполненных горечью, тоской, прозрением

и отчаяньем; расшатанная форма стиха была под стать его содержанию.

Книга «Стихи о канунах» сложилась уже в 1915 г.; издать ее в Париже Эренбургу было не по средствам; переговоры с русскими издательствами тянулись долго. Волошин, принимавший новые стихи Эренбурга, уговорил М. О. Цетлина дать средства на их издание, и в 1916 г. книга вышла в Москве.

Русская критика о «Стихах о канунах» писала мало. Для патриотических кругов «Стихи о канунах» были слишком непатриотичны, для леворадикальных — слишком религиозны. Можно было бы сказать, что критика не оценила «Стихи о канунах», если бы не замечательные статьи Брюсова и Волошина.

«Стихи о канунах» были достаточно далеки Брюсову, но, следя за работой Эренбурга с его первых шагов, он, сохраняя объективность, отметил и настойчивое желание автора сказать «свое», и «серьезное отношение к поэзии»: «Для И. Эренбурга стихи — не забава и, конечно, не ремесло, но дело жизни». Брюсов писал о крайностях и формы и содержания стихов. «Сознательно избегая трафаретной красивости, И. Эренбург впадает в противоположную крайность, и его стихи не звучны, не напевны... Боясь всякого лицемерия, всякой условности, И. Эренбург заходит слишком далеко и почти исключительно изображает лишь отвратительное и в своей душе, и в окружающих. Всего более привлекают внимание И. Эренбурга гнойники верхов современной культуры... И он с решительностью хирурга, вскрывающего злокачественный нарыв, обнажает в своих непоющих стихах и тайные порывы собственной души... и все то низкое и постыдное, что сокрыто под мишурой нашей благовоспитанности и культурности. Как положительное начало, поэзия И. Эренбурга противопоставляет этому религиозность, несколько в духе католической мистики» [1].

Волошин, хорошо знавший и понимавший Эренбурга, посвятил трем его книгам 1916 г. («Стихи о канунах», переводы из Вийона и «Повесть о жизни некой Наденьки») статью «Илья Эренбург — поэт»; в ней он нашел точные и глубокие слова: «Исступленные и мучительные книги, местами темные до полной непонятности, местами судорожно-искаженные болью и жалостью, местами подымающиеся до пророческих прозрений и глубокочеловеческой простоты. Книги, изуродованные цензурными ножницами и пестрящие многоточиями. Книги большой веры и большого кощунства. К ним почти невозможно относиться как к произведениям искусства, хотя в них есть и высокие поэтические достижения. Это — лирический документ... В них меньше, чем надо, литературы, в них больше исповеди, чем возможно принять от поэта... Проникнутый христьянскими символами и образом, он в каждой строке остается исполненным глубокого иудейского неук-

---

[1] Русские ведомости, 6 июля 1916.

ротимого духа. Богоборчество — один из основных родников его поэзии... В таких муках человеческая душа может разверзнуться, только когда сама человеческая история разверзается. И стихи Эренбурга, проникнутые духом «Плача Иеремии», могут служить психологическим свидетельством великого духовного запустения первых лет европейской катастрофы»[1].

О соборе Реймса (с. 34).— Реймский собор был варварски разрушен немецкой артиллерией в 1914 г.; *...плачет Каин || Над пеплом жертвенных даров.*— По Библии, Каин принес в жертву богу плоды земли, а брат его Авель — ягнят; бог отверг жертву Каина, а жертву Авеля принял, тогда Каин убил брата.

Гоголь (с. 35).— *Пьяцца Спанья* — площадь Испании в Риме.

«Когда еще не совсем стемнело...» (с. 37).— Наталья Алексеевна *Милюкова* — танцовщица, парижская знакомая Эренбурга и Волошина, посвятившего ей стихи «То в виде девочки, то в образе старушки...» (1911).

Ручные тени (с. 38).— Этот раздел в рукописи «Стихов о канунах» содержит 17 стихотворений; в книгу вошли лишь два: «Модильяни» и «Перед зеркалом»; в *БП* напечатаны 10 стихов; не опубликованы стихи, посвященные Б. В. Савинкову и Т. И. Сорокину, а также двум неустановленным знакомым Эренбурга. *Е. Ш.*— Шмидт Екатерина Оттовна (1889 — 1977) — первая жена Эренбурга; *М. Н.*— Милославская Мария Марковна, по первому мужу Немирова, впоследствии жена бельгийского писателя Ф. Элленса; *Инбер* Вера Михайловна (1890 — 1972) — русская поэтесса; парижская знакомая Эренбурга, напечатавшего ее стихи в своем журнале «Вечера»; «*Ленотра и смотра*» — рифмы из стихотворения Инбер «Раны Версаля»; *...не хмельную печаль, не чужое вино...*— Намек на образы первой книги стихов Инбер «Печальное вино». В. Инбер писала в воспоминаниях: «И. Эренбург взял на себя заботу о моей первой книге «Печальное вино». В Давос (там В. Инбер в 1912 г. лечилась от туберкулеза.— *Б. Ф.*) приходили его письма. Он писал мне о том, что мое «Печальное вино» он запивал с русскими рабочими типографии веселым французским вином, чтобы те быстрее набирали мои стихи. Надо сказать, что редкий издатель относился с такой заботой к начинающему поэту, как Эренбург ко мне. Это он привлек к оформлению «Печального вина» такого же молодого Осипа Цадкина, впоследствии известного скульптора»[2]; *Маревна* — Воробьева-Стебельская Мария Брониславовна (1892 — 1984), художница, парижская знакомая Эренбурга, Волошина, Савинкова, подруга Диего

---

[1] Речь, 31 октября 1916.

[2] Инбер В. Страницы дней перебирая. М., Сов. писатель, 1977, с. 377.

Риверы, автор воспоминаний «Life in two worlds» (London, 1962); *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867—1942)—поэт, Эренбург познакомился с ним в Париже в 1911 г.; *Волошин* Максимилиан Александрович (1877—1932)—поэт, художник, Эренбург познакомился и подружился с ним в Париже в 1912 г.; *Модильяни* Амедео (1884—1920)—итальянский художник, работавший в Париже, Эренбург познакомился с ним в 1912 г. Это стихотворение упоминает А. А. Ахматова в своих воспоминаниях о Модильяни; *В. Н.* —Немиров Валентин, поэт, автор книги стихов «В аду вечернем» (Париж, 1914), вместе с ним Эренбург выпустил в Париже два номера журнала стихов «Вечера»; *Королева Матильда*—королева Англии (1141—1153); *Бергсон* Анри (1859—1941)—французский философ; *Цадкин* Осип (1890—1967)—французский скульптор, выходец из России, парижский приятель Эренбурга; *Саломея* (библ.)—дочь царицы Иродиады, плясала перед царем Иродом и потребовала в награду голову Иоанна Крестителя.

Канун (с. 43).—*Успение*—день смерти Богородицы.

Над книгой Вийона (с. 44).—*Вийон* Франсуа (1431—1463?)—французский поэт, один из самых любимых поэтов Эренбурга, его стихи и, в частности, «Большое завещание» он переводил и в 1910-е и в 1950-е годы; Вийону посвящено эссе во «Французских тетрадях» (см. т. 6 наст. изд.); *туренское вино.*—Турень—провинция на западе Франции; *Трижды // От Него отрекся Петр.*—По Евангелию, Иисус предсказал, что в ночь, когда он будет схвачен, один из его учеников, Петр, трижды отречется от него.

Двадцать пятого марта (с. 44).—Церковный праздник Благовещения Богородицы, девять месяцев спустя отмечается Сочельник—канун Рождества Иисуса Христа.

«Майское утро, и плачет шарманка...» (с. 45).—*Рембо* Артюр (1854—1891)—французский поэт; в возрасте 19 лет Рембо бросил писать стихи; в эфиопском городе *Харраре* он служил в торговой фирме; Эренбург перевел несколько его стихотворений; *пьяный корабль.*—Имеется в виду знаменитое стихотворение Рембо «Пьяный корабль».

«Слышишь, как воет волчиха...» (с. 47).—*Моравская* Мария Людвиговна (1889—1947)—поэтесса, эмигрантка; в 1946 г. в письме Эренбургу, когда он был в США, напомнив о посвященном ей стихотворении, писала: «Вы теперь славный политический деятель, но я о Вас думаю как о молодом поэте в Париже...»

«Ни к богатым, ни к косматым...» (с. 48).—В «Стихах о канунах» посвящено Белле—Изабелле Григорьевне Эренбург (1885—1965), сестре Эренбурга, в 1910-е годы много помогавшей ему в публикации его стихов в московских изданиях.

После смерти Шарля Пеги (с. 49).—*Пеги Шарль* (1873—1914)—французский поэт, погибший в сражении на реке Марне.

В августе 1914 года (с. 50).— *Зуавы* — вид легкой пехоты во французских колониальных войсках, формировавшихся в Северной Африке из французов и арабов.

В пивной (с.51).— *Семьдесят пять* — калибр пушки.

Ars (с. 52).— *Но в душе не осталось золота, // Чтоб отлить иного тельца.*— Согласно Библии, евреи во время исхода из Египта усомнились в вере в бога Яхве и попросили Аарона сделать им нового бога; Аарон отлил фигуру золотого тельца, которому народ стал поклоняться.

Где-то в Польше (с. 53).— Впервые — «Стихи о канунах»; *Тора* — древнееврейское название Пятикнижия (то есть первых пяти книг Библии — Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), созданного в IX—VII вв. до н. э.

Отходное (с. 54).— *«Ротонда»* — кафе на Монпарнасе, где собиралась парижская художественная богема; *«Я живу», «Одуванчики»* — названия второго и третьего сборников стихов Эренбурга.

Прости меня — блудливого (с. 56).— *Боттичелли* Сандро (1445—1510) — итальянский художник; «Рождение Венеры» — одна из его знаменитых картин.

Прости меня — богохульника (с. 57).— *Петр* — один из 12 апостолов Иисуса Христа; *Озирис* (Осирис) — древнеегипетский бог.

Баллада об Исаке Зильберсоне (с. 63).— Впервые — альманах «Еврейский мир», № 1, Москва, 1918; *Эз* — деревушка под Ниццей, где в 1915—1916 годах Эренбург подолгу жил со своими близкими.

Пугачья кровь (с. 67).— В *БП* ошибочно датировано 1916 г. «Пугачья кровь» — это потрясающее пророчество о великой разрухе русской земли,— писал М. Волошин,— и, конечно, сам автор не ожидал, что оно осуществится так быстро и в такой полноте, что этот шабаш вокруг Пугачьей Головы... воплотится немедленно»;[1] *Пугач* — Пугачев Емельян Иванович (1742—1775), предводитель крестьянского восстания, казнен в Москве четвертованием; *чистый четверг* — последний четверг Великого поста.

Молитва о России
(1917—1919)

Вынужденная восьмилетняя эмиграция не помешала Эренбургу постоянно ощущать себя гражданином России. Как и большинство русских эмигрантов, известие о Февральской революции Эренбург встретил с энтузиазмом; черед возвращаться домой ему выпал на лето 1917 г., и он оказался в Петрограде в разгар июльских событий. За короткое время перед глазами Эренбурга прошли Пет-

[1] Камена, 1919, № 2, Харьков, с. 21.

роград, Москва, Крым, разгром июльского выступления большевиков, корниловский мятеж и, наконец, октябрьский переворот. Эту цепь событий Эренбург воспринял как гибельную для России. Осенью и зимой 1917—1918 годов он писал стихи, которые воспроизводят тогдашнее его отношение к происходящему; их главная и единственная тема — Россия и Революция. 13 декабря Эренбург сообщал из Москвы Волошину: «Пишу стихи на современные темы. Хотелось бы их даже теперь же выпустить популярной книжечкой для широкой публики (содержания ради)»[1]. Книга «Молитва о России» вышла в Москве в январе — феврале 1918 г.

Весь 1918 г. Эренбург продолжал писать стихи и одновременно печатал в эсеровских изданиях резкие статьи («Большевики в поэзии», «Тихое семейство», «Льстецы «его величества», «Карл Маркс в Туле» и др.). В сентябре 1918 г. ему пришлось бежать из Москвы. 30 октября 1918 г. он писал Волошину из Полтавы: «Несмотря на распад, я много и порой лихорадочно работал — жаль, что не могу прочесть тебе написанного. Думаю, что книгу «Молитва о России», вышедшую зимой еще, ты получишь. Кроме нее я написал роман (в стихах) «В звездах», большую мистерию «Золотое сердце», много стихов и тьму статей»[2].

В 1919 г. в киевском издательстве «Летопись» Эренбург под названием «В смертный час» переиздал «Молитву о России», включив в нее 8 стихотворений, написанных в Москве в 1918 г. Вскоре в гомельском издательстве «Века и дни» вышел сборник «Огонь» — стихи Эренбурга 1918 и весны 1919 гг. Тон стихов 1919 г. стал менее истеричным; в них, как и в киевской публицистике, Эренбург в разгар кровавой гражданской войны пытался найти некий, промежуточный между коммунистическим и монархическим, путь демократического развития России. Иллюзорность этих поисков ему пришлось осознать довольно скоро.

Все отклики критики на «Молитву о России» имели откровенную политическую окраску. В статье «Братская могила» Маяковский, незадолго перед тем обруганный Эренбургом в статье «Большевики в поэзии», назвал «Молитву о России» «скушной прозой, печатанной под стихи», а ее автора — «испуганным интеллигентом». Семен Родов в 1926 г. назвал «Молитву о России» «одним из самых ярких литературных памятников контрреволюции». Либеральный лагерь, напротив, принял «Молитву о России» близко к сердцу. «Чтобы так говорить о России, как говорит Эренбург, надо любить ее глубоко и мучительно,— писал рецензент «Русских ведомостей»,— и надо с острой сердечной болью переживать то, что сейчас происходит...»

---

[1] ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1338, л. 33.

[2] Там же, л. 38.

Из всех знаменитых поэтов, откликавшихся прежде на эренбурговские сборники (Брюсов, Гумилев, Волошин, Ходасевич, Мандельштам), один только автор «Стихов о терроре» посвятил «Молитве о России» большую статью «Поэзия и революция. Александр Блок и Илья Эренбург». «Эренбург — поэт пророческих видений, поэт гневного сарказма, циничный и стыдливый, грубый и нежный, жестокий и жалостливый, в своих религиозных исканиях всегда находящийся на грани разрыва с искусством вообще и только против воли остающийся в границах поэзии, которые всегда стремится преступить, почти презирая себя за то, что он еще поэт. Он наделен безжалостно четким видением действительности, которая постоянно прорывается и разверзается под его взглядом»,— так писал в самый пик гражданской войны Волошин; отметив, что «Молитва о России» строится вокруг двух идей — Родины и Церкви, идей, очищение которых началось, по его мысли, в пафосе национальной гибели, Волошин счел необходимым коснуться и такого момента: «Никто из русских поэтов не почувствовал с такой глубиной гибели родины, как этот Еврей, от рождения лишенный родины, которого старая Россия объявила политическим преступником, когда ему едва минуло 15 лет, который десять лет провел среди морального и духовного распада русской эмиграции; никто из русских поэтов не почувствовал с такой полнотой идеи церкви, как этот Иудей, отошедший от иудейства, много бродивший около католицизма и не связавший себя с православием... «Еврей не имеет права писать такие стихи!» — пришлось мне однажды слышать восклицание по поводу этих поэм Эренбурга. И мне оно показалось высшей похвалой его поэзии. Да! — он не имел никакого права писать такие стихи о России, но он взял себе это право и осуществил его с такой силой, как никто из тех, кто был наделен всей полнотой прав» [1].

«Я не оплакивал ни имений, ни заводов, ни акций: я был беден и богатство сызмальства презирал,— писал Эренбург в мемуарах о том времени.— Смущало меня иное. Я вырос с тем понятием свободы, которое нам досталось от XIX века; со школьных лет я уважал неуважение, прислушивался к голосу ослушников. Я не понял, что меняются не только порядки, но и понятия, новый век многое принес и многое унес, а я пытался подойти к завтрашнему со вчерашней меркой» (кн. 2, гл. 4). В 1960-е годы, когда это было написано, неприменимость «вчерашней мерки» никто публично не подвергал сомнению.

Молитва о России (с. 69).— Впервые — в одноименном сборнике.

Судный день (с. 71).— Впервые — газета «Мысль», 15 января 1918 г.; печатается по сб. «Молитва о России». *Судный день* — по

---

[1] Камена, 1919, № 2, Харьков, с. 10—28.

Библии, день Страшного суда, когда бог призывает к ответу всех смертных; *Савл* — еврейское имя апостола Павла; *Гороховая* — улица в Петрограде, где размещалась ВЧК; *Циммервальд* — имеется в виду проходившая в 1915 г. в Циммервальде Международная социалистическая антивоенная конференция.

В ноябре 1917 (с. 76).— Впервые без названия — Труд, 24 декабря 1917 г., печатается по сб. «Молитва о России».

Осенью 1918 года (с. 82).— Впервые — «В смертный час».

«Я не знаю грядущего мира...» (с. 85).— Впервые — сб. «Кануны», Берлин, 1921 (в роман «В звездах» и в сб. «Огонь», как ошибочно указано в *БП*, не входило).

Раздумья

(1919—1921)

В этом разделе печатаются стихи, которые в сборниках 1921—1922 годов составляли четыре цикла: «Ночи в Крыму», «Московские раздумья», «Путевые раздумья», «Зарубежные раздумья» (всего — 37 стихотворений); за их названиями стоит география перемещений Эренбурга в эти годы, в которой была своя закономерность.

Вспоминая жизнь в Коктебеле в 1919—1920 годах, где он общался с Волошиным, Мандельштамом, Вересаевым, Эренбург признался, что не они были его главными собеседниками: «Со дня моего приезда в Коктебель меня ждал главный собеседник — тот Сфинкс, что задал мне вопросы в Москве и не получил ответа... Я начинал понимать многое; это оказалось нелегким... Самое главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем «историей», убедиться, что происходящее не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей, то есть перешагнуть из XIX века, в котором, сам того не сознавая, я продолжал жить, в темные сени новой эпохи» (Люди, годы, жизнь, кн. 2, гл. 13). Продуманность этих слов не делает их неуязвимыми, однако смысл идеологического сдвига Эренбурга они передают точно. Стихи, которые Эренбург писал в Крыму, и были попыткой ответа тому Сфинксу. Надрыв времен «Молитвы о России» кончился; с «Раздумьями», чем дальше, тем больше, поэзии Эренбурга возвращалась определенная сдержанность.

Весной 1920 г. Эренбург бежал из врангелевского Крыма и добрался до Москвы; после знакомства с внутренней тюрьмой ВЧК, которое, по счастью, кончилось освобождением, Эренбург работал в Наркомпросе. Он продолжал писать стихи, не имея возможности их издать; не получалось ничего и с писанием давно продуманного

романа «Хулио Хуренито». Выход нашелся в марте 1921 г., когда Эренбург получил заграничную командировку для работы. В Риге он издал книгу стихов «Раздумья» (через год ее переиздали в Петрограде). Летом 1921 г. в Бельгии Эренбург продолжил цикл стихов; под заголовком «Зарубежные раздумья» они были напечатаны в сборнике «Кануны» (Берлин, 1921), а в 1922 г. под тем же названием вышли в московском издательстве «Костры».

Отечественная критика отнеслась к новым стихам Эренбурга положительно — сдвиг автора в сторону приятия революции был очевиден. В зависимости от облюбованного словаря критики называли этот сдвиг «сменовеховством в поэзии», «признанием правды пролетарской революции» или «медленным стремлением от безысходного пессимизма». Среди эмигрантских откликов отметим вполне дружескую рецензию Романа Гуля: «Весь Эренбург теперь с красной Россисй сегодняшнего дня, и ее неведомый путь — свят ему. Но в подлинном приятии революции поэтом — приятии до конца — есть трагедия «человека» — предчувствие своего умирания, тоска предсмертности... И славит он гибель минувшего века и зачин дня неведомого». В поэзии, да и в жизни Эренбурга «Раздумья» были важным перевалом — в них отразился выход из долгого и мучительного кризиса; чисто поэтический опыт «Раздумий» сказался и на позднем творчестве Эренбурга.

«Не уйти нам от теплой плоти...» (с. 86).— *Марсий* (греч. миф.) — один из спутников Диониса, состязался в игре на флейте с Аполлоном; за эту дерзость Аполлон содрал с Марсия кожу, повесил ее на дереве, и при звуках флейты она трепетала.

«Мои стихи не исповедь певца...» (с. 90).— *Геликон* (греч. миф.) — гора в Греции, где обитали музы и Аполлон.

«Блузник, на лбу твоем пот...» (с. 90).— *Багряница* — красная мантия, символ власти; *потир* — церковная чаша; *лепота* (устарев.) — красота.

«Весна снега ворочала...» (с. 92).— Впервые — «Раздумья» (Рига, 1921) в цикле «Путевые» (написано в марте 1921 г. в поезде Москва — Рига); входило в «Кануны» и «Зарубежные раздумья»; печатается по «Раздумьям»; *На виноватый стук.*— Н. Мещеряков (Правда, 2 апреля 1922 г.) пояснял: «На виноватый стук просящегося домой эмигранта».

«Скрипки, сливки, книжки, дни, недели...» (с. 92).— *Эдем* (библ.) — страна, где обитали Адам и Ева до грехопадения, синоним рая; *Верден* — город во Франции, место ожесточенных боев первой мировой войны.

«Пятно на карте — места хватит...» (с. 94).— Впервые — в сб. «Кануны», входило в «Зарубежные раздумья», написано в Ла-Панне в июле 1921 г.; *Сивиллы* — легендарные прорицательницы, упоминаемые античными авторами; *Святого Эльма огонь-*

ки...— свечение электрических разрядов вблизи высоких предметов: башен, мачт и т. д.; *Исав* (библ.) — старший сын Исаака и Ревекки, продавший свое первородство брату за чечевичную похлебку.

«Разграбив житницы небес...» (с. 95).— *Бест* (перс.) — право убежища в помещении иностранных посольств; *парадиз* (устарев.) — рай; *Беатриче* — возлюбленная Данте, олицетворение любви.

«Будет день — и станет наше горе...» (с. 95).— *Скрижали дикого Синая* (библ.) — две каменные доски, на которых были написаны 10 заповедей, данных богом Моисею на горе Синай в 50-й день по выходе евреев из Египта; *Суламита* (Суламифь) — девушка, в которую был влюблен царь Соломон, но не смог добиться ее привязанности: она тосковала о своем возлюбленном — пастухе (Песнь Песней).

Опустошающая любовь

(1922—1923)

Здесь печатаются стихи из трех книг Эренбурга: «Опустошающая любовь» (Берлин, «Огоньки», 1922), «Звериное тепло» (Берлин, «Геликон», 1923) и «Не переводя дыхания» (1923, не издана).

13 января 1922 г. Эренбург сообщал из Берлина М. М. Шкапской: «Кончаю книгу стихов «Опустошающая любовь»[1], а уже в конце марта книга была издана. «Опустошающая любовь — не любовная лирика, это еще один виток раздумий о России и Революции; Эренбург писал ее на гребне литературного успеха и временного благополучия (в январе в Берлине вышли его книги «Хулио Хуренито», «Неправдоподобные истории», «А все-таки она вертится»). Это было новое для Эренбурга психологическое состояние, и оно проявилось в торжественной лексике и классической строфике его стихов. Словарь символистов чувствовался уже в «Раздумьях», в «Опустошающей любви» он стал определяющим и подчас затемнял смысл стихов.

«Опустошающая любовь» — последняя книга Эренбурга, которую рецензировал Брюсов. Подчеркнув, что «общий смысл книги дан в ее заглавии», Брюсов сформулировал его так: «Октябрьская революция была для России «опустошающей любовью»; эта любовь спасает и спасет Россию, тогда как для «испепеленной» Европы спасения нет».[2] Самая возможность такой трактовки объясняет рез-

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 543, л. 3. (Далее письма к М. М. Шкапской цитируются по этому фонду.)

[2] Брюсов В. Собр. соч., т. 6. М., ИХЛ, 1975, с. 511.

кие оценки эмигрантских изданий; рецензент берлинского журнала «Веретеныш», назвавший «Опустошающую любовь» «книгой ненависти», писал: «Человек, ждущий от поэзии просветления, с негодованием отвернется от нее, ибо найдет в ней черный хаос бунта и ненависти и не найдет поэзии»[1].

Российские либеральные критики, к услугам которых еще осталось несколько малотиражных изданий, противопоставляли «Опустошающую любовь» стихам Эренбурга 1917—1919 годов: «Что-то случилось с Эренбургом; невольно вспоминаешь его недавние книжки, в особенности изумительный «Огонь» и «Молитву о России». Там билось и страдало живое сердце... В новой изящной книжечке смотрит какой-то совсем другой Эренбург, спокойный, холодный, бесконечно рассудочный и необыкновенно туманно-многословный»[2]. В письме к Шкапской в Петроград Эренбург негодовал по поводу процитированной рецензии: «Был такой милый, откровенный, перед всеми сподники скидывал и душу вытаскивал и вдруг — дверь заперта, ничего нельзя понять. Если Вы знаете этих дядей лично, скажите, что подобные казусы бывают — плакаться нечего, сподников на свете много помимо моих... А между нами, все же хорошо, что я пишу теперь не «Огонь» для Алексея Спиридоновича (герой «Хулио Хуренито», предтеча образа Васисуалия Лоханкина.— *Б. Ф.*), а «Опустошающую любовь».

Начиная с 1921 г. главное место в рабочих планах Эренбурга занимала проза; стихи он писал теперь от случая к случаю. Летом 1922 г., отдыхая в местечке Бинц на североморском острове Рюген, Эренбург написал книгу «Тринадцать трубок», а следом пошли стихи. «Начал писать стихи,— сообщал Эренбург Шкапской 12 июля.— К осени будет книжка. Назову ее «Звериное тепло». (Название возникло из стихотворения «Опустошающей любви»: «К кустам припав, высасывают пчелы // Звериное тепло, под чудный гуд...»). В июле—августе было написано 25 стихотворений; книга «Звериное тепло» вышла в конце ноября 1922 г., хотя на ней и обозначен 1923-й. «Напишите о «Зверином тепле»,— просил Эренбург Шкапскую 17 декабря.— Белый о ней напечатал восторженную статью. Я относительно люблю эти стихи. Они верно мои». Рецензия Андрея Белого, упоминаемая Эренбургом, напечатана в тот же день, 17 декабря, в берлинской газете «Дни»; в ней А. Белый пишет о «безукоризненно, четко изваянном стихе Эренбурга».

Эренбург вернулся к стихам через год, летом 1923 г., перед тем как засесть за роман «Любовь Жанны Ней». Первые стихи новой книги Эренбург послал поэтессе Е. Г. Полонской 12 июня 1923 г. «Я пишу стихи,— писал он,— впервые после годового перерыва. Это

---

[1] Веретеныш, 1922, № 1, Берлин, с. 14.

[2] Утренники, 1922, кн. 2, Петроград.

моя слабость»[1]. 18 июля Эренбург писал Шкапской: «Я изредка пишу стихи... Собираюсь писать сентиментальный роман. Книга стихов будет называться «Не переводя дыхания» (это без иронии)». И еще через месяц: «Я провел лето пусто и невесело... Не работал. Впрочем, к зиме, верно, наберется крохотная книжица стихов, в которой я являюсь робким учеником Пастернака».

Книга «Не переводя дыхания» окончательно сложилась в сентябре 1923 г. Она составилась из двух разделов. Первый, названный как и сборник — «Не переводя дыхания», содержал 20 стихотворений; второй — 20 стихотворений из «Звериного тепла». Берлинская издательская эйфория к 1923 г. закончилась, и выпустить книгу стихов Эренбург мог рассчитывать только в России; он отправил рукопись Е. Г. Полонской с просьбой передать ее в ГИЗ. Книга не вышла, а рукопись ее была утеряна. При жизни Эренбурга из книги «Не переводя дыхания» было напечатано всего два стихотворения, еще два появилось в *БП*. В 1984 г. в альманахе «Поэзия» № 40 напечатали еще 4 стихотворения, найденные в архиве Е. Г. Полонской. Судьба остальных 12 стихотворений остается неизвестной.

«Тяжелы несжатые поля...» (с. 97).— *Весталка* — жрица римской богини домашнего очага Весты, олицетворение девственности (ср. с пастернаковским: «Грех думать — ты не из весталок...»; книгой Пастернака «Сестра моя — жизнь» Эренбург едва ли не бредил в 1923 г.).

«Тело нежное строгает стругом...» (с. 97).— *Дикий шкипер* — Петр I.

«Громкорыкого хищника...» (с. 98).— *Давид* — иудейский царь (1055—1015 до н. э.), автор псалмов; *Азраил* — ангел смерти у мусульман.

«Стали сны единой достоверностью...» (с. 100).— *Фьезоле* — город возле Флоренции.

«Ночь была. И на Пенегу падал...» (с. 101).— *Равашоль* Леон (1860—1892) — французский анархист; *Мессина* — город в Сицилии, в 1908 г. пострадавший от сильного землетрясения.

«Когда замолкнет суесловье...» (с. 102).— *Филистимляне* — древний народ смешанного семитско-египетского происхождения, населявший юго-западный берег Палестины и постоянно враждовавший с израильтянами; филистимлянского великана Голиафа победил, бросив в него камень из пращи, юноша Давид, ставший

---

[1] Архив Е. Г. Полонской, Ленинград; далее письма к Полонской цитируются по этому архиву.

легендарным израильским царем. Вторую строфу этого стихотворения Ярослав Ивашкевич назвал «жизненной программой Эренбурга, которую он выполнял всю свою долгую и трудную жизнь... В этих строчках заключается тайна, а может быть, и трагедия Эренбурга. Считая себя поэтом, он разменял — ибо считал это своим гражданским долгом — золотые цимбалы на пращу» (Вопросы литературы, 1984, № 1, с. 197).

«Не осуди — разумный виноградарь...» (с. 103).— *Стяжатель истины* — Исаак Ньютон, которого, по легенде, натолкнуло на открытие закона тяготения упавшее с дерева яблоко.

«Где солнце как желток...» (с. 104).— Посвящено Пушкину; *Мариула* — персонаж из поэмы «Цыганы».

«Я любил ветер верхних палуб...» (с. 105).— *Самуил* — пророк, верховный жрец израильский, ему приписывают две Книги Царств, Книги Руфи и Судей; *Саул* — первый израильский царь, помазан на царство Самуилом в 1040 г. до н. э., погиб в войне с филистимлянами; *двенадцать колен* — потомки двенадцати сыновей Иакова.

«Так умирать, чтоб бил озноб огни...» (с. 106).— Это и семь следующих за ним стихотворений входили в невышедшую книгу «Не переводя дыхания».

«Страшный ящер и сивиллы в духе...» (с. 108).— Это и три следующих стихотворения напечатаны впервые в альманахе «Поэзия», № 40, 1984.

«Хотеть его. Чем реже крови дробь...» (с. 111).— *Бурш* — немецкий студент (от названия немецких студенческих корпораций, отличавшихся буйными кутежами).

Верность

(1939—1941)

В начале 1939 г. пала Испанская республика. Сталин уже готовился к сговору с Гитлером и сворачивал антифашистское направление советской пропаганды. 12 апреля в «Известиях» в последний раз появились несколько строк Поля Жослена (под этим псевдонимом Эренбург печатал в газете французские материалы, а испанские подписывал собственным именем), вместе с Жосленом со страниц газеты исчезло и имя Эренбурга. После нескольких лет напряженной газетной работы Эренбург оказался не у дел. Спасением для него стали стихи. Может быть, какие-то строфы их, отдельные образы складывались и раньше, еще в Испании, но именно в апреле 1939 г. Эренбург начал их писать — быстро, взахлеб. 28 апреля первая часть этих стихов была отправлена Полонской,

другу парижской юности Эренбурга; в сопроводительном письме он говорил: «Мировые события позволяют гулять Эренбургу-Жослену, ввиду этого Эренбург вспомнил старину и после семнадцати лет перерыва (забыв о стихах 1923 г., Эренбург ведет здесь счет времени от «Звериного тепла».— *Б. Ф.*) пишет стихи. Так как в свое время он показывал тебе первые свои стихи, то и теперь ему захотелось послать именно тебе, а не кому-либо иному, его вторичные дебюты. Прочти на досуге и напиши мне, что ты думаешь об этом. Я не гага, но прозу писать теперь трудно — мы живем здесь от одного выпуска газет до другого». Это были горькие стихи. И не только потому, что внешняя, событийная их сторона посвящена проигранной испанской войне — за их горечью читается нечто большее. Это стихи о войне, написанные ее участником, который там, в Испании, не забывал о том, что творится у него дома, старался об этом не думать и не мог не думать. В этих стихах — тяжелый груз тридцатых годов, и психологическую атмосферу эпохи они передают куда точнее, чем газетные репортажи.

15 мая рукопись 23 испанских стихотворений Эренбург отправил редактору «Знамени» Вс. Вишневскому, с которым встречался в Испании в 1937 г. Вишневский немедленно отдал весь цикл в набор для седьмого номера журнала. 7 июля Эренбург отправил новый цикл Вишневскому: «Вы столь дружески встретили мои «Испанские стихи», что я посылаю Вам новую пачку... Не корите за пессимизм: испанские стихи — война, эти — Париж 1939 года и вдобавку субъективная лирика».

Номер «Знамени» с испанскими стихами вышел в начале августа, а 23 августа в Кремле был подписан пакт Молотова — Риббентропа. Узнав об этом, Эренбург тяжело заболел. Писать он больше не мог, да и печатать его стало невозможно (запланированная «Советским писателем» книга стихов Эренбурга была выкинута из плана).

В июне — июле 1940 г. в оккупированном гитлеровцами Париже потрясенный трагедией Франции Эренбург снова пишет стихи. 29 июля он возвращается в Москву, где «братья писатели» успели объявить его невозвращенцем. Приезд Эренбурга позволил журналам вернуться к его стихам, и, начиная с сентября 1940 г., большие циклы их появляются в «Знамени», «30 днях», «Звезде». В августе в Москве Эренбург продолжал работу над французским циклом стихов, а затем начал роман «Падение Парижа» и стихи писал уже лишь в перерывах этой большой работы (январь 1941 г.).

30 апреля 1941 г. в ГИХЛе вышла из печати книга «Верность (Испания. Париж)». Из 66 стихотворений, напечатанных в журналах, Эренбург включил в нее 58; 11 стихотворений было напечатано впервые.

Рецензии на «Верность» писались еще по журнальным публика-

циям. Антифашистская направленность стихов Эренбурга была очевидна, но писать об этом до 22 июня 1941 г. было нельзя, и критики, замороченные зигзагами политической конъюнктуры, доказывали, что Эренбург видит события в Европе глазами западного обывателя и, в качестве подлинного героя, противопоставляли ему образы советских участников военных операций в «бывшей Польше» и т. д. Примечательна статья о стихах «Верности» Ильи Сельвинского, написанная осенью 1940 г.: «Эренбург возвратился из своих странствий разбитым и опустошенным, утратившим веру в трудящихся и совершенно забывшим, что, кроме слов «поздно» и «никогда», в мире существуют слова «будущее» и «коммунизм»... Однако не будем слишком строги к беллетристу, который 17 лет не садился на Пегаса. Он достаточно уже наказан тем, что любой пионер старшего возраста, не разбирающийся в наших церемониях со словарем, вправе учить его азбуке коммунизма. Будем признательны Эренбургу за то, что хотя он и не сумел на безумие и ужас империализма отозваться голосом Страны Советов, тем не менее самый этот ужас он показал искренне и правдиво...»[1] Статья эта предназначалась для «Знамени»; Вишневский сначала одобрил ее, а затем написал Сельвинскому резкое письмо, и статья осталась неопубликованной.

Тексты стихотворений печатаются по *БП*; при этом принято авторское расположение стихотворений (по т. 3 Собр. соч. 1964 г.). Первоначально Эренбург датировал все испанские стихи 1939 г., затем, начиная со сборника «Дерево», даты некоторых стихов по нескольку раз менял (то 1939, то 1938) в зависимости от порядка расположения (он вообще достаточно свободно обращался со своими текстами при составлении книг). Здесь все испанские стихи датируются годом их написания — 1939.

«Сердце, это ли твой разгон?..» (с. 112).— *Арагон* — область на северо-востоке Испании.

«Парча румяных жадных богородиц...» (с. 112).— *Эскуриал* — дворец-монастырь возле Мадрида.

«Тогда восстала горная порода...» (с. 113).— *Рио-Тинто, Линарес* — центры металлургической промышленности на юге Испании.

В Барселоне (с. 114).— *Рамбле* — главная улица Барселоны.

«Горят померанцы, и горы горят...» (с. 115).— *Сьерра-Морена* — горы в Испании.

«Нет, не забыть тебя, Мадрид...» (с. 118).— *Карабанчель* — рабочий район Мадрида.

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 1204, оп. 2, ед. хр. 3641.

У Брунете (с. 119).— *Брунете* — место ожесточенных боев в Испании в июне 1937 г.

У Эбро (с. 119).— *Эбро* — река на северо-востоке Испании; в июле 1938 г. в районе Эбро начались длительные кровопролитные сражения; Эренбург дважды выезжал на фронт в эти места.

Гончар в Хаэне (с. 120).— *Хаэн* — город на юге Испании.

После... (с. 122).— *Куэнка* — город в центральной Испании, *Малага* — город на юге Испании.

«Ты тронул ветку...» (с. 127).— Печаталось также под названиями «Старому другу», «Друзьям».

«Как восковые, отекли камельи...» (с. 134).— *Расин* Жан (1639—1699) — французский драматург; *Летейские воды* — воды Леты, реки забвения в подземном царстве мертвых (греч. миф.).

«Не раз в те грозные, больные годы...» (с. 137).— В *БП* датировано январем 1941 г.; в мемуарах (кн. 4, гл. 24) Эренбург говорит, что это стихотворсние написано в 1940 г. в Париже; *Ронсар* Поль (1524—1585) — французский поэт, Эренбург переводил его стихи.

Париж, 1940 (с. 138).— *Делеклюз* Шарль (1809—1871) — член Парижской коммуны, погибший на баррикадах.

Возле Фонтенбло (с. 142).— *Фонтенбло* — загородная резиденция французских королей с дворцовым ансамблем и парком.

Лондон (с. 143).— *Парки* — богини человеческой судьбы в античной мифологии; изображались в виде трех старух, прядущих нить человеческой жизни.

«Бродят Рахили, Хаимы, Лии...» (с. 144).— *Мать мою звали по имени — Хана.*— Анна Борисовна (Хана Берковна) Эренбург (1857—1918).

«Умрет садовник...» (с. 145).— Впервые в *БП* среди стихов 1960-х годов; входило в машинопись «Парижская исповедь» (1940).

«Крылья выдумав...» (с. 146).— *Персефона* — богиня плодородия в греческой мифологии, была похищена богом подземного царства.

Дерево

(1942—1946)

Годы Отечественной войны были «звездным часом» Ильи Эренбурга. Около полутора тысяч статей, написанных для центральных, фронтовых и армейских газет, для зарубежных агентств и радио, принесли Эренбургу не только общесоюзную, но и мировую славу первого публициста антифашистской коалиции. Столь напряженная газетная работа практически не оставляла времени для иного литературного труда, тем не менее осенью 1942 г. Эренбург написал

первые военные стихотворения. «Дневника я не вел,— рассказывает о том времени Эренбург в мемуарах,— но порой писал стихи, короткие и непохожие на мои статьи: в стихах я разговаривал с собой» (кн. 5, гл. 14). В декабре 1942 г. его стихи печатали «Правда», «Красная звезда», «Литература и искусство». 30 января 1943 г. Эренбург писал Полонской: «Завтра еду на фронт. Работаю, как битюг,— две-три статьи в день. Чудом написал десятка два стихотворений». В 1943 г. стихи Эренбурга печатали «Знамя» и «Новый мир»; издательство «Советский писатель» выпустило их отдельным сборником под названием «Стихи о войне» (в него вошли и старые стихи об Испании и Париже, и 27 стихотворений 1942—1943 годов, из которых 9 были напечатаны впервые).

Впечатления военных поездок, встреч, раздумий о жестоком времени составили содержание стихов Эренбурга 1944 г. В 1945 г. в стихах Эренбурга появляются горькие раздумья о будущем, они далеки от казенного оптимизма и радужных надежд. В 1946 г. «Советский писатель» выпустил книгу «Дерево», наиболее полно представившую стихи военных лет. В сборник снова вошли стихи об Испании и Париже, 11 стихотворений из «Стихов о войне», 39 — из журнальных и газетных публикаций, 7 печатались впервые.

Год издания «Дерева» отмечен выходом печальной памяти ждановского постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» (где, кстати сказать, печатались стихи Эренбурга, вошедшие в «Дерево»). Говоря в мемуарах о шабаше, развернувшемся после оглашения этого постановления, Эренбург вспомнил и судьбу «Дерева»: «Фадеев потом мне рассказывал, что книгу хотели упомянуть в одной из разгромных статей, но я был за границей, и меня оставили в покое» (кн. 6, гл. 4). «Дерево» не разгромили, его замолчали — на книгу не было ни одной рецензии. Но для читателей «Дерево» не осталось незамеченным; С. Наровчатов написал от лица поэтов фронтового поколения: «Сборник «Дерево» был нами внимательно прочтен, и многие стихи вызвали ответные отклики в наших строках».

Следующая книга стихов Эренбурга смогла выйти только через 13 лет.

1941 (с. 148).— Печаталось также под назанием «Русская земля».

Моряки Тулона (с. 152).— В Тулоне в ноябре 1942 г. французские моряки потопили свой флот, чтобы он не достался гитлеровцам, когда они, нарушив соглашение о перемирии, оккупировали город.

«С ручной гранатой, иль у пушки...» (с. 155).— *«Есть упоение в бою...»* — Строчка из пушкинского «Пира во время чумы».

«Был час один — душа ослабла...» (с. 159).— *Глухов* — город на Украине; осенью 1943 г. Эренбург был в Глухове после его освобождения и видел яблоневый сад, весь подпиленный немцами.

«Скребет себя на пепле Иов...» (с. 161).—Это стихотворение Эренбург смог напечатать лишь в 1962 г. («День поэзии», Москва); библейский сюжет, связанный с Иовом (испытывая силу его веры, бог насылал на Иова проказу, нищету, гибель детей, изгнал из родного города), Эренбург упоминал не раз (например, в 6-й книге мемуаров).

Европа (с. 161).— Открывало сборник поэм Эренбурга «Свобода» (М., Сов. писатель, 1943); *Пракситель* (ок. 390—ок. 330 до н. э.) — древнегреческий скульптор; *Безрукая* — всемирно известная статуя Венеры Милосской, хранящаяся в Лувре; *И плакал перед нею Глеб Успенский, // А Гейне знал, что все слова не те.*— Отзвук сюжета очерка Г. И. Успенского (1843—1902) «Выпрямила», в котором герой со слов сторожа Лувра рассказывает, как Генрих Гейне «сидел по целым часам и плакал перед нею».

«Есть время камни собирать...» (с. 163).— Перефразированное изречение Екклесиаста: «Всему свое время... Время разбрасывать камни, и время собирать камни» (3, 1).

Бабий Яр (с. 164).— Овраг в Киеве, где в сентябре 1941 г. гитлеровцы расстреляли еврейское население города (40 000 человек).

«За то, что зной полуденной Эсфири...» (с. 165).— *Эсфирь* (библ.) — жена персидского царя Ксеркса (библ.— Артаксеркс), отличавшаяся благочестивостью и красотой, спасла евреев от грозившего им истребления (475 г. до н. э.).

В феврале 1945 (с. 170).— *Медынь* — город в Калужской обл.

9 мая 1945 (с. 172).— О первом стихотворении этого цикла Эренбург писал в мемуарах: «А. А. Фадеев как-то спросил меня, когда я написал эти стихи. Я ответил, что в День Победы. Он удивился: «Почему?» Я честно признался: «Не знаю». Да и теперь, вспоминая тот день, я не понимаю, почему именно такой увидел я долгожданную Победу. Вероятно, в природе поэзии чувствовать острее, да и глубже; в стихах я не пытался быть логичным, не утешал себя, я передавал недоумение, тревогу, которые таились где-то в глубине» (кн. 5, гл. 27). *О них когда-то горевал поэт...*— Имеется в виду стихотворение Гейне в переводе Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно...».

«В печальном парке...» (с. 173).—Эпиграф из стихотворения И. Ф. Анненского «Pace»[1].

Французская песня (с. 174).— Написано для романа «Буря», навеяно песней французских партизан — маки, которую Эренбург услышал во Франции в 1946 г.

---

[1] Мир (*ит.*).

Стихи

(1948, 1957, 1958)

Стихи, вошедшие в этот раздел, писались в существенно разные времена — в 1948 г., в пору набиравшей обороты оголтелой кампании по борьбе с «низкопоклонством перед Западом», и в 1957—1958 годы, в хрущевскую оттепель. Однако стихи, хронологически отстоящие друг от друга на целое десятилетие (и какое!), оказались во многом очень схожи.

Летом 1949 г., вернувшись из Франции, Эренбург сообщил Полонской: «Прошлым летом писал стихи. Вот одно...» — и переписал ей стихотворение «Во Францию два гренадера...». Судя по архиву писателя, в 1948 г. было написано 12 стихотворений; из них при жизни автора увидели свет три — «Во Францию два гренадера...», «К вечеру улегся ветер резкий...» (они вошли в т. 4 избранных сочинений в 1953 г.) и «Тарханы», напечатанное в мемуарах. Стихи 1948 г.— это страницы дневника, написанные без оглядки на возможность публикации. Слово «космополит» не сходило с газетных полос, а Эренбург писал не только о любви к родине, но и о Франции, где прожил полжизни, писал с нежностью и горечью.

В 1957—1958 годах Эренбург не работал в крупных жанрах — он писал статьи, эссе, стихи, переводил. Это время с его легкой руки во всем мире называли «оттепелью», и дыхание весны ощущалось в его работе. «Французские тетради» Эренбурга, куда вошли его эссе и переводы из Вийона, Дю Белле, старых французских песен, вышли почти одновременно с книжкой «Стихи. 1938—1958». Ортодоксальные критики яростно нападали на «Уроки Стендаля» и глухо молчали о «Стихах»; политические же статьи Эренбурга о борьбе за мир они безбоязненно хвалили всегда. В статьях Эренбург писал о несомненных вещах — о необходимости мира, разоружения, взаимопонимания между народами, о взаимосвязи их культур, а в стихах он говорил о праве человека на сомнения, о цене, какой покупается верность однажды выбранному пути и какой оплачивается звонкая, эфемерная слава, о муках совести и об ожидании весны, непонятном для «детей юга». Молчание критики не мешало читателям; о том, как читали новые стихи Эренбурга, очень точно написала И. Грекова в рассказе «За проходной»...

В книгу «Стихи» Эренбург включил 20 стихотворений 1957—1958 годов, из них 17 печаталось впервые (три стихотворения 21 июля 1959 г. напечатала «Литгазета»).

«Во Францию два гренадера...» (с. 175).— Начало стихотворения Г. Гейне «Гренадеры» в переводе М. Михайлова.

«Тарханы — это не поэма...» (с. 177).— *Тарханы* — ныне село Лермонтово Пензенской обл., имение бабушки Лермонтова

Е. А. Арсеньевой; Эренбург побывал там в 1948 г.; *Здесь нет ни топота, ни свиста...*— Ср. в «Родине» у Лермонтова: «Смотреть до полночи готов // На пляску с топаньем и свистом...»; *«Люблю отчизну я, но странною любовью...»* — первая строка «Родины» Лермонтова.

«Ты помнишь, жаловался Тютчев...» (с. 181).— *«Мысль изреченная есть ложь»* — из стихотворения Тютчева «Silentium!».

Спутник (с. 185).— *Равенсбрук* — гитлеровский концлагерь для женщин в Польше.

Верность (с. 187).— Датируется по мемуарам (кн. 6, гл. 32).

Самый верный (с. 188).— *Фома Неверный* — один из учеников Христа; не поверил в его воскресение из мертвых, пока не вложил персты свои в его раны.

Стихи последних лет

(1964—1966)

С 1959 по 1964 г. Эренбург работал над мемуарами «Люди, годы, жизнь». Их журнальная и издательская судьба отразила политические перипетии эпохи, во многом повлиявшие и на характер последних стихов Эренбурга. Суть октябрьского (1964) переворота, свергнувшего Хрущева, Эренбург сразу оценил как победу просталинских сил, и то, что неведомые политические расчеты продиктовали новому руководству решение печатать шестую книгу «Люди, годы, жизнь», никак не изменило отношения Эренбурга к смене декораций (об этом недвусмысленно говорится в стихотворении «Когда зима, берясь за дело...»). Эренбургу было уже за семьдесят, он многое пережил на своем веку, иллюзий у него не было. Вот при каких обстоятельствах писались стихи 1964—1966 годов, последние, как оказалось, стихи Эренбурга (в конце 1966 г. он принялся за седьмую книгу мемуаров, и эту работу оборвала смерть).

«Настоящую исповедь Эренбурга следует искать не в мемуарах его, а в стихах»,— написал Бенедикт Сарнов. Сарказм и мудрость последних стихов Эренбурга, их жесткость в самооценке прожитой жизни подтверждают эту, не вполне бесспорную, мысль.

Эренбург не предлагал свои стихи в «Новый мир», зная узкую избирательность Твардовского в поэзии; часть стихов появилась в «Знамени» (1965, № 11) и «Просторе» (1966, № 1), 25 стихотворений вошли в 9-й том сочинений Эренбурга (1967), из них 12 — впервые. Но самым острым стихам суждено было долго ждать встречи с читателями — их напечатали только в 1988 г. («Октябрь», № 7).

Тексты стихов печатаются по т. 9 сочинений Эренбурга и журналу «Октябрь»; датировка стихов уточнена.

В самолете (с. 197).— *Вознесенск* — город в Московской обл., вблизи которого в селе Бабкино А. П. Чехов жил в 1885 г.; *Мы видели в алмазах небеса...* — Перефразированные слова Сони из пьесы Чехова «Дядя Ваня».

В Римском музее (с. 200).— Это и следующее стихотворение впервые напечатаны (без разрешения автора) в газете «Индустриальная Караганда» 12 ноября 1965 г.

Последняя любовь (с. 201).— Речь идет о последней любви Ф. И. Тютчева к Е. А. Денисьевой; *Уже скудела в жилах кровь...*— Неточная цитата из стихотворения Тютчева «Последняя любовь»; это стихотворение вместе с тем и автобиографично, в нем читается сюжет любви Эренбурга к Лизлотте Мэр (1917—1983), скрасившей последние годы его жизни.

В Копенгагене (с. 201).— Впервые — «Индустриальная Караганда», 12 ноября 1965 г. *...в королевстве Датском // По-прежнему не все благополучно...*— Перефразированная реплика Горацио из «Гамлета».

Сонет (с. 202).— *Тинторетто* Якопо (1518—1594) — итальянский художник.

«У человека много родин...» (с. 203).— Прежде печаталось без первых четырех строк.

«Пять лет описывал...» (с. 207).— Имеется в виду работа над мемуарами «Люди, годы, жизнь» (1959—1964); *Янус* — бог времени в римской мифологии, изображался в виде человека с двумя лицами: одно обращено в прошлое, другое — в будущее; *мыслящий тростник* — любимый Эренбургом образ из «Мыслей» Блеза Паскаля, символизирующий непрочность, зыбкость разума во вселенной.

Над стихами Вийона (с. 207).— *«От жажды умираю над ручьем...»* — Первая строка «Баллады поэтического состязания в Блуа» Франсуа Вийона в переводе Эренбурга.

Надежда (с. 208).— *Лаура* — замужняя женщина из Авиньона, предмет любви Петрарки, прославленная его лирикой; *Пандора* (греч. миф.) — несмотря на запрет открыла ящик, в котором были заключены пороки и несчастья, и выпустила их на землю; ящик захлопнулся, лишь когда на дне его осталась одна надежда.

В костеле (с. 208).— *Но те, что в сушь, в обрез, в огрыз...*— ранние христиане; *Назарет* — город в Галилее, где прошло детство Иисуса Христа.

Стихи не в альбом (с. 210).— Это и последующие стихотворения впервые опубликованы в «Октябре», 1988, № 7; посвящено Н. С. Хрущеву (1894—1971); *Санчо* — персонаж романа Сервантеса «Дон Кихот».

Очки Бабеля (с. 211).— Бабель Исаак Эммануилович (1894—1940), советский писатель, прозу которого Эренбург ценил исключительно высоко; арестован 15 мая 1939 г., расстрелян 26 января 1940 г., реабилитирован в 1954-м.

С е м Т о б и к о р о л ь П е д р о Ж е с т о к и й (с. 212).— Впервые в 9 т. Собр. соч. (1967). *Сем Тоб* — испанский поэт первой половины XIV в.; *Педро Первый* (Жестокий; 1334—1369) — король Кастилии и Леона.

НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ХУЛИО ХУРЕНИТО И ЕГО УЧЕНИКОВ

Эту книгу Эренбург написал в 1921 г. за 28 дней, а думал над ней — пять лет. Вспоминая в мемуарах «Люди, годы, жизнь» историю замысла «Хулио Хуренито», Эренбург называет три пространственно-временных узла. Первый — Париж, 1916 г. Первая мировая война, оказавшая исключительное влияние на Эренбурга. Ею порождены «Стихи о канунах» (1914 — 1915), военная публицистика (1915 — 1917), на основе которой в 1919 г. была написана книга «Лик войны». В 1916 г. Эренбург искал новую литературную форму: ни стихи, ни газетные очерки, которые в условиях военного времени печатались с купюрами, не позволяли ему выразить складывающееся понимание масштабов мировой бойни, чудовищной индустрии войны, пагубности национализма, искусно разжигаемого милитаристскими силами для одурманивания воюющих народов. Так возник замысел сатирической прозы, образ «великого провокатора» Хулио Хуренито (на который натолкнул Эренбурга его друг, мексиканский художник Диего Ривера), образы некоторых его «учеников», идея сатирического показа всех воюющих сторон. Книга сразу замышлялась как сатирическая и антивоенная.

Второй узел — Киев, 1919 г. Эпицентр гражданской войны, четыре правительства («при каждом казалось — другое лучше»). Замысел романа корректируется новым трагическим опытом, в него входят картины русской революции и гражданской войны, Петроград, Москва, Украина.

Третий узел — Москва, зима 1920/1921 г. «Замысел романа обрастал плотью»,— пишет Эренбург; он попытался записывать роман, но из этого ничего не вышло. «Время не благоприятствовало романам»,— заметил Эренбург в мемуарах, повторив то, что говорил об этом персонаж «Хулио Хуренито», именуемый Ильей Эренбургом: «Атмосфера творимой истории мало благоприятствовала тихому труду летописца. Я знал, что стоит мне только попасть в «Ротонду», выпить несколько рюмочек, закричать: «Официант, бумагу, чернила»,— и тотчас быстрая рука начнет заносить на забрызганные кофе листочки священные проповеди Учителя».

Идея получить командировку за границу для работы над романом оказалась осуществимой благодаря Н. И. Бухарину, с которым Эренбург, товарищ его юности, поделился литературными планами.

Неизвестно, было ли в предоставленной Эренбургом заявке то, что Бухарин потом назвал «рядом смешных и отвратительных сторон жизни при всех режимах», но сатирическая направленность будущей книги несомненно пришлась Бухарину по душе, и ГПУ выдало Эренбургу загранпаспорт. Не имея французской визы, Эренбург задержался в Риге и здесь, издавая сборник стихов «Раздумья», внес в приложенный к нему список своих книг новый пункт: «Жизнь и учение Хулио Хуренито» (готовится)». «Жизни и учению...» еще только предстояло превратиться в «Необычайные похождения...».

Из Парижа Эренбурга выслали через 18 дней по доносу одного из писателей; поселиться удалось в Бельгии. Не «Ротонда», а отель «Курзал» в приморском городке Ла-Панн стал тем местом, где в июне — июле 1921 г. роман был наконец написан. «Я работал с утра до поздней ночи...— вспоминал Эренбург,— писал как будто под диктовку. Порой уставала рука, тогда я шел к морю. Неистовый ветер валил стулья на пустых террасах кафе. Море казалось непримиримым. Этот пейзаж соответствовал моему состоянию: мне казалось, что я не вожу пером по листу бумаги, а иду в штыковую атаку» (кн. 2, гл. 27).

Издать роман Эренбургу удалось лишь после переезда осенью 1921 г. в Берлин. Он вышел в издательстве А. Г. Вишняка «Геликон» тиражом 3000 экз. К маю в Берлине разошлось 2000 книг, а в Россию через границу просачивались лишь единицы. В Петрограде первой получила «Хулио Хуренито» от автора Полонская. С рефератом о романе она выступила в Вольной философской ассоциации («Вольфила»). Слушателей собралось много, но во время чтения начал тускнеть свет, и реферат бы сорвался, если б не Ю. Н. Тынянов, сумевший в сумерках прочесть выбранные Полонской отрывки из романа. «Было много разговоров,— пишет в неопубликованных воспоминаниях Полонская,— но общее впечатление сводилось к тому, что каждый должен сам прочесть роман Эренбурга... После доклада Тынянов проводил меня до дому, и я дала ему роман Эренбурга на несколько дней». «Появление «Хулио Хуренито» памятно всем,— свидетельствует В. А. Каверин.— На два или три экземпляра, попавших в Петроград, записывались в очередь на несколько месяцев вперед — в две-три недели Эренбург стал известен».

Отвергая капиталистический миропорядок, Эренбург оставался еретиком и, повествуя о русской революции, видя ее несообразности, он издевался над ними с той же силой, как над французской демократией и папским престолом, над необузданностью итальянцев и законопослушанием немцев, над всхлипываниями русской интеллигенции и американской деловитостью, над красноречием социалистических партий, несостоятельных перед натиском национализма, и штампами большевистской печати, над элитарным искусством

и конструктивизмом для масс, над буржуазным браком и собственными стихами из «Молитвы о России». Лев Лунц был прав, назвав «Хулио Хуренито» «сатирической энциклопедией». Где же идеалы? Где положительное? — спрашивали Эренбурга. «Хулио Хуренито» создан на «голом, злом отрицании»,— упрекал автора Ф. А. Степун. Сатиру Эренбурга породила жизнь (некалендарный XX в. начался в Европе кровавой мясорубкой, чтобы продолжиться совершеннейшим апокалипсисом), однако эренбурговское «нет!» не исчерпывает романа, за его сарказмом нет холодного равнодушия; эта книга проникнута болью за человека. «Хулио Хуренито» мне дорог потому,— писал Эренбург 5 мая 1922 г. Шкапской,— что никто (даже я сам) не знает, где кончается его улыбка и начинается пафос. Об этом пишут, спорят и пр. Одни — сатира, другие — философия etc. В нем я более чем где-либо правдив без обязательств хоть какой-нибудь, хоть иллюзорной цельности. Популярность — неважна (хотя мне и было занятно узнать, что, при всей своей остроте и актуальности, он очень понравился Ленину и Гессену)». (Один из лидеров кадетской партии И. В. Гессен жил в эмиграции, и его высказывания были доступны Эренбургу; но В. И. Ленин не обнародовал своей оценки «Хулио Хуренито», о ней рассказала Н. К. Крупская в 1926 г. В 1922 г. узнать о ней Эренбург мог лишь от Бухарина, когда в апреле несколько часов беседовал с ним в Берлине. Собственное же отношение к «Хулио Хуренито» Бухарин высказал публично полгода спустя в предисловии, которое открыло роману дорогу к советскому читателю.)

15 мая 1922 г. приехавшая в Берлин Марина Цветаева рассказала Эренбургу со слов П. С. Когана, что ГИЗ собирается издавать его книги. 28 июня в «Правде» в статье «Из современных литературных настроений» А. К. Воронский назвал «превосходную книгу И. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито» среди тех вышедших за рубежом русских книг, «которые давно следовало бы переиздать нашему Госиздату». Вскоре последовало соглашение об издании «Хулио Хуренито»; Госиздат оговорил свое право снабдить книгу предисловием (или Бухарина, как этого хотел Эренбург, или Покровского). В ноябре 1922 г. Полонская сообщила Эренбургу, что в Петрограде ГПУ конфисковало все экземпляры «Хулио Хуренито» как книги «опасной». Сообщив об этом Когану, Эренбург с горечью заметил: «Я пишу только для России. Эмиграции я чужд и враждебен. А в России...»

В начале 1923 г. ГИЗ выпустил «Хулио Хуренито» большим по тому времени тиражом — 15 000 экз. Издание открывалось предисловием Бухарина: «Хулио Хуренито» — прежде всего интересная книга. Можно было бы, конечно, сказать много «серьезных» и длинных фраз по поводу «индивидуалистического анархизма» автора, его нигилистического «хулиганства», скрытого скептицизма и т. д. Не-

трудно сказать, что автор — не коммунист, что он не очень шибко верит в грядущий порядок вещей и не особенно страстно его желает. Все это было бы очень верно и очень почтенно. Но все же книга от этого не перестает быть увлекательнейшей сатирой. Своеобразный нигилизм, точка зрения «великой провокации» позволяет автору показать ряд смешных и отвратительных сторон жизни при всех режимах. Но особенно удались автору те страницы, где бичуется капитализм, война, капиталистическая культура, ее добродетели, высоты ее философии и религии. Автор — бывший большевик, знает кулисы социалистических партий, человек с большим горизонтом, прекрасным знанием западноевропейского быта, острым глазом и метким языком. Книга поэтому получилась веселая, интересная, увлекательная и умная».

Предисловие Бухарина не закрыло дискуссию на тему: опасна или не опасна книга Эренбурга. Общество старых большевиков в Царицыне протестовало против «моральной поддержки и покровительства ответственных и видных товарищей враждебным проискам в литературе»; в списке обвиняемых значились: т. Троцкий (за статьи в книге «Литература и революция»), т. Бухарин (за предисловие к «Хулио Хуренито»), т. Воронский (за статьи в «Красной нови»), т. Коллонтай и т. Осинский (за статьи об Ахматовой). Нападки напостовцев диктовались не столько амбициями, сколько необходимостью удержать власть над издательской политикой, издавать только «своих»; бухаринская рекомендация: «Надеемся, что читатели обнаружат хороший вкус и с удовольствием прочтут занимательного «Хулио Хуренито» — била по напостовским бастионам и требовала контратаки. «Бухарин отдал дань эстетическим понятиям старого общества, когда писал свое гурманское предисловие к роману Эренбурга»,— обвинял автора «Азбуки коммунизма» Г. Лелевич. Ил. Вардин на совещании в ЦК РКП(б) призывал партийное руководство не проявлять «слабости»: «Тов. Каменев говорил мне как-то, что он с удовольствием читает Эренбурга. Тов. Бухарин пишет предисловие к эренбурговскому «Хулио Хуренито». Вопрос заключается не в том, с удовольствием или без удовольствия читает т. Каменев или другие товарищи Эренбурга, а вопрос заключается в том, опасна или не опасна нам политически вся эта литература».

В верхнем эшелоне большевистской власти начала 1920-х годов на этот счет сложилось вполне определенное мнение: и Ленин, и Бухарин, и Каменев считали сатиру Эренбурга полезной не только потому, что она бичует язвы капитализма. Впрямую эту позицию высказал П. С. Коган: «Ставлю себе вопрос 〈...〉: вредна или полезна эта книга, кому наносит она удары, нам или нашим врагам? Сомнения нет. Она полезна, потому что бичует мещанство не только среди врагов наших, но и в нас самих. А разве мы так чисты, что нам не

от чего очиститься, и разве мы так слабы, чтобы бояться правдивого зеркала?» Автор заканчивал эти рассуждения твердым выводом: «И нам, тем, кто участвует в строительстве новой жизни и знает достоверно о конечном торжестве этих усилий, и нам нужен Хуренито». В 1927 г. это подтвердил ГИЗ, дважды выпустив книгу Эренбурга. Однако уже в следующем, 1928 г., издательство «Земля и Фабрика» смогло издать ее лишь с купюрами. В 1935—1936 годах все попытки Эренбурга переиздать роман окончились ничем (требовались такие сокращения, что «Хуренито» переставал быть самим собой). «Хуренито» переиздали лишь в Собрании сочинений в 1962 г. без 27-й главы и с купюрами. И вот спустя еще 30 лет книга выходит полностью. Ее издательская судьба, таким образом, зеркально отражает политическую ситуацию в стране.

Советская критика, ругая «Хулио Хуренито» за реальные и мнимые грехи, неизменно хвалила его сатирическое изображение буржуазного Запада. Эмигрантская критика начала 20-х годов, не имея единых политических критериев, высказывала различные суждения о романе.

Редактор «Новой русской книги» А. С. Ященко в обзоре русской прозы за пять лет делал достаточно взвешенный вывод: «Можно по-разному оценивать художественные и жизненные воззрения Эренбурга... но нельзя отрицать, что его роман — злой, сатирический — полон остроумия и часто неотразимой иронии. А по стилю и по тону Эренбург не подражает никому из писателей»[1].

«Мне было приятно,— вспоминал Эренбург,— что моя книга понравилась Маяковскому, что о ней одобрительно отозвались некоторые писатели Петрограда, которых я ценил» (кн. 2, гл. 27). Писательские высказывания о «Хулио Хуренито» спорят друг с другом — о корнях книги, о связях ее с традициями русской и европейской прозы, о ее жанре. Отметив, что Эренбург — самый современный из всех русских писателей и самый европейский, Евгений Замятин писал: «Едва ли не оригинальнее всего, что роман — умный и сам Хулио Хуренито — умный. За редким исключением русская литература десятилетиями специализировалась на дураках, тупицах, идиотах, блаженных, а если пробовала умных — редко у кого выходило. У Эренбурга — вышло»[2]. Андрей Соболь связывал появление «Хулио Хуренито» с русской революцией, с той «русской кашей, которая, давным-давно разопрев, на куски разнесла все горшки». «Если угодно — это роман,— писал он в другой статье о «Хулио Хуренито»,— если хотите — это памфлет, поглядите с другой стороны — это книга лирики, но и в том, и в другом, и в третьем случае она ярка, она самобытна... и она, от первой строки до последней,

---

[1] Новая русская книга, 1922, № 11-12, Берлин, с. 3.

[2] Россия, 1923, № 8, с. 28.

русская; такую книгу мог написать только русский и только в наш сегодняшний грозовой день»[1]. Но первая попытка определить жанр «Хулио Хуренито» принадлежит автору книги и имеет точную дату — 27 июня 1921 г. В письме А. С. Ященко, прося его содействия по части издания своих книг, Эренбург привел в их перечне и полное название еще не завершенного «Хуренито» (длиною в полстраницы) с такой ремаркой: «Пожалуй, роман. Сатирическое отображение современности»[2].

Роман-фельетон, роман-обозрение, сатира, жития и т. д.— это пишут о «Хуренито» уже 70 лет. Говоря о сатире, теперь вспоминают не Демьяна Бедного, а Булгакова, и в компании Воланда Хуренито выглядит не так одиноко, как прежде. Споры о форме и жанре «Хулио Хуренито» продолжаются — время их не разрешило. Но в том, что касается его содержания, оно вынесло свой вердикт: многие страницы романа оказались пророческими, многое было предсказано Эренбургом с удивительной точностью деталей. Противоестественная, как тогда казалось, смесь национализма с социализмом и организация «нового порядка» в Европе (за 12 лет до прихода Гитлера к власти), казавшееся столь же немыслимым для цивилизованного общества уничтожение мирного еврейского населения, изобретение оружия массового поражения и применение его американцами против японцев — все это есть в «Хулио Хуренито». Но и в сатирических картинах жизни Советской России Эренбург зорко подметил существенные детали — разбухающую бюрократию, модель человека-винтика в схемах светлого будущего, отсутствие у граждан заинтересованности в результатах труда, удивительную приспособляемость тюрем и сыскного дела к потребностям нового режима — все то, что наполнило конкретным содержанием образ «сумерек свободы», заимствованный Эренбургом у Мандельштама. «Вы никого не свергнете,— заметил Хуренито Алексею Спиридоновичу Тишину,— но, падая, многих потащите за собой...»

В XX в. мрачные пророчества сбывались легче других, недаром Хуренито удаются почти все его провокации. В Кремле, верный своему призванию, он пытается заставить собеседника довести до абсурда его мысли и планы. И остановись разговор на том, что «мы гоним в рай железными бичами», Хуренито мог бы торжествовать. Но слова о мучительной тяжести ответственности и о том, что иначе нельзя, прозвучали так глубоко и искренне, что вместе с поцелуем, запечатленным Хуренито на высоком лбу его собеседника, кончилась усмешка автора и начался пафос...

---

[1] Сегодня, 1922, № 8, с. 6.

[2] Флейшман Л. Р. Хьюз, О. Раевская-Хьюз.— Русский Берлин. 1921—1923. YMCA-PRESS, Paris, 1983, с. 139.

Текст романа печатается по последнему прижизненному изданию (1962), сверенному с геликоновским и гизовскими изданиями, что позволило восстановить купюры.

Глава первая

Стр. 221. *...одному из принцев Щукиных...*— Речь идет о Щукине Сергее Ивановиче (1854—1937), русском промышленнике, коллекционере западной живописи.

Леон Блуа (1884—1917)—французский писатель, рьяный католик, оказал влияние на Эренбурга в 1910-е годы.

Святая Тереза (1515—1582)—испанская монахиня, автор мистических сочинений.

Стр. 222. *Нострадамус* (Мишель Нотрдамский; 1503—1566)— астролог, оккультист, прорицатель.

Глава вторая

Стр. 228. *Диего Ривера* (1886—1957)—мексиканский художник, монументалист, друг Эренбурга.

Сапата Эмилиано (1879—1919)—руководитель крестьянского движения в Мексике.

Стр. 229. *Карранса* Венустиано (1859—1920)—один из лидеров национальной буржуазии в мексиканской революции 1910—1917 годов; в 1914—1920 годах—президент Мексики, был свергнут и убит.

Вилья Франсиско (1877—1923)—руководитель крестьянского движения в Мексике, известный под именением Панчо Вилья.

Обрегон Альваро (1880—1928)—президент Мексики в 1920—1924 годах.

Глава третья

Стр. 234. *Святой Игнаций* (Игнатий Богоносец)—ученик евангелиста Иоанна, замученный в Риме в 107 г.

Зосима (ск. 1478)—персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Стр. 235. *Морис Дени* (1870—1943)—французский художник, представитель стиля модерн.

Глава четвертая

Стр. 238. *Иегова* (Яхве)—имя бога в иудаизме.

Иаков—в библейской мифологии младший из двух сыновей Исаака и Ревекки, откупивший у старшего брата Исава право первородства за чечевичную похлебку.

Дрезденское продление (жены Рафаэля) — знаменитая картина «Сикстинская мадонна», хранящаяся в Дрезденской галерее.

Клодель Поль (1868—1955) — французский писатель, драматург.

Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944) — русский экономист, философ.

Стр. 239. *Штейнер* Рудольф (1861—1925) — немецкий философ-мистик.

Стр. 240. *Эксперименты с Иовом.*— См. примеч. на с. 607.

Стр. 241. *Пювис де Шавань* (Пюви де Шаванн) Пьер (1824—1898) — французский художник, мастер монументально-декоративной живописи.

Стр. 243. *Лурд* — город на юге Франции, место паломничества католиков.

Метерлинк Морис (1862—1949) — бельгийский драматург, поэт-символист.

Стр. 246. *Макс Линдер* (1883—1925) — популярный французский киноактер.

Пегу Адольф (1889—1915) — французский летчик.

Стр. 247. *...как кит мог проглотить Иону...*— По библейской легенде, кит проглотил Иону по воле Яхве; пробыв трое суток во чреве кита, невредимый Иона был выплюнут на берег.

Савл — гонитель христиан, ставший затем под именем Павла ревностным проповедником учения Иисуса Христа.

Глава пятая

Стр. 251. *Себастиан* — католический святой; казнен в Риме в 288 г. за переход в христианство.

Стр. 252. *...поездки на богомолье к Тихону Задонскому...*— Имеется в виду Задонский монастырь, где жил причисленный к лику святых автор религиозных сочинений Тихон Задонский (1724—1783).

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — русский писатель, автор исторических, религиозно-мистических романов («Христос и Антихрист» и др.)

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — русский религиозный философ.

Стр. 253. *Ницше* Фридрих (1844—1900) — немецкий философ, автор философски-художественной прозы («Так говорил Заратустра» и др.)

Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ-иррационалист, представитель волюнтаризма.

Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) — русский поэт, автор сентиментально-скорбных стихов.

Богданов Александр Александрович (1873—1928) — русский ученый, философ, экономист.

Глава шестая

Стр. 264. *Графиня Ноай* Анна де (1876—1933) — французская поэтесса.

Стр. 265. *Бранд* — герой одноименной философско-символистской драмы норвежского драматурга Г. Ибсена (1828—1906).

Стр. 268. *Суламифь*.— См. примеч. на с. 599.

Глава седьмая

Стр. 270. *Д'Аннунцио* Габриэле (1863—1938) — итальянский писатель-декадент, политический деятель.

Глава восьмая

Стр. 277. *Матисс* Анри (1869—1954) — французский художник.

Дюамель Жорж (1884—1966) — французский писатель.

Стравинский Игорь Федорович (1882—1971) — русский композитор-новатор.

Стр. 278. *Диоген* Синопский (ок. 400 — ок. 325 до н. э.) — древнегреческий философ-киник, аскет, герой многочисленных анекдотов.

Малларме Стефан (1842—1898) — французский поэт-символист.

Стр. 279. *Расин*.— См. примеч. на с. 605.

Хочу быть дерзким!..— Стихотворение К. Д. Бальмонта.

Стр.282. *Гвидо Рени* (1575—1642) — итальянский художник.

Торквато Тассо (1544—1595) — итальянский поэт, автор героической поэмы «Освобожденный Иерусалим».

Леопарди Джакомо (1798—1837) — итальянский поэт-романтик.

Глава девятая

Стр. 285. *Дантон* Жорж (1759—1794) — один из вождей якобинцев, был казнен.

Стр. 286. *Баррес* Морис (1862—1923) — французский писатель.

Глава десятая

Стр. 288. *Пикассо* Пабло (1881—1973) — французский художник, испанец по происхождению, друг Эренбурга.

Леже Фернан (1881—1955) — французский художник, друг Эренбурга.

Стр. 290. *Бисмарк* Отто (1815—1898) — первый рейхсканцлер германской империи.

Глава одиннадцатая

Стр. 300. *Еврей Павел победил Марка Аврелия!..* — Имеется в виду окончательное утверждение христианства вопреки противодействию Рима.

Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э.— 65 н. э.) — римский политический деятель, философ и писатель.

Глава двенадцатая

Стр. 302. *Савонарола* Джироламо (1452—1498) — настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции, противник тирании Медичи; был отлучен от церкви и казнен.

Бергсон.— См. примеч. на с. 593.

Глава тринадцатая

Стр. 312. *Марше де Пюс* — рынок старья в Париже.

Глава пятнадцатая

Стр. 321. *Гамбетта* Леон (1838—1882) — французский государственный деятель, противник клерикалов и монархистов.

Ней Мишель (1769—1815) — маршал Франции, сподвижник Наполеона.

Мюссе Альфред (1810—1857) — французский писатель-романтик.

Витторио-Эммануилы — Виктор-Эммануил II (1820—1878) и Виктор-Эммануил III (1900—1946), итальянские короли.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — русский генерал, успешно командовал русской армией против турок в Болгарии.

Стр. 323. *Аттила* (?—453) — предводитель гуннов, возглавил победный поход против Рима.

Стр. 325. *Роден* Огюст (1840—1917) — французский скульптор.

Глава шестнадцатая

Стр. 329. *Бедный Франциск...* — Франциск Ассизский (1182—1226) — католический святой, основатель ордена францисканцев.

Глава восемнадцатая

Стр. 338. *Левиафан* — в библейской мифологии огромное чудовище.

Стр. 339. *Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900) — русский религиозный философ, поэт, публицист.

Стр. 341. *Жоффр* Жозеф Жак (1852—1931) — маршал Франции, главнокомандующий французской армией в первую мировую войну.

Гинденбург Пауль фон (1847—1934) — германский генерал-фельдмаршал, главнокомандующий германской армией в первую мировую войну.

Глава девятнадцатая

Стр. 348. *Зутнер Берта* (1843—1914) — немецкая писательница, организатор пацифистского движения, лауреат Нобелевской премии мира (1905).

Стр. 350. *Татлин* Владимир Евграфович (1885—1953) — русский художник, конструктор и декоратор, автор знаменитого проекта памятника III Интернационалу.

Глава двадцатая

Стр. 356. *«Биржевка»* — петроградская газета «Биржевые ведомости», где в 1915—1917 годах печатался Эренбург.

Стр. 358. *Ромен Роллан* (1866—1944) — французский писатель; в 1914 г. выступил против мировой войны (книга «Над схваткой»).

Стр. 360. *Шелли* Перси Биш (1792—1822) — английский поэт-романтик.

Глава двадцать первая

Стр. 367. *...непохвальная ночь Петра у костра...* — когда Петр отрекся от Христа.

Глава двадцать вторая

Стр. 369. *Язык Гереро* — язык народа гереро в Намибии и Анголе.

Брем Альфред Эдмунд (1829—1884) — немецкий зоолог, автор многотомной «Жизни животных».

Стр. 370. *Ковно* — ныне Каунас.

Стр. 372. *Пуанкаре* Раймон (1860—1934) — президент Франции в 1913—1920 гг., проводил милитаристскую политику, был прозван «Пуанкаре-война».

Тома Альбер (1878—1932)—французский социалист, сторонник милитаристской политики.

Чхеидзе Николай Семенович (1864—1926)—один из лидеров меньшевиков, весной 1917 г.—председатель Петросовета.

Глава двадцать третья

Стр. 375. *Сонечка Мармеладова*—персонаж романа «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского.

Стр. 377. *Бичер-Стоу* Гарриет (1811—1896)—американская писательница, автор антирасистской книги «Хижина дяди Тома».

Стр. 378. *Эпиктет* (ок. 50—ок. 140)—римский философ-стоик; раб, позднее вольноотпущенный.

Сумерки свободы—образ, заимствованный из стихотворения О. Э. Мандельштама «Прославим, братья, сумерки свободы, // Великий сумеречный год!..» (1918).

Глава двадцать четвертая

Стр. 379. *Навуходоносор* II—царь Вавилонии в 605—562 гг. до н. э.; разрушил восставший Иерусалим и ликвидировал Иудейское царство.

«Такел»—одно из трех слов (мене, текел, фарес), появившихся на стене дворца во время пира у вавилонского царя Валтасара; в ту же ночь Валтасар был убит; трактуется так: «Ты взвешен на небесах и найден очень легким».

Чернов Виктор Михайлович (1873—1952)—лидер партии эсеров, министр земледелия во Временном правительстве.

Стр. 380. *«Счастлив, кто посетил сей мир...»*—Строка стихотворения Ф. Тютчева «Цицерон».

Алексеев Михаил Васильевич (1857—1918)—русский генерал, в 1917 г. верховный главнокомандующий русской армией.

Стр. 381. *Лавров* Петр Лаврович (1823—1900)—русский философ, социолог, публицист, один из идеологов народничества.

Михайловский Николай Константинович (1842—1904)—русский социолог, публицист, критик; народник.

Стр. 388. *Канатчикова дача*—психиатрическая больница в Москве.

Глава двадцать пятая

Стр. 389. *Гладстон* Уильям Юарт (1809—1898)—премьер-министр Великобритании, добивался приема закона о самоуправлении Ирландии.

Стр. 391. *Андреа дель Сарто* (1487—1531) — итальянский художник.

Стр. 392. *«Русское слово»* — ежедневная либеральная газета, выходила в 1895—1918 годах в Москве; была закрыта большевиками.

Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920) — русский историк, публицист дворянско-охранительной ориентации.

Стр. 393. *Сиамские коммунисты...* — Сиам — название Таиланда до 1939 г.

Стр. 394. *Безумный поворот руля...* — Неточная цитата из стихотворения О. Э. Мандельштама «Прославим, братья, сумерки свободы...» : «Ну что ж попробуем; огромный, неуклюжий, // Скрипучий поворот руля».

«Коммунистическая азбука» — популярная в 1920-е годы книга Е. А. Преображенского и Н. И. Бухарина «Азбука коммунизма».

Глава двадцать шестая

Стр. 395. *Грааль* — чудодейственный сосуд, исцеляющий больных одним своим видом; в средние века хранился в одном из замков Испании.

Стр. 400. *Беклин* Арнольд (1827—1901) — швейцарский художник-символист.

Глава двадцать седьмая

Стр. 402. *Уэллс* Герберт Джордж (1866—1946) — английский писатель-фантаст, в 1920 г. беседовал с Лениным в Кремле.

Стр. 403. *Мюриды* — последователи мистического течения в исламе.

Эпир — историко-географическая область на западе Греции, первоначальное местопребывание греков; место археологических раскопок.

Анатолий Васильевич — Луначарский.

Глава двадцать восьмая

Стр. 406. *Шахсей-вахсей* — траурная церемония у шиитов, сопровождается самоистязанием участников.

Стр. 407. *Лоренцо Великолепный* Медичи (1449—1492) — правитель Флоренции, покровитель наук и искусств.

Стр. 408. *Конфрэр* (от фр. con frere) — собрат, товарищ.

Скрижали Синая. — См. примеч. на с. 599.

«Мисюсь, где ты?..» — Последняя фраза рассказа А. П. Чехова «Дом с мезонином».

Стр. 410. *«Русское богатство»* — ежемесячный литературный, научный и политический журнал, издавался в Петербурге в 1876—1918 годах; в 1913 г. В. Г. Короленко печатал в нем стихи Эренбурга.

Стр. 411. *Нарцисс* — мифический греческий юноша необыкновенной красоты, влюбившийся в себя, увидев свое лицо отраженным в воде, и умерший от этой безнадежной любви.

Сазандари — песни (от сазандара — народного инструментального ансамбля в странах Востока).

Глава двадцать девятая

Стр. 413. *«Поль и Виргиния»* («Поль и Виржини») — повесть французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814), памятник французского сентиментализма.

Глава тридцатая

Стр. 420. *Греко* (Эль Греко) Доменико (1541—1614) — испанский художник, грек по происхождению.

Джотто ди Бондоне (1266—1337) — итальянский художник.

Глава тридцать первая

Стр. 429. *Вот Евгений, бедный чудак...* — герой поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».

Влюбленных в родных Наташ... — Имеется в виду героиня романа Л. Н. Толстого «Война и мир» Наташа Ростова.

Стр. 430. *Габсбурги* — династия, правившая Австрией до 1918 г.

Осваг — осведомительное агентство (служба безопасности в белой армии).

Глава тридцать вторая

Стр. 432. *«Нам надоели небесные сласти».* — Из пролога к «Мистерии-буфф» В. В. Маяковского.

Глава тридцать третья

Стр. 436. *Как полдень золотого века...* — Из стихотворения Эренбурга «Кому предам прозренья этой книги...» (см. наст. т., с. 91).

Глава тридцать четвертая

Стр. 439. *Раймонд Дункан* — американский художник, поклонник античной простоты; брат Айседоры Дункан.

Глава тридцать пятая

Стр. 445. *Банг* Герман (1857 — 1912) — датский писатель.

Стр.446. *Хабеас Корпус* (от лат. Habeas Corpus) — один из основных конституционных актов Великобритании (принят в 1679 г.), гарантировал процессуальные права граждан, устанавливал правила ареста и привлечения к суду.

Стр. 450. *Почтенный академик.*— Имеется в виду И. А. Бунин.

Стр. 452. *Рони* — псевдоним братьев Жозефа Анри Бёкса (1856 — 1940) и Серафена Бёкса (1859 — 1948), французских писателей-натуралистов.

ИЗ КНИГИ НОВЕЛЛ «ТРИНАДЦАТЬ ТРУБОК». РАССКАЗЫ

В двадцатые годы излюбленным жанром прозы Эренбурга был роман — за восемь лет он написал девять романов. Но в эти же годы необычайно плодовитый прозаик выпустил и несколько сборников рассказов, повестей, новелл, очерков. Однако это не были сборники, собирающие под одну обложку прежде написанные вещи данного жанра. «Неправдоподобные истории», «Шесть повестей о легких концах», «Тринадцать трубок» и «Условные страдания завсегдатая кафе» замышлялись и писались целиком, как книги, составляющие части которых объединены сюжетным ходом, литературным приемом, местом действия.

«Неправдоподобные истории» были написаны в Берлине в ноябре 1921 г. и в самом конце декабря напечатаны издательством С. Ефрон без указания года издания. Эти шесть рассказов написаны Эренбургом, еще не остывшим от «Хулио Хуренито», написаны озорно и едко. «Книга эта не «политика»,— предупреждал Эренбург в предисловии,— не отображение Великой Российской Революции, не хвала, не хула... Это не листы истории великих лет — нет, просто и скромно, петитная ерунда». Критики — и хвалившие книгу и ругавшие ее — этого предуведомления не приняли. «Книга безусловно больше своего названия и несравненно значительнее той излишне скромной характеристики, которую дает автор в своем кокетливом предисловии,— писали парижские «Последние новости».— Рассказы

Эренбурга — подлинная попытка заглянуть в загадочный лик русской революции... Спокойно, объективно, без тени горечи и раздражения Эренбург рисует оба полюса русской жизни — и тех, что творят революцию, и тех, что видят в ней лишь сатанинское наваждение»[1]. Берлинский «Веретеныш», напротив, обвинил Эренбурга в том, что он в равной мере «терпеть не может» ни Россию, ни революцию и «злорадно подхихикивает над русским хаосом».

В 1924 г. «Неправдоподобные истории» вышли в Ленинграде под названием «Бубновый валет», но две самые значительные «истории» — «Любопытное происшествие» и «Ускомчел» — были изъяты. «Любопытное происшествие» в СССР напечатали впервые в 1989 г.; «Ускомчела» наши читатели прочут впервые здесь. Впрочем, этот рассказ, вернее, его название, хорошо знакомо читателям старших поколений благодаря книге, которую обязаны были изучать миллионы людей. В ней говорилось: «Один из русских писателей, И. Эренбург, изобразил в рассказе «Ускомчел» (усовершенствованный коммунистический человек) тип одержимого... «большевика», который задался целью набросать схему идеально усовершенствованного человека и... «утоп» в этой «работе». В рассказе имеется большое преувеличение, но что он верно схватывает болезнь — это несомненно». Это написано в 1924 г. в книге И. Сталина «Вопросы ленинизма». Можно гадать, как именно сказались эти слова на литературной и человеческой судьбе Эренбурга, но судьбу рассказа «Ускомчел» они определили однозначно.

Замысел следующей книги новелл возник у Эренбурга летом 1922 г. во время отдыха на Северном море. 16 июня он писал Марине Цветаевой: «Отдых у меня чудной: позавчера начал новую книгу. «13 трубок» (13 историй). Каких? Гнусно-мудро-трогательных. Пока написал 3... Возможно, что эта классификация чужих трубок (жизней) поможет найти некоторое равновесие». Книга была завершена 3 июля, а в январе 1923 г. ее выпустило берлинское издательство «Геликон». Книга открывалась посвящением памяти Великого маэстро Хулио Хуренито, очень элегантно напечатанном по-испански. Именем Хуренито Эренбург как бы освещал новый труд, к которому относился с изрядной долей иронии. «Тринадцать трубок» — одна из самых популярных книг Эренбурга, она выдержала много изданий (полностью или частично), переведена едва ли не на все языки мира. Ее занимательность, притчевый характер, литературное мастерство обеспечили новеллам прочный успех. В почте Эренбурга, в частности времен Отечественной войны, есть несколько «четырнадцатых трубок», присланных ему читателями.

Замысел книги «Условные страдания завсегдатая кафе» возник у Эренбурга в январе 1925 г. Несколько раз менялось ее название —

[1] Последние новости, 27 января 1922, Париж.

«Гид по кафе Европы», «Условный рефлекс кафе»... Часть рассказов появилась в периодике; целиком книга вышла в одесском издательстве «Новая жизнь» в 1926 г. «Условные страдания...» — последняя книга новелл Эренбурга, объединенных единством замысла.

ИЗ КНИГИ «ТРИНАДЦАТЬ ТРУБОК»

Новеллы печатаются по Собр. соч., т. 1, М., ИХЛ, 1962.

Стр. 482. *Маймонид* (Моше бен Маймон; 1135—1204) — еврейский философ, теолог, толкователь Талмуда.

Стр. 483. *Талмуд* — религиозно-правовой кодекс иудаизма, сложившийся в IV в. до н. э. — V в. н. э.

Агада — мифы, легенды, сказания, притчи и басни, содержащиеся в Талмуде.

Стр. 484. *«Суета сует, все суета и томление духа».* — Из Екклезиаста (1, 2), одной из книг Библии, приписываемой царю Соломону и доказывающей тщету земных благ.

Стр. 486. *Симхасторе* (Симхат Тора) — еврейский религиозный праздник Торы.

Стр. 491. *Танталова чаша...* — Речь идет о муках фригийского царя Тантала, обреченного на вечную жажду и голод.

Стр. 497. *Акакий Акакиевич* — персонаж повести Н. В. Гоголя «Шинель».

Стр. 516. *Журфикс* (от фр. jour fixe) — день, назначенный для приема гостей.

РАССКАЗЫ

Стр. 519. Бубновый валет. — Этот и следующие четыре рассказа впервые напечатаны в сборнике «Неправдоподобные истории». *Американский житель* — популярная игрушка начала века; *Ты... Юдифь... сокрушишь Олоферна...* — Древнееврейская героиня Юдифь спасла свой народ от порабощения, отрубив голову Олоферну, командующему вторгшихся в Иудею вавилонских войск.

Стр. 528. В розовом домике. — *Ллойд-Джордж* Дэвид (1863—1945) — премьер-министр Великобритании в 1916—1922 годах; *матине* — утренний халат; *цадик* — праведник, духовный руководитель хасидов; *Витте* Сергей Юльевич (1849—1915) — граф, русский государственный деятель; *Евлалия вздыхала о гусаре, о сумце голубом...* — Гусары (род легкой квалерии) носили голубую форму; здесь имеется в виду гусар Сумского полка.

Стр. 549. Любопытное происшествие.— *Спиноза* Бенедикт (1632—1677)—голландский философ.

Стр. 563. «Ускомчел».— *Серафим Саровский*—православный святой, мощи которого были открыты в 1903 г. в Саровской пустыни (мужской монастырь в Тамбовской губ.).

Стр. 572. Пивная «Красный отдых».— Впервые — Новая Россия, 1926, № 1, затем в сб. «Условные страдания завсегдатая кафе»; *«Красные дьяволята»*—популярный в 1920-е годы приключенческий кинофильм режиссера И. Н. Перестиани (1923); *ахрровцы*—художники, входившие в АХРР (Ассоциацию художников революционной России), организацию, выполнявщую те же задачи, что РАПП в литературе.

Стр. 580. Старый скорняк.— Впервые — Красная новь, 1928, № 6; входил в сб.: «Рассказы», Л., Прибой, 1928.

Б. Фрезинский

Содержание

Стихи о канунах

(1914—1915)

Молитва о России
(1917—1919)

Раздумья
(1919—1921)

Опустошающая любовь
(1922—1923)

Верность
(1939—1941)

Дерево

(1942—1946)

Стихи

(1948, 1957, 1958)

Стихи последних лет

(1964—1966)

ИЗ КНИГИ «ТРИНАДЦАТЬ ТРУБОК»

РАССКАЗЫ

Эренбург И. Г.

Э76 Собрание сочинений. В 8 т. Т. 1. Стихотворения; Хулио Хуренито: Роман; Из книги «Тринадцать трубок»; Рассказы / Вступ. статья Л. Лазарева; Сост., подгот. текста Б. Сарнова и И. Эренбург; Комм. Б. Фрезинского.— М.: Худож. лит., 1990.— 638 с.

ISBN 5-280-01054-5 (Т.1)

В первый том Собрания сочинений И. Г. Эренбурга (1891—1967) вошли стихотворения разных лет, роман «Хулио Хуренито», новеллы из книги «Тринадцать трубок» и рассказы.

Э $\frac{4702010206\text{-}314}{028(01)\text{-}90}$ Подписное **ББК 84Р7**

Илья Григорьевич Эренбург

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

Том первый

Подбор иллюстраций
Б. Фрезинского

Редакторы
А. Краковская, К. Вепринцева

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
В. Кулагина

Корректоры
Г. Володина и *Г. Киселева*

ИБ № 5754
Сдано в набор 23.02.90. Подписано в печать 19.10.90
Формат 84 × 108[1]/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс»
Печать высокая. Усл-печ.л. 33,6 + вкл. + альб. = 34,49. Усл. кр.-отт. 36,22. Уч.-изд.л. 33,75 + вкл. + альб. = 34,63.
Тираж 100 000 экз. Изд. № III—3816. Заказ № 218.
Цена 5 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография». Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28.

